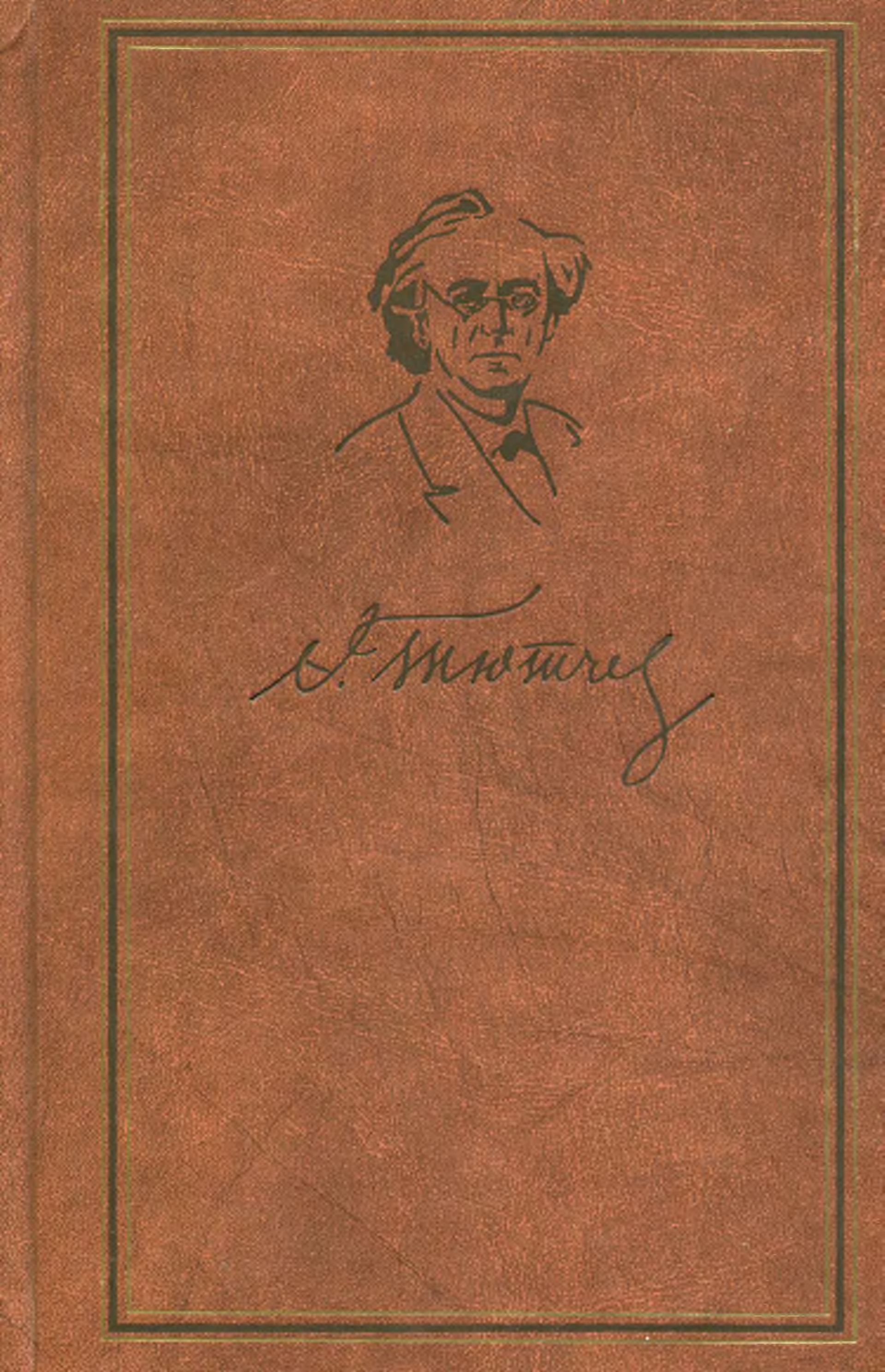


К 200-летию
со дня рождения
Ф. И. Тютчева



Ф. И. ТЮТЧЕВ

Полное собрание
сочинений и письма
в шести томах



Издательский Центр
«Классика»

Ф. И. ТЮТЧЕВ

Том шестой



Письма
1860–1873

Москва
2004

ББК 84Р1
Т 98

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт мировой литературы им. М. Горького

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)

Ответственный редактор тома
Л.Д. Громова-Опульская

Составление, комментарии
Л.Н. Кузина

Подготовка текстов
Л.Н. Кузина, М.К. Тюнькина

Федеральная программа книгоиздания России

Издательский проект «Ваш Тютчев»
Международного Пушкинского Фонда «Классика»

ОТ РЕДАКЦИИ

В шестой том настоящего издания вошли письма Ф.И. Тютчева 1860–1873 гг.

Публикация писем Тютчева имеет большую историю (см. т. 4, с. 453–455). Обычно французские письма Тютчева печатались только в переводе. Поэтому большим вкладом в изучение эпистолярного наследия поэта стал тютчевский том «Литературного наследства», в котором все письма даны на языке оригинала и в переводе (*ЛН-1*). Шестой том настоящего издания делает новый шаг на этом пути.

В томе представлено 108 русских и 107 французских писем. 27 писем печатаются по автографам впервые (13 из них ранее не публиковались, 14 печатались по неточным копиям), 14 писем впервые печатаются по автографам полностью, 21 письмо публикуется впервые на языке оригинала.

Все письма заново подготовлены по автографам. Обращение к автографам особенно важно в данном случае потому, что из-за трудного почерка Тютчева, сделавшегося в последние годы его жизни предельно неразборчивым, в публикациях его писем нередко встречаются ошибочные прочтения. Работа с автографами дает возможность внести необходимые исправления в текст как русских, так и французских писем и дать новые, уточненные переводы последних.

Письма располагаются в хронологическом порядке. Если на письме имеется авторская дата, то она приводится там, где стоит в подлиннике. Кроме того, каждое письмо снабжено редакторской датой и обозначением места написания письма, печатающимися под именем адресата. Редакторские даты обосновываются в комментарии к соответствующим письмам. Недописанные или сокращенно написанные слова, кроме общепринятых сокращений, раскрываются полностью. Редакторские дополнения недо-

писанных слов заключены в угловые скобки. Слова, подчеркнутые Тютчевым, воспроизводятся курсивом. Основные устойчивые особенности тютчевской орфографии и пунктуации сохраняются.

В комментарии к каждому письму содержится указание на местонахождение его рукописного подлинника и на издание, в котором оно было впервые напечатано. Эти библиографические сведения предваряются краткими характеристиками новых для данного тома адресатов в свете их взаимоотношений с Тютчевым в 1860-е гг. Лица и события, упоминаемые в письмах Тютчева, комментируются в той мере, в какой это необходимо для понимания текста.

В ссылках на наиболее часто цитируемые и упоминаемые издания используются сокращения, раскрываемые в списке условных сокращений.

Письма
1860–1873





1. Е. П. КОВАЛЕВСКОМУ

25 июля/6 августа 1860 г. Висбаден

Wiesbaden. 25 июля/6 августа 1860

Дайте же о себе весточку, любезнейший Егор Петрович, что с вами? Каково здоровье ваше? Что ваше лечение? Помогают ли Эмские воды?

Какие известия из Петербурга? — Полагаю, нерадостные. Судя по всему, мне сдается, что эта бестия Наполеон решительно нам враждебен[1]. Что он распорядился так по восточным делам, чтобы наперекор всему — наперекор, т<ак> с<казать>, самой силе вещей, самой логике событий — мы ни в каком случае не могли извлечь ни малейшей для себя выгоды из теперешнего кризиса — чтобы Россия одна была отстранена от всякого существенного участия в вопросе! Вот почему он пытается еще раз сблизиться с Англией. Вот почему он делает ей уступки по итальянскому вопросу — для того только, чтобы быть в возможности нам не делать никаких уступок.

Что значит в этой подлой конвенции статья, протестующая заране противу всякого вмешательства в турецкие дела?

Разве это не явная для нас оплеуха? Не ясное доказательство, что по восточному вопросу все они заодно противу России?

Да неужто же эти две собаки, французская и английская, несмотря на всю взаимную злость не перегрызутся между собою?..

Но увы, даже и тогда едва ли мы сумеем воспользоваться этою Божескою милостию. Мы так нравственно и духовно бессильны, так несказанно ничтожны!.. Никогда, может быть, в истории человеческих обществ не было подобного примера. Никогда государство — и какое государство! мир целый — не утрачивало до такой степени свое *историческое самознание*. — Что такое Россия? Пятое ли колесо в европейской системе или особый, самобытный мир, треть которого еще в плену у

Запада? — Завалена, застроена, т<ак> с<казать>, Западом? И не иначе может из-под него высвободиться, как разрушивши его. — Но кто у нас в России это чувствует, это понимает? Вы, я, да еще 10 человек, но, конечно, ни царь, ни князь.

P. S. Напишите, до каких пор вы останетесь в Эмсе?

2. Е. Л. ТЮТЧЕВОЙ

8/20 октября 1860 г. Женева

Женева. 8 октября 1860

Как бы охотно, маминька, вместо этого письма я послал бы самого себя к вам по почте и как бы охотно променял я *ландшафт*, что у вас теперь перед глазами, на вид Старого Пимена...[1] Более нежели когда-нибудь я всею душою моею буду с вами во все эти *три* дня[2]. Да сохранит вас Господь и помилует и доставит нам обоим утешение свидеться, тотчас по возвращении моем в Россию. Насчет же моего здоровья не беспокойтесь, прошу вас. Все мои лечения идут своим порядком, и при теперешней превосходной погоде, я убежден, что они принесут мне много пользы. — Здесь мне удалось напасть на доктора, очень опытного и искусного и который, кажется, вполне понял, что́ мне надобно, так что я имею право надеяться, что моя поездка и пребывание за границею не пропадут даром и что будущею зимою мне будет гораздо лучше и легче. Только бы *вы* с вашей стороны могли мне дать такие же добрые вести о вашем здоровье, как я о своем... Если теперь жена моя с вами, обнимите ее за меня... также и *Marie*. В конце этого месяца, или много, много в начале того, надеюсь увидеться и с ними, и с вами. Дай-то Бог!.. Поручаю всех нас Его милосердию и от полноты души обнимаю вас и целую ваши ручки.

3. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

10 октября 1861 г. Петербург

St-Pétersbourg. Mardi. 10 oct<obre> 1861

Ma fille chérie, merci de n'avoir pas désespéré de moi et d'avoir continué à me parler à travers mon silence. Quant à moi,

je ne peux te dire, avec quel attendrissement j'ai lu toutes tes <lettres>* qui nous arrivaient ici de toi toutes baignées de lumière et de contentement à la surface, avec un envers si triste et si gris... Ah, ma pauvre Anna, je ne m'étais donc pas trompé, j'avais donc raison de croire qu'il y avait dans ton être de puissantes facultés de bonheur qui ne demandaient qu'à s'exercer et que le milieu seul dans lequel la destinée t'avait placée en avait jusqu'à présent empêché l'épanouissement... Et tout comme tu as trouvé, dans ton organisation, de quoi savourer les enchantements d'un beau ciel et d'une belle nature, tu aurais su aussi... mais il m'en coûte d'insister là-dessus et de te renvoyer inutilement l'écho des mélancoliques réflexions que tu auras été à même de faire bien souvent sur le redoutable problème de tant de facultés et d'énergies internes que la nature a mises en nous, et que la destinée a condamnées à ne jamais se révéler au grand jour et être mises en œuvre, dans l'intérêt de notre bonheur et de celui des autres...

Et cependant, ma fille, tout en étant moi-même une pauvre créature fort peu héroïque assurément, personne n'apprécie plus que moi tout ce qu'il y a de valeur morale dans une nature qui, à défaut de bonheur, sait au besoin lui substituer le *devoir*... Et *voilà* pourquoi — pourrais-je ajouter — ma fille *n'est pas muette*, comme celle de la comédie[1].

Cela ne m'empêche pas, toutefois, de sympathiser profondément avec le chagrin de cœur que tu éprouveras à te réveiller de ce songe doré qui t'avait si complètement envahie, qui était devenir pour toi une si chère et si bienfaisante réalité, la réalité par excellence et qui aux premiers pas que vous ferez dans cette terrible voie du retour va pâlir et s'effacer de plus en plus...

Il y a aussi dans tes lettres certaines choses que je n'ai pu lire, comme tu penses bien, sans une certaine satisfaction qui ressemblait à celle d'un amour-propre d'auteur... satisfait... J'ai reconnu mon sang à cette intuition que tu as eue en touchant le midi de la Russie, que c'était le théâtre prédestiné de son immense avenir, que cet avenir, que tous nos efforts ne parviendront pas à faire

---

* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.

avorter, n'est possible que là... et que, sous peine des plus rudes châtiments, il faudra bien se décider à s'arracher au plus tôt aux ignominies du moment présent pour aller à la rencontre de nos futures destinées... Et sur ce, bonne nuit.

Перевод:

С.-Петербург. Вторник. 10 октября 1861

Моя милая дочь, спасибо, что не отчаялась во мне и продолжала со мной беседовать, невзирая на мое молчание. Что до меня, то не могу высказать, с каким умилением я читал все твои письма, которые приходили сюда, — внешне лучащиеся светом и довольством, а в сущности такие грустные и безотрадные... Ах, моя бедная Анна, я, значит, не ошибся, я был прав, когда верил, что в твоей душе заложены могучие источники счастья, так и рвущиеся наружу, и что только среда, в которой тебе привелось существовать, мешала до сих пор их развитию... И точно так же, как ты нашла в себе способность наслаждаться очарованием дивного неба и прекрасной природы, ты сумела бы и... но мне тяжело останавливаться на этом и праздно, как эхо, откликаться на те меланхолические думы, которым ты часто имела повод предаваться, размышляя о страшной загадке, в силу коей столько способностей и энергии, вложенных в нас, обречены судьбой никогда не выйти наружу и не быть употребленными в интересах нашего собственного и чужого счастья...

И все-таки, дочь моя, хотя я сам, конечно, жалкое создание, отнюдь не героическое, но никто выше меня не оценит нравственной заслуги человека, который за отсутствием счастья умеет, когда нужно, заменить его *долгом*... И *вот* почему — прибавлю я — моя дочь *не немая*, как та, в комедии[1].

Однако это не мешает мне глубоко сочувствовать сердечному горю, какое ты испытаешь, очнувшись от золотых сновидений, которые завладели тобою целиком, стали для тебя подлинной, драгоценной и спасительной действительностью,

но которые все более и более будут бледнеть и рассеиваться с первых же минут твоего пробуждения...

Кое-что в твоих письмах, как ты сама понимаешь, я прочел не без некоторого удовлетворения, похожего на чувство удовлетворенного... авторского самолюбия... Я узнал свою кровь в том предчувствии, какое вызвал в тебе юг России; соприкоснувшись с ним, ты поняла, что там — арена предопределенной ей великой будущности, что эта будущность, отвратить которую не смогут все наши усилия, возможна только там... и что, под страхом самых жестоких кар, надо будет решительно и возможно скорей порвать с позорным настоящим, чтобы двинуться навстречу грядущим судьбам... Засим доброй ночи.

4. И. С. АКСАКОВУ

23 октября 1861 г. Петербург

23 октября 1861

Благодарим вас, любезнейший Иван Сергеевич, от души благодарим и поздравляем... Трудно выразить то отрадное чувство, с каким читается ваш «День». Словно просыпаешься от какого-то тяжелого, больного, нелепого сна, просыпаешься к жизни, к сознанию действительности, к сознанию самих себя... Вы, вы вашими несколькими статьями на деле доказываете истину вашего учения...[1] Откуда это их превосходство над всем без изъятия, что у нас пишется и печатается, эта бездна, отделяющая вас, не говорю вообще от всей нашей журналистики, но от лучших из ее деятелей? От одного ли превосходства личного вашего дарования или от той среды, в которой вы живете и движетесь?.. Нет, тут разница не количественная, но существенно *качественная*. Не знаю, правы ли поэты, приписывая теням усопших вместо голоса какой-то жалкий писк[2]. Но как должен звучать живой голос живого человека между этими тоскливыми тенями?..

И как в настоящую минуту всё, что у нас воочию совершается, *страшно* оправдывает вашу веру и ваших великих покойников[3]. Так вот куда неумолимая историческая логика

должна была привести эту призрачную Россию, эту тень живой, настоящей России[4]. Какое жалкое нравственное бессилие в правительстве, при всей его благонамеренности, — какое безобразие в этом так называемом общественном мнении, а в молодом поколении что за бессмущающаяся пошлость!

Я сейчас прочитал в словаре Даля слово *брык*, и вот как он его определяет: беготня скота, когда в знойное оводное время, задравши хвост, мятется туда и сюда и ревет... Итак, скажем с буквальною точностью: *брык* нашего молодого поколения — нашей Jeune Russie*.

Но возвратимся поскорее к вашему «Дню», к вашим, в особенности, превосходным двум передовым статьям. — Я знаю, некоторые из лучших друзей ваших будут и теперь еще проповедовать вам об *умеренности*. Благой совет, конечно, стоит только хорошенько понять, что такое умеренность, и может ли ее не быть там, где есть чувство правды и любви. — Но заставлять человека, умеренности ради, постоянно говорить не своим голосом, нет, это поистине — неумеренное требование. Нет, дело совсем не в этом, а можно и должно ожидать от вас вот чего. Чтобы вы, как вы уже начинали, по всем вопросам высказывались так сполна, чтобы самому тупейшему тупоумию не оставалось возможности к таким чудовищным недоразумениям, какие бывали прежде, — чтобы наконец поняли *они*, что в России нет и быть не может другого *консервативного* начала, кроме вашего, по той естественной причине, что сохраняет только жизнь, а смерть — отсутствие жизни — непременно разлагает. И для этого, по-моему, необходимо, не боясь никаких нареканий, ни заподозреваний, от имени России налечь всею силою вашего праведного омерзения на этих выродков человеческой мысли, которыми все более и более наполняется земля Русская, как каким-то газом, выведенным на Божий свет животворной теплотой полицейского начала. — Но пока довольно. Еще раз благодарим и поздравляем.

---

* Молодой России (*фр.*).



5. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

11 апреля 1862 г. Петербург

Je passe à toi[1], ma bonne et chère Kitty, et fais à l'occasion des fêtes, comme dans toute autre occasion, les vœux les plus sentis pour ton bonheur. Tous ces vœux pour le moment se résument dans un seul, et il me paraît aussi indigne qu'absurde, que ce vœu-là tarde tant à se réaliser. Je verrais un sac rempli d'or séjourner pendant des jours et des semaines en pleine perspective Nevsky, à la vue du monde entier, que ce fait-là ne me causerait pas plus de surprise.

Hier soir il y a eu un petit bal à la Cour, en l'honneur du G<rand>-D<uc> Владимир, je crois. Tes trois sœurs y ont été, mais je n'en ai pas encore eu de nouvelles par Marie, qui est rentrée du bal lorsque je dormais déjà.

Fais mes amitiés à la tante et aux deux oncles et charge-toi de dire à Н<иколай> В<асильевич> que je le fais remercier de son envoi littéraire. — Nous avons ici en ce moment le professeur *Чичерин*[2], avec qui j'ai dîné hier chez le Prince Горчаков. C'est un homme de bien et de convictions et il serait à désirer que l'exemple qu'il donne devint contagieux. Cela ferait bien vite cesser le charme d'absurdité et d'extravagance, qui comme un cauchemar pèse plus ou moins sur tout le monde. Au revoir, à bientôt, ma fille chérie.

Перевод:

Перехожу к тебе[1], моя милая, славная Китти, и шлю тебе по случаю праздников, как и по всем другим случаям, самые сердечные пожелания счастья. Все они объединяются сейчас в одно, и мне представляется столь же нелепым, сколь и несправедливым то, что это пожелание все никак не осуществляется. Если б посреди Невского, на глазах у всех неделями лежал мешок с золотом, меня бы это меньше удивило.

Вчера вечером при дворе был дан небольшой бал, кажется, в честь великого князя Владимира. Три твои сестры там были, но Мари мне ничего еще о бале не рассказывала, так как вернулась с него, когда я уже спал.

Кланяйся от меня тетушке и обоим дядюшкам и возьми на себя труд сказать Николаю Васильевичу, что я благодарю его за литературное послание. У нас здесь сейчас профессор *Чичерин*[2], вчера я с ним обедал у князя Горчакова. Он человек благородный и с убеждениями, и хорошо было бы, если бы пример, который он подает, оказался заразительным. Это быстро бы прекратило вакханалию глупости и сумасбродства, которая, словно злое наваждение, в той или иной мере захватила всех. До скорого свиданья, милая моя дочь.

6. А. В. ГОЛОВНИНУ

16 мая 1862 г. Петербург

Середа. 16 мая

Милостивый государь Александр Васильевич,

Позвольте мне обратиться к вашему превосходительству с моею покорнейшею просьбою.

В случае, если мое отправление за границу состоится еще в нынешнем месяце[1], я крайне был бы обязан вашему превосходительству, если бы вы благоволили разрешить выдачу мне вперед моего месячного жалования за текущий май месяц — не смею прибавить и за будущий.

С истинным почтением честь имею быть

вашего превосходительства

покорнейший слуга

Ф. Тютчев

7. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Конец июля — начало августа 1862 г. Женева

Martigny. Sion. Bains de Loèche. La Gemmi. Candersteg. Interlaken. Thun.

Cette série de dates résume les derniers quinze jours de mon existence de touriste. C'est tout un monde d'enchantement. Je me suis assuré, par mes yeux, que toutes ces belles choses existent en réalité. Dans quelques semaines j'en douterai.



J'ai eu quelques très bons quarts d'heure dans le courant de ces derniers quinze jours... Des quarts d'heure où je me suis senti vivre de la vie d'autrefois, de la vie d'il y a cent ans...

Savez-vous, ma fille chérie, ce que c'est que la *Gemmi*, p<ar> e<xemple>? C'est une montagne à pic, de 7 mille pieds de haut, qui sépare les bains de Loèche de la délicieuse vallée de Candersteg qui mène aux lacs de Thun et de Brienz... C'est un des passages les plus rudes et les plus scabreux des Alpes de l'Oberland. Une dame française y a péri l'année dernière. J'ai grimpé là-haut et me suis arrêté à l'endroit où le mulet de cette pauvre dame s'étant abattu, son pauvre corps a roulé, de rocher en rocher, dans un précipice de cent pieds de profondeur. Elle venait de se marier.

Ce qui est d'une beauté inexprimable, c'est le silence absolu qui règne sur les hautes cimes. C'est un monde à part qui n'appartient plus aux vivants.

A Interlaken j'ai rencontré une foule de Russes, mais personne de très connu, sauf le G<énér>al Poutiatine[1] et l'inévitable Mlle de Gervais que son oncle, le Comte Bloudoff, avait essayé d'enfermer comme folle dans une maison de santé, tentative qui pourtant n'a pas abouti, si ce n'est à une espèce d'apologie assez malencontreuse que le pauvre Comte a été obligé de faire insérer dans les journaux, pour justifier cette mesure non-réussie... Elle allait me raconter toute cette histoire au long, lorsque la cloche d'un bateau à vapeur qui l'emmenait est venue lui couper le sifflet...

Sur le lac de Brienz je suis allé voir le *Giessbach*, éclairé aux feux de Bengale. Ce jour-là j'ai rencontré, à quelques heures d'intervalle, le fameux Kossuth[2] et la Reine douairière de Naples[3].

A Thun j'ai donné lieu à une singulière méprise. Quelques stupides Anglais, ayant lu dans le livre des étrangers mon nom accompagné de ma qualité de Chambellan, et n'ayant, à ce qu'il paraît, pu déchiffrer de mon griffonnage que les mots: *Empereur de Russie*, se sont persuadés que c'est bien l'Emp<ereur> de Russie en personne qui se trouvait *incognito* à l'hôtel de Bellevue, à Thun, et ont si bien accrédité ce bruit, que le soir la musique de l'hôtel n'a pas manqué, par déférence pour l'Auguste visiteur, de

tonner le *Боже, царя храни.* Ils ont pourtant fini par se détromper...

A *Berne* j'ai vu l'ours qui a croqué l'Anglais et qui ne paraît pas s'en souvenir — et à *Fribourg* l'orgue, que j'avais entendu il y a 22 ans, m'a inondé d'une tristesse qu'aucune parole humaine ne saurait exprimer.

Ah, ma fille, pourquoi vit-on jusqu'à un certain âge...

Eh bien, de tous ces endroits que je vous ai énumérés, je me proposai de vous écrire, mais la conviction m'a manqué. Et, certes, elle aurait manqué à moins. En effet, je ne sais ce qui vous arrive et comment je dois m'expliquer ce silence de néant où vous vous renfermez à mon égard... Heureusement, j'ai usé l'inquiétude, car autrement j'en serais fou à l'heure qu'il est... Les dernières nouvelles que j'aie reçues de vous, c'est ta lettre en date du 2 juillet qui est allée me chercher à Bade. Tu avais, peut-être, quelque raison de me l'adresser là. Car il y a 3 semaines que j'aurais dû y être. Mais au moment d'y aller je me suis si vivement rappelé certaines impressions de la localité, la cohue des salons de jeu, le désœuvrement affairé de tout ce monde plus qu'à moitié canaille se coudoyant toute le journée comme dans une impasse, — voire même le cercle prétentieusement exclusif de nos dames de Pétersb<ourg>, que je suis si sûr de revoir longuement dans le courant de cet hiver. — Je me suis si vivement représenté tout cela, que j'ai eu honte de mon empressement à aller ressaisir toutes ces belles choses si connues et toujours les mêmes, tandis qu'à deux pas de moi je pouvais me donner le spectacle des plus grandes magnificences de la nature... Et c'est ce scrupule de conscience qui a décidé la tournée que je viens d'accomplir... Maintenant me voilà revenu encore une fois sur les bords du Lac de Genève que j'ai revus avec un plaisir infini, tant il y a un charme tout particulier attaché à cette localité. Ce qui m'a aussi ramené ici, c'est une vague velléité de faire une course à Chamonix, que je devais faire il y a trois semaines, mais qu'au moment donné des apparences de mauvais temps m'avaient fait ajourner. Maintenant c'est le moment de la saison le plus favorable pour la réaliser, mais cette réalisation dépend de certaines conditions: et d'abord, il faut que je trouve à m'associer à

quelqu'un de plus convaincu que moi, comme j'avais réussi à le faire pour ma course précédente grâce à un bon jeune homme, un compatriote, un certain Mr Korsakoff, officier d'artillerie, et sorti depuis quelques mois seulement de la maison des fous, dont il a emporté quelques impressions assez originales... Et puis — ou plutôt avant tout — il faut qu'à tout prix j'aie de vos nouvelles. Je viens de télégraphier à Bade-Bade pour réclamer les lettres qui pourraient s'y trouver à mon adresse... et je puis dire avec toute vérité, que j'en ai la fièvre d'incertitude et d'impatience... Voilà deux grands mois que je suis sans nouvelles directes de ma femme et de Marie. J'aurais commis des crimes à être traduit en cour d'assises, que je n'aurais pas mérité un pareil supplice. Ceci, positivement, m'empoisonne tout... Enfin, à la grâce de Dieu... Mais cette expérience ne sera pas perdue pour moi. Pour le 15 août st<yle> russe je serai bien certainement rentré à Pétersb<ourg>. C'est vers cette époque, je suppose, que tes frères doivent y rentrer... Voilà beaucoup de griffonnage, et que vous ai-je dit? — Ma santé est fort bonne, mais je puis bien dire qu'en ce moment c'est le cadet de mes soucis... C'est de vos nouvelles que j'ai besoin...

Перевод:

Мартиньи. Сион. Луэшские источники. Жемми. Кандерстег. Интерлакен. Тун.

Перечень этих мест подводит итог двух последних недель моей жизни путешественника. Это какой-то волшебный мир. Я собственными глазами уверился в том, что все это великолепие существует в действительности. Через месяц-другой буду в этом сомневаться.

За последние две недели мне выпало несколько чудесных минут... Минут, когда я чувствовал, что живу в прошлом, живу той жизнью, какой жили сто лет назад...

Знаешь ли ты, моя милая дочь, что такое, например, *Жемми*? Это отвесная гора высотой в семь тысяч футов, которая отделяет Луэшские источники от восхитительной Кандерстегской долины, ведущей к Тунскому и Бриенцскому озерам... Это один из самых трудных, самых опасных перевалов

через Верхние Альпы. Одна француженка погибла там в прошлом году. Я вскарабкался туда и остановился на месте, где споткнулся мул этой несчастной дамы и откуда бедняжка скатилась, падая с утеса на утес, в пропасть глубиной сто футов. Она только что вышла замуж.

Что невыразимо прекрасно, так это полнейшая тишина, которая царит на этих вершинах. Это особый мир, живым уже не подвластный.

В Интерлакене я встретил множество русских, но никого из хороших знакомых, кроме генерала Путятина[1] и неизбежной мамзель Жерве, которую ее дядя, граф Блудов, пытался было запереть как сумасшедшую в лечебницу; попытка эта, впрочем, ни к чему не привела, если не считать довольно неудачного объяснения, которое бедный граф был вынужден напечатать в газетах, дабы оправдать свою безуспешную затею... Она собиралась рассказать мне эту историю во всех подробностях, однако колокол увозившего ее парохода прервал бедняжку на полуслове...

На Бриенцском озере я ходил смотреть *Гисбах*, освещенный бенгальскими огнями. В тот день я видел, с промежутком в несколько часов, знаменитого Кошута[2] и вдовствующую королеву Неаполитанскую[3].

В Туне я послужил поводом к странному недоразумению. Какие-то тупоумные англичане, прочитав в книге приезжих мое имя, за которым следовало звание камергера, и, как видно, разобрав в моих каракулях лишь слова: *Императора Всероссийского*, вообразили, будто сам российский император, собственной персоной, находится *инкогнито* в гостинице «Бельвю» в Туне; и они столь успешно распустили этот слух, что вечером оркестр гостиницы не преминул, из чувства почтения к августейшему гостю, грянуть «Боже, царя храни...». Однако в конце концов заблуждение их было развеяно...

В *Берне* я видел медведя, который загрыз англичанина и виду не подает, что помнит об этом, а во *Фрибуре* орган, слышанный мною 22 года тому назад, преисполнил меня такой грустью, какую не выразить ни единым человеческим словом.



Ах, дочь моя, и зачем только люди доживают до старости...

Ну так вот, я предполагал писать тебе из всех тех мест, которые перечислил, но не был уверен, следует ли это делать. И оснований для подобной неуверенности было более чем достаточно. В самом деле, я не знаю, что с тобою сделалось и чем я должен объяснить себе то гробовое молчание, которым ты от меня отгородилась... К счастью, беспокойство мое уже исчерпано до дна, а то оно свело бы меня с ума... Последним известием, полученным мною от тебя, было письмо от 2 июля, отправленное в Баден. Пожалуй, ты имела некоторое основание адресовать его туда, ибо мне надлежало быть там 3 недели тому назад. Но в ту минуту, как я собирался туда ехать, мне так живо припомнились кое-какие впечатления, связанные с этим местом, толчея игорных зал, суетливое безделье всего этого люда, более чем наполовину состоящего из сброда, который день-деньской топчется там, как в тупике, — даже высокомерно обособленный кружок наших петербургских дам, на которых я и так вдоволь нагляжусь в течение этой зимы. — Я так живо представил себе все это, что устыдился своей готовности вновь окунуться во все эти прелести, столь знакомые и столь неизменные, тогда как в двух шагах от меня находились величайшие красоты природы, созерцанию коих я мог предаться... Именно этот укор совести и побудил меня предпринять поездку, которую я только что завершил... Сейчас я возвратился на берега Женевского озера и с бесконечным удовольствием вновь свиделся с ними, столько в этой местности совсем особенного очарования. Привела меня сюда также смутная надежда на поездку в Шамони, которую я собирался предпринять еще три недели тому назад, но вынужден был тогда отложить из-за ухудшения погоды. Сейчас самое подходящее время для ее осуществления, но для этого нужны определенные условия. Прежде всего мне следует приискать себе спутника, более решительного, нежели я, такого, как тот, которого мне посчастливилось найти в предыдущую мою поездку в лице одного милого молодого соотечественника, некоего г-на Корсакова, артиллерийского офицера, всего за несколько месяцев перед тем выпущенного из сумасшедшего дома, откуда он вынес довольно своеобразные впечатления... А за-

тем — или, вернее, прежде всего — я должен во что бы то ни стало получить от вас известия. Я только что телеграфировал в Баден-Баден, чтобы вытребовать письма на мое имя, которые могут там оказаться... и скажу со всей искренностью, что нахожусь в лихорадочном возбуждении от неизвестности и нетерпения... Вот уже целых два месяца моя жена и Мари ничего мне не пишут. Если бы даже я совершил преступления, подлежащие уголовному суду, то и тогда не заслужил бы подобной кары. Это решительно отравляет мне всё... Что ж, положимся на милосердие Божье... Но это испытание не пройдет для меня даром. К 15-му августа русского стиля я наверное вернусь в Петербург. Полагаю, что к этому времени возвратятся туда и твои братья... Измарал много бумаги, а что я тебе написал? — Мое здоровье прекрасно, но могу сказать, что в настоящую минуту оно менее всего меня занимает... Известий от вас — вот чего мне нужно...

8. М. П. ПОГОДИНУ

9 декабря 1862 г. Москва

Воскресенье. 9 декабря

Говорят, почтеннейший Михайло Петрович, что мы, как Гомеровы витязи, обменялись шубами[1]. — Убеждениями мы уже давно друг с другом обменялись...

В самую ту минуту, что я хотел послать вам моего человека, приехал ко мне посланный из дворца, который и берется доставить вам ваше. — Но я все-таки завидую моей шубе, что ей удалось побывать у вас, жалею очень, что не мне. — Господь с вами.

В<ам> усердно пред<анный>

Ф. Тютчев

9. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

27 июня 1863 г. Москва

Moscou. Jeudi. 27 jüin

(C'est aujourd'hui l'anniversaire de la bataille de Poltava, mais p<our> le moment il ne s'agit pas de cela.)

Je ne t'écris que p<our> empêcher la prescription du silence. Voilà plusieurs jours que j'attends une réponse à ma dernière lettre écrite de Tsarskoïé. Et parce que j'ai la bonhomie de l'attendre avec une certaine impatience, il est tout simple qu'elle n'arrive pas.

Ma santé va mieux. Mes pieds recommencent à marcher. Je crois vraiment que le nouveau traitement me fait du bien. — Mais parlons de choses plus importantes.

La crise approche — et mes tristes prévisions vont s'accomplir. — On vient d'apprendre que le voyage de l'Imp<ératrice> est remis. — Hier, 26, après une messe de mort, dite p<our> l'Emp<ereur> défunt, le Conseil des Ministres a dû se réunir p<our> prendre connaissance des réponses aux notes des puissances. C'est samedi prochain, 29, qu'elles partiront. Avant quatre semaines nous pourrions avoir les escadres ennemies devant Kronstadt. Tout cela est horriblement angoissant. — Ici, comme dans toute la Russie, l'esprit est bon, mais on se défie de la faiblesse et de l'incohérence du gouv<ernemen>t. Il n'y a pas à se le dissimuler. C'est l'existence même de la Russie qui est en question. Je m'attends à tout — à ce qu'il y a de pire — et je ne me sens plus assez de vie, assez d'avenir pour espérer de voir luire le lendemain de la catastrophe qui nous menace[1].

Ne trouves-tu <pas> qu'il est particulièrement <absurde>* d'être séparés dans de pareils moments?..[2] Mais il faut s'habituer à tout. Comment va Marie? Embrasse-la de ma part. Elle aussi me manque beaucoup dans les circonst<ances> prés<entes>. Embrasse aussi les garçons. Que Dieu vous garde.

A toi p<our> ce qui me reste de vie.

Перевод:

Москва. Четверг. 27 июня

(Сегодня годовщина Полтавской битвы, но в настоящую минуту не в этом дело.)

---

* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.

Пишу тебе лишь затем, чтобы нарушить долгое молчание. Вот уже несколько дней я жду ответа на мое последнее письмо, написанное в Царском. И так как я имею простодушие ожидать его с некоторым нетерпением, естественно, что он не приходит.

Мое здоровье лучше. Ноги начинают опять ходить. Я в самом деле думаю, что новое лечение приносит мне пользу. — Но поговорим о вещах более важных.

Кризис приближается — и грустные мои предвидения могут осуществиться. — Только что стало известно, что путешествие императрицы отложено. — Вчера, 26-го, после заупокойной обедни по покойном государе, Комитет министров должен был собраться, чтобы ознакомиться с ответами на ноты держав. В будущую субботу, 29-го, они будут отправлены. Не более чем через четыре недели неприятельские эскадры могут появиться перед Кронштадтом. Все это ужасно тревожно. — Здесь, как и по всей России, настроение хорошее, но опасаются слабости и непоследовательности правительства. Нечего обманывать себя. Дело идет о самом существовании России. Я ожидаю всего — всего наихудшего — и, чувствуя, что мои жизненные силы и отпущенное мне время на исходе, уж и не надеюсь увидеть тот день, который воссияет после угрожающей нам катастрофы[1].

Не находишь ли ты, что вопиющая нелепость — переживать подобные минуты порознь?..[2] Но надо привыкать ко всему. Как там Мари? Сейчас мне ее тоже очень недостает. Поцелуй также мальчиков. Да хранит вас Бог.

Твой на всю оставшуюся мне жизнь.

10. А. М. ГОРЧАКОВУ

11 июля 1863 г. Москва

Moscou. Jeudi. 11 juillet

Mon Prince,

C'est d'un cœur léger et tout joyeux que je vous adresse ces quelques lignes, à la hâte, pour vous offrir mes plus vives félicitations... C'est hier que vos dépêches[1] sont parvenues



ici. Eh bien, je m'estime heureux de m'être trouvé à Moscou dans ce moment-là... Cela a été, phrase à part, un moment historique...

Après toutes ces insultes, toutes ces insolences officielles de l'étranger, après toutes ces incertitudes et ces angoisses en vue de l'intérieur, on a éprouvé, tout à coup, comme un sentiment de délivrance. On a respiré à l'aise.

Rien dans ces bienheureuses dépêches n'a été perdu ici. Pas une nuance, pas une intention, pas une inflexion de voix n'a échappé à l'appréciation du public, ou plutôt du pays. Tout a été compris et senti. Chacun se sentait heureux et fier de s'entendre parler de la sorte, car chacun retrouvait son accent le plus intime dans cette voix qui parlait au nom de tous.

Vous savez, mon Prince, que c'est le journal de *Катков* qui a donné le premier vos dépêches, texte et traduction. Hier, je ne sais pourquoi, la *Gazette de Moscou* a été distribuée assez tard, pas avant les cinq heures du soir. Et bien, déjà à 7 heures on voyait au boulevard de la Tverskoi, où je demeure, des groupes s'entretenir avec animation, au sujet des dépêches... Moi-même, j'ai été abordé par un inconnu qui m'a demandé, si je les avais lues, et sur ma réponse affirmative cet homme m'a dit: «Дай Бог здоровья князю Горчакову. Не выдал...»

Le soir je suis allé au Club, et bien, mon Prince, le Club Anglais lui-même a été unanime dans les hommages qu'il vous rendait. On avait été sur le point de vous envoyer une dépêche télégraphique, pour vous remercier. — Mais on a craint que, dans les circonstances actuelles, une pareille démonstration n'eût pas tout le sérieux du sentiment qu'elle devait exprimer... En un mot, mon Prince, c'est de l'histoire, que l'impression que j'ai vu se produire ici, à Moscou, au contact de votre parole, — de ce langage si digne et si ferme, que vous avez eu l'honneur de faire parler à la Russie, et encore une fois, je m'estime heureux d'en avoir été le témoin. — Et puisque je me sens heureux, je veux être indiscret. Faites-moi de grâce donner signe de vie par quelqu'un de votre entourage. Voici mon adresse: *Близъ Тверской. Гнезненский переулок, дом бар. Корф.*

Ф. Тютчев

Перевод:

Москва. Четверг. 11 июля

Дорогой князь,

С ликованием в сердце тороплюсь набросать вам несколько строк, дабы принести мои самые горячие поздравления... Ваши депеши[1] стали известны здесь вчера. И я почитаю себя безмерно счастливым, что оказался в Москве в такой момент... Это был, без преувеличения, момент исторический.

После всех этих оскорблений, всех этих официальных выговоров извне, после всех этих сомнений и тревог относительно дел внутренних, с души вдруг как будто спал камень. Задышалось свободно.

Ничто в этих благословенных депешах не осталось здесь без внимания. Каждый оттенок, каждая грань мысли, каждое ударение были по достоинству оценены общественностью — или, вернее, страной. Всякого переполняло счастье и гордость за эту речь, ибо всякий слышал свою собственную сокровенную ноту в том голосе, который говорил от имени всех.

Вы знаете, дорогой князь, что газета *Каткова* первая обнародовала ваши депеши в подлиннике и в переводе. Вчера, не знаю почему, «Московские ведомости» вышли довольно поздно, не ранее пяти часов вечера. И вот уже в 7 часов на Тверском бульваре, где я обитаю, толпились люди, с оживлением обсуждавшие ваши депеши... Меня самого остановил какой-то незнакомец, чтобы спросить, читал ли я их, и на мой утвердительный ответ этот человек сказал: «Дай Бог здоровья князю Горчакову. Не выдал...»

Вечером я ездил в Английский клуб, и, представьте себе, князь, даже этот клуб единодушно вас превозносил. Едва-едва не послали вам благодарственную телеграмму. — Однако верх взяло опасение, что в настоящих обстоятельствах подобный жест не передал бы всей серьезности чувств, за ним стоящих... Одним словом, князь, впечатление, произведенное здесь, в Москве, у меня на глазах, вашим заявлением, — тем в



высшей степени достойным и твердым слогом, которым по вашему благородному почину заговорила Россия, — впечатление это есть достояние истории, и, повторюсь, я безмерно счастлив, что оказался ему свидетелем. — А счастливому хочется быть нескромным. Сделайте милость, дайте мне знать о себе через кого-либо, кто у вас сейчас под рукой. Вот мой адрес: *Близь Тверской. Гнезненский переулок, дом бар. Корф.*

Ф. Тютчев

11. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

11 июля 1863 г. Москва

Moscou. Jeudi. 11 juillet

Je reçois à l'instant ta lettre en date du 6 — et quand j'en suis venu à cet endroit de ta lettre où tu me dis: «Je fais d'énormes promenades à moi toute seule et cela me rappelle les temps de ma jeunesse où je vivais ainsi seule», — je ne puis te dire quel flot de mélancolie poignante m'a submergé le cœur. Dans ce moment j'aurais de bon cœur sacrifié une année de vie pour me trouver transporté auprès de toi. Ah, il y a des fatalités bien odieuses... Mais de grâce, ne sois pas en peine de ma santé. Je me remets et serai bientôt réintégré dans mon état normal, bien peu normal, il est vrai. Il me tarde de savoir Marie revenue auprès de toi[1]. Je sens si bien comme sa présence te manque et je lui *gönne* la tienne, pour un moment de laquelle je donnerais je ne sais quoi...

Nous touchons à la crise. Hier on a reçu les réponses de Gortchakoff qui ont été accueillies ici avec une satisfaction unanime[2]. Elles sont dignes et fermes et ne laissent aux puissances d'autre alternative qu'une honteuse retraite ou la guerre. — Aussi plus que jamais je crois à la guerre et je la crois imminente. Pour Napoléon surtout c'est devenu une question de vie ou de mort, au moins politique.

J'ai écrit ce matin à Gortch<akoff> pour le complimenter — et cette fois j'ai eu la satisfaction de ne lui dire que des choses vraies (ce qui est bien agréable). Ses notes, encore une fois, sont très bien et tu les liras avec plaisir. — Mais je vous plains dans le moment actuel d'être pour vos informations à la merci de la poste. Ici,

grâce à mes relations intimes et continuelles avec *Катков*, je suis presqu'aussi à la source des nouvelles que si j'étais à Péters<bourg>. — C'est une nature très sympathique que Катков. Je dîne demain chez lui et nous boirons à la santé de Gortch<akoff>. — Je l'en ai prévenu.

Je vois ici beaucoup l'ami *Павлов, Аксаков, Погодин* et tutti quanti. Je me félicite de m'être trouvé à Moscou dans ce moment-ci. Je compte rester encore ici presqu'à la fin du mois, puis je retourne à Péters<bourg> et puis, s'il n'y a pas guerre — et si il y a un bout de soleil en août — il pourrait bien se faire qu'en dépit de tes exhortations vous me voyez encore arriver à Ovstoug... Ah que n'y suis-je déjà!

Tu as mal jugé *Полонский*. Il est ici et part demain p<our> aller v<ou>s rejoindre. Il compte passer une dizaine de jours chez vous.

Quelle plume, quelle écriture, quel supplice![3] Il faut avoir le diable au corps p<our> s'y exposer. Comment déchiffreras-tu cette abomination? — Dieu te garde.

Перевод:

Москва. Четверг. 11 июля

Я только что получил твое письмо от 6-го — и когда дошел до того места, где ты мне говоришь: «Я совершаю долгие прогулки в полном одиночестве, и это напоминает мне времена моей молодости, когда я жила одна», — не могу тебе сказать, какой прилив жгучей грусти захлестнул мое сердце. В эту минуту я охотно пожертвовал бы годом жизни, чтобы очутиться подле тебя. Ах, как порой издевается над нами судьба... Но, пожалуйста, не беспокойся за мое здоровье. Я поправляюсь и скоро буду в своей обычной форме, правда, весьма неважной. Жду не дождусь известия, что Мари к тебе вернулась[1]. Мне ли не понимать, как тебе недостает ее, и я ей *gönne*[*] тебя, за мимолетную встречу с которой я отдал бы все, что угодно...

Мы приближаемся к кризису. Вчера получены были ответы Горчакова, встреченные здесь с единодушным одобрением[2].

---

[*] охотно отдаю (*нем.*).

Они написаны с достоинством и твердостью и не оставляют державам иного выбора, кроме постыдного отступления или войны. — Поэтому я более, чем когда-либо, верю в войну и считаю ее неизбежной. Особенно для Наполеона это стало вопросом жизни или смерти, по крайней мере, политической.

Сегодня утром я отправил Горчакову письмо с поздравлениями — и на сей раз имел удовольствие сказать ему только правду (весьма приятную). Повторяю, его ноты очень хороши, и ты порадуешься, читая их. — Какая жалость, однако, что в данную минуту вы в получении известий целиком зависите от почты. Здесь, благодаря моим близким и постоянным сношениям с *Катковым*, я почти так же у источника новостей, как и в Петербурге. Катков очень симпатичная личность. Завтра я у него обедаю и мы будем пить за здоровье Горчакова. — Я его об этом уведомил.

Здесь я часто вижу знакомца *Павлова, Аксакова, Погодина* и tutti quanti*. Очень рад, что попал в Москву в этот момент. Рассчитываю пробыть здесь почти до конца месяца, потом вернусь в Петербург, а потом, если не откроются военные действия — и если в августе не скроется солнышко, — может статься, несмотря на твои увещания, вы еще увидите меня в Овстуге... Ах, если бы я уж был там!

Ты ошиблась в своем суждении о *Полонском*. Он здесь и едет к вам завтра. Он рассчитывает провести у вас дней десять.

Что за перо, что за почерк, что за пытка![3] Надо же быть таким одержимым, чтобы себя этому подвергать. Как разберешь ты эту гнусность? — Да хранит тебя Бог.

12. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

21 июля 1863 г. Москва

Moscou. Dimanche. 21 juillet

Je vois bien que je n'aurai pas le dernier mot de ton silence et que j'aurai beau ajourner mes écritures, cela ne hâtera pas l'arrivée des tiennes. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un silence simple,

---

* всех остальных (*ит.*).

mais double et triple! Car *l'excellent*[1], lui aussi, n'a pas donné signe de vie depuis son départ de Moscou. De manière que je suis dans la plus entière ignorance de tout ce que je tiens le plus à savoir, comme, p<ar> ex<emple>, quand, où et comment il a rejoint Marie, comment, cette jonction faite, ils sont revenus à Ovstoug — etc. etc. Enfin, si toutes ces choses s'étaient passées en Australie, elles ne m'auraient pas été plus profondément inconnues...

Il est assurément très malheureux et quelque peu niais que l'on tienne tant à savoir des choses que d'autre part on se soucie si peu de v<ou>s apprendre... Mais, susceptibilité à part, j'ai beau faire, je ne puis m'empêcher dans mes moments de *spleen* de me laisser à des mouvements d'inquiétude, et la profonde sécurité qui m'entoure ici ne fait que m'irriter, sans me rassurer le moins du monde.

Et cependant ce matin encore, à l'heure de la messe, je me suis laissé transporter en imagination dans l'église d'Ovstoug, où je vous ai vu tous successivement arriver, les uns après les autres, jouissant d'avance de la surprise que vous éprouvriez de m'y voir. Puis, la messe finie, nous sommes rentrés tous ensemble par cette allée, si bien connue de mon enfance, et puis on m'a servi mon déjeuner sur le balcon, du côté du jardin inférieur... Marie faisait le thé, toi, tu causais, comme d'habitude, avec la *Nounu*[2], et moi — avec Polonsky. Les garçons étaient je ne sais où... Et voilà de ces hallucinations qui me hantent, sans que j'y pense, à travers toutes les préoccupations politiques qui vont se compliquant et s'aggravant de jour en jour.

Je t'ai dit, ce me semble, que j'avais écrit à Gortchakoff pour lui rendre compte de l'accueil que Moscou avait fait à ses dépêches. Il m'a fait répondre, par *Jomini*[3], une lettre que je t'enverrai dès qu'elle me reviendra, car elle court la ville. Comme fait, elle ne t'apprendra rien de nouveau, mais considérée comme profession de foi elle ne laisserait rien à désirer, si ce n'est la certitude qu'on y restera fidèle. Mais c'est là malheureusement ce sur quoi on peut le moins compter. Un incident, qui date d'hier, ne justifie que trop ces doutes et ces craintes.

Voici ce que c'est. On avait voulu organiser ici, sous forme d'un dîner public, une grande manifestation d'adhésion nationale à la ligne politique exprimée dans les dépêches, et cela dans le sens le plus loyal de dévouement pour l'Empereur et son gouvernement. Il va sans dire que le G<énér>al Тучков n'a pas cru pouvoir prendre sur lui d'autoriser ce dîner qui devait être de deux mille personnes[4]. Il en a donc référé à Pétersb<ourg> et là, comme de raison, il a été décidé qu'il valait mieux s'en abstenir. C'est toujours l'ancienne chanson. Ici, comme tu le penses bien, cette marque de défiance stupide et si fort à contresens a produit le plus détestable effet. Aussi, sous le coup de cette impression toute vive, j'ai écrit quelques mots à Tsarskoïé[5], que j'aimerais savoir interceptés par ceux à qui ils sont réellement destinés. Hélas, c'est de l'enfantillage de ma part, je le sais bien, mais il y a des occasions où plutôt que de se taire on haranguerait les murs... Voici, à la date d'aujourd'hui, comment se présente la situation du dehors. Notre réponse leur est tombée comme une tuile sur la tête, tant les puissances dans leur insolente outrecuidance s'attendaient peu à rencontrer une résistance sérieuse de notre part[6]. On raconte que Napoléon, après avoir pris connaissance de la note qui lui est adressée, s'est écrié: «C'est plus qu'infâme, c'est ridicule». Ce mot-là est un arrêt du Destin. Désormais la question pour lui n'est plus politique. C'est une question toute personnelle entre, d'une part, la Russie et son avenir, et d'autre part, cette misérable carcasse de N<apoléon> qui peut d'une heure à l'autre rendre le reste du souffle qui l'anime. — L'Angleterre, qui comprend cela à merveille, paraît toujours très hésitante. Et si elle se décide à l'abstention pour tout de bon, ce misérable aventurier finira, comme il a commencé, par un fiasco des plus ridicules, auquel cette fois il ne survivra pas. Mais... hélas, qui sait l'avenir! — En voilà assez. Peut-être voudrais-tu savoir, comment je me porte. L'autre jour j'ai eu une assez légère et courte récidive de mon mal de pied. Mais cela n'a pas duré. Au total je sens que le traitement, que je suis, me fait du bien. Les poudres homéopathiques que je prends en ce moment-ci agissent sur ce siège du mal plus fortement que tout ce que j'ai pris jusqu'à présent. Aussi le médecin me promet-il une guérison complète.

Ainsi soit-il! — Mais tout cela ne fait pas que je ne sois pas dans la plus entière ignorance de ce qui vous concerne et que tout ce griffonnage, dont je viens de couvrir 4 pages, ne me fasse l'effet d'un cri dans le désert.

A la garde de Dieu.

Перевод:

Москва. Воскресенье. 21 июля

Вижу, что мне не переиграть тебя в молчанку и я напрасно медлю с отсылкой моего письма, ведь это не может ускорить прибытия твоего. Но на сей раз это не просто молчанка, а дважды и трижды молчанка! Ибо даже *милейший*[1] не подавал признаков жизни со своего отъезда из Москвы. Так что я в полнейшей неизвестности относительно того, что больше всего хотел бы знать: когда, где и как, например, он встретился с Мари, как после этой встречи они вернулись в Овстуг — и т. д. и т. д. Одним словом, если бы все это происходило в Австралии, я не был бы в более глубоком неведении...

Конечно, весьма жалко и довольно глупо выглядит человек, который жаждет знать о том, о чем с другой стороны его и не думают извещать... Но если отвлечься от обид, то я не могу совладать с накатывающим на меня в минуты *сплина* беспокойством, и полная безопасность, в которой я здесь нахожусь, только раздражает меня, ничуть не умиротворяя.

К слову сказать, не далее как сегодня утром, в час обедни, я мысленно перенесся в овстугскую церковь и встречал всех вас у входа, одного за другим, заранее наслаждаясь вашим удивлением при виде меня там. Затем, по окончании обедни, мы все вместе вернулись домой по аллее, так хорошо знакомой мне с детства, потом мне подали завтрак на балкон со стороны нижнего сада... Мари разливала чай, ты, по обыкновению, разговаривала с *Нуну*[2], я — с Полонским. Мальчики где-то пропадали... Вот какие видения, помимо моей воли, преследуют меня среди всех политических тревог, которые день ото дня растут и множатся.



Я, кажется, говорил тебе, что писал Горчакову, чтобы известить его о том, как Москва приняла его депеши. Он поручил *Жомини*[3] ответить мне письмом, которое я пошлю тебе, как только получу назад, ибо оно ходит по городу. В смысле фактов оно не содержит ничего для тебя нового, но если рассматривать его как политическое кредо, то о лучшем не надо бы и мечтать, будь у нас уверенность, что ему не изменят. Но, к сожалению, на это можно менее всего рассчитывать. Не далее как вчера произошло нечто, вполне оправдывающее эти сомнения и опасения.

Вот в чем дело. Здесь хотели устроить грандиозный общественный банкет с целью выразить народное сочувствие той политической линии, которая была определена в депешах, и все это в самом верноподданническом духе по отношению к государю и его правительству. Само собой разумеется, генерал Тучков не счел возможным взять на себя ответственность за этот обед, в котором должны были принять участие две тысячи человек[4]. Он снесся с Петербургом, и там, как и следовало ожидать, решили, что от подобной манифестации лучше воздержаться. Это все та же старая песня. Здесь, как ты понимаешь, это глупое и бессмысленное недоверие произвело самое отвратительное впечатление. Ну, я, вспылив, черкнул несколько горячих слов в Царское[5] и хотел бы, чтобы они были перехвачены теми, к кому, в сущности, относятся. Увы, это ребячество с моей стороны, я это прекрасно понимаю, но бывают случаи, когда предпочитаешь проповедовать стенам, чем молчать... А вот каким в настоящую минуту представляется положение дел вовне. Наш ответ свалился им как снег на голову, настолько державы в своей наглой заносчивости не ожидали от нас серьезного отпора[6]. Рассказывают, будто Наполеон, прочитав обращенную к нему ноту, воскликнул: «Это более чем гнусно, это смешно». Его устами глаголила сама Судьба. Отныне для него это уже спор не политический. Это чисто личный спор между Россией и ее будущностью, с одной стороны, и с другой — этой жалкой тенью Наполеона, которая может с минуты на минуту испустить едва теплящийся в ней дух. — Анг-

2 Зак. 7509

лия, прекрасно это понимающая, кажется, пока еще сильно колеблется. И если она действительно склонится к тому, чтобы воздержаться, этот жалкий авантюрист кончит, как и начал, самым смехотворным фиаско, которого на сей раз он не переживет. Но... увы, кому дано провидеть будущее! — Однако довольно. Может быть, ты хочешь знать, как мое здоровье. На днях у меня был довольно легкий и короткий рецидив боли в ноге. Но она быстро прошла. В общем, я чувствую, что проводимое мною лечение приносит мне пользу. Гомеопатические порошки, которые я сейчас принимаю, действуют на этот очаг болезни сильнее, чем всё, что я принимал до сих пор. И доктор обещает мне полное выздоровление. Да будет так! — Только из всего этого не следует, что неведение, в котором я нахожусь относительно вас, станет менее гнетущим и что все эти каракули, которыми я испачкал 4 страницы, не окажутся гласом вопиющего в пустыне.

Храни тебя Господь.

13. А. М. ГОРЧАКОВУ

28 июля 1863 г. Москва

Moscou. Dimanche. 28 juillet

Mon Prince,

J'ai reçu votre chère lettre juste au moment où j'allai dîner chez *Katkoff*. Je vous laisse à juger de la satisfaction intime que j'ai eue à la lui lire et de celle non moins vive avec laquelle cette lecture a été accueillie. L'excellent homme a été pénétré des bonnes et gracieuses paroles que vous lui adressez, de ces paroles dont vous avez le secret...

Votre dernière dépêche à Budberg[1] est venue ici à point nommé pour faire tomber à plat les vagues appréhensions que la presse étrangère aurait aimé à accréditer sur de prétendues défaillances et des concessions éventuelles de notre part.

On a retrouvé dans cette dépêche le même accent et la même inspiration que dans les précédentes, et on vous a su gré, mon Prince, de vous être hâté de la publier. Cette publication, assurément, ne facilitera pas à Mr Drouin de l'Huys[2] la rédac-

tion de sa dépêche. — En un mot, votre position ici est grande et belle. Le Bon Dieu vous devait bien cela... On sent que vous êtes à l'unisson du pays, et que ce qui vous inspire et vous soutient envers et contre tous, c'est la conviction profonde que le pays dans les circonstances données est prêt à tous les sacrifices, à tous, sans exception, sauf une seule: celui de son honneur. Je sais que cette phrase a été dite et répétée vingt fois. Mais ce qui caractérise précisément la situation, c'est que cette fois cette phrase est une réalité.

Aussi bien qu'on ne se dissimule guères ici la gravité de la question extérieure, — grâce à vous, mon Prince, ce n'est pas elle qui préoccupe le plus les esprits... La grande préoccupation est ailleurs. Elle est à Varsovie... Je ne saurai vous rendre le sentiment de dégoût, de plus en plus exasperé, qu'inspire ici le spectacle de tout ce qui s'y passe, et cette impression est constamment ravivée par des informations *très précises*... La retraite du Marquis[3] avait été vue avec plaisir, mais c'est qu'on s'attendait à la voir suivie d'une autre, encore plus impatiemment désirée. Car, à tort ou à raison, on est convaincu ici que la présence du Grand-Duc à Varsovie y rendra impossible l'action de toute autorité sérieuse et efficace[4]. On le croit trop identifié à l'absurde système que nous avons vu à l'œuvre et dont nous recueillons les fruits pour qu'il fût permis d'espérer que, sans se compromettre encore davantage, il puisse s'associer à un système tout opposé, celui de l'unité absolue dans le pouvoir, en un mot de la dictature militaire. Or, on ne croit pas ici qu'il y ait dans le Grand-Duc l'étoffe d'un dictateur... Eh bien, mon Prince, ce résultat si desiré, si évidemment nécessaire — la cessation la plus prompte d'un régime qui est un scandale et un danger — eh bien, ce service signalé, c'est encore de vous, mon Prince, de votre *légitime* influence que le pays espère l'obtenir. Il en est temps, il en est plus que temps.

Mais je ne veux pas abuser du vôtre, et il me reste tout juste assez de place pour vous réitérer, mon Prince, du fond du cœur, mes remerciements et l'expression de mon bien tendre dévouement.

Ф. Тютчев



Перевод:

Москва. Воскресенье. 28 июля

Любезный князь,

Я получил ваше драгоценное письмо в ту самую минуту, когда шел обедать к *Каткову*. Предоставляю вам судить о том глубоком удовлетворении, которое я испытал при чтении ему этого письма, и о том, не меньшем, удовлетворении, с коим это чтение было встречено. Этот прекрасный человек был до глубины души растроган добрыми и задушевными словами, обращенными к нему, теми словами, что вы один умеете находить.

Ваша последняя депеша Будбергу[1] появилась здесь как раз вовремя, чтобы вконец развеять те смутные опасения, которые хотела бы посеять иностранная печать относительно мнимых проявлений слабости и возможных уступок с нашей стороны.

В этой депеше почувствовали тот же тон и то же вдохновение, что и в предыдущих, и были признательны вам, князь, за то, что вы поспешили ее обнародовать. Это обнародование, конечно же, не облегчит господину Друэну де Люису[2] составление его депеши. — Одним словом, ваше нынешнее положение высоко и блестяще. И вы заслужили это пред Господом Богом... Чувствуется, что вы действуете согласно устремлениям страны, а вдохновляет и поддерживает вас вопреки всем и вся глубокая уверенность в том, что в настоящих условиях страна готова пожертвовать чем угодно, не поступаясь только одним: собственной честью. Я знаю, что это говорилось и повторялось двадцать раз. Но на сей раз эти слова подтверждаются действительностью — и это вполне определяет ситуацию.

Хотя никто здесь и не обманывается насчет серьезности конфликта с заграницей, но благодаря вам, дорогой князь, не он теперь занимает умы. Не им поглощено всеобщее внимание, а тем, что творится в Варшаве... Я не смогу передать вам чувства отвращения, все более и более ожесточенного, которое вызывается здесь зрелищем происходящего



там, и это ощущение постоянно поддерживается *весьма точными* сообщениями... Отставка маркиза[3] была встречена здесь с удовольствием, так как полагали, что за ней последует другая, ожидаемая с еще большим нетерпением. Ибо — справедливо ли, нет ли — здесь уверены, что, пока великий князь в Варшаве, никакие серьезные и действенные меры к укреплению там власти невозможны[4]. Его личность слишком отождествляют с существовавшей до сих пор нелепой системой управления, плоды коей мы пожинаем, чтобы можно было надеяться на то, что, не поставив себя в еще более неловкое положение, он сумеет примениться к прямо противоположной системе — абсолютному единовластию, сиречь к военной диктатуре. Одним словом, здесь не слишком уверены в том, что великий князь обладает способностями диктатора. И вот, князь, этого исхода, столь желанного, столь очевидно необходимого — скорейшего уничтожения позорного и опасного порядка, — этой выдающейся услуги отчизна ожидает опять-таки от вас, от вашего *законного* влияния. Пора, давно пора.

А мне пора и честь знать, тем более что свободного места остается ровно столько, чтобы от всего сердца еще раз выразить вам, князь, мою благодарность и заверить в моей нежнейшей преданности.

Ф. Тютчев

14. И. С. АКСАКОВУ

8 августа 1863 г. Москва

Я вчера послал к вам, почтеннейший Иван Сергеевич, довольно плохие стихи и просил бы вас *не помещать* их в вашем «Дне»[1], — но все-таки, для очистки совести, не могу не сообщить вам следующих поправок — первые четыре стиха заменить, напр<имер>, этими:

Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон...
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.

И далее, слово *вертеп* заменить словом *притон*...

Иду сейчас в Кремль[2] поклониться русскому народу, этому, как и следует, в его минуты вдохновения, великому бессознательному поэту.

Вам душевно преданный

Ф. Тютчев

8 августа 1863

15. М. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

8 августа 1863 г. Москва

Moscou. Jeudi. 8 août 1863

C'est à vous, ma fille chérie, que s'adressent ces lignes qui, je l'espère, vous parviendront p<our> le 15[1]. Sachez, que j'aurais beaucoup donné pour être, ce jour-là, avec vous... Vous me manquez, l'une et l'autre, plus que je ne puis le dire.

Ce matin je suis allé au Kremlin pour assister à la sortie de l'Empereur. Il fait aujourd'hui un temps magnifique. Un ciel bleu, un soleil splendide. — L'accueil fait par le peuple à l'Empereur a été à l'avenant. Que n'étais-tu là, avec moi, ma fille chérie, vous auriez dûment apprécié cette belle journée.

Hier, on a reçu ici de Wilna une nouvelle des plus significatives. Voici ce que c'est. Une députation des paysans du Royaume de Pologne s'est rendue auprès de *Мих<аил> Ник<олаевич> Муравьев* pour le prier de vouloir bien les prendre sous sa protection, — disant qu'ils ne pouvaient pas compter sur celle des autorités de Varsovie. La députation devait se composer de *deux mille* personnes, et ce n'est qu'à la demande de *Mour<avieff>* qu'elle a été réduite à vingt. — Quelle révélation et quelle leçon! — Hier, à dîner chez Катков, on m'a assuré qu'on avait eu la nouvelle que l'assassin de *Domeiko*[2] à Wilna a été arrêté et déjà pendu. — Il paraît que décidément à Wilna la crise s'est faite et que même la majeure partie de la société polonaise est en pleine réaction contre les terroristes... C'est lundi dernier, le 5, que les notes ont dû être remises à Gortch<akoff>[3]. — Mais maintenant tout cela n'a plus qu'un intérêt de curiosité. — La coalition est p<our> le moment désorganisée — grâce à l'Angleterre[4].

Napoléon III est *floué*. Il faudra voir ce que le ressentiment de cet échec, le plus grave qu'il ait subi, le portera à faire. – Car il est impossible qu'il se résigne à la situation qui lui est échue, et on peut, selon moi, s'attendre de sa part aux résolutions les plus extrêmes.

Je ne suis pas parvenu à voir Anna à leur passage, attendu que le convoi Imp<érial> n'est pas entré à la gare de Moscou. Anna m'a écrit de Wladimir[5]. Elle me dit dans sa lettre que maintenant, que la voilà réduite à la société intime, elle se fait l'effet d'un *naufragé* chez quelque peuplade primitive. – On prétend qu'ils ne reviendront qu'à la fin de novembre. – Moi, je pars demain, très décidément, p<our> Pétersb<ourg>. Ah, que j'aurais mieux aller vers vous, fût-ce même pour rester avec vous jusqu'à l'arrière-automne. – Quant à ma pauvre mère, qui est plus folle que jamais, elle s'est mise en tête qu'on va m'envoyer en Sibérie et que je ne la quitterai que p<our> prendre le chemin de l'exil. Toutes ces extravagances me portent horriblement sur les nerfs. – Ah, du calme, du calme à tout prix. – Que Dieu v<ou>s protège.

Перевод:

Москва. Четверг. 8 августа 1863

Тебе, моя милая дочь, адресованы эти строки, которые, я надеюсь, придут к вам не позже 15-го[1]. Знайте, что я много бы дал, чтобы быть в этот день с вами... Не могу выразить, как я по вас скучаю, и по той и по другой.

Сегодня утром я присутствовал в Кремле при выходе государя. Погода нынче великолепная. Небо синее, солнце ослепительное. – И встреча, устроенная государю народом, не уступала им в яркости. Жаль, что тебя не было там со мной, моя милая дочь, ты бы сумела по достоинству оценить этот прекрасный день.

Вчера здесь было получено из Вильны известие чрезвычайной важности. И вот какое. Депутация крестьян из Царства Польского явилась к *Михаилу Николаевичу Муравьеву* умолять его, чтобы он согласился взять их под свою защи-

ту, — дескать, на варшавские власти надежды мало. Депутация предполагалась *двухтысячная*, и только по просьбе *Муравьева* ограничились двадцатью выборными. — Какое разоблачение и какой урок! — Вчера на обеде у Каткова меня уверяли, будто пришло донесение, что убийца *Домейко*[2] схвачен и уже повешен. — Судя по всему, перелом в Вильне явно наступил и даже бóльшая часть польского общества настроена против террористов... В прошлый понедельник, 5-го, Горчакову должны были вручить ноты[3]. — Однако теперь это вызывает только любопытство. — Коалиция в данный момент в полном разброде — благодаря Англии[4]. Наполеон III *в дураках*. Надо еще будет поглядеть, куда после этого поражения, самого тяжелого из всех, что он потерпел в жизни, заведет его ярость. — Ибо невероятно, чтобы он смирился с положением, в которое попал, и, мне кажется, можно ждать от него любых крайностей.

Мне не удалось повидаться с Анной, бывшей тут проездом, так как императорский поезд не останавливался на московском вокзале. Анна написала мне из Владимира[5]. Она говорит в своем письме, что теперь, когда ее круг общения столь тесен, она чувствует себя *жертвой кораблекрушения* в окружении горстки аборигенов. — Говорят, они вернутся не ранее конца ноября. — Я же уже точно еду завтра в Петербург. Ах, как бы я хотел покатить вместо этого к вам, пусть даже с условием задержаться у вас до поздней осени. — Что до моей бедной матери, у которой голова плоха, как никогда, то ей втемяшилось, будто меня ссылают в Сибирь и я покидаю ее только затем, чтобы отправиться по этапу. Все эти чудачества страшно действуют мне на нервы. — Ах, покоя я жажду, покоя! — Да хранит вас Господь.

16. И. С. АКСАКОВУ

9 августа 1863 г. Москва

Прошу вас убедительно, почтеннейший Иван Сергеевич, делать с моими виршами что вам угодно — т. е. изменить, поправить и усилить... Спешу, уезжаю сегодня и поручаю себя



вашему дружественному расположению. — Когда будете писать к Анне?

Вам пред<анный>

Ф. Тютчев

P. S. Вместо слова *бессмысленной*, не лучше ли *неистовой*?

17. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

26 августа 1863 г. Петербург

Pétersbourg. Lundi. 26 août 1863

Merci, ma fille chérie, de votre bonne lettre qui m'a fait grand plaisir. J'espère que celle-ci t'arrivera à point nommé pour te souhaiter la bienvenue à Moscou. — Et moi aussi j'ai ressenti comme une fâcheuse privation ton absence de Moscou pendant les deux mois de séjour que j'y ai fait[1] et qui m'ont laissé un très bon souvenir, un souvenir lumineux en dépit du mauvais temps. J'y ai été témoin de quelque chose, à quoi on ne saurait contester une signification historique. C'est l'accueil fait par l'opinion aux dépêches du P<rinc>e Gortchakoff[2]. — C'est peut-être la toute première fois où la fibre nationale a vibré au contact de la diplomatie russe. Aussi les quelques lignes, que j'ai écrites à la hâte sous le coup même de l'impression[3], ont-elles eu un sort tout particulier. — Comme s'était le premier bulletin de la victoire remportée, arrivé de Moscou, elles ont été aussitôt communiquées en haut lieu, à l'Impératrice d'abord, qui avait, à ce qu'il paraît, exprimé des doutes sur l'impression que le ton général des dépêches produirait à Moscou. — Puis la lettre ayant été lue par l'Empereur, celui-ci a dit qu'elle aurait dû être communiquée à Mlle Anna, pour *l'amener à des sentiments plus favorables au Vice-Chancelier.* C'est le P<rinc>e Gortch<akoff> lui-même qui m'a conté cela. — Hier j'ai dîné chez lui à Tsarskoïé et j'ai recueilli des détails très curieux sur ce qui s'y est passé dans ces derniers temps, dans la question Constantin. — L'Empereur, au dire de tout le monde, s'est admirablement conduit dans toute cette affaire. Il a su concilier dans une mesure parfaite sa tendresse très vive pour son frère avec une fermeté à toute épreuve. Aussi on peut considérer le règne malencontreux de celui-ci comme fini[4]. C'est demain,

le 27, qu'il quitte Varsovie, avec femme et enfants, et se dirige par Vienne et le Danube en Crimée. Tous ceux qui l'ont vu ici s'accordent à dire qu'il faisait pitié à voir, tant il se sentait écrasé par la *défaveur* publique. C'est demain aussi que partiront les réponses du P<rinc>e Gortchakoff, très laconiques cette fois, et déclarant la question fermée, sinon décidée[5]. Elles ne tarderont pas à paraître dans les journaux. — L'Empereur s'en va le 31 en Finlande, où il fera le 3 septembre l'ouverture de la Diète[6]. Le 4 il assistera à une grande fête que Mad<ame> Aurore[7] lui donne dans sa maison de campagne, près d'Helsingfors; le 8 il sera de retour à Tsarskoïé et quelques jours après il part p<our> Livadia. — Et ceci me ramène à ce qui est l'objet de mes soucis non moins que des tiens, à notre pauvre chère Daria[8]. Assurément, une fois la cure finie, ce qu'elle aurait de mieux à faire, c'est d'aller rejoindre l'Imp<ératrice> en Crimée — si c'est pour y passer l'hiver, mais cent fois non si c'est pour en revenir au mois de novembre. Mais, alors, que doit-elle faire d'ici dans quelques semaines? Où et comment passera-t-elle l'hiver? Je ne puis songer à cette pauvre chère fille non seulement sans tristesse, mais même sans remords.

Mille amitiés à tout le monde. Dis à mon frère et à grand-maman que j'espère toujours les revoir en octobre. Que Dieu v<ou>s garde, ma fille, je vous embrasse du fond du cœur.

T. T.

Перевод:

Петербург. Понедельник. 26 августа 1863

Спасибо, милая моя дочь, за хорошее письмо, оно доставило мне большое удовольствие. Надеюсь, мое письмо придет к тебе вовремя, чтобы поздравить с приездом в Москву. — Все два месяца, которые я провел в Москве, мне также очень не хватало тебя[1], хотя от самого пребывания у меня остались очень приятные воспоминания, воспоминания радужные, несмотря на плохую погоду. Я был там свидетелем таких вещей, историческое значение которых неоспоримо. Я имею в виду то, как были восприняты общественным мне-



нием депеши князя Горчакова[2]. — Может быть, поистине впервые действия русской дипломатии затронули национальные струны души. Поэтому несколько строк, которые я набросал сразу же, под первым впечатлением[3], имели совершенно особую судьбу. — Они явились первым поступившим из Москвы сообщением об одержанной победе и потому тотчас же были переданы в высшие сферы, прежде всего императрице, которая будто бы высказывала ранее сомнения относительно того, какое впечатление произведет в Москве общий тон депеш. — Государь, прочитав письмо, сказал, что его следовало бы передать мадемуазель Анне, *дабы внушить ей более благосклонное отношение к вице-канцлеру.* Все это мне рассказал сам князь Горчаков. — Вчера я обедал у него в Царском и узнал очень любопытные подробности о том, как на днях решалась судьба Константина. — Государь, по всеобщему мнению, держался во всей этой истории безупречно. Несмотря на самую нежную привязанность к брату, он сумел проявить непоколебимую твердость. Итак, злосчастное правление Константина можно считать оконченным[4]. Завтра, 27-го, он, с женой и детьми, покидает Варшаву и через Вену по Дунаю направляется в Крым. Все, кто его видел, сходятся в том, что на него было жалко смотреть, столь подавлен он был всеобщим *неодобрением.* Ответы князя Горчакова, на этот раз очень лаконичные, объявляющие вопрос закрытым, если не разрешенным, также будут отправлены завтра[5]. Газеты сразу же их опубликуют. — 31-го государь уезжает в Финляндию и 3-го сентября открывает там сейм[6]. 4-го он будет присутствовать на большом празднике, который госпожа Аврора[7] дает в его честь в своем загородном доме под Гельсингфорсом; 8-го он вернется в Царское и через несколько дней уезжает в Ливадию. — Это обстоятельство возвращает меня к тому, что меня беспокоит не меньше, чем тебя, — к нашей бедной милой Дарье[8]. Бесспорно, лучшее, что она может предпринять, закончив курс лечения, это отправиться в Крым к императрице — в том случае, если можно будет остаться там на всю зиму, если же придется вернуться из Крыма в ноябре, то ехать туда — сущее безумие.

Но что тогда ей делать через несколько недель? Где и как проведет она зиму? Когда я думаю о нашей бедняжке, я испытываю не только грусть, а и угрызения совести.

Шлю всем дружеские приветствия. Скажи моему брату и бабушке, что я надеюсь увидеться с ними в октябре. Да хранит тебя Бог, дочь моя, сердечно тебя обнимаю.

Ф. Т.

18. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

23 сентября/5 октября 1863 г. Петербург

St-Pétersbourg. Lundi. 23 septembre/5 octobre

Ma fille trois fois chérie. Si les pensées humaines avaient l'heureuse faculté de se convertir d'elles-mêmes en lettres écrites, pliées, cachetées et expédiées à la poste — assurément il ne se passerait pas de jour où tu n'en eusses reçues deux ou trois de moi, tant mes pensées sont habituellement dirigées vers vous, vous entourant et vous couvant avec une affectueuse sollicitude. — Aujourd'hui enfin, sous une forme plus palpable, je te les expédie, sur l'avis de Kitty, tout droit à Genève, aux Eaux vives, maison Pétroff[1], dans l'espoir qu'elles t'y trouveront encore. Ce que j'appris en dernier lieu à ton sujet, c'est-à-d<ire> au sujet de ta cure et de ses résultats, m'a fait plaisir, mais cette certitude acquise d'un mieux déjà réalisé dans l'état de ta santé ne conjure guères, hélas, quant aux appréhensions de l'avenir et d'un avenir tout à fait imminent. Quelle résolution vas-tu prendre en vue de l'hiver prochain? Que te dira à ce sujet ta voix intérieure, la seule conseillère que tu aies? J'attends cette décision avec un vif et tendre intérêt, reconnaissant mon incompétence à émettre un avis qui ne soit hérissé d'inconvénients, dans la situation donnée. La seule chose dont j'ai l'intime conviction, c'est que je me sentirai très heureux de te revoir. — Indépendamment de tes lettres, j'ai eu dernièrement de tes nouvelles par le Comte G. Stroganoff[2] — dix jours après qu'il t'avait vue, à Ouchy, chez la Grande-Duchesse. J'aurais aimé t'y voir moi aussi. — Ces beaux sites, qui ne vous empêchent pas d'être malheureux quand on y est, ont une magie irrésistible, vus de loin. L'expérience ne sert de rien et bien



que reconnue, cette illusion d'optique devient la plus pressante des réalités. — Est-ce en présence de ces beaux sites que tu liras ces lignes écrites dans une demi-obscurité — entre 4 et 5 heures du soir, aux dernières lueurs d'un soleil qui est beaucoup plutôt une conjecture qu'une certitude? — Les vendanges ici n'ont pas encore commencé — et en fait de Mont-Blanc, j'ai devant les yeux le Gostinnoi-Dvor, tout mouillé de pluie.

Je ne te parle pas de ce qui concerne la famille, sachant que Kitty s'acquitte de ce soin — et d'ailleurs ce qu'il y aurait à en dire ne serait guères réjouissant. C'est quelque chose de triste et de terne, comme l'est tout déclin, de plus en plus accusé.

Quant à moi, dans le moment donné, c'est sur ma pauvre femme surtout, et sur Marie[3], par ricochet, que s'arrête et s'épuise ma plus vive sollicitude. — Ses lettres probablement t'auront informée de tous les tracas, déboires et dégoûts, par lesquels elle a passé dans ces derniers temps. — En ce moment-ci, grâce à l'argent que j'ai pu lui envoyer, elle a dû se sentir un peu soulagée. — Pas moins, elle en a encore pour deux mois peut-être de cette abominable réclusion à la campagne. — D'Anna je n'ai eu qu'une lettre (sans date) depuis son arrivée à Livadia[4]. J'ignore si elle y a revu (et comment) le grotesque héros de son absurde roman[5]. — Enfin, ce qui est certain, c'est que nous sommes, à l'heure qu'il est, grandement dispersés. — Plaise au Ciel de nous réunir prochainement sans que personne manque au rendez-vous. — Au revoir donc, à bientôt, ma fille chérie.

Перевод:

С.-Петербург. Понедельник. 23 сентября/5 октября

Бесконечно милая моя дочь. Если бы человеческие мысли обладали счастливой способностью сами обращаться в письма, написанные, сложенные, запечатанные и отправленные по почте, я уверен, не проходило бы дня, чтобы ты не получала от меня два или три письма, ибо мысли мои постоянно обращены к тебе, опекают тебя, окружая заботой и лаской. — И вот сегодня посылаю их тебе в более осязаемой форме, по совету Китти, прямо в Женеву, на Воды, в дом Петрова[1], в на-

дежде, что они тебя еще там застанут. Последние известия о тебе, то есть о твоем лечении и о его результатах, меня порадовали; однако, хотя и можно с уверенностью утверждать, что в состоянии твоего здоровья наступило несомненное улучшение, это, увы, не снимает опасений за будущее, и за будущее самое близкое. Какое решение ты примешь относительно зимы? Что скажет тебе на этот счет твой внутренний голос, единственный твой советчик? Жду твоего решения с живейшим интересом и участием, поскольку признаю свою неспособность предложить в сложившейся ситуации что-либо, не сопряженное со множеством неудобств. Единственное, в чем я глубоко убежден, это в том, что буду безмерно рад тебя увидеть. — Независимо от твоих писем, я недавно получил о тебе известия от графа Г. Строганова[2] — через десять дней после того, как он видел тебя в Уши, у великой княгини. Я тоже был бы не прочь повидать тебя там. — Эти прелестные уголки природы обладают неотразимым очарованием, когда смотришь на них издалека, хотя пребывание там не мешает чувствовать себя несчастным. Опыт ничего не меняет, и признавая, что это оптический обман, тем не менее воспринимаешь его как самую очевидную реальность. — Неужели эти строки, написанные в сумерках, между 4 и 5 часами вечера, при последних лучах солнца, более похожих на мираж, чем на реальность, неужели ты будешь читать их посреди всех этих красот природы? — У нас здесь сбор винограда еще не начался, а вместо Монблана перед глазами у меня Гостиный двор, весь мокрый от дождя.

Не пишу тебе ничего о нашей семье, поскольку знаю, что этим займется Китти, да к тому же то, что можно о нас сказать, вряд ли тебя обрадует. Как всё, что приходит в упадок, жизнь наша становится все более грустной и бесцветной.

Что до меня, то теперь я более всего тревожусь о бедной жене моей, а вместе с тем и о Мари[3]. — Из ее писем ты, наверное, знаешь обо всех волнениях, горестях и неприятностях, которые ей довелось пережить за последнее время. — Сейчас ей как будто стало полегче, благодаря деньгам, которые я смог ей послать. — Тем не менее еще два месяца она, по-види-



мому, должна будет провести в этом отвратительном деревенском заточении. — От Анны, со времени ее приезда в Ливадию[4], я получил только одно письмо (без даты). Не знаю, встретилась ли она там (и как) с комичным героем своего нелепого романа[5]. — Словом, ясно одно, все мы сейчас находимся далеко друг от друга. — Бог даст, в ближайшем будущем мы снова соберемся вместе, и на этот раз никто из нас не будет отсутствовать. — Так до свиданья, и до скорого, моя милая дочь.

19. М. Н. КАТКОВУ

7 октября 1863 г. Петербург

С.-Петербург. 7-го октября 1863

Почтеннейший Михаил Никифорович,

Не раз в наших беседах, в Москве[1], говорили мы о пагубном направлении нашего Министерства народного просвещения — до того пагубном, что оно вменяет в обязанность всякому благонамеренному русскому противодействовать ему всеми силами[2]. — При этом, помнится мне, я высказал вам мое убеждение, что направление это, сколько оно вредно, столько же и несостоятельно у нас и лишено всякой *raison d'être**. Так оно в своем начале противно всем чувствам и убеждениям верховного представителя власти. Терпимость же, ему оказываемая, объясняется какою-то страшною мистификациею, только в одной России возможною. Князь Горчаков, с которым я часто имел случай обо всем этом говорить, вполне разделяет и взгляд наш на самое направление, и мое мнение о его несостоятельности. — К тому же он, может быть, единственный человек между нами, который и по своему влиятельному положению, и по своему усердию к общему делу имеет и силу, и волю заявить с успехом, где следует, свой решительный протест против всего этого бесчинства. Но ему *нужны факты*, ему нужны точные несомненные показания, на которые он мог бы опереться... Что достаточно для лично-

* разумной основы (*фр.*).

го убеждения, далеко не достаточно для государственного обличения.

Следственно, почтеннейший Михаил Никифорович, без вашей помощи, без вашего содействия и тут не обойдется.

Я знаю, — не будь у нас цензуры, имейте вы право и возможность не ограничиваться намеками, а высказывать дело как оно есть — и называть всё и всех по имени, — то одной вашей полемической деятельности достаточно было бы, чтобы довести до общего сознания всю зловредность теперешней системы и убедить *кого следует* в необходимости ее скорейшего устранения, — но, по несчастью, одною печатью, при ее существующих условиях, практического результата мы добиться не можем, а крайняя важность дела отлагательства не терпит — и потому, возвращаясь к нашим московским беседам, я не могу не повторить перед вами тогда еще мною вам высказанного убеждения, что вы могли бы оказать огромную услугу — как вы умеете их оказывать — составлением записки, короткой, но очень рельефной, о главных фактах, определяющих настоящий характер всей этой системы, в отношении которой может быть только одно сомнение: безумие ли это или преднамеренное предательство.

Вот что я имел, почтеннейший Михаил Никифорович, представить на ваше благоусмотрение. Буду ожидать вашего решения с полною верою в вашу всегдашнюю готовность служить общей пользе.

Ф. Тютчев

P. S. Известия из Англии удовлетворительные. По-видимому, заговор против нас решительно расстроен — открытие франц<узских> палат выяснит положение[3].

20. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

23 октября 1863 г. Петербург

Pétersbourg. Mercredi. 23 oct<obre>

Cent fois merci, ma fille chérie, de tes bonnes nouvelles au sujet de Daria. Tu ne pouvais pas me faire un plus sensible plaisir.

Dieu veuille que le mieux obtenu soit durable et que cette bonne, chère créature rentre dans les conditions de santé qui seules donnent quelque agrément au fait d'exister... Mais même en vue du résultat obtenu, je n'en persiste pas moins à appeler de tous mes vœux le traitement radical et définitif – et pas pour Daria seulement. Je vous prie, ma fille, de me pardonner ces aspirations terrestres et ces points de vue d'une portée un peu vulgaire.

Tu ne me parles pas dans ta dernière lettre de la santé de ton oncle, ce qui me paraît tout à fait rassurant, mais j'aimerais bien que tu me donnasses des nouvelles de l'état des yeux de Ник<олай> Васильевич. Comment va l'œil malade? La cataracte mûrit-elle? Et quand pense-t-on pouvoir l'opérer? – Voilà assurément quelqu'un qui, par sa manière de prendre les choses déplaisantes de la vie, est plus édifiant que tout un volume de sermons... Il est pourtant vrai de dire que nulle part comme en Russie on ne rencontre de ce christianisme de *plein pied*, de ce christianisme spontané, de ces individualités qui ne se font pas chrétiennes, mais qui *naissent* telles. C'est comme les belles voix en Italie.

Auriez-vous la complaisance, ma fille chérie, de prendre connaissance des petits papiers ci-joints? Ce sont des vers du P<rinc>e Wiasemsky, assez pénibles d'ailleurs, – et un billet d'accompagnement de Valoujeff – qui me les envoie. La pièce de vers pourrait être communiquée à Katkoff qui ne demanderait pas mieux que de l'insérer dans son prochain *Русский вестник*[1]. Charge-toi de cette négociation, je te prie.

Maintenant voilà un autre service que tu vas me rendre. Il y a à Moscou, comme tu sais, un Mr Бессонов, ami et protégé d'Anna. Le Бессонов en question m'a écrit il y a déjà quelque temps pour me dire qu'il aimerait échanger la place, qu'il a maintenant, contre une nomination aux Archives de Moscou, et il me demandait en conséquence de m'intéresser en sa faveur auprès du P<rinc>e Gortchakoff, ce que je n'ai pas manqué de faire. Le P<rinc>e G<ortchakoff> m'a chargé de lui faire savoir qu'il ne demanderait pas mieux que d'utiliser ses talents et sa *capacité reconnue et incontestable* dans l'intérêt du service en question, mais qu'il avait pris p<our> règle de ne jamais intervenir directement dans les nominations et que c'est p<ar> cons<équent>

avec le *P<rinc>e Obolensky* qu'il faudrait s'entendre au préalable. Voilà ce qu'il faudrait que tu fisses savoir à Бессонов, en y mettant, comme assaisonnement nécessaire, toute ta grâce discrète et efficace. — Et sur ce, ma fille, laissez-moi vous embrasser.

Dieu v<ou>s garde.

T. T.

Перевод:

Петербург. Среда. 23 октября

Сто раз благодарю тебя, моя милая дочь, за добрые вести о Дарье. Ты не могла сильнее меня обрадовать. Дай-то Бог, чтобы наступившее улучшение не было кратковременным и это доброе, милое создание вновь обрело то относительное здоровье, которое только и придает некоторую приятность существованию... Но даже радуясь достигнутому результату, я не расстаюсь с заветной мечтой о полном и окончательном исцелении — и не одной Дарьи. Прошу, дочь моя, простить мне эти земные желания и довольно банальные мысли.

В своем последнем письме ты ничего не говоришь о самочувствии твоего дяди, что мне кажется хорошим знаком, но я очень прошу известить меня о состоянии зрения Николая Васильевича. Что больной глаз? Созревает ли катаракта? И когда, полагают, ее можно будет оперировать? — Вот человек, который своим приятием жизненных невзгод преподает такой урок, какого не преподаст целый том проповедей... Но ведь правда, что нигде, кроме как в России, не встретишь христианства столь *коренного*, христианства столь непосредственного, христиан, которые не воспитываются, а сами *рождаются*. Так же как дивные голоса в Италии.

Сделай одолжение, моя милая дочь, ознакомься с прилагаемыми листками. Это стихи князя Вяземского — впрочем, довольно тяжеловесные — и сопроводительная записка Валуева, который мне их посылает. Стихотворение можно бы передать Каткову, он с удовольствием поместит его в ближайшем выпуске «Русского вестника»[1]. Будь добра, снесись с ним.

Вот еще услуга, которую ты мне окажешь. В Москве, как ты знаешь, есть некий господин Бессонов, друг и протеже Анны. Этот Бессонов писал мне какое-то время тому назад, что желал бы переменить свое теперешнее место службы на должность в Московском Архиве и в связи с этим просил меня походатайствовать за него перед князем Горчаковым, что я и не преминул сделать. Князь Горчаков поручил мне ответить ему, что с превеликим удовольствием использовал бы его дарования и его *признанное и неоспоримое трудолюбие* в интересах данного учреждения, но что он принял за правило никогда прямо не вмешиваться в назначения и что, следовательно, надлежало бы предварительно заручиться согласием *князя Оболенского*. Именно это и передай Бессонову, пустив в ход, дабы подсластить пилюлю, все твое скромное и действенное обаяние. — И засим, дочь моя, позволь с тобой расцеловаться.

Храни тебя Бог.

Ф. Т.

21. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

26 октября 1863 г. Петербург

Samedi. 26 octobre 1863

C'est demain le 8 novembre, ma fille chérie, et je tiens à arriver à temps pour être aussi de la fête[1]. — Cette date me reporte à des temps qui sont de la fable pour vous, bien qu'ils aient commencé votre histoire, et qui parfois me sont si présents... Je me vois encore, à la date de ce jour, il y a quelques années, — courant de tout côté à la recherche du médecin, le trouvant enfin, attablé chez un de ses amis, et l'arrachant non sans peine aux délices du festin, pour aller vous faciliter votre arrivée dans ce monde... Où était-elle alors, cette belle et gracieuse réalité qui êtes vous — et comment se cachait-elle dans ce petit souffle de vie, à peine recouvert d'un peu de matière! — Et de se dire que ce moment, où vous existiez déjà, vous restera aussi profondément étranger, aussi profondément inconnu que les temps qui ont précédé la guerre de Troie! — tout comme ta vie actuelle, ton heure présente

devait rester lettre close pour ta pauvre mère... Ah que l'existence humaine est un étrange rêve!..

Nous avons eu ces jours-ci parmi nous l'excellent Катков[2] qui a été comme de raison beaucoup fêté et cajolé par les puissances, mais qui s'en retourne peu édifié, je crois, de tout ce qu'il a vu et entendu dire. Hier j'ai fait son *cornac* chez le Prince Горчаков qui avait réuni à ce dîner, pour faire fête à son hôte, toutes les intelligences de son Ministère. Ce qui est touchant dans Катков, c'est de voir un esprit très ferme et très sagace associé à un excellent naturel, doux et infiniment sensible aux témoignages qu'on lui prodigue, ce qui le condamne quelquefois à se sentir tout attristé de ce qui aurait agréablement flatté l'amour-propre ou la malveillance d'une nature plus personnelle...

Ici la nouvelle du jour c'est le discours d'ouverture de l'Empereur Napoléon dont le résumé télégraphié a été transmis par Budberg[3]. Le trait saillant du discours c'est la déclaration que les traités de 1815 n'existent plus et la proposition, par suite de cela, d'un congrès g<énér>al, où toutes les questions pendantes seraient discutées, — comme une combinaison qui, ayant été une fois indiquée par la Russie, était de nature à lui être proposée, sans la blesser. — On sait déjà que l'effet du discours n'a pas été heureux sur l'Ambassadeur d'Angleterre, et il en sera probablement de même de l'Autriche qui ne goûtera pas plus l'idée d'un congrès g<énér>al, où elle siégerait à côté de l'Italie, que l'Angleterre ne goûtera la prétendue annulation des traités de Vienne. — Par toutes ces raisons, c'est nous qui avons le moins de motifs d'être mécontents du dit discours — qui, en définitive, ne fait que constater la divergence croissante des opinions de nos adversaires — et sur ce, ma fille, je v<ou>s embrasse et v<ou>s souhaite encore une fois la bonne fête.

A v<ou>s de cœur.

Перевод:

Суббота. 26 октября 1863

Завтра 8 ноября, моя милая дочь, и я хочу прибыть вовремя, чтобы принять участие в празднике[1]. — Эта дата переносит меня в те дни, которые, хоть с них и началась твоя жизнь, кажутся

тебе мифом и которые иногда так ярко предстают перед моим мысленным взором... Я вспоминаю, как в этот день, сколько-то лет назад, я метался в поисках врача, как, наконец, нашел его за ужином у одного из его приятелей, как не без труда оторвал его от пиршества и как он отправился со мной, дабы облегчить тебе вступление в этот мир... Где же тогда была та милая очаровательная реальность, какою ты сейчас являешься, и как умещалась она в крошечном, едва осязаемом комочке жизни! — И подумать только, этот миг, в который ты уже жила, навсегда останется для тебя столь же глубоко чуждым, столь же глубоко неведомым, как времена, предшествовавшие Троянской войне! — точно так же, как твоя теперешняя жизнь, ты сегодняшняя оказалась закрытой книгой для твоей покойной матери... Ах, человеческое существование, какой это странный сон!..

На днях здесь был милейший Катков[2]; как и следовало ожидать, он был принят с большими почестями и весьма обласкан власть имущими, но уехал он, как мне кажется, не сделав никаких выводов из того, что видел и слышал. Вчера в роли его *провожатого* я был у князя Горчакова, который, чтобы почтить гостя, пригласил на обед все выдающиеся умы своего Министерства. В Каткове непреклонность духа и большая проницательность ума трогательно сочетаются с превосходным нравом, мягким и бесконечно чутким к знакам внимания, которые ему расточают, а потому его иной раз сильно огорчает то, что тешило бы человека более себялюбивого и недоброжелательного.

Событием дня здесь является тронная речь императора Наполеона, краткое содержание которой было передано по телеграфу Будбергом[3]. Выдающимся местом речи является заявление о том, что трактаты 1815 года больше не существуют, и сделанное вследствие этого предложение о созыве всеобщего конгресса, на котором были бы обсуждены все ожидающие решения вопросы, — комбинация, которая, будучи уже однажды указана самой Россией, может быть ей предложена без опасения ее задеть. — Уже известно, что на английского посла речь произвела неблагоприятное впечатление, так же, вероятно, будет реагировать и Австрия, которая не одобрит

идеи о всеобщем конгрессе, поскольку тогда ей пришлось бы сесть за один стол с Италией, так же как Англия не одобрит возможной отмены венских трактатов. — По всем этим причинам меньше всего оснований быть недовольными вышеупомянутой речью имеется у нас, ведь она в конце концов только констатирует все увеличивающееся расхождение во взглядах наших противников — на этом обнимаю тебя, дочь моя, и еще раз желаю приятно провести свой день рожденья.

Всем сердцем твой.

22. М. Н. КАТКОВУ

1 ноября 1863 г. Петербург

Петербург. 1-ое ноября 1863

Пишу к вам, почтеннейший Михаил Никифорович, по поручению князя Горчакова. — Князь просил меня еще раз заявить вам, какое приятное впечатление он вынес из личного с вами знакомства и как, более нежели когда-либо, он дорожит дружным вашим содействием для общей пользы. — Он изложил перед вами, со всеми их оттенками, наши политические отношения с первостепенными державами[1].

Теперь, при очевидно приближающемся европейском кризисе, князь желал бы еще отчетливее, еще убедительнее выяснить вам, как он разумеет наши отношения к Франции[2].

Мы решительно не ищем сближения с Франциею — не ищем, потому что не верим в Наполеона, — и я не знаю, какие бы ему следовало представить нам *залоги,* чтобы мы могли ему поверить.

Все это так — все это не подлежит ни малейшему сомнению, — но, с другой стороны, крайне было бы бестолково и опрометчиво — противно нашему очевидному интересу, — если бы какими-нибудь слишком резкими заявлениями отняли у него *всякую надежду* на это сближение, убедили его в совершенной невозможности сближения и вынудили бы его признать своим жизненным условием непримиримую враждебность к нам. Через это мы двояким образом обессилили бы себя, во-первых, сосредоточив все Наполеоновы силы против нас одних, —



во-вторых, подчиняя нас, через это самое, большей зависимости от других держав... Вот почему кн. Горчаков желал бы очень, чтобы «Московские ведомости», сохраняя за собою полную свободу суждений и оценки, избегали по возможности все слишком резко враждебное, обличающее решительную непримиримость — или, выражаясь словами князя, чтобы — говоря о Наполеоне с полною свободою, не слишком *дразнили* его[3].

Письмо его к государю уже получено, и ответ на оное уже написан. Сейчас кн. Горчаков повез его в Царское Село. Вы будете им довольны — в нем много достоинства и, вместе с тем, много того, что только нам одним возможно при нынешних обстоятельствах, — удачной, ловкой правды и искренности. — Решительного отказа нет — даже высказано полнейшее сочувствие тем общечеловеческим мотивам, на которые Наполеон разыгрывает свои вариации, но твердо и положительно выставлены все вытекающие из сущности неодолимые препятствия и несбыточности[4].

Судя о Наполеоне — все и всегда почти слишком идеализируют. — В нем привыкли видеть осуществление какого-то чистейшего, безусловного мошенничества. — Он, конечно, *мошенник*, но подбитый *утопистом*, как и следует представителю революционного начала. И эта-то примесь дает ему такую огромную силу над современностию.

Но пора кончить. Поручение выполнено — остается — от души пожать вам руку.

Ф. Тютчев

23. М. Н. КАТКОВУ

6 ноября 1863 г. Петербург

Петербург. Середа. 6 ноября

Благодарим усердно за вашу статью, в которой вы так верно и удачно определили наше настоящее положение и намекнули, какой программе мы должны следовать. Князь Г<орчаков> был очень доволен статьею[1].

Общее положение начинает выясняться. Можно уже теперь предвидеть, что Наполеон, с своим конгрессом, останет-

ся окончательно в дураках или должен будет решиться на что-нибудь роковое, отчаянное.

Ответ Англии уже известен. Он таков, как надо было ожидать. Отрицателен не по форме, а в сущности. — Конгресс не отрицается, но упразднение трактатов не признано — и требуется, для согласия на конгресс, предварительных пояснений[2]. — Все это сильно не понравилось в Париже. Отвечено было, что пояснения будут даны, когда конгресс соберется, на что Lord J. Russel[3] заметил: «That is perfectly absurd»*.

К нам со всех сторон обращаются с запросами: все с тревожным любопытством ждут нашего решения, чувствуется, что ключ положения переходит в наши руки — Россия стоит особняком, но уже не изолирована.

Препровождаю к вам при сем еще *несколько заметок* князя Вяземского, из которых одна уже была вам доставлена. Вы, может быть, поместите их в следующем № вашего «Вестника»[4].

Это письмо, почтеннейший Михаил Никифорович, получите вы накануне дня вашего ангела. — Позвольте же и мне присоединить мои поздравления к поздравлениям столь *многих и многих*.

Послезавтра во всей России усердно будут празднуемы два *Михаила*. Один в Вильне, другой в Москве[5].

Еще одна просьба: скажите, прошу вас, А.И. Георгиевскому, что мы очень тревожимся его молчанием и нетерпеливо ждем известий от него.

Вам, с особенным уважением, душевно преданный

Ф. Тютчев

24. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

10 ноября 1863 г. Петербург

Pétersbourg. Dimanche. 10 9bre[1]

Ma fille chérie, ce n'est que par ta lettre à la C<om>tesse A<ntoinette> Bloudoff que j'ai appris que tu as été malade, et bien que tu dises dans cette lettre que maintenant tu vas mieux,

---

* «Это совершенная нелепица» (*англ.*).



cette assurance m'aurait médiocrement rassuré, si l'ami *Ще-бальск<ий>*[2] n'était venu ce matin me donner de tes nouvelles à titre de témoin oculaire. C'est pourtant quelque chose de bien triste et de bien déplorable, qu'une santé comme la tienne, je devrais dire comme la vôtre![3] — Il y a eu plus d'une bonne fée à votre berceau, mais, évidemment, celle de la santé était occupée ailleurs.

Les lignes que je t'écris là coïncideront, je suppose, avec l'arrivée d'Anna à Moscou[4]. Si vous parvenez à vous voir, je vous charge de vous embrasser mutuellement de ma part. Je me réjouis beaucoup du retour d'Anna. Elle me manquait, bien que sa présence la plupart du temps soit si peu *réelle* p<our> moi. C'est un peu l'histoire de cet homme qui avait pris l'habitude de fumer sa pipe une fois par semaine, les samedis, je crois, et qui prétendait être tellement dominé par cette habitude qu'il lui aurait été impossible d'y renoncer.

Ici nous sommes plus que jamais sous le coup de la grande préoccupation générale, le congrès[5]. Le moment est des plus solennels. C'est le *va-banque* de Napoléon vis-à-vis de l'Europe. Il devrait perdre à coup sûr, si la misérable Europe n'était pas ce qu'elle est. — La lettre de l'Emp<ereur> en réponse à la circulaire Napol<éonienne> a été expédiée ces jours-ci[6]. Elle est digne, sincère et pourtant évasive. J'ai appris que *Morny*[7], qui a pour spécialité d'être le partisan de la Russie, avait écrit ici — p<our> nous conjurer, ***au nom de notre intérêt, bien entendu,*** de ne pas nous refuser au congrès, disant que l'acceptation du congrès par la Russie était dans les vœux de tous ses véritables amis, comme la non-acceptation était tout l'espoir de ses adversaires. — On ne comprend pas qu'il y ait tant de niaiserie au fond de toute cette rouerie. En attendant on sait que *Budberg* n'a pas été compris dans les invitations de Compiègne[8]. On a pris p<our> prétexte à cette omission la *scarlatine* qui règne dans sa maison.

Mais ceci me ramène à ta santé, à toi. Je n'ai pas besoin de te dire que j'en attends des nouvelles non sans quelqu'impatience. La mienne est à l'avenant de la saison. C'est tout dire. Dieu v<ou>s garde, ma fille.

Перевод:

Петербург. Воскресенье. 10 ноября[1]

Моя милая дочь, только из твоего письма к графине Антуанетте Блудовой узнал я, что ты была больна, и хотя в этом письме ты сообщаешь, что теперь тебе лучше, это заверение не очень бы меня успокоило, если бы наш друг *Щебальский*[2] не посетил меня сегодня утром и не рассказал о твоем здоровье как очевидец. Как все-таки меня печалит и огорчает твое здоровье, вернее сказать, ваше здоровье![3] — Не одна добрая фея побывала у вашей колыбели, но фея здоровья была, видно, занята где-то в другом месте.

Строки, которые я пишу, возможно, прибудут в Москву одновременно с Анной[4]. Если вам удастся увидеться, поручаю вам обнять за меня друг друга. Я очень рад, что Анна возвращается. Мне не хватало ее, хотя когда она здесь, общество ее для меня, как правило, редко является *реальностью*. Это как в истории с человеком, который раз в неделю, кажется, по субботам, привык курить трубку и уверял, будто эта привычка стала столь неодолимой, что он был бы не в состоянии от нее отказаться.

Здесь мы более чем когда-либо поглощены тем, что занимает все умы — конгрессом[5]. Момент этот — из самых значительных. Это *ва-банк* Наполеона по отношению к Европе. Он наверняка бы проиграл, если бы жалкая Европа не была тем, чем сейчас является. — Письмо государя в ответ на наполеоновский циркуляр отправлено на днях[6]. Это ответ достойный, искренний и, вместе с тем, уклончивый. Я узнал, что *Морни*[7], чья специальность — быть сторонником России, писал сюда, заклиная нас, *разумеется, в наших же интересах*, не отказываться от участия в конгрессе, уверяя, что все подлинные друзья России уповают на ее согласие участвовать в нем, точно так же, как все ее противники надеются на ее несогласие. — Трудно понять, сколько идиотизма за всем этим цинизмом. Пока же известно, что *Будберг* не получил приглашения в Компьен[8]. Предлогом для этого послужило то, что у него в семье *скарлатина*.

Но это возвращает меня к разговору о тебе, о твоем здоровье. Нет надобности говорить тебе, что я не без нетерпения жду известий о нем. Мое здоровье находится в соответствии с временем года. Этим все сказано. Да хранит тебя Бог, дочь моя.

25. Эрн. Ф. и М. Ф. ТЮТЧЕВЫМ

13 ноября 1863 г. Петербург

Pétersbourg. Mercredi. 13 novembre

Voilà encore deux postes qui ne m'ont rien apporté. Mais au moins je sais par une lettre, que Dmitry a reçu hier de sa sœur, que tu n'es pas malade. C'est donc que tu ne te soucies pas de m'écrire. Eh bien, j'aime encore mieux cela.

Pauvre Dima et moi, nous sommes entièrement démoralisés. Il y a quelque temps vous parliez encore de votre retour comme d'une chose qui devait se faire à une date plus ou moins précise, mais rapprochée. La lettre d'hier ne dit plus rien à ce sujet et a même l'air de révoquer en doute l'ouverture prochaine de la fabrique. — Je commence à craindre que l'excellent Basile[1] ne nous ait mis dedans. Ce que je vois de plus clair jusqu'à présent, c'est que cette bienheureuse a absorbé non seulement le capital, mais même le revenu courant. — Mais s'il en était ainsi, si, en effet, c'est le manque d'argent qui vous retint à la campagne, eh bien, je ne m'y résignerai pas, j'irai vous y rejoindre. Je me mépriserai trop de rester ici. — Quant à la question de la fabrique, je me persuade, de plus en plus, que nous aurions beaucoup mieux fait au lieu d'une fabrique de sucre d'établir une distillerie.

C'est ce soir, à 9 heures, que l'Impératrice est attendue à Tsarskoïé[2]. — Anna voulait m'envoyer prévenir par le télégraphe de son arrivée. Il est donc probable que demain j'irai dîner chez elle. Aujourd'hui je devais dîner chez le P<rinc>e Gortchakoff. Mais au lieu de cela il se trouve que je dîne avec lui chez la Gr<ande>-Duchesse Hélène que je n'ai pas encore revue depuis son retour. Plus ils reviennent de monde, et plus le vide, qu'ils ne comblent pas, me devient sensible.

Je suis très désireux d'avoir des nouvelles au sujet de ton frère[3]. Que s'est-il passé dans la famille depuis leur rentrée à Munich? — Je t'envoie, ci-joint, une lettre de Maltitz[4], de fraîche date. Je me persuade que tu la liras avec plaisir, parce qu'elle m'en a fait. C'est comme le ranz des vaches, que ses lettres. Elles me donnent bien ces *frissons du passé*, dont il me parle, la dernière et la plus âpre des puissances. Maltitz me recommande dans sa lettre, comme tu le verras, de le mettre à tes pieds, ah, je ne demanderais pas mieux que de m'y mettre moi-même — mais comment?

Hier, mardi, soirée chez la Protassoff — qui m'a donné plus de mélancolie encore que d'ennui — c'est tout dire.

Je me résume, en répétant ce que j'ai déjà dit: Voilà une fin d'existence bien malarrangée.

Maintenant je passe à Marie. — Voilà, ma fille chérie, quelques rimes que je vous envoie, et je ne vous les envoie que parce qu'elles font beaucoup de bruit en ce moment à Pétersbourg[5]. Vous en devinerez l'auteur, si vous le pouvez. Elles ont été adressées au Prince Souvoroff, voici à quelle occasion. Tu sais que *pour le St-Michel* nous avons envoyé à Mouravieff un haut-relief en vermeil représent<ant> son patron — accompagné d'une adresse, signée de 80 noms, au nombre desquels se trouvent les Bloudoff, la Comtesse Protassoff, sa sœur la Dolgorouky, etc. etc., en un mot des noms très bien portés. Or il faut que tu saches que le Prince S<ouvoroff>, qui est assurément une bonne pâte d'homme, mais absurde, s'est depuis longtemps déclaré l'adversaire acharné de M<ouravieff> et ne laisse échapper aucune occasion de déblatérer. Aussi n'a-t-il pas manqué de déclarer qu'il rompait tout commerce avec les personnes qui ont eu *l'indignité* de signer la dite lettre. Il a, il est vrai, le privilège de pareilles incartades. Mais comme cette fois-ci il y a en jeu un intérêt public d'une incontestable gravité, l'incartade a été relevée — et lui a valu les rimes que tu vas lire.

<Завершающие слова письма, написанные одними первыми буквами, не поддаются расшифровке>



Его светлости
князю Ал<ександру> Арк<адьевичу> Суворову

Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь...

Как извинить пред вами эту смелость?
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя призванью своему, –

Кто всю ответственность, весь труд и бремя
Взял на себя в отчаянной борьбе –
И бедное, замученное племя,
Воздвигнув к жизни, вынес на себе?..

Кто, избранный для всех крамол мишенью,
Стал и стоит, спокоен, невредим –
Назло врагам — их лжи и озлобленью,
Назло — увы — и пошлостям родным. –

Так будь и нам позорною уликой
Письмо к нему от нас, его друзей! –
Но нам сдается, князь, ваш дед великой
Его скрепил бы подписью своей.

Перевод:

Петербург. Среда. 13 ноября

Вот и еще две почты ничего мне не принесли. Но я, по крайней мере, знаю из письма, которое Дмитрий получил вчера от своей сестры, что ты не больна. Сама же ты не затрудняешься мне это сообщить. Что ж, по мне лучше так.

Мы с бедным Димой в совершенном унынии. Еще недавно вы говорили, что день вашего возвращения хотя и не определен, но близок. Вчерашнее же письмо об этом умалчивает и вроде бы даже подвергает сомнению скорое открытие завода. — Я начинаю опасаться, как бы милейший Василий[1] нас не надул. Пока мне ясно одно: это благословенное предприятие поглотило не только весь капитал, но и весь текущий доход. —

Но если загвоздка в этом, если вы и впрямь застряли в деревне из-за отсутствия денег, ну уж тогда я не удержусь и прикачу к вам туда. Я буду себя презирать, если останусь здесь. — Что же до завода, то я все больше и больше склоняюсь к тому, что мы поступили бы куда разумнее, если бы вместо сахароварения занялись винокурением.

Сегодня к 9 часам вечера императрицу ожидают в Царском[2]. — Анна хотела предупредить меня телеграммой о своем приезде. Очень возможно, что уже завтра я буду обедать у нее. Сегодня я должен был обедать у князя Горчакова. Но вместо этого оказалось, что мы оба обедаем у великой княгини Елены Павловны, с которой я еще не виделся после ее возвращения. Чем больше съезжается знакомых людей, тем более ощутимой становится не заполняемая ими пустота.

Мне бы хотелось иметь известия о твоем брате[3]. Как его семья опять водворилась в Мюнхене? — Посылаю тебе последнее письмо Мальтица[4]. Убежден, что оно доставит тебе такое же удовольствие, какое доставило мне. Его письма — словно переливы пастушьего рожка. Они наполняют душу тем *трепетом прошлого*, о котором он мне говорит, — самой высшей и самой неумолимой из властей. Мальтиц поручает мне, как ты увидишь, передать тебе его нижайший поклон, ах, я бы сам мечтал склониться к твоим ногам — но что для этого нужно сделать?

Вчера, во вторник, был вечер у Протасовой, где печаль одолевала меня еще более, чем скука — этим все сказано.

Закончу повторением своих же собственных слов: Вот плохо подведенный итог существования.

Теперь перехожу к Мари. Прочтите, моя милая дочь, стихотворение, которое я посылаю вам только потому, что о нем в данный момент много судачат в Петербурге[5]. Постарайтесь угадать, кто его автор. Оно адресовано князю Суворову, и вот каков повод. Тебе известно, что *ко дню Михаила Архангела* мы послали Муравьеву серебряно-вызолоченный горельеф с изображением его небесного покровителя — в сопровождении адреса, подписанного 80 именами, в числе коих Блудовы, графи-



ня Протасова, ее сестра Долгорукая и т. д. и т. д., словом, именами высокочтимыми. А надобно тебе знать, что князь Суворов, человек, конечно, добрейший, но нелепый, давно провозгласил себя ярым противником Муравьева и не упускает случая побраниться. Поэтому он не преминул заявить, что рвет всяческие сношения с людьми, которые имели *низость* подписать названную бумагу. За ним, правда, признано право на подобные глупости. Но поскольку на сей раз затронут общественный порыв неоспоримой важности, глупость не сошла ему с рук — и он удостоился стихов, которые сейчас перед тобой.

<Стихотворение «Его светлости князю Ал. Арк. Суворову» см.: с. 61>

26. О. А. НОВИКОВОЙ

18 ноября 1863 г. Петербург

Lundi

Tenez, Madame, demandez-moi la vie, mais ne me demandez pas de *rimes*. J'ai les rimes en horreur, surtout les miennes. — D'ailleurs il ne me reste pas une seule copie de cette malheureuse *boutade rimée* qui ne vaut assurément pas le bruit qu'elle a fait et qu'elle ne doit qu'à deux noms propres[1]. Laissez-moi plutôt vous recommander une chose bien plus digne d'une attention aussi intelligente et aussi éclairée que la vôtre. C'est le grand article de *Hilferding* sur la Pologne, inséré dans *L'Invalide*[2]. Voilà une chose de grande valeur. Lisez-le, Madame, et *faites-le lire à nos amis d'Europe*. Vous leur rendrez service. — Vous voyez bien, Madame, vous m'avez demandé une babiole, un jeton en cuivre — et je vous offre une pièce d'or. J'ai quelques droits à vos remerciements.

Mille hommages empressés.

T. Tutchef

Перевод:

Понедельник

Просите что угодно, милостивая государыня, хоть жизнь мою, но не просите моих *стихов*. К стихам я питаю

отвращение, в особенности к своим. — К тому же у меня не осталось ни одного списка этой злосчастной *стихотворной выходки*, не заслуживающей, конечно, того шума, который она вызвала и которым она обязана лишь двум именам собственным[1]. Позвольте мне лучше предложить вам нечто, гораздо более достойное внимания человека столь просвещенного и разумного, как вы. Это большая статья *Гильфердинга* о Польше, напечатанная в «Инвалиде»[2]. Вот это явление поистине значительное. Непременно прочтите ее, милостивая государыня, и *посоветуйте прочесть ее нашим европейским друзьям*. Вы им окажете услугу. — Теперь вы видите, милостивая государыня, — вы просили у меня побрякушку, медный грош, а я предлагаю вам золотую монету. Я имею некоторое право на вашу благодарность.

Усердно кланяюсь.

Ф. Тютчев

27. М. И. ЖИХАРЕВУ

30 ноября 1863 г. Петербург

С.-Петербург. 30 ноября 1863

Милостивый государь,

От души благодарю вас за драгоценный подарок. — Не без умиления узнал я в присланной вами фотографии знакомую, памятную местность[1] — этот скромный ветхий домик, о котором незабвенный жилец его любил повторять кем-то сказанное слово, что *весь он* только одним духом держится[2].

И этим-то — его — духом запечатлены и долго держаться будут в памяти друзей все воспоминания, относящиеся к замечательной, благородной личности одного из лучших умов нашего времени. — Еще раз благодарю вас усердно.

С истинным уважением пребываю

вашим покорным слугою.

Ф. Тютчев



28. А. М. ГОРЧАКОВУ

9 декабря 1863 г. Петербург

Lundi

J'ai été bien contrarié, mon Prince, de n'avoir pu me rendre à votre appel. Il me tardait de vous offrir mes félicitations bien légitimes. Votre succès de l'autre jour a été complet, et je m'en réjouis beaucoup moins pour vous, que pour nous tous.

C'est un signe évident de maturité.

Il est assurément heureux que notre langue russe n'ait qu'un seul et même mot pour exprimer ces deux idées: *populaire* et *national*. C'est *народный*, et c'est précisément de ce titre que vous a salué à si bon droit une des adresses qui vous ont été envoyées.

Je ne saurai vous cacher, mon Prince, qu'on serait très désappointé si les paroles que vous avez dites, au Club, ainsi que tous les détails de la réception qui vous a été faite, n'étaient pas livrés à la publicité[1]. Il ne suffit pas d'avoir le courage de ses opinions. Il faut encore avoir celui de ses succès — quand les succès appartiennent aussi évidemment au pays tout entier.

Mille hommages dévoués.

Ф. Тютчев

Перевод:

Понедельник

Я был очень раздосадован, князь, невозможностью явиться на ваш зов. Я с нетерпением ждал случая принести вам свои поздравления, в высшей степени заслуженные. Ваш намеднишний успех был безусловным, и он наполняет меня радостью не столько за вас, сколько за всех нас.

Это очевидный признак зрелости.

Поистине счастье, что в нашем русском языке есть одно емкое слово для выражения двух понятий: *популярный* и *национальный*. Это — *народный*. И вот этим-то титулом и наградил вас так справедливо один из посланных вам адресов.

Не скрою от вас, князь, что для всех было бы большим разочарованием, если бы слова, произнесенные вами в клубе,

равно как и все подробности оказанного вам приема, не были преданы гласности[1]. Не достаточно иметь мужество высказать свое мнение. Нужно иметь мужество поделиться своими успехами, когда эти успехи столь очевидно принадлежат всей стране.

С глубочайшим уважением.

Ф. Тютчев

29. Д. Н. БЛУДОВУ

Начало 1860-х гг. (до 1864). Петербург

Ce jeudi

Assurément, cher Comte, on ne saurait rien trouver de plus ingénieusement approprié à la destination que vous avez en vue que les quatre vers, cités par vous, de *Jacob Boehme*. C'est une des plus grandes intelligences qui aient jamais traversé le monde que ce J. Boehme. Elle marque, pour ainsi dire, le point d'intersection de deux doctrines les plus opposées, le Christianisme et le Panthéisme. On pourrait l'appeler le *Panthéiste chrétien* si ces deux mots ne hurlaient pas de se trouver ensemble... Pour reproduire ses idées en russe, en véritable russe, il faudrait s'approprier la langue si idiomatique et si profondément expressive de quelques-uns de nos sectaires. Pour ma part je me récuse et reconnais volontiers mon insuffisance... Toutefois, pour vous complaire, voici d'abord l'essai d'une traduction littérale:

«Тот, кто уразумел Время как Вечность, а Вечность как Время, стал непричастен никакому горю...»

Ou bien, dans une forme plus métrique:

Кто Время и Вечность
В себе совместил,
От всякого горя
Себя оградил...[1]

Ces deux versions ont cela de commun entr'elles que toutes les deux ne valent absolument rien...

Mille salutations empressées.

Ф. Тютчев



Перевод:

Четверг

Конечно, любезный граф, невозможно найти ничего более удачно согласующегося с вашим замыслом, чем четыре стиха *Якоба Бёме*, цитируемые вами. Якоб Бёме — один из величайших умов, которые когда-либо являлись в сей мир. Он, так сказать, точка пересечения двух наиболее противоположных учений — Христианства и Пантеизма. Его можно было бы назвать *христианским пантеистом*, если бы сочетание двух этих слов не заключало в себе вопиющего противоречия... Чтобы выразить его идеи на русском языке, на настоящем русском языке, нужно было бы усвоить столь идиоматический и столь глубоко выразительный язык некоторых наших сектантов. Со своей стороны я уклоняюсь от этого и охотно признаю свою неспособность... Тем не менее, чтобы вам угодить, вот сначала попытка дословного перевода:

«Тот, кто уразумел Время как Вечность, а Вечность как Время, стал непричастен никакому горю...»

Или же в форме более метрической:

Кто Время и Вечность
В себе совместил,
От всякого горя
Себя оградил...[1]

Общее между этими двумя переводами то, что они оба решительно ничего не стоят.

Усердно кланяюсь.

Ф. Тютчев

30. П. А. ВАЛУЕВУ

16 февраля 1864 г. Петербург

Dimanche. 16 février

Je prends la liberté de mettre sous les yeux de Votre Excellence une lettre que je viens de recevoir de Майков et qui a trait à certaines accusations plus absurdes encore que malveil-

lantes — et c'est beaucoup dire — qui ont couru la ville à son sujet[1].

Votre Excellence, qui connaît et apprécie Майков, n'aura pas eu besoin de cette lettre pour plaindre un homme d'honneur et de talent, obligé — en dépit de ses sentiments personnels généralement connus et mille fois exprimés — obligé, dis-je, par le fait de je ne sais quelle ingénieuse ineptie de quelques coteries, de recourir, la rougeur au front, à de pareilles explications.

Je saisis avec empressement cette occasion d'offrir à Votre Excellence mes hommages accoutumés.

T. Tutchef

Перевод:

Воскресенье. 16 февраля

Позволяю себе ознакомить ваше превосходительство с письмом, только что полученным мною от Майкова, где речь идет о неких обвинениях в его адрес, еще более нелепых, чем гнусных — и этим почти все сказано, — которые обошли город[1].

Вашему превосходительству, знающему и ценящему Майкова, вероятно, не требуется это письмо, чтобы проникнуться сочувствием к человеку честному и даровитому, вынужденному — несмотря на свои широко известные и многократно выраженные взгляды, — вынужденному, повторяю я, опровергать, краснея от стыда, глупейшую выдумку каких-то злопыхателей.

Не упускаю случая заверить ваше превосходительство в неизменном своем почтении.

Ф. Тютчев

31. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

29 февраля 1864 г. Петербург

Ma fille chérie. Je savais à peu près la mesure du temps pour les visites qu'on te faisait et que tu pouvais supporter[1]: 8 à 10 minutes quand c'était le *petit frère*, de 10 à 15 quand c'était celle du petit père. — Mais ce que tu es à même de supporter de lignes

dans une visite épistolaire? — voilà ce que j'aimerais savoir; dans ce moment-ci, pour ne pas trop me compromettre. — Quant à tes lettres à toi, je les aime, de toutes les tailles et de toutes les grandeurs. Je les aime parce qu'elles te ressemblent, elles ont beau avoir *la mort dans l'âme,* comme tu dis, elles ont malgré cela le rire aux lèvres.

Sais-tu, ma fille, que tu l'as échappé belle, en fait d'impressions lugubres — en t'en allant juste la veille du jour où devait enfin s'accomplir ta *persistante* prophétie[2]. Que serais-tu devenue, si on t'avait appliqué une loi de Pierre le G<rand>, qui condamne à la prison un prophète de malheur, jusqu'à l'accomplissement de sa prédiction?

Ma fille chérie. Ne soyez pas triste. Voici le printemps qui vient et vous pouvez encore avoir de beaux jours...[3] Essaye seulement de le vouloir.

Embrasse tendrement Kitty et prie-la de m'écrire quelques mots.

Le petit père assommant

Перевод:

Моя милая дочь. Я более или менее представлял себе, сколько времени ты в состоянии терпеть того или иного посетителя[1]: от 8 до10 минут — *крошку братца,* от 10 до15 — крошку отца. — Но сколько ты можешь вынести строк в визите эпистолярном? — вот что хотел бы я знать в данный момент, чтобы не поставить себя в слишком неловкое положение. — Что касается твоих писем, то я люблю их независимо от размера и формы. Я люблю их потому, что они походят на тебя: сколько бы ни заключали они, как ты говоришь, *смертельной грусти в душе,* на устах у них все-таки смех.

Знаешь ли, дочь моя, что ты счастливо избежала мрачных впечатлений, уехав как раз накануне того дня, когда должно было наконец исполниться твое *застарелое* пророчество[2]. Что бы с тобой сталось, если бы еще действовал закон Петра Великого, предписывавший держать предсказателя несчастья в тюрьме до тех пор, пока его предсказание не сбудется?

Милая моя дочь, не грусти. Вот уж и весна наступает, и тебе еще выпадут счастливые дни...[3] Постарайся только этого захотеть.

Нежно поцелуй Китти и попроси ее написать мне несколько слов.

Несносный крошка отец

32. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

3 июня 1864 г. Петербург

St-Pétersbourg. Mercredi. 3 juin

J'arrive, ma fille chérie, j'arrive — je ne puis encore fixer le jour, mais certainement ce sera dans le courant de la semaine prochaine. D'ici dans 8 jours au plus tard je compte bien être rendu près de vous[1]. Dis cela à mon frère qui, assurément, ne saurait être plus impatient de me voir à Moscou que je ne le suis moi-même.

Hier j'ai embarqué Mons[r] Jean pour son tour d'Europe. Il a très heureusement subi ses examens, et vient de passer dans la 3[ième] classe qui correspond aux cours de l'université[2]. Ce succès m'a fait plaisir, surtout en vue de la joie que cela aura fait à sa mère. — J'ai eu hier des nouvelles de Kissingen, et par ricochet aussi de Genève[3]. Ce qui m'a fait grand plaisir quant à ces dernières, c'est de voir que Daria s'est fixée à quelque chose de déterminé et de très raisonnable. C'est, d'ailleurs, ce que pour mon compte je lui avais toujours conseillé...

Voilà donc que l'écheveau se dévide peu à peu. Je jouis par anticipation de la jouissance que vous aurez, ma fille chérie, à vous trouver en Suisse, Interlaken et Lac de Genève[4], et j'espère bien qu'il me sera donné d'en être le témoin. Je tiens infiniment à revoir et à recontempler toutes ces belles choses à travers vos impressions. — Il vient un âge où l'on ne jouit que par ricochet et depuis longtemps j'en suis là...

J'attendrai le retour du Prince Gortch<akoff> pour organiser mon départ de telle manière que je puisse au besoin prolonger à discrétion mon absence de Pétersb<ourg>, car après tout il n'est pas impossible que ma femme et Marie se trouvent, même malgré

elles, dans la nécessité de passer l'hiver hors du pays. Ce serait, assurément, non seulement ce qu'il y aurait de plus agréable, mais aussi de plus raisonnable à faire. — Et alors, si cette chance venait à se réaliser, je ferai tout au monde pour décider mon frère à se laisser emmener.

Vous aurez appris, je suppose, le malheur qui a frappé les pauvres Délianoff[5]. — On est toujours étonné de ces contresens — comme si on était dans le secret du sens véritable des choses et des événements.

Au revoir donc, à bientôt, ma fille chérie. Mille tendresses à grand-maman, qui, j'espère, a cessé de me chercher en Sibérie[6]. Bien des amitiés aussi à la tante et au cher Ник<олай> Васильич.

Tout à toi.

Перевод:

С.-Петербург. Среда. 3 июня

Я еду к вам, моя милая дочь, еду — не могу еще точно назвать день, но знаю наверное, что на будущей неделе. Самое позднее через 8 дней я твердо рассчитываю быть у вас[1]. Скажи об этом моему брату, который, я уверен, не может ждать моего прибытия в Москву с большим нетерпением, чем я сам.

Вчера я отправил Ваню в путешествие по Европе. Он весьма успешно сдал экзамены и перешел в 3-й класс, соответствующий университетскому курсу[2]. Успех его доставил мне удовольствие, особенно ввиду той радости, которую он принесет его матери. — Вчера я получил известие из Киссингена и, косвенным путем, из Женевы[3]. Что касается женевских новостей, то я был особенно рад узнать, что Дарья приняла определенное и очень благоразумное решение. Кстати, это то, что я, со своей стороны, всегда ей советовал...

Итак, клубок моих забот постепенно распутывается. Предвкушаю, как ты будешь наслаждаться, милая дочь, в Швейцарии, в Интерлакене и на Женевском озере[4], и надеюсь, что ты разделишь со мною это наслаждение. Мне так хочется вновь пережить встречу с этими красотами, созерцая их твоими глазами. — Наступает возраст, когда радуешься

только радостям окружающих, и для меня эта пора давно уже наступила...

Я хочу дождаться возвращения князя Горчакова и оформить свой отъезд так, чтобы в случае надобности я мог бы продлить мое отсутствие и вернуться в Петербург, когда это будет мне удобно, ибо в конце концов не исключено, что моей жене и Мари, даже независимо от их желания, придется провести зиму за границей. Несомненно, это было бы не только самое приятное, но и самое разумное, что они могли бы сделать. — И тогда, если бы такая возможность осуществилась, я сделал бы все, чтобы уговорить брата ехать со мной.

Вы, наверное, уже знаете о несчастье, постигшем бедных Деляновых[5]. — Подобные удары судьбы всегда поражают нас своей бессмысленностью — словно нам ведом истинный смысл вещей и событий.

До свиданья же, до скорого, милая моя дочь. Передай самый сердечный поклон бабушке, которая, надеюсь, больше не ищет меня в Сибири[6]. Дружески кланяюсь также тетушке и любезному Николаю Васильичу.

Весь твой.

33. М. Н. КАТКОВУ

Середина июля 1864 г. Петербург

С.-Петербург

Почтеннейший Михаил Ники<форович>!

Пишу к вам по поручению к<нязя> А. М. Горчакова. — Князь жел<ает> очень, чтобы *вы* — в этом водовороте всевозможных и не<воз>можных сплетней, толков и лжей, *вы* — как лучший представител<ь> русской гласности — знали с<амым> достоверным, самым полож<итель>ным образом о настоящ<ем> ходе и состоянии дел.

Все показания князя з<аклю>чаются в следующих тр<ех> пунктах:

1) Ни в Киссингене, ни <в Берлине>[1] <пр>и всех совещаниях с <ин>остранными министрами и <го>сударями не было ни *предложено,* <н>и *принято* нами никаких обяза-



тельств, ни изустных, ни письменных, по какому бы <то> вопросу ни было, так что князь возвратился из-за границы, <у>держав за собою те же самые <у>словия полнейшей самостоятель<нос>ти и неограниченной свободы <дей>ствия, с какими он туда <от>правился.

2) О польском вопросе не <было> речи. — Князь просит вас принять это удост<оверение> в самом буквальном с<мысле> слова: *Le nom de la Pologne n'a pas été prononcé**.

3) Князь остается верен свое<му> взгляду, а именно, что настоящ<ая> политика России — не за грани<цею>, а внутри ее самой: т. е. в ее последовательном, безостанов<очном> развитии — и потому считает своею первою обязанностию не путать ее ни в как<ие> внешние, посторонние вопрос<ы>, чтобы как-нибудь чр<ез это> не повредить правильно<му> решению ее настоящего <вопроса>, т. е. внутреннего.

Вот что поручено мне было <ва>м передать уже несколько <дн>ей тому назад, но я все это <в>ремя жил и живу в такой <м>учительной, невыносимой, ду<ш>евной тревоге[2], что вы, конечно, простите мне это невольное <про>медление.

Мое усерднейшее почтение <ми>лой Софье Петровне[3].

Вам душевно преданный

Ф. Тютчев

P. S. От А.И. Георгиевского сей<час> получил письмо — благодарю.

34. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

8 августа 1864 г. Петербург

С.-Петерб<ург>. 8 августа

Александр Иваныч!

Все кончено — вчера мы ее хоронили... Что это такое? что случилось? о чем это я вам пишу — не знаю. — Во мне все

* Слово «Польша» не было произнесено (*фр.*).

убито: мысль, чувство, память, все... Я чувствую себя совершенным идиотом.

Пустота, страшная пустота. — И даже в смерти — не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...

Сердце пусто — мозг изнеможен. — Даже вспомнить о ней — вызвать ее, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.

Страшно — невыносимо. — Писать более не в силах — да и что писать?..

Ф. Тчв

35. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

13 августа 1864 г. Петербург

С.-Пет<ербург>. Четверг. 13 августа

О, приезжайте, приезжайте, ради Бога, и чем скорее, тем лучше![1] — Благодарю, от души благодарю вас.

Авось либо удастся вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя, этот жгучий камень, который давит и душит меня... Самое невыносимое в моем теперешнем положении есть то, что я с всевозможным напряжением мысли, неотступно, неослабно, все думаю и думаю о ней, и все-таки не могу уловить ее... Простое сумасшествие было бы отраднее...

Но... писать об этом я все-таки не могу, не хочу, — как высказать эдакий ужас!

Но приезжайте, друг мой, Александр Иваныч. Сделайте это доброе христианское дело. — Жду вас к воскресенью. Вы, разумеется, будете жить у меня. Привозите с собою ее последние письма к вам...

Обнимаю милую, родную Марью Александ<ровну> и детей ваших.

Страшно, невыносимо тяжело.

Весь ваш

Ф. Тютчев

36. Я. П. ПОЛОНСКОМУ

15 августа 1864 г. Петербург

Суббота. 15 августа

Что с вами, друг мой Яков Петрович, что ваше здоровье? — О, как мне больно, и за вас и за себя, что вы нездоровы.

Мне с каждым днем хуже. Надо ехать, бежать — и не могу решиться. — Воля убита, все у́бито.

Знаете ли, что мне пришло в голову в моем тупом отчаянии? — Что, если бы вы мне дали увезти себя за границу — хоть на несколько недель?[1] Отпуск получить не трудно, а вы бы спасли меня — в буквальном смысле спасли? — Подумайте и отвечайте. — Еще почти неделя до моего отъезда.

Вам от души пред<анный>

Ф. Тютчев

37. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

8/20 сентября 1864 г. Женева

Genève. 8/20 septembre

Merci, ma fille chérie... J'ai reçu presqu'à la fois tes deux lettres des premiers jours de ce mois et cette que tu as écrite à mon sujet à Mad<ame> Pétroff. — Ma fille... C'est avec des taches de larmes que je voudrais te répondre et non pas avec de l'encre. — Il y a, j'ai senti dans tes paroles, dans ton accent, quelque chose de si tendre, de si intimement, de si profondément ému, que — vois-tu? — j'ai cru entendre comme l'écho d'une autre voix... d'une voix qui jamais, pendant quatorze ans, ne m'a parlé sans émotion — dont l'accent est toujours encore dans mon oreille et que jamais, jamais je n'entendrai plus...[1]

Merci, ma fille, merci de m'avoir parlé de cette voix-là...

Ce qui m'a aussi profondément touché dans ce que tu me dis, c'est la coïncidence de nos pensées... Car au moment où tu m'écrivais que *tu attends avec impatience que je te dise que tu pouvais m'être bonne à quelque chose*, moi, je me disais dans mon for intérieur, je l'ai dit même à Anna, que si quelque chose pouvait me ranimer, me donner au moins une illusion de vie, ce serait de

me conserver, de me dévouer à toi, ma pauvre enfant chérie, — à toi, si aimante et si seule, — à toi, si peu raisonnable en apparence et si profondément vraie, — à qui j'ai transmis peut-être, par héritage, cette terrible faculté sans nom qui rompt tout équilibre dans la vie, cette soif d'affection — que pour toi, ma pauvre enfant, rien n'est venu étancher... Ah, oui, si je pouvais — à défaut de mieux et en attendant mieux — être pour quelque chose dans ta vie, te donner le change, au moins, sur le vide, sur le néant de ton existence, — eh bien, cela me tirerait peut-être aussi de cette torpeur désespérée où me voilà, et qui me prive même de la faculté de trouver des paroles pour l'exprimer. — En un mot, ce que je voudrais, ma fille, c'est que ce débris de vie, d'âme et de cœur, qui me reste et qui n'est plus bon à rien, te soit bon à quelque chose...

Dieu me garde d'être ingrat, mais si quelqu'un pouvait se douter de mon état — torpeur ou torture — mais toujours désespoir...

C'est la semaine prochaine que je fais mes dévotions — ici-même — ici, pas ailleurs. Jusqu'à présent je me suis senti, comment te dirai-je, — l'âme trop épileptique, pour aborder cette sainte chose — prie p<our> moi...

Dis à Kitty que je l'embrasse du fond du cœur et la remercie... Je sais, je sens ce qu'il y a de vive sensibilité sous sa raison et ce que cette raison lui en coûte parfois... Que Dieu v<ou>s garde toutes deux et vous tienne compte de votre affection p<our> votre pauvre père.

T. T.

Перевод:

Женева. 8/20 сентября

Благодарю, моя милая дочь... Я получил почти одновременно оба твоих письма от начала сего месяца, а также и то, в котором ты писала обо мне госпоже Петровой. — Дочь моя... Я хотел бы написать тебе слезами, а не чернилами. — В твоих словах, в их интонации я ощутил нечто столь нежное, столь искренно, столь глубоко прочувствованное, что — вообра-



зишь ли? — мне почудилось, будто я слышу отзвук... другого голоса, никогда в течение четырнадцати лет не говорившего со мной без душевного волнения, того голоса, что и посейчас еще звучит в моих ушах и которого я никогда, никогда более не услышу...[1]

Спасибо, дочь моя, спасибо, что так со мной говорила...

Глубоко растрогало меня и соответствие наших мыслей... Ибо в ту минуту, как ты писала мне, что *с нетерпением ожидаешь, когда же я скажу тебе, что ты мне можешь быть чем-нибудь полезна*, я говорил сам себе, я даже сказал это Анне: если б что и могло меня подбодрить, создать мне, по крайней мере, видимость жизни, так это желание сберечь себя для тебя, посвятить себя тебе, мое бедное, милое дитя, — тебе, столь любящей и столь одинокой, — тебе, внешне столь мало рассудительной и столь глубоко искренней, — тебе, кому я, быть может, передал по наследству это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви, — которая у тебя, мое бедное дитя, осталась неутоленной... Ах да, если бы я мог — за неимением лучшего и в ожидании лучшего — быть чем-нибудь в твоей жизни, хоть каким-то развлечением в пустоте и тщете твоего существования, — так вот, может статься, это и меня вывело бы из того безнадежного оцепенения, в коем я нахожусь и которое лишает меня даже способности выразить его словами. — Короче говоря, я мечтал бы, дочь моя, чтобы останки моей жизни, души и сердца, совершенно негодные, на что-то пригодились тебе...

Упаси меня Боже роптать, но никто не может себе представить моего состояния — оцепенение или терзание — все это одно неизбывное отчаяние...

Говеть я буду на будущей неделе — и именно здесь, а не в другом месте. До сих пор я чувствовал, как бы тебе сказать, — слишком большую душевную шаткость, дабы приступить к этому таинству, — помолись обо мне...

Скажи Китти, что я обнимаю ее от всего сердца и благодарю... Я знаю, я понимаю, сколько горячего чувства таится за ее рассудительностью и как подчас нелегко дается ей эта рас-

судительность... Да сохранит вас обеих Господь, и да воздаст он вам за вашу любовь к вашему бедному отцу.

Ф. Т.

38. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

15/27 сентября 1864 г. Женева

Genève. Mardi. 15/27 septembre 1864

Ma fille chérie. Dans quelques heures je vais à confesse et puis je communierai. — Oh, prie pour moi. Demande à Dieu de me faire grâce, grâce, grâce! De m'ôter de l'âme cette horrible angoisse, de me sauver du désespoir, mais autrement que par l'oubli, — non, pas par l'oubli... Ou bien que dans Sa miséricorde il daigne abréger une épreuve au-dessus de mes forces...

Oh, qu'elle-même intercède pour moi, elle qui doit sentir mon trouble, mes angoisses, mon désespoir, — elle qui doit en souffrir, — elle qui a tant prié — tant prié dans sa pauvre vie mortelle que j'ai remplie d'amertume et de douleurs, et qui pourtant n'a jamais cessé d'être une prière — une prière pleine de larmes devant Dieu.

Oh, que Dieu me fasse la grâce, dans quelques heures d'ici, de me permettre de dire, avec le même accent qu'elle, ces mots que je lui ai entendu distinctement proférer la veille de sa mort: «Верую, Господи, и исповедую...»

Aujourd'hui il y a eu six semaines qu'elle n'est plus, — et que j'ai commencé à reconnaître de moins en moins le monde que j'ai habité jusque-là... C'est cette horrible angoisse que je vais demander à Dieu de faire cesser — pour que je puisse me retrouver moi-même, et retrouver aussi tout ce qu'il m'a laissé encore, — d'affections sincères et dévouées et que je mérite si peu...

Ma fille chérie, un mot pour toi personnellement, dans ce moment de sincérité absolue... Je te jure, ma fille, que dans tout ce que je t'ai dit dans ma lettre, il n'y a, pour ce qui te concerne, non seulement la moindre intention de blâme, même le plus mitigé, mais que d'un bout à l'autre pas un mot qui ne soit un cri de sympathie — pas même le mot de *déraison*[1] que j'ai écrit avec



amour, comme pour établir, pour constater un lien, un rapport de plus entre toi et ton pauvre père, — *déraison* soit, que Dieu, dans sa miséricordieuse justice, peut seul apprécier, — mais que les hommes, dans leur partialité forcée et fatale, jugeront toujours sans équité, comme sans intelligence.

Mais que Celui qui voit tout et qui peut tout, daigne aussi faire grâce à tous... Ma fille et vous tous qui m'aimez, pardonnez-moi...

Перевод:

Женева. Вторник. 15/27 сентября 1864

Моя милая дочь. Через несколько часов иду на исповедь, а затем буду причащаться. — Помолись за меня. Моли Господа ниспослать мне помилование, помилование, помилование! Освободить мою душу от этой ужасной тоски, спасти меня от отчаяния, но не путем забвения — нет, не забвения... Да сократит Он в своем милосердии срок испытания, превышающего мои силы...

Да вступится за меня она, она, которая должна чувствовать мое смятение, мою тоску, мое отчаяние, — она, которая должна от этого страдать, — она, так много молившаяся — так много молившаяся в своей печальной земной жизни, переполненной по моей вине горечью и болью и все же ни на миг не перестававшей быть молитвой — слезной молитвой, возносимой к Богу.

Да дарует мне Господь милость, дозволив сказать через несколько часов те же слова и с тем же чувством, с каким — я слышал — она ясно произнесла их накануне своей смерти: «Верую, Господи, и исповедую...»

Сегодня минуло шесть недель с той минуты, как ее не стало, — и как я начал отчуждаться от мира, в котором жил до тех пор... Я буду просить Господа избавить меня от этой ужасной тоски — дабы я смог вновь обрести самого себя, смог ощутить все то, что он мне еще оставил, — искренние и крепкие привязанности, которых я так мало заслуживаю...

Моя милая дочь, скажу кое-что лично тебе в эту минуту полной откровенности.... Клянусь, дочь моя, — во всем, что

я говорил в моем письме, нет по отношению к тебе ни тени осуждения, даже самого мягкого, и более того, от начала до конца, нет в нем ни одного слова, которое не было бы воплем сочувствия, — даже слово *безрассудство*[1] написано мною с любовью, в попытке установить, засвидетельствовать еще одну связь, еще одно сходство между тобой и твоим несчастным отцом, — да будет *безрассудство*, коему лишь Господь, милосердный в своем правосудии, знает истинную цену, — а люди, по рукам и ногам скованные своими пристрастиями, всегда выносят приговор несправедливый и неосмысленный.

Но пусть Тот, кому все ведомо и все подвластно, помилует всех... Дочь моя и все, кто меня любит, простите меня...

39. А. И. и М. А. ГЕОРГИЕВСКИМ

6/18 октября 1864 г. Женева

Женева. 6/18 октября 1864

Друг мой, милый друг мой Александр Иваныч... Уверять ли мне вас, что с той минуты, как я посадил вас в вагон в Петерб<урге>[1], — не было дня, не было часу во дне, чтобы мысль о вас покидала меня... Так вы тесно связаны с памятью о ней, а память ее — это то, что чувство голода в голодном, ненасытимо голодном.

Не живется, мой друг Александр Иваныч, не живется... Гноится рана, не заживает... Будь это малодушие, будь это бессилие, мне все равно. Только при ней и для ней я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя... Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество... Может быть и то, что в некоторые годы природа в человеке теряет свою целительную силу, что жизнь утрачивает способность возродиться, возобновиться. Все это может быть, но, поверьте мне, друг мой Александр Иваныч, тот только в состоянии оценить мое положение, кому — из тысяч одному — выпала страшная доля — жить четырнадцать лет сряду — ежечасно, ежеминутно — такою любовью, как ее любовь, — и *пережить* ее...

Теперь все изведано, все решено, — теперь я убедился на опыте, что этой страшной пустоты во мне ничто не наполнит... Чего я не испробовал в течение этих последних недель — и общество, и природа, и наконец самые близкие, родственные привязанности, самое душевное участие в моем горе... Я готов сам себя обвинять в неблагодарности, в бесчувственности, — но лгать не могу — ни на минуту легче не было, как только возвращалось сознание. Всё это приемы опиума, — минутно заглушают боль — но и только. Пройдет действие опиума — и боль все та же. — Только и было мне несколько отрадно, когда, как, напр<имер>, здесь с Петровыми[2], которые так любили ее, я мог вдоволь об ней наговориться, — но и этой отрады я скоро буду лишен. — И при том я не могу не чувствовать, что даже и для тех, которые ее любили, это было простое, обыкновенное мимо преходящее горе — а не душевное увечье, как для меня... И тут тоже страшное одиночество.

Друг мой Александр Иваныч, не тяготитесь этим письмом, которое я двадцать раз начинал и сил не хватало кончить... Хотелось бы, помимо слез, обменяться с вами и несколькими словами.

Вот уж скоро месяц я живу на берегах Женевского озера[3]. — В Лозанне или, лучше сказать, под Лозанною, в местечке *Ouchy* встретил я целую русскую колонию: кн. *Горчакова,* графа Киселева[4], бывшего посла в Париже, и многих других... Тут-то нам удалось прочитать, благодаря присутствию двух великих княгинь, Елены Павл<овны> и ее дочери[5], которые получают «Московские ведомости», великолепные статьи, вызванные брошюрою *Schedo-Ferroti*...[6] Удар был электрический. Все было прочувствовано и оценено — и художественное мастерство отделки, и самая сущность содержания. Благодаря этим двум статьям французская брошюра превратилась в огромную услугу, оказанную русскому чувству и русскому делу, а *Головнин* является чем-то вроде патриотического *agent provocateur*...* Однако же мы не без удовольствия узнали, что Московский университет иначе оценил эту многостороннюю деятельность, отослав

* провокатора (*фр.*).

ему присланные экземпляры...[7] Вчера я известился по телеграфу из Дармштадта, что сегодня, 6, выезжают в Ниццу — куда и я скоро отправлюсь...[8] Кн. Горчаков, кажется, не провожает государя, и свидание с Наполеоном состоится без него...[9] Впрочем, я имею все возможности предполагать, что все это ограничится обменом вежливостей и что мы удержим за собою весь простор нашего произвола, всю нашу политическую самостоятельность...[10] чему много будет способствовать самая шаткость и двусмысленность теперешнего положения дел — потому что последняя фаза этого положения, т. е. франко-итальянская конвенция, есть не что иное, как новая уловка упрочить за Наполеоном возможность продлить эту двусмысленную игру, которую он все-таки проиграет...[11] Но довольно. Мочи нет притворяться, скрепя сердце, говоря с участием о том, что утратило для меня всякое значение! Боже мой, Боже мой, все это было хорошо при ней... — Дайте мне сказать несколько слов вашей милой Марье Александр<овне>.

Chère, bien chère amie. Laissez-moi vous dire ce que vous savez si bien d'ailleurs — c'est que, depuis qu'elle n'est plus là, rien n'a de réalité pour moi que ce qui lui a appartenu, que ce qui a rapport à elle. Je vous laisse à juger, après cela, la place que vous tenez dans mon cœur... Ah, que ne donnerais-je pas pour être entre vous et votre mari. Ah oui, il n'y a pour moi que ceux qui l'ont connue et aimée — bien qu'à présent *tout le monde* me parle d'elle avec un vif intérêt... trop tard, hélas, trop tard! Une de celles qui m'a parlé d'elle avec le plus de sympathie, c'est dernièrement la Grande-Duchesse Hélène qui m'a même promis son appui pour ma petite *Loele* qu'elle verra chez Mad<ame> Trouba à son retour à Pétersb<ourg>...[12] Ah, si ce n'étaient *ses* enfants, je sais bien où serait maintenant ma place... Rien n'est changé — vous le voyez — je suis toujours au lendemain de sa mort... Ecrivez-moi de grâce, poste restante, à Nice — vous et votre mari, s'il en a le temps... J'embrasse et je bénis vos chers enfants. — Ah, chère amie, je suis bien malheureux.

Вам обоим несказанно преданный

Ф. Тютчев



Перевод:

Дорогой, драгоценный друг! Позвольте мне сказать вам то, что вы и сами прекрасно знаете, — что с тех пор, как она покинула этот мир, все обесцветилось для меня, кроме того, чем она жила, к чему прикасалась. Так посудите же, какое место занимаете в моем сердце вы... Ах, чего бы я только не дал, чтобы оказаться рядом с вами и вашим мужем! О да, для меня существуют лишь те, кто знал ее и любил, — хотя сейчас *все без исключения* говорят со мною о ней с глубочайшим участием... слишком поздно, увы, слишком поздно! С особою теплотой говорила со мною о ней давеча великая княгиня Елена Павловна, она даже обещала поддержать мою маленькую *Лёлю*, навестив ее у г-жи Труба по возвращении своем в Петербург...[12] Ах, если бы не *ее* дети, я знаю, где бы я теперь был... Ничто не изменилось, — как видите, — для меня она словно вчера умерла... Пишите мне, ради Бога, до востребования в Ниццу — вы и ваш муж, если только у него найдется время... Обнимаю и благословляю милых детей ваших. — Ах, дорогой друг, я страшно несчастлив.

Вам обоим несказанно преданный

Ф. Тютчев

40. Я. П. ПОЛОНСКОМУ

8/20 декабря 1864 г. Ницца.

Ницца. 8/20 декабря 1864

Друг мой Яков Петрович! Вы просили меня в вашем последнем письме, чтобы я написал вам, когда мне будет *легче*, и вот почему и не писал к вам до сегодня. Зачем я пишу к вам теперь, не знаю, потому что в душе *все то же*, а что это — то же, для этого нет слов. Человеку дан был крик для страдания, но есть страдания, которых и крик вполне не выражает...

С той минуты, как я прошлым летом встретил вас в Летнем саду и в первый раз высказался перед вами о том, что мне грозило, — и до сей минуты, если бы год тому назад все мною

пережитое и перечувствованное приснилось бы мне с некоторою живостью, то — мне кажется — я, не просыпаясь, тут же бы на месте и умер от испуга. — Не было, может быть, человеческой организации, лучше устроенной, чем моя, для полнейшего восприятия известного рода ощущений. — Еще при *ее* жизни, — когда мне случалось *при ней*, на глазах у нее, живо вспомнить о чем-нибудь из нашего прошедшего, нашего общего прошедшего, — я помню, какою страшною тоскою обдавалась тогда вся душа моя — и я тогда же, помнится, говорил ей: «Боже мой, ведь может же случиться, что все эти воспоминания — все это, что и теперь уже и теперь так страшно, придется одному из нас — повторять одинокому — переживши другого». Но эта мысль пронизывала душу — и тотчас же исчезала. А теперь?

Друг мой, теперь все испробовано. — Ничто не помогло, ничто не утешило, — не живется — не живется — не живется...

Одна только потребность еще чувствуется. Поскорее воротиться к вам, туда, где еще что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья, весь ее бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя, но все это так живо, так полно ею, — так что за этот бы день, прожитый с нею, тогдашнею моею жизнию, — я охотно бы купил его ценою — ценою чего? Этой пытки, ежеминутной пытки — этого увечья — чем стала теперь для меня жизнь...

О друг мой Яков Петрович, тяжело, страшно тяжело. Я знаю, часть всего этого вы на самом себе испытали, часть — но не всё — вы были молоды, и не четырнадцать же лет...[1]

Еще раз, меня тянет в Петерб<ург>, хоть я и знаю и предчувствую, что и там... но не будет, по крайней мере, того страшного раздвоения в душе, какое здесь... Здесь даже некуда и приютить своего горя...

Мне бы почти хотелось, чтобы меня *вытребовали* в Петерб<ург> именем нашего Комитета[2], к чему, кажется, есть и причины — вследствие нездоровья гр. Комар<овского>[3]. — Что он, бедный?.. Очень, очень отрадно будет мне с вами увидеться, милый мой Яков Петрович. Скажите то же от меня и Майкову. — Обоих вас от души благодарю за вашу дружбу —

и много, много дорожу ею... Господь с вами. — Простите — до близкого свидания.

Ф. Тютчев

41. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

10–11/22–23 декабря 1864 г. Ницца

Ницца. 10–11/22–23 декабря 1864

Друг мой Александр Иваныч! Роковой была для меня та минута, в которую я изменил свое намерение ехать с вами в Москву... Этим я себя окончательно погубил.

Что сталось со мною? Чем я теперь? Уцелело ли что от того прежнего *меня,* которого вы когда-то, в каком-то другом мире — там, *при ней,* — знавали и любили, — не знаю. Осталась обо всем этом какая-то жгучая, смутная память, но и та часто изменяет — одно только присуще и неотступно, это чувство беспредельной, бесконечной, удушающей пустоты. — О, как мне самого себя страшно!

Но погодите... Я теперь продолжать не в состоянии. — Сколько времени я носился и боролся с мыслию, писать ли к вам или нет... Горе, подобное моему, — это та же *проказа.* — И нуждаешься в людях, и дичишься людей. Невольно чувствуешь, что нельзя, не должно, не позволительно приближаться к ним, рассчитывать на их сострадание, — что есть такие болезни, которые просто отталкивают участие — и должны замкнуться и совершить до конца свой процесс внутри человека...

На этот раз довольно. Продолжать не могу. Голова слишком пуста. Все то, чем за минуту перед этим я, казалось, был переполнен, вдруг как-то иссякло... И сколько раз это уже со мною случалось. Сколько раз я бросал начатое... Надо на воздух...

На другой день

Друг мой Александр Иваныч, ради Бога, не тяготитесь мною. Вы и при жизни ее мне были дороги и нужны - теперь вы мне необходимы. — Припоминая ваши слова, перечиты-

вая письмо ваше, понимаю, как безотрадно вы будете поражены, читая эти строки, эти судороги расстроенного, отчаянно больного организма. Знаю, мой добрый, милый Ал<ександр> Иваныч, не того вы ожидали. — О, я страшно ошибся, отправившись за границу. Нет, если бы Божьему промыслу угодно было, после этого страшного удара, спасти меня, он взял бы меня — и увел бы в Москву. В Москве только, в этой родственной среде, я мог бы кое-как выстрадать свое горе. Здешним же моим пребыванием, при этой обстановке, при этих условиях я просто вогнал болезнь внутрь организма и сделал ее неизлечимою.

Вы правы, одна только деятельность могла спасти меня — деятельность живая, серьезная, не *произвольная*, — но, за неимением подобной собственной деятельности, уже возможность быть близким, непосредственным свидетелем чужой деятельности много бы меня ободрила и утешила. И вот что, благодаря вам и друзьям вашим, могло бы мне дать пребывание мое в Москве. Если в это последнее время — буде можно назвать *временем* мою теперешнюю жизнь, — если были для моей мысли редкие промежутки чего-то живого, светлого, сознательного, то вашему кругу я ими обязан — чтению всех тех статей Московской газеты, в которых так осязательно бьется пульс исторической жизни России. — И не для одного меня они были утешением... Странное явление встречается теперь между русскими за границею, как бы в смысле реакции противу общего стремления, — это сильнейшая, в небывалых размерах развивающаяся тоска по России при первом соприкосновении с нерусским миром. — Здесь, в Ницце, все, состоящие в свите императрицы, начиная с нее самой, в высшей степени одержимы этим чувством, — и никакое яркое декабрьское солнце, ни это ясное теплое небо, ни это море, ни эти оливы и померанцевые деревья — ничто не может заглушить чувства чужеземности и сиротства. — И вот почему здесь «Московские ведомости», как московский благовест, действуют так освежительно и успокоительно на русские нервы. — Передаю вам *ощущения* наши, ибо другого, более *разумного*, более интересного передать не имеется. Ницца



все-таки не что иное, как самое живописно-поэтическое, лучезарно-благовонное захолустье.

Здесь ждут с нетерпением возвращения в<еликого> кн<язя> наследника, который все еще во Флоренции и не может оправиться. — И он также только об одном и думает, о скорейшем возвращении в Петербург, даже помимо Копенгагена[1].

Вообще говоря, расположение умов здесь и одаль вовсе не неблагоприятно. Европейское мнение, ввиду совершающихся реформ, особливо в Польше, очевидно, озадачено. То, чему доселе приписывали одну материальную Силу, оказывается чем-то живым, органическим — мыслящею, нравственною Силою. — Гора не только тронулась с места, но и пошла, и идет, как человек. — Мера касательно монастырей в Польше еще усилила эти колебания в обществ<енном> мнении, уяснив еще более, с какими элементами мы ведем войну в Польше[2]. Здесь недавно был новый франц<узский> посол при нашем дворе — мне очень знакомый человек[3]. Он перед этим был в Петербурге, после 36-летнего отсутствия, и был очень поражен громадным совершившимся у нас переворотом... Он в скором времени будет и у вас в Москве и очень желает познакомиться с М.Н. Катковым.

Друг мой Ал<ександр> Иваныч, довольно, довольно гальванизировать мою мертвую душу... Воскресить ее невозможно. О, Боже, Боже мой милосердый!.. Пережидаю, чтобы немножко потеплело у вас на севере, и поздно, поздно в феврале непременно ворочусь в Петерб<ург>, — к *ней*, к ее детям[4], к *Лёле* моей — единственной, которая мне осталась. Если жизнь кой-как еще возможна, так это при них, — но нет — и они — никто и ничто — и никогда...

На днях буду писать к вам о них, многое, многое... Друг мой Ал<ександр> Ив<аныч>, памятью ее заклинаю вас, не изменяйте ни ей, ни мне... Скажите вашей жене, что я прошу у нее две строчки. — Только те теперь для меня *мои*, кого она своими признавала.

При случае напомните обо мне М<ихаилу> Н<икифоровичу>. Он ей также очень, очень нравился. — Господь с вами.

Ф. Тютчев

42. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

13/25 декабря 1864 г. Ницца

Ницца. 13/25 декабря

Друг мой Александр Иваныч... Вы знаете, как я всегда гнушался этими мнимопоэтическими профанациями внутр<еннего> чувства — этою постыдной выставкою напоказ своих язв сердечных... Боже мой, Боже мой, да что общего между стихами, прозой, литературой — целым внешним миром — и тем... страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит, — этою жизнию, которою вот уж пятый месяц я живу и о которой я столько же мало имел понятия, как о нашем загробном существовании. И она-то — вспомните, вспомните же о ней — она — жизнь моя, с кем так хорошо было жить — так легко — и так отрадно — она-то обрекла-то теперь меня на эти невыразимые адские муки.

Но дело не в том.

Вы знаете, она, при всей своей высоко поэтической натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и моих — ей только те из них нравились, где выражалась моя любовь к ней — выражалась гласно и во всеуслышанье. Вот чем она дорожила: чтобы целый мир знал, чем она для меня — в этом заключалось ее высшее — не то что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души ее...

Я помню, раз как-то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такою любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя — не имя, которого она не любила, — но она. И что же — поверите ли вы этому? — вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, выказал ей какое-то несогласие, нерасположение, — мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование *не совсем великодушно*, что, зная, до какой степени я весь ее («ты *мой собственный*», как она говаривала), ей нечего, незачем было желать еще других, печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или



оскорбиться другие личности. — За этим последовала одна из тех сцен, слишком вам известных, которые все более и более подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля, а меня — до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке...

О, как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненное для нее условие. — Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния — но что будет поздно. — Я слушал — и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так, как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы — и так пошло, так подло — на все ее вопли и стоны — отвечал ей этою гнусною фразой: «Ты хочешь невозможного...»

Теперь вы меня поймете, почему не эти бедные, ничтожные вирши, а мое полное имя под ними — я посылаю к вам, друг мой Ал<ександр> Ив<аныч>, для помещения хоть бы, напр<имер>, в «Русском вестнике»[1].

Весь ваш

Ф. Тютчев

43. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

2/14 января 1865 г. Ницца

Ницца. 2/14 января 1865

Друг вы мой Александр Иваныч. Вчера, рано поутру, первым не радостным приветом Нового года была ваша телеграмма, и в тот же день вечером я отправил по телеграфу мой отзыв, который в эту минуту, вероятно, и дошел до вас[1]. Теперь спешу письмом пояснить и определить смысл моей депеши. Уже за два дня перед этим я сообщил *по принадлежности* выдержку из вашего последнего письма, в котором вы передаете все истязания ваши, всю эту нелепую, недостойную <пытку>*, которой хотят вымучить из вас не признание, а молчание...

* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.

Восприимчивость была уже подготовлена, и потому ваше последнее телегр<афное> известие возбудило сильное сочувствие, которое и высказано было мне весьма положительно... Здесь очень понимают, какое *значение* имело бы прекращение деятельности *М<ихаила> Н<икифоровича>*, и, конечно, будет употреблено живое усердное ходатайство. Удастся ли оно, это другой вопрос, но, во всяком случае, оно может удаться только при одном условии, а именно — чтобы сам *М<ихаил> Н<икифорович>* не уступил противнику поля сражения, пока еще есть возможность держаться на нем — а возможность есть... Здесь вот чего бы *желали*: чтобы свыше заявлено было *кому следует*, чтобы до появления устава[2] вас бы оставили в покое, как и было прежде, не входя в дальнейшие объяснения. — Этого внушения, при некоторой *серьезности*, было бы достаточно на первых порах... Я знаю, что это еще не разрешит вопроса, не обеспечит вас окончательно, но, по крайней мере, дало бы вам возможность продолжать борьбу при менее неравных условиях. — Общее положение дел у нас теперь весьма выяснилось... Враждебность к «М<осковским> ведомостям» не есть *случайность*, не есть принадлежность той или другой личности; она — логично вытекает из самой сущности дела... Что у нас теперь воочию совершается?.. Мы видим теперь в России, как все элементы, или нерусские по происхождению, или *анти*русские по направлению, чуя какую-то им общую беду, силятся совокупиться в одно целое, в одну разнородную, но кой-как сплоченную массу — для противодействия и сопротивления, — а какая же это общая им угрожающая опасность?.. Это просто все более и более созревающая сознательность *русского начала*, которая и обличается тем, что это начало из области мысли переходит в факты, овладевает факты. — А кто более всех содействовал этому самосознанию русского общества? Кто и теперь служит ему лучшим органом, кто, как не «М<осковские> ведомости»? Inde irae*[3] и весьма заслуженные *irae*. — Совершившаяся уже коалиция всех антирусских в России направлений

---

* Отсюда злобствования (*лат.*).



есть факт очевидный, осязательный. Брошюра Шедо-Ферроти была манифестом этой коалиции; в ней, в первый раз, была высказана, как принцип, *безнародность* верховной русской власти, т. е. медиатизация русской народности[4]. — «Московские ведомости» воспротивились этому; они не согласились на такое охолощение русского начала... Они озарили и обличили... С этой минуты противники поняли, что успех сделался несравненно труднее и что им необходимо действовать соединенными силами — *viribus unitis*. Вот каким образом в состав этой коалиции вошли, вопреки своей разнородности, и польская шляхта, и остзейские бароны, и петерб<ургские> нигилисты, штатные и заштатные. Их связывает одно — отрицательное начало, т. е. врожденная или привитая враждебность ко всему русскому... Но и в этом составе, и в этом объеме они очень все-таки чувствуют, что все их усилия останутся тщетными, пока верховная *русская* власть не будет на их стороне... Вот где теперь завязка всего дела... что́ в этой русской в<ерховной> власти одержит решительный перевес — то ли, что составляет его сущность, *его* душу[5], или наносное, пришлое, привитое; словом сказ<ать>, кто одолеет в представителе этой верх<овной> власти: русский ли царь или петербургский чиновник? Я знаю, благоприятное разрешение этой задачи не вполне зависит от *нас*, но мы можем много ей содействовать...

Не подлежит сомнению, что противная сторона для достижения своей заветной цели, т. е. разрыву между царем и Россией, употребит всевозможные усилия, — что она не преминет при каждом случае воспользоваться каждым увлечением, каждым недоразумением, каждой слабостию *данной личности*. Русское самодержавие как принцип принадлежит, бесспорно, нам. Только в нашей почве оно может корениться, вне русской почвы оно просто немыслимо... Но за принципом есть еще и *личность*. Вот чего ни на минуту мы не должны терять из виду.

Итак, в данных обстоятельствах вот в чем должна состоять наша главная забота... Дать государю время и возможность вполне уразуметь, вполне прочувствовать, какою тес-

ною неразрывною солидарностию связано русское слово и русское дело... р<усское> слово в Москве и русское дело в Вильне и в Варшаве[6], и что никоим образом нельзя вынуть одно звено из этой цепи, не разорвавши всей цепи. Одной силы вещей достаточно, чтобы совершенно уяснить эту простую практическую истину. Но сила вещей все-таки требует некоторого времени, — и мы с своей стороны не вправе отказать ей в этом первом и главном условии всякого совершающегося опыта... И вот почему, добрый мой и милый друг Ал<ександр> Иваныч, мы все, сколько нас ни есть русских в Ницце, с *Первого* лица и до последнего, — читатели и почитатели «Моск<овских> вед<омостей>», — мы все верим и надеемся, что это мое письмо найдет еще редакцию этой газеты в честных и сильных руках М<ихаила> Н<икифоровича>, что он, принесший столько жертв и оказавший столько услуг, не изменит своему призванию и преждевременным, вовсе еще не нужным отступлением перед неприятелем не погубит своего и нашего дела: претерпевый до конца, той спасен будет...[7]

И прочие известия по случаю Нового года, полученные из Петербурга, — не совсем утешительны. Неожиданно *для всех* было назначение председателя[8], но у нас многое, знаменательное издали, много теряет своего значения вблизи. У нас нередко самое, по-видимому, крупное мероприятие объясняется на деле самыми мелкими, лично непосредственными соображениями, что, конечно, не лишает историю права перерешать наши решения по-своему и влагать в их пустоту свое собственное, своеобразное содержание. — Так, верно, было и будет и в этом случае...

О назначении графа Петра Шувалова в Остзейские губернии и о причинах, давших повод к замещению этим русским именем немца Ливена, мы еще ничего обстоятельно не знаем[9]. Я знаю только от отца нового г<енерал>-губернатора[10], что немцы готовят его сыну блистательный прием. Стало быть, они опасаются каких-нибудь существенных реформ. Из Петербурга писали сюда, что последняя довольно серьезная болезнь кн. Суворова вызвана была состоявшим-

ся решением по религиозному вопросу в смысле, неблагоприятном для остзейских протестантов[11]. — До сих пор мы еще ничего не знаем здесь о судьбе нового устава о печати, внесенного в Г<осударственный> совет. Ничего хорошего я по этому делу — не предвижу. У большинства наших законодателей нет в отношении к печати, к русской печати, ни одного здравого, светлого, своевременного, своеместного понятия, все одни глупые страхи и невежественные предположения. Много дельного и верного было недавно высказано в вашей газете о неприменимости к нашей печати условий иностранных законодательств[12]. Весь этот вопрос о печати поставлен у нас криво и косо, и я убежден, что для его удачного разрешения следовало бы предоставить его не правительству, а земству.

Здесь толки об энциклике начинают стихать, не подвинувши вопроса ни на шаг[13]. Да, впрочем, он и не разрешим для Запада, который всем своим прошедшим, тысячелетним прошедшим солидарно связан с Римским папою, и ни тот, ни другой сбросить с себя этого ярма не в состоянии.

Но довольно. Вот вам неск<олько> здешних домашних новостей. Здоровье импер<атрицы> удовлетворительно, здоровье же в<еликого> к<нязя> наслед<ника> очень медленно, очень туго поправляется. Графиня Блудова усердно кланяется М<ихаилу> Ник<ифоровичу>. Она хотела сама писать к нему. Все здешние русские и, между прочими, наш парижский посол б<арон> Будберг принимают в его деле самое живое участие, и все надеются, что ему удастся отстоять его. О себе я не говорю. Мое полнейшее сочувствие к его благородной личности уцелело во мне и под обломками всего моего существования. Помоги ему Господь Бог в его трудном служении, но — не хочу вас обманывать — для меня все современно живое не имеет уже никакого смысла. Прошлый год убил меня. О, если бы этому удалось похоронить!

Простите, друг мой.

Весь ваш

Ф. Тютчев

44. В РЕДАКЦИЮ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»

1/13 февраля 1865 г. Ницца

Прилагаемая пьеса напечатана была без моего ведома, в самом безобразном виде, в 4-ом № «Дня». Если редакции угодно, то да благоволит она присоединить ее, если еще не поздно, к трем пьесам, мною отправленным в редакцию чрез А.И. Георгиевского, так чтобы она была третьею — а не то эта пьеса может быть напечатана отдельно, в другом №... Я, Бог свидетель, нисколько не дорожу своими стихами — теперь менее, нежели когда-нибудь, — но не вижу и необходимости брать на свою ответственность стихов, мне не принадлежащих[1].

Ницца. 1/13 февр<аля> 1865

Ф. Тютчев

45. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

3/15 февраля 1865 г. Ницца

Ницца. Февраля 3/15 1865

Друг мой Александр Иваныч, сегодня только получил письмо ваше от 12/24 января. Спешу вам отвечать, покуда силы еще не совсем изменили. Пишу к вам больной, но об этом после.

С тех пор, как писал письмо вам, многое, конечно, уяснилось — и успокоилось. Со вчерашнего дня мы известились о государевом рескрипте[1]. По моему мнению, этот рескрипт — истинно царское слово.

В заявлении москов<ского> дворянства было много разнородного, и более чем разнородного. Но закваска всего дела была нехороша. Закваска эта мне очень известна: она высказалась как нельзя лучше, напр<имер>, в речи графа Давыдова[2], самого добросовестно-ограниченного человека и который по этому самому, всенаивнейшим образом и не без одушевления, выразил задушевную мысль всей этой партии. Этим господам страх хочется играть в английские лорды. Надо предполагать, что они когда-то овладели Россиею, ну

хоть при Вильгельме Завоевателе, жаль только, что мы совершенно забыли про это обстоятельство. — Все это ребячество, непонимание, ограниченность. Дело-то в том, что ни в каком случае вы из русского дворянства не выкроите английской аристократии[3]. — Но могло бы очень случиться, при известных условиях, что в нем разовьется нечто вроде шляхетского начала. — Нечего себя обманывать. Это начало было всегда ему присуще, и там, где обстоятельства ему потворствовали, оно заглушило в нем — и как заглушило — начало народное, чему свидетельством служит западная Россия. Если же в собственной России вышло наоборот, то это единственно благодаря Россиею созданному самодержавию. Теперь этим же самодержавием указан был русскому дворянству великолепный исход — это стать во главе русского земства. И вот почему, в глазах моих, это скоропоспешное, опрометчивое заявление московское непростительно. Оно подает повод России усумниться, понимает ли наше дворянство свое законное, историческое призвание? Во всяком случае, оно доказало этим заявлением страшное отсутствие политического такта. Но, благодаря Богу, тот же царь своим последним словом, разумным и спокойным, и на этот раз выведет их из ложного положения, только бы они умели оценить и проникнуться им — и я надеюсь, что и Московская газета, не изменяя ни одному из своих убеждений, окажет России новую громадную услугу, отстаивая и по этому вопросу, с такою же решимостию и с такою же независимостию, русское народное историческое начало. На той высоте, на которую она себя поставила, она столько же выше своих противников, сколько и своих поклонников[4].

Земству, одному всецелому русскому земству, принадлежит в будущем право народного представительства, — но дайте же ему время и возможность сложиться и устроиться. Теперь же всякое представительство будет ложь, колоссальный пуф, нечто вроде польских мистификаций, а это, конечно, не распутает нашей петерб<ургской> путаницы.

Но довольно, друг мой Ал<ександр> Иваныч, — довольно. Сил нет — я в каком-то глупом увлеченьи разговорился

о деле живых, а это *не мое* дело. Завтра, 4-го февр<аля>, минет шесть месяцев, как я перестал принадлежать к числу их. — Я сказал вам в начале письма: со мною был припадок *pleurésie**, с которым я все еще не могу совладать. Все еще кашель и раздражение в груди... Эти страшные шесть месяцев совершенно подточили мой организм. — Но на этот раз я еще оправлюсь. Я это знаю, я это чувствую — так сильна, так неодолима во мне страсть воротиться туда, где я с нею жил.

Друг мой, ни вы, никто, никто на свете не поймете, чем она была для меня! и что такое я без нее!

Эта тоска — невыразимая, нездешняя тоска, о которой вы мне говорите в письме вашем, знаете ли, что уже пятнадцать лет тому назад я бы подпал ей, если бы не *она*. Только она одна, вдохнув, вложив в мою вялую, отжившую душу свою душу, бесконечно живую, бесконечно любящую, только этим могла она отсрочить роковой исход. — Теперь же она, она сама стала для меня этой неумолимою, всесокрушающею тоскою.

Я был прерван и надолго расстроен — тем лучше, может быть. Есть вещи, о которых нельзя долго говорить — не должно — без какого-то внутреннего <чувства>**, что произносишь святое имя всуе... Что же до *стихов*, о которых вы упоминаете, то вот вам мое последнее слово... Те, которые бы ими оскорбились, — те еще бы пуще оскорбили меня. При жизни ее я многое спускал — потому только, признаюсь, что все, что *не она*, так мало имело значения в глазах моих. Теперь *не то* — далеко не то. Итак, я желаю, чтобы стихи были напечатаны, как они есть. Вчера я отправил в редакцию новую пьесу, искаженную в «Дне»[5]. Она будет третьею, а четвертою та, которая непосредственно к ней относится. *Полного моего имени* выставлять не нужно, довольно буквы Т.[6] Я *не прячусь*, но и выставлять себя напоказ перед толпою не хочу. Для со-

---

* плеврита (*фр.*).

** Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.



чувствующих одного намека довольно. — Родственно и от души обнимаю все ваше семейство.

Ф. Тютчев

46. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

17/29 марта 1865 г. Париж

Paris. Mercredi. 29 mars 1865

Je ne veux pas quitter Paris sans t'avoir donné signe de vie. Paris m'a fait quelque bien... Il m'a momentanément distrait et étourdi. Et puis ce qui m'a fait aussi beaucoup de bien, c'est la cessation de Nice. Je m'en veux de l'antipathie, de la rancune que j'ai gardées à cette pauvre localité, si brillante d'ailleurs — et qui, je le sens, hélas, autrefois et dans d'autres conditions, m'aurait souri à moi, comme à tant d'autres... mais les longues heures de tête-à-tête que j'ai passées, et dont Dieu seul connaît toute l'amertume, je l'ai si bien saturée de moi-même que je l'ai comme empoisonnée. — L'Italie a joué un singulier rôle dans ma vie... Deux fois elle est venue à moi comme une vision funèbre, au lendemain des deux plus grandes douleurs qu'il m'ait été donné d'éprouver...[1] Il y a des pays où l'on porte le deuil en couleurs éclatantes. Il paraît que je suis de ces pays-là... Mais laissons cela, sortons de mon triste moi, car je sens qu'il me rend odieux... Dans cette même Nice, pourtant, si antipathique, de combien d'affections n'ai-je pas été entouré... *toi* d'abord, ma fille chérie, ces réunions à dîner chez toi, que j'aimais beaucoup... ma bonne Daria, essayant de me consoler, quand elle-même aurait si fort besoin de l'être... l'excellente Antoinette que je n'ai pas suffisamment remerciée de tout l'intérêt, de toute l'amitié, qu'elle m'a témoignés, et tant d'autres à des degrés différents... Ah, l'homme qui souffre doit souvent paraître bien haïssable.

C'est donc décidément le 22 du mois prochain que vous aussi, vous quittez Nice. La certitude de cette date me soulage... Combien Marseille, Lyon, toutes ces villes par où vous repasserez vous paraîtront belles, combien l'entrevue même vous paraîtra intéressante. — Eh bien, ici, à Paris, je ne sais pourquoi on n'a pas ce sentiment de séparation, d'éloignement, d'expatriation, que

4 Зак. 7509

j'éprouvais à Nice... Il est vrai qu'à Paris le *Génie du Lieu* m'a toujours été bienveillant. J'aime cette localité. — On a dit que c'est l'endroit du monde où l'on se passe le mieux du bonheur. Ce qui est sûr au moins, c'est qu'on ne lui en veut pas de l'avoir perdu... Cette fois... mais laissons cela.

J'ai vu ici beaucoup de monde, entr'autres des personnes attachées à la Cour d'ici, les *Tascher*[2] par ex<emple>. Pas une ne m'a adressé la moindre question sur Nice et votre séjour... Cela peut être aussi une distraction. Je crois pourtant savoir que les dispositions *personnelles* sont loin d'être d'une nature amie... L'autre jour j'ai assisté à une séance du Corps législatif. — C'est toujours encore la révolution qui continue. Non pas que le régime actuel ne convienne admirablement aux masses françaises. Mais les partis, qui finissent toujours par avoir le dernier mot en France, ne le supporteront pas longtemps — mais un autre pas plus que celui-là... En un mot, dans le milieu politique, les régimes sont comme certains animaux dans les ménageries qui vivent bien p<our> leur propre compte, mais qui ne se reproduisent pas... J'aurais mille choses à te dire. Mais le temps et le papier me manquent. Nous partons ce soir. Dieu te garde, ma fille chérie.

T. T.

Перевод:

Париж. Среда. 29 марта 1865

Не хочу покинуть Париж, не подав тебе весточки о себе. Париж мне немного помог... Он на время развлек меня и заставил забыться. Гораздо легче мне стало также и оттого, что кончилась Ницца. Досадую на себя за неприязнь, даже отвращение, питаемое мною к этому несчастному уголку, столь, впрочем, лучезарному, что — увы, я это понимаю — в прежнее время и при других условиях он улыбался бы мне так же, как и стольким иным... но за долгие часы моего с ним общения, проникнутые такой горечью, о которой дано судить лишь Господу Богу, я до того насытил его собой, что этим как бы отравил. — Странную роль сыграла Италия в моей жизни... Дважды являлась она передо мной, как замогильное видение,



после двух самых великих скорбей, какие мне суждено было испытать...[1] Есть страны, где носят траур ярких цветов. По-видимому, я родом оттуда... Но оставим это, отвлечемся от моего печального «я», ибо я чувствую, что его трудно переносить... А между тем в этой самой Ницце, столь мало приятной, какою лаской я был окружен... во-первых, *ты*, моя милая дочь, собрания у тебя за обедом, очень мною любимые... моя добрая Дарья, старавшаяся меня утешить, когда сама так нуждалась в утешении... милейшая Антуанетта, которую я еще недостаточно поблагодарил за все участие, за всю дружбу, выказанные ею по отношению ко мне, и многие-многие другие, в большей или меньшей степени... Ах, страждущий человек часто должен казаться чудовищем.

Итак, решено — 22 числа следующего месяца вы тоже покидаете Ниццу. Мне приятно знать наверное это число... Марсель, Лион, — какими красивыми покажутся вам все эти города, через которые вы снова проедете, каким интересным для вас будет самое свидание! — Ну, а здесь, в Париже, не знаю почему, не испытываешь того чувства разлуки, отдаления, отчуждения, которое владело мною в Ницце... Правда, в Париже *гений места* был всегда ко мне благосклонен. Я люблю этот город. — Кто-то сказал, что здесь лучше, чем где бы то ни было на свете, умеют обходиться без счастья. Верно, по крайней мере, то, что здесь перестаешь как-то сетовать на его утрату... На сей раз... но оставим это...

Я перевидал здесь много народу, между прочим, лиц, состоящих при здешнем дворе, например, небезызвестных тебе *Таше*[2]. Никто из них ни разу не спросил меня о Ницце и о вашем пребывании там... Может быть, это и по рассеянности. Мне, однако, известно, что *личные* настроения далеко не дружеского характера... На днях я присутствовал на заседании Законодательного корпуса. — Это все еще продолжение революции. Не то чтобы современный режим чем-то не устраивал французские массы. Просто партии, за которыми во Франции всегда остается последнее слово, не долго будут переносить его — да и всякий другой не дольше... Словом, политические режимы подобны некоторым животным в зверинцах, —

сами-то по себе они живут, но подобных себе на свет не производят... Многое мог бы сказать тебе. Но уже не остается ни времени, ни бумаги. Мы уезжаем сегодня вечером. Храни тебя Бог, милая дочь.

Ф. Т.

47. А. М. ГОРЧАКОВУ

10 апреля 1865 г. Петербург

Samedi. 10 avril

Voici, mon Prince, les vers que vous avez eu la bonté de me demander[1]. Ils sont insignifiants et n'ont été écrits que pour faire acte de présence...

Quant à la *question des Allemands* soulevée à l'occasion des autres vers[2] qui valent mieux que les miens, voici ce qu'il y aurait à en dire. C'est que Lomonossoff, lui aussi, a eu ses *Nesselrode* et ses *Budberg*, et c'est que toute supériorité russe a, de tout temps, eu les siens — c'est-à-dire des gens qui à mérite inférieur — cherchaient et souvent réussissaient à les primer et à les opprimer, rien qu'en s'appuyant sur les préférences souvent peu motivées, sur la partialité p<our> ainsi dire instinctive qu'ils rencontraient au cœur même du pouvoir suprême. C'est *cette complicité* persistante du pouvoir suprême pour l'élément étranger qui a le plus contribué à nourrir ce sentiment de rancune contre les Allemands dans cette nature russe, la moins rancunière de toutes, tandis que les Allemands, grands et petits, les nôtres comme les autres, qui, certes, n'ont aucun sujet de rancune à l'égard de la Russie, n'ont pour nous qu'un sentiment *physiologique* et par là même inconjurable et indestructible, celui de *l'antipathie*, l'antipathie de race. C'est même là le trait le plus saillant de leur nationalité.

Un fait remarquable, chez nous, c'est que sous le long règne et pas mal glorieux de l'Impératrice Catherine ce sentiment de malveillance p<our> les Allemands paraissait comme assoupi. J'en ai trouvé l'explication, l'autre jour, dans un mot d'elle, cité par un journal... En parlant d'un personnage allemand, à son service, elle énumérait ses grandes et belles qualités, et ajoutait, en



manière de conclusion, qu'elle se garderait bien, toutefois, de l'employer dans quelque poste supérieur, — «потому что у него, как и у всех немцев, есть один, в моих глазах — огромный, недостаток. (Ce sont là ses paroles textuelles.) — Они не довольно уважают Россию...»

Mille hommages dévoués.

Тютчев

Перевод:

Суббота. 10 апреля

Вот, дорогой князь, стихи, которыми вы имели любезность заинтересоваться[1]. Они ничтожны и были написаны лишь из чувства долга...

А по *немецкому вопросу*, поднятому в связи с другими стихами[2], лучшими, чем мои, сказать можно следующее. Сам Ломоносов имел своих *Нессельроде* и своих *Будбергов*, и все русские гении, во все времена, имели своих — то есть соперников более заурядных, старавшихся и нередко умудрявшихся их оттеснять и притеснять только лишь благодаря привилегиям, часто необоснованным, инстинктивному, так сказать, сочувствию, которое они находили в самом сердце верховной власти. Вот *это-то* упорное *пособничество* верховной власти чужеземцам и содействовало более всего воспитанию в русской натуре, самой добродушной из всех, недоброго чувства по отношению к немцам, тогда как немцы, от мала до велика, наши и не наши, у которых нет, собственно, никакой причины не любить Россию, питают к нам исключительно *физиологическую* и потому именно неискоренимую и непреодолимую *антипатию*, расовую антипатию. И это наиболее яркая черта их национальности.

Поразительно то, что в течение долгого и отнюдь не бесславного царствования Екатерины это чувство неприязни к немцам у нас словно бы спало. Я нашел намедни объяснение этому в словах ее, приведенных в одном журнале... Говоря об одном немце, находившемся на русской службе, она перечисляла его ценные и прекрасные качества и прибавила в заклю-

чение, что она, однако, не решилась бы назначить его на какой-либо высокий пост, — «потому что у него, как и у всех немцев, есть один, в моих глазах — огромный, недостаток. (Это слово в слово.) — Они не довольно уважают Россию...»

С глубочайшим уважением.

Тютчев

48. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

17 мая 1865 г. Петербург

Петербург. 17 мая 1865

Друг мой, Александр Иваныч. — Все самое существенное я уже высказал в предыдущих строках[1] — обратите на них серьезное внимание, и пока еще время не ушло, заставьте лечиться. *Compelle intrare*[2]. Чтобы, по крайней мере, моя беда послужила другим на пользу...

О себе самом я с вами говорить не буду. Последние события переполнили меру и довели меня до совершенной бесчувственности[3]. Я сам себя не сознаю, не понимаю... Итак, давайте говорить о постороннем, но некогда для меня очень близком.

Здесь есть какое-то смутное ожидание, что в скором времени — на днях, может быть, произойдет сшибка между двумя противуположными и все сознательнее враждебными партиями[4]. Граф Берг и Милютин приехали из Варшавы. Я еще ни с тем, ни с другим не видался. Увижусь сегодня. Сшибка, вероятно, и будет, но не будет решения, потому что для решения нужен *решитель*, — а его-то и не оказывается... От *Кауфмана*[5], в Вильне, не многого ожидают. Все убеждены в его благонамеренности и способностях, но очень и очень сомневаются в его *энергии и практичности*.

На днях поступит здесь в продажу книга о Польше, «La Pologne au 1er janvier 1865», писанная нашим русским, *Моллером*[6], известным сотрудником газеты «Nord». Книга его — очень дельная и в самом лучшем направлении, и потому автора напугали в Париже, что она будет запрещена в Петербурге. — Но на этот раз Валуев поспешил заявить мне, чтобы

книга тотчас по получении была пропущена... Забавно видеть, как у нас все друг другом напуганы. Я полагаю, что «Москов<ские> ведомости» не преминут сказать неск<олько> слов о книге Моллера... Но что скажете вы о наполеоновском *désaveu*[*] по отношению к своему двоюродному братцу?[7] Многие, чересчур глубокомысленные и проницательные, будут, разумеется, утверждать, что и это комедия. Нет, это не комедия, а это страшная трещина в наполеоновском здании, и скоро образует щель, в которую можно будет видеть и близкое будущее... Еще виднее оно в том, что теперь наклевывается в Север<ной> Америке[8]. Дай-то Бог!

Пока простите — до скорого свидания в Москве. — Мой усердный поклон Каткову и Леонтьеву.

Вам от души пред<анный>

Ф. Тютчев

49. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

2 июня 1865 г. Петербург

Петербург. 2 июня 1865

Друг мой Александр Иваныч, от души благодарю вас за ваше дружественное, но далеко не успокоительное письмо... Вижу из него, равно как из приписки милой нашей Marie, все еще очень неудовлетворительно... Меня мучит мысль, что ее поездка и пребывание в Петербурге много содействовали к ее расстройству...[1] Все это усиливает мое нетерпение видеться с вами и удостовериться собственными глазами в неосновательности всего того, что заочно меня так тревожит... Впрочем, друг мой, не пугайтесь моей пугливости — в последнее время эта способность во мне страшно развита была моим горем... Да сохранит вас Господь Бог и помилует...

Я совершенно согласен с вами, что при данных обстоятельствах казенная служба для вас необходима, и излишним считаю вас уверять в моей — не то что готовности, — но настоятельной потребности употребить в дело все, что от меня

---

[*] неудовольствии (*фр.*).

зависит, для лучшего разрешения этого вопроса...[2] Ничто, конечно, столько бы меня не утешило, как быть вам на что-нибудь годным. — В Министерстве ин<остранных> дел, сколько мне известно, нет такого места, которое соединяло бы необходимые условия. — В моем Цензурном комитете, даже и в случае ваканции, я не нахожу достаточных вознаграждений за тот капитал времени, который тратится на занятия по этой службе. — Я все более убеждаюсь, что ваше настоящее призвание — это все-таки учебная часть, — и потому, пользуясь теперешним положением Ив. Д. Делянова[3], поведу против него решительную атаку, и лучшим ручательством в успехе будете вы же сами, потому что он вас искренно любит и уважает... Не премину вас уведомить о последствиях.

Вероятно, вам уже известно в Москве, как разыгралась здесь драма по польскому вопросу...[4] Она кончилась совершенною победою Милютина, вследствие высшей инициативы. В том же смысле была и речь, обращенная государем к тем польским личностям из Царства <Польского>, приехавшим сюда по случаю кончины наследника[5]. — Сказанные им слова были крайне искренни и положительны. На этот раз интрига была расстроена и повела только к полнейшему сознанию и обнаружению державной мысли. — Много при этом деле было любопытных подробностей, которые я вам передам при свидании. — Касательно же этого свидания я пока не могу еще назначить срока, надеюсь, однако, что это будет очень не в продолжительном времени... За Федю я даже и не благодарю вас, так я был уверен в вашем расположении[6].

Пока простите. — Вам душевно пред<анный>

Ф. Тчв

50. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

14 июля 1865 г. Петербург

Петербург. 14 июля 1865

Да, милая, дорогая моя Marie, вы отгадали. Только что я отправил к вам мое последнее письмо, я принужден был слечь, если не в постель, так на канапе, — и пролежал так, за-



дыхаясь от жару, без ног и без движенья, почти две недели. — Было, помнится, время, когда и это не лишено было бы своей доли приятности. Но при данных условиях это было решительно не кстати. Физическое страданье должно бы быть исключительною принадлежностию живого человека. — Теперь, однако же, я начинаю оправляться — и вопреки всем вашим сомнениям не замедлю явиться к вам... на чашку чая — по обещанию.

Жалею очень, что не поспею к завтрешнему великому дню, которым открываются — и мне очень и очень памятные — ваши семейные празднества. Помню, как третьего года *мы* праздновали их с вами. Вам, милая Marie, поручаю расцеловать от меня завтрешнего именинника[1] и убежден, что вы достойно исполните мое поручение. — Не теряю надежды, что попаду по крайней мере на один из последующих праздников ваших.

Много вы меня порадовали — буде это не хвастовство — известием о вашем здоровье... Нетерпеливо ожидаю возможности убедиться собственными глазами в действительности ваших показаний. И если они окажутся справедливыми, то рассчитывайте на мою полную признательность, — в моих глазах первая добродетель всех тех, кого я люблю, это их чувство *самосохранения*...

Засвидетельствуйте это от меня и мужу вашему, которому, как я полагаю, предписанное лечение — на даче, при этой превосходной погоде — должно было принести пользу... и при этом случае, кстати или не кстати, сообщите ему от меня вот что. Последние инструкции, данные Милютину при отправлении его в Варшаву, такового свойства, что они должны окончательно устранить и последние недоразумения между «М<осковскими> ведомостями» и «Инвалидом»...

Простите за это нелепое отступление.

Вы сетуете на вашу тетушку за ее упорное молчание... Да будет это самым тягчайшим горем вашей жизни. — Лучшего пожелания вам я и придумать не могу. Впрочем, я был у нее, третьего дня, на даче. Она здорова, часто грустит и плачет — и это-то и составляет нашу взаимную связь.

Мой бедный Федя целует ваши ручки. И все это — и детство и старость — так жалко — сиротливо — и так мало утешительно...

Господь с вами.

Ф. Тчв

51. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

16 августа 1865 г. Овстуг

Овстуг. Понедельник. 16 августа

Благодарю вас, милая Marie, за письмо ваше, хотя и французское, но зачем же французское. Мы, кажется, условились *упразднить* его. Впрочем, я буду рад вашим письмам даже и на арабском языке...

Надеюсь, однако, не продолжать этой переписки. Я все более и более убеждаюсь в том, что для меня было несомненно, а именно, что мое здешнее пребывание не приведет ни к каким существенным улучшениям, по крайней мере здоровье мое от него не улучшается. Я продолжаю чувствовать — не положительную боль, но какую-то *несообразность* то в одной ноге, то в другой. — Как бы то ни было, после двадцатого числа я решительно отсюда уезжаю. Здешняя местность не отзывается ни на одно из моих воспоминаний — и вместе с тем не представляет никакого развлечения — хотя, правду сказать, я и в виду Средиземного моря не мог найти ничего утешительного во всем том, что не было в связи с моим единственным прошедшим, — и вот почему меня тянет в Москву или, лучше сказ<ать>, на Малую Дмитровку...

Поблагодарите Володю[1] за его расположение, и надеюсь, что в скором времени он мне сам подтвердит это заявление с высоты козел, на которых мы торжественно воцарим его[2] — по возвращении моем в Москву...

Что здоровье вашего мужа? Неужели он и теперь еще, при этой весьма *положительной осенней свежести*, продолжает свою villégiatur-у?..* Здесь, по крайней мере, за исклю-

---

* villégiature — жизнь на даче *(фр.)*.

чением каких-нибудь пяти часов во дне, мы решительно мерзнем.

Благодарю редакцию «М<осковских> вед<омостей>» за ее обо мне попечения. В этом отчуждении ото всего живого и современного появление «Моск<овских> вед<омостей>» имеет нечто умиляющее и питающее в душе веру в Провидение... Удивительный край эта Россия. — У нас переезд с места на место — вещь иногда довольно трудная, но из 19-го столетия в какое-нибудь давно прошедшее этот переезд совершается очень легко...

Простите, до скорого свидания. — Знаете ли, почему я пишу карандашом? — Мои подлые нервы до того расстроены, что я пера в руках держать не могу. — Господь с вами.

Вам от всей души пред<анный>

Ф. Тютчев

52. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

27 сентября 1865 г. Петербург

Петербург. 27 сентября

Благодарю, милая Marie, за письмо. И грустно, и отрадно было читать его. — Пусто и мне, расставшись с вами, со всеми вами. До сих пор всё еще каждое утро сбираюсь идти пить чай с вами — и что-то уже очень давно не присутствую я при вашем ежеминутном суде и расправе над Левой и Володей[1]. — Не могу еще понять, куда девались эти уютные, приютные три-четыре комнаты Шиловского дома, которые так недавно еще всегда были у меня на перепутьи, куда бы я ни пошел.

Да, моя милая Marie, тому, для кого жизнь — не жизнь, а бессонница, очень, очень отрадно было забыться этим трехнедельным сном...

Крепко обнимите за меня детей и скажите вашему мужу, что я по многим причинам жду с нетерпением приезда его в Петербург. — Вы же пока берегите себя. Что ваша нога?.. обошлось ли без пиявок?.. Были ли вы вчера на вечеру у Катковых и вспомнили ли о предпоследнем воскресенье? Не было

ли от бессознательной *Новиковой* нового приглашения вашему мужу идти слушать ее пенья в семь часов утра?[2]

Вы видите, люблю припоминать все эти подробности. — Мне кажется, что даже и о князе Назарове[3] потолковал бы с вами на досуге не без некоторого удовольствия, и надеюсь, что мне удастся возобновить этот разговор в скором времени. — Вот каким подарком я предполагаю порадовать себя ко дню моего рожденья.

Здесь по возвращении я очутился на моем прежнем, слишком мне знакомом пепелище. — Пусто, очень пусто... Анне Дм<итриевне> передал ваш поклон, за который она благодарит... Она все та же несимпатичная, дорогая мне личность — шероховатая изнанка моих лучших воспоминаний. Раз, на прошлой неделе, я пил у нее чай... как во время оно. — Жалкое и подлое творенье человек с его способностью все пережить...

На этот раз *политический отдел* моего письма будет очень неудовлетворителен... Скажите это Алек<сандру> Ив<анычу>. — Хотя я почти ежедневно видаюсь с кн. Горчаковым, знаю только, что он жалуется на пессимизм Каткова в отношении к нему, и не он один. — Вообще желательно было бы, чтобы в игре Каткова его постоянное *Forte* сменялось иногда переходами в *Piano*. Впрочем, со дня моего отъезда из Москвы я не получал ни одного № «Моск<овских> вед<омостей>». — Отчего это?

Но вы, прошу вас, не подражайте в этом почтенной редакции — и помните, что ваши письма мне еще нужнее передовых статей даже и «Моск<овских> ведомостей». Господь с вами.

Весь вам пред<анный>

Ф. Т.

53. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

5 октября 1865 г. Петербург

Петербург. Вторник. 5 октября

Опять пишу к вам, милая Marie, но не пугайтесь моего *частописания*... Сегодняшнее письмо почти что деловое, и вот в чем дело. При частых моих свиданиях в последнее время с Ми-



лютиным (Варшавским) я имел случай заметить, что им хотелось бы усилить редакционный состав «Инвалида» и что они охотно бы возобновили порванную связь с Алек<сандром> Иванычем...[1] Я, разумеется, ничего не высказал им определительного, но и не лишил их всякой надежды на успех. Теперь жду от вас дальнейших инструкций по сему делу... Но вам, может быть, не захочется расстаться с Москвой — *с Москвой, где дышит Соц и ре́звится Назаров*[2], — видите, какой вышел великолепный шестистопный ямб...

Еще несколько слов, якобы дельных. — Вчерашняя статья «М<осковских> ведомостей» с их отповедью газете «Весть» порадовала всех здравомыслящих и сочувствующих «М<осковским> ведомост<ям>». Нельзя было резче, разумнее и вместе с тем благороднее отделить и выгородить себя от всякой солидарности с самоуверенной бессмыслицей этих коноводов запоздалой русской шляхты...[3]

Но довольно. — Теперь пойдемте в вашу комнату и давайте пить чай при содействии Раиды[4] и постоянных набегах Левы и Володи, если не под тенью, то, по крайней мере, в виду все лучше и лучше зеленеющих тропических растений ваших... Поклонитесь им от меня, особливо тем из них, которые мы ездили покупать с вами. — Помните, какой это был чудный, тихий, солнечный день — и как мало похож на то, что в эту минуту происходит у меня перед окном: какая-то мокрая, снежная пыль на каком-то невозможном небе.

Что-то теперь здоровье ваше и все прочие ваши здоровья? Не оставьте почтить меня добросовестным ответом на этот незатейливый, но крайне интересный вопрос... А вслед за этим буду просить у вас и других менее нужных, но все-таки любопытных известий, как, напр<имер>, об утренних музыкальных беседах Алек<сандра> Ив<аныча> с милою Новиковой, о съездах у не менее милой Софьи Петровны...[5] и даже о порядках и всевозможных распоряжениях домостроительной Над<ежды> Ив<ановны> Соц, буде вы с нею видаетесь, в чем я, впрочем, несколько сомневаюсь... Но обеим Мещерским[6], матери и дочери, не забудьте от меня усердно поклониться.

Не забудьте также напомнить обо мне и самой себе — и о моем постоянном и неослабном желании с вами поскорее свидеться. К многим другим причинам этой поездки в Москву присоединится вскоре новый весьма уважительный мотив. — Угадайте.

Весь ваш

Ф. Тютчев

54. М. Н. КАТКОВУ

13 октября 1865 г. Петербург

С.-Петербург. 13 октября 1865

Пишу к вам, почтеннейший Михаил Никифорович, хотя от моего имени, но в смысле и в интересе общего дела. Помогите нам — вот что такое это *мы:* это — Совет Главного управления по делам печати... Вступил я в него, признаюсь, с некоторыми предубеждениями против его состава. Но при самом же начале имел случай удостовериться, что достаточно было нескольких разумных искренних слов, чтобы расположить его в пользу разумного, добросовестного образа действия[1].

Вы знаете, я вовсе не сторонник нашего нового устава о печати. Все эти заимствования иностр<анных> учреждений, все эти законодательные французские водевили, переложенные на русские нравы, мне в душе противны — все это часто выходит неловко и даже уродливо[2]. Но в деле законодательства — дух может одолеть и преобразить букву. Так и в предстоящем случае... Заняв у современной, наполеоновской Франции главные основы нашего устава о печати, нам предстоят для его применения две дороги — два совершенно противуположные образа действий — или применять его в смысле французской же практики, в смысле полицейско-враждебном к свободе мысли и слова, или в том направлении, какое было высказано при составлении устава большинством Комиссии, — т. е. смотреть на нынешний устав как на нечто *переходное* — временное — имеющее своею настоящею целью вести русскую печать от ее прежней бес-

правности — к полноправию закона, со всеми его необходимыми гарантиями — и с этой-то точки зрения и отправления относиться к той огромной доле произвола, которая нами усвоена правом предостережений[3]. — Вот в каком смысле выскажется, от имени Совета, статья, которая на днях будет напечатана в «Северной почте»[4]. — Заявление же это вызвано некоторыми очень бойкими, но очень злостными выходками со стороны «Голоса» — также и «Современника»[5] и, вероятно, других *ejusdem farinae*[*]... «Голос», напр<имер>, в двух статьях вами, может быть, замеченных, предрешив, что мы — вместе с буквою франц<узского> законодательства — проникнемся и духом француз<ской> полиции, страшно бичует нас, по ее спине, и с благородным негодованием только что прогнанного лакея восстает противу всевозможных нечестий и неистовств нашего будущего произвола[6].

Признаюсь вам — *меня* эта выходка высоконравственных и бескорыстно-убежденных писателей «Голоса» в душе порадовала. — Она заставила нас решительнее отречься от всякой солидарности с образом действий франц<узской> власти — и заявить это отречение во всеуслышанье всей здравомыслящей благонамеренной России[7]. — Вы, ее законный и полномочный представитель, поддержите нас в этом — утвердите, укорените нас в этом благонамеренном направлении вашим участием и содействием. Вы одни это можете. — Принимая с доверенностью наше заявление, вы нас *обяжете* во всевозможных смыслах этого слова, но вместе с этим, почтеннейший Михаил Никифорович, вступитесь, еще раз, за оскорбленную обществ<енную> нравственность — не допуская людей, каковы люди «Голоса», этих прирожденных сеидов[8] всякой наполеоновской полиции — лишь бы она платила им[9], — разыгрывать — теперь на досуге — роль безукоризненных, строго нравственных друзей свободы — не потерпите.

Вам душевно пред<анный>

Ф. Тютчев

---

[*] того же замеса (*лат.*).

55. Н. Ф. ЩЕРБИНЕ

17 октября 1865 г. Петербург

Воскресенье. 17 окт<ября>

Только вчера узнал я про ваш адрес, почтеннейший Николай Федор<ович>, и вот почему так долго медлил заявлением вам моей признательности... Книга ваша составлена чрезвычайно удачно и вполне заслуживает чести сделаться настольною книгою русского простолюдина. Теперь надобно бы похлопотать о средствах решить эту задачу в самых, по возможности, обширных размерах. — Вот о чем мы поговорим при нашем первом свидании.

Вам душевно пред<анный>

Ф. Тютчев

56. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

25 октября 1865 г. Петербург

С.-Петербург. Понедельник. 25 октября 1865

Друг мой Александр Ив<аныч>, что с вами делается? Ни слуху ни духу... Из последнего письма милой жены вашей вижу, что ни ваше здоровье, ни ее вовсе не в блистательном положении, и потому потребность знать о вас обоих чувствуется еще сильнее.

Я недавно писал к Каткову по делам печати, прося его поддержать ту программу, которую мы сбирались заявить в «Север<ной> почте»[1]. Но, кажется, Валуеву это заявление показалось слишком *обязательным,* и потому оно было отложено... Впрочем, образ действий Совета продолжает довольно верно согласоваться с положениями этой неизданной программы и, надеюсь, всё более и более обозначится в ее смысле. Как можно менее прямого легального вмешательства в дело прессы — в той надежде, что при таком омеопатическ<ом> сильнее будет проявляться в ней целительная сила, ей присущая, эта vis medicatrix, доселе слишком мало сознанная и врачами, и правительствами, — и вот почему положено вместо формальных предо-



стережений довольствоваться — на первых порах — дружескими советами, вроде советов и назиданий *гамлетовского Полония*...[2]

Теперь в Москве молодой Катакази[3], с которым, вероятно, вы уже и встретились. Он очень желал с вами познакомиться. — На днях приезжает к вам в Москву наш венский священник *Раевский*, с которым я имел случай видеться и беседовать у кн. Горчакова. Мы, разумеется, преимущественно говорили о движении, совершающемся в Австрии и которое для нас имеет такое огромное значение — доселе так мало нами понятое и оцененное[4]. Если где — так, конечно, на этом животрепещущем пункте должна была бы сосредоточиться вся наша иностранно-политическая деятельность. То, что происходит теперь в Австрии, есть наполовину *наш* вопрос — так вся будущность наша связана с правильным решением этого вопроса. Это решение состоит в том, чтобы славянский элемент не был совершенно подавлен стачкою немцев и мадьяр и под гнетом этой преобладающ<ей> силы — и при разъедающих его несогласиях — не отрекся бы фактически от всяких притязаний на свою самостоятельность. Теперь, более нежели когда-нибудь, нужна ему поддержка со стороны России — тем *нужнее*, чем менее он сам сознает эту необходимость, — но обстоятельства скоро ему ее выяснят. *Русскому* влиянию следует стать во главе *Австрийского* федерализма — посредством прессы, и нашей, и тамошней, т. е. каких-нибудь двух журналов, одного русского — во *Львове*[5] и другого немец<кого> — в *Вене*... Но пока довольно.

Когда же мы с вами увидимся, и где? В Петербурге ли, в Москве ли? Для меня, как вам уже известно, поездка в Москву сделалась более нежели когда обязательною. — Только теперь она состоится несколько позднее...[6] Вы, однако же, не оставьте о себе извещением. Ту же просьбу передайте и жене вашей.

Простите. — От души вас всех обнимаю.

Ф. Тютчев

57. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

5 ноября 1865 г. Петербург

Петербург. 5-ое ноября 1865

Успокойтесь, моя милая Marie. Ни одно из ваших писем не пропадало — и все они дошли до меня во всевозможной целости и исправности, а если я так долго не писал к вам, тут была другая причина. Тут было большое недоразумение и немножко злости — да, злости на вас...

Не получая так долго никакого отзыва от вашего мужа на мое письмо к нему, я вообразил, что, по крайней мере, вы ко мне напишете... непременно напишете...

Это выжидание перешло в упрямство... Вообще говоря, согласие между супругами — вещь хорошая, вещь законная... Но тут оно принимало вид *стачки*, вид заговора. Мне показалось, что вы с общего согласия — и тот, и другая — отрекаетесь от меня. Это была хандра, может быть, но за все это последнее время я имел полное право хандрить... Не будучи болен, я все это время *пользовался* таким скверным, некомфортабельным здоровьем, что я сам себе опротивел — и потому мог вообразить, что опротивел и другим... Вы видите, моя милая Marie, что пора мне в Москву — для излечения.

Не знаю, с чего взяла моя премудрая сестра, что это не состоится прежде конца зимы. Свадьба *имеет быть* в первой половине генваря[1], а я располагаю явиться к вам гораздо прежде... Очень, очень этого жду и желаю. Хочется опять очутиться в вашем тропическом углу, между детьми и растениями вашими.

Поздравляю от души Александра Иваныча, победителя Галлов[2]. Но вижу, что ему не легко будет решиться перейти за *Рубикон*, а его Рубикон — это «Московские вед<омости>». С Деляновым я непременно переговорю и надеюсь устроить дело удовлетворительно. Желал бы не ограничить этим моего служения... Впрочем, я очень понимаю, что в данных обстоятельствах вам надо будет дождаться решения Московского университета — но ни на минуту не изменяя разумному убеждению, что для вас казенная служба необходима...

На днях — возвратившийся в полном восхищении из Москвы — *Катакази* много рассказывал мне обо всех вас. Он также нашел, что пессимизм почтенного Мих<аила> Никиф<оровича> несколько преувеличен. Он сам себе лучшим опровержением... Только в живой и живучей среде могла создаться та нравственная сила, которою он располагает...

Сегодня Kitty отправляется в Москву, проживши все время своего здешнего пребывания исключительно в Царском. Я с нею мало виделся... Проводя ее, я пойду пить чай к Анне Д<митриевне>[3]. — Когда-то у *вас*? Бедная жизнь моя разорвана на куски — но лучший, уцелевший лоскут хотел бы вам отдать на память... Господь с вами.

58. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

27 ноября 1865 г. Петербург

Петербург. Суббота. 27 ноября

От души благодарю вас, милая Marie, за ваше милое, грустное, тревожное письмо, которое я исправно получил в самый день 23-го ноября[1], — этот пустой, *выморочный* день, совершенно утративший sa raison d'être*, и все-таки благодарю вас, что вы вспомнили о нем... Вижу и по содержанию и по тону вашего письма, что вам нелегко живется, и это еще усилило во мне потребность видеться с вами, что, надеюсь, теперь и не замедлит осуществиться. Человек так глупо создан, что вопреки своему сто раз познанному, испробованному бессилию и собственной беспомощности он все-таки воображает, что своим присутствием ему удастся оградить и как бы застраховать от беды тех, кого он любит. — То, что вы говорите мне в письме вашем о здоровье Александра Ив<аныча>, меня сильно беспокоит — особливо при мысли о всех тех условиях, необходимых для улучшения его здоровья и которые для него недоступны. Ему бы нужен был отдых — вполне обеспеченный отдых и другой климат, а где их взять? Страшно подумать об этом роковом всемогущем

---

* свой смысл (*фр.*).

влиянии *среды* на человека, и как редко бывает ему возможно даже при очевидной необходимости изменить ее.

А что такое случилось с Володей, что вас так сильно напугало? и как вы могли не досказать мне этого. — Разве их здоровье — не ваше?.. Обнимите их от меня и позаботьтесь о том, чтобы они меня не совершенно забыли до моего возвращения в Москву... Я на днях проводил туда *Аксакова,* который пробыл здесь с неделю. Я вам писал, кажется, что свадьба его с Анной должна состояться в первой половине будущего января, но я положительно приеду раньше... Поводов к этому ускорению отъезда у меня *очень много,* но и *одного* слишком довольно...

Скажите, что сделалось с нашею добрейшею *А.М. Ларме* и отчего она меня так *упорно* игнорирует? — Не случилось ли что с нею или с ее дочерью? И в той, и в другой я, как и всегда, принимаю самое живое участие и всегда готов, где возможно, доказать им это на деле.

Ну а *Галлы* вашего мужа — когда же они, триумфальным маршем, вступят в Петерб<ург>? и что наконец они завоюют для вас? Есть ли теперь полная уверенность, что вы получите кафедру в Москве? Вот что меня в высшей степени интересует. — Не ленитесь, ради Бога, писать обстоятельно обо всем этом — я *не считаюсь* с вами письмами, но считаю ваши...

Господь с вами.

Ф. Тчв

59. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

3 декабря 1865 г. Петербург

С.-Петербург. 3-го декабря

Друг мой Александр Иваныч, извините меня, что я так поздно передаю вам мою благодарность за ваш прекрасный подарок. Экземпляр, назначенный И.Д. Делянову, я ему доставил[1], и вы можете быть уверены, что он употребит все от него зависящее, чтобы выполнить ваше желание. За чтение самой книги я еще не успел приняться. Но уже содержание ее меня сильно заинтересовало, и наружное дородство книги меня радует...



Жду с нетерпением известия о ходе и исходе вашего ученого турнира — и жалею очень, что не могу на оном присутствовать с безмолвным участием. Заранее убежден, что вы выйдете из него победителем. Но вследствие этой победы есть ли положительные шансы на получение кафедры?[2]

О внешней политике я на сей раз не имею ничего вам сообщить, ничего такого, по кр<айней> мере, чего бы не было в газетах. События зреют, но еще не цветут. И мы в данную минуту находимся уже в тени приближающихся Судеб...

Что *нам* именно принесут они — на первых порах — это определить трудно... В окончательном же успешном исходе я — по всем историческим аналогиям — нисколько не сомневаюсь. Возрождение Восточ<ной> Европы остановить или устранить невозможно, и возрождение это — вне России или против нее — также совершиться не может...

Здесь, как вам известно, очень заняты приисканием решительных и действительных мер по вопросу Западного края — и направление правительства по этому вопросу высказывается все положительнее... Между тем как смежный и соприкосновенный с ним вопрос остзейский — все еще влечется — и вот почему некие от нас очень досадуют на назойливость ваших статей и некоторых других по этому вопросу[3]. Только досада эта не знает, как ей проявиться, — и хочется и колется.

Вообще правительст<венный> взгляд на бесцензурную печать далеко еще не установился. Можно сказать, что это *косой взгляд*. Все это полнее и подробнее передам вам при свидании, т. е. в конце этого месяца. Пока, друг мой Александр Иваныч, дайте вам от души пожать руку и прошу вас обнять за меня детей. Милой *Marie* усердно кланяюсь.

Господь с вами.

60. И. С. АКСАКОВУ

8 декабря 1865 г. Петербург

С.-Петер<бург>. 8 декабря 1865

Много благодарны, почтеннейший Иван Сергеевич, за вашу послед<нюю> передовую статью. Это настоящее *argu-*

*mentum ad hominem**, или, по-русски, она угодила нам не в бровь, а прямо в глаз. — Надеюсь, что в следующем № вы оговоритесь и положительно объявите, что при невыполненном условии вы отказываетесь от всякой полемики[1].

Но все это, увы, — пока ни к чему не поведет. Недоразумение, непонимание вопроса — не в одних правительств<енных> лицах, но в самой общественной среде. Я третьего дня обедал у князя Горчакова. Нас было человек девять — людей, считающихся весьма образованными и либеральными. И что же? Из них изо всех один только понимал как следует значение так верно вами поставленного вопроса, а именно, что всякое вмешательство власти в дело мысли не разрешает, а затягивает узел, что будто бы пораженное ею ложное учение — тотчас же, под ее ударами — изменяет, т<ак> с<казать>, свою сущность и вместо своего *специфического* содержания приобретает вес, силу и достоинство угнетенной мысли. — Но еще раз — этого им не скоро понять, так как даже и их учители в Западной Европе[2] не могли еще этого совершенно в толк взять...

Нас опять и по этому вопросу привела к абсурду наша нелепая бестолковая подражательность. — Я тогда еще им старался выяснить, что пересадка на нашу почву франц<узской> системы предостережений составит колоссальную нелепость[3]. — Во Франц<ии> это мера чисто полицейск<ая>, выработанная обстоятельствами для прикрытия личности теперь господствующей партии от слишком рьяного напора соперничествующих партий. Тут есть смысл и толк, как во всяком деле необходимости, — и вот почему франц<узское> avertissement** заключило себя в определенной, довольно тесной сфере, оставляя вне оной все, что собственно может назваться *доктриной*, ученьем... Между тем как у нас, с первых же пор, эта система предостережений присвоила себе безграничную юрисдикцию по всем вопросам — и решает, как ей угодно, все *познаваемое* и изглаголанное... И все эти нравст-

---

* доказательство, рассчитанное на чувства убеждаемого (*лат.*).

** предостережение (*фр.*).



венные чудовищности и вопиющие нелепости проявляются у нас с таким милым, детским простодушием. — И вот почему, дорогой Ив<ан> Серг<еевич>, ваш «День», *во что бы то ни стало*, не должен ни на минуту сходить с нашего горизонта. Значение ваше не в рати, а в знамени. — Знамя это создаст себе рать, лишь бы оно не сходило с поля битвы. — Не бросайте и не передавайте его[4]. — Это мое задушевное убеждение.

Ф. Тютчев

61. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

22 декабря 1865 г. Петербург

Петербург. 22 декабря 1865

Друг мой Александр Иваныч, это письмо доставит вам г-н *Моллер*, известный автор книги о Польше[1] и наш усердный и талантливый публицист в газете «Nord». Он очень желает с вами познакомиться... С Катковым он уж был прежде знаком и будет иметь свидание с ним по делу, коего ради он едет в Москву и о чем он не преминет сообщить и вам.

Вот уже очень довольно, что я ничего о вас не знаю, и эта неизвестность, как и всегда, наводит на меня сомненье. Что ваше здоровье? что здоровье Marie? что дети? Наконец, скоро мне будет возможно приехать[2], удостовериться собственными глазами в настоящем положении дел. Дочь моя уезжает отсюда 8 генваря, но я, вероятно, предупрежу ее и явлюсь к вам раньше. Очень, очень желаю с вами видеться... Однако же это близкое свидание да не помешает вам подать о себе весть. Скажите это и *Marie*.

Вот вам для вашего личного *ориентирования* несколько намеков, которые я пополню при свидании. После смерти Пальмерстона между нами и Англией произошло решительное сближение, которое тотчас же и отозвалось по греческому вопросу. Инициатива в этом деле принадлежит *нам*, со стороны же Англии встретила она полное сочувствие и содействие. Так что Франция уже приступила к решенному делу. Вообще говоря, кончина Пальмерст<она> благотворно

подействовала на наши отношения к Англии, что не замедлит обличиться и въяве.

Что же касается до внутр<еннего> вопроса — о печати и наших отношений к ней, то я не могу довольно благодарить «Московск<ие> вед<омости>» за ее две последние статьи, вызванные последним нашим заявлением в «Север<ной> почте», которое очень похоже на отеческие наставления Полония в «Гамлете»[3]. — Я на днях имел случай обо всем этом говорить с Валуевым и убедился в *радикальной безотрадности* положения[4], хотя В<алуев> и уверяет меня, что к Новому году — не позже — он готовит нам какой-то весьма приятный сюрприз по делу печати и что это выяснит все положение, но мне что-то плохо верится[5].

Еще раз обнимаю вас и всех ваших и надеюсь скоро повторить это в действит<ельности>. — Господь с вами.

62. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

30 декабря 1865 г. Петербург

С.-Петербург. Четверг. 30 декабря 1865

Вас первых, моя милая добрая Marie, хочу поздравить с Новым годом... Вам по праву принадлежат мои первые — свежие — еще не опошленные, еще не выдохшиеся пожелания. — Знайте, что и в наступающем году я решительно возобновляю подписку на всю вашу дружбу ко мне и всю вашу доверенность. Отрадно было мне читать в письме Ал<ександра> Ив<аныча>, что вы ждете моего приезда для какого-то совещания... Вот почему я и настаиваю на доверенности. Наконец, говоря о моем приезде, я могу определить и самый день этого несбыточного доселе события. — По просьбе Анны я решился проводить ее, — а она выедет отсюда 8-го генваря — итак, 9-го, часам к одиннадцати утра, ждите меня к чаю. Все это, разумеется, при оговорке, так глубоко человеческой, *если Богу угодно.*

На днях был и обедал у меня Щебальский[1], которого, разумеется, я много расспрашивал о всех вас. Но его показания были гораздо утешительнее тех известий, которые письмо ва-



шего мужа сообщает мне о его здоровье. Щеб<альский> также уверял меня, что его шансы на получение кафедры в Москве совершенно верны, — в письме же вижу сомнение... И все это еще более усиливает нетерпение мое с вами видеться.

Но говоря о письме Ал<ександра> Иваныча, я чуть-чуть не забыл упомянуть и о вручительнице письма, нашей умной любезно-практически-домостроительной Mlle Soz[2], приехавшей сюда, по ее уверению, с единственной целию поздравить всех тех, кому она считает себя обязанной. Я нашел ее в наилучшем настроении. Она положительно похорошела и вдобавок еще — сняла очки. Так что явление ее было вполне удовлетворительное и отрадное.

Знаете ли вы, милая Marie, что у вас одною тетушкою стало меньше? Бедная Алек<сандра> Дмитриевна[3] кончила свою страдальческую жизнь, все-таки пережившую две другие жизни[4], имевшие, казалось, более права на существование.

Но... простите, до близкого свидания. — Обнимаю от души вас и всех ваших.

Ф. Тютчев

63. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

12 января 1866 г. Москва

Moscou. Mercredi. 12 janvier 1866

Eh bien, voilà donc le mariage d'Anna, ce mariage, objet de si longues préoccupations, — le voilà donc passé à l'état de fait accompli...[1] Comme tout ce qui se dilate si démesurément par la pensée, soit comme attente, soit plus tard comme souvenir, tient peu de place dans la réalité! — Ce matin, à 9 heures, je me suis rendu chez les Сушков où j'ai trouvé déjà tout le monde sur pied et sous les armes. Anna venait d'achever sa toilette et avait déjà dans les cheveux cette fleur d'oranger qui a si fort tardé à s'épanouir... Encore une fois, je me suis vu tenant dans les mains une image, comme tous les pères passés, présents et à venir en pareille occurrence, et ne demandant pas mieux que de m'acquitter de mon emploi avec conviction, tout comme l'année

dernière[2]. — Puis j'ai accompagné Anna chez ma pauvre vieille mère — qui m'a étonné et touché par le reste de vie qui s'est fait jour en elle au moment où elle l'a bénie avec la fameuse image de sa Vierge de Kazan. C'était bien là un des derniers jets de la lampe qui va s'éteindre... Puis nous nous sommes rendus à la chapelle, Anna avec ma sœur dans une voiture, moi les suivant tout seul dans une autre et le reste à l'avenant... La messe a commencé aussitôt notre arrivée. Dans la chapelle qui est fort jolie il n'y avait pas plus de vingt personnes... C'était simple, convenable et recueilli... Pendant la cérémonie du mariage ma pensée allait continuellement du moment présent à mes souvenirs de l'année dernière... Quand on a eu mis les couronnes sur la tête des mariés, l'excellent Аксаков, avec son énorme couronne plantée à cru sur sa tête, m'a vaguement rappelé les figures en bois peint, représentant l'Empereur Charlemagne. Il a dit les paroles sacramentelles avec beaucoup de conviction — et je suppose, ou plutôt je suis certain, que l'esprit molesté d'Anna va enfin trouver aussi son assiette. — Après la cérémonie finie et le feu croisé des félicitations et des embrassements épuisé, on s'est rendu à la maison des Аксаков, moi dans la voiture d'Antoinette, et chemin faisant nous n'avons pas manqué de faire des retours mélancoliques sur la pauvre *Daria*.

Un déjeuner copieux et tout à fait inopportun nous attendait dans la famille Аксаков, braves et excellents gens, et qui, grâces à leur *illustration* littéraire, se trouve être un peu la famille de tout le monde. C'est ce que j'ai dit à la vieille[3], lui rappelant le souvenir de son défunt mari qui manquait essentiellement à la fête. Puis j'ai demandé la permission de me soustraire au déjeuner, attendu que depuis le matin je me sentais très positivement et très désagréablement souffrant... Jean, qui rentre à l'instant, m'assure qu'il m'a surabondamment remplacé au déjeuner. — Il commence à faire nuit et je suis obligé de cesser. Je sens le même crépuscule dans tout mon être et toutes les impressions du dehors ne m'arrivent que comme les sons d'une musique qui s'éloigne. Bien ou mal, je sens que j'ai assez vécu — *comme je sens qu'au moment de m'en aller tu es la seule réalité vivante dont j'aurai à prendre congé!*



Перевод:

Москва. Среда. 12 января 1866

Итак, свадьба Анны, эта свадьба, из-за которой было столько волнений, стала, наконец, свершившимся фактом...[1] Как же мало места занимает в реальности все, что разрастается в мыслях до невероятных размеров, будь то в предвкушении или позже в воспоминаниях! — Сегодня утром, в 9 часов, я отправился к Сушковым, где нашел всех уже на ногах и во всеоружии. Анна только что окончила свой туалет, и в волосах у нее уже была веточка флердоранжа, столь медлившего распуститься... Еще раз мне пришлось, как в подобных обстоятельствах всем отцам — давно ушедшим, настоящим и будущим, держать в руках образ, стараясь с такой же убежденностью исполнить свою роль, как и в прошлом году[2]. — Затем я проводил Анну к моей бедной старой матери, которая удивила и тронула меня остатком жизненной силы, проявившейся в ней в ту минуту, когда она благословляла ее своей иконой знаменитой Казанской Божией матери. Это была одна из последних вспышек лампады, которая скоро угаснет... Затем мы отправились в церковь: Анна в одной карете с моей сестрой, я сам по себе следовал за ними в другой, и остальные за нами, как полагается... Обедня началась тотчас по нашем приезде. В очень хорошенькой маленькой церкви собралось не более двадцати человек... Было просто, достойно, сосредоточенно... Во время церемонии венчания мысль моя постоянно переносилась от настоящей минуты к прошлогодним воспоминаниям... Когда возложили венцы на головы брачущихся, милейший Аксаков в своем огромном венце, надвинутом на лоб, смутно напомнил мне раскрашенные деревянные фигуры, изображающие императора Карла Великого. Он произнес установленные обрядом слова с большой убежденностью, — и я полагаю, или, вернее, уверен, что беспокойный дух Анны найдет, наконец, свою тихую пристань. — По окончании церемонии, после того как иссяк перекрестный огонь поздравлений и объятий, все направились к Аксаковым, я — в карете Анту-

анетты, и по дороге мы не преминули обменяться грустными мыслями о бедной *Дарье*.

Обильный и совершенно несвоевременный обед ожидал нас в семье Аксаковых, славных и добрейших людей, у которых, благодаря их литературной *известности*, все чувствуют себя, как в своей семье. Это я и сказал старушке[3], напомнив ей о ее покойном муже, которого очень недоставало на этом торжестве. Затем я попросил позволения уклониться от трапезы, ибо с утра испытывал весьма определенное и весьма неприятное ощущение нездоровья... Иван, только что вернувшийся, уверяет, что он более чем преуспел в стараниях заменить меня за столом. — Начинает смеркаться, и я вынужден кончить. Я ощущаю те же сумерки во всем моем существе, и все впечатления извне доходят до меня подобно звукам удаляющейся музыки. Хорошо или плохо, но я чувствую, что достаточно пожил, — *равно как чувствую, что в минуту моего ухода ты будешь единственной живой реальностью, с которой мне придется распроститься!*

64. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

2 февраля 1866 г. Петербург

Петерб<ург>. Середа. 2 февраля

Благодарю вас, милая Marie, за письмо. Вы, конечно, догадались, почему я замедлил ответ. — Письмо ваше пришло в самый разгар событий. Прошлое воскресенье, т. е. 30 генваря, Marie Бирилева в семь часов вечера родила дочь[1] — и, кажется, благополучно. По крайней мере до сих пор состояние ее удовлетворительное. Но сегодня только еще третий день, и я знаю по опыту, как в подобных случаях следует остерегаться слишком рано торжествовать победу. Что усилило тревогу, неразлучную с подобным происшествием, это то, что за два дня до оного бедный Бирилев испытал, весьма неожиданно, два довольно сильные припадка, свидетельствующие о неослабном, вопреки всем лекарствам, продолжении болезни. Теперь он опять поправился — и возвратился, по-видимому, в свое прежнее положение. Но повторение

припадков, без всякой осязаемой причины, все-таки весьма не отрадно...

Все эти известия — хорошие и дурные — передайте милой *нашей* Анне Алексеевне[2], на которую, как вы видите, я торжественно предъявляю свою долю права. Впрочем, и то сказать, такая симпатичная натура, какова она — всем сродни...

Отчего вы сомневаетесь в моем приезде в Москву будущей весною? Я, по крайней мере, *не сомневаюсь.*

Касательно дел ваших я преисполнен какого-то смутного усердия, которое меня просто бесит своею бесплодностию. Мне кажется, что другой на моем месте давно бы что-нибудь придумал и устроил... Я говорил с Деляновым о слухах, сообщенных мне вами по поводу Вышнеградского[3]. Он им плохо верит... От оседланного дурака трудно ожидать, чтобы он сам собою сбросил седока...

Здесь после сенатск<ого> выговора двум одесским гласным[4], о котором, как слышно, уже сожалеют — ничего нового, годного для сообщения, не имеется, — следственно я и заключу на этот раз письмо заявлением, далеко не новым — каким бы вы думали?

Детей обнимаю. Ал<ександру> Ив<аньічу> мой усердный поклон.

Ф. Т.

65. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

15 февраля 1866 г. Петербург

С.-Петербург. 15 февраля <18>66

На этот раз к вам обращаюсь с письмом моим, друг мой Александр Иваныч. — Прежде всего поговорим о ваших личных интересах и отношениях[1]. *Делянов* обещал мне положительно при первом свидании с *Свечиным* расспросить его касательно предполагаемых изменений в управлении здешних женских гимназий и хлопотать за вас, если представится к этому случай... Делянов поручил мне даже передать вам уверение, что он имеет вас *постоянно в виду* и не упустит первой возможности, которая представится для определения вашего

на такое место, которое было бы достойно вас. Он вообще чрезвычайно хорошо расположен к вам, и вы можете на него рассчитывать... Мне кажется, что не худо бы было, если бы вы написали к нему несколько строк и собственноручно заявили бы, чего вы желаете...

Теперь перейдем от частного к общему... Здесь уже знают о положительном отказе графа Фландрского, и вчера уже отправлены были кн. Горчак<овым> инструкции его по делу совершившегося переворота в Княжествах[2]. Вот наш взгляд на теперешнее положение дела.

Мы, разумеется, будем решительно противудействовать всякой иностр<анной> кандидатуре, которой, впрочем, кроме *Франции,* никто и не желает — да и осуществление которой не представляет вероятия, потому что трудно же будет какому-либо члену из царствующих в Европе домов решиться сделаться вассалом Оттоманской Порты. А признать за Княжествами самостоятельное политическое существование — это значило бы приступить к окончательному разделу Турции, на что никто не отважится[3]. — Раз же устранив иностр<анную> кандидатуру, можно рассчитывать, что сила естественных стремлений возьмет верх над искусственными комбинациями и приведет к *разъединению* обоих Княж<еств>, каковой исход есть единственно согласный с нашими существенными интересами... Мы не имеем никакого повода созидать на Востоке искусственные политические самостоятельности и скреплять чуждыми нам династическими интересами. Это было бы столько же противно истории, сколько и России. Для органического строя всей этой области православного Востока, или, лучше сказать, всей Восточной Европы, пора бы наконец понять, хоть *нам* по крайней мере, что тут места нет *отдельным державствам,* как в Западной Европе, — что для всех этих земель и племен нет и быть не может законной верховной власти вне России, вне русского единодержавия, и что всякая попытка созидать там какие бы то ни было организации, отрешенные от нас — от органической солидарности с нами, — никогда ни к чему не поведут, т. е. ни к чему прочному.

Я знаю, политическое наше самосознание до такой степени помутилось вследствие последних обстоятельств, что этот взгляд покажется чем-то нелепым — несообразным. Но это значит только то, что мы в данную минуту спустились в какую-то лощину, которая преграждает нам всякий свободный взгляд — вдаль и на окрестность.

Здесь считают падение Кузы щелчком для французской политики, которая в последнее время, особенно по этому вопросу, очень тяготела над бедною самостоятельностию Порты. И теперь, вероятно, это минувшее давление вызовет реакцию. — Во всех предстоящих возможных замешательствах мы, кажется, можем рассчитывать на совокупность действия с Англией, сближение с которой все более и более обличается по всем вопросам...

Вот вам, любезнейший Александр Иваныч, приблизительно по крайней мере, определения высоты в настоящую минуту. Рассчитываем на сочувствие и поддержку «Московских ведомостей».

Вчера в заседании Главного управления по делам печати мы решительно доконали «Русское слово», определивши ему *третье* предостережение[4]. Я, как вы знаете, враг подобных экзекуций — но что прикажете делать? Сама печать виновата, и первые вы — не противудействуя всей этой неурядице и бесчинствам, а там, где *Разум* не действует, поневоле надо прибегнуть к *Дубинке*, что, однако же, очень прискорбно.

Прошу милую *Marie* простить мне это длинное, скучное письмо. — Не замедлю отнестись к ней прямо.

Простите. Господь с вами.

66. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

22 февраля 1866 г. Петербург

Петербург. 22 февраля <18>66

Скажите, ради Бога, кто из вас двоих запрещает один другому писать ко мне?.. Это единогласие в молчании начинает сильно меня тревожить... Здоровы ли вы? не случилось ли что у вас?.. Потрудитесь же, прошу вас, пошевелить пальца-

ми, как это бывает при кошмаре, чтобы восстановить в нашей переписке надлежащее кровообращение...

За неимением письменных извещений я стараюсь вычитать коли не *вас*, так мужа вашего из передовых статей «Московских вед<омостей>»... но как-то не удается. — Выдается из них, а особливо из последних по финансовым вопросам, только сердитый горб Леонтьева...[1] Что же до вас собственно, то даже и тени вашей нет ни на одном из бесчисленных столбцов вышереченной газеты... Словом сказать, я в совершенных потемках и прошу посветить...

Здесь, кроме моего, все здоровы, или хороши, или поправляются. Даже моему Феде стало гораздо лучше. Кашель унялся, и он может выходить на воздух. Он становится очень мил, и мне все грустней и грустней бывает смотреть на него. — Дарье также лучше, и она после праздников сбирается ехать за границу. Ей очень бы хотелось меня увезти с собою, но не увезет — там еще пустее. Это я уже испытал на деле...

Знаете ли, что вы мой единственный корреспондент в Москве? т. е. если можно назвать корреспондентом лицо не пишущее... К Аксаковым по приезде из Москвы я еще ни разу не писал. Вы одни тревожите иногда во мне эту заглохшую способность к начертанию букв... Такие исключительные усилия заслуживают же с вашей стороны некоторого ободрения... Итак, в самом даже неблагоприятном предположении не позднее как *дня через три* я жду вашего отклика. Не то... увидите.

Ф. Тчв

67. А. Ф. АКСАКОВОЙ

25 февраля 1866 г. Петербург

Pétersbourg. Vendredi. 25 février <18>66

Ma fille chérie, ma bonne et heureuse Anna, — de grâce pardonne-moi mon silence et surtout ne l'interprète pas à mal. Ce n'est, Dieu le sait, ni de l'indifférence, ni même de la paresse. C'est quelque chose... dont il est inutile de parler... Je vous sens, je vous vois en pleine possession de la vie, de cette vie à laquelle tu n'as cessé d'aspirer et que tu méritais si bien... et quant à moi —



ma vie à moi est bien finie, *morte* et *enterrée*. Or il faut avoir expérimenté cet état, pour comprendre ce que c'est — et comme alors en présence de la vie vivante on contracte, tout naturellement, la retenue et la discrétion des morts...

Et cependant, ma fille, crois-le bien, je lis tes lettres avec la plus intime satisfaction. C'est comme si j'assistais à l'accomplissement d'un beau rêve, et je ne puis assez remercier Dieu de l'avoir permis... Il y a dans ton bonheur quelque chose qui me satisfait tout entier et qui donne raison à toutes mes convictions, car tu sais bien que ton mari a toujours été au nombre de mes convictions les meilleures. Je lui sais tant de gré de ce qu'il est — et surtout de ce qu'il a une nature de tout point si différente de la mienne... tu dois aussi apprécier cela.

Ah oui, j'aimerais bien vous voir chez vous — par une belle journée de printemps au premières feuilles et sous ce même toit qui a déjà abrité tant de vie intelligente et sympathique. Ce n'est pas peu de chose que d'hériter d'un pareil passé...[1]

Et cependant, ma fille, oserai-je vous l'avouer, — même à travers votre bonheur présent, j'en suis encore à regretter le *День*[2] et fais des vœux sincères pour pouvoir concilier ces deux choses... Et ce n'est pas à moi seul que le *День* manque si essentiellement. Il manque à la pensée russe contemporaine et il ne saurait lui manquer longtemps sans en faire baisser le niveau.

Nous sommes ici en pleine crise de politique extérieure à cause des principautés Danubiennes, et c'est *aujourd'hui* même que l'Empereur doit se décider entre Gortchakoff et Budberg[3], ici présent... Quant à préciser le différend qui existe entre ces deux messieurs, ce n'est pas chose facile. En tout cas il y a là plus de personnalité que de politique... Une circonstance piquante du procès, c'est le patriotisme ultra-russe de Budberg qui n'admet aucun ménagement, aucune temporisation et veut décidément être *le Bismarck* de la Russie... Il n'y a rien d'aussi effrayant que le patriotisme russe d'un Allemand. C'est comme un poltron révolté... et cependant les *coups de tête* seraient plus que jamais un contresens dans notre politique qui, pour réussir, n'a besoin que de se comprendre elle-même et de laisser faire le temps et la force des choses.

5 Зак. 7509

J'aimerais bien pouvoir utiliser ces deux auxiliaires dans l'intérêt du rétablissement de notre chère Daria — pauvre fille qui, grâce à je ne sais quel défaut organique dans son être moral, en est arrivée déjà dès à présent à *cette difficulté d'être* dont quelqu'un se plaignait à l'âge de cent ans...[4] La position qu'elle s'est faite est telle qu'on ne sait vraiment pas par quel bout la prendre...

Mais avant de finir, voici une commission dont j'ai été obligé de me charger p<our> ton mari. C'est de la part du jeune P<rince> Volkonsky, à qui ton mari a promis de lui envoyer quelques exemplaires de sa notice nécrologique sur son père[5].

Et maintenant encore une fois, que Dieu v<ou>s garde tous les deux.

A v<ou>s de cœur

T. T.

Перевод:

Петербург. Пятница. 25 февраля <18>66

Моя милая дочь, моя добрая и счастливая Анна, — прошу, прости мне мое молчание и, главное, не истолковывай его в дурном смысле. Видит Бог, это не равнодушие, это даже не лень. Это нечто... о чем бесполезно говорить... Я чувствую, я вижу, какой полнокровной жизнью вы живете, той жизнью, к которой ты не переставала стремиться и которой так заслуживала... что же до меня — моя жизнь положительно кончена, *мертва* и *погребена*. Но тому, кто не испытал ничего подобного, не понять, что это за состояние — когда при соприкосновении с живой жизнью невольно цепенеешь и немеешь, точно настоящий мертвец...

Тем не менее верь мне, дочь моя, что я читаю твои письма с полным сердечным удовлетворением. Я словно присутствую при осуществлении чу́дного сна и не могу достаточно возблагодарить Бога за Его на то соизволение... В твоем счастье есть нечто, удовлетворяющее меня вполне и отвечающее всем моим убеждениям, ибо ты хорошо знаешь, что твой муж всегда принадлежал к числу моих лучших убеждений. Я так

ему признателен за то, что он есть, а главное, за то, что он обладает характером, столь отличным, со всех точек зрения, от моего... Ты тоже должна ценить это.

О да, мне очень хотелось бы вас повидать — ясным весенним днем, когда распускается первая листва, и под той самой кровлей, которая столь часто давала приют милым и мыслящим людям. Это немало — наследовать такое прошлое...[1]

И все же, дочь моя, — осмелюсь вам в этом признаться, — даже при всем вашем теперешнем счастье я не перестаю жалеть о «Дне»[2] и желаю от всей души, чтобы у вас было и то, и другое... И не мне одному так сильно недостает «Дня». Его недостает современной русской мысли, и это не может не вызвать в скором времени понижения ее уровня.

У нас здесь полный кризис внешней политики из-за Дунайских княжеств, и как раз *сегодня* государь должен сделать выбор между Горчаковым и Будбергом[3], находящимся здесь... Точно определить, в чем состоят разногласия между этими двумя господами, дело нелегкое. Во всяком случае, тут больше личных мотивов, чем политических... Пикантной подробностью дела является сверхрусский патриотизм Будберга, не признающего никакой осмотрительности, никакого выжидания и явно стремящегося стать русским *Бисмарком*... Нет ничего страшнее русского патриотизма у немца. Это все равно что взбунтовавшийся трус... а между тем *необдуманные выходки* сейчас более нежели когда-либо неуместны в нашей политике, которой для достижения успеха нужно лишь понять самоё себя и предоставить дело времени и силе вещей.

Мне бы очень хотелось воспользоваться обоими этими вспомогательными средствами для восстановления здоровья нашей дорогой Дарьи — бедняжки, дошедшей, по милости какого-то глубинного изъяна в ее душе, до того, что уже сейчас она ощущает *ту обременительность бытия*, на которую кто-то пожаловался в возрасте ста лет...[4] Она настолько погрузилась в болезнь, что, право, не знаешь, за что потянуть, чтобы ее оттуда вытащить...

Но прежде чем проститься, вот поручение к твоему мужу, за которое мне пришлось взяться. Оно исходит от молодого

князя Волконского, коему твой муж обещал прислать несколько экземпляров своей заметки по поводу кончины его отца[5].

А теперь, еще раз, да хранит Господь вас обоих.

Сердечно ваш

Ф. Т.

68. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

30 марта 1866 г. Петербург

Петербург. 30 марта 1866

Друг мой Алек<сандр> Иваныч. Пора возобновить нашу прерванную беседу, тем более что в данную минуту есть о чем поговорить...

Итак, немыслимое совершится[1]. Предложение Пруссии о созвании немецк<ого> парл<амента> — не отсрочит, а упрочит войну...[2] Это взрыв мины для образования бреши перед приступом... Но эта *немыслимость* междоусобной войны в Германии есть лучшее свидетельство о совершенном отсутствии всякого историческ<ого> самосознания в современной публике... Это событие не только не немыслимо, оно было неминуемо... В продолжение четверти века, проведенных мною в Германии, я постоянно повторял немцам, что *Тридцатилетняя* война кроется, т<ак> с<казать>, в основе их историческ<ого> положения и что только русская опека временно сдерживает логическое развитие этой присущей силы[3]. — Ни один немец, к какой бы партии он ни принадлежал, разумеется, в этом не сознавался и до конца не сознается. Это также составляет характеристическую принадлежность данного положения. — Вопреки очевидного, осязательного собственного интереса племенная стихия в немцах взяла свое. Ненависть их к России пересилила чувство самосохранения. Тут опять-таки повторилось, на опыте, явление, столько раз повторяющееся в истории народных судеб, слагающихся вследствие их нравственного элемента. В характере немцев есть какая-то смесь крайней *непрактичности* с крайним умственным *высокомерием* — и эта-то смесь определила их отноше-

ние к России. Они, в продолжение тридцати лет, разжигали в себе это чувство враждебности к России, и чем наша политика в отношении к ним была нелепо-великодушнее, тем их не менее нелепая ненависть к нам становилась раздражительнее. Даже явная антинациональность тогдашней русской политики не могла ни на минуту примирить немцев с нею... Это многознаменательный факт... В продолжение сорóка лет — единственных в истории судеб немецкого племени — это основное, исторически-роковое раздвоение Германии было сдерживаемо воздействием России. Только под этою опекою, самою благодушною и кроткою, и могло существовать единение между Австриею и Пруссиею, т. е. могла существовать Германия. — Не странно ли, что при нынешних обстоятельствах этот факт, который лежит в основе всего современного положения, преходится всеобщим молчанием — и не только в заграничной печати, но даже и в нашей, даже в «Моск<овских> ведомост<ях>», которым бы по праву следовало восстановить и выяснить его огромное значение[4].

Как бы то ни было, в данную минуту этот немецкий разлад, кроме полнейшего удовлетворения для самолюбия нашего, оказывает нам положительную, существенную услугу... Только то, что зачинается теперь в Германии, предупредит, авось, то, что могло бы развиться при содействии Париж<ской> конфер<енции> по вопросу о Дун<айских> княжеств<ах>[5], т. е. возобновление западноевропейск<ой> коалиции против России — и это также одна из тех присносущных исторических сил, которых упразднить, ни даже устранить никакой нет возможности, пока не изменятся все существенные условия современного политического мира. И мы были бы самые отъявленные кретины, если бы еще раз, вопреки всем данным, мы стали подвизаться в деле умиротворения начинающихся смут.

Мы не можем достаточно проникнуться убеждением этой, т<ак> с<казать>, стихийной враждебности Запада как целого в отношении к нам... Не союза с ним должны мы искать, а его внутреннего разъединения... Пока его составные части не враждуют между собою, европейская коалиция против нас

всегда возможна и близка. Mors Caroli — vita Conradini, mors Conradini — vita Caroli[6] — вот то убеждение, которое должно жить и действовать в нас как инстинкт и как сознание.

Я читал все инструкции и все последовавшие депеши кн. Горчакова по вопросу о Княж<ествах> и могу уверить вас самым положительным образом, что все эти заявления, будь они опубликованы, принесли бы ему не менее чести, как и ноты его по польскому вопросу[7]. Они в высшей степени *сознательны*, определяют в точности и с большим достоинством наши настоящие отношения к делу и настаивают на одном только, чтобы всякое внешнее насилие — под каким бы то ни было предлогом, — могущее исказить естественное развитие дела, было устранено... В случае же явного нарушения этого условия мы, не обинуясь, постановили casus belli...* Мы не должны забывать, что при теперешних обстоятельствах наше даже самое энергическое действие должно быть более отрицательного, чем положительного свойства.

Знаете ли, что над вами висит *предостережение*[8], — говорю вам это по секрету. — На воре шапка горит... Однако же до сих пор большинство Совета, т. е. весь Совет, за исключением председателя и маленьк<ого> человечка *Фукса*, противится всякой подобной мере. Ваши намеки на статью, помещенную в «Nord», сильно раздразнили[9]. — Но... страшен сон, да милостив Бог... и Его-то покрову я вас и поручаю.

69. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

4 апреля 1866 г. Петербург

Петерб<ург>. 4 апреля 1866

Спешу досказать и выяснить мой вчерашний телеграф[1]. — Говорю не от своего имени, но от имени всех усердных и искренних друзей «Моск<овских> вед<омостей>». Вот как им, здесь, представляется положение дел.

Вследствие предостережения сочувствие огромного большинства на стороне вашей. Мотивированье предостережения

* повод к войне (*лат.*).

всем почти кажется недобросовестным и нелепым. От вас, и от вас одних, зависит решить дело в вашу пользу или расстроить его, — судя по какой дороге вы теперь пойдете. Перед вами их две: или идти напролом — очертя голову и обходя существующий закон — и несколькими взрывами раздражения, впрочем, весьма естественного, вызвать какую-либо катастрофу в существовании «М<осковских> ведомостей». Вот чего желают, чего ждут, на что рассчитывают все их разнородные, но в этом единодушные недруги и недоброжелатели ваши...[2] Или, в полном сознании вашего призвания, вашего огромного значения для общего дела, ваших обязанностей к России, сберечь себя для нее и не выдать противной стороне занимаемой вами позиции, а, напротив, усилив ее, довершить вами начатое, а это вам так легко — при некоторой сдержанности. Вам стоит только, удовлетворив без отлагательства закон, на другой же день продолжать вашу беседу с публикою, как бы не обращая внимания на неуместную, неприличную выходку, которою, со стороны, пытались было перебить вашу умную, добросовестную речь, — но тут же, исподволь, выясняя спокойно и отчетливо, в чем кроется преднамеренное, умышленное malentendu*, послужившее поводом к предостережению, а именно: могут ли *люди*, хотя и влиятельные, хотя и высоко поставленные, но которых мнения явным образом противуречат не только всякому национальному чувству, всякому национальному стремлению, но и положительному направлению всей правительственной системы, — могут ли эти люди, кто бы они ни были, претендовать на *правительственный* авторитет и на те права и привилегии, которыми закон оградил неприкосновенность правительственной власти? и противодействовать *этим* людям — значит ли подрывать доверие к правительству? За фактами, для пояснения дела, ходить далеко не для чего, а сгруппировать и осветить надлежащим светом — на это вы большие мастера... Вот, друг мой Алек<сандр> Ив<аныч>, вот что поручено было мне передать М<ихаилу> Н<икифоровичу> от имени всех его

---

* недоразумение (*фр.*).

здешних искренно преданных, но сильно озабоченных друзей и поклонников[3].

Ф. Тютчев

70. А. Ф. АКСАКОВОЙ

9 апреля 1866 г. Петербург

Pétersbourg. Samedi. 9 avril 1866

Ma fille chérie. — Je continue... pour abréger les préliminaires... La grande préoccupation de ces derniers jours c'était la composition de la commission d'enquête, dont le personnel offrait toutes les garanties d'ingénus en fait d'informations, devant aboutir à un résultat sérieux...[1] On était persuadé qu'entre leurs chastes et pudiques mains l'événement du 4 avril prendrait les proportions d'un fait isolé, d'un coup de tête d'un énergumène ne se rattachant à rien, surtout pas au fond de la situation, attendu que le propre de ces braves gens est de ne pas admettre qu'il y ait un fond à quoi que ce fût — toutes ces craintes trop bien *fondées* ont prévalu et hier toute l'affaire a été remise aux mains de Michel Mouravieff l'inévitable... *dura necessitas* qui ajoutera encore pour certaines gens à l'odieux de l'attentat. Jusqu'à présent l'assassin est un mythe, conservant toute sa présence d'esprit et même faisant preuve, à l'occasion, d'une sorte d'enjouement railleur, vis-à-vis de ses candides interlocuteurs... Ainsi, sur une question qui lui a été faite relativement à sa criminelle inspiration, il a répondu qu'il la devait à la lecture des écrits de Katkoff, en ajoutant, что он вообще придерживается мнений этого почтенного писателя... On dirait qu'il prend à tâche de justifier l'avertissement, adressé dernièrement p<ar> Mr Valoujeff à la *Gaz<ette> de Moscou*[2]. La visite de *Polissadoff*[3] n'a guères mieux réussi auprès de lui. Il a dès le début interrompu ses pieuses exhortations, en lui déclarant que c'était des choses qu'il avait parfaitement sues autrefois, mais qu'il avait depuis longtemps oubliées... En un mot d'après le peu d'indices recueillis jusqu'à présent, sa *provenance* morale ne fait pas un doute à mes yeux, quelle que puisse être d'ailleurs son origine nationale... C'est un produit plus complètement réussi de la tendance



nihiliste[4] qui s'est lassé du rabâchage du parti, et qui, une bonne fois, a voulu essayer de l'action... Ce qui n'empêche pas de supposer qu'il est un *émissaire* avoué dont l'inspiration personnelle s'est trouvée à la hauteur du mandat qui lui a été confié. On prétend savoir que le jour même de l'attentat trente à quarante individus polonais se sont empressés de quitter Pétersbourg, profitant de l'émotion bien naturelle de la police qui avait oublié de faire garder les barrières. — D'ailleurs les poisons, trouvés sur le coupable, indiqueraient à mon avis que ce ne saurait être un fanatique isolé, ne relevant que de lui-même, qui n'a pas besoin de prendre de pareilles sûretés contre ses propres indiscrétions... En un mot il n'y a jusqu'à présent qu'un bras, sorti du nuage, mais évidemment il tient à quelque chose. Ce qu'il y a de pis, hélas, c'est qu'on n'est pas suffisamment convaincu en haut lieu que ce bras tient surtout à tout un corps de sentiments, d'idées, de doctrines, à tout un monde sans nom que le pouvoir lui-même a longuement couvé sous son aile, comme une candide oie qui couverait un œuf de crocodile. — Je ne mets pas en doute qu'à l'heure qu'il est il n'y a peut-être pas à Pétersb<ourg> d'établissement scolaire, où il ne se trouve un maître, ou deux, ou trois, qui chercheront à faire considérer à quelques-uns de leurs élèves l'homme du 4 avril comme le glorieux martyr d'une sainte et noble cause... Y a-t-il solidarité entre ces gens-là et les personnages officiels, placés au haut de l'échelle administrative?.. De solidarité juridique assurément non, n'en déplaise à Katkoff, mais bien certainement il y a solidarité morale, en le sens que l'indifférentisme, l'absence de foi et de conviction des uns laisse le champ libre à la propagande fanatique des autres. C'est l'irréligion passive faisant la courte échelle à l'irréligion active. — Ah, que ton mari, ma chère Anna, aurait trouvé de belles choses à dire dans les circonstances actuelles et que son silence est fâcheux en ce moment...

Quant à l'affaire Katkoff, voici où elle en est... Depuis longtemps déjà Valoujeff l'Olympien (nommé Périclès)[5] était troublé dans sa sérénité par la brutalité irrévérencieuse de la *Gazette de Moscou*. Il avait bien essayé de quelques froncements de sourcils, mais qui n'avaient pas aboutis. — Enfin je ne sais

quelle goutte imperceptible a fait déborder le vase de sa colère, et à propos d'un article qui n'était qu'une *centième redite*, il a, contrairement à l'avis de tout le Conseil moins deux voix, lancé son premier avertissement. Il ne faudrait pas croire toutefois que c'est aux doctrines, à la politique de Katkoff qu'il s'attaquait... il ne se serait pas abaissé jusque-là — non, c'était plutôt un Sultan, un Padischah qui sortait de son majestueux repos p<our> aller réprimer un vassal trop turbulent...[6] Mais malheureusement il avait compté sans son hôte, il n'avait pas compté sur une rebellion ouverte, refus d'insérer l'avertissement et rude coup de bâton, assené sur la main qui s'étendait pour l'imposer[7]. En vue d'un pareil outrage, d'un pareil attentat à leur autorité officielle, mes collègues du Conseil n'y tinrent plus, et dans la dernière séance ils s'emportèrent jusqu'à proposer un *second* avertissement. C'était précisément le 4 avril — l'incident de ce jour a tout à coup arrêté comme de raison toute cette ébullition, et force a été de reconnaître même aux plus stupides d'entre nous qu'il y aurait mauvaise grâce à s'attaquer à la *G<azette> de Moscou* dans un pareil moment... Il y avait tout un aveu dans cette abstention, mais qui ne sera pas compris de ceux-là même à qui la force des choses vient de l'arracher. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de ce qui succédera... En attendant, mille amitiés à ton cher, bien cher mari, auquel je ne manquerai pas d'écrire directement le résultat de la démarche qu'il m'a chargé de faire. — Mais quant à la Revue, pourquoi ne s'adresse-t-il pas à quelque libraire de Moscou?[8] — Adieu ma fille chérie, et bientôt au revoir.

Tout à toi.

Перевод:

Петербург. Суббота. 9 апреля 1866

Моя милая дочь. — Продолжаю... опустив вступление... Главной заботой последних дней был состав следственной комиссии, члены которой демонстрировали младенческую неосведомленность в вопросе, грозившую серьезно навредить делу...[1] Опасались, что, пройдя через их чистые и целомудренные руки, событие 4 апреля сократится до размеров



частного случая, до отчаянного поступка одержимого человека, не связанного ни с чем и, в особенности, с существом ситуации, поскольку этим честным людям не свойственно видеть существо в чем бы то ни было, — все эти слишком *существенные* опасения взяли верх, и вчера дело было передано в руки незаменимого Михаила Муравьева... *dura necessitas**, которая кое-кому окончательно откроет глаза на гнусность содеянного. До сих пор покушавшийся держался героем, сохранял присутствие духа и даже выказывал при случае игривую насмешливость по отношению к своим простодушным собеседникам... Так, на вопрос о том, кто внушил ему его преступный замысел, он отвечал, что был вдохновлен чтением статей Каткова, присовокупив, что он вообще придерживается мнений этого почтенного писателя... Он словно старается подтвердить обоснованность предостережения, которое недавно сделал «Московским ведомостям» г-н Валуев[2]. *Полисадов* своим посещением также ничего не добился[3]. Тот сразу прервал его благочестивые увещевания, заявив, что все это он когда-то прекрасно знал, да давно забыл... Словом, тех немногих сведений, которые пока до меня дошли, мне достаточно, чтобы точно определить для себя его нравственные *истоки*, какова бы, кстати, ни была его национальная принадлежность... Это совершенный продукт нигилизма[4], уставший от пустопорожней болтовни своих единомышленников и решивший хоть раз перейти к действию... Каковое обстоятельство, однако, не исключает того, что он, наверное, был *подослан*, и в этом случае собственное его стремление вполне отвечало возложенной на него миссии. Говорят, будто в самый день покушения тридцать или сорок лиц польского происхождения спешно выехали из Петербурга, воспользовавшись совершенно естественной растерянностью полиции, которая забыла закрыть заставы. — То, что у преступника был найден яд, по-моему, также указывает скорее на то, что речь идет не о фанатике-одиночке, которому незачем прибегать к подобной предосторожности из опасения проговорить-

---

* суровая необходимость (*лат.*).

ся, поскольку он отвечает только за себя... Словом, пока из всего этого тумана видна только рука, но она, безусловно, является принадлежностью чего-то. Хуже то, что в высших сферах, увы, недостаточно убеждены, что рука эта — часть целого организма, целого безымянного мира чувств, идей и доктрин, который власти долгое время высиживали, укрывая собственным крылом, словно доверчивая гусыня — яйцо крокодила. — Не сомневаюсь, что в любом учебном заведении Петербурга найдутся в эти дни один, два, а то и три наставника, которые, говоря с некоторыми из своих учеников, постараются изобразить виновника события 4 апреля мучеником, страдающим за святое и благородное дело... Можно ли говорить о солидарности между этими людьми и официальными лицами, стоящими на верхних ступенях административной лестницы?.. Юридически такой солидарности, конечно, нет, не в обиду Каткову будь сказано, но есть между ними солидарность нравственная, в том смысле, что безразличие, отсутствие веры и убежденности у одних открывает другим простор для ярой пропаганды. Так пассивное неверие помогает развиваться неверию активному. — Ах, дорогая Анна, сколько дельного по поводу нынешних событий мог бы сказать твой муж, и как досадно, что он сейчас вынужден молчать...

Что касается дела Каткова, то вот в каком оно положении... Долгое время «Московские ведомости» своей непочтительной резкостью нарушали покой олимпийца Валуева (прозванного Периклом)[5]. Несколько раз он пытался хмурить брови, но тщетно. — Наконец какая-то неведомая капля переполнила чашу его гнева, и по поводу статьи, в которой повторялась только *сотая доля сказанного ранее*, он, вопреки мнению всего Совета, за исключением двух его членов, метнул свое первое предостережение. Не следует, однако, думать, что он обрушился на теории, на политику Каткова... до этого он не снизошел бы... нет, он вел себя, как султан, как падишах, который выходит из состояния величественного покоя, чтобы сделать внушение слишком беспокойному вассалу...[6] Но, к сожалению, расчет был сделан без хозяина, он не думал натолкнуться на открытое сопротивление, на отказ

опубликовать предостережение и на крепкий удар палкой по руке, которая было протянулась, чтобы наложить взыскание[7]. Столь тяжкое оскорбление, столь явное неповиновение официальным властям вывело из себя моих коллег по Совету, и на последнем заседании они дошли в своем возмущении до того, что предложили сделать *второе* предостережение. Это было как раз 4 апреля — главное событие дня утихомирило эти разбушевавшиеся страсти, и даже самым тупоумным из нас пришлось признать, что сейчас не время нападать на «Московские ведомости»... Это — признание собственной несостоятельности, но те, у кого оно было вырвано ходом событий, никогда этого не поймут. Не премину сообщать вам обо всем, что за этим последует... Пока же шлю дружеские приветствия твоему столь мне любезному мужу, которому непременно сообщу о результатах шагов, предпринятых мною по его поручению. — А насчет журнала: почему он не обратится к какому-нибудь московскому издателю?[8] — Прости, милая моя дочь, до скорого свидания.

Весь твой.

71. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

12 апреля 1866 г. Петербург

С.-Петерб<ург>. Вторн<ик>. 12 апреля

Вчера получил письмо, моя милая, добрая Marie, и спешу — поблагодарить вас за него... Да подкрепит вас Господь Бог и помилует... Не унывайте, не падайте духом... Хотелось бы не писать к вам все это, а высказать живым языком — и поверьте, не много слов нужно мне было бы, чтобы убедить вас в моем полном, неизменимом сочувствии.

В первых числах мая мы непременно увидимся в Москве, и если бы вам недостаточно было главного ручательства, т. е. желания видеться с вами, то вот и другие, как, напр<имер>, то обстоятельство, что Аксаков в мае месяце уезжает в Самару.

Благодарю вас за память о Дарье. Ее положение все то же, т. е. самое грустное и жалкое. Не то чтобы болезнь грозила

опасностию — но жизнь-то сама становится невыносимою. Сегодня день ее рождения[1], который, с прошлого года, сделался днем траурным[2], а в нынешнем году будет праздноваться в Зимнем дворце, под влиянием самых тревожных и грустных впечатлений. Вчера, у Феоктистовых, встретил я приезжих из Москвы, из рассказов которых видно, что настроенье умов в Москве ничем не уступает тому, которое здесь между нами, очевидцами события... Назначение М.Н. Муравьева[3] и в Москве, вероятно, всех порадовало и успокоило. Ему удастся, можно надеяться, обнажить корень зла, — но вырвать его из русской почвы — на это надо другие силы... И случайным, конечно, совпадением событие 4 апреля вяжется с делом «Моск<овских> вед<омостей>». Это также было своего рода предостережение, но более серьезное и лучше мотивированное и данное уже не нами — а нам, самоуверенным раздателям необдуманных предостережений... Слишком явно стало, на чьей стороне правда и понимание вопроса и кому была бы на радость всякая мера, могущая повлечь за собою закрытие «Московских ведомостей», — но с тем же полным убеждением все люди, серьезно сочувствующие этому направлению, *жалеют*, что Катков без малейшей нужды ослабил несколько свою позицию непомещением предостережения, — это также факт неоспоримый и *вне вашей* среды не подлежащий ни малейшему сомнению... Как глубоко хватит реакция, вызываемая послед<ним> событием, будет зависеть от тех открытий и обличений, кот<орые> воспоследуют. Пока кн. Долгоруков дал своим примером спасительное указание[4]. — Но... довольно. Все время говоря о постороннем, я думал о вас — и многое, многое думал... Господь с вами.

72. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Апрель (после 14) 1866 г. Петербург

<Начало письма утрачено>

Ici on est toujours encore sous le coup de l'attentat du 4 avril[1] et de ses conséquences probables... L'enquête, au dire de



Mouravieff[2], marche rapidement. — Mais que constatera-t-elle? Un complot, quelqu'association secrète, quelque trame saisissable et appréciable? Ou bien seulement le fait du détestable esprit qui règne dans de certains milieux? — fait bien grave, assurément, et qui pourrait s'aggraver encore par les moyens qu'on pourrait employer pour le combattre.

On a été généralement satisfait de la nomination du C<om>te Tolstoy[3]. Mais en égard à l'immensité de la tâche et à la diversité d'aptitudes qu'elle suppose — on voudrait le voir renforcé et comme doublé par quelque capacité hors ligne. Et à cette occasion beaucoup de personnes tournent les yeux vers *Самарин*...[4] Ce serait là une bien précieuse acquisition.

L'affaire Katkoff est toujours brûlante...[5] L'immense majorité lui est acquise. Personne ne veut admettre la possibilité de voir son journal cesser... Mais aussi ses meilleurs amis, et je suis assurément du nombre, déplorent l'emportement de ce bouillant Achille qui, pqur faire pièce à Agamemnon-Valoujeff, est tout disposé à sacrifier les Grecs...[6] Voilà un souvenir *classique* qu'il serait fort à propos de lui rappeler, fût-ce même à titre d'avertissement.

Au revoir, à bientôt, ma fille, j'embrasse tout le monde.

Перевод:

Здесь по-прежнему только и разговоров, что о покушении 4 апреля[1] и о том, чем оно может быть чревато... Расследование, по словам Муравьева[2], идет быстро. — Но что оно выявит? — Заговор, какое-то тайное общество, с которым предстоит разобраться и покончить? Или же просто веяние отвратительного духа, царящего в некоторых кругах? — веяние, безусловно, очень опасное и грозящее вылиться в нечто еще более опасное в результате мер, которые могли бы быть приняты для расправы над ним.

Все приветствуют назначение графа Толстого[3]. Но учитывая необъятность и многосложность стоящей перед ним задачи, хотелось бы, чтобы его способности были подкреплены и как бы удвоены способностями другой неординарной лично-

сти. В связи с этим многие обращают взоры к *Самарину*...[4] Он бы тут подошел как нельзя лучше.

Интерес к делу Каткова не остывает...[5] За него громадное большинство. Никто не хочет допустить мысли, что его газета прекратит существование... Но именно поэтому лучших его друзей, к числу коих, конечно, принадлежу и я, огорчает непримиримость этого обуянного гневом Ахилла, который в стремлении навредить Агамемнону-Валуеву готов пожертвовать греками...[6] Вот *классический* пример, о котором сейчас самое время ему напомнить, хотя бы в виде предостережения.

До скорого свидания, дочь моя, обнимаю всех.

73. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

16 апреля 1866 г. Петербург

Петерб<ург>. 16 апреля 1866

Пишу к вам несколько строк, друг мой Ал<ександр> Иваныч. — Третьего дня известились мы по телеграфу из Парижа, что в послед<нем> заседании Конференции мы одержали верх над Францией à la suite d'une discussion bien irritante[*]. Иностр<анный> принц устр<анен> — и разъединение Княжеств делается теперь более чем вероятным[1]. Это личное торжество для Горчак<ова>.

Вчера вечером был я у Муравьевых. — На каждом шагу препятствия. Трепов до сей поры еще не назначен — потому только, что не приискали еще места для Анненкова, а между тем каждая минута дорога[2]. Князь Суворов срамит князя Долгорукова за его малодушие и выставляет в пример и укор ему свое собственное самоотвержение[3]. Состав полиции до того ненадежен, что государь предоставил Муравьеву заменять полицейских нижними чинами гвардии при содействии в<еликого> кн<язя> Ник<олая> Ник<олаевича>, который, как мне известно, выказывает много усердия. — С другой стороны, в администр<ативной> сфере недоброжелательство к

* в результате весьма бурной дискуссии (*фр.*).



Мур<авьеву> — общее, без различия партий и мнений. Всем колет глаза его исключительное положение[4]. Граф П. Шувалов уже о сю пору говорит о привычке Муравьева превращать муху в слона ради своей популярности. Стремление же этих господ с самого начала было — убедить самих себя и публику, что все дело — отдельный факт студента-мономана. Муравьев же утверждает, что уже теперь он имеет в руках доказательства существования обширного заговора, нити которого идут за границу, — но до сих пор польский элемент еще не выказался, хотя он и чувствуется во всем. — Положение страшно трудное. Главная трудность в том, как и где провести черту между словом и делом — между стихийною силою мысли и мнения и уже зародившимся положительным политическим фактом — и в особенности избегнуть поползновения — за неимением факта — обратить полицейские репрессивные меры противу неуловимой стихии мысли. Вот где опасность — попасть опять нечаянно в колею николаевских реакций. Насильственным подавлением мысли — даже и в области нигилистических учений — мы только раздражим и усилим зло — пошлая, избитая истина и, однако, вечно устраняемая в применении. — Если чье влияние может предупредить эту беду, так это, конечно, «М<осковские> ведомости» — они побороли Головнина[5], большая заслуга. Это было растление мысли — но и гнет мысли оказался бы столько же пагуб<ен>.

Ф. Тчв

74. И. С. АКСАКОВУ

19 апреля 1866 г. Петербург

Петербург. 19 апреля 1866

Друг мой, Иван Сергеич. Много утешили вы меня письмом вашим. Я получил его как нельзя более кстати, т. е. в ту самую минуту, когда всего более мне хотелось *вашего* слова — когда все слышнее и слышнее становилось для меня и для многих молчание «Дня» в этом общем говоре и гаме... Да, вы правы, правы почти во всем... Лучшее доказательство,

в какой мы лжи постоянно живем, это то чувство какого-то испуга при виде нашей собственной действительности, проявляющейся нам каждый раз как какое-то привидение... Так и теперь. Вдруг словно гора зашевелится и пойдет... Эта гора — народ русский... И куда тогда деваются все наши теории и соображения? Что, напр<имер>, значат теперь все наши конституционные попытки[1] в применении к живой действительности? Как убедить народ русский, чтобы он согласился дать себя опутать, в лице своего единственно законного представителя — царя, этою ухищренною паутиною, т. е. обрек себя на умышленную неподвижность, чтобы при каждом живом движении невольно и нечаянно не порвать на себе всей этой ухищренности? — Где место, при настоящем взаимодействии этих двух величин, конституционным затеям?.. Уж одна эта очевидная невозможность должна бы указать, что наше искомое не там, где его ищут... Что оно внутри, а не извне — дело организма, а не механизма... Так что, в конце концов, вот какою формулою можно пока определить закон нашего будущего развития, нашей единственно возможной конституции — *чем народнее самодержавие, тем самодержавнее народ.*

Но, предоставив будущее будущему, вот что воочию совершается в настоящем... Пистолетным выстрелом 4-го апреля проживающий между нами нигилизм заявил себя официально — и все переполошились — что это такое? откуда и почему?.. Призывается *Головнин* и объявляется ему, между прочим, что так как общественное мнение страшно против него раздражено, то ему оставаться министром не следует...[2] А что же, наконец, довело до этого сознания?.. А вот что: при допросах некоторые из этих милых личностей не обинуясь объявили, что их цель была захватить в свои руки народные школы и в них, для блага будущих поколений, разрабатывать на досуге эти два положения: несуществование Бога и незаконность всякой власти...[3] Конечно, этот план воспитания не был одобрен бывшим министром н<ародного> просвещения, но верно и то, что он бы ему не противудействовал, — да и чем противудействовать? Вот вследствие чего возникла новая комбинация — со-



единением в одном лице, гр. Толстого, этих двух элементов, духовного и светского...[4] Но на каких условиях и во имя какого принципа будет заключен этот союз? — That is the question*[5]. Будет ли наконец сознано, вполне сознано, что духовенство без Духа есть именно та обуявшая соль, которою солить нельзя и не следует...[6] Вообще, я предвижу кучу недоразумений... И я, напр<имер>, радуюсь назначению Муравьева[7], который, как специалист, лучше и скорее других обличит корень зла, — но вырывать этот корень — на это требуются другие силы, — а где они, эти силы? А если, за неимением их, т. е. за неумением ими пользоваться, мы будем применять к делу те, которые нам сподручны, то этим мы дела далеко не поправим... Иногда, конечно, необходимо по рукам и по ногам связать сумасшедшего, но это одно сумасшествия еще не вылечивает...

Теперь происходит здесь какое-то прекуриозное перемещение. Вдруг самые высокопоставленные люди, т. е. самые приближенные к началу власти, оказываются несостоятельными, *неправительственными*[8], и пресса, эта анархическая пресса, во имя самых животрепещущих интересов общества, трактует этих облеченных властию консерваторов как глупых, опрометчивых мальчишек...[9] Больнее всех досталось великолепному *Князю Слова*, по выражению печати, — Валуеву. — Он, этот *Prince de la Parole*[10], двукратно вышколенный «Московскими ведомостями», решительно пикнуть не смеет, — потому, при малейшей его резвости, Катков, как няня ребенку, тотчас же грозит ему, что она *уйдет от него*, — чего он страх боится[11]. — Один князь Италийский еще не сдается и, в сознании своей государственной мудрости и гражданского мужества, не перестает стыдить и срамить малодушие Долгорукова, сознавшего наконец свою несостоятельность[12]. — Не так Суворов[13] — он и теперь еще, в двух шагах от государя, продолжает еще своим громозвучным голосом величать Муравьева зверем и животным. — Но на этот раз довольно. Продолжение впредь. Обнимаю от души вас и жену вашу. Господь с вами.

---

* Вот в чем вопрос (*англ.*).

75. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

26 апреля 1866 г. Петербург

Петербург. 26 апреля

Я так и думал, милая моя Marie, что не вы виноваты в перерыве переписки, а нездоровье ваше, и потому не сердился, а тревожился... и вижу теперь, что недаром... Очень, очень тяжело мне знать вас и физически страждущей, и нравственно расстроенной[1]. — Но все это письменное сочувствие так вяло и безотрадно — авось-либо живое слово окажется действительнее.

В будущем месяце непременно явлюсь к вам. Но еще не могу назначить дня моего приезда. Я полагаю, что еще до получения этого письма вы уже виделись с возвратившимся из Петербур<га> Щебальским и что он кроме известий обо мне сообщил вам впечатления свои, вывезенные им отсюда. Вероятно, впечатления эти — в Москве еще более, чем здесь — согласуются с тем, что я писал к вам по делу Каткова, которое не перестает занимать всех. — Сочувствие к нему полное. Никто не допускает мысли, что «Московские вед<омости>» прекратятся. Но все очень искренно озабочены вопросом, каким путем вывести дело из этого затруднительного положения. — Никто из ему сочувствующих — а их имя легион — не верит, чтобы он *сам* желал сойти со сцены и в сознании этого желания *преднамеренно* поставил вопрос, как он именно поставлен. Это было бы — не говорю *не*патриотично, но просто несовместно с такою благородною личностью, как *Катков*. Для выяснения дела весьма достаточно уже одного — того справедливого раздражения, овладевшего им при виде этого не то бессмысленного, не то злонамеренного противудействия. Восторжествовать окончательно над этим противудействием было в полной его возможности. Но он сам усложнил задачу, поставивши вопрос таким образом, что решение его затрогивает и самую личность государя, не при совсем благоприятных условиях. — Как бы то ни было, при теперешних обстоятельствах и настроении умов — последнее слово должно остаться за Катковым, и так оно и будет... Но довольно.

Есть дело еще важнее и этого, и это дело — вы и ваше здоровье. Обнимаю детей. — Скажите вашему мужу, что я все-таки жду от него неск<олько> слов. Господь с вами.

Ф. Тчв

76. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

7 мая 1866 г. Петербург

Петербург. 7 мая

Вот вам bulletin* настоящей минуты. Завтра в «J<ournal> de St-Pétersb<ourg>» вы прочтете заявление наше, вызванное заграничною печатью[1], — касательно положения нашего ввиду предстоящих событий. Решительное безучастие — до той поры, пока нарушение русского интереса где бы то ни было не вызовет нашего вмешательства. — Словом сказать, та же *liberté d'action***, что у французов, но с большею честностью и с меньшею определенностью.

По несчастью, здесь, вопреки здравому смыслу, слишком много хлопочут о *конгрессе*[2], из побуждений более личных и довольно пустых, чем разумно политических. Натурально, выговорили предварительно не только польский вопрос, как вопрос внутренний, но и вопрос о присоединении Дун<айских> княжеств к Австрии. В случае же буде окажется необходимым дать ей какое-либо территориальное вознаграждение, здесь смутно бродит мысль о наделении ее Босниею — с тем, чтобы прикрепить ее к Адриатике, где она все-таки не развяжется с Италиею, и через это еще решительнее отвлечь от Черного моря. — Все это как-то затейливо-нелепо и к несчастью обличает коренную ошибку в понимании исторических судеб России, для совершения которых необходимо разложение Австрии. Вот что бы самые ограниченные умы инстинктивно поняли в *Киеве* и чего даже умныс ведь не поймут в *Петербурге*. Но сила вещей за нас, и она будет умнее нас.

---

* бюллетень, сводка (*фр.*).
** свобода действия (*фр.*).

Передовые статьи «М<осковских> ведомостей», все более и более усиливая и сочувствие друзей, и вражду ненавистников, все пуще усложняют и затягивают вопрос[3]. За вас — чувство самосохранения целого общества и все его разумные и благонамеренные представители. Но что же противу вас? — То самое, что, напр<имер>, в республиках создало *остракизм*[4], т. е. какая-то присущая всякой власти зависть в отношении к тем общественным делателям, снискавшим себе личное значение помимо власти, которая в душе своей более сочувствует зловредной, но раболепной пошлости, чем самой усердной, самой полезной, но независимой деятельности. Вот червь, который все подтачивает.

Простите. До скорого свидания. Что наша бедная Marie? Какова она?

77. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

8 мая 1866 г. Петербург

Петерб<ург>. 8 мая 1866

Писал к вам вчера, пишу к вам сегодня — и на этот раз далеко не радостные вести. Но вы, вероятно, уже их знаете. Вы о сю пору должны были получить *второе* предостережение «М<осковским> вед<омостям>», состоявшееся еще третьего дня без моего ведома и о котором я только вчера узнал в заседании[1]. — Сегодня оно будет объявлено в «Север<ной> почте». — Вчера же я обедал у графа Д.А. Толстого, где были *Кауфман,* Безак, Делянов[2]. Общее впечатление было, разумеется, самое грустное — но вот к какому пришли общему заключению. Желательно, чтобы, не закрывая издания, «М<осковские> вед<омости>» перенесли немедленно дело свое в Сенат. Главное, как в начале прошлого года[3], выгадать время, чтобы дать возможность всем тем, которые понимают значение происходящего, а между ними есть люди влиятельные и ревностные, заявить свое содействие...

Надобно предвидеть, что глубоко оскорбленное чувство того, что они называют русскою партией, т. е. все это громад-

ное консервативно-национальное большинство русского общества, т. е. все, что ни есть здорового и благонамеренного, выскажется так или иначе. На эти-то манифестации противники «Моск<овских> вед<омостей>» и рассчитывают, — чтобы, усилив раздражение в государе, произвести окончательный разрыв. — Это какой-то нелепый, безобразный сон, совершающийся наяву... Впрочем, не надобно себя обманывать. Дело «Моск<овских> ведомостей» есть только *эпизод* всего положения — они преследуются не как *направление* только, но как *печать*, и в данную минуту — вопреки всем вашим сомнениям — сознательно или бессознательно — начинается решительно реакция против печати. Люди противуположных направлений пришли к одному и тому же убеждению, что все зло — от печати и что с нее-то и надобно начать, — словом сказать, повторение реакций прошлого времени, оказавшихся, как известно, столь благотворными для русского общества. — Рядом с «Московск<ими> вед<омостями>» должны будут закрыться и здешние некоторые издания[4]. Имеется в виду <прийти к>* какому-то цензурному уровню — без цензуры, но который — даже и при цензуре — никогда осуществиться не мог.

Положение, как вы видите, серьезное. При разъедающей Россию язве, при страшном финансовом расстройстве, накануне готовящегося в Европе светопреставления — вдруг, ни с того ни с сего, такой взрыв самоубийственных инстинктов и направлений. — Никакими словами нельзя передать овладевающего чувства. –

<Конец письма утрачен>

78. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

2 июня 1866 г. Петербург

Петербург. 2 июня <18>66

Через час по возвращении моем в П<етербург> я получил от Мих<аила> Ник<ифоровича> депешу, вероятно, извест-

---

* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.

ного вам содержания[1]. — Во всяком случае, уверьте, прошу вас, кого следует, что он может быть совершенно спокоен и что от меня ему нечего опасаться ничего такого, что могло бы повредить его интересам, т. е. общему интересу. — Но в самый день моего приезда я обедал у кн. Горч<акова>, и он мне первый начал говорить о свидании Мих<аила> Ник<ифоровича> с его московск<им> собеседником, о чем князь был извещен через самого этого собеседника, который довольно верно передал ему сущность всего сказанного при этом случае, заявив в заключение, что он остался вполне доволен разумностию и умеренностию Мих<аила> Ник<ифоровича>. — Впрочем, он здесь не скрывает, что это свидание состоялось не вследствие собственного его побуждения, но по предписанию свыше...

Что же касается графа Толстого, то еще до сей минуты мне не удалось с ним видеться. Знаю только через Делянова, что он сбирается в Москву между *пятым* числом и *десятым* этого месяца. Во всяком случае, увижусь с ним перед его отъездом и не премину, разумеется, переговорить с ним обо всем, что следует...[2]

Здесь все надеются, что дело «Моск<овских> вед<омостей>» устроится и уладится удовлетворительным образом, — их нормальное восстановление есть дело общей потребности, и можно предвидеть, что и внешние события, надвигающиеся на нас, немало будут способствовать правильному разрешению этой задачи.

С *Деляновым*, как я уже сказал, я подробно говорил о вас и обо всем положении вашем и в десятый раз удостоверился, что он совершенно расположен в вашу пользу...

Засим — и на этот раз обращаюсь к вам обоим — должен сознаться, милые вы друзья мои, что и двухнедельное пребывание с вами уже достаточно обратилось в привычку, чтобы не тяготиться ее перерывом, — и я предчувствую, что я, при первой же возможности, поспешу возобновить прерванное.

Господь с вами. — Детей обнимаю.

Ф. Тчв



79. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

8 июня 1866 г. Петербург

Петербург. 8 июня

Вот вам, любезнейший друг Александр Иваныч, несколько строк для графа Толстого, который сегодня же отправляется в Москву и предполагает пробыть там дней 8 или 10. — И со стороны Делянова вы были ему отрекомендованы наилучшим образом. Увидим, что Бог даст... Я, как вы увидите из моего письма, в самых общих выраженьях говорю ему об вас, не предрешая ничего касательно вопроса о вашем будущем определении. Впрочем, и вам самим трудно будет решить этот вопрос, не побывавши предварительно в Петерб<урге>[1].

Из последнего *мероприятия* по поводу двух журналов вы можете составить теперь более точное понятие о степени сознательности, с каковою относятся к вопросу о печати[2]. Это самые примитивные, самые *непосредственные* отношения... Нечто вроде лечения от зубной боли посредством удара кулаком по зубам... Иногда и это помогает.

Теперь дело идет о пересмотре и перестрое этого несчастного устава о печати — для избежания, как сказано, недоразумений, подобных тому, которое встретилось с «Московскими ведомостями»...[3]

Какое наивное занятие все эти попытки решить задачу законодательными ухищрениями — там, где ящик так просто и так нормально открывается... А вот еще и другой куриоз. За какую-то статью уже любимовских «Москов<ских> вед<омостей>» Совет по делам печати уже собрался было предать их суду, но министр решил, что так как «Московские вед<омости>» суть собственность Московск<ого> университета, то надобно предварительно отнестись к министру нар<одного> просвещ<ения> и спросить у него, какие он меры сочтет удобоприятными по поводу означенной статьи[4]. Об отзыве же со стороны нар<одного> пр<освещения> на сделанный запрос — я ничего не знаю.

На днях я обедал у в<еликой> княг<ини> Ел<ены> Павл<овны>, и, разумеется, речь была и о деле «Моск<ов-

ских> вед<омостей>». Тут случился *Чевкин*, который очень разумно и с большим сочувствием отозвался о деятельности ее прежней редакции и изъявил надежду, что еще не умер Лазарь, а спит[5]. — Впрочем, признаюсь вам, при тех условиях, которыми определяются у нас отношения печати, мне кажется, что в подобной среде и сон, и жизнь, и смерть — все это явления равно случайные и призрачные... Все это *Maja*, по-русски — марево.

Простите пока. К Marie буду писать особенно. — Обнимаю ее и детей.

Весь ваш

Ф. Т.

80. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

19 июня 1866 г. Петербург

Петербург. 19 июня <18>66

Вот вам два письма разом, моя милая Marie, — мое и ваше. Это последнее было вскрыто мною по недосмотру и возвращается к вам *недочитанным*. Вот как я уважаю, в назидание нашей полиции, тайну частной переписки, особливо супружеской... Мое же письмо вы могли бы оставить вовсе не читанным, так оно бедно содержанием... Все существенное, что бы я мог вам сказать, было уже, конечно, передано вам вашим мужем. — Теперь мне от вас ждать новостей. Тех именно, которые в данную минуту исключительно меня интересуют, т. е. относящихся к вашему делу...[1] Я преисполнен надежды на успех. И успех, что вы уже будущей осенью возвратитесь в Петербург. Еще вчера говорил я с Деляновым об Ал<ексан-дре> Ив<аныче>, и он надеется, что гр. Толстой теперь же назначит его по особым поручениям и увезет с собою, в свой ученый объезд. Это было бы лучше и дачи, и даже диссертации.

Что дела Каткова, и подвинулись ли они к счастливому исходу вследствие приезда в Москву графа Толстого? Во всяком случае, я надеюсь, что эти дела и для вас, как для меня, будут иметь интерес чисто гражданский и общественный — и

что вы не будете с ними связаны никакою положительною солидарностию.

Здесь стоит погода чудная — и это кажется так натурально и легко, что не понимаешь, отчего бы ей изменяться. Но у нас с хорошею погодою то же, что с хорошими стихами, которые только с виду кажутся легки. Можно сказ<ать>, что нам солнце не без труда дается. — Хотя теперь его даже слишком много, — по крайней мере, для меня в моей подсолнечной квартире. — Зато как теперь у вас должно быть хорошо...

Ждете ли вы меня? Обнимаю детей и кланяюсь вашему мужу. Господь с вами.

81. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

26 июня 1866 г. Петербург

Петербург. Воскресенье. 26 июня <18>66

Вы правы. Лучшего исхода и ожидать было нельзя. «Московские ведомости» этим временным испытанием завоевали себе ключ позиции. Они стали в прямое личное отношение. В этом-то все и дело... Теперь «М<осковские> вед<омости>» стали газетою ставропигиальною. — Итак, пора, очень пора великому сыну Пелея выйти из своего стана и явиться на стене. Трояне, т. е. события, сильно напирают...[1]

Здесь не ищите ни определенного направления, ни руководства. ***Здесь*** не имеется ***ни одной*** идеи в запасе. Мы здесь до сих пор с какою-то благодушною niaiserie* всё хлопотали и продолжаем хлопотать о мире, — но ***чем*** для ***нас*** будет этот мир, того мы понять не в состоянии. Во всяком случае, не мы при данных обстоятель<ствах> оправдаем евангельское слово о миротворцах[2]. — Австрия, завершая все свои предыдущие позоры, решилась пойти в кабалу к Наполеону с тем только, чтобы заставить и враждующие с нею державы также закабалить себя у него... Если державы эти, в особенности Пруссия, на это поддадутся, то Наполеонова

---

* глупостью (*фр.*).

диктатура будет признана над Европою... а эта диктатура необходимо должна разразиться *коалициею* против России[3]. Кто этого не понимает, тот уже ничего не понимает... Единственное историческое призвание наполеоновской диктатуры в данную минуту — это разрешение вопроса в самом антирусском смысле... Итак, вместо того, чтобы так *глупо* напирать на Пруссию, чтобы она пошла на мировую, мы должны от души желать, чтобы у Бисмарка стало довольно духу и решимости *не подчиняться* Наполеону, и довести дело до разрыва. В настоящую минуту, предполагая даже самый широкий успех прусской политики и оружия по делам Германии *против* Наполеона, — все это для нас гораздо менее опасно, чем сделка Бисмарка с Наполеоном, которая непременно обратится против нас... Вообще, надо быть, как мы здесь, лишену всякого чутья и пониманья, чтобы не уразуметь, уже перед самым лицом грозящей катастрофы, ее роковых условий. Она или поведет непременно к разложению Запада, или обрушится всею тяжестью соединенного Запада *на нас*.

Что же до Австрии, то мы должны смотреть на нее, как на выморочное именье[4], и, не предъявляя еще пока наших законных прав на владение, не терять их ни минуты *из виду*... Тут дело очень просто: *восьмнадцать* миллионов славянского племени, над которыми австрийская опека упраздняется. Может ли Россия без самоубийства предать их *всецело* немцам? — Вот первый вопрос, на который должны ударить «Москов<ские> ведомости»...

Отныне мы не можем, мы не должны смотреть на Австрию, как на самостоятельную державу. Она теперь не что иное, и более нежели когда-либо, — отжившая историческая комбинация, лишенная всякого серьезного содержания. При ее доказанной несостоятельности опека над славянскими массами сделалась для нее невозможною. Она может только повергнуть в бесплодное, хаотическое брожение. Но только упразднение Австрии создаст возможность, при преобладающем содействии России, внести в эти массы начало прочного органического строя, т. е. применяя все эти общие воззрения

к делу настоящей минуты, мы должны, в случае того страшного столкновения, которое потрясет до основания всю западноевропейскую систему, мы должны, говорю, так заручить себя австрийским славянам, чтобы они поняли, наконец, что вне России нет и не может быть никакого для них спасения, – приступить же к делу следует с Восточной Галиции.

Я знаю, все это было уже тысячу раз говорено и повторяемо, точно так же, как человек во все дни живота своего говорит умозрительно о смерти, но, наконец, наступает же день, когда умозрение переходит в действительность, – и этот день, этот роковой день, очевидно, наступил, – но пусть он будет днем не смерти, а возрождения.

Если изложенный взгляд совпадает с убеждениями «Московск<их> вед<омостей>», то они могут в настоящую минуту оказать самому правительству огромную услугу. Здесь – для кого же это тайна? – все шатко и неопределенно, хотя преобладающее чувство в главном деятеле – это раздраженное негодование противу Австрии и враждебность к Наполеону, но при всем этом малодушие и неясность соображений. *Выше* гораздо более решимости, и сюда-то, к этой-то высшей среде, должны быть преимущественно устремлены все усилия.

Прочтите это письмо Мих<аилу> Ник<ифоровичу>. Он более нежели когда-либо *сила,* и сила признанная. От него многое зависит.

Ф. Тчв

82. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

3 июля 1866 г. Петербург

Петерб<ург>. 3-го июля

Положение определяется. Скоро Напол<еон> волею или неволею подойдет к вооруженному вмешательству[1]. Это сделалось для него жизненным вопросом. – Тогда из двух возможностей неминуемо последует одна. Или Пруссия и Италия испугаются и поддадутся, и тогда обе эти державы в

сущности станут к Наполеону в те же *вассальные* отношения, в какие поставила себя Австрия, т. е. диктатура над Европой сосредоточится на время в руках Наполеона, а наполеоновская диктатура необходимо повлечет за собою коалицию всего Запада противу России, разрешение восточного вопроса в смысле антирусском и — окончательно восстановление Польши... Или Пруссия решится противудействовать — во имя не только своей, но и общей независимости всех германских племен — при деятельном сочувствии Италии — и рассчитывая на весьма вероятную поддержку со стороны нового английского министерства...[2]

Понятно, что с нашей стороны было бы крайнею нелепостию, если бы мы из какого-то малодушного суетного желания восстановить мир à tout prix* стали налегать на Пруссию, чтобы склонить ее к уступкам. — Это просто немыслимо — как мы ни глупы, ни безмысленны, ни бездушны, но все-таки мы не можем же не понять, что мир при таких условиях — это признание наполеоновской диктатуры и что мы, Россия, не можем этому содействовать... Объединение полное, прочное Германии — нам не страшно, потому что оно *неосуществимо,* да и вопрос теперь не так поставлен. Прусский интерес в данную минуту — это подъем всей Средней Европы против французского преобладания, который в скором времени — и при некоторой сдержанности с нашей стороны — неминуемо повлечет за собою разрыв с Франциею Англии — а *этого-то нам и надо.* Это одно может развязать нам руки. — Мы не можем, еще раз, довольно проникнуться убеждением, что только подобною междоусобною, нескончаемою войною на Западе суждено России, как представительнице всего Славянского мира, вступить окончательно во все свои исторические права и исполнить свое мировое призвание.

Этим достаточно определяются наши теперешние отношения к Австрии. — Эти-то отношения следует нам уяснить себе вполне.

---

* любой ценой (*фр.*).



83. М. Н. КАТКОВУ

5 июля 1866 г. Петербург

Петербург. 5 июля <18>66

Пишу к вам, почтеннейший Михаил Никифорыч, по особенному поручению графа М.Н. Муравьева. Он просил меня подтвердить вам в письме моем все, что уже, как он говорил мне, было вам сообщено...

Он просит вас о личном свидании с вами в Петербурге и желал бы очень и очень, чтобы вы ускорили вашим приездом... Он считает необходимым, *для пользы общего дела*, передать вам многие данные, добытые следственною комиссиею, уясняющие и определяющие настоящее положение нашего современного общества и которые — как он весьма справедливо предполагает — только в ваших руках могут оказаться плодотворны... Итак, еще раз, и он, и мы все надеемся видеть вас в скором времени в Петерб<урге>, где ваше присутствие, в данную минуту, могло бы быть во многих отношениях чрезвычайно полезно...[1]

В надежде вашего скорого приезда я бы смел просить вас, почтеннейший Михаил Никифорыч, сделать мне честь и особенное удовольствие остановиться у меня. — Я теперь совершенно один в доме, простору вдоволь, и вам, могу надеяться, было бы у меня не менее покойно и удобно, чем в гостинице. Одно только обстоятельство меня несколько пугает — это высота моей лестницы.

Граф Муравьев сообщал Валуеву о своем желании личного с вами свидания и той пользе, которую он от этого ожидает... Валуев выразился, что он совершенно разделяет это убеждение и что ему приятно было бы, если бы вы могли на месте удостовериться в отсутствии всякой личной враждебности к вам...

Передаю слышанное...

Такое же сообщение было сделано Муравьевым и графу Шувалову.

Итак, ждем вас, Михаил Никифорыч. Приезжайте и убедитесь, что благодаря вам наконец и у нас — и в нашей прави-

тельственной среде — сила печатного слова признана не как факт только, но как и право...

В заключение прошу вас передать мое усердное почтение милой и дорогой Софье Петровне и поручаю себя вашему расположению.

Вам душевно преданный

Ф. Тютчев

84. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

13 июля 1866 г. Петербург

Петербург. 13 июля <18>66

В ответ на письмо вашего мужа пишу к вам, моя милая, добрая, справедливо на меня негодующая Marie. Мне все как-то кажется странным, что мои к вам ежедневные, хотя, правда, и не писанные письма не доходят до вас. Пора бы, кажется, изобрести такой телеграф, который тем, кого мы очень любим, передавал бы сам собою наши мысли и чувства, как только они в нас зарождаются. — От эдакого телеграфа вам бы тогда отбою не было, и вам бы пришлось жаловаться на преувеличенную деятельность моей корреспонденции.

Вижу с признательностию из писем вашего мужа, что здоровье ваше довольно хорошо. Прошу продолжать. Известие, что с вами теперь сестра ваша Ольга и что я, вероятно, еще ее у вас застану, меня как-то порадовало и возбудило во мне какое-то сердечное любопытство. — Напишите, на кого она похожа...

Так как для вас всякое письмо без некоторой примеси политики кажется безвкусным, то я вменяю себе в обязанность, хоть бы для передачи, сообщить вам следующее. — Здесь не совсем спокойно смотрят на невероятную уступчивость Наполеона и невольно подозревают, что под этим кроется что-нибудь недоброе для нас. Это все происходит оттого, что до сих пор не хотят убедиться, вопреки очевидности, в полнейшей несостоятельности этого человека и с каким-то смешным упрямством отыскивают во всех его самых грубых, самых осязательных промахах глубину премудрости. Только в



этом деле всемирной мистификации он поистине велик... Но и тут большая доля заслуги принадлежит не ему, а человеческой глупости.

Я все еще той веры, что эта-то уступчивость со стороны Наполеона приведет к взрыву во Франции и разрыву ее с немцами — и что только что начавшаяся передряга в Европе пойдет еще гораздо далее...[1]

Я знаю от Муравьевых, что Мих<аил> Ник<олаевич>, который был несколько озадачен первым телеграф<ным> сообщением Каткова, был очень доволен его письмом. Желаю, чтобы в свою очередь и Мих<аил> Никифорыч успокоился касательно моего будто бы неосторожного оглашения письма вашего мужа[2]. Все подробности, заключающиеся в этом письме, были уже общеизвестны, и преимущественно в той именно среде, где их разглашение могло бы вызвать недоброжелательство. Впрочем, даже избыток подобной предосторожности меня душевно радует как новое ручательство за ненаветное процветание «Московских ведомостей». — Их возрождению все еще продолжают радоваться, как возвращению милого дорогого гостя, о котором давно не имели известий. — Первые передовые статьи были очень замечены, особливо *циркуляр «Московск<их> вед<омостей»> по поводу высочайшего рескрипта*[3]. Но в статьях об иностр<анной> политике замечена была некоторая нерешительность и бледность[4], к которой мы, конечно, уже успели привыкнуть на практике и потому неохотно лишились бы некоторого за это вознаграждения в среде нашей умозрительной политики.

Муж ваш пишет мне, что вы неослабно стараетесь предохранить его от поползновения *предаться сердцем вновь раз изменившим обольщеньям...*[5] и очень хорошо делаете. Возобновить кабалу было бы, с его стороны, непростительною слабостию. — Хоть Делянов живет теперь на даче, но я сегодня же, вероятно, увижусь с ним за обедом у княгини Кочубей и передам поручение Алек<сандра> Иваныча. — Завтра я сбираюсь в Ораниенбаум к велик<ой> княгине Елене Павловне и пробуду там и в Петергофе дня три или четыре. К возвращению моему в город надеюсь найти письмо от вас...

6 Зак. 7509

Вот уже более недели, что я не виделся с вашею тетушкою или, лучше сказать, тетушками[6]. Последнее наше свидание было *5-го июля*, в этот день, столько лет мною празднуемый, я обедал у Анны Дмитр<иевны> и сам себе казался каким-то привиденьем...

Простите, до свидания, моя милая, добрая Marie, и не переставайте, прошу вас, быть взыскательными... Детей обнимаю.

Господь с вами.

85. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

21 июля 1866 г. Петербург

Pétersbourg. Jeudi. 21 juillet

Ma chatte chérie, avant toute chose, il faut que je te demande grâce p<our> une bien coupable indiscrétion. — Mais elle était p<our> a<insi> d<ire> involontaire, la tentation était trop forte... Il s'agit de la lettre de ton frère. Je savais que cette lettre contenait la première impression produite sur lui p<ar> les événements qui viennent d'arriver — le cri même de ces événements, et ne pouvant entrer dans la chambre où il parlait, j'ai écouté à la porte... De là l'enveloppe entrouverte par un coup de canif égaré... Eh bien, le croiras-tu? Je ne me repens pas de l'indiscrétion commise — tant les quelques lignes très remarquables de cette lettre jettent du jour sur toute la situation, et me confirment dans mes appréciations.

La guerre n'est qu'interrompue[1]. Ce qui feint de finir, n'aura été que le prélude du grand massacre, de la grande lutte entre la France Napoléonienne et les Allemands, et c'est l'Allemagne du midi, gravitant irrésistiblement vers le Nord en dépit de toutes ses misérables dynasties, qui la fera éclater... La France, quoi qu'on fasse, ne pourra pas se résigner à laisser s'achever l'unification de l'Allemagne toute entière. C'est une question de vie pour elle. Elle peut ne pas réussir à l'empêcher, mais elle l'essaiera... Et c'est pourtant cette politique de N<apoléon> III, si fort admirée pour son habileté et sa portée par les imbéciles du monde entier, qui lui aura valu cela... Jamais on n'a vu mystification pareille!..

Je viens de passer trois jours entre Oranienbaum et Péterhoff, en rapport de discussions politiques avec tous les membres de l'Auguste famille, tous divisés entre eux par leurs sympathies et antipathies — toutes allemandes... C'est en un mot l'Allemagne en abrégé. La seule note parfaitement absente, c'est le point de vue russe sur la question. Cela m'a fait faire de pénibles réflexions... D'ailleurs j'ai été extrêmement choyé et fêté. J'ai revu la Gr<ande>-D<uchesse> Marie avec qui j'ai eu une longue conversation à un bal patronné p<ar> elle à Péterhoff. Celle-là est toute Napoléonienne et ne comprend pas, comment un homme, qui lui plaît tant, puisse ne pas être le meilleur allié de la Russie... surtout après les avances qu'il vient de nous faire. Car il vient d'adresser une lettre autographe à l'Empereur, p<our> lui offrir son alliance, et l'engager à jeter un voile sur le passé... Une lettre pareille est un aveu bien significatif...

Quant à mon cher Prince et ami[2], il patauge décidément, et il en est ainsi de tout ce monde-là où l'on ne trouve pas même le plus léger pressentiment, le moindre *glimpse* de la réalité russe dont ces gens-là devraient être les représentants. — Ignorance si complète des premiers éléments de la question que toute discussion sérieuse avec eux est une impossibilité... Et voilà pourquoi je me console de notre inaction forcée dans le moment donné, car leur impuissance réelle est l'unique garantie que nous ayons contre les désastreuses conséquences de leur inintelligence... Ce sont des gens qui allaient se tromper de wagon, mais qui heureusement l'auront manqué...

Cette nuit j'ai couché dans le grand salon, car l'œuvre de démolition a déjà atteint ma chambre où l'on va raser le poêle, pour le convertir en cheminée...

Je remercie ma bonne Marie de son annexe et la prie de faire mes amitiés à Birileff et mes tendresses à la petite...[3] Puissent-ils tous deux lui donner le moins d'inquiétudes possible... Voici un mot pour Daniloff que je suppose encore avec vous, et dans le cas où il vous aurait déjà quitté, il faudrait le lui faire tenir sans retard, pour qu'à son retour de la campagne de son père il repasse par Ovstoug, p<our> mettre ordre à l'affaire que je lui recommande, à moins qu'il ne l'eût déjà fait.

Ici le temps a été constamment froid et pluvieux, la maladie est en décroissance et on n'en parle guères. Quant à moi, j'aimerais, je crois, encore mieux une bonne attaque de choléra que cette misérable manière de se mal-porter qui ne vous tue pas, mais qui vous empoisonne la vie, goutte p<ar> goutte...

La Cour restera à Péterhoff jusqu'aux premiers jours d'août où l'Emp<ereur> compte aller faire une tournée, en commençant p<ar> Varsovie. — Quant à l'Imp<ératrice>, elle viendra, je suppose, s'établir à Tsarskoïé... Ah quelle redite que tout cela — et quelle nausée que l'existence à un certain âge, et qu'il serait temps d'en finir... Dieu vous garde.

Перевод:

Петербург. Четверг. 21 июля

Милая моя кисанька, прежде всего я должен попросить у тебя прощения за преступную нескромность. — Но она была, так сказать, невольной, ибо искушение оказалось чересчур сильным... Речь идет о письме твоего брата. Я знал, что это письмо содержит его первое впечатление от только что произошедших событий — самый голос этих событий, и, не имея возможности войти в комнату, где он говорил, я подслушал у дверей... Вот почему конверт вскрыт незаконным взмахом ножа... И поверишь ли? Я не раскаиваюсь в своем проступке — до того ярко несколько замечательных строк этого письма освещают все положение и подтверждают мои собственные оценки.

Война только прервана[1]. То, что теперь кажется завершенным, было лишь прелюдией великого побоища, великой битвы между наполеоновской Францией и немцами, а разожжет ее южная Германия, которая вопреки своим ничтожным династиям непреодолимо тяготеет к северу... Франция ни при каких условиях не сможет примириться с объединением всей Германии. Для нее это вопрос жизни. Она, может быть, не сумеет этому помешать, но попытается... Однако к такому итогу приведет ее именно политика Наполеона III, столь превозносимая за ловкость и дальновидность глупцами всего мира... Свет еще не видывал подобной мистификации!..

Я только что провел три дня между Ораниенбаумом и Петергофом, ведя политические споры с разными членами августейшей семьи, которые все разделены между собою своими симпатиями и антипатиями — сплошь немецкими... Словом, это Германия в миниатюре. Одно там начисто отсутствует — русский взгляд на вопрос. Горько становится, как призадумаешься... Впрочем, со мной были исключительно ласковы и любезны. Я снова виделся с великой княгиней Марией Николаевной, с которой имел длинный разговор на балу, состоявшемся под ее покровительством в Петергофе. Она совершенно покорена Наполеоном и не постигает, как человек, столь ей приятный, может не быть лучшим союзником России... в особенности после тех шагов, которые он сделал нам навстречу. Ибо он только что обратился с собственноручным письмом к государю, предлагая ему союз и убеждая его забыть прошлое... Подобное письмо свидетельствует о многом...

Что касается моего милейшего друга князя[2], он положительно запутался, и то же самое можно сказать обо всех этих людях, в которых не находишь даже начатков знания, даже малейшего *glimpse*[*] русской действительности, представителями коей они должны бы быть. — Это такое полное неведение самых азов вопроса, что всякий серьезный спор с ними невозможен... И вот почему я примиряюсь с нашим вынужденным бездействием в данную минуту, ибо только их явное бессилие спасает нас от гибельных последствий их недомыслия... Это люди, которые уехали бы не туда, куда надо, да, по счастью, опоздали на поезд.

Прошлую ночь я спал в большой гостиной, так как разрушение уже достигло моей комнаты, где собираются ломать печь, чтобы превратить ее в камин.

Благодарю мою добрую Мари за ее приложение к твоему письму и прошу ее передать дружеские приветы Бирилеву и поцелуи малютке...[3] Пусть они оба доставляют ей как можно меньше беспокойств... Вот несколько слов Данилову, который, я полагаю, еще с вами, а буде он вас уже покинул, то

---

[*] проблеска понимания (*англ.*).

нужно бы переслать их ему немедленно, чтобы, возвращаясь из имения своего отца, он проехал через Овстуг и уладил дело, которое я ему поручаю, если только он не успел уладить его прежде.

Здесь стояла все время холодная и дождливая погода, болезнь идет на убыль, и о ней больше не говорят. Что касается меня, я, кажется, предпочел бы перенести хороший приступ холеры, чем испытывать это жалкое недомогание, которое не убивает, но отравляет жизнь, капля за каплей...

Двор останется в Петергофе до первых чисел августа, когда государь предполагает совершить путешествие, начав его с Варшавы. — Что до императрицы, то она, я думаю, водворится в Царском... Ах, какие все это перепевы одного и того же — и до чего тошнотворно существование в определенном возрасте, и как пора было бы с этим покончить... Господь с вами.

86. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

26 июля 1866 г. Петербург

Петербург. 26 июля

Милая Marie. Вот письмо, которое бы мне очень и очень хотелось самому отвезти к вам, как я и предполагал и надеялся. Но чему-то или кому-то это, видно, было неугодно — и пришлось мне поздравлять вас и с завтрешним и с прошлым вашим праздником[1] самым пошлым образом, т. е. письменным... Когда же наконец графу Толстому заблагорассудится сократить это расстояние, несколько затрудняющее мои визиты к вам. — Вчера Делянов говорил мне, что он на днях писал к нему о вас, настаивая на необходимости скорого решения. Теперь, как он мне сказывал, упраздняется место по редакции «Жур<нала> Минис<терства> народного просвещ<ения>». — Это, я знаю, нечто весьма несущественное, не более как pied-à-terre* на первых порах, — но главное для вас, чтобы вы были здесь налицо и вашим личным при-

* временное пристанище (*фр.*).



сутствием беспрестанно напоминали о необходимости окончательно-удовлетворительного водворения.

Меня все это время не было в городе. Последние дни я провел в Царском Селе у Дарьи, которой положение самое грустное и безотрадное. Теперь к ней приехала Kitty. Настоящей опасности нет, но нет и большой надежды на выздоровление, и положение мучительно.

Перед этим я был дня три в Ораниенб<ауме> и Петергофе — гостил у в<еликой> к<нягини> Ел<ены> Павл<овны> в самый разгар событий — и имел случай много толковать о происходящем. Любопытно — но несообщительно.

Неутешительны и мои беседы с кн. Горчаковым, полнейшее непонимание. — Так что приходится радоваться нашему бессилию, обрекающему нас на бездействие, потому что действие было бы нелепо. Мы непременно попали бы не в тот поезд, куда следует, но, к счастью, денег не оказалось, чтобы заплатить за место...[2] Скажите вашему мужу, чтобы он сказал Каткову сообщить ему письмо, писанное от имени Г<орчакова>[3]. — Это полнейшее *testimonium* нашей политическ<ой> *paupertatis**. Надеюсь, что оно вызовет приличное заявление.

Знайте, что в буд<ущем> месяце я непременно явлюсь в Москву, и потому что мне этого хочется, и потому что надо. Пока простите. Господь с вами.

Весь ваш

Ф. Тютчев

87. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

28 июля 1866 г. Петербург

Pétersbourg. Jeudi. 28 juillet

Si mes lettres se ressentent de la disposition d'esprit où je suis en les écrivant, je suis étonné qu'elles puissent faire éprouver autre chose que du dégoût à ceux qui les lisent... Il est vrai que c'est toujours le matin que je les écris, et c'est l'heure de la journée où je suis le plus en présence de moi-même.

* свидетельство... бедности (*лат.*).

Je suis ici depuis dimanche soir[1], et j'ai appris en arrivant que la veille nous avons manqué brûler. Le feu s'était déclaré vers les neuf heures du soir dans le fond de la cour, et ce n'est qu'à 10 que les pompes sont arrivées. Les trois étages ont été percés par la flamme.

J'ai entrevu Dmitry qui s'est remis en possession de son Pylade[2]. Je le crois en ce moment le plus heureux des hommes. Il m'a avoué qu'il s'est beaucoup ennuyé à la campagne. – J'attends aujourd'hui Kitty qui viendra p<our> voir les Mouravieff, et le soir nous nous en retournerons ensemble à Tsarskoïé. Là, ce n'est pas la société qui me manque, tant s'en faut. *On se m'arrache.* Mais il y a dans tout cela un décousu qui me fatigue et m'embête, ou plutôt il n'y a au fond de tout qu'un seul sentiment, qu'une seule impression – qui empoisonne tout et dont il est... inutile de parler...

Daria va, je crois, mieux. Ce qui est certain, c'est qu'elle prend goût à la société de sa sœur et tient à la garder[3]. L'autre jour elles ont passé cinq heures de suite au jardin. Elles y ont même dîné.

En politique nous avons fait une fameuse brioche. Quelqu'un s'est mis en tête de vouloir le congrès[4], maintenant que personne n'en veut. Le cher Prince[5], malgré sa fière indépendance, n'a pas osé combattre cette lubie, au fond de laquelle il n'y avait qu'une tendre sollicitude pour les parents pauvres d'Allemagne[6]. On nous a traités selon nos mérites: on s'est moqué de nous. Nous n'avons trouvé pour soutenir notre fameuse proposition qu'un seul allié, le Portugal, et cela, encore, grâce à Mad<ame> Moira, je suppose. – En un mot, nous sommes pitoyables. Nous en sommes toujours encore à ce degré de l'échelle animale où la conscience de son identité n'apparaît pas encore.

J'ai su par Dmitry que jusqu'au jour de son départ vous n'aviez pas reçu un seul № du *J<ournal> de St-P<étersbourg>*, et cependant l'abonnement court depuis le 1er juillet. C'est indigne.

A Tsarskoïé j'ai revu enfin la Comtesse Orloff-D<avidoff>, de Nice, qui m'a beaucoup <demandé>* de vos nouvelles. Elle a gardé une mine de l'autre monde tout en restant dans celui-ci.

---

* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.



Je campe toujours encore dans le grand salon. La cheminée est faite... et sur ce, je prie Dieu, etc. — Je t'écrirai dimanche prochain. Dieu v<ou>s garde.

Перевод:

Петербург. Четверг. 28 июля

Если на моих письмах отражается настроение, в котором я нахожусь, когда их пишу, то я удивляюсь, как они могут вызывать в тех, кто их читает, иное чувство, кроме отвращения... Правда, пишу я их всегда по утрам, а в утренние часы меня особенно тяготит присутствие собственной персоны.

Я прибыл сюда в воскресенье вечером[1] и узнал, что накануне мы едва-едва не погорели. Огонь вспыхнул около девяти часов утра в глубине двора, а пожарные насосы подоспели только в 10. Пламя обхватило три этажа.

Я мельком видел Дмитрия, который вновь обрел своего Пилада[2]. По-моему, мальчик переживает сейчас счастливейшие минуты. Он признался мне, что очень скучал в деревне. — Сегодня ожидаю Китти, которая приедет повидаться с Муравьевыми, а вечером мы вместе вернемся в Царское. Не общества недостает мне тут, отнюдь нет. *Меня рвут на части*. Но все это какая-то суета, меня утомляющая и раздражающая, или, вернее, за всем этим нет ничего, кроме одного ощущения, одного впечатления, которое отравляет все и о котором... бессмысленно говорить...

Дарье, кажется, лучше. Несомненно одно — она находит удовольствие в обществе своей сестры и хотела бы удержать ее при себе[3]. Давеча они пять часов подряд провели в саду. Даже обедали там.

В политике мы чудовищным образом оконфузились. Кое-кому взбрело в голову требовать конгресса[4], когда никто его уже не хочет. Милейший князь[5], несмотря на свою гордую независимость, не посмел противиться этой блажи, за которой, в сущности, скрывается нежная забота о бедных немецких родственниках[6]. И нам воздали по заслугам: насмеялись над нами. В этой нашей глупейшей инициативе мы нашли лишь

одного союзника — Португалию, — и то, я полагаю, тут расстаралась госпожа Мойра. — Словом, вид у нас жалкий. Мы как животное, застрявшее в своем развитии на том этапе, когда особь еще не вычленяет себя из стада.

Я узнал от Дмитрия, что до дня его отъезда ты не получила еще ни одного № «Journal de St-Pétersbourg», между тем как подписная плата взимается с 1 июля. Это безобразие.

В Царском я увиделся наконец с графиней Орловой-Давыдовой, приехавшей из Ниццы, и она много расспрашивала меня о вас. У нее по-прежнему вид человека не от мира сего, хотя в иной она переходить вовсе не собирается.

Я все еще обретаюсь в большой гостиной. Камин готов... а засим — Господи, помоги, и т. д. — Напишу тебе в будущее воскресенье. Да хранит вас Бог.

88. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

31 июля 1866 г. Царское Село

Tsarskoïé-Sélo. 31 juillet

Ma chatte chérie, j'éprouve le besoin de t'écrire une lettre moins maussade que la dernière, bien que je suis sûr que tu n'y as pas pris garde, et que, p<ar> c<onséquent>, tu pouvais parfaitement bien te passer de cette réparation. Je me sens devenir de jour en jour plus insupportable, et la fatigue que j'éprouve à courir après tous les moyens de m'étourdir, pour masquer le grand vide qui est devant moi, n'ajoute pas peu à mon irritation habituelle. Dieu, qu'il y aurait de belles choses à dire là-dessus!

Hier je dînais chez Olympe Bariatinsky...[1] La pauvre femme, si achevée dans sa nullité, ne se doutait guères de l'impression qu'elle produisait sur moi. Et tout l'entourage était à l'avenant. Ah quelles sottes gens! Elles donneraient de l'ironie à une huître. Il y avait là surtout un petit diplomate autrichien qui est le modèle du genre...

Les lions du jour, en ce moment, ce sont les Américains[2]. Je vous renvoie pour les détails aux journaux, surtout à celui de St-Pétersbourg que vous ne recevez pas, bien que vous y soyez très positivement abonnées...

Je les verrai demain soir à Pavloffsk, et c'est même la raison qui a retardé ma rentrée en ville... Je suis très curieux de voir, comment sont faits les gens qui nous aiment... Cela me paraît plus curieux encore que leurs *monitors*[3] que tout le monde court voir à Kronstadt, et que j'irai voir aussi peut-être dans le courant de la semaine prochaine, en allant à Péterhoff, où il me tarde d'apprendre par Gortchakoff, lui-même, tout le détail de la sottise qu'ils ont faite...[4] Et c'est le cas de leur demander, à propos de sottise, *quand finira-t-elle*? Car toute leur manière d'agir ne saurait être qu'une sottise continue, grâce au point de départ complètement faux qu'ils ont adopté... Tout cela nécessite un renouvellement complet. Toute notre politique étrangère est comme la langue russe, parlée par ces messieurs, ce n'est que du français traduit... Il viendra un jour, j'espère, où l'on ne comprendra pas que de pareils types aient pu exister.

On ne sait rien encore quant à la date positive de la rentrée de la Cour à Tsarskoïé. Un voile religieux recouvre encore ces augustes mystères, mais on se permet de conjecturer que ce ne sera pas avant la moitié du mois... etc. etc.

J'ignore encore l'objet précis de la mission de Manteuffel[5], arrivé depuis trois jours, mais elle se laisse pressentir. S'il est vrai que Napoléon réclame les frontières de 1814, bien que ce soit *le minimum* de ce qu'il pourrait avoir à demander, cela ne laissera pas que de mettre le cabinet prussien dans un grand embarras, attendu qu'il y aurait autant d'inconvénients p<our> lui de refuser que d'accorder... Toute la situation de l'Europe n'est qu'un piège. La crise ne fait que de commencer. Elle est loin encore de son apogée...

Depuis quelques jours il fait assez beau, et par un rayon de soleil un peu chaud et un ciel pur les jardins de Tsarskoïé, gracieux et grandioses, sont vraiment très beaux à voir. On s'y sent dans un élément plus choisi... J'aime aussi les soirées à Pavloffsk où de la bonne musique remplace un sot parlage — sans exclure la chance de quelques rencontres, comparativement intéressantes...

L'autre jour, en venant ici, — c'était jeudi, — j'ai cru avoir persuadé Dmitry de venir me rejoindre à Pavloffsk avec son ami. — Kitty, de son côté, s'est mise en quatre pour l'engager à venir la

voir à Tsarskoïé. — Mais il paraît que l'ami n'a pas acquiescé à tous ces projets. Bref, ils n'ont pas laissé entamer leur fière indépendance... C'est prendre beaucoup trop de précautions contre une influence très peu envahissante... Rien d'absurde comme la jeunesse...

Je ne te parle plus de Daria. C'est une redite aussi fatiguante qu'inutile. Le fait est qu'à tout prendre elle est absolument dans le même état que celui où tu l'as vue, et qu'à présent, comme alors, le sentiment qu'elle vous inspire est mélangé de profonde pitié et d'une très vive impatience, car il est certain qu'il y a des moments où sous la pression de la maladie ce fond de personnalité extravagante, qui est en elle, s'étale avec un tel cynisme qu'il n'y a plus moyen de la supporter. La pitié fait place à un tout autre sentiment... Kitty s'acquitte de sa tâche avec beaucoup de résolution. Elle ne demande pas mieux que de jouer son rôle avec tout le soin et tout le zèle possible. Mais encore faut-il qu'il y ait au moins un spectateur dans la salle, et je suis, moi, ce spectateur unique... Je suis appelé à résoudre un problème moral très curieux: ce qui vaut mieux, d'un naturel qui se laisse aller à toutes ses pentes, ou d'une affectation contenue et aspirant au bien.

Ma chatte chérie. Voulez-v<ou>s que je vous dise un grand secret?.. Si je ne me plains pas de votre absence, si même au besoin je vous exhortais à la prolonger, croyez qu'il y a quelque mérite dans cette discrétion... ou plutôt, il y a cette conviction profonde que ma vie est vécue, et que je n'ai plus aucune raison d'être dans ce monde...

J'embrasse tendrement les deux Maries, mère et fille.

D<ieu> v<ous> garde.

Перевод:

Царское Село. 31 июля

Милая моя кисанька, ощущаю потребность написать тебе письмо, менее унылое, чем последнее, хотя ты, конечно, и думать о нем забыла и, следовательно, могла бы прекрасно обойтись без подобной компенсации. Я чувствую, что день ото дня становлюсь все несноснее, и усталость от беготни в



стремлении любым способом забыться, отвлечься от чудовищной пустоты, зияющей передо мной, немало способствует моему обычному раздражению. Боже, что хорошего можно после этого сказать!

Вчера я обедал у Олимпиады Барятинской...[1] Бедная женщина, столь законченная в своей ничтожности, не подозревала, какое впечатление она на меня производит. И все окружение было ей под стать. Что за несуразные создания! Какая-нибудь устрица и та потешалась бы, на них глядючи. Особенно выделялся там один маленький австрийский дипломат — чистейший образчик породы...

Герои дня в настоящую минуту — американцы[2]. За подробностями отсылаю вас к газетам, особенно к «Journal de St-Pétersbourg», которой вы не получаете, хотя совершенно определенно на нее подписаны.

Я увижу их завтра вечером в Павловске, ради чего и отложил свое возвращение в город. Мне очень интересно посмотреть, на что похожи люди, которые нас любят... Это представляется мне еще более любопытным, чем их *мониторы*[3], притягивающие массу зевак в Кронштадт, куда, может быть, и я загляну на будущей неделе по пути в Петергоф, где я хочу узнать от самого князя Горчакова все подробности совершенной ими глупости...[4] Вот повод спросить их, касательно глупости, *когда же она кончится*? Ибо вся их деятельность есть не что иное, как непрерывная глупость, проистекающая из того, что принятая ими отправная точка совершенно ошибочна... Тут требуется полное обновление. Вся наша иностранная политика подобна тому русскому языку, на котором говорят эти господа, — это лишь перевод с французского... Надеюсь, наступит день, когда будут недоумевать, как такое племя могло существовать.

Ничего еще не известно о дне возвращения двора в Царское. Священная завеса еще скрывает эту великую тайну, но позволяется предполагать, что это совершится не раньше середины месяца... и т. д. и т. д.

Я еще не знаю, в чем точно заключается миссия Мантейфеля[5], приехавшего три дня тому назад, но могу догадывать-

ся. Если правда, что Наполеон требует границ 1814 года, хотя это *минимум* того, что он мог бы потребовать, это поставит в весьма затруднительное положение прусский кабинет, потому что и отказ, и согласие для него одинаково неудобны... Вся Европа сейчас в капкане. Кризис только начинается. Он еще далек от своего апогея...

Несколько дней стоит довольно хорошая погода, и под ласковым солнцем и ясным небом сады Царского, приветливые и величественные, действительно прекрасны. Чувствуешь себя в каком-то особом мире... Я люблю также вечера в Павловске, где хорошая музыка заменяет глупую болтовню — не исключая возможности каких-нибудь довольно интересных встреч...

На днях, едучи сюда, — это было в четверг, — я думал, что мне удалось убедить Дмитрия побывать вместе с другом у меня в Павловске. — Китти, со своей стороны, всячески старалась склонить его навестить ее в Царском. — Но, по-видимому, друг отверг все эти проекты. Короче говоря, они не позволили посягнуть на свою гордую независимость... Слишком большое сопротивление столь мало на них оказываемому влиянию... Ничего нет нелепее молодежи...

Не пишу тебе больше про Дарью. Это столь же утомительное, сколь и бесполезное повторение уже сказанного. Дело в том, что, в общем, она совершенно в том же состоянии, в каком ты ее видела, и теперь, как и тогда, чувство глубокой жалости, возбуждаемое ею, смешивается с весьма сильным раздражением, ибо несомненно, что бывают минуты, когда под влиянием болезни заложенное в ней взбалмошно-эгоистическое начало обнажается с таким цинизмом, что становится невозможно ее переносить. Жалость уступает место совсем другому чувству... Китти самозабвенно выполняет все, что от нее требуется. Она даже находит удовольствие в том, чтобы со всевозможным старанием и рвением играть свою роль. Но все же нужно, чтобы в зале находился хотя бы один зритель, и этот единственный зритель я... Мне приходится решать очень любопытную моральную проблему: что ценнее — естественность, ни в чем себя не стесняющая, или наигранность, тщательно скрываемая и проникнутая желанием приносить пользу.



Милая моя кисанька. Хочешь ли ты, чтобы я открыл тебе большой секрет?.. Если я не жалуюсь на твое отсутствие, если я даже, смиряясь с необходимостью, порою убеждаю тебя его продлить, поверь, что в этом самоустранении есть некое достоинство... или, вернее, глубокое убеждение в том, что моя жизнь отжита и мне незачем оставаться на свете.

Нежно целую обеих Мари, мать и дочь.

Да хранит вас Бог.

89. А. Ф. АКСАКОВОЙ

16 августа 1866 г. Петербург

Pétersbourg. 16 août <18>66

Voici plusieurs jours que j'aurais dû, ma fille chérie, avoir répondu à ta lettre, mais j'ai employé tout ce temps à avoir la grippe qui m'hébétait complètement. — Certes, j'ai une extrême envie de vous revoir, ton mari et toi, et pour fixer mes résolutions, ou plutôt, mes irrésolutions à ce sujet, je n'attends que de savoir ce que toi, tu comptes faire. — La dernière fois que j'ai vu Daria, elle m'a prié très instamment de te dire de sa part qu'elle mettait trois cents roubles à ta disposition pour les frais de voyage, et que, p<ar> conséq<uent>, elle ne se laissait pas déranger par les raisons alléguées dans ta lettre, dans l'espoir de te voir lui arriver... Quant à moi, je tiens surtout à vous voir, et il m'est assez indifférent que ce soit ici ou là...[1]

Je ne te parlerai pas pour le moment de l'état de Daria[2], c'est un sujet sur lequel nous avons tout dit et qui est trop affligeant, p<our> admettre le rabâchage... J'ai vu hier son médecin Krassofsky qui prétend en dernier lieu avoir constaté une amélioration réelle — mais tous les médecins qui l'ont traitée se sont laissé aller aux mêmes illusions. Le seul symptôme, à mon avis, réellement consolant, mais qui est tout moral, c'est que maintenant son humeur est devenue plus sociable et qu'elle tient de plus en plus, p<ar> ex<emple>, à la présence de Kitty, au lieu de s'en trouver fatiguée, comme autrefois.

Revenons à toi. Je souffre beaucoup de l'état de gêne, où je vous sais, et du peu de chances qui s'offrent pour le moment de

vous voir sortir de cette impasse. Cela me fait doublement regretter les difficultés qui entravent jusqu'à présent la réussite du projet du journal en question, dont la réalisation aurait à tous les points de vue été si désirable...[3] aussi bien au matériel, comme au moral. En effet, je comprends, combien ton mari doit souffrir de n'avoir pas, dans les circonstances données, la parole sur les questions du jour, et jamais l'opinion qu'il représente n'a fait plus défaut qu'en ce moment-ci dans le concert de la presse... La crise du monde européen, en se compliquant et en s'aggravant, doit bientôt atteindre la Russie — les deux grandes dissolutions que nous avons à notre portée, l'Autriche et la Turquie, ne peuvent que s'activer en réagissant l'une sur l'autre. — Elles ne peuvent se résoudre que dans un chaos, dont on ne saurait préciser ni les limites, ni la durée. L'ingérence de l'étranger ne peut que le fomenter, sans le débrouiller. — La Russie seule, si elle avait la conscience d'elle-même, de son principe et de son droit, aurait le mot d'ordre de cette complication sans borne. Mais la pensée, qui dirige notre politique, n'en est pas encore arrivée à ce degré d'intuition qui fait reconnaître le *moi* du *non-moi*. Puissions-nous au moins, à défaut de l'intelligence consciente d'elle-même, avoir pour guide l'instinct animal, mais sûr, de la conservation personnelle. — Les symptômes ne sont pas précisément mauvais. En présence de la lutte qui ne tardera pas à s'engager entre les deux éléments constitutifs de l'Europe occidentale, la France et les peuples allemands, notre choix, je crois, est déjà fait. Nous serons pour la Prusse — le tout est de savoir, comment nous considérerons cette alliance et quelle est la part que nous nous y ferons... En effet, la seule considération qui doive nous décider en faveur de la Prusse, c'est que dans cette voie nous avons la chance à peu près certaine de rencontrer l'Autriche dans le camp opposé... Or l'Autriche, où va se poser et se décider la question de la race slave et de l'Europe orientale, c'est-à-d<ire> de l'avenir tout entier de la Russie, est le terrain p<ar> ex<cellence> qui appelle notre action. C'est là que doit porter tout notre effort, car là nous sommes personnellement en cause, et nous ne pourrions mieux utiliser les chances, que nous ménagera le duel occidental, pour nous établir solidement et carrément sur ce terrain par la reprise

de la Galicie et de la ligne des Carpates. — Voilà une situation où le *День*[4] aurait pu et dû répandre une vive lumière. — N'est-ce pas une chose vraiment déplorable que de voir la seule doctrine nationale, qui par ses dérivés alimente maintenant toute la partie sérieuse et sensée de la presse du pays, pour ainsi dire, dans œuvre...

Et sur ce je serre bien cordialement la main à ton mari et t'embrasse en attendant tes décisions.

Перевод:

Петербург. 16 августа <18>66

Милая моя дочь, вот уже несколько дней как я должен был бы ответить на твое письмо, но все это время я проболел грипом, который держал меня в состоянии полного отупения. — Конечно же, мне очень хочется свидеться с вами, и с тобой, и с твоим мужем, и для того, чтобы принять решение или, вернее, отбросить нерешительность, я должен только знать, что же намерена делать ты. — Когда мы в последний раз говорили с Дарьей, она настоятельно просила меня передать тебе, что выделяет в твое распоряжение триста рублей на дорожные расходы и, следовательно, отметает доводы, приведенные в твоем письме, надеясь вскорости видеть тебя у себя... Ну, а для меня главное повстречаться с вами, а здесь или там, мне все равно...[1]

Сейчас я не буду обсуждать с тобой здоровье Дарьи[2], ибо это тема давно нами исчерпанная и слишком грустная, чтобы к ней бесконечно возвращаться... Вчера я виделся с ее врачом, Красовским, который утверждает, что может наконец-то констатировать несомненное улучшение — но сколько ее ни лечило врачей, все точно так же обольщались. По-моему, единственный действительно утешительный симптом, хотя исключительно морального свойства, это то, что теперь она больше расположена к общению и что ей все приятнее и приятнее становится, например, общество Китти, прежде ее утомлявшее.

Однако вернемся к тебе. Меня очень огорчает ваша стесненность в средствах и то, что пока мало шансов выйти

из этого тупика. Поэтому я вдвойне сетую на обстоятельства, до сих пор препятствующие выпуску в свет газеты, издание которой было бы желательно во всех отношениях...[3] и в материальном, и в нравственном. Ведь я же понимаю, как в нынешних обстоятельствах должен страдать твой муж из-за невозможности высказаться по злободневным вопросам, и никогда еще отсутствие в слаженном хоре печати мнения, им представляемого, не ощущалось столь остро, как теперь... Кризис европейского мира, усложняясь и углубляясь, скоро достигнет России — два происходящих у нас под боком грандиозных распада, Австрии и Турции, неизбежно ускоряются под взаимным влиянием. — Оба они непременно завершатся хаосом, размеры и продолжительность которого трудно точно предсказать. Иностранное вмешательство лишь усугубит его, не распутав дела. — Только Россия, если бы она сознавала самое себя, свое предназначение и свое право, могла бы указать выход из этого крайне сложного положения. Но мышление, определяющее нашу политику, не достигло еще того уровня развитости, при котором *я* начинает отличать себя от *не я*. Так пусть бы мы, по крайней мере, за неимением у нас самосознания, слушались животного, но верного инстинкта самосохранения. — И тут есть кое-какие обнадеживающие симптомы. В преддверии битвы, которая должна вот-вот завязаться между Францией и германскими народами, т. е. между двумя основными силами Западной Европы, наш выбор, мне кажется, уже сделан. Мы примем сторону Пруссии — неясно только, как мы будем понимать этот союз и какую роль себе в нем отведем... В действительности, единственное соображение, которое должно бы склонить нас в пользу Пруссии, состоит в том, что таким путем мы почти наверняка противопоставим себя Австрии... Австрия же, где сейчас будет ставиться и решаться вопрос славянства и Восточной Европы, т. е. вопрос будущего России, это та область, где нам прежде всего надлежит действовать. Именно сюда должны быть направлены все наши усилия, ибо здесь у нас личный интерес, и мы бы наилучшим образом вос-



пользовались дракой на Западе, если бы не упустили предоставляющегося нам шанса крепко и надежно обосноваться в этой области, возвратив себе Галицию с цепью Карпат. — Вот ситуация, на которую «День»[4] мог бы и должен был бы пролить яркий свет. — Не прискорбно ли, что единственная национальная доктрина, заимствованиями из которой питается теперь вся серьезная и разумная часть нашей печати, так сказать, замурована...

Засим от души жму руку твоему мужу и обнимаю тебя в ожидании твоего решения.

90. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

3 сентября 1866 г. Петербург

Петербург. 3 сентяб<ря 18>66

Что с вами делается, друг мой Алек<сандр> Ив<аныч>? и что, особливо, делается с Marie? Ваше упорное молчание меня смущает и тревожит. Я невольно объясняю его усиленным нездоровьем Marie, а это самое грустное объяснение. — Я знаю от Делянова, что он уже, вслед за вашим письмом, известил вас по телеграфу о благоприятном решении министра, и следственно теперь не предстоит никаких препятствий к вашему переселению[1]. — Когда же вы полагаете приступить к делу? Вот что я очень желал бы знать положительно... Чтобы знать, когда, собственно, мне надо будет начать о вас тревожиться, т. е. все-таки за Marie, перемещения которой при данных условиях я столько же желаю, сколько и опасаюсь. — Надеюсь, что расставание ваше с Катк<овым> и Леонт<ьевым> будет мирное и любовное и что они примирятся, наконец, с мыслию вашего отпадения, как они ни старались выставить это *отпадение* в свете вашего окончательного нравственного *падения*, что было крайне наивно. — Есть же минуты страсти, когда и умные, и неумные люди становятся совершенно под один уровень.

В политическом мире теперь минутное затишье — скоро ли разразится буря и где? Это довольно трудно решить. Я не верю твердой решимости Наполеона возбудить во что бы ни

стало восточный вопрос, да если бы он и хотел этого, то он не найдет сообщников, а без сообщников он ничего не предпримет. *Наше* положение улучшилось. Нашими *правильными* отношениями к Пруссии мы точно усвоили себе большую свободу действия.

Читали ли вы стихи Вяземского на Каткова?.. Здесь все друзья князя огорчены этою неуместною выходкою, и вот вам несколько строк, определивших экспромтом мое впечатление по этому случаю...[2] Вы можете их даже напечатать, где знаете, но только без подписи моего имени, а просто с инициалами *Ф. Т.*

Господь с вами.

91. И. С. АКСАКОВУ

7 октября 1866 г. Петербург

Петербург. 7 октября <18>66

Благодарю вас, любезнейший Иван Сергеич, за добрые вести[1]. Мало вестей, которые могли бы порадовать меня более этих... Богам, может быть, приятно смотреть на человека, борющегося с несчастьем, но для нас, простых смертных, самое отрадное зрелище — это человек, действующий по призванию. — Впрочем, и тут без борьбы не обойдется... без этой упорной, нескончаемой борьбы с человеческою глупостью и предубеждениями...

Вы возвращаетесь к вашему делу в критическую минуту... На нас, по-видимому, опять нашел какой-то стих, слишком нам известный, периодически повторяющийся припадок самоубийственной мономании — авось либо и теперь повторится также и то, что мы так часто испытывали: *не бывать бы счастию, да несчастье помогло...* А какой-нибудь серьезной беды нам не избежать в близком будущем. В правительственных сферах, вопреки осязательной необходимости, все еще упорствуют влияния, отчаянно отрицающие Россию, живую, историческую Россию, и для которых она вместе и соблазн, и безумие... И чем это отрицание бессильнее и нелепее, ввиду все грознее и грознее наступающей



действительности, тем оно становится ожесточеннее... Здесь теперь случается слышать от очень влиятельных господ фразы вроде следующих: «Occupons-nous de nos affaires à l'intérieur, et crachons sur toute cette canaille de chrétiens d'Orient»* или, говоря о том, что происходит в Галиции: «De quel droit empêcherions-nous l'Autriche de faire chez elle ce que nous faisons chez nous?»** — Все это прекрасно... но есть, слава Богу, на свете люди, называемые *поляками*, и эти-то люди — благодетели наши — не потерпят и теперь, чтобы наш высокообразованный политический кретинизм, даже с некоторою примесью внутренней измены, мог окончательно завладеть нами.

Приезжайте поскорее, жду вас с нетерпением, вас и жену вашу, и обоих обнимаю. — Препятствий со стороны власти для вашего издания не предвижу — не то чтобы *вас* любили, но Каткова очень ненавидят.

Ф. Т.

92. Е. К. БОГДАНОВОЙ

16 октября 1866 г. Петербург

Dimanche. 16 octobre

Le pauvre Mr Tutchef, mon ami intime, m'a chargé de vous informer, Madame, que, son mal s'étant exaspéré dans la nuit, il est décédé après une courte agonie, entre 5 et 6 heures du matin. — Par un acte de sa dernière volonté le défunt vous institue, Madame, légataire d'une bouteille de crême et d'une livre de beurre, en vous priant, Madame, de vouloir bien en retour lui accorder un affectueux souvenir...

La levée du corps se fera dans la soirée, et il sera infailliblement acheminé vers la maison *Boutourline*[1].

X. X.

---

* «Давайте заниматься нашими внутренними делами, и наплевать нам на весь этот восточно-христианский сброд» (*фр.*).

** «На каком основании мы стали бы мешать Австрии делать то, что сами делаем у себя?» (*фр.*)

Перевод:

Воскресенье. 16 октября

Несчастный г-н Тютчев, мой закадычный друг, поручил мне известить вас, сударыня, что, не снеся произошедшего ночью обострения болезни, он скончался после короткой агонии между 5 и 6 часами утра. — Своим последним волеизъявлением покойный назначает вас, сударыня, наследницей бутылки сливок и фунта масла, умоляя вас, сударыня, любезно отплатить ему за это доброй памятью...

Вынос тела состоится вечером, и оно будет доставлено прямёхонько к дому *Бутурлина*[1].

X. X.

93. А. Ф. АКСАКОВОЙ

21 ноября 1866 г. Петербург

Pétersbourg. 21 n<ovem>bre <18>66

Merci, ma chère Anna, de la bonne nouvelle que tu me donnes[1]. Puisse-t-elle se vérifier, etc. ... Je te connais assez pour comprendre ce que tu éprouves, et quel rajeunissement intérieur tu dois sentir dans tout ton être... Que Dieu te protège comme il l'a fait jusqu'à présent...

Je suis peiné d'apprendre que la souscription pour le journal ne marche pas à souhait[2]. Comment se fait-il que jusqu'à présent je n'en ai trouvé le prospectus que dans la seule *Gazette de Moscou*? et pourquoi les journaux de Pétersbourg ne l'ont-ils pas encore reproduit?

Ce que moi et tous les amis de ton mari, nous désirons le plus vivement dans l'intérêt de son journal, c'est que la pensée qui l'inspire soit parfaitement comprise aussi bien du public qu'en *haut lieu*. Nous autres, nous savons bien que de toutes les tendances qui se partagent la presse du pays, sa tendance, à lui, précisément parce qu'elle est la plus nationale, est, par là même, la plus réellement conservative, la plus *sincèrement* dévouée au principe même de l'autorité en Russie. Aucune autre opinion, même des plus agréables au pouvoir, n'acceptera ce principe avec une franchise



plus convaincue. Voilà ce qui n'est pas un secret pour les gens qui pensent et qui sont de bonne foi. Mais ces gens-là, chez nous comme partout ailleurs, ne forment qu'une minorité, quant au gros du public, la forme pour lui l'emporte toujours sur le fond, et il est parfaitement incapable de reconnaître la pensée du fond, la pensée persistante, à moins qu'on ne la lui rappelle en toutes lettres à travers les hasards nombreux de la rédaction... C'est donc à diminuer le nombre de ces *hasards* qu'il faudrait appliquer tous ses soins... La Russie est certainement le pays où il se fait le moins de mal de *parti pris*, et où il s'en fait le plus par malentendu et inintelligence... et il se passe presque tous les jours des choses vraiment incroyables dans ce genre-là...

Je te quitte en te remerciant encore une fois de la bonne nouvelle, je compte vous arriver dans une quinzaine de jours. — Mille amitiés à ton mari.

Ф. Тютчев

Перевод:

Петербург. 21 ноября <18>66

Спасибо, милая Анна, за отрадную новость, которую ты мне сообщаешь[1]. Только бы она подтвердилась, и т. д. ... Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы представлять себе, что ты сейчас чувствуешь и какое внутреннее обновление ты должна ощущать всем своим существом... Да хранит тебя Бог, как и прежде...

Я огорчен, что подписка на газету идет не так, как хотелось бы[2]. Почему до сих пор объявление о ней опубликовано только в одних «Московских ведомостях»? и почему петербургские газеты его все еще не перепечатали?

Я, как и все друзья твоего мужа, горячо желаю, в интересах его издания, чтобы идеи, коими он вдохновляется, были бы до конца поняты как публикой, так и в *высших сферах.* Мы хорошо знаем, что из всех общественных направлений, представленных в русской печати, его направление носит наиболее ярко выраженный национальный характер и именно потому является наиболее реально консервативным, наи-

более *искренне* преданным самому принципу власти в России. Никакая другая доктрина, даже из самых угодных власти, не будет исповедовать этот принцип с большим чистосердечием. Для людей мыслящих и честных это не секрет. Но у нас, как и везде, такие люди составляют меньшинство, для широкой же публики форма всегда важнее содержания, а потому она совершенно не способна воспринять мысль глубинную, мысль твердую, если только редакция не будет ей без конца ее разжевывать, рискуя при этом столкнуться с массой неожиданностей. Следует, стало быть, приложить все усилия, чтобы свести к минимуму число подобных *неожиданностей*... Ведь в России зло очень редко творится *умышленно*, гораздо чаще — по недоразумению и недомыслию... и почти каждый день происходят поистине невероятные случаи в этом роде...

Прощаюсь с тобой, благодарю еще раз за приятную новость и надеюсь недели через две вас увидеть. — Дружески кланяюсь твоему мужу.

Ф. Тютчев

94. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

25 ноября 1866 г. Петербург

<Pétersbourg>*. Vendredi. 25 n<ovem>bre <18>66

Hier le télégraphe avait dû te porter, ma bonne et chère Kitty, mes félicitations et mes vœux[1], mais on m'a renvoyé ma dépêche, en me faisant dire que le télégraphe ne fonctionnait plus. Il paraît qu'il a attendu le jour de la Ste-Catherine pour foutre cette niche au public. — Eh bien, sauf le retard, j'aime mieux me servir de la voie ordinaire, pour te dire, d'une manière moins lapidaire, tout ce que j'ai au fond du cœur de tendre affection, de sérieuse estime et de profonde sympathie pour vous, ma fille chérie. Tout ce que tu me dis dans ta dernière lettre de la force vivifiante, que l'âme puise dans une résignation

* В автографе: Moscou. Письмо писалось Тютчевым из Петербурга в Москву, чем, по-видимому, и объясняется его описка.

volontaire, est certainement bien vrai, et cependant, te l'avouerai-je, moi, pour ma part, je ne saurai me résigner à ta résignation, et tout en admirant la belle pensée de Joukofsky, qui a dit quelque part: «Есть в жизни много прекрасного и кроме счастия»[2], je ne cesse de faire des vœux pour toi dans le sens d'un bonheur qui exige moins d'efforts...

Et cependant j'ai là, sous les yeux, l'exemple de la pauvre Daria qui prêche bien haut, par le contraste, l'action salutaire de la résignation spontanée. Ce *contraste*, d'ailleurs, m'a souvent frappé, et ce n'est d'ordinaire que dans les œuvres de fiction qu'on en trouve d'aussi marqués...

Ici on est encore sous le coup de la catastrophe de *Milioutine*[3]. Il paraît que la vie sera sauvée, mais que l'homme est perdu, l'homme public au moins, et c'est une bien grande perte, surtout dans le moment actuel. Je ne sais ce que va sans lui devenir la question polonaise, cette question de vie et de mort pour la Russie, grâce aux influences qui vont se donner carrière maintenant. — La pierre de Sisyphe va de nouveau *redégringoler*[4], et plaise à Dieu qu'elle ne finisse par nous écraser.

Tcherkassky[5] est arrivé ici, je ne l'ai pas encore vu...

Mes plus tendres amitiés aux Aksakoff, mari et femme, auxquels j'aurais bien des choses à dire, s'il ne fallait pas les écrire.

Que Dieu leur soit en aide pour mener à bien tout ce qu'ils attendent de l'avenir et qu'un double succès vienne couronner leurs efforts...

Dis à mon frère que je compte toujours passer les fêtes à Moscou.

Au revoir donc, à bientôt, ma fille chérie, et que le Ciel v<ou>s protège.

Перевод:

<Петербург>. Пятница. 25 ноября <18>66

Вчера телеграф должен был принести тебе, моя милая, славная Китти, мои поздравления и пожелания[1], но телеграмму мне вернули, сказав, что телеграф перестал действовать. Он словно ждал дня св. Екатерины, чтобы сыграть с

людьми эту злую шутку. — Ну что ж, хоть поздравление теперь и опоздает, я с большей радостью пользуюсь обычным способом, чтобы выразить в менее сжатой форме всю заключенную в моем сердце нежную привязанность, все мое безграничное уважение, всю глубокую к тебе симпатию, милая моя дочь. Все, что ты мне говоришь в последнем письме о живительной силе, которую черпает душа в сознательном смирении, конечно, весьма справедливо, но что до меня, то признаюсь тебе, я не в силах смириться с твоим смирением и, вполне восхищаясь прекрасной мыслью Жуковского, который где-то сказал: «Есть в жизни много прекрасного и кроме счастия»[2], — не перестаю желать тебе счастья, которое требовало бы от тебя меньших усилий...

А между тем у меня перед глазами пример бедной Дарьи, которая, в отличие от тебя, во всеуслышание проповедует спасительную силу смирения бессознательного. Этот *контраст* меня, кстати, часто поражал, ведь обычно только в романах он бывает так ярко выражен.

Здесь всё еще находятся под впечатлением несчастья, постигшего *Милютина*[3]. Жизнь ему как будто спасут, но как личность, по крайней мере как общественный деятель, он погиб, а это большая потеря, особенно в данный момент. Не знаю, как будет без него решаться польский вопрос, являющийся для России вопросом жизни или смерти из-за влияний, которые теперь проявят себя. Сизифов камень может снова *покатиться вниз*[4], и дай-то Бог, чтобы он в конце концов не раздавил нас.

Сюда приехал Черкасский[5], я его еще не видел...

Передай мои сердечные приветствия Аксаковым, мужу и жене, я многое мог бы им сказать, если бы не приходилось это делать письменно.

Да поможет им Бог довести до благополучного конца все, что они задумали на будущее, да увенчаются их общие усилия двойным успехом.

Передай моему брату, что я по-прежнему намереваюсь провести праздники в Москве.

До свиданья же, до скорого, милая дочь, храни тебя Бог.

95. А.Н. МАЙКОВУ

Не позднее 27 ноября 1866 г. Петербург

Воскресенье

Не пожалуете ли вы сегодня кушать к нам, дорогой мой Аполлон Николаевич. Дочь моя, Marie, жаждет вас видеть и ставит мне в непременную обязанность вознаградить ее вами за все те балы и спектакли, в которых она уже не участвует. — Приезжайте и привезите с собою возвеличенного Карамзина и исправленного Раскольника. Если же, паче чаянья, вам нельзя *сегодня*, то будем ждать вас завтра, в понедельник, к обеду.

Вам душевно преданный

Ф. Тютчев

96. П.В. АННЕНКОВУ

30 ноября — 1 декабря 1866 г. Петербург

Из пяти билетов, переданных мною графине Блудовой, она благоволила мне уступить один, прося доставить вам по означенной цене прилагаемые **5** р<ублей> с<еребром>. Вы просили у меня стихов для вашего вечера[1], почтеннейший Павел Васильевич, посылаю вам несколько беглых незатейливых вирш, предоставляя их в совершенное ваше распоряжение.

Душевно преданный

Ф. Тютчев

97. П.В. АННЕНКОВУ

2–3 декабря 1866 г. Петербург

Вот как можно бы изменить последний стих:

Царю быть другом до конца
И до конца служить России.

Впрочем, еще раз повторяю вам, почтеннейший Павел Васильич, все это предаю в ваше полное распоряжение.

Ф. Тютчев

98. П. В. АННЕНКОВУ

3 декабря 1866 г. Петербург

Суббота

Майков предлагал мне свою поправку. Но она, по-моему, хуже моей. Что такое *искренний сын* Р<оссии>? Все это не по-русски. Главное тут в слове *служить*, этом, по преимуществу, русском понятии — только *кому* служить?

Мне, право, смешно и совестно занимать вас такими пустяками.

Ф. Тютчев

99. А. Н. МАЙКОВУ

16 декабря 1866 г. Петербург

Пятница. 16 дек<абря>

Спешу вас уведомить, дорогой мой Аполлон Николаич, что императрица желает прочесть вашего «Странника»[1]. Я это узнал от Авроры Карловны Карамзиной, бывшей Демидовой, и потому я советовал бы вам снести к ней вашу рукопись, которую она и доставит по принадлежности. — Живет же она в доме Демидова, в Большой Морской — только не в большом доме, а в маленьком, что возле.

Вам душевно пред<анный>

Ф. Тютчев

100. А. Ф. АКСАКОВОЙ

20 декабря 1866 г. Петербург

Pétersbourg. 20 décembre 1866

Ma fille chérie. Profitant de l'expérience, c'est par une occasion particulière que je vous écris. On parle toujours mieux quand on sait qu'il n'y a personne qui vous écoute aux portes.

Ces lignes d'ailleurs sont plutôt à l'adresse de ton mari qu'à la tienne. Au moment où son journal va paraître[1], je voudrais le mettre au fait de la situation du moment, au moins en ce qui a rapport à lui. — Cette situation n'est pas du tout aussi sombre



qu'il pourrait le croire, et il n'y a pas lieu, selon moi, à se laisser aller à des appréhensions exagérées.

Je conviens qu'après l'incident des lettres interceptées[2] et de ce qui s'en est suivi, il y aura nécessité à user d'une plus grande circonspection, mais j'ai la presque certitude que, pour éviter les conflits, il suffira qu'Аксаков mette dans tout son jour ce qui est le fond même de sa nature — *sa loyale équité*, et que ce fond-là, bien et dûment constaté, réagisse un peu sur la forme. Ce qui exaspère le pauvre *Valoujeff* dans la polémique de Katkoff[3], c'est qu'il ne le croit pas sincère. Il ne peut pas se persuader qu'un homme puisse sérieusement porter contre lui des accusations dans le genre de celles dont le poursuit Katkoff, et c'est de la meilleure foi du monde que *Valoujeff* se croit le martyr glorieux de son attachement aux grandes vérités de la civilisation, telles que la liberté de conscience, le respect de la propriété, etc. etc. C'est énormément niais, mais c'est ainsi. Ce qui serait aussi habile qu'utile, ce serait d'admettre toutes ces prétentions, sauf à lui expliquer que ce n'est pas les principes qu'on lui conteste, mais bien l'application qu'il prétend en faire par suite de la plus complète inintelligence du terrain historique sur lequel la question se débat, et une pareille explication calme et aussi peu personnelle que possible serait assurément plus efficace que toutes les catilinaires[4] de Katkoff...

Nous ne serions assez nous répéter qu'une direction à contresens dans les idées doit amener dans l'ordre des faits des résultats ayant tout le caractère d'une trahison préméditée... Surtout à présent où l'on *cesse d'être* Russe pour être *cosmopolite*, mais bien pour *devenir forcément et fatalement Polonais...*

Assurément, la fatalité des derniers événements est immense. Mais il ne faudrait pas croire que maintenant tout est perdu sans ressource. — D'abord le système adopté a pour lui la force des choses, et lors même qu'ici on voudrait s'en déssaisir (ce qui n'est pas du tout le cas, au moins quant à l'Empereur) nos ennemis nous obligeraient de le garder et d'en poursuivre l'application. Nos ennemis, les Polonais surtout, sont les véritables pionniers de notre avenir. — Il y a dans le moment actuel un double fait qu'on ne saurait assez remarquer et qui prouve bien l'inanité de

l'action humaine dans l'histoire — ce double fait le voici: c'est d'une part la France, dont la politique inquiète lui crée à sa porte deux organismes puissants, destinés à grandir à ses dépens, et d'autre part la Russie, avec deux immenses dissolutions sur ses frontières, mises là tout exprès pour solliciter son développement... et ce double résultat, réalisé en sens contraire des efforts de chacune de ces deux puissances[5].

Nous sommes ici en train de faire une démonstration en faveur des Candiotes[6], et bien que la forme en soit par trop occidentale, — il s'agit d'un grand bal à l'Assemblée de la Noblesse sous les auspices de l'Impératrice, — le fond, cette fois, corrigera la forme... J'espère d'ailleurs que ce sera un signal donné à toute la Russie et qui sera accepté par elle...

Mais je suis pressé d'interrompre ici mes écritures. On vient chercher ma lettre. — Je n'ai que le temps de te prier de me donner des nouvelles précises de l'état de ta santé, dont les anomalies m'inquiètent un peu... beaucoup. Je persiste dans la résolution d'aller vous voir, mais ces horribles froids m'effraient pour le moment.

Mille tendres amitiés à ton mari. — Que Dieu vous garde... Je vous recommande le porteur de la présente un Mr Ведров, homme bien intentionné et qui m'est attaché.

T. Tutchef

Перевод:

Петербург. 20 декабря 1866

Моя милая дочь. Наученный опытом, пишу вам с оказией. Свободнее говорится, когда знаешь, что под дверями тебя никто не подслушивает.

Впрочем, эти строки скорее адресованы твоему мужу, чем тебе. В момент, когда его газета готовится к выпуску[1], мне хотелось бы познакомить его с нынешним положением дел, по крайней мере, с тем, что непосредственно до него касается. — Положение это вовсе не так безнадежно, как ему, возможно, кажется, и, по-моему, нет никаких оснований для чрезмерной тревоги.

Согласен, что после случая с перехватом писем[2], имевшего известные последствия, нужно будет вести себя более осмотрительно, но я почти уверен, что любых конфликтов удастся избежать, если только Аксаков в полной мере проявит то, что составляет самую сущность его натуры — *свою деликатную беспристрастность*, и если эта сущность, должным образом выказанная, немного повлияет на форму. Бедняга *Валуев* злится на Каткова[3] именно потому, что не верит в его чистосердечие. Он не представляет себе, как это можно всерьез выдвигать против него те обвинения, которыми изводит его Катков, и самым искренним образом считает себя славным мучеником, страдающим за свою приверженность великим ценностям цивилизации, таким, как свобода совести, уважение к частной собственности и т. д. и т. п. Это ужасно глупо, но это так. Было бы и политично, и полезно признать все эти притязания, но вместе с тем объяснить ему, что оспариваются не его принципы, а то, как он, вследствие полного незнания им исторической почвы, на которой дебатируется вопрос, пытается их применять, и подобное объяснение, спокойное и к тому же не задевающее личности, было бы, безусловно, более действенным, чем все катилинарии[4] Каткова.

Мы неустанно должны себе повторять, что следование какой-нибудь идее вопреки смыслу обязательно приводит на деле совершенно к тому же результату, что и сознательная измена... В особенности сейчас, когда *перестают быть* русскими, чтобы стать *космополитами*, а вместо этого *неизбежно, фатально становятся поляками...*

Безусловно, последние события по большей части фатальны. Однако не следует думать, что все теперь безвозвратно потеряно. — Прежде всего, принятая система поддерживается силой вещей, и даже если бы кто-нибудь у нас и хотел от нее отказаться (а этого и в мыслях нет, по крайней мере, у государя), наши враги вынудили бы нас сохранять ее и применять. Наши враги, особливо поляки, являются истинными творцами нашего будущего. — В настоящий момент действительность предоставляет нам двойное и все-таки недостаточно принимаемое во внимание доказательство тщетности че-

ловеческих усилий в истории — и вот каково это двойное доказательство: с одной стороны, Франция, чья суетливая политика создает у нее под боком два мощных организма, которым суждено разрастаться за ее счет, и с другой стороны, Россия, у чьих границ происходят два грандиозных распада, призванных способствовать ее развитию... и этот двойной результат противоположен тому, чего добивается каждая из двух упомянутых держав[5].

Мы здесь устраиваем демонстрацию сочувствия кандиотам[6], и хотя по форме она будет чересчур западной, — речь идет о большом бале в Дворянском собрании под покровительством императрицы, — суть на сей раз смягчит форму... Надеюсь, к тому же, что она послужит сигналом, который отзовется во всей России...

Но я вынужден прервать на этом свое письмо. За ним пришли. — У меня только и остается минутка, чтобы попросить тебя подробнее писать мне о своем состоянии, необычность которого меня немножко... сильно тревожит. Я по-прежнему полон решимости приехать к вам, но пока меня пугают ужасные холода.

Шлю самый дружеский привет твоему мужу. — Храни вас Бог... Рекомендую вам подателя сего письма, г-на Ведрова, человека благожелательного и ко мне расположенного.

Ф. Тютчев

101. А.М. ГОРЧАКОВУ

29 декабря 1866 г. Петербург

Jeudi

Inutile de vous dire, mon Prince, combien j'ai été contrarié de l'honneur inopportun qui vient me frustrer de votre invitation...[1] Veuillez, de grâce, faire parvenir cet aveu à qui de droit...[2] Je puis, n'est-ce pas, compter sur un prochain dédommagement? — mais pas pour demain, toutefois, dont je ne puis plus disposer...

Me permettriez vous, mon Prince, de vous exprimer un vœu? — Plus je réfléchis à la pièce si remarquable, dont vous avez bien voulu me faire la lecture ce matin, plus je me persuade de



Федор Иванович Тютчев. Петербург. 1867.
Фотография С. Левицкого. Отпечаток, сделанный самим фотографом в 1886 г. с оригинального негатива



Егор Петрович Ковалевский. Петербург. 1856.
Фотография С. Левицкого



Дмитрий Николаевич Блудов. Петербург.
Начало 1860-х гг. *Фотография*



Антонина Дмитриевна Блудова. Петербург.
Конец 1860-х гг. *Фотография К. Бергамаско*



Александр Михайлович Горчаков. 1876.
Худ. Н. Богатский



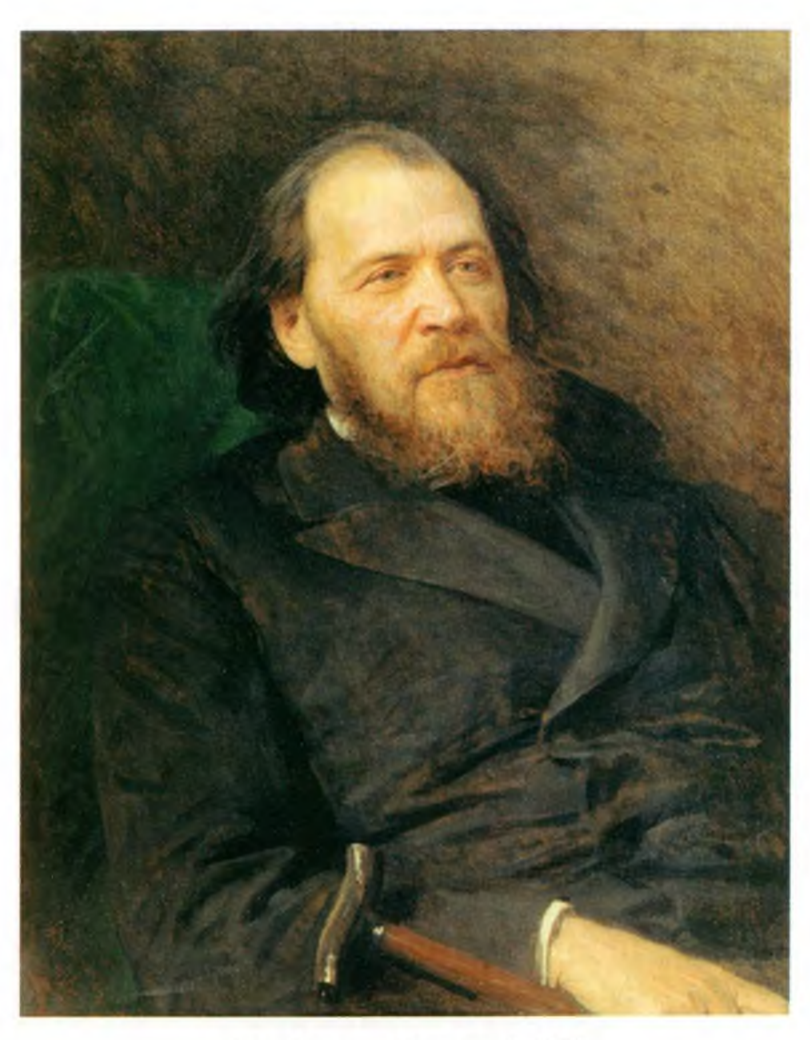
Иван Сергеевич Аксаков. 1865.
Фотография Г. Деньера



Юрий Федорович Самарин. Петербург.
Репродукция с фотографии 1860-х гг.,
ателье «Везенберг и К°» 1880–1890-е гг.



Аполлон Николаевич Майков. 1863–1864.
Фотография М. Конарского



Яков Петрович Полонский. 1875.
Худ. И. Крамской



Александр Иванович Георгиевский.
1880-е гг. *Фотография*



Мария Александровна Георгиевская.
Конец 1870-х гг. *Фотография*

quelle utilité et de quelle importance elle serait pour nous, si elle était rendue publique... Il ne faut pas s'y tromper... Cette pièce a une bien autre portée que celle d'un acte diplomatique. Elle touche au fond même de notre situation vis-à-vis de l'Europe, et elle le fait d'une manière admirable...[3] En même temps qu'elle donnerait une grande satisfaction au sentiment national, elle ne manquerait pas de nous rallier tout ce qu'il y a de plus éclairé et de plus sagement libéral dans les tendances de l'opinion à l'étranger contre notre véritable *ennemi personnel* qui est la Cour de Rome — aujourd'hui, comme toujours...

Et puis — pourquoi ne le dirai-je pas? — cette publication ne ferait qu'ajouter à l'autorité de votre influence personnelle qui est — dans le moment donné — notre force la plus réelle et la plus efficace vis-à-vis de l'étranger.

De grâce, mon Prince, pensez-y.

Mille hommages.

Ф. Тютчев

Перевод:

Четверг

Нечего и говорить вам, князь, как я был раздосадован несвоевременной честью, лишившей меня удовольствия явиться на ваш зов...[1] Соблаговолите, умоляю вас, передать это признание особе, до коей оно касается...[2] Я ведь могу, не правда ли, рассчитывать на то, что этот ущерб будет мне вскорости возмещен? — но только не завтра, так как завтрашним днем я уже не располагаю.

Разрешите ли вы мне, князь, высказать вам одно пожелание? — Чем больше я думаю о том замечательном документе, который вы изволили прочесть мне сегодня утром, тем более осознаю, насколько полезно и важно было бы для нас предать его гласности... Не следует заблуждаться... Этот документ — не просто дипломатический акт. Он раскрывает самую суть нашего положения по отношению к Европе, и раскрывает великолепно...[3] Его обнародование не только дало бы повод для национальной гордости, но и непременно побудило бы все,

8 Зак. 7509

что есть наиболее просвещенного и разумно либерального в течениях зарубежной мысли, объединиться с нами против нашего поистине *заклятого врага*, каковым является Римская курия — ныне и присно...

А потом — зачем скрывать? — обнародование это еще укрепило бы ваш личный авторитет, который — в данный момент — есть самая реальная и самая действенная наша сила в противостоянии с заграницей.

Бога ради, князь, подумайте об этом.

Усердно кланяюсь.

Ф. Тютчев

102. И. С. АКСАКОВУ

5 января 1867 г. Петербург

С.-Петерб<ург>. 5-ое генваря <18>67

Поздравляю вас от души с появлением «Москвы». Пошли ей Господь Бог долгое, долгое — и если не совершенно мирное, то, по кр<айней> мере, не слишком бурное житие[1]. Созвездия довольно благоприятны — новый председатель Совета Гл<авного> упр<авления> *Похвиснев* оказывается человеком рассудительным и самостоятельным[2]. С этим можно будет жить.

По делам *внешней политики* сверх того, что вам известно из газет, особенно интересного сообщить вам не имею, кроме одного факта, о котором я узнал только вчера, — это предложение, сделанное Бейстом, о пересмотре, в нашу пользу, Парижского трактата[3]. Не думаю, чтобы эта выходка была бы вызвана нами, — и желательно очень, чтобы, нашего достоинства ради, мы не придавали ей особенного значения. Мы не можем и не должны признавать за Европою права определять для России, какое место ей принадлежит занять на Востоке. — По несчастию, мы этого и сами, в собственном нашем сознании, определить не умеем — не только в правит<ельственной> среде, но даже и в печати. И вот почему статья Соловьева о Восточном вопросе — будь она чем-либо другим, как не выражением его личного мнения, — мне показалась бы



крайне удовлетворительною[4]. — Нет, далеко не таковы отношения России к Греко-Славянскому миру. Тут дело не в одном сопоставлении частей (juxta positio), а в живой, взаимной, органической связи одного целого. — Вообще пора бы нашей печати, как силе чисто нравственной, менее дипломатически относиться к вопросу — и, пользуясь своею *фактическою* безответственностью, прямо и положительно заявить исторический лозунг всего этого дела.

На днях вы прочтете в «J<ournal> de St-P<étersbourg>» наш ответ на обвинительный акт Римской курии против нас[5].

Нельзя довольно сочувствовать высказанной вами истине, что, в наше время, главная ответственность лежит на обществе, а не на правительстве — в этом заключается целое направление, и очень желательно, чтобы «Москва» проводила его как можно более последовательно...[6]

103. И. С. АКСАКОВУ

8 января 1867 г. Петербург

Петерб<ург>. 8 генваря 1867

Теперь я, кажется, в состоянии передать вам с большою достоверностию впечатление, производимое вашею «Москвою» на разумное большинство здешней публики, — оно в *высшей степени благоприятное*. Только те, которые рассчитывали на скандал, чувствуют себя несколько озадаченными.

Что особенно порадовало всех здравопонимающих — это — при неизменности направления — для многих неожиданная *безжелчность* тона. В данных обстоятельствах — это сила.

И в самом деле — прежняя резкость тона была бы теперь сущим анахронизмом. То, что прежде называлось славянофильскою идеею, сделалось теперь — силою вещей — общим достоянием, она, т<ак> ск<азать>, распустилась в действительности... Не странно ли бы было сохранить за нею, в изложении, ту запальчивую исключительность и нетерпимость, на которые вызывали ее прежние отношения. Да и притом сто́ит только привести в сознание ту историческую минуту, что мы теперь переживаем, — если нельзя еще сказать:

«Annibal ante portas»*[1], — не подлежит, однако, сомнению, что день великого столкновения все ближе и ближе.

Хотя бы даже и затянулся еще, на несколько времени, восточный вопрос, но *мирно* он ни в каком случае разрешиться не может[2]. — Был ли бы какой смысл, ввиду предстоящих событий — перед лицом наступающего неприятеля, — заводить из-за пустяков споры и ссоры в собственном лагере?

Мы имеем теперь полную возможность весь нам присущий оппозиционный элемент обратить с большою разумностию против наших настоящих, несомненных противников. Тут есть где расходиться полемическому задору и над чем вдоволь испробовать свою руку... И вот почему тон, усвоенный «Москвою», сказался всем вполне соответственным тому, чего так логично-настоятельно требует данная минута.

Да и как, при несколько трезвом, спокойном взгляде на окружающую среду, не убедиться, что у нас — в обществе ли, в правительстве ли — все, еще идущее наперекор национальному стремлению, есть не что иное, как недоразумение, несознательность, просто отсталость, что все наши Европейцы — вне всякой действительности и скоро очутятся в такой среде, что даже и в виде призраков им нельзя будет продолжать свое существование и они просто испарятся. Вот почему, чтобы придать им какое-либо серьезное действительное значение, надобно прибегать, как, напр<имер>, Катков, к самым фантастическим ухищрениям. — Я нисколько не отрицаю возможной их зловредности — и даже очень значительной, — но этой зловредности по неразумию следует противудействовать не катилинариями, даже не сарказмом, а спокойным, по возможности, и разумным разрешением дела.

Все это, я знаю, как оно ни кажется просто до пошлости в теории, требует на практике — особливо для некоторых натур — геройского самообладания и поистине христианского смиренномудрия.

Все ваши передовые статьи отлично хороши, особливо статья в № 6. Тут вопрос весь и с кореньем[3]. — Вот в чем и до-

---

* «Ганнибал у ворот» (*лат.*).

селе несомненное превосходство вашего учения над всеми прочими — оно вернее, потому что глубже.

Господь с вами. Обнимаю вас и жену вашу.

104. А. М. ГОРЧАКОВУ

10 января 1867 г. Петербург

Mardi. 10 janvier

Mon Prince,

Votre publication d'aujourd'hui est le digne couronnement de votre glorieuse campagne de 1863... J'éprouve, comme tout le monde, le besoin de vous en féliciter... Cette pièce trouvera un grand écho en Russie... J'ai eu, en la lisant, comme une intuition plus claire de votre vraie mission historique. — Vous avez, évidemment, été appelé à introduire dans les affaires du monde un élément nouveau, une puissance nouvelle et bien considérable, c'est la force morale de la Russie.

A vous appartiendra l'honneur de l'avoir constituée et organisée en pouvoir politique, et c'est là un fait immense.

Historiquement parlant, vous avez absous et réhabilité ce Русский Бог de sa défaillance momentanée... C'est grâce à cette puissance nouvelle, inaugurée par vous, que la question polonaise est entrée dans sa phase définitive, et que la question d'Orient va y entrer...

Un vieux Grec, Epaminondas[1], disait, en mourant, qu'il léguait à la Grèce ses deux filles, les victoires de Leuctres et de Mantinée.

Vous, mon Prince, vous avez eu déjà votre bataille de *Leuctres*, et je me flatte que vous survivrez de longues années à votre victoire de Mantinée. C'est mon vœu le plus cher.

Ф. Тютчев

Перевод:

Вторник. 10 января

Дорогой князь,

Сегодняшняя публикация — это достойный венец вашей славной кампании 1863 года... Я, как и все, горю жела-

нием принести вам свои поздравления... Документ этот будет иметь огромный резонанс в России... Читая его, я как бы прозрел истинную суть вашей исторической миссии. — Вы, несомненно, были призваны затем, чтобы внести в мировые отношения новый элемент, новую и весьма значительную силу — духовную мощь России.

Вам будет принадлежать честь ее утверждения и оформления в политическую силу, а это великое дело.

Говоря исторически, вы реабилитировали этого Русского Бога, выведя его из минутного обморока... И благодаря этой вновь утвержденной вами силе польский вопрос вступил в свою окончательную фазу, как вступит и вопрос восточный...

Один древний грек, Эпаминонд[1], говорил, умирая, что оставляет Греции двух своих дочерей — победы при Левктрах и Мантинее.

Вы, князь, уже выдержали свою битву при *Левктрах*, и я льщу себя надеждой, что вы на многие годы переживете свою победу при Мантинее. Это мое самое заветное желание.

Ф. Тютчев

105. А. Н. МАЙКОВУ

13 января 1867 г. Петербург

Пятница

Я не совсем помню, дорогой мой Аполлон Николаич, когда вы обещали мне обедать с нами — сегодня или завтра, в субботу. Мне бы желательнее было, чтобы это было завтра, так как сегодня я нахожусь в необходимости обедать у кн. Горчакова.

Были ли вы вчера на представлении драмы гр. Толстого?[1] Хорошо, очень хорошо — но чего-то недоставало. — При свидании поговорим.

Вам душевно пред<анный>

Ф. Тютчев



106. Е. Э. ТРУБЕЦКОЙ

13 января 1867 г. Петербург

Ce 13 janvier 1867

Voici, Princesse, mon humble offrande qui témoignera au moins de mon empressement à vous obéir. Ce sont quelques rimes, en russe, jusqu'à présent inédites, et qui expriment une idée qui se retrouve au fond de toutes les choses humaines... Je tenais à inscrire *du russe* dans votre album, et vous en devinerez facilement le motif. En présence des illustrations étrangères, qui ont pris possession des premiers feuillets de ce livre, j'avais à cœur de rappeler les droits imprescriptibles que nous avions sur vous.

Vous comprenez, Princesse, que nous y tenions.

T. T.

Средь Рима древнего сооружалось зданье —
То Нерон воздвигал дворец свой золотой. —
Под самою дворца гранитною пятой
Былинка с кесарем вступила в состязанье...

«Не уступлю тебе, знай это, бог земной,
И ненавистное твое я сброшу бремя». —
— Как! Мне не уступить. — Мир гнется подо мной. —
«Весь мир тебе слуга — а мне слугою Время».

Ф. Тютчев

Перевод:

13 января 1867

Вот, княгиня, мое скромное приношение, которое свидетельствует, по меньшей мере, о том, что я всегда к вашим услугам. Это несколько еще не изданных русских стихов, выражающих мысль, которая сквозит в любом творении рук человеческих... Я непременно хотел написать в ваш альбом *по-русски*, и вы легко угадаете почему. В виду иностранных славословий, завладевших первыми листками этой тетради,

я считаю своим долгом напомнить вам о безусловности наших прав на вас.

Вы понимаете, княгиня, как мы ими дорожим.

Ф. Т.

107. А. Ф. АКСАКОВОЙ

22 января 1867 г. Петербург

Pétersbourg. Dimanche. 22 janvier 1867

Ma fille chérie, je t'écris, comme dans le bon vieux temps, par occasion particulière grâce aux influences nouvelles qui dominent p<our> le moment...[1] J'avais bien pensé que *l'avertissement*, qui vient d'être fulminé contre la *Москва*[2], t'allarmerait et te chagrinerait plus que de raison. Cet avertissement, qui émane de Val<oujeff> directement et en contradiction avec l'avis de la majorité du Conseil de la Presse, aura probablement été une concession, mais de la part de V<aloujeff> une concession faite à des exigences, auxquelles il est hors d'état de résister... J'ai quelques raisons de supposer que c'est la mention, faite trop cavalièrement, de la 3ième section qui a été le principal grief[3], or la 3ième section est un pouvoir qui, à juste titre, considère son nom comme une injure...

D'ailleurs il n'y a pas à se le dissimuler... Il y a entre la pensée Aksakoff et l'esprit bureaucratique, qui fait le fond de la direction de la presse, un abîme incomblable et qu'une phraséologie vague et lâche pourrait seule au besoin dissimuler. Mais chaque fois que cette pensée apparaîtra claire et précise, elle sera sûre de se heurter contre l'autorité. Il y a là l'antagonisme de principes. Maintenant l'expérience est faite. La législation actuelle sur la presse n'est qu'une censure désorganisée[4]. — C'est là encore un de ces stupides plagiats qui forment le fond de notre science législative, et par une ironie du sort bien méritée, il se trouve que le modèle, reproduit par nous avec tant de servilité, est brisé sous nos yeux par la main même qui l'avait créé...[5] Il sera curieux de voir combien de temps nous nous permettrons de porter cette crinoline législative après qu'on aura cessé de la porter à Paris... Tout cela ferait rire si cela ne donnait pas la nausée... Heureux ceux

parmi nous qui aiment à mépriser... Car ceux-là peuvent tailler en plein drap... Parfois il m'arrive même d'être attendri à la vue de tant d'imbécillité naïve et inconsciente. C'est la disposition d'esprit où je me trouve pour le moment à la vue de ce qui vient de se passer[6], au moins par rapport à ce pauvre cher homme qui est comme un bon diable un peu bête[7]. Il n'en est pas ainsi de ses serviteurs, et mon attendrissement ne s'étend certes pas à Шувалов et à Левашов qui ont, par une sotte susceptibilité blessée de gens médiocres au pouvoir, amené tout ce gâchis[8]. Mais ce n'est qu'en entrant dans des détails infinis, que ma paresse épistolaire ne comporte pas, qu'on pourrait donner une idée quelque peu juste de ce qui vient de se passer... Mais là aussi il y avait du plagiat. Ces imbéciles n'ont pas manqué de s'imaginer qu'ils faisaient leur coup d'état du 2 décembre[9] – toute la police était sur pied, on s'attendait à de la résistance, à des barricades peut-être, et c'est avec un air de triomphe contenu que Левашов est venu le soir dans la loge de l'Empereur visiblement ému et inquiet: «Все кончилось благополучно». Ah, triples sots... Le plagiat n'a pas manqué aussi du côté opposé. Car plusieurs d'entre ces messieurs étaient pleins de leur importance et flottaient agréablement entre les souvenirs du Jeu de Paume et ceux de la Grande Charte[10]. La réalité de leurs prétentions était pourtant des plus modestes, et le gouvernement lui-même serait fort embarrassé de formuler une accusation qui eût une apparence de sens commun...[11] Car pour mettre le comble à toute cette ridicule et plate comédie, au moment même où l'Assemblée était occupée de tendances factieuses, le Ministre de l'Intérieur présentait à l'Empereur un projet d'une députation centrale des différents земства, et le grand homme du jour – Шувалов lui-même – est, dit-on, occupé de quelque chose de semblable avec son ami Alexis Bobrinsky...[12] En un mot c'est un tas d'idiots qui viennent d'avoir bu...

La seule réalité dans tout ce fatras, c'était cette velléité d'arbitraire, essayant de se reproduire dans ces ordres d'exil[13]. Mais ceci, également, n'a pas abouti, et cet avortement-là est le seul résultat positif de tout cet imbroglio odieux.

Mais je me sens l'esprit tout fané et tout alangui, et suis obligé de remettre à une autre occasion la suite de cette lettre.

Перевод:

Петербург. Воскресенье. 22 января 1867

Моя милая дочь, ввиду действующих сейчас новых порядков пишу тебе, как в старые добрые времена, с оказией...[1] Я так и думал, что *предостережение*, брошенное в «Москву»[2], испугает и огорчит тебя больше, чем следовало бы. Это предостережение, исходящее лично от Валуева и не поддержанное большей частью Совета по делам печати, было, вероятно, уступкой, но уступкой требованиям, которым Валуев не в силах противиться... У меня есть некоторые основания полагать, что главной причиной недовольства стало слишком дерзкое упоминание 3-его отделения[3], ну а 3-е отделение — это учреждение, которое само название свое воспринимает как ругательство, и совершенно законно.

Впрочем, надо смотреть правде в глаза... Между аксаковской мыслью и бюрократическим сознанием, лежащим в основе управления нашей печатью, зияет непреодолимая пропасть, маскировать которую могла бы, при необходимости, только вялая и расплывчатая фразеология. Но стоит этой мысли выразиться ясно и четко, столкновения с властью не миновать. Тут речь идет об антагонизме принципов. Теперь можно судить по опыту. Нынешний закон о печати есть не что иное, как неорганизованная цензура[4]. — Это лишь один из тех нелепых плагиатов, которые составляют суть нашей законодательной науки, и насмешница судьба преподает нам заслуженный урок, показывая, как модель, столь рабски нами воспроизведенная, разрушается рукой, ее создавшей...[5] Любопытно знать, долго ли мы будем носить сей законодательный кринолин после того, как его перестанут носить в Париже... Над всем этим впору бы посмеяться, да только тошно... Счастливы те из нас, кому в радость издевки... Они могут разгуляться вовсю... Порой я даже прихожу в умиление от столь наивной и бессознательной глупости. Именно такое чувство вызывают у меня недавние события[6], по крайней мере, участие в них бесценного

бедняги, выступившего в роли доброго простака[7]. Другое дело — его слуги, и мое умиление, разумеется, не распространяется на Шувалова и Левашова, которые по идиотской обидчивости, свойственной облеченным властью посредственностям, заварили всю эту кашу[8]. Но без бесконечных подробностей, вдаваться в которые не позволяет мне моя эпистолярная лень, невозможно дать хоть сколько-нибудь верное представление о том, что произошло. — Однако плагиат и тут налицо. Эти глупцы не преминули вообразить, будто повторяют государственный переворот 2 декабря[9], — вся полиция была поднята на ноги, ожидали сопротивления, возможно даже баррикад, и вот Левашов со сдержанно торжествующим видом является вечером в ложу государя, явно взволнованного и обеспокоенного: «Все кончилось благополучно». Ну что за дураки... Не обошлись без плагиата и их противники. Ибо многие из этих господ, преисполнившись сознанием собственной значительности, с приятностью проводили время, уносясь воспоминаниями то к Жё-де-Пом, то к Великой Хартии[10]. Действительные же их требования оказались предельно скромными, и самому правительству при всех стараниях едва ли удалось бы сформулировать обвинение так, чтобы в нем было хоть слабое подобие здравого смысла...[11] В довершение этой смехотворной и пошлой комедии, в то самое время, когда Государственный совет был занят разбирательством бунтарских поползновений, министр внутренних дел представил государю проект общей депутации от различных земств, и, говорят, сам герой дня — Шувалов — готовит нечто подобное вместе со своим другом Алексеем Бобринским...[12] Словом, сборище захмелевших кретинов...

Единственным практическим действием средь всей этой несусветицы была робкая попытка возрождения произвола, выразившаяся в приказах о высылке[13]. Но и она провалилась, и этот провал является единственным положительным результатом сей гнусной возни.

Однако ум мой совершенно изнемог, и я вынужден отложить до другой оказии продолжение этого письма.

108. А. Ф. АКСАКОВОЙ

8 февраля 1867 г. Петербург

P<étersbourg>. Mercredi. 8 février 1867

J'ai été très heureux, ma fille chérie, d'apprendre que tes longues incertitudes sont enfin fixées[1] et que tu pourras maintenant recouvrer un peu de ce calme d'esprit, si nécessaire à la santé du corps, et dont tu es si complètement privée, hélas...

Самарин, qui te portera cette lettre, vous mettra au fait de la situation. — Pour mon compte je n'y ajouterai que quelques mots à l'adresse de ton mari, au sujet de notre politique étrangère.

Il est absolument nécessaire, selon moi, que la *Москва* — précisément parce qu'elle est l'organe de l'opinion nationale dans sa nuance la plus franche et la plus décidée — accueille avec la sympathie la plus marquée toute manifestation de notre politique dans le sens de la dignité du pays... Ainsi, par exemple, le désaveu que le *Journal de St-Pétersb<ourg>* vient d'infliger à l'insolent mensonge, par lequel Napoléon dans son discours d'ouverture cherche à faire croire à la solidarité de notre politique avec la sienne dans les affaires d'Orient[2]. Eh bien ce désaveu, tout indispensable qu'il était, a coûté beaucoup de peine à obtenir, et maintenant, dans un certain monde, on cherche à le représenter comme une imprudence impardonnable et tout à fait gratuite. Il faut se rendre bien compte de la position personnelle de ce pauvre P<rinc>e Gortchakoff. En dépit de ses bons instincts, il est constamment sollicité en sens contraire par l'influence antinationale, représentée par des hommes tels que Jomini[3] etc. Et il n'y a pour la neutraliser que moi et Katakazy[4], l'auteur et l'inspirateur de l'article. Voici d'ailleurs le billet[5] autographe qu'il m'a écrit hier au sujet de toute cette affaire et qui vous mettra *наглядно* au fait de la situation d'ici.

Quant au discours de Napoléon, il y aurait pour la *Москва* un magnifique article à faire en s'emparant hardiment du texte cité dans ce discours des paroles de Napoléon I^er^ relativement à l'agglomération fatale et inévitable des grandes races historiques. Pour en faire le considérant d'un véritable manifeste de



panslavisme hautement avoué[6]. — Mille amitiés à ton mari et mes vœux les plus sincères pour vite réussite à tous deux.

Перевод:

Петербург. Среда. 8 февраля 1867

Я был счастлив узнать, моя милая дочь, что твои долгие сомнения наконец-то разрешились[1] и теперь к тебе, может быть, хоть частично вернется тот душевный покой, который столь важен для телесного здоровья и которого ты, увы, полностью лишена...

Самарин, взявшийся передать тебе это письмо, осветит вам положение дел. — Я же скажу всего несколько дополнительных слов твоему мужу касательно нашей внешней политики.

С моей точки зрения, насущно необходимо, чтобы «Москва» — именно потому, что она является органом национального направления самого откровенного и решительного толка, — горячо приветствовала всякое выступление нашей политики в защиту достоинства страны... Вот, например, помещенное в «Journal de St-Pétersbourg» опровержение наглой лжи, с помощью которой Наполеон в своей тронной речи пытается уверить всех в нашей солидарности с его политикой на Востоке[2]. Ведь получить согласие на это опровержение, хоть и очевидно необходимое, стоило величайших усилий, да и теперь в некоторых кругах стараются представить его как непростительную опрометчивость, к тому же совершенно неоправданную. Нужно войти в положение бедного князя Горчакова. Как бы правильно он ни мыслил, антирусские силы в лице таких людей, как Жомини[3] и иже с ним, постоянно побуждают его поступать вопреки себе. А противовесом им только я да Катакази[4], автор и вдохновитель статьи. Вот, кстати, полученная мною вчера от него записка[5], касающаяся всего этого дела, которая *наглядно* вам обрисует здешнюю обстановку.

Что же до речи Наполеона, то «Москва» могла бы дать великолепную статью, смело завладев приведенными в этой ре-

чи словами Наполеона I о фатальном и неизбежном сплочении великих исторических наций. Вот вам подлинный манифест *панславизма*, провозглашенный с высокой трибуны[6]. — Сердечный привет твоему мужу и самые искренние пожелания скорого успеха вам обоим.

109. А. Ф. АКСАКОВОЙ

13 февраля 1867 г. Петербург

Lundi. 13 février <18>67

Ma fille chérie. Je ne t'écris que quelques mots rien que pour utiliser le départ p<our> Moscou du P<rinc>e Obolensky. Je trouve que les pratiques nouvelles de la police ont extrêmement ranimé l'ardeur épistolaire[1].

Tes détails sur l'entrevue du fameux Юркевич avec ton mari m'ont beaucoup amusé[2], et tu penses bien que je ne les ai pas gardés pour moi seul. J'en ai même gratifié Валуев. — Voilà un gaillard — je parle de Юркевич — qui enfonce Гоголь. Car qu'est-ce que son *Хлестаков* comparativement à l'éditeur du *Народный Гол<ос>*[3]. Ici, encore une fois, l'art a cédé à la nature... Et cependant ce journal, tel qu'il est, a du bon, et il serait, ma foi, heureux qu'il exprimât en effet la pensée intime de S<a> M<ajesté>. Mais il n'en est rien. Il ne représente tout au plus qu'un caprice. C'est comme si *Milord*[4] se faisait l'éditeur d'un journal. Je suis sûr que cette publication jouirait d'une très grande dose de liberté, et par là même — bien dirigée — pourrait même faire beaucoup de bien... Mais je commence à trembler pour le pauvre Юркевич. Il a le bonheur trop indiscret.

Le dernier article de la *Москва* № 34[5] m'a extrêmement satisfait, et cette satisfaction sera généralement partagée. Il est dans la vraie mesure sympathique pour notre diplomatie, sans rien céder sur les principes... c'est la bonne méthode. Il faut nous soutenir en nous poussant. — Il y a en ce moment un point d'une immense gravité, et il faudrait que tous les efforts de la presse fussent dirigés vers ce point qui est la clef de la position.

Il faudrait qu'il fût bien établi dès à présent que, quoi qu'il arrive et quel que soit le résultat du tripotage diplomatique qui se



fait autour de la question d'Orient, — dans le cas néanmoins, où l'insurrection viendrait à éclater au printemps, la Russie exigeât péremptoirement des puiss<ances> occid<entales> l'application rigoureuse du principe de la *non-intervention*. Voilà ce que notre presse devrait dire et redire tous les jours.

Hier, à un grand bal chez la Comtesse Протасова, l'Impératrice m'a parlé de toi avec beaucoup d'amitié — et avec sympathie de plusieurs articles de la *Москва*, nommément d'un article sur les écoles de jeunes filles, etc. etc. etc.

Перевод:

Понедельник. 13 февраля <18>67

Моя милая дочь. Пишу тебе всего несколько слов только ради того, чтобы использовать отъезд в Москву князя Оболенского. Я нахожу, что новые приемы, усвоенные полицией, весьма способствовали оживлению переписки[1].

Сообщенные тобою подробности свидания пресловутого Юркевича с твоим мужем очень меня позабавили[2], и ты понимаешь, что я не удержал их в секрете. Я поделился ими даже с Валуевым. — Этот молодец — я говорю про Юркевича — затмил Гоголя. Ибо куда его *Хлестакову* до издателя «Народного голоса»[3]. Тут, в который раз, искусство поблекло перед жизнью... И все же эта газета, в ее настоящем виде, имеет некоторую ценность, и было бы, признаться, отрадно, если бы она и впрямь выражала сокровенную мысль Его Величества. Но это отнюдь не так. Она представляет собой не более чем каприз. Как если бы изданием газеты занялся *Милорд*[4]. Я уверен, что такой печатный орган пользовался бы весьма значительной свободой и уже поэтому — с хорошим руководством — мог бы даже приносить немалую пользу... Но я начинаю бояться за бедного Юркевича. Уж слишком он похваляется своим счастьем.

Последняя статья в № 34 «Москвы»[5] очень меня удовлетворила, и это удовлетворение будет всеобщим. Она выражает должное сочувствие к нашей дипломатии, ничуть не поступаясь принципами... это верная метода. Нужно нас

поддерживать, одновременно подталкивая. — В настоящее время существует один чрезвычайно важный пункт, и надо было бы все усилия печати направить на разъяснение этого пункта, в котором ключ положения.

Необходимо теперь же твердо заявить, что, как бы ни развивались события и чем бы ни завершилась дипломатическая возня вокруг восточного вопроса, — в случае, если весной-таки вспыхнет восстание, Россия решительно потребует от западных держав строжайшего соблюдения принципа *невмешательства.* Вот что наша печать должна бы твердить и твердить изо дня в день.

Вчера на большом балу у графини Протасовой императрица говорила со мной о тебе с большой теплотой — и с сочувствием о многих статьях «Москвы», особенно о статье, посвященной женским учебным заведениям, и т. д. и т. д. и т. д.

110. А. Ф. АКСАКОВОЙ

23 февраля 1867 г. Петербург

Pétersb<ourg>. Jeudi. 23 février 1867

J'aimerais bien pouvoir t'expliquer, d'une manière tant soit peu raisonnable, ce qui vient de se passer[1]. Mais il y a un degré d'inconsistance qui échappe à toute appréciation. Je ne suis pas parvenu à constater jusqu'à présent si l'initiative de ce second avertissement, si inattendu pour tout le monde, appartient à *Валуев* en propre, ou bien si cette mesure lui a été imposée par *Шувалов.* — Car lui dit, tour à tour, l'un et l'autre, suivant l'inspiration du moment. — Je ne m'étais pas fait une idée exacte d'un pareil mélange de mensonge et de pusillanimité. Ce qui est certain, c'est que la mesure a été convenue entre les deux honorables et imposée au Conseil malgré les protestations du président Похвиснев qui a exprimé par écrit que l'article en question pouvait donner tout au plus lieu à un simple *communiqué.*

Ici tout le monde a été aussi surpris que choqué et, certes, cela n'ajoutera rien à la considération personnelle de B<алуев> luimême, à celle du régime actuel de la presse. J'ai su par la



Comtesse Protassoff que l'Impératrice a été très peu édifiée de cette nouvelle incartade de l'administration. Elle a même dit qu'elle savait qui étaient les gens qui en voulaient à l'existence de la *Москва* et pourquoi... Mais que c'est précisément l'hostilité de cette clique de gens qui est le meilleur titre de ce journal et en fait un organe nécessaire et indispensable... En un mot la situation dans son ensemble est telle que cette agression si brutalement arbitraire et inconsidérée, de quelque part qu'elle vienne, fera plus de bien que de mal à celui contre qui elle est dirigée, et voilà pourquoi je suis d'avis que le mieux en ce moment — comme dignité et comme calcul — ce serait de ne pas en prendre la moindre connaissance[2].

Cela n'empêche pas que je trouve tout ce régime d'arbitraire aussi bête que révoltant et cette appréciation commence à devenir générale. Il est de fait que les velléités libérales, qui se sont fait jour dans le gouvernement, n'ont eu d'autre résultat, que d'avoir surexcité le *prurit* (зуд) de l'arbitraire administratif...

De grâce, Anna, ne t'affecte pas plus que de raison de ce qui vient d'arriver... et soigne-toi. Dieu te garde.

Перевод:

Петербург. Четверг. 23 февраля 1867

Мне очень бы хотелось дать тебе хоть сколько-нибудь разумное объяснение того, что произошло[1]. Но все это столь беспочвенно, что совершенно не поддается объяснению. Мне до сих пор не удалось выяснить, принадлежит ли инициатива второго предостережения, столь неожиданного для всех, самому *Валуеву*, или его вынудил это сделать *Шувалов*. — Сам Валуев говорит то так, то этак, смотря по настроению. — Никогда не думал, что возможно подобное сочетание лживости и трусости в одном лице. Ясно одно: вопрос о принятии меры эти почтенные господа согласовали между собой и навязали Совету, несмотря на возражения председателя Похвиснева, подтвердившего письменно, что статья, о которой идет речь, может самое большее дать повод для обычного *предупреждения*.

У нас здесь все были поражены, и, конечно, все происшедшее не прибавит в глазах общества уважения ни лично к Валуеву, ни к порядкам, существующим в печати. От графини Протасовой мне стало известно, что императрица нисколько не была удивлена новой выходкой администрации. Она даже сказала, что знает, кто именно и почему жаждет запрещения «Москвы»... Но что вражда этой клики как раз и является лучшим доказательством необходимости издания подобной газеты. Словом, положение в целом таково, что необдуманное проявление столь грубого произвола, откуда бы оно ни исходило, принесет скорее пользу, чем вред тем, против кого удар был направлен, и вот почему я считаю, что самое лучшее сейчас — это и достойнее, и разумнее всего — закрыть глаза на случившееся[2].

Тем не менее, я нахожу возмутительным это глупое самоуправство, и такое мнение сейчас становится всеобщим. Действительно, робкие проявления либерализма, которые позволило себе наше правительство, привели только к тому, что усилили *зуд* административного произвола.

Ради Бога, Анна, не огорчайся сверх меры всем происшедшим и береги себя. Да хранит тебя Бог.

111. А. Ф. АКСАКОВОЙ

17 марта 1867 г. Петербург

St-P<étersbourg>. Vendredi. 17 mars

Ma fille chérie. Cette fois encore je viens vous rassurer sur la situation. Les deux articles ont *définitivement* passé[1]. Je n'ai pas besoin de t'indiquer l'influence qui, encore une fois, est venue en aide à la *Москва* et a conjuré l'orage[2]. Mais il ne fallait pas moins que cette influence pour le conjurer. — Cet état de choses est anormal, je le sais, mais dis à ton mari que je le conjure — moi, qui suis sur les lieux et vois les choses de près, dans l'intérêt même de la cause — de laisser reposer pour le moment la question et de ne pas y toucher de quelque temps. L'effet produit par les deux articles a été *très grand*, mais, en le répétant, on le compromettra d'une manière déplorable. Laissons faire la logique des événe-



ments qui ne tarderont pas à amener l'évidence — et ce moment viendra bien avant qu'il ne soit trop tard pour réparer le mal. A l'heure qu'il est ce qu'il y a de plus à craindre, c'est de produire une excitation à contresens là où il serait si essentiel d'amener la conviction...[3]

D'ailleurs l'existence d'un organe tel que la *Москва* est aussi un intérêt du pays et à ce titre a droit à des ménagements. Il y a tant de causes en litige dans ce moment qu'elle peut utilement servir par la parole, tandis que — pour le moment aussi — ce qui servirait au mieux la question dont il s'agit, ce serait un temps de silence... Au point où nous en sommes, il est bon, parfois, de laisser agir l'opinion comme un *élément*, sans trop la résumer par une action individuelle — une pression *élémentaire* s'accepte plus volontiers.

En Orient, à mon point de vue, tout ce qui est négociation n'est que de la blague. Il n'y a et n'y aura de sérieux que l'insurrection armée[4].

Quand tu verras ta belle-mère, parle-lui de la part sincère que j'ai prise à ce redoublement d'épreuves qu'elle supporte avec tant de grandeur et d'énergie...[5]

Il me tarde bien de te voir. N<ou>s attendons Kitty avec impatience.

Перевод:

С.-Петербург. Пятница. 17 марта

Моя милая дочь. Хочу еще раз успокоить вас относительно того, что происходит. Обе статьи *определенно* прощены[1]. Нет надобности говорить тебе, чья влиятельная рука в очередной раз поддержала «Москву» и отвела грозу[2]. Но только она одна в состоянии была ее отвести. — Такое положение ненормально, знаю, но передай мужу, что я — как непосредственный очевидец событий, в интересах самого же дела — настоятельно советую ему оставить пока этот вопрос и не касаться его какое-то время. Впечатление, произведенное обеими статьями, *огромно*, однако повторение сильно его испортит. Положимся на логику вещей, которая не замедлит

все прояснить, — и эта минута наступит гораздо раньше, чем зло станет непоправимым. Нет сейчас ничего опаснее, как вопреки здравому смыслу раздразнить тех, кого так важно убедить...[3]

Кроме того, существование такой газеты, как «Москва», жизненно необходимо стране, и поэтому она имеет право на осторожность. В настоящий момент есть столько спорных вопросов, обсуждением которых она может принести немало пользы, тогда как самую большую пользу вышеупомянутому вопросу — тоже в настоящий момент — принесет временное молчание... На данном этапе полезно иногда позволять общественному мнению складываться *стихийно*, не слишком навязывая ему личные выводы — напору *стихии* охотнее уступают.

Все эти переговоры по восточным делам, с моей точки зрения, пустая болтовня. Нет и не будет ничего серьезного, кроме вооруженного восстания[4].

Когда увидишься со свекровью, передай ей, что я всею душой с ней в ее новых испытаниях, которые она переносит с таким достоинством и мужеством...[5]

Очень по тебе соскучился. С нетерпением ждем Китти.

112. В. И. ЛАМАНСКОМУ

7 апреля 1867 г. Петербург

Смею вас просить, дорогой мой Владимир Иванович, чтобы вы взяли на себя труд извинить меня завтрешним заседанием перед Комитетом и его почтенным председателем[1]. У меня ноги до того разболелись, что я не только не могу ступать, но даже передвигать не в состоянии. Доброе бы дело было с вашей стороны, если бы вы по окончании заседания зашли ко мне на минуту и сообщили бы мне о принятых решениях. Кстати, попросите от меня и Майкова, чтобы он посетил болящего.

Вам душевно преданный

Ф. Тютчев

Пятница
7 апреля



113. В. И. ЛАМАНСКОМУ

Апрель 1867 г. Петербург

Вторник

Намедни, заговорившись с вами, я совсем забыл, любезнейший Владимир Иваныч, об уплате моего долга.

Ваше предисловие к книге Штура[1] превосходно, и желательно было бы, при случае, перепечатать его, хотя бы сокращенно, в политической газете, в «Голосе», напр<имер>. Весьма кстати щелчок Тургеньеву, как последнему выражению худшего из русских нигилизмов — нигилизма нравственного и душевного бессилия[2].

Ну что́ если надежда, что славяне наши надумаются наконец и воспользуются предстоящим случаем[3], чтобы заявить о себе перед Европо̀й словом: *Мы*. — Неужто в них еще нет довольно самосознанья, чтобы понять, что только заявлением своей солидарности с Россиею по польскому вопросу они заставят Европу признать их *силою*... Отчего же поляки — несмотря на всю свою практическую бестолковость — в принципе несравненно сознательнее наших дорогих славян и не упускают случая, чтобы не заявлять о своей солидарности с Западом?

Простите, до свидания.

Ф. Тютчев

114. Е. К. БОГДАНОВОЙ

12 апреля 1867 г. Петербург

Ce 12 avril

Je ne suis pas plus mal aujourd'hui, mais je me sens plus découragé...

Je prévois que mon rétablissement se fera plus lentement que je ne le pensais, et que je vous laisserai contracter, tout à loisir, l'habitude de vous passer de moi.

Le médecin, qui me quitte à l'instant, insiste sur le bain et voudrait que j'en passe un demain soir. Il faudra bien en passer par là... En ce moment la douleur proprement dite est fort peu de

chose, mais la difficulté de la locomotion est toujours la même... J'ai eu aussi la visite de *Botkine*[1], pas du médecin, mais de son frère, lequel, pour sa propre satisfaction, comme il le dit, prétend m'amener l'esculape. Certes je serai enchanté de le voir, mais pour lui parler de chose plus grave que de mon insignifiante maladie.

J'ai eu aussi la visite du P<rinc>e Tcherkassky, de passage ici, et qui, par autorisation de l'Empereur, a été appelé dans le Comité polonais où il a eu tous les honneurs de la séance, aux dépens même de mon cher P<rinc>e Gortchakoff.

C'est aujourd'hui l'anniversaire du jour de naissance de Daria, et voici le billet qu'elle m'a écrit en réponse à celui que je lui avais adressé. — Vous comprenez l'innocente ruse dont je me sers, pour essayer de préoccuper votre imagination à mon sujet... Car positivement vous n'avez pas à beaucoup près le même sentiment d'absence et de privation que moi.

Que fait Ваня?[2] pourquoi ne m'en parlez-v<ou>s pas?.. Et votre santé du quart d'heure? Comment a été la nuit?.. Quand donc irai-je sonner à votre porte?

Voici le livre que v<ou>s m'avez demandé.

Перевод:

12 апреля

Мне сегодня не хуже, зато тоскливее...

Чувствую, что поправляться буду гораздо медленнее, чем думал, и, пожалуй, допущу до того, что вы, на свободе, привыкнете обходиться без меня.

Доктор, который сейчас от меня выходит, настаивает на ванне и рекомендует принять ее завтра вечером. Придется покориться... В настоящую минуту боли, как таковой, почти что нет, но двигаться по-прежнему трудно... Меня навестил еще *Боткин*[1], не врач, а его брат, который собирается, для собственного, как он говорит, удовлетворения, привести ко мне эскулапа. Конечно, я буду счастлив встретиться с ним, но для того, чтобы поговорить о предмете более серьезном, нежели моя пустяковая болезнь.

Меня также посетил находящийся здесь проездом князь Черкасский, который, с соизволения государя, был приглашен на заседание Польского комитета, где ему оказали всевозможные почести даже в ущерб моему милейшему князю Горчакову.

Сегодня день рождения Дарьи, и вот письмецо, которое она мне прислала в ответ на мое. — Вы понимаете, что с помощью этой невинной хитрости я пытаюсь занять собою ваши мысли... Ведь вы без меня, конечно же, не испытываете ничего похожего на то чувство одиночества и сиротливости, какое я испытываю без вас.

Что Ваня?[2] Почему вы ничего мне о нем не говорите?.. А ваше сегодняшнее здоровье? Как прошла ночь?.. Когда же наконец позвоню я у вашей двери?

Вот книга, которую вы у меня спрашивали.

115. Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Середина апреля 1867 г. Петербург

Друг мой Яков Петрович, от всей души сочувствую вашему горю — и надеюсь, что, кроме обманутой надежды, грустное событие не будет иметь никаких дальнейших последствий. Я тотчас бы явился к вам, но вот уже более недели я не могу ступить ногою. На другой день после нашего свидания в Комитете боль, которая тогда уже начиналась, так усилилась, что я целые дни не подымался с моего дивана.

Стихи ваши прочту на просторе и при свидании скажу вам чистосердечно мое мнение.

Мой усерднейший привет вашей милой больной.

Ф. Тютчев

116. И. С. АКСАКОВУ

18 апреля 1867 г. Петербург

Петербург. Вторник. 18 апреля 1867

Прежде всего, друг мой Иван Сергеич, дайте обнять себя и от души поздравить и вас и жену вашу с великим праздни-

ком и наступающим днем рожденья Анны[1]. — Я в долгу у вас за два письма. Первое из этих писем было, можно сказать, последнею посмертною передовою статьею «Москвы»[2]. Такую оно получило здесь гласность и известность. Я читал его встречному и поперечному, т. е. заставляли читать, сообщил кн. Горчакову, и теперь наконец письмо это успокоилось в собрании автографов графа Сергея Апраксина, большого вашего почитателя, который выпросил его у меня.

Сочувствие к «Москве» несомненное и общее. Все говорят с любовью и беспокойством: *не умерла, а спит*[3], и все ждут нетерпеливо ее пробуждения... Но вот в чем горе: пробудится она при тех же жизненных условиях и в той же органической среде, как и прежде — а в такой среде и при таких условиях газета, как ваша «Москва», жить нормальною жизнию не может, не столько вследствие ее направления, хотя чрезвычайно ненавистного для многих влиятельных, сколько за ее неумолимую честность слова. — Для совершенно честного, совершенно искреннего слова в печати требуется совершенно честное и искреннее законодательство по делу печати, а не тот лицемерно-насильственный произвол, который теперь заведывает у нас этим делом, — и потому неизменившейся «Москве» долго еще суждено будет, вместо спокойного плавания, биться как рыбе об лед.

Поездка государя в Париж пока дело решенное... 13-го будущего мая он отправится туда через Берлин и в сопровождении прусского короля пробудет в Париже неделю[4], потом через Штутгарт, Карлсруэ проедет в Варшаву и Ригу... Едет с ним гр. Петр Шувалов. В Париж, как говорят, будет призван из Константинополя Игнатьев. — Поедет ли в Париж, это еще под спудом[5], а между тем от этого обстоятельства и зависит, по-моему, все значение этого дела. — Личная ли это интрига, которой благодушный монарх служит бессознательным орудием, или обдуманная, сознательная политическая программа. — Вот, по крайней мере, какими наличными соображениями объясняют и оправдывают эту программу ее защитники.

Они говорят, что только подобным заявлением, каково будет личное присутствие обоих государей, можно надеяться при данных обстоятельствах настолько ослабить давление их в смысле воинственного исхода, чтобы упрочить *мир*, по крайней мере на несколько времени, так как мы предвидим, что при состоявшейся войне мы непременно будем вовлечены в оную... К тому же, вероятно, *мы* надеемся, что, приобщив Наполеона к нашему союзу с Пруссиею, нам удастся отвлечь его от Англии и через это найти возможность столковаться с ним касательно если не решения, то, по крайней мере, улажения восточного вопроса... Все это, как вы видите, есть не что иное, как мудрость юродствующих и прозорливость слепотствующих... Все это, сверх того, обличает, не говорю — *не*понимание, а совершенно превратное понимание судеб России и исторических законов ее развития... грубейшее, напр<имер>, непонимание этой простой фактической истины, что если бы нам и удалось в самом деле умиротворить Запад, то этот умиротворенный Запад, неминуемо и совершенно логично, опрокинется на нас же всем грузом европейской коалиции. Эта-то полнейшая бессознательность своих жизненных условий, это-то совершенное извращение прирожденных инстинктов в нашей правительственной сфере — вот в чем если не гибель наша, то наш страшный камень преткновения. Но история все-таки возьмет свое, устранит и этот камень. — Война состоится, — она неизбежна, она вызывается всею предыдущею историею западного развития. Франция не уступит без бою своего политического преобладания на Западе, — а признание ею объединенной Германии законно и невозвратно совершившимся фактом было бы с ее стороны равносильно отречению ее от всего своего европейского положения. — Борьба следственно неизбежна. Это будет первая сознательная племенная война между составными частями Европы Карла Велик<ого>, т. е. первый шаг к ее разложению, и этим самым определится мировой поворот в судьбах Европы Восточной. — Вот вопросы, которые неминуемо уяснятся до общего самосознания на предстоящей

сходке *Всеславянской*[6] — хотя, конечно, приостановка «Москвы» в данную минуту отзовется страшным диссонансом в нашем оратории.

Простите, дорогой Иван Сергеич, мне стыдно и этого беспутно длинного письма.

117. Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Вторая половина апреля (не позднее 24) 1867 г. Петербург

Понедельник

Ю.Ф. Самарин просит ваших стихов, о которых я ему говорил. — Также и князь Черкасский[1], который к тому же желал бы с вами повидаться. Он стоит в гостинице *Клее*. Завтра возвращается в Москву. Постарайтесь побывать у него завтра утром и передайте ему ваши стихи. — Весь ваш

Ф. Тютчев

P. S. Я сегодня видел жену бедного Владимирова. Она сказывала, что была у вас на днях — и порадовала меня вестью, что здоровье жены вашей[2] гораздо *лучше*.

118. А. Ф. АКСАКОВОЙ

19 апреля 1867 г. Петербург

Mercredi. 19 avril 1867

Ma fille chérie. Puissent ces quelques lignes, qui te parviendront la veille de ta fête, te trouver dans un état de santé tolérable et dans une disposition d'esprit quelque peu calme et reposée. Je n'ai pas besoin de te dire combien je souffre de tous les tracas et tribulations dans le présent et de tes appréhensions pour l'avenir... et cela au moment où tu aurais eu besoin de la plus entière tranquillité et sécurité d'esprit et d'âme... Ah, que tu étais plus calme le jour où j'ai fait ta première connaissance, il y aura après-demain tant et tant d'années... Tu étais si calme, si recueillie qu'il a fallu que ta mère elle-même me rendît attentif à la signification particulière qu'avait le petit paquet de linge, roulé et déposé à ces pieds.

Voilà de ces horizons rétrospectifs qui vous font douter de votre identité et transforment en rêve la réalité qui vous entoure...

Ma santé continue à être misérable, voilà quinze jours que je suis enfermé, privé d'air et de mouvement, ce qui double ma maladie[1] — et tout à l'heure, en m'éveillant, j'ai senti au pied droit une recrudescence de la même douleur que j'ai tous ces jours-ci et qui m'empêche de poser le pied à terre... Ah, c'est à se damner... et Пушкин avait bien raison de dire: «Под старость жизнь такая гадость»[2].

J'aime à croire cependant que cela finira un jour et assez à temps pour aller vers vous le mois prochain, vers la mi-mai, à la suite des Slaves et comme un Slave de plus...[3]

En attendant vous allez incessamment entrer dans les fêtes, dans les illuminations, dans les acclamations enthousiastes, la sonnerie des cloches, les foules qui se ruent en criant, dans toute l'animation sincère et convaincue de tout un grand peuple qui se sent heureux[4]. — En un mot, vous allez assister, sans conviction aucune, mais non sans émotion, à tous les détails de l'apothéose glorieuse et triomphante d'un gigantesque malentendu... Ainsi soit-il...

Hier j'écrivais à ton mari l'état des choses, tel qu'on le croyait définitivement arrêté[5]. Dans la soirée cependant j'ai vu le P<rinc>e Wiasemsky qui m'a dit avoir appris — mais rien qu'à titre de ouï-dire — comme si tout était remis en question, grâce au roi de Prusse, qui se refuse, à ce qu'on prétend, à aller à Paris...[6] Mais ceci même n'arrêterait peut-être pas notre Auguste voyageur, pourvu que le P<rinc>e Royal de Prusse fût du voyage...[7] Il met une telle persistance dans ce projet, qui paraît ici fou à tout le monde, que je commence à croire qu'il y a là-dessous quelque inspiration Divine, quelque révélation surnaturelle... Et qui sait? Dans tous les cas il ne pourrait que gagner à sortir du milieu affadissant et abrutissant, où il végète, et à se trouver en contact et en conflit avec d'autres volontés que la sienne. Une rencontre avec Bismarck lui serait particulièrement salutaire...[8]

Au revoir, à bientôt, ma fille chérie. Embrasse Kitty et dis mille tendresses de ma part à mon frère... Dis-lui que, si Dieu me prête vie et surtout me rend mes jambes, dans un mois au plus tard je serai au milieu de v<ou>s.

Перевод:

Среда. 19 апреля 1867

Моя милая дочь. Пусть это коротенькое послание, которое ты получишь накануне дня твоего рождения, застанет тебя в сносном состоянии здоровья и в более или менее спокойном и уравновешенном расположении духа. Нет надобности говорить тебе, до чего расстраивают меня все заботы и волнения настоящей минуты и твои страхи перед будущим... и это тогда, когда ты нуждаешься в полнейшей душевной и умственной умиротворенности... Ах, насколько спокойнее ты была в день моего с тобой знакомства, которому послезавтра минет некое число лет... Ты была так тиха и сосредоточенна, что твоей матери самой пришлось указать мне на особое значение маленького полотняного свертка, туго свитого и уложенного у нее в ногах.

Вот такие оглядки на прошлое заставляют вас сомневаться в том, что вы это вы, и преображают в сновидение окружающую вас действительность...

Самочувствие мое по-прежнему скверное, вот уже две недели, как я сижу взаперти, без воздуха и движения, что усугубляет мою болезнь[1] — а сегодня, проснувшись, я ощутил в правой ноге усиление той самой боли, которая мучила меня все эти дни и до сих пор не позволяет мне ступить на пол... Впору проклясть самого себя... и верно сказал Пушкин: «Под старость жизнь такая гадость»[2].

Однако, хочу надеяться, что когда-нибудь же это кончится и притом настолько скоро, чтобы я мог отправиться к вам в будущем месяце, примерно в середине мая, вслед за славянами и, вдобавок, в качестве такового...[3]

А тем временем вы вступаете в полосу празднеств, фейерверков, восторженных приветствий, трезвона колоколов, бурлящих и кричащих толп, всего этого исполненного глубокой искренности и веры одушевления великой нации, охваченной общим ликованием[4]. — Словом, вы станете зрителями, не слишком доверчивыми, но отнюдь не равнодушными, всей сцены блистательного и славного торжества над одним гигантским недоразумением... Да будет так...



Вчера я описывал твоему мужу положение дел, представлявшееся окончательно установившимся[5]. Однако вечером я видел князя Вяземского, который сообщил мне, что — по дошедшим до него слухам — всё будто бы опять под вопросом из-за прусского короля, отказывающегося, говорят, ехать в Париж...[6] Но даже это, наверно, не остановило бы нашего августейшего путешественника, если бы только поехал прусский наследный принц...[7] Он так упорствует в этой идее, которая всем здесь кажется безрассудной, что я начинаю верить в некое Божественное внушение, некое сверхъестественное откровение, им руководящее... И кто знает? В любом случае, ему было бы полезно вырваться из скучной отупляющей среды, в которой он киснет, и войти в соприкосновение и в конфликт с желаниями, отличными от его собственных. Встреча с Бисмарком стала бы для него особенно благотворной...[8]

До скорой встречи, милая дочь. Обними Китти и передай от меня самый сердечный привет моему брату... Скажи ему, что, если Господь продлит мои дни и, главное, вернет мне способность передвигаться, самое позднее через месяц я буду среди вас.

119. А. М. ГОРЧАКОВУ

21 апреля 1867 г. Петербург

Vendredi. 21 avril 1867

J'ai appris hier, mon Prince, avec la plus grande satisfaction, que nous avons heureusement échappé à l'un des termes du dilemme que je posai l'autre jour, et que le voyage à Paris pourra être rangé[1] dans la catégorie des accidents. Et même il y a lieu à espérer maintenant que grâce à votre présence cela pourra être un heureux accident. Je ne saurai vous dire, mon Prince, combien, dans l'état déplorable de mes nerfs, cette incertitude m'avait maladivement préoccupé...

Merci, mon Prince, de votre aimable souvenir. Ma santé est toujours misérable, et je n'entrevois pas la fin de cette maudite réclusion...

Mes hommages à Надежда Сергеевна[2]. Bienheureux les bien-portants puisqu'ils peuvent la voir!

A-t-elle déjà lu le nouveau roman de Tourguenieff?[3] — Voilà une lecture qu'elle saura goûter et apprécier.

T. Tutchef

Перевод:

Пятница. 21 апреля 1867

С величайшим удовлетворением, дорогой князь, узнал я вчера, что одна из посылок дилеммы, предложенной мною намедни, благополучно отпала и что поездка в Париж решена[1], так сказать, волею случая. Теперь даже есть основания надеяться, что благодаря вашему присутствию этот случай окажется счастливым. Вы же понимаете, дорогой князь, как при плачевном состоянии моих нервов меня мучила неопределенность...

Спасибо, князь, что вы любезно обо мне помните. Здоровье мое по-прежнему никуда не годится, и я не предвижу конца этому проклятому затворничеству...

Передайте мой низкий поклон Надежде Сергеевне[2]. Блаженны здоровые, ибо им дано ее видеть!

Прочла ли она уже новый роман Тургенева?[3] — Вот чтение, которое она найдет приятным и сумеет по достоинству оценить.

Ф. Тютчев

120. Е. Э. ТРУБЕЦКОЙ

3 мая 1867 г. Петербург

Mercredi. 3 Mai

Merci, chère Princesse, de vos bonnes paroles, si douces et si pénétrantes, et puisse le Ciel vous garantir à jamais des douleurs que vous comprenez si bien dans les autres et auxquelles vous savez si bien sympathiser... Ma pauvre fille me charge de vous exprimer combien elle a été sensible à vos témoignages d'intérêt[1].



Je suis toujours encore condamné à la réclusion, et ce qui prouve la ténacité du mal, c'est que mê<me> le désir d'aller vous faire ma cour n'est pas parvenu jusqu'a présent à en triompher...

Eh bien, voilà que tout paraît s'arranger le mieux du monde. On ne demande qu'à s'embrasser, et la diplomatie toute fière de son tour de passe-passe s'imagine candidement que l'Europe — dénuée de principes et armée jusqu'aux dents — ne demande qu'à se rasseoir dans une paix définitive.

Mais c'est assurément *nous* qui allons au-devant de la leçon la plus rude, de la déception la plus mortifiante, et, ma foi, ce sera bien fait... On ne veut pas comprendre, en dépit d'un demi-siècle d'expérience, qu'un gouvernement a beau faire, qu'il a beau professer les sentiments les plus vertueux, les plus généreux, les plus désintéressés, mais du moment qu'il n'est pas le représentant, l'incarnation des intérêts nationaux de son pays — du moment qu'il ne sait faire que de la politique de gloriole personnelle un pareil gouvernement n'obtiendra de l'étranger ni reconnaissance, ni même de l'estime... On l'exploitera et on se moquera de lui, et on aura raison...

Les ennemis les plus acharnés de la politique de Bismarck ne lui refuseront pas leur estime, parce qu'ils voient en lui le représentant le plus énergique, le plus convaincu, tandis qu'en définitive notre agitation pacifique ne nous vaudra que des huées. On se moquera à juste titre du mal que nous nous donnons, pour aller mettre d'accord des puissances, qui ne sont que trop naturellement disposées à être d'accord chaque fois qu'il s'agit de contester et de combattre le droit historique de la Russie et à nier même le droit *humain*, le droit à l'existence de ces malheureuses populations qui ont aux yeux de l'Occident le tort inexpiable de graviter vers nous[2].

Et voilà la malédiction méritée qui pèse sur un pays où les hautes classes, ce milieu où vit et s'alimente le pouvoir, ont, par le fait de leur misérable éducation, cessé depuis longtemps de lui appartenir.

Mille hommages les plus sincèrement dévoués.

Ф. Тютчев

Перевод:

Среда. 3 мая

Благодарю вас, дорогая княгиня, за ваши добрые слова, столь теплые и столь проникновенные, и молю Небо, чтобы вам никогда не довелось испытать страданий, которые вы так хорошо понимаете в других и которым так умеете сочувствовать... Моя бедная дочь поручает мне высказать вам, как глубоко тронута она вашим участием[1].

Я до сих пор осужден на затворничество, и настоящим доказательством упорства моей болезни является то, что даже моему желанию приехать к вам на поклон не удалось пока одержать над нею верх...

Впечатление, право, такое, будто все устраивается наилучшим образом. Остается только обняться, — и дипломатия, страшно гордая своей ловкостью, искренно верит, что Европе — беспринципной и вооруженной до зубов — ничего иного не нужно, как успокоиться в состоянии вечного мира.

Но, конечно, именно *нас* ожидает урок самый жестокий, разочарование самое унизительное и, сказать по правде, весьма заслуженное... Несмотря на полувековой опыт, никак не хотят понять, что, как бы ни усердствовало правительство, какое бы благородство, великодушие и бескорыстие чувств ни демонстрировало, но с той минуты, как оно перестает быть выразителем, олицетворением национальных интересов страны — с той минуты, как оно начинает руководствоваться в своей политике лишь личным тщеславием, подобное правительство не заслужит за рубежом ни признания, ни даже уважения... Его будут использовать с выгодой для себя, одновременно осмеивая, и с полным основанием...

Лютейшие враги политики Бисмарка не откажут ему в своем уважении, ибо видят в нем самого энергичного, самого убежденного выразителя национальной идеи, тогда как наше бурное миротворчество не принесет нам ничего, кроме издевательских свистков. И не грех посмеяться над тем, как мы старательно мирим державы, склонные приходить к совершенно естественному согласию всякий раз, когда речь захо-

дит о том, чтобы оспорить и опровергнуть историческое право России и даже отнять право *человеческое*, право на существование у несчастных народностей, которые в глазах Запада непоправимо очернили себя тем, что тянутся к нам[2].

Таково заслуженное проклятие, тяготеющее над страной, где высшие классы, та среда, в которой произрастает и вскармливается власть, давно уже перестали принадлежать ей из-за своего презренного воспитания.

От души и со всем усердием вам кланяюсь.

Ф. Тютчев

121. В. И. ЛАМАНСКОМУ

6 мая 1867 г. Петербург

Суббота

Я имею вам сообщить кой-что касательно Славянского обеда, что желательно было бы решить без отлагательства. Итак, прошу вас, любезнейший Владимир Иваныч, зайдите ко мне сегодня или после *трех* часов, или вечером.

Весь ваш

Ф. Тютчев

122. В. И. ЛАМАНСКОМУ

7 мая 1867 г. Петербург

Воскресенье

Я надеюсь, любезнейший Владимир Иваныч, что вы уладите дело и что сегодня же будет отправлено приглашение к гр. Толстому[1]. Его присутствие на обеде будет двояко полезно, здесь, *en haut lieu**, оно оградит все дело от глупых и недоброжелательных нареканий, а там, за границею, оно придаст ему тот оттенок официальности, который все-таки желателен.

Мне всегда казалось крайне наивным толковать о стихах как о чем-то существенном, особливо о своих собствен-

---

* в высших сферах (*фр.*).

9 Зак. 7509

ных стихах. — Но если вы в самом деле хотите, чтобы мои вирши были читаны, то и надобно их и читать в том смысле, в каком они были написаны, т. е. в смысле *первого* приветствия. Гостей же встречают приветствием при их появлении, а не под конец беседы, и потому вышереченные вирши должны бы, мне кажется, быть читаны тотчас после вашей речи[2].

Но все это, конечно, не разрешит еще славянского вопроса. Простите — до свидания.

Ф. Тютчев

123. М. Н. КАТКОВУ

8 мая 1867 г. Петербург

Петербург. 8 мая 1867

Милостивый государь Михаил Никифорович,

Барон Бюлер по возвращении из Москвы был у меня и сообщил мне то, что вы поручил<и> ему передать мне. Вот ва<м> мой ответ: допуская возможность самых невероятных, самых неожиданных разоча<ро>ваний — я, уверяю вас, ник<огда> не смущался мыслию, что придется разочароваться и в вас... Не знаю всл<едствие> каких сплетней — воль<ных> или невольных — злон<амеренных или> благонамеренных, — вы мог<ли>, почтеннейший Михаил Никифорович, заподозрить меня в таком фантастическом извращении всех моих понятий и убеждений касатель<но> вас, — но я совершенно убежден, что даже и из противников ваших никто еще серьезно не допускал, чтобы вы были способны на что-либо сознательн<о> неблагородное, недостойное вас...

Мне как-то <с>транно и дико кажется, <ч>то я поставлен в не<обхо>димость заявлять перед вами подобную profession de foi*. — Тут есть какое-то прекуриозное недоразумение.

Нет, человек, которому, как вам, было дано оказать и оказывать на все современное поколение такое благотворно-громадное, историческое влияние — нет, этот челове<к> немыс-

* философию, кредо (*фр.*).



лим без высокого нравственного достоинст<ва>, без несомненной чистот<ы> духовной.

Впрочем, я скоро е<ду> в Москву, если только мои недуги, одолевающие меня вот уже более шести недель, наконец отпустят, — и тогда, почтеннейший Михаил Никифорович, при первой же встрече с вами мне легко будет — даже и без слов — убедит<ь> вас в моем неизменном, глубоко сознательном уважении и соверш<ен>но искренней преданност<и>.

Прошу напомнить <мил>ой, дорогой Софье Пе<тро>вне об ее постоянном <почи>тателе.

Ф. Тютчев

124. И. С. АКСАКОВУ

10 мая 1867 г. Петербург

Петербург. 10 мая 1867

Мы теперь в полном славянском или даже всеславянском разгаре[1]. До сих пор все обстоит благополучно. Гости наши, очевидно, ничего подобного себе не воображали. Они не только поражены, но тронуты и умилены общим, можно сказ<ать>, народным приемом и угощением. Теория пана Духинского оказывается вполне несостоятельною[2].

Из здешних <газет>* вы узна́ете почти все, но вот чего в них нет. — Когда *Трепов*[3] спрашивал государя, в какой мере допускать заявления в честь славян, ему было отвечено: *чем умнее, тем лучше*. — Когда гр. Толстой, министр просвещения, просил разрешения принять приглашение на обед, даваемый славянам[4], ему было сказано: ты *должен* быть на этом обеде... Сам Толстой дает им обед у себя, разделив их на две категории[5], за неимением места. Государь, говорят, примет их[6] — или, по крайней мере, некоторых из них. — Все это довольно хорошие признаки. Но вы знаете, у нас во всем преобладает метеорология. Сегодняшняя хорошая погода нисколько не ручается за завтрешний день... Там, где нет *со-*

* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.

знательной мысли, там не может быть и последовательности... Но вот что при первой же встрече, при первом соприкосновении дало себя электрически почувствовать: это отсутствие общего языка. Этот многовековый факт разразился каким-то неожиданным, внезапным, всепотрясающим откровением — всем как-то стало страшно неловко — тою неловкостию, которую чувствовали, вероятно, на другой день после столпотворения Вавилонского. Вот где *ключ* позиции — и им-то надо завладеть во что бы ни стало... Надеюсь, что у вас, в Москве, все усилия будут устремлены именно на это... Это для Славянского дела, для славян вообще, будет вторым даром слова, без коего они, в отношении друг к другу, сами становятся настоящими *немцами* и, к довершению позора, выходят из этой немоты не иначе, как усвоением языка так называемых немцев. Увидим, сознание этого страшного вопиющего зла будет ли довольно глубоко, чтобы оказаться производительным, плодотворным. Вся будущность зависит от этого. С нашей стороны в содействии недостатка не будет, лишь бы они предъявили положительный запрос.

Вообще от славян будет зависеть определить мерою своей восприимчивости меру нашего воздействия. Словом сказ<ать>, чтобы изо всего этого вышел какой-нибудь толк, надобно, чтобы они воротились от нас проникнутые до мозгу сознанием, что они — *дроби*, а Россия — знаменатель, и только подведением под этот знаменатель может осуществиться сложение этих дробей.

Посылаемые при сем стихи могли бы быть прочитаны при *тосте* в память *Ганки*[7].

125. Я. Ф. ГОЛОВАЦКОМУ

12 мая 1867 г. Петербург

С.-Петербург. 12-ое мая 1867

Из всего сказанного и читанного на вчерашнем обеде ничто так заживо не задело русского сердца, как ваше задушевное русское слово[1], почтеннейший Яков Федорович...

Да, одно уже это слово, это все выстрадавшее и все пережившее русское слово, есть своего рода трофей. Знамя изорвано, но не побеждено, и вы свято сберегли его на вашей израненной груди.

Не может быть, чтобы вам одним, русским галичанам, изменило слово Священного писания: претерпевый до конца, той спасен будет[2] — а кто так претерпел до конца, как вы?..

Нет, ваше возвращение к России несомненно и неминуемо, и — верьте мне — только с этого воссоединения начнется решительный поворот к лучшему в судьбах целого Славянского мира.

Извините, любезнейший Яков Федорович, что я за болезнию не успел до сих пор побывать у вас и лично поблагодарить вас за ваше дорогое посещение. Надеюсь встретиться сегодня с вами за обедом у графа Толстого[3].

Вам, милостивый государь,

и всем вашим душевно и искренно преданный

Федор Тютчев

126. И. С. АКСАКОВУ

16 мая 1867 г. Петербург

СЛАВЯНАМ

Man muß die Slaven an die Mauer drücken*[1]

Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмем!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!..

Да, стенка есть — стена большая, —
И вас не трудно к ней прижать.
Да польза-то для них какая?
Вот, вот что трудно угадать.

* Славян должно прижать к стене (*нем.*).

Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала, —
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла...

Ее не раз и штурмовали —
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри...

Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой:
Она не то чтоб угрожала,
Но... каждый камень в ней живой.

Так пусть же бешеным напором
Теснят вас немцы и прижмут
К ее бойницам и затворам, —
Посмотрим, что́ они возьмут!

Как ни бесись вражда слепая,
Как ни грози вам буйство их, —
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнет она своих.

Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет.

16 мая 1867 г.

Вот вам, любезнейший Иван Сергеич, окончательное издание этих довольно ничтожных стихов, уже, вероятно, сообщенных вам Ю.Ф. Самариным[2].

Не смейтесь над этою ребячески-отеческою заботливостью рифмотворца об окончательном округлении своего пустозвонного безделья.

Сегодня писать к вам не буду. Вам теперь не до писем. Живые впечатления о петербургском угощении вам уже переданы очевидцами. Сами гости налицо. Желаем и надеемся, чтобы Москва превзошла нас — по крайней мере она их физически отогреет от здешней стужи. — Я все еще без ног. Бу-

ду писать к вам с Ваней, который, кончив экзамены, отправляется к вам в Москву[3]. Вас и жену вашу обнимаю.

Тчв

127. И. С. АКСАКОВУ

20 мая 1867 г. Петербург

Петербург. Суббота. 20 мая

Вы, конечно, любезнейший Иван Сер<геич>, прочли уже манифест польск<ой> эмиграции из П<а>р<и>жа против Славянс<кого> съезда в Москве[1]. — Мне казалось бы совершенно своевременным воспользоваться этим случаем, чтобы очень просто, но очень положительно, в кругу представителей всего славянства, заявить наше отношение к польскому вопросу... а именно, высказать нечто подходящее к следующему.

Есть польское племя — и польская история, т. е. та история, которая не только держала под спудом это племя, но всячески насиловала и искажала и наконец довела поляков до их настоящего безобразного абсурда, и тут несколькими резкими чертами определить рельефно это положение, логически вытекающее из всего его прошедшего: выставить, какую роль в данную минуту разыгрывают поляки везде, где только они ни сталкиваются с славянским делом, в Турции, в Австрии, в Западной Европе в лице эмиграции — и у себя дома в отношении к русским, живущим вне русского крова.

С этою Польшею никогда и никакого примирения быть не может и не будет — не потому только, что она полнейшее отрицание России, но что она точно такое же отрицание всего славянства, что мы теперь на опыте видим. Польскому же племени мы готовы сочувствовать, как всем прочим племенам славянским, лишь бы они высвободились из-под своей антиславянской истории. Все это, знаю, было тысячу раз высказано, но не мешает повторить то же самое и при теперешней оказии — и громко повторить во общее всеуслышание, ***что Россия для примирения своего с поляками не***

ждет и не требует, чтобы они сделались русскими, а чтобы они сделались славянами — чтобы славянская Польша окончательно заменила латинскую. — Конечно, желательно было бы, чтобы подобное заявление перед лицом представителей всего славянства подкреплено было тут же их гласным, единодушным и *мотивированным* одобрением. — Подумайте об этом, Иван Сергеич, поговорите с Ю.Ф. Самариным и кн. Черкасским. Мне кажется, такого рода *profession de foi** была бы своевременна. Это бы несколько озадачило Запад, да и на польскую партию могло бы подействовать *разлагательно.*

Весь ваш

Ф. Тчв

128. А. А. КРАЕВСКОМУ

Май 1867 г. Петербург

Вы, почтеннейший Андрей Александрович, за клуб дыма платите прекрасною и богатою существенностию[1]. Благодарю вас от души. — Столь же усердно благодарю за ежедневное удовольствие, доставляемое мне «Голосом». И не на меня одного эта газета производит такое освежительное и укрепляющее действие. Еще раз благодарю усердно.

Вам душевно преданный

Ф. Тютчев

129. Н. И. ТЮТЧЕВУ

8 июня 1867 г. Петербург

Петербург. 8 июня

Друг мой, друг Николушка. Мне кажется, что все враждебные, нечистые силы сговорились и дружно действуют, чтобы не допускать меня до вас. Я имел все право надеяться, что завтрешний день[1] мы проведем вместе, но расчет был сделан без хозяина, а хозяин оказывается очень нелюбезным за

* декларация убеждений (*фр.*).

все это последнее время. Вот уж скоро два месяца, что я занемог, и до сих пор не хожу, а волочу ноги. Бедная жена моя также не может оправиться после своей страшной болезни[2]. Ей для этого необходима перемена воздуха, и поэтому она сбиралась в самом начале месяца выехать отсюда. Но тут как нарочно заболел Дмитрий[3] — и он-то теперь главное препятствие к их отъезду, который, впрочем, надеюсь, все-таки на днях состоится. Я сбираюсь проводить жену до Москвы, но на этот раз мне нельзя будет пробыть с вами долго, так как я сбираюсь приехать на долгий срок в Москву к тому времени, как Анне придется родить.

С каждым днем все осязательнее чувствуется, что настала та пора, когда так трудно и нерадостно живется, — *годы ушли, ваше превосходительство*, как говорил мне старый знакомый мне сторож в нашем Министерстве, ушли и унесли все, чем жилось. — Хоть бы, по крайней мере, уходя, они не развели тех, кому было бы так естественно доживать вместе, а то мы с тобою, как два корабля, которые дали себя затереть льдами в большом расстоянии один от другого.

Меня все здешние доктора единодушно хотели было отправить за границу, в *Тёплиц*, но я решительно от этого отказываюсь. Было время, года четыре тому назад[4], что я отправился бы лечиться хоть на край света, но тогда я был *не один* — и для меня не было даже и возможности одиночества...

Но для праздничного письма мое как-то слишком ретроспективно — а прошлое вспоминать с некоторою отрадой можно еще на словах, а не в письме. Итак, прости, до свидания. Сохрани тебя Господь Бог и помилуй.

Ф. Тчв

130. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

13 июня 1867 г. Петербург

Pétersbourg. Mardi. 13 juin

Voici d'abord le bulletin de Dima[1], tel qu'il m'a été dicté par son médecin homéopathe: pas de fièvre, faiblesse moindre,

la douleur diminuée dans la main gauche, etc. etc., en un mot une certaine amélioration, avec la chance de pouvoir dans une huitaine de jours être transporté à Oranienbaum... Tout cela n'empêche pas que l'état de ce pauvre garçon, plus encore au moral qu'au physique, de ces 26 ans condamnés à une existence de vieillard, ne me navrent le cœur. On a, p<ar> la recommandation du médecin, enlevé les doubles fenêtres dans sa chambre à coucher pour donner plus d'air à son appartement. Je multiplie mes rentrées à la maison pour le voir plus souvent, ce qui n'empêche pas qu'il n'ait des heures de solitude qu'il passe dans un état de somnolence et de transpiration continuelle.

Hier nous avons été à la gare, Madame Акинфьев en tête, recevoir notre cher Prince jubilaire — que nous allons fêter aujourd'hui[2]. J'avais lu le matin son compte rendu de la conversation intime qu'il avait eu avec l'Emp<ereur> Napoléon[3]. C'est de l'eau claire, et la première conversation venue entre deux individus, n'importe lesquels, aura juste le même degré d'efficacité et d'influence sur l'état des questions pendantes que ce dialogue, soi-disant politique, dont le cher Prince a fait à peu près tous les frais. En un mot, c'est niais, comme tout le reste... On parle de la démission offerte par deux Ministres, *Милютин* et *Зеленый*, ce qui s'explique tout naturellement[4]. Une troisième demande de démission c'est celle de notre ambassadeur à Constantinople[5] — qui se juge trop compromis par l'absence de toute direction sérieuse de notre politique en Orient. — Il n'y a pas de mots, pour qualifier dûment et dignement toutes ces écrasantes nullités qui s'agitent au pouvoir. — Maintenant voici des nouvelles pour toi. — Ta disparition a produit en moi comme un redoublement de vide, et l'heure du réveil en est devenue encore plus angoissée... Hier dans la matinée j'ai eu un long tête-à-tête avec Mad<ame> Акинфьев, et le soir j'ai été aux Iles, chez la P<rinc>esse H<élène> Кочубей. Et c'était le cas d'appliquer le dicton russe: «Утро вечера мудренее». — Merci de votre exactitude télégraphique. Puissent les nouvelles suivantes être de même nature. — Conserve-toi — c'est p<our> le moment mon unique soucis.



Перевод:

Петербург. Вторник. 13 июня

Вот прежде всего бюллетень о состоянии здоровья Димы[1], таков, как он мне был продиктован его врачом-гомеопатом: отсутствие лихорадки, уменьшение слабости и боли в левой руке и т. д. и т. д., одним словом, некоторое улучшение, подающее надежду на то, что через неделю он сможет быть перевезен в Ораниенбаум. Несмотря на все это, положение бедного мальчика, еще более с нравственной стороны, чем с физической, в двадцать шесть лет обреченного на существование старика, раздирает мне душу. По совету врача в его спальне вынули двойные рамы, чтобы дать воздуху свободный доступ в его комнату. Я учащаю свои возвращения домой, чтобы больше его видеть, и тем не менее у него бывают часы одиночества, которые он проводит в дремоте и постоянной испарине.

Вчера мы, с госпожой Акинфиевой во главе, ездили на вокзал встречать нашего милого князя-юбиляра, которого мы будем чествовать сегодня[2]. Утром я прочел его отчет о личном разговоре, который он имел с императором Наполеоном[3]. Это переливание из пустого в порожнее, так что любой разговор между двумя первыми попавшимися людьми мог бы в той же мере содействовать решению назревших вопросов, как сей мнимо политический диалог, тяжесть которого легла почти исключительно на плечи милейшего князя. Одним словом, это не менее глупо, чем все остальное. — Поговаривают о том, что два министра, *Милютин* и *Зеленый*, подали в отставку, что совершенно естественно[4]. Третье прошение об отставке было подано нашим послом в Константинополе[5], который считает себя сильно скомпрометированным отсутствием всякого серьезного направления в нашей восточной политике. — Не хватает слов, чтобы надлежащим и достойным образом определить всех этих угнетающе ничтожных людишек, суетящихся во власти. — А теперь новости для тебя. Твое исчезновение как бы удвоило живущее во мне ощущение пустоты, которое делает особенно тоскливыми часы

пробуждения... Вчера утром я долго беседовал наедине с госпожой Акинфиевой, а вечером был на Островах у княгини Елены Кочубей. Вот подходящий случай вспомнить русскую пословицу: «Утро вечера мудренее». — Благодарю тебя за твою телеграфическую точность. Лишь бы последующие известия были такого же свойства. — Береги себя — это в данную минуту моя единственная забота.

131. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

14 июня 1867 г. Петербург

St-P<étersbourg>. 14 juin

C'est encore à Moscou que je t'adresse cette lettre dans l'espoir qu'elle pourra encore t'y trouver. — Je suis heureux de pouvoir te dire en l'honneur de jour de la fête de Dima que le pauvre garçon va beaucoup mieux, et que le médecin qui l'a vu hier lui a dit qu'il pourrait sortir demain, en voiture. Hier et avant hier toute la famille Melnikoff[1] l'a visité et lui a promis de revenir aujourd'hui. — C'est après demain qu'elle se transporte à Oranienbaum où j'espère pouvoir sous peu de jours leur amener leur enfant d'adoption.

Hier a été célébré le jubilé — puisque c'est ainsi que cela s'appelle — du cher Prince[2]. A onze heures nous étions tous réunis dans la chapelle du Ministère où se sont dites les prières, après quoi nous nous sommes transportés dans les grands appartements où était déposé le fameux *album*, contenant 460 portraits, tous perdus pour la postérité. Là, au milieu d'un cercle, formé autour du jubilaire, son adjoint Westman a lu l'adresse. Mais jusqu'à ce moment pas la moindre nouvelle de sa nomination de Chancelier. On se livrait à toute sorte de conjectures, l'incertitude devenait angoissante, lorsque tout à coup, au milieu de ce silence qui devenait embarrassant, une voix ferme et claire a annoncé l'arrivée d'un rescrit Impérial. C'était sous forme de dépêche télégraphique un billet très affectueux de l'Emp<ereur>, lui annonçant sa nomination au titre de Chancelier... Jomini en a fait la lecture, et pendant qu'il lisait, je regardais la bonne figure de ce pauvre cher vieux, arrivé au *comble des honneurs* et n'ayant dans

ce genre-là plus rien en perspective que les magnificences d'un enterrement de Chancelier — il avait de la peine à refouler ses larmes. — Et ce qui prouve, combien c'est une nature bonne et sympathique, c'est qu'autour de lui l'attendrissement était général... Quand je me suis approché de lui, pour le féliciter, nous nous sommes embrassés comme deux pauvres. — Aujourd'hui je dîne chez lui, et j'aurai des détails sur la réception des dames.

Je voudrais bien savoir, comment tu vas, et si tu parles toujours encore du nez, autant que tu le faisais ici. — Salue tout le monde de ma part et préviens ceux, à qui tu as pu communiquer mes nouvelles d'hier, qu'elles sont très sujettes à caution[3].

Que Dieu te garde.

Перевод:

С.-Петербург. 14 июня

Это письмо я опять-таки посылаю тебе в Москву в надежде, что оно еще застанет тебя там. — Я очень рад возможности ознаменовать день рождения Димы сообщением, что бедному мальчику гораздо лучше и что доктор, осматривавший его вчера, разрешил ему прокатиться завтра в карете. Вчера и третьего дня к нему всею семьей заходили Мельниковы[1] и обещались вновь навестить его сегодня. — Послезавтра они переезжают в Ораниенбаум, куда я надеюсь вскорости доставить им их приемное чадо.

Вчера был отпразднован юбилей — ибо так это называется — милейшего князя[2]. В одиннадцать часов мы все собрались в церкви Министерства, отстояли молебен, после чего перекочевали в парадные апартаменты, где был выставлен пресловутый *альбом*, содержащий 460 портретов, ни один из которых ничего не скажет потомкам. Тут присутствующие столпились вокруг юбиляра, и его помощник Вестман прочел адрес. Однако все еще не было никакого сообщения о назначении князя канцлером. Строились всевозможные догадки, неизвестность становилась тягостной, как вдруг, среди общего неловкого молчания, твердый и чистый голос возвестил о прибытии императорского рескрипта. Это была очень

сердечная телеграмма государя, объявляющая юбиляру о даровании ему звания государственного канцлера... Жомини прочел ее вслух, и, пока он читал, я смотрел на доброе лицо бедного милого старика, который достиг *вершины почета* и не может ожидать ничего более в том же роде, кроме великолепных похорон, подобающих канцлеру, — он с трудом удерживал слезы. И все вокруг него были растроганы, что доказывает, какая это хорошая и симпатичная натура... Когда я подошел к нему с поздравлениями, мы обнялись, как два бедняка. — Сегодня я буду обедать у него и расспрошу в подробностях о встрече с дамами.

Мне хотелось бы знать, как твое здоровье, и если ты все еще говоришь в нос, то с равным успехом ты могла бы делать это здесь. — Кланяйся всем от меня и предупреди тех, кому вздумаешь передать мои вчерашние новости, что они нуждаются в проверке[3].

Да хранит тебя Господь.

132. А. Ф. АКСАКОВОЙ

21 июня 1867 г. Петербург

St-P<étersbourg>. Mercredi. 21 juin 1867

On dirait, ma fille chérie, que nous nous sommes entièrement perdus de vue. Et cependant rien n'est moins vrai, et je suis plus que jamais impatient de te revoir. J'aspire à me retrouver entre ton mari et toi sous les ombrages bien connus du jardin *Pogodine*[1], enveloppé, au physique et au moral, de cette atmosphère d'été de Moscou qui m'est si chère, où il y a tant d'air, de lumière et de sons de cloche. J'ai hâte d'aller ressaisir tout cela, toi y comprise — et je n'attends que le départ très prochain de *Valoujeff*, pour m'en aller[2]. — Je me sens très seul ici en ce moment. Hier Dmitry même m'a quitté, pour aller s'établir à Oranienbaum, sous l'aile des Melnikoff[3] — et ce dernier départ a complété mon isolement, en dépit de toutes les courses, invitations à dîner, etc. Je suis un peu comme un homme qui, tout habillé qu'il est, se sentirait nu, parce qu'il n'aurait pas de chemise sur le corps...

Mais passons à des choses moins personnelles et plus intéressantes... Le retour du P<rinc>e Gortchakoff et tout ce que j'ai appris de lui m'a confirmé dans mes appréciations antérieures[4]. — La visite à Paris avec tout cet accompagnement de fêtes et d'incidents[5] n'a été après tout qu'une fantasmagorie historique qui n'a eu aucune prise, mais pas la moindre, sur les faits contemporains, et qui, néanmoins, n'a pas manqué d'un certain caractère et d'une certaine portée. L'impression personnelle, produite par l'Empereur sur les masses françaises, a été très réelle, en dépit de toutes les préventions et de tous les mensonges... Cela n'aura, comme de raison, aucun résultat pratique dans le moment donné, mais il aura été constaté une fois de plus qu'il existe une affinité entre le fond humain de la nature russe, dont l'Emp<ereur> certainement est l'un des meilleurs représentants, et les quelques bons instincts qui survivent encore dans le peuple en France. Le voisinage de l'élément allemand n'aura pu que faire ressortir encore davantage par le contraste cette affinité[6]. — Mais tout ceci n'aura aucune action immédiate sur les événements qui se préparent, portant avec eux toute sorte de crises et de calamités — et qui feront un jour apparaître dans une si singulière lumière toutes ces fêtes babyloniennes qui les auront précédées... La Providence, en grande artiste qu'elle est, nous ménage là un effet de théâtre des plus saisissants...

La société est minée et c'est au-dessus de cette mine, déjà toute chargée, que se produisent tous ces simulacres d'une humanité triomphante dans sa civilisation, en s'embrassant dans la paix et la fraternité... Témoin, l'attitude des gouvernements européens vis-à-vis de ce qui se passe en Orient, au moment où l'on se dispose à fêter le Sultan à Paris et à Londres[7] — ceci est le fait des pouvoirs... et témoin — quant aux peuples — la révélation de ce régime d'assassinats, à la manière polonaise, qui vient d'être signalé dans les rangs de la classe ouvrière de l'Angleterre[8], la même classe qui va sous peu devenir la maîtresse du pays.

Voilà certes des sujets d'articles à perte de vue pour la *Москва* qui va renaître, et dont ici tout le monde attend la résurrection avec impatience...[9] C'est une voix dont le silence même était écouté, et dont on aura d'autant plus de plaisir à entendre la

parole et l'accent... Il me semble que dans les circonstances données il sera facile à la *Москва* d'éviter les écueils les plus dangereux. — En effet, plus que jamais la question à l'ordre du jour est la question slave qui dans son infinie variété embrasse et enveloppe toutes les autres, et sur ce terrain-là on peut impunément se donner libre carrière.

Cette question, malgré son impersonnalité apparente, est la plus intérieure, la plus intime de nos questions et touche à tout et à tous... La présence des Slaves parmis nous[10] a mis en lumière bien des choses dont l'une qui n'est pas la moins curieuse, c'est l'analogie d'impressions, produites par le fait de leur présence sur les éléments en apparence les plus discordants de notre société — le *high life* administratif de Pétersb<ourg> et le résidu du parti nihiliste... conformité dans la manière de voir certaines questions — pleine de révélations et d'enseignements...

On parle toujours beaucoup ici de la double démission[11] du Ministre de la Guerre, qui serait remplacé par Albédinsky, et du Ministre des Domaines... le sens de tout ceci est très clair. — C'est la même influence qui va gagnant du terrain... Mais tout ceci n'a pas le moindre avenir, car ce n'est pas même de la réaction qui d'ailleurs n'aurait aucune raison d'être, c'est tout bonnement de l'intrigue...

Dieu, ma fille, que ma lettre a dû vous ennuyer et qu'elle doit vous faire redouter ma présence. Mais tu sais bien que la présence vivante est toujours moins monologue que *l'écriture* — tu verras. En attendant, que Dieu te garde.

A toi de cœur.

Перевод:

С.-Петербург. Среда. 21 июня 1867

Складывается впечатление, милая моя дочь, что мы с тобой совсем отдалились друг от друга. Однако это отнюдь не так, и меня более чем когда-либо одолевает желание тебя видеть. Я мечтаю опять сидеть рядом с тобою и твоим мужем под привычною сенью *погодинского* сада[1], объятый, физически и духовно, той атмосферой московского лета, столь мною

любимой, где столько воздуха, света и колокольного звона. Мне не терпится вновь обрести все это, включая тебя, — и я жду только близкого отъезда *Валуева*, чтобы уехать самому[2]. — Сейчас мне здесь страшно сиротливо. Вчера даже Дмитрий укатил от меня в Ораниенбаум, под крылышко Мельниковых[3] — и после этого последнего отъезда мною уже совершенно завладело ощущение одиночества, не прогоняемое никакой суетой, никакими приглашениями на обеды и т. д. Я немного похож на человека, который, будучи при полном параде, чувствует себя голым, потому что на нем нет нательной рубашки...

Но поговорим о предметах менее личных и более занимательных... Все, что я узнал от вернувшегося князя Горчакова, утвердило меня в моих прежних оценках[4]. — Визит в Париж, со всеми сопутствовавшими ему празднествами и происшествиями[5], в конечном счете был не чем иным, как исторической фантасмагорией, никоим образом не повлиявшей на современное положение вещей, но не лишенной, тем не менее, определенного своеобразия и определенной значительности. Французы по-человечески очень верно оценили государя, несмотря на всевозможные предостережения и наветы... Это, разумеется, не могло бы дать сейчас никаких практических результатов, только лишний раз продемонстрировало, что есть родство между человечной сущностью русской натуры, коей наш государь безусловно является одним из лучших представителей, и теми добрыми инстинктами, которые еще живы во французском народе. В соседстве с германским элементом это родство, по контрасту, выказалось особенно ярко[6]. — Но все это не окажет никакого прямого воздействия на грядущие события, чреватые всякого рода кризисами и катастрофами, в свете которых столь странно будут выглядеть все эти вавилонские празднества, им предшествовавшие... Провидение, со свойственным ему великим артистизмом, приберегает для нас один из самых поразительных театральных эффектов...

Под общество заложена мина, и вот на этой уже готовой взорваться мине разыгрывается комедия, в которой торжест-

вующее в своей цивилизованности человечество обнимается в мире и братском согласии... Свидетельство тому — отношение европейских правительств к событиям на Востоке в момент, когда в Лондоне и Париже готовятся чествовать султана[7], — это на уровне власти... и еще одно свидетельство — уже со стороны народа — раскрытие очага покушений, на манер польских, только что полыхнувшего в рядах рабочего класса Англии[8], того самого класса, который в недалеком будущем станет хозяином страны.

Вот о чем нужно писать и писать «Москве», чьего близкого воскрешения все здесь ждут с нетерпением...[9] Это голос, к молчанию которого и то прислушивались, так представьте, с какой радостью воспримут его слово и интонацию... Мне кажется, что при данных обстоятельствах «Москве» будет легко избежать самых опасных подводных камней. — Ведь злобой дня сейчас, более нежели когда-либо, является славянский вопрос, который в своем бесконечном разнообразии обнимает и охватывает все другие, и вот на этой-то ниве можно безбоязненно развернуться.

Несмотря на кажущуюся свою безличность, вопрос этот — наиболее глубинный, наиболее прочувствованный из наших вопросов и затрагивает всех и вся... Приезд к нам славян[10] высветил много любопытного, и особенно поражает сходство впечатлений, произведенных их присутствием на самые, по видимости, непримиримые элементы нашего общества — на административную *high life** Петербурга и на остатки нигилистической партии... совпадение во взглядах на некоторые вопросы — в высшей мере разоблачительное и поучительное...

Здесь по-прежнему много говорят о двойной отставке[11] — военного министра, на чье место прочат Альбединского, и министра государственных имуществ... все это совершенно понятно. — Тут действуют те же пресловутые силы, которые норовят укрепить позиции... Но все это не имеет никакого будущего, ибо это даже не реакция, для которой, притом, нет ни малейших оснований, это просто-напросто интриги...

---

* верхушку (*англ.*).



Боже, какую скуку я наверно нагнал на тебя, дитя мое, своим многословием и с каким страхом ты теперь должна ожидать моего появления. Впрочем, ты прекрасно знаешь, что живая речь всегда бывает менее монологической, чем *письменная*, — и получишь тому подтверждение. А до тех пор — да хранит тебя Господь.

Сердечно твой.

133. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

24 июля 1867 г. Москва

Moscou. Lundi. 24 juillet 1867

Nous sommes toujours encore dans l'attente de l'événement qui m'avait paru imminent le jour de mon arrivée — mais qui, dans tous les cas, tarde beaucoup[1]. Je vais voir les Aksakoff tous les jours — et par une belle journée j'aime assez ce but de promenade où l'on trouve, en y arrivant, un vaste jardin, des chambres spacieuses et claires, les dépêches télégraphiques du jour, et la certitude d'une conversation intelligente... C'est assurément ce qui manque le moins à Moscou, dans le milieu où je vis. J'ai revu Katkoff avec tout son monde — j'ai passé, l'autre jour, deux heures chez Samarine, à me faire lire par lui un morceau très remarquable, destiné à figurer, à titre d'introduction, en tête du second volume des œuvres de *Хомяков*, imprimé à Prague, — et... j'ai dîné une fois chez les Odoeffsky, avec la P<rinc>esse Dolgorouky, ci-devant *Bode*, qui, ainsi que la Pr<incesse> Odoeffsky, avait été prendre congé de l'Empereur, et sont rentrées, l'une et l'autre, très péniblement impressionnées de sa mauvaise mine... Hier, dimanche, à l'issue de la messe, nous sommes allés, ainsi qu'il en avait été convenu, prendre le thé chez Mr Jean... J'ai rencontré là son fidèle ami le G<énér>al Кулебякин qui a positivement décliné les remerciements que je voulais lui faire au sujet de Mr Jean, et m'a déclaré que dans leur association tous les bénéfices étaient pour lui. — Je ne demande pas mieux. Il est évident que, politesse à part, l'excellent G<énér>al prend son jeune ami tout à fait au sérieux, et ceci, comme tu penses bien, ne contribue pas médiocrement à cimenter leur ami-

tié. — Le soir me ramène habituellement au Club où mon frère, depuis des six heures, m'attend, comme une âme en peine, avec une anxiété périodique dont les premiers témoignages me sont dès l'antichambre communiqués par les domestiques du Club. — Hier, cependant, je lui ai fait faux bond, parce que, la soirée étant particulièrement douce et agréable, je me suis attardé dans la société de *Щебальский* à la promenade de Sokolniki où nous sommes allés entendre la musique de l'orchestre du P<rinc>e Gallitzine[2], personnage très honoré et très populaire à Moscou — figure magnifique et bon diable.

Le 5 du mois prochain on célébrera, au couvent de Troïtza, le jubilé du Métropolitain de Moscou, et je compte m'y transporter, dès la veille, en compagnie de Сушков et de mon ancien ami *Бодянский* que je n'ai plus vu depuis des siècles. Le jubilé en question en vaut bien d'autres, et je suis très curieux d'y assister. — Je me garderai bien de l'illustrer de ma poésie, comme on me l'avait demandé. — A propos de vers, voici un quatrain qui a été dernièrement envoyé à lady Buchanan[3] à l'occasion de la réception, faite au Sultan à Londres:

Lorsqu'une noble Reine, en ces jours de démence,
Décora de sa main le bourreau des chrétiens, —
Pourra-t-on dire encore, ainsi qu'aux temps anciens:
«Honni soit qui mal y pense»?[4]

Voici une lettre parfaitement vide, c'est faute d'une lettre à toi. A travers tout, je me sens constamment inquiet — et très découragé. — J'embrasse Marie et serre la main à Birileff. — Ah, que Dieu te garde.

T. T.

Перевод:

Москва. Понедельник. 24 июля 1867

Мы все еще не дождались события, которое казалось мне неизбежным в день моего приезда — но которое, в любом случае, сильно задерживается[1]. Я ежедневно хожу навещать Аксаковых — и с величайшим удовольствием проделываю при



солнышке этот путь, в конце которого тебя ждет обширный сад, просторные светлые комнаты, свежие телеграфические депеши и непременность умного разговора... Это, конечно, то, чего меньше всего недостает в Москве, в среде, где я вращаюсь. Я повидался с Катковым и всем его окружением — давеча я провел два часа у Самарина, слушая в его чтении крайне интересный очерк, написанный как предисловие ко второму тому пражского издания сочинений *Хомякова* — и... один раз я обедал у Одоевских вместе с княгиней Долгорукой, бывшей *Боде*, которая, так же как и княгиня Одоевская, незадолго перед тем распрощалась с государем, чей нездоровый вид произвел и на ту и на другую тяжелое впечатление... Вчера, в воскресенье, мы, как было условлено, отправились после обедни пить чай к Ване... Я встретил там его верного друга генерала Кулебякина, который наотрез отказался слушать мои благодарности за проявляемую им к Ване доброту и заверил меня, что в их товариществе он сторона одариваемая, а не дарящая. — Этого мне вполне достаточно. Очевидно, что, даже со скидкой на учтивость, генерал принимает своего юного друга совершенно всерьез, а это, как ты понимаешь, немало способствует укреплению их дружбы. — Вечера у меня обычно сводятся к Английскому клубу, где мой брат уже с шести часов ожидает меня, слоняясь из угла в угол, как неприкаянный, и то и дело впадая в беспокойство, первый отчет о котором я получаю в передней от клубной прислуги. — Однако вчера я обманул его ожидания, так как, соблазнившись исключительной мягкостью и приятностью вечера, задержался в обществе *Щебальского* на променаде в Сокольниках, куда мы ходили слушать оркестр князя Голицына[2], личности очень уважаемой и очень популярной в Москве — красавца и добряка.

Пятого числа следующего месяца в Троице-Сергиевой лавре будут праздновать юбилей митрополита Московского, и я собираюсь отправиться туда накануне в компании Сушкова и моего старинного друга *Бодянского*, с которым я век не видался. Этот юбилей единственный в своем роде, и мне очень любопытно на нем побывать. — Только восславлять его

в стихах, как меня просили, я ни в коем случае не стану. — Раз уж речь зашла о стихах, то вот четверостишие, которое недавно было послано леди Бьюкенен[3] по случаю приема, оказанного в Лондоне султану:

Коль монархиня вдруг, в наше время шальное,
Палачу христиан славный орден вручит, –
Как же древний девиз тогда прозвучит:
«Позор узревшему в этом дурное»?[4]

Вот совершенно пустое письмо, ошибкою адресованное тебе. Как бы там ни было, я чувствую постоянную тревогу — и страшное уныние. — Обнимаю Мари и жму руку Бирилеву. — Господь с тобой.

Ф. Т.

134. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

7 августа 1867 г. Москва

Moscou. Lundi. 7 août

Non, mille fois non. Je ne peux pas, je ne veux pas me résigner à la paralysie de tes pieds et de tes mains. Je ne veux pas accepter, comme définitif, cet état d'impotence dont tu me parles dans ta lettre du 27 juillet, et qui devait disparaître tout naturellement par le progrès de la convalescence. — Je vois clairement à travers les demi-aveux que ce progrès est nul et que ton état, à tout prendre, a plutôt empiré qu'il ne s'est amélioré dans ces derniers temps. Je ne puis dire l'horrible inquiétude que tout cela me donne. Mais c'est une inquiétude morose, désespérée, et qui pèse sur moi comme un cauchemar. — Ce qui m'achève, c'est l'absurde incertitude où je vis ici relativement aux couches d'Anna. Tous les termes sont dépassés, et il n'y a plus un calcul raisonnable à faire, pour s'orienter. En attendant, Kitty et ma sœur s'en iront d'ici le 10 de ce mois, c'est-à-d<ire> jeudi prochain, et il faudra, Kitty partie, attendre l'arrivée de la vieille Mad<ame> Aksakoff[1], pour avoir une marraine pour cet enfant à naître. Tu vois d'ici cette interminable perspective de délais possibles et même probables. Je ne saurai te dire l'état d'exaspération où tout



cela me met et que je suis obligé de dissimuler. Ces délais compromettent non seulement ma course à Ovstoug, mais ils vont me mettre dans l'obligation de m'adresser à je ne sais plus qui à Pétersb<ourg>, pour demander un congé en forme, chose que j'avais espéré de pouvoir éviter. Tout cela ne serait qu'un demi-mal, si j'avais l'esprit tranquille sur ton compte, et si je ne sentais comme un abîme tout prêt à s'ouvrir entre toi et moi. Ah, je pensais que des angoisses de cette nature me seraient épargnées, et que rien ne viendrait ébranler la certitude où j'étais... de m'en aller d'ici d'auprès de toi... En te disant ceci, je te livre le spectre qui m'obsède sans relâche — et que je retrouve à poste fixe chaque fois que je suis livré à moi-même.

Tu sais que je me suis donné la distraction d'aller à Troïtza assister au jubilé du Métropolitain de Moscou[2]. C'était assurément une belle fête, d'un caractère tout particulier — très sollennelle et pas le moins du monde théâtrale, et vingt fois, en y assistant, j'ai pensé à Marie qui aurait vivement et excellemment apprécié ce que je voyais se passer sous mes yeux... Vous trouverez tous les détails de cette journée dans les journaux, avec le texte des adresses, discours, etc. Mais ce qui est difficile à saisir, à moins de l'avoir vu, c'est la physionomie qu'imprimait à tout cela l'individualité de l'homme qui était le héros de cette fête.

J'étais dans la salle de réception à deux pas du fauteuil, devant lequel il se tenait la plupart du temps debout, en recevant les adresses et félicitations qu'on lui offrait, — petit, frêle, réduit à la plus simple expression de son être physique, mais l'œil plein de vie et d'intelligence, et dominant par une force supérieure incontestable tout ce qui se passait autour de lui. — Quand il répondait, c'était la voix d'une ombre. Ses lèvres remuaient, mais la parole qui en sortait n'était plus qu'un souffle...

Devant toute cette apothéose il était parfait de simplicité et de naturel, et il avait l'air de n'accepter tous ces hommages que pour les transmettre à quelqu'un d'autre, à quelqu'un dont il n'était là que le mandataire accidentel. C'était très beau... C'était vraiment la fête de l'Esprit.

Le service divin avait été d'une magnificence et d'une ampleur remarquable. J'y ai assisté dans la grande église de

l'Assomption, aussi grande que celle de Moscou, — dans l'enceinte même de l'autel. — Six archevêques officiaient avec trois archiprêtres mitrés dont l'un était *Рождественский*[3] qui, par parenthèse, m'a bien recommandé de dire mille tendresses à Marie dont la dernière visite lui est restée très présente. — Tout l'intérieur de l'autel était comme une ruche sacrée, les abeilles de l'or le plus vif allant et venant avec toute sorte de bourdonnements profonds et mystérieux. — A deux heures on a servi le banquet pour deux cents convives, auquel pourtant le Monseigneur Philarète n'a point assisté. Son fauteuil est resté vide, à droite du fauteuil — les dignitaires laïques, à gauche — dix archevêques, arrivés exprès pour assister à cette festivité. Un diacre à la voix tonnante proclamant les santés, le second toast aux quatre patriarches d'Orient, et la chapelle du Métropolitain chantant des cantiques pendant toute la durée du repas.

On retrouvait dans tous les détails comme un cachet de l'église d'Orient. C'était grandiose et parfaitement sérieux...

— — — — — — — — — —

Mais tout cela ne fait pas que tu aies recouvré l'entier usage de tes mains et de tes pieds, et qu'il ne te reste encore dans le sang des traces de ton horrible empoisonnement. — Depuis trois jours le temps ici est d'une magnificence rare, et il est possible que tu en ressentiras la bonne influence... Quant à moi, je continue toujours à souffrir de mon mal habituel qui parfois s'exaspère d'une manière détestable. Mais tout ceci ne serait rien si je n'avais pas l'esprit incessamment bourrelé. Ah oui, je me sens bien triste.

Перевод:

Москва. Понедельник. 7 августа

Нет, тысячу раз нет. Я не могу, я не хочу примириться с тем, что руки и ноги плохо тебе повинуются. Я не хочу считать законной ту слабость, о которой ты говоришь в письме от 27 июля и которая, по естественному ходу вещей, должна была бы исчезать по мере выздоровления. — Я ясно читаю меж твоих строк, что ты нисколько не поправляешься и что в целом твое



состояние за последнее время скорее ухудшилось, чем улучшилось. Не могу выразить, какую страшную это поселяет во мне тревогу. Тревогу мрачную, отчаянную, душащую меня как кошмар. — А тут еще нелепая неизвестность относительно родов Анны, которая окончательно меня добивает. Все сроки давно прошли, и невозможно уже более полагаться ни на какие разумные расчеты. Между тем Китти и моя сестра уезжают отсюда 10-го числа сего месяца, то есть в ближайший четверг, и придется ждать прибытия старой госпожи Аксаковой[1], чтобы она заменила Китти в роли крестной матери ожидаемого ребенка. Ты видишь эту бесконечную перспективу возможных и почти неизбежных затяжек. Нет нужды говорить тебе, в каком я посему пребываю раздражении, не имея права его обнаруживать. Ведь эти затяжки не только срывают мою поездку в Овстуг, но в конце концов вынудят меня обратиться уж и не знаю к кому в Петербурге с просьбой о формальном отпуске, чего я надеялся избежать. Да это бы полбеды, если бы моя душа не болела за тебя и если бы у меня не было такого чувства, будто между тобою и мной вот-вот разверзнется бездна. Ах, не думал я, что мне предстоят беспокойства такого рода и что что-то способно поколебать мою уверенность... в отъезде отсюда к тебе... Ну вот я и познакомил тебя с призраком, который неотступно преследует меня — и возникает передо мной всякий раз, как я оказываюсь наедине с собой.

Ты знаешь, что я для отвлечения ездил к Троице на юбилей митрополита Московского[2]. Это был поистине прекрасный праздник совершенно особенного свойства — очень торжественный и отнюдь не театральный, и, присутствуя на нем, я двадцать раз принимался думать о Мари, которая живо и точно оценила бы то, что происходило у меня на глазах... Вы найдете в газетах все подробности чествования с текстами адресов, речей и т. д. Однако человеку, не бывшему его свидетелем, трудно ощутить ту атмосферу, которая создавалась личностью героя торжества.

Я находился в приемной зале в двух шагах от кресла, перед которым он почти все время стоял, принимая адреса и поздравления, — маленький, хрупкий, усохший до крайних пре-

делов своего физического существа, но со взором, полным жизни и ума, и возвышавшийся, благодаря несокрушимой нравственной силе, над всем происходившим вокруг него. — Когда он отвечал, создавалось впечатление, будто говорит тень. Губы его шевелились, но слова, слетавшие с них, были подобны дуновению...

Окруженный поклонением, он был совершенен в своей простоте и естественности и, казалось, принимал все эти почести лишь затем, чтобы передать их кому-то другому, чьим представителем он случайно оказался. Это было прекрасно... Это было поистине торжество Духа.

Богослужение отличалось необыкновенным великолепием и пышностью. Оно совершалось в большой церкви Успения, не уступающей размерами Успенскому собору в Москве, и я там присутствовал — прямо внутри алтарной ограды. Служили шесть архиепископов с тремя митрофорными протоиереями, из коих один был *Рождественский*[2], поручивший мне, мимоходом, передать самые сердечные приветы Мари, о последнем посещении которой он сохранил живейшее воспоминание. — Вся внутренность алтаря была подобна священному улью, ослепительно золотые пчелы сновали туда-сюда с глухим и таинственным жужжанием. — В два часа начался банкет на двести приглашенных, на котором, впрочем, высокопреосвященный Филарет даже не показался. Его кресло оставалось пустым, справа от кресла разместились светские сановники, слева — десять архиепископов, прибывших специально для того, чтобы участвовать в торжестве. Диакон громовым голосом возглашал здравицы — вторая чаша была поднята за четырех восточных патриархов, а митрополичий хор в продолжение всей трапезы пел хвалебные песни.

На каждой мелочи лежала печать восточной церкви. Это было величественно и совершенно серьезно.

Но все это не возвратит подвижности твоим рукам и ногам и не очистит твою кровь от следов ужасного отравления. — Последние три дня погода здесь на редкость чудесная,



и, возможно, ты чувствуешь ее благотворное влияние... Что до меня, то я продолжаю страдать от своего обычного недуга, который порою обостряется самым отвратительным образом. Но все это было бы пустяком, если бы не постоянные душевные терзания. Да, мне очень грустно.

135. А. Ф. АКСАКОВОЙ

15 августа 1867 г. Петербург

Pétersbourg. Mardi. 15 août 1867

J'ai toujours l'oreille aux aguets, et toujours préoccupé de la même question à t'adresser: ma fille Anna, ne vois-tu rien venir?[1] — Cependant, comme il est possible que tu sois encore sur pieds et *lesefähig*, c'est à toi que j'adresse ces quelques lignes.

Je voudrais bien pouvoir me flatter que ma rentrée précipitée à Pétersbourg n'a pas été inutile à vos intérêts, et qu'elle a réussi à conjurer la menace d'un second avertissement, suspendue sur la *Москва*. Mais je voudrais surtout vous faire sentir au vrai et au vif la position, telle qu'elle est, ce qui certes n'est pas facile, car elle est absurde d'outre en outre. Ainsi, p<ar> ex<emple>, l'excellent Похвиснев, ainsi que le gérant actuel du Ministère le P<rinc>e Лобанов, dans les pourparlers que j'ai eus avec eux à mon retour, se sont plaints à moi, non sans quelque tristesse, du souci que leur donnait la *Москва* par l'impétuosité de ses allures agressives qui leur paraissait de nature à mettre leur responsabilité à découvert[2]. C'est surtout un des derniers articles, au sujet de l'oukase supplémentaire sur la presse, qui les a particulièrement mis en émoi, comme on pouvait s'y attendre[3]. Cette fois encore <c'est non>* du fond de la question qu'il s'agit, mais bien de la forme et rien que de la forme. Ils auraient volontiers admis toutes les critiques possibles à l'adresse de la mesure, pourvu qu'elles eussent été présentées d'une manière moins piquante, moins incisive — et avec un certain accent de déférence banale et officielle envers l'autorité qu'ils se crurent obligés de maintenir à tout prix, tout en gémissant de cette obligation. Mais *livrée*

* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.

oblige[4], tout aussi bien que noblesse — et ils sont fermement persuadés que le salut du gouv<ernemen>t lui-même est fortement intéressé au maintien de cette étiquette-là... J'ai, comme de raison, saisi l'occasion, pour leur dire de bien rudes vérités sur le tort bien autrement grave que fait à la considération du gouvernement la manière inqualifiable dont l'administration de la presse est gérée, le manque absolu d'intelligence, comme d'honnêteté dans le maniement de l'arbitraire, cette complaisance servile ou intéressée pour les uns, et cette rigueur brutale pour les autres... Les exemples et les faits ne m'ont pas manqué à l'appui de mes assertions — Катков d'une part, de l'autre la *Весть*, le fameux article des *Биржевые ведомости*, etc. etc. etc. On ne m'a pas contredit, on est même convenu de l'absurdité du régime existant en matière de presse. Mais enfin, *service oblige*, et on ne sort pas de là... Il serait donc inutile de chercher à introduire un peu de raison dans un pareil régime, on ne peut marcher qu'à tâtons à travers toute cette sottise, ainsi, par ex<emple>, chaque fois qu'il s'agit d'un acte du gouv<ernemen>t, surtout récent, s'abstenir soigneusement du sarcasme — du sarcasme surtout qu'ils ne supportent pas, et leur démontrer qu'ils sont des imbéciles, en leur demandant respectueusement pardon de la liberté grande. — Une certaine forme avant tout, et peut-être bien qu'à ce prix on pourra *sauver le fonds*, ce qui est l'essentiel. — Mille tendresses à ton mari.

Перевод:

Петербург. Вторник. 15 августа 1867

Я все время тревожно прислушиваюсь, бесконечно повторяя один и тот же обращенный к тебе вопрос: дочь моя Анна, не видишь ли ты приближения чего-либо?[1] — Впрочем, поскольку ты, возможно, еще на ногах и *lesefähig*[*], то эти строчки я адресую тебе.

Мне очень хотелось бы похвастаться тем, что мое поспешное возвращение в Петербург оказалось для вас небесполез-

[*] способна читать (*нем.*).



ным и что благодаря ему удалось отвратить угрозу второго предостережения, нависшую над «Москвой». Но еще больше мне хотелось бы дать вам верное и живое представление о создавшемся положении, что, конечно, совсем не легко, ибо оно до крайности глупо. Так, например, милейший Похвиснев, равно как и нынешний управляющий Министерством князь Лобанов, в моих с ними беседах по приезде, не без некоторой грусти жаловались мне на беспокойство, причиняемое им боевым задором «Москвы», который, по их мнению, таков, что им остается только умыть руки[2]. Особенно встревожила их, как и можно было ожидать, одна из последних статей, посвященная дополнительному указу о печати[3]. И на сей раз дело опять не в существе вопроса, а в форме, и только в форме. Они охотно допустили бы какую угодно критику в адрес принятой меры, лишь бы она была высказана в менее резком, в менее язвительном тоне — и с некоторым оттенком банальной и официальной почтительности по отношению к власти, которую они расположены поддерживать любою ценой, считая это своим долгом, хотя и тягостным. Но *ливрея* обязывает[4], так же как и мундир — и они твердо убеждены, что соблюдение этого этикета приносит правительству очень большую пользу... Я, разумеется, не упустил случая преподнести им весьма суровые истины касательно куда более серьезного вреда, наносимого авторитету правительства неслыханными методами управления печатью, полным отсутствием здравомыслия и честности в наложении взысканий, рабской или корыстной снисходительностью к одним и чудовищной строгостью к другим... Для подкрепления этих утверждений у меня не было недостатка в примерах и фактах: Катков с одной стороны, с другой — «Весть», пресловутая статья в «Биржевых ведомостях» и т. д. и т. д. и т. д. Мне не возражали, даже признали нелепость существующего в сфере печати порядка. Но в конечном итоге — *служба обязывает,* и от этого не отступятся... Так что бесполезно и пробовать внести в такой порядок хоть сколько-нибудь разумности, через всю эту глупость можно пробираться лишь ощупью, к примеру, всякий раз, как заходит речь о каком-нибудь правительственном акте, особенно

новом, старательно воздерживаться от сарказма — в первую очередь от сарказма, ибо они его не выносят, и указывать им на их идиотизм, почтительно извиняясь за столь великую вольность. — Прежде всего соблюдение формы, и, может быть, такой ценой удастся *спасти дело*, что самое важное. — Тысяча сердечных приветов твоему мужу.

136. М. Ф. БИРИЛЕВОЙ

Середина августа 1867 г. Петербург

C'est à toi que je passe maintenant, pour te remercier, ma chère Marie, de ta lettre qui m'a quelque peu rassuré et beaucoup intéressé. Quant à mes appréhensions que rien que la présence ne saurait conjurer — je te renvoie à ce que je viens d'écrire à maman, en te suppliant de *ne jamais me rien cacher*, sous prétexte de ménager mes nerfs qui ne valent plus la peine qu'on les ménage, et d'ailleurs rien ne pourrait mieux les calmer et les détendre que la certitude pleine et entière d'être exactement informé... Quant aux détails que tu me donnes dans ta lettre sur ce qui se passe sous tes yeux — ton témoignage a une telle valeur aux miens que je veux communiquer cette partie de ta lettre à Aksakoff, pour son information particulière[1].

Hélas, rien n'autorise à penser que les faits, que tu signales dans la localité de Briansk, soient d'une nature exceptionnelle[2]. *La dissolution* est partout. On marche à l'abîme, non par emportement, mais par laisser-aller. — Dans la sphère du pouvoir inconscience et manque de conscience à un degré qu'on ne saurait concevoir, à moins de l'avoir vu. Au dire des hommes les plus compétents — grâce à l'absurde négociation du dernier emprunt, qui a honteusement échoué, la banqueroute est plus probable que jamais, et deviendra imminente ce jour où nous serions appelés à donner signe de vie. — Et néanmoins, en vue même de cet état de choses, l'arbitraire, continuant, comme par le passé, à se donner toute licence.

Hier, j'ai appris de Melnikoff un détail qui est vraiment stupéfiant. Dans le dernier voyage de l'Impératrice il y avait un intervalle de 350 verstes à lui faire parcourir entre les deux chemins de

fer, à raison de deux cents chevaux à chaque station qu'il a fallu faire venir de plusieurs centaines de verstes, et les garder pendant des semaines dans un pays, dénué de tout, et où il faut tout apporter. — Eh bien, sais-tu, ce que, dans ces conditions-là, le parcours de ces 350 v<erstes> à coûter à l'état? rien que la bagatelle d'un *demi-million* de roubles. C'est fabuleux, et, certes, je ne l'aurais jamais un possible, si le chiffre ne m'avait été attesté par un homme comme *Melnikoff* qui le tient du Gouv<erneu>r G<énér>al d'Odessa.

C'est le cas de dire avec Hamlet: «Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark»[3].

Maintenant, voilà ce qui se passe en fait de politique extérieure. Fuad-pacha est venu à Livadia, et en est reparti avec le cordon de St-Alexandre[4]. Que s'est-il passé? la Turquie aurait-elle accepté nos propositions, signé notre mémorandum? rien de tout cela. J'ai lu la dépêche d'Ignatieff qui rend compte au Chancelier de ce qui s'est passé... C'est à rentrer sous terre à la vue de tout de niaiserie et d'inconsistance... Rien que des phrases, des promesses vagues, pas un engagement de quelque valeur. Le pauvre Горчаков proteste contre le St-Alexandre, cette fois encore on ne tient nul compte de ses avis, on passe outre — sans daigner seulement pressentir l'effet moral qu'une pareille *incongruité* doit nécessairement produire sur l'opinion, non seulement de la Russie, mais de tout l'Orient chrétien — et tout le reste à l'avenant.

Mille amitiés à ton excellent mari.

Перевод:

Обращаюсь теперь к тебе, моя милая Мари, чтобы поблагодарить тебя за письмо, несколько ободрившее и очень заинтересовавшее меня. Что касается моих опасений, которые могли бы быть устранены лишь личным присутствием, — отсылаю тебя к тому, что я только что написал мамá, умоляя тебя *никогда ничего не скрывать* от меня под предлогом оберегания моих нервов, не стоящих того, чтобы о них заботиться, да к тому же ничто бы так не поспособствовало их успокое-

нию и расслаблению, как полная уверенность в том, что я точно осведомлен... Что касается подробностей, которые ты сообщаешь мне относительно происходящего у тебя на глазах, то твое свидетельство представляет для меня такую цену, что я хочу передать эту часть твоего письма Аксакову для его личного сведения[1].

Увы, нет никаких оснований считать факты, отмечаемые тобою в Брянском уезде, явлением исключительным[2]. *Разложение* повсюду. Мы движемся к пропасти, и не по бесшабашности, а просто по безразличию. — В правительственных сферах бездумие и бессовестность достигли такой степени, какую и вообразить себе нельзя, пока не увидишь собственными глазами. По словам людей наиболее осведомленных — благодаря нелепым операциям с последним займом, постыдным образом провалившимся, банкротство возможно более чем когда-либо и станет неминуемым в тот день, когда мы будем вынуждены пошевелиться. — И тем не менее, даже в виду подобного положения вещей, произвол, как и прежде, дает себе полную волю.

Вчера я узнал от Мельникова подробность, поистине ошеломляющую. Во время последнего путешествия императрицы ей предстояло проехать на лошадях триста пятьдесят верст между двумя железными дорогами, причем на каждый перегон требовалось двести лошадей, которых пришлось пригнать с расстояния в несколько сот верст и содержать в течение недель в местности, где ничего нет и куда надо все подвозить. — Ну так вот, знаешь ли, во что обошлось государству это расстояние в триста пятьдесят верст? в сущую безделицу: *полмиллиона* рублей! Это баснословно, и, конечно, я никогда не счел бы это правдоподобным, если бы цифра не была названа мне таким человеком, как *Мельников,* которому сообщил ее одесский генерал-губернатор.

Вот когда можно сказать вместе с Гамлетом: «Что-то прогнило в королевстве Датском»[3].

Теперь, вот что происходит в области внешней политики. Фуад-паша приезжал в Ливадию и отбыл оттуда с лентой Святого Александра[4]. Что же случилось? согласилась ли

Турция на наши предложения, подписала ли наш меморандум? ничуть не бывало. Я читал депешу Игнатьева, который дает отчет канцлеру в том, что произошло... Хоть сквозь землю провались от подобной глупости и несостоятельности... Одни фразы, одни неясные обещания, ни одного обязательства, имеющего хоть какую-то ценность. Бедный Горчаков протестует против ленты Святого Александра, и на сей раз снова его мнение не принимается во внимание, с ним не считаются — не находя нужным предусмотреть, какое нравственное впечатление неминуемо произведет подобная *несообразность* на общественное мнение не только России, но и всего христианского — а соответственно и всего прочего — Востока.

Тысяча самых дружеских приветствий твоему милейшему мужу.

137. И. С. АКСАКОВУ

23 августа 1867 г. Петербург

С.-Петербург. 23 августа 1867

«Москва» ваша страшно утруждает наше бедное Главное управление[1]. Вот уже второе заседание обуревается ею, и все еще не могли прийти ни к какому заключению — отложено до следующего. В самом составе Главн<ого> упр<авления> нет положительной против вас враждебности. Их только огорчает ваша чрезмерная резкость. — Враждебность свыше. — Я, по возвращении сюда, наговорил им самых горьких истин[2], а именно, что они, по несостоятельности, делаются орудием партии, не принадлежа к ней, что они лишают себя всякого нравственного авторитета своим хотя и непреднамеренным, но явным лицеприятием — со всем этим они почти что соглашаются. — Но что же делать? Так приказано.

Однако же мне кажется, любезнейший Иван Сергеич, что, помимо всех этих дрязг, следовало бы серьезно обдумать вопрос о существовании «Москвы», *при данных условиях* — было бы весьма грустно даже и временное ее запрещение. Подумайте только о том, как это отзовется за границею, между

10 Зак. 7509

славянами, не говоря уже о вреде в самой России. Избегнуть же этой крайности — чистосердечно говоря — *можно* и без больших уступок... Не стесняясь нисколько в обсуждении общих вопросов, следовало бы только — когда дело идет о какой-нибудь правительственной мере — понизить, хоть полутоном, *личную* полемику. Эта-то резкость личной полемики всего более и смущает их, — а скажите, по совести, сто́ит ли из-за этого, хотя и очень приятного, самоудовлетворения жертвовать сущностию дела?

Вопрос о предварительном разрешении полициею касательно открытия подписок в газетах был внесен в Комитет министров, но князь Гагарин[3] весьма справедливо заметил, что это дело может только быть решено законодательным порядком и потому подлежит обсуждению Государств<енного> совета.

Посольство *Фуада-паши* в Ливадию[4] ограничилось разменом пошлостей, а данный ему орден — вопреки мнению князя Горчакова — не что иное, как рутинная обрядность, имеющая значение только в том смысле, что подобная несообразность доказывает, как мало понимают современное настроение или как мало дорожат им.

Я здесь, могу сказать, в ежечасном ожидании известий об Анне — и эта проволочка, хотя, вероятно, и очень объяснимая, еще тревожнее становится в отсутствии. Большое будет для меня облегчение, когда вы меня известите, в какой день мне следует приехать к вам в Москву для крестин. — Что вы знаете о вашей матушке? — Пока простите, любезнейший Иван Серг<еич>. Обнимите за меня Анну.

Ф. Т.

138. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

24 августа 1867 г. Петербург

Pétersbourg. Jeudi. 24 août

Non, ma chatte chérie, non — je n'ai pas bien fait de n'être pas allé à Ovstoug, et tous les jours je le regrette davantage, et il n'y a pas de fatigues ni d'ennuis qui n'eussent été amplement com-



pensés par la réalisation de l'attente, où tu étais, de mon arrivée dans la journée du 15. — Une pareille occasion de fête ne se reproduira plus pour moi.

Maintenant, que me voilà rentré à Pétersb<ourg>, je ne m'explique pas même les raisons de cette rentrée — et je suis plus que jamais dégoûté de faire des choses raisonnables.

Depuis mon retour je ne fais que batailler ici en vrai Don-Quichotte non pas précisément en faveur de la gazette d'Aksakoff, mais contre cette combinaison de stupidité et de platitude armées de l'arbitraire tout-puissant dont le Conseil de la Presse n'est, après tout, que le prête-nom. — Le danger, qui menace la *Москва*, n'est pas encore définitivement conjuré, et si la chance allait tourner contre lui, ce serait bien inopportun dans le moment donné où Anna aurait besoin d'une parfaite tranquillité d'esprit... Hier encore j'ai reçu de ses nouvelles qui m'annoncent que le statu quo dure toujours et qu'elle continue à grossir démesurément. Elle appréhende des jumeaux. — Voilà, certes, une grossesse très peu normale.

Ta lettre p<ou>r Daria doit être acheminée à *Schwalbach* où Daria doit se trouver, à en juger par les informations que j'ai reçues d'elle ces jours-ci. C'est là que Scanzoni l'a envoyée, en attendant son retour d'une visite qu'il est allé faire à l'exposition de Paris. J'ai reçu aussi une lettre de Kitty, de Koesen, où elle me parle de ses regrets d'avoir déraciné sa tante de Moscou — et l'avoir entraînée dans le tourbillon occidental.

J'attends, sans le moindre ennui, le brouillon de procuration que doit m'envoyer Mamajeff[1], et n'aurai pas la moindre peine à le réaliser.

Voilà Dmitry réintégré sous le toit paternel, et hier nous avons été ensemble à l'Opéra Russe où l'on jouait *Stradella*[2]. La représentation a été très satisfaisante.

Je ne puis te dire, combien je savoure la vue de ton écriture — c'est comme un beau fleuve, rentré dans son lit. Aussi je commence un peu à me rassurer à ton sujet, au moins quant à la marche de ta convalescence, mais il me semble toujours que tout le pays à l'entour d'Ovstoug est infesté de maladies épidémiques... Remercie Marie de sa chère et gracieuse apostille. J'attends la lettre promise,

pour lui écrire tout au long... Je la remercie bien de m'aimer, et moi, aussi, je ne puis penser à elle sans un intime attendrissement.

Dieu v<ou>s garde.

Перевод:

Петербург. Четверг. 24 августа

Нет, милая кисанька, нет — я неправильно поступил, не поехав в Овстуг, и с каждым днем все больше об этом сожалею, ибо нет таких трудностей, нет таких неудобств, которые не стоило бы перенести ради того, чтобы оправдать твое ожидание моего приезда 15-го числа. — Другого такого случая устроить себе праздник мне уже не выпадет.

Теперь, вернувшись в Петербург, я даже не могу объяснить себе причин этого возвращения — и мне более, чем когда-либо, противно быть рассудительным.

Со дня моего приезда я только и делаю, что сражаюсь, как истый Дон-Кихот, не столько за газету Аксакова, сколько против этой воинствующей глупости и пошлости всемогущего произвола, чьим подставным лицом, в конечном счете, является Совет по делам печати. — Опасность, угрожающая «Москве», еще не окончательно устранена, и если б счастье ей изменило, это было бы очень некстати в настоящую минуту, когда Анна нуждается в полном душевном спокойствии... Только вчера я получил от нее весточку, где говорится, что status quo сохраняется, и ее продолжает непомерно разносить. Она опасается, как бы не было двойни. — Вот уж, поистине, беременность, которую никак не назовешь нормальной.

Твое письмо к Дарье, наверно, настигнет ее в *Швальбахе*, где она, судя по сообщению, полученному мною от нее на днях, должна находиться. Именно туда направил ее Сканцони на то время, пока он не вернется из предпринятой им поездки на Парижскую выставку. Я также получил письмо от Китти, из Кёзена, в котором она выражает сожаление, что вырвала свою тетушку из московской почвы — и потянула ее за собой в западный водоворот.



Я жду, без капли раздражения, прибытия черновика доверенности, обещанного мне Мамаевым[1], и не затруднюсь все оформить.

Итак, Дмитрий вновь водворился под отчим кровом, и вчера мы вместе ходили в Русскую оперу, где давали «Страделлу»[2]. Постановка была весьма удовлетворительной.

Не могу тебе передать, как я наслаждаюсь видом твоего почерка — это как прекрасная река, вернувшаяся в свои берега. К тому же я начинаю немного успокаиваться на твой счет, по крайней мере, верить в твое выздоровление, но мне постоянно мерещится, будто все окрестности Овстуга поражены эпидемическими болезнями... Благодарю Мари за ее милую ласковую приписку. Жду от нее обещанного письма, чтобы ответить по-настоящему... Сердечное ей спасибо за то, что меня любит, и я тоже не могу думать о ней без глубокой нежности.

Господь с вами.

139. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

31 августа 1867 г. Петербург

Pétersbourg. Jeudi. 31 août

J'ai reçu hier *ta lettre compromettante* du 23 août, et je me complais assez dans l'idée d'en avoir une de ce genre de toi. Au reste, sois tranquille. Elle ne verra plus le jour. Quant à la détruire, c'est une autre affaire. Déjà son mérite calligraphique devrait la mettre à l'abri d'un pareil outrage. En effet, la vue de ton écriture me réjouit de plus en plus, et je n'ai plus qu'un vœu à former, c'est que l'état de ta santé soit aussi normal que l'est l'écriture de tes lettres... Ce n'est pas que je révoque en doute les bonnes nouvelles que tu m'en donnes. Aussi n'est-ce pas du moment présent que je me préoccupe, mais bien de ce qui va arriver, lorsqu'on sera définitivement entré dans la mauvaise saison — et à la campagne elle se fait sentir beaucoup plus tôt qu'ailleurs.

Tous ces jours-ci ayant été des jours de fête, la procuration ne pourra guères être expédiée avant samedi prochain, c'est-à-d<ire> avant après-demain, si bien que vous ne la recevrez que d'aujourd'hui en huit. J'aime à croire que ce retard forcé n'occa-

sionnera pas un dommage réel. — C'est demain, 1er septembre, que se fait le tirage, et je te promets de travailler de toutes mes forces à faire sortir tes numéros de préférence à tous autres. D'ailleurs je vous ai ménagé quelques petites chances supplémentaires. Il va se tirer ici sous les auspices de la G<rande>-D<uchesse> Hélène une loterie au profit du Conservatoire de Musique — dont le plus gros gain est de 35 000 r<oubles> argent comptant. J'ai pensé que vous ne dédaignerez pas un pareil revenant-bon, et j'ai fait l'acquisition de trois billets, pour toi, pour Marie et p<our> moi. Je ne manquerai pas de vous envoyer les vôtres...

Hier on a fêté ici la fête de l'Empereur, il n'y avait pas mal de monde au couvent de Nevsky, le Grand-D<uc> Constantin en tête, — qui, par parenthèse, s'est trouvé mal à l'église, mais le soir je l'ai rencontré à Павловск, et il m'a paru parfaitement remis de son malaise momentané. — La veille je me suis trouvé dans ce même couvent assistant à des prières de mort pour Michel Mouravieff... dont ce jour-là était le 1er anniversaire. Il y avait là sa cousine, son fils Léonide avec sa femme, mais sans Sophie, restée à la campagne, plus une vingtaine de personnes amies. Le temps était doux et clair, et je me disais que j'aimerais assez avoir à offrir un temps pareil aux bonnes âmes qui voudront à pareille date me faire à mon tour leur visite de nouvel an...

Il vient de paraître dans la *Revue des Deux Mondes* du 1er septembre un article sur le Congrès Slave en Russie, un article écrit par un Polonais[1] où, à ce qu'on m'a dit, il est beaucoup question <de moi>*, ce qui serait assez indifférent. Mais ce qui l'est moins, c'est que dans ce même article il est parlé de mes rapports avec le Prince Gortchakoff, sur le compte duquel on cite quelques plaisanteries plus ou moins réussies qu'on s'obstine à m'attribuer et dont la paternité est pour le moins douteuse... Eh bien, tel est le fond excellent de cette sympathique nature du Chancelier qu'il m'a parlé de ce petit incident avec la plus aimable gaieté et ouverture d'esprit, bien qu'il puisse avoir quelque raison d'admettre l'authenticité des propos cités, attendu que, quand il en a parlé aux personnes de son entourage, celles-ci se sont empressées de

* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.

lui dire que ces propos leur étaient connus depuis longtemps, ainsi que du public. – Mais, encore une fois, tout cela n'a été qu'un petit flocon de nuage, déjà fondu à l'heure qu'il est.

Quant à mes nouvelles de Moscou, elles en sont toujours encore à l'état de conjectures... Jamais, je crois, pareil anachronisme ne s'est produit dans des calculs de grossesse, et j'ai par moments l'idée que ce n'est pas une grossesse réelle, et que tout cet état d'incertitude va se résoudre par quelque phénomène tout à fait anormal.

En attendant, le coup qui menaçait la gazette d'Aksakoff a été heureusement conjuré, grâce à l'absence de Валуев, je suppose. On a reculé devant la responsabilité d'une décision qui aurait été d'une iniquité révoltante, car il a paru dans ces derniers temps dans la gazette de *Катков* des articles d'une portée bien autrement grave et d'une hostilité encore plus incisive. – Or, comme je savais que personne n'aurait le courage de toucher à la *G<azette> de Moscou*, j'ai réclamé pour ces articles la priorité d'un avertissement sous peine de constater de la manière la plus flagrante, en nous y refusant, notre inconséquence et notre pusillanimité... Il est de fait que ce pauvre Conseil est une pitoyable chose et bien digne de refléter dans son infimité le grand tout dont il fait partie.

La santé de Dima est très satisfaisante. Il va, vient, s'occupe parfois avec un étudiant qui vient le voir. Je jouis de son voisinage, mais sans indiscrétion, c'est-à-d<ire> en lui laissant une liberté d'action pleine et entière. – Je ne crois pas qu'il puisse jamais se dire que le toit paternel ait beaucoup pesé sur lui. – Nos heures étant trop différentes, il ne nous arrive guères de dîner ensemble, mais nous nous réunissons quelquefois pour le déjeuner.

Je pourrais t'écrire ainsi des volumes, mais je sens que mes doigts se contractent et vont me refuser tout service. Ainsi adieu, pour le moment. Je vous quitte, ma chatte chérie, pour aller m'occuper de la procuration. C'est l'excellent Добровольский[2] qui va m'arranger tout cela.

Mille tendresses à Marie. Je lui ai écrit la dernière fois une lettre qui ne lui aura laissé rien à désirer, quant au volume.

Dieu v<ou>s garde.

Перевод:

Петербург. Четверг. 31 августа

Вчера я получил *твое компрометирующее письмо* от 23 августа и страшно доволен, что у меня есть нечто в таком роде от тебя. Впрочем, будь спокойна. Оно надежно спрятано. Что же до того, чтобы его уничтожить, то это уволь. Уже одно каллиграфическое совершенство должно было бы защитить его от подобного надругательства. Действительно, вид твоего почерка радует меня все больше и больше, и мне остается только пожелать, чтобы твое здоровье нормализовалось так же, как начертание твоих букв... Дело не в том, что я не верю хорошим новостям, которые ты мне сообщаешь. И волнует меня вовсе не настоящий момент, а ближайшее будущее, когда окончательно установится плохая погода — ведь в деревне она дает себя знать гораздо раньше, чем где-либо.

Поскольку все эти дни у нас праздничные, доверенность никак не сможет быть отправлена до ближайшей субботы, то есть до послезавтра, так что ты получишь ее самое скорое через неделю. Очень надеюсь, что эта вынужденная задержка не сильно повредит делу. — Завтра, 1-го сентября, состоится розыгрыш, и я обещаю тебе приложить все усилия, чтобы выпали по преимуществу твои номера. К тому же я чуть-чуть увеличил ваши шансы. Здесь под покровительством великой княгини Елены Павловны будет разыгрываться лотерея в пользу Консерватории — и самый большой приз в ней составит 35 000 рублей наличными. Я подумал, что вы не пренебрежете подобным случаем обогатиться, и заказал три билета, для тебя, для Мари и для себя. Не премину переслать вам ваши...

Вчера праздновали именины императора, в Невской лавре собралось немало народу во главе с великим князем Константином, — которому, между прочим, сделалось дурно в церкви, однако вечером я встретил его в Павловске, и он показался мне совершенно оправившимся от своего минутного недомогания. — А накануне я был в той же самой лавре на панихиде по Михаилу Муравьеву... с чьей смерти в тот день минул ровно год. Присутствовали его кузина, его сын Леонид с

женой, но без Софи, которая осталась в деревне, еще человек двадцать друзей. Погода стояла мягкая и солнечная, и я подумал: как бы мне хотелось получить возможность дарить такую погоду добрым душам, которые по тому же поводу будут наносить мне ежегодный визит...

В «Revue des Deux Mondes» от 1-го сентября появилась статья о Славянском съезде, написанная неким поляком[1], где, как мне сообщили, много внимания уделено моей особе, что само по себе меня нисколько не взволновало бы. Но хуже то, что в этой статье говорится о моих отношениях с князем Горчаковым и приводится несколько более или менее удачных острот в его адрес, которые упорно приписываются мне, хоть их происхождение, по меньшей мере, сомнительно... И что ж, наш милейший канцлер оказался настолько добр, что говорил со мной об этом маленьком недоразумении с самой благодушной веселостью и откровенностью, хотя имел основание поверить в мое авторство, ибо его приближенные, которых он спросил об упомянутых остротах, поспешили сказать ему, что давным-давно их знают, как знает весь свет. — Но повторяю, это было всего лишь маленькое облачко, уже растаявшее.

Что до новостей из Москвы, то они по-прежнему состоят из одних догадок... Никогда еще, я убежден, сроки беременности так не растягивались, и у меня порой возникает мысль, что беременность эта не настоящая и что все это состояние неопределенности разрешится каким-нибудь совершенно ненормальным феноменом.

Тем временем грозивший аксаковской газете удар был благополучно предотвращен, благодаря, мне кажется, отсутствию Валуева. Спасовали перед ответственностью решения, которое стало бы вопиющим произволом, потому что в последнее время в газете *Каткова* появились статьи с выпадами гораздо более серьезными и еще более резкими. — Поскольку же я знал, что ни у кого не хватит смелости тронуть «Московские ведомости», я потребовал начать с предупреждения за эти статьи под страхом того, что, закрыв на них глаза, мы самым откровенным образом распишемся в нашей непоследовательности и трусости... Поистине, этот злосчастный Совет — жалкое

учреждение, достойно отражающее в своей мизерности то огромное целое, частью которого оно является.

Димино здоровье вполне удовлетворительно. Он все время на ногах, иногда занимается со студентом, который к нему захаживает. Я наслаждаюсь его соседством, но без навязчивости, то есть предоставляя ему полную и неограниченную свободу действий. — Не думаю, чтобы он мог когда-либо сказать, что отеческий кров слишком тяготел над ним. — У нас совершенно разный распорядок дня, и нам почти не случается вместе обедать, но мы часто встречаемся за завтраком.

Я бы мог писать тебе без конца, но чувствую, что пальцы мои деревенеют и скоро откажутся мне повиноваться. Так что пока до свиданья. Я покидаю тебя, милая моя киска, чтобы идти заниматься доверенностью. Милейший Добровольский[2] мне все это устроит.

Нежно поцелуй за меня Мари. В последний раз я написал ей письмо, которое должно ее вполне удовлетворить, хотя бы своей пространностью.

Господь с вами.

140. А. Ф. АКСАКОВОЙ

8 сентября 1867 г. Петербург

Pétersbourg. Vendredi. 8 sept<embre>

Eh bien, ma fille, eh bien? — Il est donc décidé que ce sera pour le mois d'octobre? Je me résigne à cet ajournement, pourvu qu'en attendant ta santé soit bonne.

Mais comment se fait-il que la sage-femme, qui t'annonçait avec tant d'assurance il y a déjà un mois l'imminence du terme, ait pu se tromper si grossièrement? et une pareille erreur ne t'inspire-t-elle pas quelques doutes sur sa science et son expérience? Ce serait là, peut-être, une question à examiner. Mais il est certain que tu es mieux à même que personne de la résoudre.

Le président du Conseil de la Presse, Похвиснев, qui est en ce moment à Moscou, me disait à son départ qu'il aurait beaucoup désiré voir ton mari. Et moi aussi j'aurais désiré que cette rencontre pût avoir lieu — non pas que j'espère qu'il en résulte une

solution rationnelle de la question de la presse, nécessairement insoluble partout où la presse est encore une question, mais une entrevue personnelle convaincrait ton mari qu'il n'y a pas l'ombre de parti pris contre lui, rien qui ressemble à une hostilité systématique. En général on est trop disposé à distance de systématiser hommes et choses. Et nulle part ce procédé n'est aussi trompeur que chez nous, surtout dans les régions officielles où il n'y a pas assez d'idées pour qu'il y eût lieu à rien systématiser. Avec ces gens-là il faut toujours se garder de viser trop haut.

Pour ce qui concerne en particulier ce pauvre Conseil de la Presse, il vaut mieux que ce qu'il fait très souvent par la faute de l'institution, il est condamné à faire ce qui lui répugne. C'est ce qui vient de lui arriver tout dernièrement à propos d'un article des *Биржевые вед<омости>*, dirigé contre le Ministère des Finances. Après mûr examen, il avait été convenu que cet article n'appelait pas un avertissement. C'était avant le retour de Mr de Reutern, et il s'est trouvé que nous avions compté sans notre hôte. Car à peine celui-ci a-t-il en pris connaissance de l'article en question qu'il a déclaré dans le Conseil des Ministres qu'il réclamait une répression administrative contre le dit journal... Et force a été au pauvre Conseil de se déjuger, pour lui accorder la satisfaction demandée[1]. Tout cela est aussi misérable que révoltant, mais qu'y faire...

Je suis très impatient de me retrouver à Moscou entre ton cher mari et toi, et je n'attendrais pas l'annonce de l'événement, pour me rendre auprès de vous, si j'avais dans le moment actuel plus de latitude pour une absence. J'ai eu ces jours-ci une lettre de Biarritz[2] satisfaisante. Mais depuis longtemps je ne sais rien de Daria[3].

Dieu v<ou>s garde.

Перевод:

Петербург. Пятница. 8 сентября

Ну что, дитя мое, ну что? — Значит, это уже определенно произойдет в октябре? Я готов мириться с ожиданием, лишь бы ты хорошо его перенесла.

Но как же акушерка, еще месяц назад с полной уверенностью заявлявшая, что дело идет к исходу, могла так сильно ошибиться? и не внушает ли тебе подобная ошибка некоторых сомнений в ее знаниях и опытности? Этим, пожалуй, стоило бы озаботиться. Впрочем, тебе, конечно, виднее, чем кому-либо.

Председатель Совета по делам печати Похвиснев, сейчас находящийся в Москве, говорил мне перед отъездом, что очень хотел бы повидаться с твоим мужем. Мне бы тоже хотелось, чтобы эта встреча состоялась, — не потому, что я жду от нее какого-нибудь разумного решения вопроса печати, неизбежно неразрешимого повсюду, где печать все еще под вопросом, но личное свидание убедило бы твоего мужа, что по отношению к нему нет и тени предвзятости, нет ничего похожего на систематическую враждебность. Человеку вообще свойственно систематизировать мало знакомых людей и отдаленные предметы. И ни в одной стране подобный подход не чреват более глубокими заблуждениями, чем у нас, особенно когда речь идет о правительственных сферах, где настолько мало идей, что и систематизировать-то нечего. Эту публику никогда не следует переоценивать.

Что же, в частности, до злополучного Совета по делам печати, то он лучше своих деяний, на которые его часто толкает ущербность самого института, вынуждая делать то, что ему претит. Именно такое случилось с ним на днях в связи со статьей в «Биржевых ведомостях», направленной против Министерства финансов. По тщательном рассмотрении сошлись на том, что статья не заслуживает предостережения. Это было до возвращения г-на Рейтерна, но оказалось, что мы не спросились нашего барина. Ибо стоило ему ознакомиться с названной статьей, как он заявил в Комитете министров, что требует для газеты административного наказания... И бедному Совету пришлось пересмотреть собственное решение, чтобы удовлетворить его требование[1]. Все это столь же печально, сколь и возмутительно, но ничего не попишешь...



Мне не терпится очутиться снова в Москве рядом с твоим милым мужем и с тобой, и я бы отправился к вам, не дожидаясь известия о долгожданном событии, если бы располагал сейчас большей свободой. На днях я получил неплохое письмо из Биаррица[2]. Но давно уже не имею ни строчки от Дарьи[3].

Господь с вами.

141. А. Ф. АКСАКОВОЙ

20 сентября 1867 г. Петербург

Pétersbourg. Mercredi. 20 sept<embre>

Ma fille chérie. Votre silence prolongé avait considérablement ajouté à mes inquiétudes habituelles. Mais enfin hier j'ai reçu par voie extraordinaire votre lettre du 15–17, et le son de votre voix a quelque peu contribué à me rassurer. — Et moi aussi je consens à l'ajournement et ne demande pas mieux que de voir ta grossesse rentrer, à ce prix, dans les conditions normales... Ce serait un souci de moins, et Dieu sait que je pourrai, sans trop m'appauvrir, en diminuer quelque peu la quantité... Tes craintes à toi au sujet du journal me paraissent mal fondées. Je n'ai rien appris ni remarqué ici qui fût de nature à les justifier... D'ailleurs ton mari aura trouvé, je suppose, l'occasion de parler avec *Похвиснев*, et vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Il est certain que dans la confusion, qui règne ici, toutes les méprises sont possibles. Mais c'en serait, néanmoins, une bien forte que de mettre hors la loi une gazette qui n'a d'autre tort que de défendre avec trop d'énergie les tendances, officiellement avouées du gouvernement.

J'envoie ci-joint à ton mari, non pas assurément en vue d'une publicité quelconque, mais pour son édification personnelle, l'extrait d'une lettre, écrite par Достоевский à Майков, dans laquelle il est rendu compte de son entrevue avec Тургеньев à Bade[1]. Cela pourrait inspirer à Аксаков un article qui serait tout à fait de saison. — Il s'agirait d'analyser un fait contemporain qui prend de plus en plus un caractère pathologique. C'est la *russophobie* dans certains Russes — fort honorables d'ailleurs... Autrefois ils nous disaient, et ils le croyaient en effet, que ce qu'ils détestaient en Russie, c'est l'absence du droit, de la liberté de

publicité, etc. etc., que c'est l'existence incontestée de toutes ces choses qui leur faisait chérir l'Europe... Maintenant que voyons-nous? A mesure que la Russie, en gagnant un peu plus de liberté, s'est affirmée davantage, l'antipathie de ces messieurs contre elle n'a fait que s'exaspérer. Car il est de fait que jamais ils n'ont aussi cordialement haï le régime précédent que les directions actuelles de l'opinion nationale... En Europe, par contre, nous ne voyons pas que tous les dénis de justice, de moralité, de civilisation même aient en rien diminué leur prédilection pour elle. Ils en sont toujours encore à plaindre les Polonais et à trouver toute naturelle l'infâme politique des états de l'Occident envers les chrétiens d'Orient, etc. etc. En un mot, dans le fait, dont je parle, les principes comme tels sont hors de cause, il n'y a plus que des instincts, et c'est la nature de ces instincts qu'il faudrait analyser.

J'ai certainement vu le P<rinc>e Черкасский, et maintenant j'attends Самарин.

En fait de politique extérieure la campagne diplomatique d'Игнатьев à Livadia a été déplorable[2]. C'est un homme qui a donné sa mesure — illusion détruite — et il n'est que justice de reconnaître que le Chancelier, tout léger qu'il est, a montré cent fois plus de tact, de sagacité et même de fermeté de principes que son soi-disant successeur...[3] Et certes il y aurait quelque utilité, sans parler déjà de la justice, que *la presse lui en tînt compte...*[4] Mais en voilà assez. Encore une fois il me tarde beaucoup de me retrouver parmi vous. Que Dieu v<ou>s garde, ma fille chérie.

T. T.

Перевод:

Петербург. Среда. 20 сентября

Милая моя дочь. Ваше затянувшееся молчание дало богатую пищу моим постоянным страхам. Но, наконец-то, вчера я с непредвиденной оказией получил твое письмо от 15–17-го, и звук твоего голоса чуть-чуть меня успокоил. — Я тоже смиряюсь с отсрочкой и желаю только одного: чтобы такой ценой твоя беременность вернулась в границы нормальной... Одной заботой стало бы меньше, и, видит Бог, я не слишком обед-

няю, если исключу ее из числа прочих... Твои опасения за газету кажутся мне беспочвенными. Я не услышал и не увидел здесь ничего такого, что могло бы их оправдать... Впрочем, твой муж, наверно, нашел случай поговорить с *Похвисневым*, и вы теперь обо всем осведомлены. Конечно, в царящей здесь сумятице возможны любые недоразумения. Однако было бы вопиющей нелепостью объявить вне закона газету, виновную лишь в том, что она чересчур рьяно отстаивает официальную позицию правительства.

Посылаю твоему мужу, отнюдь, разумеется, не с целью предания гласности, а для его личного ознакомления, отрывок из письма к Майкову Достоевского, в котором он рассказывает о своей встрече с Тургеневым в Бадене[1]. Аксаков мог бы развить это в статью, которая была бы сейчас как нельзя более кстати. — В ней следовало бы рассмотреть современное явление, приобретающее все более патологический характер. Речь идет о *русофобии* некоторых русских — причем весьма почитаемых... Прежде они говорили нам, и говорили совершенно искренно, что Россия их отвращает отсутствием прав, свободы слова и т. д. и т. д., а Европа внушает им нежную любовь именно наличием там всего этого... Что же мы видим теперь? По мере того как Россия, добиваясь некоторых послаблений, все более самоутверждается, отвращение к ней этих господ только растет. Ибо, судя по всему, прежние порядки никогда не вызывали у них столь лютой ненависти, как современные направления национальной мысли... И напротив, сколько бы ни попирали в Европе право, нравственность, саму цивилизацию, это, как мы видим, ничуть не уменьшает их расположения к Западу. Они по-прежнему сочувствуют полякам и находят совершенно естественной подлую политику западных держав по отношению к восточным христианам и т. д. и т. д. Словом, в означенном мною явлении принципы, как таковые, никак не замешаны, тут нет ничего, кроме инстинктов, и вот природу-то этих инстинктов и нужно бы проанализировать.

Я, разумеется, виделся с князем Черкасским и теперь ожидаю Самарина.

В сфере внешней политики дипломатическая вылазка Игнатьева в Ливадию закончилась плачевно[2]. Вот и обнаружилась истинная цена этого человека — иллюзия рассеялась — и справедливость просто требует признать, что канцлер, при всем своем легкомыслии, проявлял во сто крат больше такта, прозорливости и даже твердости убеждений, чем его так называемый преемник...[3] И конечно, для пользы дела, как и для восстановления справедливости, было бы неплохо, если бы *печать воздала ему должное...*[4] Но довольно об этом. Повторяю, что мне не терпится вновь оказаться подле вас. Господь с вами, милая моя дочь.

Ф. Т.

142. А. Ф. и И. С. АКСАКОВЫМ

23 сентября 1867 г. Петербург

St-P<étersbourg>. 23 sept<embre> 1867

Ceci est p<our> ton mari.

Nous venons de faire faire un pas à la question d'Orient. Hier nous avons communiqué au cabinet français une déclaration que nous allons faire — l'engageant à s'y associer, mais ne lui laissant pas ignorer qu'en cas de refus de sa part nous la ferions tout de même en notre propre et privé nom. Cette déclaration porte qu'ayant reconnu l'inanité des efforts faits par elle, pour amener la Porte à adapter vis-à-vis de ses sujets chrétiens une politique quelque peu humaine, la Russie cessait ses efforts, livrant la Turquie aux conséquences de sa conduite et dégageant sa responsabilité dans tout ce qui allait arriver[1].

Pour apprécier la portée de cette déclaration, il faut savoir l'état vrai des choses en ce moment. Une entente vient de s'accomplir sous nos auspices entre la Grèce et les Serbes, et ils n'attendent que notre signal, pour éclater. Cette déclaration le leur fournira — et on peut compter que sous peu l'embrasement se viendra général.

Maintenant voici la position que cette démarche nous fait, dans le cas surtout où la France, comme il est probable, refuserait à s'y associer. En avouant légitime l'insurrection des chrétiens, nous contractions vis-à-vis d'eux l'obligation morale de les

garantir contre toute intervention étrangère, *même au pris d'une guerre*. Telle est la situation.

Cette démarche hardie est due entièrement à l'initiative personnelle de Gortchakoff. Elle lui a été inspirée aussi bien par l'ensemble de la situation que par le désir de réparer toutes les sottises, faites par *Ignatieff* à Livadia[2] contre l'avis bien formel et malgré toutes les objections du Prince. Il y a bien à lui en tenir compte — c'est assurément une généreuse inspiration et digne de tout point de sa campagne diplomatique dans la question politique.

Je vous communique tous ces détails nullement pour être livrés à la publicité, sous une forme quelconque, *à titre de nouvelles de fait accompli*. Ce serait prématuré et compromettant. Mais ce qui, je crois, serait possible et même utile. On pourrait dans un article de fond sur la situation du moment indiquer une démarche, comme celle qui vient d'être faite, comme un *desideratum*, recommandé par la dignité et les intérêts de la Russie. — Et à cette occasion il n'y aurait que justice à accorder un témoignage de sympathie à l'inspiration habituellement nationale de la politique de Gortchakoff, tout en se gardant de le mettre trop en relief aux dépens de l'Emp<ereur>, etc. etc. etc.[3]

Перевод:

С.-Петербург. 23 сентября 1867

Это для твоего мужа.

Мы только что толкнули вперед восточный вопрос. Вчера мы познакомили французский кабинет с подготовленной нами декларацией — приглашая его присоединиться к ней, но и не скрывая от него, что, если он ответит отказом, мы все-таки предъявим ее от себя лично. В декларации этой говорится, что, осознав тщетность своих усилий, направленных на то, чтобы склонить Порту к более или менее человечному обращению с ее христианскими подданными, Россия отказывается от дальнейших стараний, предоставляя Турции расплачиваться за ее политику и слагая с себя ответственность за все последующие события[1].

Чтобы понять значение этой декларации, надо представлять себе действительное положение вещей в настоящую ми-

нуту. Под эгидой России был только что заключен союз между Грецией и сербами, и они ждут только нашего сигнала, чтобы восстать. Декларация и послужит им таким сигналом — и можно надеяться, что очень скоро взрыв будет всеобщим.

Теперь о том, к чему этот демарш подводит нас, особливо если Франция, что́ вероятно, откажется его поддержать. Признавая законность восстания христиан, мы принимаем на себя нравственное обязательство оградить их от всякого иностранного вмешательства, *даже ценою войны.* Так обстоят дела.

Этим смелым шагом мы всецело обязаны инициативе Горчакова. Князь был подвигнут к нему как общей политической обстановкой, так и желанием поправить все глупости, которых *Игнатьев* наделал в Ливадии[2] вопреки категорически заявленному мнению и невзирая на все протесты канцлера. Честь и хвала ему за то, что отыгрался, — это действительно благородное побуждение, во всех отношениях достойное его дипломатической кампании в данной политической сфере.

Я сообщаю вам все эти подробности отнюдь не для распространения их, в какой бы то ни было форме, *в качестве известия о совершившемся факте.* Это было бы преждевременно и вредно для дела. Но вот что мне кажется дозволительным и даже полезным. Можно было бы в передовой статье на злобу дня указать на шаг вроде только что предпринятого как на *desideratum**, подсказываемое достоинством и интересами России. — И в связи с этим было бы очень уместно выразить сочувствие стойкому национальному началу политики Горчакова, стараясь не слишком превозносить канцлера в ущерб императору, и т. д. и т. д. и т. д.[3]

143. И. С. АКСАКОВУ

2 октября 1867 г. Петербург

Петербург. 2 октября <18>67

Ваша превосходная передовая статья от 30 сент<ября> № 141[1] принята была здесь с большим сочувствием и *при-*

---

* желаемое (*лат.*).

знательностию... Еще раз я имел случай убедиться, какое значение приобрело у нас слово печати, разумно-честной печати, особливо в правительственных сферах. Его еще не всегда слушаются, но всегда слушают... Касательно нашей декларации по восточному вопросу[2]. Мы рассчитываем на безусловное согласие Пруссии и Италии. Французское правительство также соглашается приступить к ней, но просит некоторых изменений в редакции, которые будут приняты, если они не изменяют, не ослабляют смысла и значения. В противном же случае мы предъявим наше решение отдельно, от своего имени — и это было бы самое лучшее. Потому что согласие в словах все-таки не поведет к существенному согласию на деле.

Все это дипломатические дрязги. Вопрос не в них — весь вопрос теперь заключается вот в чем. Вслед за нашим заявлением произойдет ли на Востоке *общий взрыв* и в этом случае хватит ли в нас довольно решимости, довольно самоуверенности, чтобы ценою нашего невмешательства заручить восставшим христианам невмешательство со стороны западных держав. Вот на что, по-моему, должна теперь наша печать <налечь>* всею силою своих убеждений. — Это жизненный, Гамлетов вопрос и для Востока, и для самой России.

Поэтому, конечно, желательно, очень желательно было бы, чтобы взрыву на Востоке предшествовал взрыв на Западе... Усобица на Западе — вот наш лучший политический союз...

Очень было бы назидательно и даже эффектно, если бы с Рима загорелся Запад[3]. Что же до Франции, то обстоятельства ее сложились так, что ей нет другого исхода, кроме войны или новой революции, которая все-таки не избавит ее от войны.

Перед громадностию грозящих событий, конечно, места нет нашим жалким человеческим соображениям, но с нашей точки казалось бы, что в интересе всей Восточной, т. е. Русской Европы самое желательное — продлить еще на несколь-

---

* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.

ко лет этот тлетворный мир, так сильно содействующий процессу разложения, — а без полного, коренного разложения нельзя будет приступить к перестройке. Не в призвании России являться на сцене, как Deus ex machina[4]. Надо, чтобы сама история очистила наперед для нее место...

По вопросам внешней политики в данную минуту значение нашей печати идет видимо в гору. В высшей сфере есть какое-то *личное* соревнование в национальной политике и все сильнее и сильнее чувствуется потребность опираться на общественное мнение, но вот что и на печать налагает обязанность быть все более и более *сознательною.*

В заключение обращаюсь к вам с просьбою, любезнейший Иван Сергеич. Анне писать трудно, вам некогда. — Скажите Ване[5], чтобы он хоть раз в неделю извещал меня о здоровье Анны: ее здоровье — это мой личный восточный вопрос, и когда-то он разрешится? Господь с вами.

144. В. И. ЛАМАНСКОМУ

6 октября 1867 г. Петербург

Пятница. 6 октября

Я знаю через А.И. Георгиевского, что сегодня вечером у вас чтение, но если вам можно будет, любезнейший Владимир Иваныч, по окончании оного уделить мне часок-другой времени вашего, то много меня обяжете. Попросите от меня и В.И. Кельсиева[1]. Во всяком случае буду вас ждать с верою и любовию.

Вам искренно преданный

Ф. Тютчев

145. А. Ф. и И. С. АКСАКОВЫМ

7 октября 1867 г. Петербург

Pétersbourg. 7 octobre 1867

Je reçois à l'instant ta lettre qui m'a quelque peu tranquillisé à ton sujet. En effet, puisque ton état de santé est meilleur, que tous les symptômes réunis accusent un état de grossesse comme



un fait indubitable, il n'y a qu'en prendre patience et attendre le terme d'un esprit tranquille, sans se laisser envahir par des inquiétudes qui n'ont désormais aucune raison d'être, attendu qu'il est évident que tu avais commis une grosse erreur dans tes appréciations. – Encore une fois merci de ta lettre.

Maintenant ce qui suit est pour ton mari, mais c'est assez important pour que j'appelle toute son attention sur ce qu'il va lire.

Le cabinet de Florence, menacé d'une intervention de Napoléon dans la crise de Rome, vient de s'adresser à nous, en nous engageant de nous expliquer sur l'éventualité du cas[1]. La réponse que nous lui avons faite, et que *j'ai lue*, est décidément insuffisante. Elle est bienveillante mais évasive et n'accuse que trop le manque de conviction *nationale* qui est le fond même de notre diplomatie.

En effet, nous avions à nous prononcer dans cette affaire sur deux points, tous deux essentiels. D'abord sur le principe *de non-intervention*, que nous ne saurions articuler assez clairement et positivement en vue des éventualités qui peuvent d'un jour à l'autre <arriver>* en Orient. Puis – il aurait fallu s'expliquer très catégoriquement sur le fait du pouvoir temporel du Pape.

Une politique vraiment nationale n'y aurait pas manqué. Elle aurait senti que le moment était venu de faire, de la manière la plus explicite, *acte d'orthodoxie*, car elle aurait compris que ce sont les intérêts de l'orthodoxie elle-même qui se trouvent profondément engagés dans la crise actuelle de la question romaine... L'effet d'une pareille déclaration aurait été immense. C'était l'histoire elle-même, prononçant, par notre bouche, la condamnation d'un principe qui est notre ennemi personnel par excellence. – On n'a, comme de raison, rien compris de tout cela. Et précisément sur cette question du *pouvoir temporel* on s'est prudemment et discrètement récusé. C'était inévitable. Une politique sans *credo* national devait se déclarer incompétente.

Tels sont les faits... Maintenant, tout en feignant de les ignorer, il faut les supposer à titre d'éventualité imminente et décla-

* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.

rer hautement ce que, le cas échéant, la Russie est en droit d'attendre d'une politique aussi *éminemment nationale* que l'est la nôtre[2].

Ce qui a pu ajouter à notre timidité habituelle dans la déclaration que nous étions appelés de faire, c'était l'espoir de nous ménager les sympathies de la France dans la question d'Orient. C'était encore une illusion. La réponse de *Moustier* est arrivée. C'est un contre-projet très différent du nôtre[3]. D'ailleurs le langage que nous a dernièrement tenu *Fuad* est d'une insolence qui prouve bien qu'il ne redoute guères une entente de la France avec nous...[4]

Вот, любезнейший Иван Сергеич, на что призываю деятельное внимание «Москвы».

Que Dieu v<ous> garde tous les deux.

T. T.

Перевод:

Петербург. 7 октября 1867

Только что получил твое письмо, которое немного уняло мою за тебя тревогу. Действительно, раз самочувствие твое улучшилось и по всем без исключения симптомам стадия беременности установлена как факт несомненный, остается только набраться терпения и со спокойной душой ожидать срока, не поддаваясь страхам, для которых нет теперь никаких оснований, так как очевидно, что ты сильно ошиблась в своих предположениях. — Еще раз благодарю за письмо.

Теперь приписка для твоего мужа, однако весьма важного свойства, поэтому я призываю его отнестись к тому, что он прочтет, со всевозможным вниманием.

Флорентийский кабинет, напуганный угрозой вмешательства Наполеона в римский кризис, только что обратился к нам с просьбой выразить свое отношение к подобной возможности[1]. Ответ, который мы ему направили и который *я читал*, крайне неудовлетворителен. Он доброжелателен, но уклончив и говорит лишь о полном отсутствии *национально-*

го взгляда, составляющем самое существо нашей дипломатии.

Ведь в этом деле нам следовало бы высказаться по двум пунктам равновеликой значимости. Во-первых, по поводу принципа *невмешательства*, четкое и твердое провозглашение коего никак не могло бы быть лишним в преддверии событий, обещающих со дня на день разразиться на Востоке. Во-вторых — надо было бы в очень жесткой форме заявить свое мнение о светской власти папы.

Истинно национальная политика не преминула бы это сделать. Она почувствовала бы, что пришло время совершить самое что ни на есть открытое *православное деяние*, ибо поняла бы, что интересы всего православия глубоко затронуты нынешним кризисом римского вопроса... Подобная декларация произвела бы огромное впечатление. Словно бы сама история заклеймила нашими устами ненавистнейший нам догмат. — Но ничего этого, разумеется, не поняли. И именно по вопросу о *светской власти* осмотрительно и скромно отмолчались... Это было неизбежно! Политика без национального *кредо* должна была обнаружить свою беспомощность.

Таковы факты... Теперь нужно, будто бы ровным счетом ничего о них не зная, преподнести их как вытекающие из хода событий и объяснить всему свету, чего же, в случае необходимости, Россия вправе ожидать от политики столь *зело национальной*, как наша[2].

Вероятно, причиной того, что в составлении декларации, с которой нас попросили выступить, мы проявили еще большую, чем всегда, осторожность, была надежда на альянс с Францией в восточном вопросе. Очередная иллюзия. Уже получен ответ *Мустье*. Это контрпроект, сильно отличающийся от нашего[3]. К тому же донельзя дерзкий тон, которым недавно говорил с нами *Фуад*, ясно показывает, что он ничуть не опасается союза Франции с нами...[4]

Вот, любезнейший Иван Сергеич, на что призываю деятельное внимание «Москвы».

Храни Господь вас обоих.

Ф. Т.

146. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

8 октября 1867 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 8 octobre

Au moment où j'écris ceci il fait le soleil le plus radieux. Le ciel est d'un bleu vaporeux adorable. C'est comme une journée d'été égarée en plein octobre. J'aime à croire que cette même lumière vous inonde en ce moment à Ovstoug, dorant les feuilles mortes sur les arbres et la boue luisante des sentiers.

C'est la plus douce et la plus consolante des communautés entre les vivants que celle de la lumière. Les anciens comprenaient bien cela, aussi parlent-ils de la lumière toujours avec attendrissement.

Hier je n'ai pas eu de vos lettres, mais depuis quelque temps c'est toujours le dimanche qu'elles arrivent.

L'autre jour Dima et moi, nous avons donné une soirée. C'était une soirée politico-littéraire. Il y avait longtemps que je l'avais promise à ces messieurs de la presse et des Comités. Le thé, les glaces et le punch ont fait les frais de cette festivité qui de ma chambre à coucher a débordé dans le grand salon. On s'est séparé à une heure du matin. Le Brochet a pris la chose tout à fait au sérieux. — Le tout s'est monté à une dépense de *sept* roubles.

C'est mercredi prochain, le 11 d<u> m<ois>, qu'aura lieu la noce du Roi des Hellènes[1]. Voilà un Roi que les soucis du trône n'assiègent pas de trop près... Quel dommage que cela ne puisse pas continuer indéfiniment. — Quelqu'un qui doit se sentir moins à l'aise en ce moment, c'est l'Emp<ereur> Napoléon, acculé de faute en faute à des impossibilités. Le voilà placé dans une position où il n'a que le choix ou de laisser crouler le Pape, ou de démolir lui-même l'Italie qu'il a faite[2]. En un mot, ce n'est plus seulement un homme, c'est tout un monde réduit à l'absurde. Ce qui se passe en ce moment est immense, mais nous sommes trop au pied de la pyramide pour en mesurer la hauteur.

Ce qui est d'une portée moins haute et plus appréciable, ce sont les amours du pauvre Chancelier qui attendent toujours encore leur couronnement d'édifice[3]. La future Chancelière n'est pas encore entièrement résignée à l'être et attend, pour prendre

une résolution définitive, l'arrivée prochaine d'un certain Duc. Jamais on n'aura fait une plus grosse folie avec moins d'entraînement. Quant au consentement du mari, on en est à peu près sûr. Il s'exécute d'assez bonne grâce. Il voudrait seulement s'assurer les moyens d'aller vivre pendant quelques années à l'étranger, et pour cela il propose à son successeur de lui acheter ses biens au prix de cent vingt m<ille> r<oubles>. — Voilà où est en ce moment le nœud de l'affaire. — Tout cela, vu à distance, a une assez laide apparence, mais dans l'intimité des rapports l'impression s'émousse et s'atténue...

J'ai eu hier des nouvelles d'Anna dont le statu quo continue et s'éternise. Mais ceci aussi prendra fin. Quant à ses sœurs, je n'en ai eu, en dernier lieu, que des nouvelles indirectes.

L'autre jour à ma soirée, dans ce salon, réveillé comme en sursaut par la présence et les voix de tous ces messieurs, j'ai eu comme une vision. Je vous ai vus tous les trois, occupés dans le même moment à achever trois patiences, mais avec des nuances d'intérêt assez différentes...

Que Dieu v<ou>s garde.

T. T.

Перевод:

Петербург. 8 октября

Сейчас, когда я пишу эти строки, вовсю сияет солнце. Небо голубое, прелестного дымчатого оттенка. Можно подумать, летний день ненароком забрел в глубь октября. Мне хочется верить, что тот же самый свет заливает в настоящую минуту Овстуг, золотя увядающую листву деревьев и глянцевую грязь тропинок.

Ничто не устанавливает более теплой и более утешительной связи между живыми, чем свет. Древние хорошо это понимали, вот почему они везде говорят о свете с умилением.

Вчера я не получил от вас писем, впрочем в последнее время они всегда приходят по воскресеньям.

Намедни мы с Димой устроили вечер. Вечер был политико-литературный. Я уже давно обещал собрать у себя господ

из органов печати и комитетов. Чай, мороженое и пунш сдабривали это празднество, которое из моей спальни выплеснулось в большую гостиную. Разошлись в час ночи. Щука отнесся к сему мероприятию с полной серьезностью. Издержки составили *семь* рублей.

В ближайшую среду, 11-го, король греков вступает в брак[1]. Вот король, не слишком обремененный заботами трона... Какая жалость, что это не может продолжаться вечно. — А вот кому сейчас должно быть не до веселья, так это императору Наполеону, который, совершая промах за промахом, загнал себя в угол. Положение его таково, что ему приходится выбирать: либо допустить крушение папы, либо своими руками разрушить созданную им самим Италию[2]. Словом, уже не один человек, а весь мир приведен к абсурду. Происходящее в настоящий момент грандиозно, но, находясь у самого подножия пирамиды, мы не в состоянии судить о ее высоте.

Предмет же не столь великой значимости и легче поддающийся оценке — это влюбленность бедного канцлера, все еще ждущая своего увенчания[3]. Будущая канцлерша не вполне пока отважилась стать таковой и для принятия окончательного решения ожидает скорого приезда некоего герцога. Никогда еще большее сумасбродство не совершалось с меньшим воодушевлением. Что касается супруга, то в его согласии почти уверены. Он весьма уступчив. Единственное его желание — обеспечить себя средствами, которые позволили бы ему провести несколько лет за границей, и с этим расчетом он предлагает своему преемнику купить его имущество за сто двадцать тысяч рублей. — Вот во что в настоящую минуту упирается дело. — Если смотреть со стороны, все это кажется довольно-таки некрасивым, но тесное общение смягчает и сглаживает впечатление...

Вчера получил весточку от Анны, чей status quo сохраняется и превращается в нечто незыблемое. Но и это придет к развязке. Что до ее сестер, то мне пока приходится довольствоваться лишь косвенными сведениями о них.

На моем намеднишнем вечере, в гостиной, мне словно бы было видение, от которого я внезапно очнулся, возвращенный

к реальности присутствием и голосами гостей. Я видел вас всех троих, занятых в тот момент раскладыванием трех пасьянсов, но кое к кому приглядывался с особым интересом...

Господь с вами.

Ф. Т.

147. А. Ф. АКСАКОВОЙ

18 октября 1867 г. Петербург

Pétersbourg. Ce mercredi. 18 octobre

Ma fille chérie. Voici ce qui vient de se passer. Le Roi de Grèce[1], pour témoigner sa reconnaissance à la presse russe, avait voulu envoyer à ton mari l'ordre du St-Sauveur. Des personnes bienveillantes s'empressèrent d'assurer le Roi que ton mari, étant un démagogue forcené, serait capable de renvoyer au Roi son ordre. Ayant appris tous ces détails par le Ministre de Grèce *Metaxa*, j'ai cru devoir rectifier cette *mésreprésentation* et lui déclarer qu'en effet Aksakoff était homme à refuser tout autre ordre étranger, fût-ce *même la Toison d'or de l'Empereur d'Autriche*, mais que je pensais qu'il accepterait volontiers l'ordre du St-Sauveur (qui, après tout, ne représente en ce moment que le signe de la croix elle-même) tout comme il avait accepté l'ordre monténégrin. Voici ce que j'ai cru devoir dire, et j'espère que, le cas échéant, ton mari ne me démentira pas.

Dis à Aksakoff que son article sur la crise romaine a été très apprécié ici[2]. C'est vu de très haut, et une pareille appréciation tient essentiellement au point de vue donné. Tout ce qui va se passer viendra à l'appui... Car il n'y a plus à se le dissimuler — la crise pressentie depuis si longtemps a commencé. L'Europe est à la veille non pas simplement d'une guerre, mais d'une guerre civile, non seulement de race, mais de religion. Le fond de cette guerre, ce sera la lutte entre un christianisme corrompu et un rationalisme plus au moins anti-chrétien. Mais la lutte armée, se traduisant par des coups de canon et de grands massacres... Nous en subirons le contrecoup par la Pologne. — Napoléon sous le poids de ses fautes n'aura été que l'instrument de la fatalité européenne, et cette fatalité c'est la contradiction, devenue

organique, de la société contemporaine, déchirée en deux, en France surtout, — les masses dominées par l'influence cléricale, et la minorité libérale, irréligieuse... Or, Napoléon n'est que la personnification de cet antagonisme historique.

Voilà de sombres horizons assurément... Peut-être se voileront-ils encore une fois momentanément à nos yeux. Mais la situation donnée est bien certainement celle-là...

Et vous, ma fille, où en êtes-vous? Où en est l'autre question qui, pour le moment, est pour moi la toute première? Je suis sur un qui-vive de tous les instants, et jamais enfant n'aura fait son entrée en ce monde d'une manière moins inattendue.

Dieu te garde.

Перевод:

Петербург. Среда. 18 октября

Милая моя дочь. Вот самая свежая новость. Король Греции[1], в знак признательности русской печати, собрался послать твоему мужу орден Спасителя. Нашлись доброжелатели, поспешившие внушить королю, что муж твой, будучи ярым демагогом, способен отослать орден обратно. Когда греческий посол *Метакса* сообщил мне все эти подробности, я счел своим долгом опровергнуть эту *неправду* и заявить ему, что Аксаков действительно такой человек, который способен отказаться от всякого другого иностранного ордена, будь то *даже австрийский императорский орден Золотого Руна*, но что он с радостью, мне думается, примет орден Спасителя (представляющий собой, в конце-то концов, всего лишь простой крест) точно так же, как в свое время принял черногорский орден. Вот что я счел необходимым сказать, и, надеюсь, твой муж, если дойдет до дела, меня не подведет.

Передай Аксакову, что его статья о римском кризисе очень высоко здесь оценена[2]. О ней с похвалой отозвались в верхах, и этим она обязана прежде всего своей позиции. Все, чему суждено случиться, подтвердит ее правоту... Ибо пора признать — кризис, так давно назревавший, начался. Европа сейчас не просто на грани войны, но на грани войны граждан-

ской, имеющей не только национальную, но и религиозную подоплеку. Сутью этой войны будет борьба развращенного христианства с более или менее антихристианским рационализмом. Однако борьба вооруженная, с пушечными залпами и кровопролитиями... Ее отголоски докатятся до нас через Польшу. — Наполеон со всем грузом своих ошибок является лишь орудием рока, движущего Европой, и рок этот есть не что иное, как ставший уже органическим раскол современного общества, разорванного надвое, особенно во Франции, — на массы, находящиеся под влиянием церкви, и либеральное нерелигиозное меньшинство... Так вот, Наполеон — всего лишь олицетворение этого исторического антагонизма.

На горизонте явственно видны грозовые тучи... Возможно, они опять на какой-то миг закроются от нас туманом. Но настоящее положение, несомненно, таково...

А что там у вас, дочь моя? Не движется ли к разрешению другой вопрос, самый для меня сейчас животрепещущий? — Я каждую минуту настороже, никогда еще ребенок не входил в сей мир менее неожиданно.

Храни тебя Господь.

148. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

22 октября 1867 г. Петербург

С.-Петерб<ург>. Воскресенье. 22 октября

En ce moment il n'y a pas d'autres nouvelles à mander de Pétersbourg que des nouvelles de politique générale, tout l'intérêt du public est absorbé par les événements, et, en effet, jamais drame ni roman n'ont reproduit un imbroglio plus palpitant d'intérêt que ce qui se passe en ce moment en Italie. C'est, je crois, la dernière partie de Napoléon III[1], et il est à peu près sûr qu'il la perdra. Mais je vous renvoie aux journaux.

Hier j'ai assisté, sur l'invitation de la cousine Mouravieff qui m'est parvenue par la gazette, aux prières de mort, dites à l'intention de son fils aîné, Nicolas, qui vient de mourir à Berlin. Elle m'a paru suffisamment résignée à son malheur. — Il est certain qu'après la perte de son mari celle-là n'a pas pu l'affecter pro-

fondément. Voilà la différence entre les blessures au physique et au moral — les premières s'additionnent, tandis que les autres s'excluent la plupart du temps.

Le jour même, fixé par les époux Abamelek pour leur départ, ils ont changé de résolution et renoncé à leur voyage. C'est la P<rinc>esse qui n'a pas pu s'y décider. Un autre départ, momentanément ajourné, est celui du Roi et de la Reine de Grèce — et cela pour leur ménager la chance d'une entrevue à Varsovie avec l'Impératrice qui y sera dans la journée du 27, etc. etc. Mais toutes ces nouvelles, je le reconnais, perdent beaucoup de leur intérêt à dix jours de distance... Je n'ai pas encore revu, depuis son retour, le Ministre de l'Intérieur, bien que j'aie été lui faire une visite. L'autre jour le P<rinc>e Souvoroff, le rencontrant sur le chemin de fer, l'a interpellé, pour lui demander de sa voix éclatante, qui de lui, Valoujeff, ou du Ministre français Rouher[2] était le plus grand phraseur?.. Demain j'aurai des nouvelles de l'excellente Antoinette Bloudoff par sa sœur la Schewitch qui tout à coup a cru devoir me révéler sa présence, en m'invitant à une petite soirée chez elle. — Le triste roman du pauvre Chancelier avec sa petite nièce touche à un moment de crise par l'arrivée très prochaine du Duc de Leuchtenberg[3]. — Voilà trois individus, enchevêtrés, sans la moindre conviction, dans une sottise qui pèse également à tous les trois.

En ce moment même je reçois d'Aksakoff l'affreuse nouvelle que voici:

«Вчера, утром, после 80 часов страдания, помощию инструмента, разрешилась Анна мертвым переросльм младенцем. День прошел без опасности здоровью, но слаба, страдает.

Аксаков»

Je pars aujourd'hui même p<ou>r Moscou. Que Dieu vous garde.

Перевод:

С.-Петерб<ург>. Воскресенье. 22 октября

Из Петербурга сейчас нечего сообщать, кроме новостей общей политики, внимание всего общества приковано к происходящему, и, в самом деле, ни в одной драме, ни в одном ро-



мане не найти интриги более захватывающей, чем та, которая развивается в данный момент в Италии. Это, я думаю, последняя партия Наполеона III[1], и он почти наверняка ее проиграет. Но я отсылаю вас к газетам.

Вчера, по призыву кузины Муравьевой, дошедшему до меня через газету, я присутствовал на панихиде по ее старшему сыну Николаю, недавно умершему в Берлине. Она мне показалась почти примирившейся со своим несчастьем. — Очевидно, что после потери мужа эта потеря не могла ее глубоко потрясти. Вот разница между ранами физическими и душевными — первые, умножаясь, увеличивают боль, тогда как последние обычно заслоняют одна другую.

В тот самый день, когда должны были уехать супруги Абамелек, они передумали и отказались от путешествия. У княгини не хватило решимости. В настоящий момент отложен еще один отъезд, а именно отъезд короля и королевы Греции — отложен для того, чтобы не упустить случая встретиться в Варшаве с императрицей, которая будет там 27-го, и т. д. и т. д. Но я понимаю, что за десять дней пути эти новости потеряют всякий интерес... Я еще не виделся с министром внутренних дел по его приезде, хотя и побывал у него с визитом. Намедни князь Суворов, встретившись с ним на железной дороге, окликнул его, чтобы спросить своим громовым голосом: кто больший фразер — он ли, Валуев, или французский министр Руэ?..[2] Завтра я разузнаю о милейшей Антуанетте Блудовой у ее сестры Шевич, которая вдруг сочла необходимым обнаружить свое присутствие, пригласив меня к себе на скромный вечер. — Грустный роман бедного канцлера с его маленькой племянницей близится сейчас к кризису, ибо на днях прибывает герцог Лейхтенбергский[3]. — Вот три человека, ввязавшиеся, без малейшей убежденности, в глупейшую историю, которая равно тяготит всех троих.

Сию минуту получил от Аксакова ужасную весть, вот она:

«Вчера, утром, после 80 часов страдания, помощию инструмента, разрешилась Анна мертвым переРослым мла-

денцем. День прошел без опасности здоровью, но слаба, страдает.

Аксаков»

Сегодня же еду в Москву. Храни вас Господь.

149. Е.К. БОГДАНОВОЙ

25 октября 1867 г. Москва

Moscou. Mercredi. 25 octobre

Je pourrais en effet commencer ma lettre comme vous me l'aviez indiqué. Ce serait assez conforme à l'avis du médecin et au témoignage d'Aksakoff lui-même, mais je n'en ai pas le courage — je crains de me rassurer trop tôt...

D'ailleurs je n'ai pas encore vu Anna. Je suis censé n'arriver que ce matin. Hier, comme elle insistait pour avoir de mes nouvelles, on lui a dit, pour essayer ses forces, qu'on venait de recevoir un télégramme de Dmitry, annonçant que j'étais parti. Aussitôt elle s'est mise à pleurer. Ce qui m'a engagé à ajourner mon apparition jusqu'à ce matin...

Les détails, que m'a donnés Aksakoff sur ces 80 heures de torture, sont horribles[1]. Je vous les épargne... Et si elle en est sortie vivante, c'est grâce à son incroyable énergie morale, et il faut bien le dire aussi, grâce à son exaltation religieuse. Car c'est par là qu'elle a dominé, qu'elle a refoulé la douleur, la révolte intérieure de n'avoir tant souffert, que pour mettre au monde qu'un cadavre...

En pareille conjoncture il faut bénir, pour ne pas maudire, — et la moindre irritation, si elle s'y était laissé aller, l'aurait bien certainement tuée. — Mais encore une fois, je suis loin de chanter victoire...

D'après tout ce que j'ai appris, l'accoucheur, qui l'a assistée, doit être un fier ignorant, autrement il n'aurait pas laisser durer 80 heures la torture que la pauvre créature a eu à subir. Mais rien n'a été fait à temps, et quand l'enfant a été enfin extrait tout d'une pièce, on a cru reconnaître à certains signes qu'il était mort, étranglé, depuis plus de deux fois vingt-quatre heures. Il est vrai que ce malheureux enfant était d'un volume

monstrueux, il mesurait quinze *verschoks*... Mais en voilà assez. Il est inutile de trop circonstancier les bulletins, tant que la bataille dure encore...

Mon voyage s'est fait tristement, mais commodément. Je n'avais pour compagnon de route dans le grand compartiment, qu'un seul individu — connu d'ailleurs — un Prince Mestchersky, ami de Sophie *Зыбин*[2], et grand admirateur de sa fille...[3] J'ai pu très bien dormir, beaucoup mieux, que cette nuit dernière, où j'en ai été empêché par l'odieux ronflement du Brochet que j'ai fini par mettre à la porte...

Et maintenant au revoir... à votre prochaine lettre. Est-ce que je vous manque un peu? Ne craignez pas de me l'avouer.

Перевод:

Москва. Среда. 25 октября

Я и в самом деле мог бы начать свое письмо так, как вы мне наказали. Это, в общем-то, согласовывалось бы с мнением доктора и свидетельством самого Аксакова, но мне недостает мужества, — я боюсь успокоиться слишком рано...

К тому же я еще не видел Анны. Изображается, будто я прибываю только сегодня утром. Вчера, в ответ на ее настойчивые обо мне расспросы, ей сказали, желая проверить, достаточно ли она крепка, что от Дмитрия получена телеграмма, извещающая о моем выезде. Она тотчас же расплакалась. Это и побудило меня отложить свое появление до сегодняшнего утра...

Подробности этих 80 часов мучений, сообщенные мне Аксаковым, ужасны[1]. Избавлю вас от них... И если она вышла из них живою, то благодаря своей невероятной силе духа и, еще надо сказать, благодаря своей пылкой вере. Ибо именно с их помощью она подавила, она усмирила отчаяние, внутренний бунт против того, что столько страданий перенесено только затем, чтобы произвести на свет труп...

В подобной ситуации от проклятий может удержать лишь готовность благословить, — малейшее же раздражение, если бы она ему поддалась, несомненно убило бы ее. — Но повторяю, я далек от того, чтобы праздновать победу...

11 Зак. 7509

Судя по всему, что я узнал, принимавший роды акушер должен быть чудовищным невеждой, иначе он не допустил бы, чтобы пытка, которую терпела бедняжка, длилась 80 часов. Но ничего не делалось вовремя, и когда ребенок был наконец извлечен целиком, по некоторым признакам заключили, что он уже более двух суток как мертв, удушен. Правда, это несчастное дитя было ненормально крупным, пятнадцати *вершков* в длину... Но довольно об этом. Нет смысла вдаваться в детали, пока борьба еще продолжается...

Путешествие мое было нерадостным, но комфортным. Просторное купе со мной делил всего один попутчик — к тому же знакомый — некий князь Мещерский, приятель Софи *Зыбиной*[2] и большой поклонник ее дочери...[3] Я мог совершенно спокойно спать, куда лучше, чем этой ночью, когда мне мешал отвратительный храп Щуки, которого я в конце концов выставил за дверь...

Засим прощайте... до вашего следующего письма. Скучаете ли вы по мне немножко? Не бойтесь в этом признаться.

150. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

27 октября 1867 г. Москва

Moscou. Vendredi. 27 octobre

Ma chatte chérie. C'est hier que tu dois avoir reçu, par moi aussi bien que par Jean, la triste nouvelle des couches d'Anna. Je suis parti aussitôt, pour venir ici, m'attendant au pire... Ce pire, Dieu merci, ne s'est pas réalisé. Dès mon arrivée je l'ai déjà beaucoup mieux que je n'osai l'espérer — et aujourd'hui, septième jour après ses couches, ce mieux se soutient et s'affirme.

Mais ces couches ont été quelque chose d'horrible... 80 heures de travail, et tout cela pour mettre au monde un enfant mort. — Il y a de ces combinaisons d'une cruauté si savamment ingénieuse qu'on est forcé d'y voir une intention... providentielle. Reste seulement à la qualifier... L'enfant, à ce qu'il paraît, était plus que développé. Il mesurait quinze verschoks et avait l'air d'un nouveau-né de trois mois. Quand il est venu au monde, il était mort, au dire de l'àccoucheur, depuis deux fois vingt-quatre heures,



étranglé par le cordon ombilical, deux fois roulé autour de lui... C'était un massacre...

Je ne puis admettre que les choses n'eussent pu se passer autrement et qu'un accoucheur, qui laisse durer le travail 80 heures avant de recourir aux fers, ne soit un imbécile. Déjà durant la grossesse son manque absolu d'appréciation aurait dû le faire supposer, et certes tes avertissements, que j'avais soin, chaque fois, de transmettre à Anna, n'étaient que trop fondés... Mais rien n'y a fait, il fallait que les choses se passassent ainsi... Ce qui a sauvé dans cette terrible crise la vie de la pauvre Anna, c'est sa grande énergie morale et, je dois le reconnaître, sa foi religieuse. Dix minutes après ses couches elle se confessait, et se remontait par la confession. — Si elle eût fléchi dans ce premier moment, si elle eût cédé au sentiment d'irritation et de désespoir, qu'une aussi cruelle déception devait lui faire éprouver, — elle était perdue... Elle se fait traiter homéopathiquement, et n'a presque pas eu de fièvre jusqu'à présent. Seulement elle se sent toute meurtrie et souffre beaucoup d'hémorroïdes qui se sont déclarées aussitôt après ses couches.

D'après les dernières nouvelles, reçues de Wurzbourg, Kitty et sa tante doivent le quitter demain. Elles seront à Pétersbourg le 2 novembre et pourront être ici le 5 ou le 6. Il est probable que je resterai ici jusqu'à leur retour.

La pauvre Anna te fait dire mille tendresses, ainsi qu'à Marie. Elle compte beaucoup sur votre sympathie... Il faut avouer que mes filles ne sont pas heureuses.

Hier nous avons fêté ici le jour de nom de Dima, et aujourd'hui c'est la fête de Kitty. Je vais de ce pas lui expédier un télégramme à Wurzbourg qui en même temps tiendra lieu de bulletin.

Adieu, ma chatte chérie. — Au revoir, à bientôt, je suppose. — Que Dieu vous garde et vous guide.

T. T.

Перевод:

Москва. Пятница. 27 октября

Милая моя кисанька. Вчера ты должна была получить, и от меня, и от Вани, печальное известие о родах Анны. Я тут

же выехал сюда, предчувствуя худшее... От этого худшего, спасибо, Господь миловал. С момента моего приезда я вижу уже такое улучшение, на какое даже не смел надеяться, — и сегодня, на седьмой день после развязки, это улучшение сохраняется и подтверждается.

Но роды эти по своей чудовищности были чем-то из ряда вон выходящим... 80 часов мучительных схваток, и все ради того, чтобы произвести на свет мертвого ребенка. — Бывают в жизни стечения столь изощренных жестокостей, что поневоле заподозришь в них умысел... провидения. Остается только его истолковать... Ребенок, судя по всему, был переношенным. Он имел пятнадцать вершков в длину и выглядел как трехмесячный младенец. Дитя умерло, по словам акушера, более чем за двое суток до своего прихода в мир, удавленное пуповиной, дважды вокруг него обмотавшейся... Чистейшее душегубство...

Я категорически не согласен с тем, что другого исхода быть не могло и что акушер, предоставивший роженице биться 80 часов, прежде чем применил щипцы, не осёл. Уже в ходе беременности его полная неспособность разобраться со сроками должна была бы пробудить к нему недоверие, и, конечно же, твои предостережения, которые я всякий раз старательно передавал Анне, звучали в высшей степени убедительно... Но поскольку ничем не озаботились, подобный исход стал неизбежным... Что спасло бедную Анну в тот ужасный миг краха, так это ее огромная духовная сила и, должен признать, ее вера. Десять минут спустя после разрешения она исповедалась и возродилась через эту исповедь. — Если бы она сломалась в этот первый момент, если бы поддалась чувству раздражения и отчаяния, которого у нее не могло не вызвать столь жестокое разочарование, — ей бы не жить... Лечат ее гомеопатией, и до сих пор у нее почти не было жара. Она лишь ощущает себя совершенно разбитой и очень страдает от геморроя, который проявился у нее сразу же после родов.

Согласно последним новостям, полученным из Вюрцбурга, Китти и ее тетя должны выехать оттуда завтра. Они при-

будут в Петербург 2 ноября и смогут добраться сюда 5-го или 6-го. Вероятно, я дождусь здесь их возвращения.

Бедная Анна шлет тебе и Мари нежный привет. Она очень надеется на ваше сочувствие... Приходится признать, что у меня несчастливые дочери.

Вчера мы праздновали здесь Димины именины, а сегодня день рождения Китти. Прямо сейчас я отправлю ей в Вюрцбург поздравительную телеграмму, которая одновременно исполнит роль бюллетеня.

Прощай, милая моя кисанька. — Надеюсь, скоро свидимся. — Да хранит и направляет вас Господь.

Ф. Т.

151. И. С. АКСАКОВУ

19 ноября 1867 г. Петербург

С.-Петерб<ург>. 19-го ноября <18>67

Что Анна? Что сказал Кох? Не без тревожного нетерпения жду известий[1] — но не через вас, друг мой Иван Сергеич, потому что вам решительно нет времени для переписки, а через Kitty...

Спешу поделиться с вами отрадным впечатлением — я имел уже возможность убедиться по возвращении моем сюда, что все ваши последние статьи были здесь вполне поняты и оценены, — Горчаков, несмотря на пристрастие свое к немцам, с большими похвалами отзывался о статье вашей в ответ заявлению «Север<ной> почты»[2], а это — много значит. Вам обязана печать, что по этому капитальному вопросу она удержала честь последнего слова. Тоже и все статьи ваши по вопросам иностр<анной> политики. Я не успел еще оценить впечатления, какое производит ваша только вчера полученная статья о конференции[3], но заранее уверен, что оно будет, как и следует, весьма значительно. Эта превосходная статья восполнит и довершит уже существующее настроение, потому что здесь твердо решено на конференции — буде она состоится — отстаивать право Италии против притязаний папства.

Но верьте мне, будет или не будет конференции, — в конце концов все-таки предвидится один и тот же исход, т. е. теснейший союз Франции с папством — во имя солидарности этих двух властолюбий. — И так как *тысячелетний круг* у нас перед глазами замыкается, то мы и увидим повторение старой были — Наполеон III, конечно, не Карл Великий, но французы все те же франки, а бедный Виктор Эммануил так и глядит *Дезидерием*[4]. — Не худо было бы в современной памяти освежить историю всей этой процедуры. Выродившееся христианство в римском католицизме и выродившаяся революция в наполеоновской Франции — это два естественных союзника. И от этого сочетания произойдут такие последствия, каких мы и не предвидим. — Полученная вчера почта из Константинополя вполне определила настоящее положение Франции — по восточному вопросу[5]. — Она действует заодно с Австриею, как и следовало ожидать.

Мне бы хотелось вашу последнюю статью — о конференции — повторить в иностр<анных>, т. е. в парижских газетах, не для назидания, а для собственного удовлетворения.

Простите. — Обнимаю вас и бедную нашу милую Анну. Ждем нетерпеливо известий.

Ф. Тчв

152. В. И. ЛАМАНСКОМУ

22 ноября 1867 г. Петербург

П<етербург>. Середа. 22 ноября

Как здравствуете, дорогой мой Владимир Иваныч? Каждое утро сбираюсь к вам и никак не могу попасть. — А о многом было бы нужно с вами переговорить.

Сегодня получил письмо от Самарина из Праги, доставленное мне В.И. *Губиным*, о котором Самарин отзывается с большим сочувствием. — Где бы мне его отыскать? — Он, конечно, знаком с вами. Куда как бы мило было с вашей стороны, любезнейший Владимир Иваныч, если бы вы, вместе с господином Губиным, пожаловали ко мне *завтра вечером*, часу в девятом — т. е. в четверг 23-го н<оября>. Крайне порадо-

вали бы вы меня вашим посещением, а завтрешний день — будь вам известно — я имею право на *подарки*[1].

Вам душевно пред<анный>

Ф. Тютчев

153. Ю. Ф. САМАРИНУ

24 ноября 1867 г. Петербург

Петерб<ург>. 24 ноября 1867

Убедительно прошу вас, почтеннейший Юрий Федорыч, располагать мною всевластно и переслать на мое имя что вам угодно[1].

Вчера вечером был у меня вручитель вашего письма *Губин* и много и очень занимательно рассказывал нам о посещенных им славянских землях. Но не совсем отрадны его показания. Впрочем, они подтвердили во мне то, что я всегда предполагал. — Есть у славянства злейший враг, и еще более внутренний, чем немцы, поляки, мадьяры и турки. — Это их так называемые *интеллигенции*. Вот что может окончательно погубить славянское дело, извращая его правильные отношения к России[2]. Эти глупые, тупые, с толку сбитые интеллигенции до сих пор не могли себе уяснить, что для славянских племен нет и возможности самостоятельной исторической жизни вне законно-органической их зависимости от России. Чтобы возродиться славянами, им следует прежде всего окунуться в Россию. Массы славянские это, конечно, инстинктивно понимают — но на то и *интеллигенция*, чтобы развращать *инстинкт*[3].

Увидим, как эта пресловутая интеллигенция поймет и оценит начинающийся всемирный кризис и какой исход она найдет для католического славянства из его поистине трагического положения...[4]

Сознавая перед лицом истории всю немощь наших личных усилий, я не могу, однако же, не думать и не верить, что вы, именно *вы, промыслительно* попали в Прагу в эту в высшей степени многознаменательную минуту[5].

Что ваше издание Хомякова? т. е., в особенности, вашего к его книге полновесного предисловия[6]. — Кончина митропо-

лита Филарета должна необходимо многое изменить в постановке вопроса...[7]

Жду с нетерпением вашего приезда в Петербург. — Здесь по-прежнему царит и правит все та же бессознательность.

Вам душевно преданный

Ф. Тчв

154. И. С. АКСАКОВУ

26 ноября 1867 г. Петербург

П<етербург>. Воскресенье. 26 ноября

Друг мой Иван Сергеич. — Надеюсь, что еще до получения моей телеграммы вы отказались от несчастной идеи прекратить издание «Москвы»[1]. Убедительно прошу вас — не делайте этого. Это было бы чем-то вроде японского поединка. Верьте мне, стоящему ближе к этой пакостной действительности, — положение вовсе не такое отчаянное, каким оно могло вам показаться...

По получении вашей телеграммы я тотчас отправился с нею к князю Горчакову, который только что вернулся из дворца. Императрица уже говорила с ним о постигшем «Москву» втором предостережении. Она знала, что предлогом, вызвавшим это предостережение, была статья, писанная *не вами*, и очень сетовала по этому случаю, но ее уверили, что эта статья чрезвычайно резка (*d'une extrême violence*, — говоря их глупым жаргоном, — *un vrai vote de défiance contre le gouv<ernement> dans la question du tarif*[*]). С другой стороны, я узнал через Оболенского[2], что *Рейтерн*[3] нисколько не требовал этой услуги от Валуева и был даже удивлен предостережению. Они хотели отвечать на статьи «Москвы» по делу о тарифе, находя в них много неточностей, но нисколько не требовали административного вмешательства. — Вот что важно и что следует довести до вашего сведения... Графиня Протасова обещала мне свое усердное содействие, и я уверен,

[*] предельно воинственна... подлинный вотум недоверия правительству по вопросу о тарифе (*фр.*).

что, при руководстве Оболенского, она выполнит это весьма удовлетворительно. Князь Горчаков также поручил мне сказать вам, что, по его мнению, вам нисколько не следует прекращать издание.

Общественное мнение, во всех кругах, в эту минуту — более за вас, нежели когда-либо. Все ваши последние статьи встретили здесь самый сочувственный прием. — Словом сказать, «Москва» в авантаже обретается против Валуева, который все более и более *низится* во мнении, и даже в недрах смиренномудрого Совета по делам печати возбудил к себе сильное недоброжелательство.

Вот задатки, которыми можно будет воспользоваться — при неминуемом содействии обстоятельств и всесокрушающей силе вещей.

Что же до вас касается, т. е. до положения, в какое поставлена «Москва» этим вторым предостережением, я вот что́ бы советовал сделать. — Пропустивши несколько дней, я бы в передовой статье изложил — со *всевозможною* сдержанностию и спокойствием — всю мою profession de foi* по всем началам, защищаемым «Москвою», все учение вашего *толка* по всем вопросам — жизненным вопросам русского общества, начиная с самодержавия и кончая, пожалуй, тарифом... Вслед за этим или, лучше сказать, в сопоставлении с этим, я указал бы — смело и отчетливо — на все враждебные силы, вне и внутри России, грозящие ее существованию, — на те стихии, которые историческою необходимостию сближаются и совокупляются в одну громадную коалицию, направленную против не только политических интересов России, но против самого принципа ее существования, — Польша, католичество, клерикально-наполеоновская Франция, австрийские немцы, мадьяры, турки и проч. — имя их же легион — и все эти вражеские силы, уже *сознательно* действующие. Все это следует подкрепить фактами несомненными — осязательными — и вслед за этим предложить вопрос: есть ли какой смысл, ввиду предстоящих случайностей, ослаблять возможность про-

* философию, кредо (*фр.*).

тивудействия, подрывая свою собственную нравственную силу в одном из самых жизненных органов русского общества? — Но все это должно быть высказано совершенно спокойно, с самоуверенностию, но *без всяких личностей* и *намеков* вроде катковских. Чем сдержаннее, тем действительнее[4].

Это письмо будет вручено вам Полонским[5]. Поговорите с ним.

Что моя бедная Анна? Господь с вами.

Ф. Т.

155. А. Ф. АКСАКОВОЙ

3 декабря 1867 г. Петербург

Pétersbourg. 3 décembre

Ma fille chérie. Si quelque chose pouvait ajouter à ma tendre estime pour ton mari, c'est assurément l'acte de courage civil qu'il vient de faire, et à en juger par l'impression, produite ici par son article, la société russe toute entière aura partagé ce sentiment...[1] Je lui avais conseillé autre chose, mais je reconnais bien volontiers qu'il a mieux fait d'avoir suivi son inspiration à lui... Le résultat pratique en sera ce que Dieu voudra... Mais le fait d'une protestation aussi consciencieusement énergique de la force morale contre... ce qui n'est pas elle — n'est jamais perdu. Encore une fois, ici l'impression a été générale et très sérieuse.

Désormais il va être clair pour tout le monde que les conditions, faites à la presse en Russie, sont quelque chose qui n'a pas d'analogue nulle part ailleurs. Voilà l'intelligence de tout un pays, soumise, par suite de je ne sais quel malentendu, non pas au contrôle arbitraire du gouv<ernemen>t, mais à la dictature sans appel d'une opinion *purement individuelle*[2], d'une opinion qui non seulement est en opposition tranchée et systématique avec tous les sentiments et toutes les convictions du pays, mais qui de plus, sur toutes les questions essentielles du jour est en opposition directe avec le gouv<ernemen>t lui-même, et c'est en raison directe de l'appui que la presse aura prêté aux idées et projets du gouv<ernemen>t qu'elle se trouvera plus exposée aux persécutions de cette opinion individuelle, armée de la dictature. Jamais pareille anomalie ne s'est vue



ailleurs, et il est impossible qu'on ne cherche à y porter remède... Aussi est-il fortement question depuis quelques jours dans un certain milieu de revenir à une disposition qui avait été précédemment mise en avant, c'est de faire dépendre le troisième avertissement de l'autorisation du Comité des Ministres[3]. C'est peu de chose, je le sais, mais c'est quelque chose.

De toi à moi, nous savons bien que le mal de la situation n'est pas là, qu'il est plus profond. — Il est des *habitudes* d'esprit, sous l'empire desquelles c'est la presse en elle-même qui est *le mal*, et elle aurait beau servir le pouvoir, *comme elle le fait chez nous*, avec zèle et conviction, il y aura toujours aux yeux de ce pouvoir quelque chose qui vaudra mieux que tous les services qu'elle peut rendre — c'est qu'il n'y eût pas de presse. On frémit à l'idée des cruelles épreuves, tant du dehors que du dedans, par lesquelles cette pauvre Russie est destinée à passer, avant de venir à bout de cette fâcheuse manière de voir...

En attendant, ma bonne Anna, je suis anxieusement désireux d'apprendre l'effet que cette crise, que tu as toujours prévue et jugée inévitable, aura eu sur ta santé — et aussi les conséquences matérielles qu'elle doit avoir pour vous.

J'attends impatiemment de vos nouvelles. Je serre la main à Ив<ан> Сергеич et suis heureux et fier qu'un homme tel que lui soit ton mari. Dieu v<ou>s garde.

Перевод:

Петербург. 3 декабря

Милая моя дочь. Если что и способно было еще больше возвысить твоего любезного мужа в моих глазах, так это, конечно, тот акт гражданского мужества, который он только что совершил, и, судя по впечатлению, произведенному здесь его статьей, все русское общество разделит это чувство...[1] Я советовал ему другое, но с готовностью признаю, что он поступил правильнее, послушавшись своего внутреннего голоса... Каковы будут практические последствия этого поступка, определит Господь... Но факт столь прямодушно решительного протеста нравственной силы против... того, что ею не яв-

ляется, — ни в коем случае не пропадет втуне. Повторяю, здесь впечатление общее и очень серьезное.

Теперь всем будет ясно, что условия, в которые поставлена печать в России, есть нечто уникальное, нигде больше не виданное. Речь идет об интеллекте целой страны, подчиненном, не знаю уж по какому недоразумению, даже не произвольному контролю правительства, а безапелляционной диктатуре мнения *чисто личного*[2], мнения, которое не только резко и неуклонно расходится со всеми чувствами и со всеми убеждениями страны, но, более того, по всем основным вопросам дня вступает в прямое противоречие с самим правительством, так что чем больше печать будет поддерживать идеи и планы правительства, тем больше это деспотическое личное мнение будет ее преследовать. Подобная аномалия никогда нигде не встречалась, и невозможно, чтобы ее не попытались устранить... Не потому ли в известном кругу вот уже несколько дней упорно поговаривают о возвращении к выдвигавшемуся ранее положению, заключающемуся в том, что третье предостережение должно согласовываться с Комитетом министров[3]. Это, я знаю, не бог весть что, но все-таки что-то.

Нам-то с тобой хорошо понятно, что дело не в этом, что болезнь сидит глубже. — Существует *инерция* сознания, в силу которой сама печать воспринимается как *болезнь*, и с каким бы рвением и убежденностью ни служила она власти, *как в нашем случае*, в представлении этой власти все ее услуги всегда будут ничем в сравнении с величайшим благом — отсутствием печати. Содрогаешься при мысли о том, сколько жестоких ударов, как извне, так и изнутри, предстоит получить нашей злосчастной России, прежде чем она отделается от этого пагубного взгляда...

Пока же, моя добрая Анна, я мучительно жажду узнать, как эта развязка, которую ты всегда предвидела и считала неизбежной, отразилась на твоем здоровье — и как она скажется на вашем материальном положении.

С нетерпением жду от вас вестей. Жму руку Ивану Сергеичу, счастлив и горд сознанием, что у тебя такой муж. Господь с вами.



156. Д. А. ОБОЛЕНСКОМУ

4 декабря 1867 г. Петербург

Понедельник

Препровождаю к вам, любезнейший князь, только что полученное мною письмо от Аксакова. Очевидно, что по его делу была какая-то *стряпотня*, довольно нечистого свойства. Знаю одно, что в самый день, как появилось предостережение в «С<еверной> почте», Похвиснев, у которого я был поутру в двенадцать часов, ничего про это не знал... Хотя и сказано, что предостережение дано с согласия Совета...[1] Но что же делать — печать у нас есть своего рода *райя*[2], и с нею предоставлено властям поступать как угодно... Толковать тут о законности — вещь совершенно лишняя...

Но... перейдем к чему-нибудь более отрадному. — Убедительно прошу вас, любезнейший князь, поздравить от меня милую вашу именинницу... с пожеланием ей всевозможных благ... Очень жалею, что проклятый ревматизм в голове, которым я одержим со вчерашнего дня, не позволит мне отпраздновать с вами эти милые именины.

Прошу вас также заявить и перед графинею Протасовой мое искреннее сожаление по сему случаю.

Вам душевно преданный

Ф. Тютчев

P. S. Неужели в самом деле нет пределов царящей и правящей бессознательности и не восчувствуется потребности принять какие-нибудь меры ввиду преобладающего безобразия?..

157. В. П. БОТКИНУ

5 декабря 1867 г. Петербург

Вторник

До последней минуты я все надеялся, почтеннейший Василий Петрович, что я в состоянии буду явиться к вам по обещанию, но проклятая ревматическая боль, которая вот уже третий день одолевает меня, решила иначе — я был бы

при ней слишком недостойным собеседником в вашем кругу... Итак, заявляя *a priori** мое полнейшее сочувствие со всем, что будет говориться у вас по вопросам дня, — жму вашу руку и пребываю вам душевно преданный

Ф. Тютчев.

P. S. Обращаю ваше внимание на диплом<атические> акты, сообщенные нашим М<инистерством> ин<остранных> дел в нынешнем № «Journal de St-P<étersbourg>». Жаль было бы думать, что это — заключительный финал, пропетый на прощанье нашим добрейшим госуд<арственным> канцлером, а между тем есть, по несчастью, причины предполагать, что это *в самом деле так*[1].

158. И. С. АКСАКОВУ

18 декабря 1867 г. Петербург

Петерб<ург>. 18 декабря

Друг мой Иван Сергеич.

При такой живой грамоте, как возвращающийся к вам И.К. Бабст, всякая моя приписка совершенно лишняя. Впрочем, положение достаточно ясно. — Последнее слово все-таки за вами, т. е. за печатью, за общественным мнением, и этим успехом вы обязаны единственно *самому себе*[1]. Даже в официальной среде кредит Валуева по делу печати подорван. Все поняли дикую несообразность подчинить всю мыслящую Россию личному произволу этого *крайне* ограниченного пустого фразера, отсталого на тридцать лет от современного движения и к тому еще по всем главным вопросам идущего наперекор правительственной системе. — Так что можно надеяться, что при первом удобном случае это зреющее сознание негодности теперешнего контроля по делу печати перейдет в положительный протест.

Толки об удалении князя Горчакова угомонились. Вся эта кутерьма вышла вследствие глупой истории с Акинфьевой[2],

* заранее (*лат.*).



за которую государь досадует на Горчакова, да и не без причины. Но об замещении его кем-нибудь другим государь, вероятно, и не думал. — Хотя при дворе есть люди, которым популярность князя весьма не по душе, но на этот раз их происки, вероятно, не достигнут предполагаемой цели.

Что касается до нашей иностранной политики, то она, слава Богу, как-то попала на хорошую колею — римский вопрос все более и более определяется так, как вы его уразумели[3]. Он ляжет непременно *поперек* вопроса национальностей и страшно усложнит предстоящую борьбу. — При прощальном свидании с Наполеоном *Будберг*, чтобы уяснить себе настоящие отношения его к римскому вопросу, поздравил Наполеона с таким энергическим заявлением католического чувства во Франции[4], на что Наполеон сделал гримасу и отвечал, что в этом заявлении много посторонней примеси. Словом сказать, Наполеонова личная политика на буксире у клерикальной партии, но эта партия все-таки увлечет его — тем скорее, что она сделалась единственным союзником французского интереса во всей Европе. Уже в Рейнских провинциях это влияние начинает обозначаться. То же скоро будет и в Южной Германии — и в Бельгии — и повсюду.

Здесь с нетерпением ждут появления «Москвича»[5]. Если подписка идет в уровень с вашею популярностию, то вас можно поздравить с блистательным успехом.

Простите. Анну обнимаю. Знаю, что ее здоровье удовлетворительно, но прошу ее еще долго и долго беречь себя.

Вам от всей души пред<анный>

Ф. Тчв

159. И. С. АКСАКОВУ

4 января 1868 г. Петербург

Петерб<ург>. Четверг. 4 января 1868

Посылаю вам довольно куриозную вещь. Мне сообщили ее по секрету из Министерства ин<остранных> д<ел>, и *по секрету* я передаю ее вам, прося вас убедительно не оглашать ее ни прямо, ни косвенно, — предоставляя вам, впрочем, за-

ключающимися в ней данными воспользоваться по усмотрению вашему. Эта записка сообщена нашим тайным агентом в Париже[1], потому что, по причине крайней неудовлетворительности нашего официального представителя[2], мы должны содержать еще дополнительную, более дельную дипломацию.

Обратите вниманье на то́, что сказано в конце письма о различии воззрения французского министерства касательно Греции и славянского дела[3]. В этом заключается вся суть современного положения. Это новая попытка, и, вероятно, последняя, того, что уже несколько раз повторялось в истории Европы, попытка общими силами союзного Запада подавить славянские племена, и вот почему всякое заявление со стороны России о своей солидарности с славянами уже считается Западной Европою чем-то вроде вызова и заключает в себе как бы зародыш враждебной нам коалиции. — И потому еще раз и с большою, против прежнего, уверенностию повторяю, что если будущею весною не произойдет столкновения на Рейне, вследствие ли итальянских дел или по какой другой причине, то нам предстоят большие тревоги и опасности по восточному вопросу... Мы навязали их себе нашим глупейшим бестолковым миротворничаньем прошлою весною, как я тогда еще предсказывал кн. Горчакову[4].

Слишком, слишком поздно начинает приходить к самосознательности наша политика. Время упущено. — Mors Caroli — vita Conradini, mors Conradini — vita Caroli[5], — вот чего мы вовремя не поняли по отношению к Западу.

Ваши две последние статьи о предостережениях[6] здесь произвели сильный эффект и, разумеется, сильно раздражили против вас предержащую власть, которая упрекает вас в недостатке всякой деликатности, почти что в неблагодарности.

Я имел вчера, по этому случаю, довольно оживленный разговор с Похвисневым, не приведший, понятно, ни к какому заключению.

Простите. Анну обнимаю.

Ф. Т.

160. И. С. АКСАКОВУ

30 января 1868 г. Петербург

Петербург. 30 января <18>68

Ваши последние статьи — касательно *интимидации** — очень метки и своевременны[1]. Податливость всякого рода интимидациям всегда соразмерна с бессознательностию. — Впрочем, что касается до турецких славян, т. е. до восточных христиан, то тут *инстинкт* довольно силен, чтобы устоять против каких бы то ни было внушений, — в этом вопросе политика наша не изменится. Другое дело — вопрос об *австрийских* славянах. Вот что следует выяснить и определить.

Следует, еще раз, создать по этому вопросу для русской политики *легальную* почву, т. е. заявить, во всеуслышание целой Европы, наше полнейшее сочувствие к австрийским славянам на основании их законной равноправности[2], ничего не скрывая, ничего не умалчивая, и чем откровеннее будет наше заявление, тем менее возбудит оно подозрений и нареканий.

Вот как, по-моему, следовало бы поставить вопрос.

Австрия — по существу своему — есть и не может не быть *федеративным* государством. Славянскому элементу принадлежит числительное большинство. Желать, чтобы это большинство не лишено было равноправности, — не только не заключает в себе ничего враждебного существенному интересу Австрии, но самое ее существование немыслимо вне этого условия, следственно, настаивать на этом условии — не посредством *дипломатического вмешательства,* на которое мы не имеем *никакого положительного права,* а свободным словом русской печати — не представляет ничего такого, что бы могло быть истолковано в смысле заклятой вражды против настоящих, законных интересов Австрии. — Это нерв всей аргументации. — Мы нисколько не обязаны признавать Австрию исключитель-

* запугивания (*от фр.* intimidation).

но немецкою или мадьярскою державою, — для нас она, по преимуществу, славянская, и желанием, чтобы славянскому большинству принадлежала подобающая ему в судьбах Австрии доля влияния, мы свидетельствуем о желании установить и упрочить с этою державою самые дружественные отношения...

Вот, мне кажется, как надо поставить вопрос, чтобы завоевать для нашей антиавстрийской агитации законную почву[3].

161. А. Ф. АКСАКОВОЙ

2 февраля 1868 г. Петербург

Pétersbourg. 2 fév<rie>r

Maintenant, ma fille chérie, que le mariage d'Othon est un fait accompli[1], rien, j'espère, ne t'empêchera de célébrer demain la fête de ta patronne avec tout le recueillement possible, et je m'y joins de tous les vœux que je forme pour toi et ton cher mari, et cela à tous les points de vue de votre contentement à venir. Après les épreuves de ces derniers temps, il me semble, humainement parlant, que vous auriez droit à un retour de chances heureuses — et en tête de celles-ci je mets, comme de raison, la réalisation de ce qui a été le vœu constant de ta vie entière...[2]

Ici on est pour le moment dans les fêtes, bals et concerts jusqu'au cou... grâce à la famine...[3] Cette méthode de faire féerie de la charité aux gens est l'équivalent du travail amusant, inventé pour instruire les enfants, et le résultat en est presque le même. — C'est incroyable à quel point la nature humaine est peu sérieuse.

Et au milieu de ce brouhaha de charité dansante et de cet étalage de souscriptions, on ne parviendra jamais à établir, ne fût-ce qu'à titre d'avertissement pour l'avenir, quelle est la part de la responsabilité qui revient à l'imprévoyance et à l'incurie de l'administration dans le désastre qui atteint le pays.

En attendant le pauvre Валуев est toujours souffrant et obligé de se tenir renfermé dans une chambre noire à cause de ses yeux malades... La crise, que l'on prévoyait au Ministère

des Affaires Etrangères, est indéfiniment ajournée[4]. J'ai des raisons de croire que les prédilections personnelles sont en faveur d'Ignatieff – qui assurément est un homme capable et voyant plus clair que d'autres, mais les inconvénients d'un pareil remue-ménage, en présence d'une Europe méfiante et alarmiste, ne seraient pas suffisamment compensés par les avantages qui en résulteraient. Dans les conjonctures actuelles notre action la plus efficace est dans l'inaction, mais une inaction intelligente... Il faut durer pour laisser aux autres le temps de se dissoudre.

Notre meilleur agent en ce moment – quant à nos rapports internationaux – c'est assurément notre presse, et la plus grosse part des services qu'elle rend peut être sûrement attribuée à Aksakoff. Je ne comprends rien à ce que tu me dis du manque de sympathie dont il aurait à se plaindre dans son entourage immédiat. Car ici la sympathie est générale et très explicite... Dis à ton mari que je le prie de prendre en sérieuse considération une certaine indication que je lui ai transmise en dernier lieu. Il peut m'en croire sur parole, à moi qui suis dans la place, quand je lui signale l'endroit faible de la défense. – C'est à la presse à accréditer et à faire prévaloir ce point de vue, et personne n'est à même d'y contribuer autant que votre journal... ce pauvre journal qui a si peu de part à ta tendresse...

Dieu v<ou>s garde.

T. T.

Перевод:

Петербург. 2 февраля

Теперь, милая моя дочь, когда свадьба Оттона позади[1], ничто, надеюсь, не помешает тебе со всей возможной прочувствованностью отпраздновать завтра день твоей небесной покровительницы, и я присоединяюсь к этому празднованию, всем сердцем желая тебе и твоему любезному мужу всяческого благоденствия в будущем. Мне кажется, что после недавно перенесенных испытаний вы, по-человечески говоря, имеете право на новые улыбки судьбы, – и на пер-

вое место я, разумеется, ставлю исполнение главной мечты всей твоей жизни[2].

Здесь сейчас в полном разгаре гулянья, балы и концерты... по случаю голода...[3] Эта манера делать из благотворительности феерию равноценна занимательным урокам, придуманным для обучения детей, и результат ее почти тот же. — Невероятно, до чего несерьезна человеческая натура.

И средь этой круговерти отплясывающей благотворительности и этого базара подписок никому не придет в голову разобраться, хотя бы для предостережения на будущее, в какой мере непредусмотрительность и нерадивость администрации повинны в постигшем страну бедствии.

Между тем бедный Валуев все еще хворает и вынужден сидеть в темной комнате из-за своих больных глаз... Кризис, ожидавшийся в Министерстве иностранных дел, отсрочен на неопределенное время[4]. Я имею основания думать, что личное предпочтение отдается Игнатьеву — человеку, несомненно, способному и трезвее других мыслящему, но осложнения, которыми чревата подобная перестановка сил на глазах у подозрительной и пугливой Европы, не искупятся преимуществами, из нее вытекающими. В нынешних обстоятельствах самым эффективным нашим действием является бездействие, но бездействие разумное... Необходимо продержаться до тех пор, пока иные сами собою не распадутся.

В настоящую минуту наш лучший помощник — в том, что касается международных отношений, — это, конечно же, наша печать, и львиная доля ее заслуг может быть безусловно приписана Аксакову. Решительно не понимаю, что́ ты говоришь о недостатке сочувствия в его непосредственном окружении, на которое он жалуется. Ибо здесь сочувствие общее и совершенно явное... Передай своему мужу, что я прошу его серьезно отнестись к некоему совету, давеча мною ему данному. Он может верить мне на слово, мне, находящемуся внутри крепости, когда я указываю ему на слабое место обороны. — Задача печати — поддержать и внедрить в умы эту точку зрения, и кто же способен лучше с ней справиться, чем

ваша газета... бедная газета, к которой ты питаешь так мало нежности...

Господь с вами.

Ф. Т.

162. И. С. АКСАКОВУ

9 февраля 1868 г. Петербург

Петербург. 9 февраля

Эту статью получил я от Феофила Толстого с просьбою препроводить ее к вам, любезнейший Иван Сергеич, для помещения в «Москвиче», но буде помещение не состоится, то просят о возвращении рукописи[1].

И здесь статья ваша об отчете прокурора Св<ятейшего> Синода произвела очень живое впечатление[2]. Мне говорили, что граф Толстой был несколько им затронут, но в конце концов в этой статье более высказано для него лестного, по кр<айней> мере *in spe**, чем неприятного в настоящем, потому что настоящее это — не что иное, как безобразный хвост независимого от него прошлого.

И вчера полученная статья ваша от 7 февраля чрезвычайно хороша и своевременна. Положение точно таково, как вы его определили[3]. Здесь уже несколько дней, как получены депеши от Штакельберга[4], высказывающие серьезные опасения касательно занятия турецк<их> провинций Австриею. — Но знаем ли *мы*, что́ в таком случае нам надлежит делать, — это, увы, подлежит большому сомнению, — и вот почему печать должна, самым решительным образом, высказывать то́, чего Россия имеет право ждать и требовать, а именно, чтобы на занятие Боснии и Герцеговины было с нашей стороны отвечено немедленным занятием Галиции. Мне очень понятна вся *роковая громадность* подобного решения, но ничего другого нам не остается... Вот чего нельзя терять ни на минуту из виду.

Здесь в известной среде страшное нравственное бессилие... Так что есть от чего прийти в отчаяние.

---

* в надежде на будущее (*лат.*).

Благодарю Анну за письмо. Буду писать на днях. Господь с вами.

163. А. Ф. АКСАКОВОЙ

16 февраля 1868 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 16 février 1868

Au siècle dernier le parlement de Toulouse avait à *l'unanimité* condamné à la roue le protestant Calas, reconnu innocent plus tard[1]. — Quelqu'un, pour excuser cette erreur, citait le dicton, que le meilleur cheval *bronche* quelquefois. — «Passe pour un cheval, — lui fut-il répondu, — mais *toute une écurie...*»[2] Cette fois c'est encore toute une écurie qui a bronché... et bronché par complaisance[3]. C'est là ce qui est grave et ce qui jette un singulier jour sur le fond même de la situation.

Quel malentendu cela révèle entre le pouvoir et toute la partie intelligente du pays — et dans quel moment?.. C'est au moment où la Russie aurait besoin de la plus grande énergie de toutes ses forces — de ses forces morales surtout, — pour faire face aux dangers qui l'entourent, à la coalition, prête à se faire de tant d'influences ennemies, que l'on *démoralise* ainsi comme à plaisir l'esprit public, la conscience nationale du pays... pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent ce qu'ils font...[4] Je comprends que l'on administre le chloroforme à quelqu'un à qui l'on va faire subir une opération... mais chloroformer un homme qui d'un moment à l'autre peut être appelé à combattre... Ce n'est certainement pas lui rendre un service d'ami... Mais encore une fois c'est le *malentendu*, et ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'il est sans *solution possible*.

Je sais bien, que dans ce qui vient d'arriver, tout n'est pas malentendu, et qu'il y a là des gens qui savent fort bien ce qu'ils faisaient. L'article du 8 février, c'était le doigt dans l'œil, et l'on comprend qu'ils aient tout fait, pour écarter ce doigt qui les gênait beaucoup... En effet, la contradiction que signale l'article du 8 février — trop franchement peut-être — c'est le fond même du débat...[5] C'est la question de *to be or not to be*[6] pour certaines choses qui, toutes mauvaises qu'elles sont, toutes indignes de vivre, n'en aiment pas moins la douce lumière du jour... et voilà



pourquoi tous les moyens leur sont bons, pour défendre leur chère existence. Assurément, il n'y a pas la moindre solidarité entre les choses mauvaises... et les vrais intérêts du pouvoir, il y a même opposition complète — mais comment faire comprendre cela?..

Je n'ai pas besoin de te dire l'émoi que tout ceci a causé ici... Plusieurs d'entre ceux-là même, qui ont concouru au vote, gémissent, et même assez haut, sur *l'illégalité* de la mesure, mais son *inopportunité* est encore plus saillante... Et on s'en apercevra bientôt à la joie de tout ce qui nous est ennemi, et au découragement de tout ce qui tient à nous... Il paraît que nous avons besoin encore de rudes leçons et, certes, elles ne nous manqueront pas...

Je serre la main à ton mari. — Il a le droit d'être satisfait de lui-même. Dieu vous garde.

T. T.

Перевод:

Петербург. 16 февраля 1868

В минувшем столетии тулузский парламент *единогласно* приговорил к колесованию протестанта Каласа, позднее признанного невиновным[1]. — Кто-то, чтобы оправдать эту ошибку, привел поговорку: конь и о четырех копытах, да *спотыкается*. — «Добро бы еще один конь, — ответили ему, — но *весь конный двор...*»[2] Ну, так вот и на сей раз целый конный двор споткнулся... и споткнулся из угодливости[3]. Вот это-то и важно, и именно это бросает особый свет на самую суть дела.

Какое же недоразумение между властью и всей мыслящей частью страны изобличается этим обстоятельством — и в какую минуту?.. В ту самую минуту, когда Россия стоит перед необходимостью собрать все свои силы — свои нравственные силы в особенности, — дабы противустать окружающим ее опасностям, коалиции, готовой образоваться под воздействием враждебных влияний, — в эту самую минуту как нарочно *деморализуют* общественное мнение, национальное сознание страны... Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят...[4] Я понимаю, когда дают хлороформ кому-нибудь, кого пред-

стоит оперировать... но хлороформировать человека, который с минуты на минуту может быть призван к борьбе... Это ведь не значит оказать ему дружескую услугу... Да, повторяю, здесь *недоразумение*, и грустнее всего то, что не предвидится никакой *возможности его разрешения*.

Я хорошо понимаю, что в происшедшем не всё — недоразумение и что есть люди, которые очень даже ведали, что творят. Статья от 8 февраля попала пальцем не в бровь, а прямо в глаз, и понятно, что они сделали всё, дабы устранить этот палец, столь их беспокоивший. Действительно, противоречие, на которое — быть может, слишком откровенно — указывает статья от 8 февраля, и составляет самую суть спора...[5] Это вопрос *to be or not to be**[6] для некоторых недостойных существовать гнусностей, которые не выносят ясного света дня... и вот почему они не брезгают ничем, защищая свою драгоценную жизнь. Конечно, нет ничего общего между этими гнусностями... и истинными интересами власти, более того, они противоположны, — но как сделать так, чтобы это поняли?..

Мне незачем говорить тебе, какой переполох все это здесь вызвало... Даже кое-кто из тех, кто содействовал решению, сетует, и даже довольно громко, на *незаконность* меры, но ее *несвоевременность* еще более очевидна... И в этом не замедлят убедиться по ликованию всего, что нам враждебно, и по унынию всего, что связано с нами... Видно, нам нужны еще суровые уроки, и, конечно, в них не будет недостатка...

Жму руку твоему мужу. — Он вправе быть довольным собой. Храни вас Бог.

Ф. Т.

164. И. С. АКСАКОВУ

17 февраля 1868 г. Петербург

Петербург. 17-го февраля

Вчера писал к Анне, сегодня к вам, в ответ на ваше вчера вечером полученное письмо. — Понимаю ваше удивление, и

---

* быть или не быть (*англ.*).

здесь оно было всеобщее, — не из тучи гром. Но все-таки в свете нет следствия без причины, а эту-то объяснить не совсем удобно...[1] Стратегическое же движение было таково: довольно ловким маневром ключ позиции был захвачен еще до начала дела, и этим самым исход его предрешен заранее. Почему же так легко было завладеть этим ключом позиции? Это опять требовало бы объяснений не совсем удобных... Главная причина, полагаю, состояла в том, что самое существование «Москвича» представлено было в виде фальши, подлога, злокозненного глумления над великодушною добросовестностию администрации[2]. — И этому-то взгляду на дело заявлено было *положительное сочувствие*, и этим сочувствием и было, разумеется, все порешено.

Логически запрещение «Москвича» должно повлечь за собою устранение «Москвы». — Теперь вопрос: следует ли *вам* предупредить добровольно это устранение или продолжать до последнего не́льзя? Если бы это было делом только личного достоинства, то я бы, не обинуясь, советовал бы сойти со сцены. — Решением 13 февраля, *как бы оно ни состоялось*, вы как публицист поставлены *вне закона*, а при таких условиях борьба не только невозможна, но и бесславна. Это не подлежит сомнению. — Но с другой стороны, в этой *mise hors la loi** кроется большая доля недоразумения, совершенно преднамеренного для некоторых его вызвавших, но совершенно невольного и добросовестного в высшей среде, при содействии которой только и могло оно выработаться в осуждение.

Ваша публицистика связана неразрывною солидарностию со всею русскою печатью в ее лучших представителях. Вы и они защищаете одно и то же дело: национальность в политике, законность в правительстве. Итак, предоставьте же вашим *неблагоприятелям* уяснить до последней осязательности, оттого ли они чествуют вас самою избранною неблагосклонностию, что видят в вас самого искреннего и энергичного представителя этих двух начал? В таком случае игра

---

* постановке вне закона (*фр.*).

стоила бы свеч. Претерпевший до конца, тот спасен будет[3]. Разумеется, есть еще и другая сторона — финансовая, которую, конечно, нельзя терять из виду, — но это вне моей компетентности.

165. А. Ф. АКСАКОВОЙ

20 февраля 1868 г. Петербург

Pétersbourg. 20 février

Je ne pourrai jamais assez te dire, ma chère Anna, combien je suis en peine de toi... Je ne comprends que trop bien combien tu dois être fatiguée de tous ces tracas, de tous ces tiraillements, de tous ces mécomptes — et l'influence que tout ceci doit nécessairement avoir sur ta santé... Je comprends que tu te sentes irritée et révoltée contre le milieu où tu es, et que cette impression est encore avivée par l'impossibilité d'en sortir. L'idée de quitter la Russie pour un temps plus ou moins long est une boutade fort naturelle en vue de ce qui vous y arrive[1], mais le moyen n'est pas à ton usage, et ni toi, ni ton mari vous ne supporteriez une expatriation un peu prolongée. — Quand on se sent aussi identifié que l'est Аксаков à la vie même de son pays, et que ce pays est la Russie, se sevrer de cette communauté d'existence, surtout dans les circonstances données, ce serait pis qu'un exil, ce serait un suicide... Et cependant j'insiste plus que jamais pour que l'été prochain tu ailles faire une cure à l'étranger. Ceci me paraît absolument indispensable et doit primer toute autre considération... Je suis sûr que ton excellent mari pense là-dessus comme moi... Pas moins je voudrais bien avoir quelque certitude sur les chances de voir se réaliser cette éventualité.

J'ai vu Babst[2] qui m'a donné des détails curieux sur le mouvement d'adhésion qui a éclaté à Moscou en faveur de la cause, soutenue par ton mari. Ici il en est à peu près de même, tous les gens qui pensent ont été d'autant plus péniblement affectés de cet incident, que rien n'était plus propre de mettre en évidence le vice radical de la situation, le défaut de la cuirasse du principe lui-même...[3] Nous voilà aussi empêchés que doivent se sentir des catholiques sincères en présence du principe de l'infaillibilité du

Pape. C'est la clef de voûte de tout l'édifice, que l'on sent ébranlé... La clique qui se trouve maintenant au pouvoir a une action positivement *antidynastique*... Si elle y restait, elle rendrait le pouvoir régnant non seulement *impopulaire*, mais *antinational*.

Ci-joint une lettre de Théophile Tolstoy qui a rapport à son article de loi qui devait paraître dans le *Москвич*[4]. Ne pourrais-tu pas prier Kitty de faire tenir cet article à Katkoff, par l'intermédiaire de Щебальский par exemple?

Je t'embrasse de tout cœur et aimerais bien te revoir. — Mille amitiés à ton mari.

Перевод:

Петербург. 20 февраля

Не нахожу слов, чтобы выразить тебе, моя милая Анна, как я огорчен за тебя... Я слишком хорошо понимаю, как ты, вероятно, устала от всех этих хлопот, от всей этой дерготни, от всех этих разочарований — и как все это неизбежно скажется на твоем здоровье... Я понимаю, что среда, в которой ты находишься, раздражает и возмущает тебя и что это чувство еще более обостряется невозможностью из этой среды выбраться. Идея покинуть Россию на более или менее продолжительный срок — побуждение вполне естественное ввиду того, что с вами происходит[1], но это для тебя не выход, ибо ни ты, ни твой муж не выдержали бы сколько-нибудь длительной разлуки с отечеством. — Когда чувствуешь себя, как Аксаков, столь слившимся с самой жизнью своей страны и когда страна эта — Россия, оторваться от этой общности существования, особенно при данных обстоятельствах, было бы хуже изгнания, это было бы самоубийство... И, однако, я более, чем когда-либо, настаиваю, чтобы будущим летом ты поехала лечиться за границу. Это представляется мне безусловно необходимым и должно преобладать над всякими другими соображениями... Я убежден, что твой добрейший муж думает по этому поводу то же, что и я... Я очень хотел бы знать, есть ли какие-нибудь шансы на то, что эта возможность осуществится.

Я видел Бабста[2], и он передал мне любопытные подробности о всеобщей поддержке, оказанной в Москве делу, которому служит твой муж. Здесь происходит приблизительно то же самое, все мыслящие люди тем более удручены этим инцидентом, что он как ничто другое высветил глубинный порок ситуации, изъян в основе самого принципа...[3] И вот мы испытываем то же чувство оцепенения, какое, должно быть, вызывает у искренне верующих католиков принцип непогрешимости папы. Кажется, будто колеблется купол всего здания... Клика, находящаяся сейчас у власти, проводит линию положительно *антидинастическую*... Если она продержится, то сделает господствующую власть не только *непопулярной*, но и *антинациональной*.

Прилагаю письмо Феофила Толстого, относящееся до его статьи о законодательстве, которая должна была появиться в «Москвиче»[4]. Не можешь ли ты попросить Китти передать эту статью Каткову, хотя бы через посредство Щебальского?

Целую тебя от всего сердца и очень хотел бы тебя видеть. — Самый сердечный привет твоему мужу.

166. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

26 марта 1868 г. Петербург

Pétersbourg. Ce Mardi. 26 mars 1868

Ma fille chérie. Il paraît que j'étais prédestiné à expérimenter à mes dépens la vérité du dicton qu'on n'est jamais trahi que par les siens[1], et c'est d'une trahison de ce genre — bien involontaire, sans doute — que je viens me plaindre. Il s'agit de la très inutile et très oiseuse publication de ce recueil de rimes[2] qui n'étaient bonnes qu'à être oubliées, qui vient de se faire. — Mais comme, malgré tout le dégoût que j'en avais en principe, j'avais fini par y consentir, par paresse et laisser-aller, je n'ai pas le droit de m'en plaindre. Seulement je pouvais espérer que la publication se ferait avec quelque discernement, et qu'on n'irait pas fourrer dans ce mince volume un tas de petits vers de circonstance, n'ayant jamais eu que le plus fugitif intérêt du moment, et qui, reproduits, deviennent par là même parfaitement ridicules et déplacés. J'en

serai quitte, pour revêtir l'apparence d'un de ces rimeurs ridicules, niaisement épris du moindre bout de rime qui leur a jamais échappé — et bien que tel ne soit pas précisement mon cas, je me résignerai, sans grande peine, même à cet absurde contresens, par dégoût et indifférence. Mais d'avoir reproduit dans ce malheureux petit volume ces quelques vers à l'intention du P<rince> Вяземский, en ayant soin de mettre son nom, son propre nom en tête, ceci, je l'avoue, me paraît un peu trop fort...[3] et je supplie, avec instance, pour que, s'il y a moyen, on m'épargne les conséquences inévitables de la chose... Je vais essayer de suspendre provisoirement la vente de l'édition chez les libraires d'ici, en attendant qu'on répare cette singulière distraction, en fixant, s'il est possible, cette malencontreuse pièce de vers, mais sans l'adresse de Вяземский. Il faudrait avoir soin de faire la même correction dans la table des matières... Et tant de tracas à propos d'une chose si parfaitement inutile et dont il était si facile de s'abstenir.

Pauvre, cher Aksakoff, et voilà tous les remerciements qu'il aura eus de moi, pour toute la peine qu'il s'est donnée... Il en recevra de meilleurs après le 1er № de sa *Москва*, attendu ici avec une vive impatience[4].

Mille amitiés à l'oncle Сушков. Son écrit sur le défunt Philarète[5] est vraiment une chose qui se lit avec un grand intérêt. Les dernières pages sont saisissantes.

Et maintenant, fille chérie, laisse-moi t'embrasser et te souhaiter les bonnes fêtes, ainsi qu'à toute la famille. Dieu vous garde.

Ф. Тютчев

Перевод:

Петербург. Вторник. 26 марта 1868

Милая моя дочь. По-видимому, мне суждено было испытать на себе истину изречения, что человека предает домашний его[1], и вот на такого-то рода предательство — без сомнения, совершенно неумышленное — я и собираюсь тебе жаловаться. Речь идет о намеднишнем выходе в свет весьма бесполезного и весьма пустого сборника виршей[2], которые бы-

ли годны разве лишь на то, чтобы их забыли. — Но раз уж я, несмотря на все свое глубинное отвращение к названной затее, в конце концов, из лени и безразличия, дал свое согласие, то мне и грех на это сетовать. Все же я имел основание надеяться, что издание будет сделано с известным разбором и что не напихают в один жиденький томик целую кучу мелких стихотворений «на случай», которые никогда-то не представляли никакого интереса, кроме самого сиюминутного, а в напечатанной книге смотрятся совершенно смешно и неуместно. Я легко отделаюсь, если прослыву одним из тех жалких рифмачей, которые по-дурацки влюблены в малейший вырвавшийся у них стишок, — и хоть в этом-то меня никак не упрекнешь, но я уж как-нибудь примирюсь, из одной гадливости и безучастия, даже с такой чудовищной нелепицей. Однако то, что в этой несчастной книжонке воспроизвели несколько строк по адресу князя Вяземского, позаботившись проставить в заголовке его имя, его полное имя, мне, признаюсь, кажется некоторым пересолом...[3] и я усердно молю, чтобы, если не поздно, изыскали способ избавить меня от неминуемых его последствий... Я попытаюсь временно приостановить продажу издания у здешних книготорговцев до тех пор, пока не исправят эту невероятную оплошность, сохранив, если возможно, злосчастное стихотворение, но без упоминания Вяземского. Следовало бы позаботиться о том, чтобы внести ту же поправку и в оглавление... И столько беспокойств из-за чистейшей глупости, от которой так просто было воздержаться.

Бедный, милый Аксаков, и вот вся благодарность, которую он получит от меня за все свои старания... Зато ему воздастся сторицей после выхода 1-го № его «Москвы», ожидаемого здесь с живейшим нетерпением[4].

Самый дружеский привет дяде Сушкову. Его книга о покойном Филарете[5] читается с поистине огромным интересом. Последние же страницы просто захватывающи.

А теперь, милая моя дочь, позволь мне обнять тебя и пожелать тебе, так же, как и всему семейству, хорошо провести праздники. Храни вас Бог.

Ф. Тютчев



167. А. Ф. АКСАКОВОЙ

11 апреля 1868 г. Петербург

Pétersbourg. Jeudi. 11 avril <18>68

Ma bonne et chère Anna, j'ai écrit ces jours-ci à ton mari, pour lui dire l'impression que m'a faite la réapparition de la *Москва*[1] et ses premiers leading articles. Cette impression a été partagée par tout le monde ici, et c'est avec la plus vive sympathie qu'ont été salués les quelques articles déjà parus, et qui, en effet, sont faits de main de maître. Ainsi, du côté du public, succès complet. Mais voici le revers de la médaille... L'Administration de la Presse, et surtout son président, l'excellent Похвиснев, ont été vivement blessés de la revue rétrospective des faits dans le tout premier article de la *Москва*[2]. On y signale une complète *mésreprésentation* de toute l'affaire, et à cette occasion j'ai pu me convaincre encore une fois, combien la fatalité du malentendu est inhérente à toutes les transactions humaines... Il est de fait que l'Administration de la Presse, en autorisant la publication du *Москвич*, a pu croire que c'est surtout l'élément économique de l'ancien journal qui allait être mis sur le premier plan, conformément aux déclarations de Mr Шипов[3], dont l'intercession avait le plus contribuée à décider le Ministère, et quant à la nouvelle rédaction, on m'a communiqué des lettres de Mr Андреев qui contenaient les engagements les plus explicites[4]. Bref, il y avait là tous les éléments d'un malentendu solide, et comprends à la rigueur qu'au point de vue, où ces gens sont placés, le résumé historique de l'affaire, tel qu'il est consigné dans la *Москва* et qui a frappé tout le monde par la franchise évidente des explications, a dû leur paraître artificieux et peu sincère. De là l'irritation qui, je le crains, ne tardera pas à se faire jour... Hier, à ce que j'ai appris, il y a eu une réunion extraordinaire du Conseil de la Presse, et comme je n'y ai pas été convoqué, j'ai tout lieu de croire qu'il y aura été question de la *Москва*[5]: Nous ne tarderons pas à en apprendre le résultat.

Tout cela est pitoyable, il y a dans le spectacle de cette lutte, qui devient un pugilat, entre l'arbitraire brutal et une pensée libre, qui n'admet aucune transaction, quelque chose de révoltant

et d'attristant à la fois, car c'est une *crise sans issue*... Toutes mes sympathies, comme celles de tout le public, sont avec Aksakoff, mais il y a le sens pratique, le sens de la réalité qui, quoi qu'on fasse, garde aussi ses droits... Je t'ai écrit ces quelques lignes — assurément fort inutiles — non pas pour t'informer, mais pour avertir. J'écrirai prochainement plus au long à ton mari. Il me tarde bien de te voir. Dieu v<ou>s garde.

Перевод:

Петербург. Четверг. 11 апреля <18>68

Моя добрая милая Анна, давеча я отписал твоему мужу о впечатлении, произведенном на меня возобновлением «Москвы»[1] и ее первыми leading articles*. Это впечатление разделяется здесь всеми, и несколько уже опубликованных статей, действительно писанных рукою мастера, были встречены с живейшим сочувствием. Итак, у читающей публики успех безусловный. Но вот оборотная сторона медали... Управление по делам печати и в особенности его председатель, милейший Похвиснев, были глубоко задеты самой первой статьей «Москвы»[2], представляющей собою обзор недавних перипетий. Заявляют о полном *извращении* всех фактов, и это лишний раз убеждает меня в том, что в любом человеческом соглашении заключено роковое недоразумение... Управление по делам печати, дозволяя издание «Москвича», действительно могло рассчитывать, что на первый план будет выдвинут экономический отдел прежней газеты, как заверял г-н Шипов[3], чье ходатайство более всего повлияло на решение Министерства, а что касается новой редакции, то мне передали письма г-на Андреева, в которых содержатся совершенно определенные обязательства[4]. Словом, все предпосылки для серьезного недоразумения были налицо, и, по крайней мере, надо понять, что людям, введенным в такое заблуждение, тот ретроспективный обзор дела, который дается в «Москве» и который поразил

---

* передовыми статьями (*англ.*).

всех очевидной искренностью объяснений, должен был показаться лицемерным и лживым. Отсюда раздражение, которое, боюсь, не замедлит проявиться... Вчера, как мне сообщили, состоялось чрезвычайное заседание Совета по делам печати, и поскольку я не был туда приглашен, то имею полное основание предполагать, что речь шла о «Москве»[5]. Мы не замедлим узнать результат.

Все это прискорбно, зрелище этой перерастающей в драку борьбы между грубым произволом и свободной мыслью, не признающей никаких соглашений, вызывает смешанное чувство возмущения и горечи, ибо *кризис этот безысходен*... Все мои симпатии, так же как и симпатии всего общества, на стороне Аксакова, но существует здравый смысл, существует чувство реальности, без которых, как ни крути, тоже не обойтись... Я черкнул тебе эти несколько строк — конечно, весьма никчемных — не с целью обрисовать картину, но с целью предуведомить. Скоро напишу более подробно твоему мужу. Страшно по тебе стосковался. Господь с вами.

168. Н. И. ТЮТЧЕВУ

13 апреля 1868 г. Петербург

Петербург. 13 апреля <18>68

Благодарю тебя, друг ты мой, за любовь твою к нам, столько раз выказанную на деле и которая не нуждалась бы в новых заявлениях, но все-таки всех нас — а меня и подавно — глубоко тронуло твое деятельно-заочное участие в этом несколько неожиданном семейном деле. Еще раз благодарю!

Предстоящий брак, конечно, довольно своеобразен. Точно ребенок, который из любви к своей доброй няне вдруг бы женился на ней. Но так как бедному Диме, кажется, уже предназначено в некоторых отношениях всю жизнь оставаться ребенком и, следственно, нуждаться в няне, то подобный брак и был для него единственно возможный, единственно целесообразный. Она, — будущая жена его, — очень добрая, разумная девушка, уже отрекшаяся было от всякого замужества и только вследствие своей почти материнской заботли-

12 Зак. 7509

вости о Дмитрии решившаяся, наконец, и не без труда, выйти за него замуж...[1] Вся эта история несколько оживила во мне память о моих страстных отношениях — во время оно — к давно минувшему *Николаю Афанасьичу*[2].

Вчера я писал к Анне. Опасения мои были основательны: предостережение состоялось[3]. На этот раз оно просто было вызвано оскорбленным самолюбием Похвиснева, но потворство такому дрянному делу со стороны Тимашева[4] не предвещает ничего хорошего. Все они более или менее мерзавцы, и, глядя на них, просто тошно, но беда наша та, что тошнота наша никогда не доходит до рвоты. Была речь в Главном управлении о предании газеты суду и об ее совершенном прекращении в случае осуждения, но, разумеется, на это они не отважились, и вот что окончательно должно бы было втоптать в грязь это подлое ведомство: это его расчетливая трусость при таком грубом произволе. Они чувствуют себя как бы в простенке между общественным мнением и самостоятельным судом и в этой тесноте душат втихомолку все, что у них под рукою. — А иногда и на самого Аксакова становится досадно за то, что он — конечно, в ущерб самому себе — вызывает такие безобразные явления.

Прости, друг ты мой, надеюсь видеться с тобою в первой половине мая месяца. Господь с тобою.

Ф. Т.

169. А. Ф. АКСАКОВОЙ

20 апреля 1868 г. Петербург

Pétersbourg. 20 avril 1868

Ma fille chérie, avez-vous songé que l'anniversaire de demain[1] tombe aussi sur un dimanche comme il y a trois fois treize ans. Quel rêve que la réalité! et comment l'homme fait-il pour croire à la persistance de son identité? Qu'ai-je gardé des impressions de ce premier dimanche de ta vie, sauf le souvenir d'un beau soleil de printemps et d'un vent tiède et doux qui, pour la première fois, soufflait ce jour-là... Eh bien, tu n'as pas trop démenti la croyance, établie relativement aux *Sonntagskind*, tout n'a pas été

couleur de rose dans ta vie, mais tu as échappé, au moins, à la banalité, et c'est quelque chose.

Nous avons eu ici la visite de Katkoff qui, tout recherché qu'il a été ici, n'aura remporté d'ici — à ce qu'il m'a dit — que des impressions très peu gaies et la résolution arrêtée *d'acérer* sa polémique... *Тимашев*[2] a fait beaucoup de frais pour lui, et dans un entretien de deux heures, qu'ils ont eu ensemble, celui-ci lui a avoué, à propos du dernier avertissement à la *Москва*, que c'est bien à contrecœur qu'il s'y est décidé, mais qu'il a eu la main forcée. C'est aussi ce que me disait chaque fois feu Валуев[3], et le fait est que c'est plus vrai qu'on ne le pense, car dans le milieu, où ces gens-là vivent, et avec les courants, auxquels ils sont exposés, la résistance est presqu'impossible... C'est comme des gens qui marchent sur du verglas par un vent furieux. — Puis, en parlant de *Потапов* et de la ligne de conduite qu'il paraît vouloir adopter[4], *Тимашев* a assuré Катков de la manière la plus positive qu'il ne le souffrirait pas et que, le cas échéant, l'un des deux quitterait la partie... En effet, ce qui se répète ici des propos tenus par Потапов, venant corroborer ses premiers faits et gestes, est quelque chose de vraiment incroyable. Dernièrement ces messieurs — lui, Потапов, et Шувалов le gendarme — avaient invité l'ami *Moller*[5], que tu connais de Moscou, de venir conférer avec eux, et là ils ont été amenés à faire une profession de foi qui assurément ne laisse rien à désirer... C'est de la *Весть en clair*, comme dans une transcription de dépêche chiffrée... Le résumé de la doctrine c'est que la soi-disant nationalité russe n'est qu'une blague de journaliste qui n'a de sens que par rapport à cinq ou six millions de population des gouvernements du centre, que toutes les autres parties de l'Empire, y compris la Petite Russie et même le pays des Cosaques du Don, sont décidément *centrifuges* et ne sauraient être retenues et contenues que par une force brutale, la compression matérielle... Enfin toute la doctrine de l'émigration polonaise, avec *l'inconscience* de plus... Ce qui, toutefois, n'a pas empêché Шувалов de faire sa profession de foi à l'égard du principe autocratique russe, qu'il considère comme parfaitement incompatible non seulement avec tout progrès, mais

même avec la moindre suite dans les actes... Et ce sont de pareils *drôles* qui gouvernent la Russie...

Ah, certes, la Russie serait bien ce qu'ils pensent d'elle, si elle pouvait supporter longtemps encore l'ignominie d'avoir à sa tête de tels drôles...

Et en vue d'un pareil état de choses, on sent à la lettre la respiration vous manquer, on sent son intelligence comme asphyxiée. Quelle est donc la raison d'être d'une pareille absurdité? — Comment s'expliquer que ces ridicules médiocrités, ces piètres écoliers en retard de toute leur classe, ces hommes si fort au-dessous même de notre propre niveau, pourtant si bas, — comment se fait-il qu'un pareil rebut soit et se maintienne à la tête du pays? et que la force des choses n'ait pas chez nous assez de puissance pour les balayer? — c'est là un redoutable problème et dont la solution sincère et parfaitement rationnelle est, je le crains, au-delà de nos raisonnements les plus spacieux. — Un fait est certain, et qui jusqu'à ce jour n'a pas été suffisamment analysé... C'est la vie organique d'un élément parasite dans la Sainte Russie... ce quelque chose qui dans l'organisme général, mais aux dépens de lui, vit de sa vie propre, logique, conséquente et pour ainsi dire normale dans son action fatalement destructive... Il n'y a pas là que du malentendu, de l'ignorance, de l'ineptie, une erreur d'esprit ou de jugement. La racine en est plus profonde et on ne sait pas encore bien jusqu'où elle va...

Mais en voilà assez. Mon cerveau est fatigué, et je sens comme une nausée d'esprit en m'arrêtant sur ces choses-là...

Pour en revenir à des impressions plus douces, j'approuve presque votre résolution de rester. Car le repos de l'âme et de l'esprit est aussi un élément très essentiel de l'hygiène physique, et cet élément-là te manquerait absolument partout ailleurs qu'à Moscou et ses environs.

Mille tendresses à ton mari, tout *irréformable* qu'il est. C'est à lui que s'applique ce vers si connu:

> Ты б лучше быть могла,
> Но лучше так, как есть[6].

Que Dieu v<ou>s garde.



Перевод:

Петербург. 20 апреля 1868

Моя милая дочь, приходило ли тебе в голову, что завтрашний день рождения[1] тоже приходится на воскресенье, как трижды тринадцать лет тому назад. Что за сон — действительность! и как это может человек верить в неизменность собственного я? Что осталось у меня от впечатлений того первого воскресенья твоей жизни, кроме воспоминания о прекрасном весеннем солнце и теплом, мягком ветре, который веял в тот день в первый раз... Ну что ж, ты не слишком опровергла давнее поверье, касающееся *Sonntagskind**, не все в твоей жизни было окрашено в розовый цвет, но, по крайней мере, ты избежала банальности, а это что-нибудь да значит.

К нам приезжал сюда Катков, который, хоть и был здесь нарасхват, вынес отсюда — как он мне сказал — лишь самые невеселые впечатления и твердую решимость *обострить* свою полемику... *Тимашев*[2] старался изо всех сил быть с ним любезным и в беседе, которую они вели два часа, признался по поводу последнего предостережения «Москве», что решился на это весьма неохотно и что его принудили. То же говорил мне всякий раз и покойный Валуев[3], и это более справедливо, чем полагают, ибо в той среде, где живут эти люди, и при тех подводных течениях, от коих они зависят, сопротивление почти невозможно... Они подобны людям, идущим по гололедице при жестоком ветре. — Затем, говоря о *Потапове* и о том направлении, которого он, по-видимому, намерен придерживаться в своей деятельности[4], *Тимашев* уверял Каткова самым решительным образом, что он этого не потерпит и что в крайнем случае одному из них придется выйти из игры... И правда, то́, что приводится здесь из речей Потапова, подкрепляющих его первые шаги и действия, представляется просто невероятным. Недавно эти господа — он, Потапов, и Шувалов-жандарм — пригласили на совещание некоего *Моллера*[5], коего ты знаешь по Москве, и там им пришлось изложить

* воскресных, то есть родившихся под счастливой звездой, детей (*нем.*).

свои политические убеждения, несомненно, превосходные... Это то, что говорится в «Вести», но на сей раз *открытым текстом*, как в расшифровке тайнописи... Суть доктрины сводится к тому, что так называемая русская народность — не более чем выдумка журналистов, имеющая смысл лишь в отношении пяти-шести миллионов населения центральных губерний, а что все остальные части империи, включая Малороссию и даже область Войска Донского, безусловно находятся в *центробежном* движении и могут быть удержаны и сдержаны только грубой силой, физическим подавлением... Одним словом, целиком и полностью доктрина польской эмиграции, к тому же *неосознаваемая*... Однако это не помешало Шувалову изложить свою точку зрения на принцип русского самодержавия, которое он считает совершенно несовместимым не только с каким бы то ни было прогрессом, но даже с какой-либо последовательностью в действиях... И подобные *негодяи* управляют Россией...

Да, Россия, конечно, стала бы тем, чем она им видится, если бы еще долго терпела позорное засилье этих негодяев...

Сталкиваясь с таким положением вещей, буквально чувствуешь, что спирает дыхание, что разум мутится. В чем же причина подобной нелепости? — Почему эти жалкие посредственности, самые худшие, самые отсталые из всего класса ученики, эти люди, стоящие настолько ниже даже нашего общего, кстати очень невысокого уровня, — почему эти выродки находятся и удерживаются во главе страны? почему сила обстоятельств не позволяет нам их свалить? — это страшная проблема, и разрешение ее, истинное и в полной мере разумное, боюсь, лежит за пределами наших самых пространных рассуждений. — Есть одно несомненное обстоятельство, которое до сих пор еще недостаточно исследовано... Оно заключается в том, что паразитические элементы органически присущи Святой Руси... это нечто такое в организме, что существует за его счет, но при этом живет своей собственной жизнью, логической, последовательной и, так сказать, нормальной в своем пагубно разрушительном действии... И это происходит не вследствие недоразумения, невежества, глу-



пости, неправильного понимания или суждения. Корень этого явления глубже, и пока еще неизвестно, докуда он доходит...

Однако довольно. Мозг мой утомлен, и я ощущаю некую умственную тошноту, когда касаюсь этих предметов...

Возвращаясь к впечатлениям более приятным, я почти одобряю ваше решение остаться. Ибо покой души и ума тоже очень важен для физического здоровья, а этого покоя ты бы безусловно была лишена в любом месте, далеком от Москвы и ее окрестностей.

Самый сердечный привет твоему мужу, как бы он ни был *неисправим*. Это к нему применим столь известный стих:

> Ты б лучше быть могла,
> Но лучше так, как есть[6].

Да хранит вас Бог.

170. И. С. АКСАКОВУ

23 апреля 1868 г. Петербург

Петербург. 23 апреля

Друг мой Иван Сергеич. Вам по праву принадлежала честь почина по самому главному, по самому жизненному из современных вопросов. Начало сделано, решительно и блистательно...[1] увидим последствия. — Успех дела зависит, по-моему, от одного обстоятельства. Есть ли в нашей церкви еще какая-либо жизненность? Буде она есть, то из самой среды духовенства живые голоса откликнутся на ваш голос, и тогда дело может пойти на лад, — но при полном бездействии с этой стороны, которое не замедлит перейти в противодействие, ваша попытка, как она ни своевременна, останется, увы, одною попыткою.

Уже вчера говорили мне, — о чем писал к вам и Бабст, — что Синод неблагоприятно отнесся к вашим статьям, но зато, как уверяют, *Тимашев* за вас... Тоже и князь Горчаков, который в восхищении от ваших статей, не вполне понимая их... Здесь по этому поводу обличились разные прекуриозные яв-

ления — при этой совершенно для него неожиданной и непонятной встрече космополитического индифферентизма с фанатическою Москвою. Что это? Мираж оптический ли, или какой-то другой обман? Словом сказать, бессознательность и непонимание нашего общества проявились тут во всем своем блеске.

Намедни добрейший Алексей Толстой читал при мне статью вашу с большим сочувствием, но не без крайнего удивления, и еще более удивился, когда я сказал ему, что тут нет никакой непоследовательности, что все это прямо, логически, неудержимо вытекает из всего вашего учения... Что это за страшная бездна всякого рода недоразумений!.. Поэтому мне казалось бы совершенно своевременным, если бы вы посвятили хоть одну статью для вразумления всех этих непонимающих, в которой бы вы им выяснили, как органически вяжется поднятый вами вопрос со всеми вашими основными воззрениями на христианское начало и православную церковь — и чем отличается ваше учение о свободе совести от учений западных рационалистов (тут, может быть, кстати было бы упомянуть о Хомякове и о имеющем выйти в свет его втором томе с предисловием Самарина[2]). — Необходимо также было бы искренне и положительно определить отношения этого вопроса к польскому делу.

Подобные объяснения необходимы для наших скудоумных либералов. — Но что касается до наших казенных ревнителей православия, то им следовало бы указать в резком очерке современных событий, на каком роковом перепутьи стоит в данную минуту русская церковь: с одной стороны, римский кризис, эта окончательная и страшно убедительная поверка всей лжи принципа, отрицающего свободу совести[3], — с другой стороны, начинающееся в Англии движение против другого вида лжи, воплощенного в образе политической англиканской церкви[4], — и ввиду этих двух как бы противуположных явлений, но неизбежно ведущих к одной и той же цели, т. е. к полнейшему разрыву церкви с государством, — исконно православное, христианское учение как единственно руководящее начало из этого безыс-



ходного лавиринфа. И что же — при этих данных, в эту неизмеримой важности историческую минуту — вдруг, что же? Русская церковь, не сознавая своего православного призвания, из какого-то умственного отупения и нравственного растления, отрицанием этого жизненного своего начала свободы христианской совести — ни с того, ни с сего — станет вдруг непризванной прихвостницею отживающего папизма и непрошеной сообщницею разлагающегося англиканизма. — До чего, до какого позора и посрамления может дойти духовное начало, подчинившее себя полицейской опеке! Вот тот неискупный грех, та хула на Духа святого, о котором говорится в Писании. Все это так, но, увы, — откуда же ждать спасения? Только ли от случайной, и то еще лишь предполагаемой, доброй воли Тимашева?..

Да неужели в самом деле из среды нашего духовенства ни один голос не откликнется сочувственно на ваши статьи? Неужели все вымерло, всякое призвание, всякая потребность жертвы своим убеждениям?..

Пока простите, дорогой мой Иван Сергеич. — Смотрю на вашу газету, и от души хотелось бы сказать: «Пред взорами Москва — и нет Москве конца»[5], потому что с *ее* концом порвалось бы многое. — Вас и Анну обнимаю.

Ф. Т.

171. А. Ф. АКСАКОВОЙ

28 апреля 1868 г. Петербург

Pétersbourg. 28 avril

Pour le coup, ma fille chérie, vous n'avez que trop raison. L'article du 24 avril[1] a été une chose regrettable et malencontreuse, et nous tous, les amis de la *Москва*, tous sans exception, nous en avons été péniblement affectés...

Mais comment se fait-il, bon Dieu, qu'avec un si vif sentiment des choses, on ait si peu de sens pratique...

Et qui de nous n'aurait désiré en être déjà à ce régime de la presse et à cet état de l'opinion publique qui autorisent et comportent cette âpre franchise de polémique, cette guerre à

outrance aux abus... Mais en sommes-nous là... je ne dis pas seulement le pouvoir, mais même le public? Il n'y a qu'à regarder pour voir. Et dès lors peut-on traiter un enfant comme un homme fait et un convalescent comme un homme en pleine santé? Tu as très justement remarqué que la lutte de l'idée contre la force brutale est tragique et grandiose. Mais quand elle dégénère en un parti pris de lutte contre l'impossible, elle prend un tout autre caractère... On devient violent et on cesse d'être sérieux... Voilà où est le danger... Tout cela est bien triste et bien fâcheux... Ça l'est d'autant plus que la *Москва* n'avait plus désormais affaire à une hostilité personnelle et systématique, au moins pas de la part de *Тимашев* qui, comme je le sais de science certaine, était dans de très bonnes dispositions à son égard... Il avait accepté, et même avec une secrète sympathie, les deux articles sur la liberté de conscience[2] et était décidé à les soutenir — ce qui n'est pas peu de chose — contre les rancunes et les doléances du Synode. — Ce n'était pas là, assurément, un mince succès, il fallait le ménager et ne pas faire déborder le vase... gratuitement...

Est-ce à dire que l'article du 24 n'ait pas raison dans le fond? Non, certes, mais il a d'autant plus tort dans la forme, celui d'abord d'être blessant, personnellement blessant pour l'Empereur et d'avoir par là même aggravé le malentendu, et d'autre part d'aller réjouir la presse polonaise à l'étranger qui ne manquera pas de s'en autoriser, comme d'un aveu, à l'appui de ses diatribes contre ce régime de sang et de terreur qui pèse sur nous tous...

A l'heure qu'il est vous devez avoir le second avertissement[3] qu'il était facile de prévoir. — Maintenant de deux choses l'une — ou de quitter immédiatement la rédaction, ou de s'arranger de manière à ne pas contrarier les efforts qui pourraient être faits ici, pour amener ici, par l'entremise du G<rand>-Duc Héritier et à titre de mesure générale, un acte d'amnistie en matière de presse, — à la première occasion favorable qui ne tardera pas. — Ecris-moi un mot là-dessus, ma chère Anna, et embrasse ton mari, dont j'aime jusqu'à ses torts qui irritent sans déplaire. Dieu v<ou>s garde tous deux.

T. T.

Перевод:

Петербург. 28 апреля

Да-да, милая моя дочь, ты более чем права. Статья от 24 апреля[1] была прискорбной и недопустимой ошибкой, и нас, всех друзей «Москвы» без исключения, она глубоко огорчила...

Но, Боже правый, как же столь ясное понимание дела уживается с подобной непрактичностью...

Ну, кто из нас не желал бы, чтобы уже сейчас управление печатью и общественное мнение были на таком уровне, что дозволяли бы и даже приветствовали резкую прямоту полемики, ожесточенную войну с злоупотреблениями... Но доросли ли мы до этого... я имею в виду не только власть, но и общество? На сей счет трудно заблуждаться. И тут сам собою напрашивается вопрос: можно ли обращаться с ребенком, как со взрослым, а с выздоравливающим, как с человеком вполне здоровым? Ты очень верно заметила, что борьба идеи с грубой силой трагична и величественна. Но когда она превращается в упрямые наскоки на стену, то приобретает совсем другой характер... Начинаешь свирепеть и теряешь серьезность... Вот в чем опасность... Все это страшно грустно и страшно обидно... Тем более что «Москве» впредь не пришлось бы сталкиваться с систематической личной враждебностью, по крайней мере со стороны *Тимашева*, который, как я знаю из достоверного источника, был очень хорошо к ней расположен. Он принял, и даже с тайным сочувствием, обе статьи о свободе совести[2] и приготовился защищать их — шутка ли — от нападок и жалоб Синода. — Это, безусловно, немалый успех, следовало бы его ценить и не переполнять чаши... зазря...

Значит ли это, что статья от 24 апреля ошибочна по существу? Конечно, нет, но тем ошибочнее она по форме, прежде всего потому, что она задевает, непосредственно задевает государя, усугубляя тем самым недоразумение, и еще потому, что ее появление обрадует зарубежную польскую печать, которая не преминет ухватиться за нее как за свидетельство справедливости своих ярых нападок на кровавый репрессивный режим, гнетущий всех нас...

В настоящую минуту вы, должно быть, уже получили второе предостережение[3], которое легко было предвидеть. — Теперь одно из двух: либо тотчас же выйти из редакции, либо постараться не мешать усилиям, которые — при первом удобном случае, обещающем вскорости представиться, — могут быть предприняты здесь с целью добиться, через посредство великого князя наследника и под видом общей меры, акта амнистии в отношении печати. — Черкни мне по этому поводу несколько слов, моя милая Анна, и обними своего мужа, коего я люблю со всеми его промахами, вызывающими досаду, но не чувство протеста. Да хранит вас обоих Господь.

Ф. Т.

172. С. П. ФРОЛОВУ

23 июня 1868 г. Старая Русса

Старая Русса. Воскресенье. 23 июня 1868

Me voici, mon bien cher ami, en pleine Staraja Roussa[1], précédant la lettre, par laquelle vous deviez annoncer mon arrivée.

J'ai trouvé tous les vôtres dans l'état le plus satisfaisant du monde. Votre sœur, surtout, qui est plus jolie que jamais. Mais je ne vous dissimulerai pas qu'elle a été quelque peu désappointée, en me voyant arriver tout seul et sans la promesse formelle et positive de votre arrivée prochaine qu'elle persiste à attendre et à espérer avec une foi, bien digne, assurément, d'être exaucée. L'idée seule, qu'elle pourrait se voir frustrée dans son attente, lui fait venir les larmes aux yeux. Quant à votre maman, elle se contentera, comme elle le déclare, d'en être silencieusement indignée...

Le voyage, pour arriver ici, est vraiment des plus agréables. La navigation sur le Волхов, dans cette saison surtout, avant comme après Novgorod, ne laisse rien à désirer, et quant à la ville de Novgorod, elle-même, dernièrement encore un diplomate étranger, qui venait de la visiter, en parlait avec le plus vif et le plus intelligent intérêt en présence de quelques-unes de nos dames du grand monde qui l'entendaient parler ainsi avec une bienveillante incrédulité. — Il est vrai que le diplomate étranger savait plus d'histoire que ces dames.



Vous voyez, mon bien cher Сергей Петрович, que je m'acquitte de mon mieux de la promesse, que j'ai faite à votre charmante sœur, d'user de tous mes moyens de persuasion, pour vous attirer ici. Je croirais tout à fait hors de saison d'y ajouter l'assurance du très grand plaisir que j'aurai de vous voir ici.

Si vous veniez ici, ne fût-ce que pour quelques jours, n'oubliez pas d'apporter votre fusil. J'ai pu, du bateau à vapeur, m'assurer par mes propres yeux de la quantité de canards et d'oies sauvages qui foisonnait dans ces parages. J'en ai vu des nuées, s'envolant ou s'abattant à très peu de distance du bateau.

Et sur ce, mon bien cher ami, je vous serre cordialement la main, et vous dis mille fois — votre tout dévoué

T. Tutchef.

Перевод:

Старая Русса. Воскресенье. 23 июня 1868

Вот, любезный мой друг, я уже и водворился в Старой Руссе[1], опередив письмо, которым вы должны были известить о моем прибытии.

Всех ваших я нашел в самом удовлетворительном состоянии. Особливо вашу сестрицу, похорошевшую до невозможности. Однако не скрою от вас, что она была несколько разочарована, увидев меня одного и не получив четкого и твердого ручательства касательно вашего скорого приезда, которого она продолжает ждать и чаять с несокрушимой верой, безусловно достойной вознаграждения. При одной лишь мысли о том, что ее надежда может быть обманута, у нее на глазах наворачиваются слезы. Что же до вашей матушки, то та, по ее собственным словам, удовлетворится молчаливым негодованием...

Дорога сюда действительно на редкость приятная. Плыть пароходом по Волхову, как до, так и после Новгорода, особенно в это время года, — величайшее удовольствие, а что до самого града Новгорода, то намедни один посетивший его иностранный дипломат говорил о нем с самым живым и осмысленным интересом в присутствии нескольких наших великосветских дам, слушавших его с благосклонным недо-

верием. — Право слово, иностранный дипломат знал историю лучше, чем эти дамы.

Вы видите, милейший Сергей Петрович, что я изо всех сил стараюсь исполнить данное мною вашей очаровательной сестрице обещание использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства убеждения, дабы заманить вас сюда. Тут уж, мне кажется, будут совершенно излишними уверения в огромном удовольствии, которое вы доставите мне своим здесь появлением.

Если вы приедете сюда хоть на несколько дней, не забудьте захватить с собою ружье. Плывя по реке, я мог убедиться воочию, какое множество уток и диких гусей водится в здешних краях. Я видел, как они тучами взлетали и падали совсем рядом с пароходом.

А засим, любезнейший друг, сердечно жму вашу руку и тысячу раз повторяю — всецело вам преданный

Ф. Тютчев.

173. А. Ф. АКСАКОВОЙ

27 июня 1868 г. Старая Русса

Старая Русса. 27 июня

C'est ici que j'ai reçu ta dernière lettre sans date, ma fille chérie, et c'est d'ici que je t'écris. Je suis venu ici prendre quelques bains, d'après l'avis des médecins, et un peu aussi pour changer d'air et de lieu... Tout ce pays, arrosé par le Волхов, toute cette première étape de la Russie, vers laquelle elle est momentanément revenue[1], est un pays très curieux... A la grandeur vague et illimitée de ces horizons, à cette masse des eaux, si largement répandues et qui embrassent et mettent en communication une si vaste étendue de pays, on sent instinctivement que c'est bien là un berceau de Géant.

Quant aux bains que je prends ici, il me paraît qu'ils me font du bien... Il est vrai que la saison splendide qu'il fait en ce moment y contribue beaucoup.

J'ai du plaisir par ce temps enchanté à me transporter auprès de vous — en attendant que je le fasse en personne, ce qui



arrivera, je l'espère, dans une quinzaine de jours... Ce doit être un charmant séjour que Кунцево en ce moment, et qui tient bien sa place au milieu de toute cette magnificence générale.

Cette invasion splendide de la nature du midi parmi nous rappelle un peu le voyage de l'Impératrice Catherine dans la steppe, avec ses surprises et ses enchantements improvisés et si peu durables, hélas...

J'ai reçu une lettre de Daria qui m'a beaucoup remué. Elle me demande et me conjure, au nom de son isolement, d'aller la rejoindre[2], me disant, ce qui est vrai, qu'elle devrait avoir plus de droit que personne sur moi, en égard à l'état d'abandon où elle est... Ah, qu'il est difficile de tout concilier...

Ce que tu me dis dans ta lettre de témoignage de la gratitude Souveraine m'a fait plaisir. J'aime à leur reconnaître de ces sentiments essentiellement humains, et rien de plus humain dans l'homme que ce besoin de rattacher le passé au présent... C'est comme une dernière barrière contre l'invasion d'un égoïsme sans bornes...

J'ai quitté la ville au moment où l'Auguste tribu venait de se transporter à Péterhoff qui doit être aussi bien beau à l'heure qu'il est et où je me représente ton très léger fantôme, errant encore sous la poussière des jets d'eau.

Je compatis dans une certaine mesure à ton chagrin de voir Aksakoff se disposant à reprendre la rédaction du journal, mais le public ne sera pas de notre avis... Il est temps que les premiers-*Moscou* redeviennent *lui*, même au risque de quelque nouvel émoi[3].

Je me flatte, d'ailleurs, qu'après ce temps de trêve on se retrouvera de part et d'autre moins farouche et moins susceptible... Le temps, à ce qu'il paraît, est à la conciliation — au moins provisoire.

Adieu, ma fille chérie, et au revoir, à bientôt.

T. T.

Перевод:

Старая Русса. 27 июня

Здесь я получил твое последнее письмо без даты, милая моя дочь, и отсюда же отвечаю тебе. Я приехал сюда, чтобы,

по совету врачей, полечиться ваннами, а отчасти для перемены обстановки... Вся эта орошаемая Волховом земля, это начало России, к которому она на мгновение возвратилась[1], — местность поразительная... Перед бескрайним, неоглядным размахом этих горизонтов, перед этим обилием широко разлившихся вод, обнимающих и связующих воедино такие громадные пространства, ощущаешь, что именно здесь колыбель Исполина.

Что до ванн, которые я здесь принимаю, то они, по-моему, идут мне на пользу... Правда, этому немало способствует стоящая нынче дивная погода.

Мне приятно в эту волшебную пору переноситься мыслями к вам — в предвкушении момента, когда я прибуду собственной персоной, что произойдет, надеюсь, через две недели... Очаровательным пристанищем должно быть сейчас Кунцево, уютно расположившееся посередке этого всеобщего великолепия.

Такое блистательное вторжение к нам южного климата несколько напоминает путешествие императрицы Екатерины в степь, с его сюрпризами и импровизированными чудесами, столь, увы, недолговечными...

Я получил от Дарьи письмо, страшно меня растревожившее. Она умоляет меня приехать к ней[2], заклиная своим одиночеством и заявляя, вполне справедливо, что у нее, при ее неустроенности, больше прав на меня, чем у кого-либо... Ах, как трудно все совместить...

То, что ты говоришь в своем письме о свидетельстве монаршей признательности, доставило мне удовольствие. Меня радуют вот такие проблески подлинной человечности в высочайших особах, а нет ничего более человечного в человеке, чем потребность привязывать прошлое к настоящему... Это как последний барьер, сдерживающий натиск безграничного эгоизма.

Я покинул город сразу же после того, как августейшее семейство перекочевало в Петергоф, где теперь наверняка тоже очень красиво и где мне видится твоя легкая тень, все еще блуждающая под водяной пылью фонтанов.

Разделяю в известной мере твое огорчение по поводу того, что Аксаков намеревается опять принять на себя редактирование газеты, но мнение публики будет отличным от нашего... Пора передовицам «Москвы» снова стать *аксаковскими*, даже с риском вызвать какое-нибудь новое возмущение[3].

Впрочем, льщу себя надеждой, что после этой передышки обе стороны выкажут меньше ожесточенности и меньше обидчивости... Момент вроде бы благоприятствует примирению — по крайней мере, временному.

Прощай, милая моя дочь, скоро увидимся.

Ф. Т.

174. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

6 июля 1868 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 6 juillet 1868

Ma fille chérie, je suis touché plus que je ne puis le dire de votre pieuse indulgence pour moi qui la mérite si peu. C'est dans une de mes excursions aux environs de Pétersb<ourg>, à Старая Русса[1], nommément — où je suis allé, je ne sais comment — que j'ai reçu ta dernière lettre, toute embaumée de calme et de fraîcheur, et à laquelle je réponds en ce moment du fond d'un étouffoir... Cela nous fait un dialogue dans le genre de celui, cité par l'Evangile, entre le juste qui est au sein d'Abraham, et le mauvais riche qui, au fin fond de la géhenne, lui demande piteusement une goutte d'eau[2]. Moi, c'est un souffle d'air frais que je demande dans ce milieu où l'on suffoque non seulement de la chaleur étouffée de la ville, mais aussi de la fumée de l'incendie qui, à plusieurs verstes à la ronde, enveloppe tout Pétersb<ourg>, grâce à la tourbe qui brûle et qu'on laisse brûler le plus tranquillement...[3] On nous dit que plus tard cela fera de l'excellente terre... Eh bien, souffrons dans l'intérêt de l'avenir. — Pas moins, cette lettre écrite, je compte aller trouver Paul Melnikoff, pour prendre avec lui mes derniers arrangements quant à mon départ pour Moscou, où il viendra me prendre, pour m'emmener avec lui jusqu'à Orel par le chemin de fer, ce qui, assurément, est la seule chance que

j'aie d'arriver jamais jusqu'à Ovstoug[4], d'où je ne reviendrai qu'au mois d'août, c'est-à-d<ire> à l'époque <...>.

<Конец письма утрачен>

Перевод:

Петербург. 6 июля 1868

Моя милая дочь, не могу выразить, как тронут я твоей благоговейной снисходительностью к отцу, столь мало ее заслуживающему. В одном из моих блужданий по окрестностям Петербурга, а именно в Старой Руссе[1], — куда я забрался сам не ведаю как, — нашло меня твое последнее письмо, все дышащее покоем и свежестью, а отвечаю я на него из самого пекла... Наша беседа сродни приведенному в Евангелии диалогу между праведником, покоящимся на лоне Авраамовом, и грешным богачом, который жалобно взывает к нему из глубин геенны, умоляя о капле воды[2]. Я же молю об одном глотке свежего воздуха, ибо тут задыхаешься не только от застоявшегося городского зноя, но и от дыма, окутавшего весь Петербург на несколько верст окрест из-за пожара торфяных болот, которым спокойно дают выгорать...[3] Нам говорят, что впоследствии на этом месте будет прекрасная земля. Итак, потерпим ради будущего. — Тем не менее, я намерен, закончив это письмо, отправиться к Павлу Мельникову, чтобы окончательно условиться с ним насчет моего отъезда в Москву, где он нагонит меня и увезет с собой в Орел на поезде, что, безусловно, предоставляет мне единственный шанс когда-либо добраться до Овстуга[4], откуда я вернусь лишь в августе месяце, то есть ко времени <...>.

175. Ю. Ф. САМАРИНУ

13 июля 1868 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 13 juillet 1868

Enfin, cher Юрий Федорович, je puis vous donner des nouvelles de votre caisse de livres qui, comme un bâtiment longtemps perdu en mer, s'est heureusement retrouvé au port.

La dite caisse se trouve en ce moment déposée au Comité, en attendant vos ordres quant à sa remise définitive[1]. Ce que j'attends, moi, et avec bien plus d'impatience encore, ce sont vos publications de Prague, nommément celle dont vous avez si heureusement empêché l'avortement par une fuite aussi prudente que prompte...[2]

A en juger par les journaux de ce qui se passe là où vous êtes, vous assistez à ce moment à une curieuse expérience — à l'effort d'un moribond qui cherche sournoisement à étouffer un adversaire dont il n'a jamais pu venir à bout, même lorsqu'il était plein de vie et de vigueur[3], mais ce spectacle, tout instructif qu'il est, vu de près, doit être profondément triste et écœurant... Il serait fort à désirer, toutefois, dans l'intérêt de la bonne cause, que les choses, pour le moment au moins, ne soient pas poussées jusqu'à l'extrême, c'est-à-d<ire> jusqu'à un conflit matériel qui serait fatal au bon droit, attendu que la Russie, hélas, n'est pas encore à point, pour lui prêter main-forte, et que tout autre secours, surtout un secours, venant du côté de la Prusse, lui serait positivement fatal. Mais une fois venu le jour de la grande lutte, on peut, je crois, affirmer, contrairement à l'assertion de Beust, que Prague ne sera pas livrée par la Russie. Ceux, qui nous gouvernent, n'en savent assurément rien à l'heure qu'il est, mais ils ne manqueront pas de le savoir quand le moment sera venu... C'est cette confiance, parfaitement motivée et légitime, qu'il s'agirait par tous les moyens possibles de propager en Bohême. Car une Bohême slave, parfaitement autonome et indépendante, la Russie dans son intérêt le plus évident aurait dû l'inventer, si elle n'existait déjà en principe, et cette assertion est beaucoup plus vraie que celle de Palazky[4] dans le temps... Une Bohême indépendante, appuyée sur la Russie, telle est la combinaison très simple et très efficace que l'histoire tient en réserve, pour faire à son heure échouer l'unité de l'Allemagne qui, en dépit des apparences, a, selon <moi>, moins de chances que jamais à se réaliser et n'aboutira, en définitive, à n'être qu'une Prusse considérablement agrandie.

Mais on devrait avoir honte de toute cette logomachie tant de fois ressassée et de tout ce bavardage politique à perte de vue devant ce sombre et sinistre silence que gardent encore les événements...

Ici, pour le moment, l'événement du jour c'est la désertion générale, pas précisément un exode, mais une sortie de classe. Dans huit jours Pétersbourg sera complètement désert. Moi, pour ma part, je compte après demain m'en aller à Moscou, et de là à la campagne... L'autre jour je me trouvais à Oranienbaum où il a été beaucoup et bien affectueusement question de vous... La G<rande>-D<uchesse> Hélène comptait partir pour Carlsbad mercredi prochain, c'est-à-d<ire> le 17 de ce mois.

Et sur ce laissez-moi — en attendant vos ordres — vous serrer la main et me dire, cher Юрий Федорыч, votre bien dévoué

Ф. Тчв.

Перевод:

Петербург. 13 июля 1868

Наконец-то, любезный Юрий Федорович, могу доложить вам о вашем ларе с книгами, который, подобно кораблю, долго пропадавшему в море, благополучно вошел в гавань. Теперь вышеназванный ларь стоит в Комитете, ожидая ваших распоряжений относительно вручения его по принадлежности[1]. Я же ожидаю, и еще с большим нетерпением, ваших пражских изданий, а именно того, срыву которого вы так успешно помешали своим столь же мудрым, сколь быстрым отъездом...[2]

Если судить по газетам о происходящих у вас там событиях, вы сейчас присутствуете при любопытном действе — при потугах умирающего, силящегося под шумок удушить противника, которого он не мог одолеть даже тогда, когда был полон сил и жизни[3], но, как ни назидательно это зрелище, наблюдать его вблизи наверно чрезвычайно грустно и омерзительно... Для пользы дела было бы все ж таки очень желательно, по крайней мере, в настоящий момент, не доводить ситуацию до крайности, то есть до прямого столкновения, которое погубило бы правое дело, поскольку Россия, увы, еще не созрела для того, чтобы поддержать его силой, а всякая иная помощь, особливо со стороны Пруссии, оказалась бы для него решительно роковой. Однако можно, по моему убеждению, утверждать, вразрез с заявлением Бейста, что, когда придет день великой битвы,

Россия не предаст Прагу. Те, что нами правят, пока ничего об этом, разумеется, не знают, но не преминут узнать, едва пробьет час... Веру в это, вполне оправданную и законную, следовало бы всеми возможными средствами насаждать в Богемии. Ибо самый очевидный интерес заставил бы Россию выдумать совершенно независимую и самоуправляющуюся славянскую Богемию, если бы таковая уже в принципе не существовала, и это утверждение куда более верно, чем давнишнее утверждение Палацкого...[4] Независимая Богемия, опирающаяся на Россию, — вот очень простая и очень действенная комбинация, прибeрегаемая историей для того, чтобы в нужную минуту не допустить объединения Германии, которое, вопреки видимости, сейчас, по-моему, менее осуществимо, чем когда-либо, и, в конце концов, выльется лишь в изрядное разбухание Пруссии.

Однако, надо бы постыдиться всех этих тысячу раз говоренных пустопорожних словес, всей этой бесконечной политической болтовни перед лицом мрачного и зловещего безмолвия, до сих пор хранимого событиями...

У нас нынче событием дня является всеобщий разъезд, не то чтобы настоящий исход, но массовое бегство. Через неделю Петербург совсем опустеет. Я сам рассчитываю послезавтра отправиться в Москву, а оттуда в деревню... Давеча я был в Ораниенбауме, где много и с симпатией говорили о вас... Великая княгиня Елена Павловна готовилась выехать в Карлсбад в будущую среду, то есть 17-го сего месяца.

Засим позвольте мне — в ожидании ваших распоряжений — пожать вам руку и подписаться, любезный Юрий Федорыч, — ваш покорный слуга

Ф. Тчв.

176. М. П. ПОГОДИНУ

30 августа 1868 г. Москва

Простите авторской щепетильности. — Мне хотелось, чтобы, по крайней мере, те стихи, которые надписаны на ваше имя, были по возможности исправны, и потому посылаю вам их вторым изданием...[1]

Простите, завтра еду...[2] Чем будет мир при первом нашем свидании?.. Продолжится ли все та же агония отживающего порядка вещей или разрешится она тем роковым взрывом, который, после страшных потрясений, должен расчистить место для нового европейского строя?..[3]

Что в Западной Европе боятся этого поворота, как светопреставления, это понятно... Для нее он тó и будет. Но чтобы мы, Россия, смотрели на это дело с теми же малодушными опасениями, это просто глупо и свидетельствует о нашей крайней умственной несостоятельности...

Лозунг завтрешнего дня — это *возрождение Восточной Европы*, и пора бы нашей печати усвоить себе это слово: *Восточная Европа* как определенный политический термин... Покажите и в этом пример. Этот почин принадлежит вам по праву.

Михаилу Петровичу Погодину

Стихов моих вот список безобразный –
Не заглянув в него, дарю им вас –
Не совладал с моею ленью праздной,
Чтобы она, хоть вскользь, им занялась...

В наш век стихи живут два-три мгновенья –
Родились утром, к вечеру умрут –
О чем же хлопотать? Рука забвенья
Как раз свершит свой корректурный труд...

Ф. Тютчев

177. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

5 сентября 1868 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 5 sept<embre 18>68.

Ma chatte chérie. Je me flatte que mon télégramme vous est parvenu à temps pour corriger l'impression qu'aurait pu vous laisser la lettre que je t'ai écrite de Moscou la veille de mon départ... Je vais décidément mieux, et me trouve dans l'heureuse possibilité de descendre l'escalier par ma propre industrie au



lieu de me faire porter, comme je l'avais fait jusqu'à présent... Aujourd'hui j'inaugurerai la botte du droit commun... Encore quelques jours, et je redeviendrai ingambe, comme à l'ordinaire...

A mon retour[1], c'est *Иов* lui-même qui a pris l'initiative des explications et m'a avoué qu'en effet l'état de complète ivresse, où il se trouvait, qui a occasionné la ridicule alerte qui a amené l'intervention de la police, mais il m'a confié en même temps que ce sont ses chagrins domestiques qui l'avaient poussé à cet accès d'intempérance, – j'ai accepté toutes ces explications, et comme j'ai retrouvé en lui le même individu correct et convenable que par le passé, il m'a été facile de passer l'éponge sur un fait anormal, dont je n'ai pas été témoin, etc. etc. C'est donc un incident considéré comme non avenu, à condition qu'il ne se renouvelle pas...[2]

J'ai eu dernièrement la visite de ce malheureux Othon[3] qui fait peine à voir... C'est un homme écrasé, et il a suffi pour cela qu'une fois dans sa vie il se trouvât placé, face à face, avec la réalité... En un mot, il s'est vu tel qu'il est. C'est tout dire. Sa femme, en le quittant, lui a brutalement déclaré qu'elle ne l'a jamais aimé, ni ne pourrait jamais l'aimer, et depuis leur séparation elle ne lui donne plus signe de vie... J'avais à lui remettre une petite collecte de 75 r<ou>bles de la part de ses sœurs, et c'était là l'unique consolation que j'ai eu à lui offrir.

Hier je suis allé présider mon Comité. J'avais déjà précédemment vu Похвиснев le jour même de mon retour, et j'ai pu annoncer à ces messieurs que la question de l'avancement, au moins quant au principal intéressé, avait été résolue dans le sens de leurs vœux. J'ai trouvé là l'ami Polonsky qui m'a conté l'incident qui vient d'avoir lieu chez lui: une *bonne* qui est au service du ménage, l'autre jour, en traversant la rue, a été mordue au pied par un petit chien enragé. Cela m'a rappelé les appréhensions de ma pauvre mère, qui nous paraissaient si excentriques, et qui, après tout, n'étaient que raisonnables...

La saison ici s'est un peu modifiée, il a plu ces jours-ci, mais le fond de l'air est toujours encore chaud, et aujourd'hui le soleil

semble vouloir prendre le dessus. Aussi je compte en profiter, pour aller dans la journée à Krestovsky, faire une visite à la petite Lise[4], dont c'est la fête aujourd'hui. Hier elle m'a décoché un petit billet tout aimable, pour m'annoncer sa prochaine apparition chez moi, tout en m'exhortant à me faire transporter chez elle, et me cite l'exemple de *Chateaubriand* qui, pendant des années, dit-elle, a fait la joie de ses amis du fond de sa chaise roulante... Eh bien, non, je n'aimerais pas à faire la sienne dans cette posture-là...

Je voisine toujours très intimement avec l'excellent Delianoff et dîne chez lui avec des professeurs et autres gens de cette espèce... qui en valent bien d'autres.

D'ailleurs rien *de nouveau*. L'Empereur sera le 15 à Varsovie et est attendu ici pour le 22...[5] Mais il serait bien temps que je reçoive une lettre de vous, qui me redonne un peu de conviction...

Перевод:

Петербург. 5 сентября <18>68

Милая кисанька. Тешу себя надеждой, что моя телеграмма подоспела в нужную минуту, чтобы смягчить впечатление, которое могло произвести на вас письмо, отправленное мною из Москвы накануне моего отъезда... Мне значительно лучше, и я уже обрел благодатную способность спускаться с лестницы собственными стараниями, вместо того чтобы заставлять сносить себя вниз на руках, как мне приходилось делать до сих пор... Нынче я снова обуюсь в обычные человеческие сапоги... Еще несколько дней, и ко мне вернется моя всегдашняя подвижность...

По моем возвращении[1] *Иов* сам явился ко мне с объяснениями и признался, что виною нелепой потасовки, завершившейся вмешательством полиции, действительно было состояние сильнейшего опьянения, в котором он тогда находился, но в то же время он доверительно мне поведал, что довели его до такого припадка буйства нелады в семействе, — я выслушал все это и, видя перед собой ту же пристойную и смирную личность, какой он представлялся мне прежде, с легкостью простил ему эту выходку, при коей не присутствовал, и т. д.



и т. п. Итак, будем считать, что ничего не случилось, если только подобное не повторится...[2]

Намедни меня посетил несчастный Оттон[3], на которого жалко глядеть... Это сломленный человек, и, чтобы дойти до такого состояния, ему было достаточно раз в жизни посмотреть в лицо действительности... Одним словом, он увидел себя таким, какой он есть. Этим все сказано. Его жена, прощаясь с ним, заявила ему без обиняков, что никогда его не любила и никогда не смогла бы полюбить, и с тех пор, как они расстались, он не имеет от нее никаких вестей... Я передал ему 75 рублей, скромное вспомоществование, собранное для него сестрами, и это было единственное утешение, которое я мог ему предложить.

Вчера я председательствовал в своем Комитете. Я уже повидал Похвиснева в самый день моего приезда и смог объявить собравшимся господам, что вопрос о повышении в чине, по крайней мере относительно главного заинтересованного лица, решен согласно с их желанием. Там я встретил любезного Полонского, который рассказал мне о происшедшей у него дома неприятности: на днях бешеная собачонка укусила за ногу *экономку*, когда та шла через улицу. Это напомнило мне страхи моей бедной матушки, казавшиеся нам ужасным чудачеством, а выходит, более чем оправданные...

Погода здесь немного переменилась, последние дни моросил дождь, но воздух все еще сохраняет тепло, и сегодня, похоже, разведрится. Я думаю этим воспользоваться и отправиться днем на Крестовский в гости к маленькой Лизе[4], нынче празднующей именины. Вчера я получил от нее чрезвычайно милую записочку, в коей она сообщает о том, что скоро нанесет мне визит, и умоляет устроить так, чтобы меня непременно к ней доставили, приводя в пример *Шатобриана*, который много лет, говорит она, развлекал своих друзей, будучи прикованным к креслу-каталке... Ну уж нет, я бы вовсе не хотел развлекать ее, будучи к чему-то прикованным...

Я по-прежнему по-добрососедски общаюсь с милейшим Деляновым и обедаю у него с профессорами и другими людьми того же рода... которые стоят многих прочих.

В целом же, ничего *нового*. Государь 15-го будет в Варшаве и ожидается здесь к 22-му...[5] Однако мне бы уже пора получить от вас письмо, чтобы хоть немного воспрянуть духом...

178. А. Ф. АКСАКОВОЙ

9 сентября 1868 г. Петербург

Pétersbourg. 9 septembre

On a relégué par delà cette vie cette *existence des ombres* qu'on attribue aux morts, — et cependant, même de notre vivant, nous sommes condamnés à ce mode d'existence chaque fois que l'absence nous oblige à recourir à la plume pour correspondre avec ceux dont nous sommes séparés. Car qu'y a-t-il de plus effacé, de plus incomplet, de plus fantôme qu'une lettre? Et c'est pourtant de cette existence-là que nous vivons une bonne partie de notre vie...

Je vois par votre lettre, ma fille chérie, que vous n'êtes pas encore à bout de vos tracas d'emménagement, tout comme moi. Je n'ai pas encore entièrement recouvré l'intégrité de mes pieds, cependant le mieux est incontestable, et la journée d'hier a même été marquée par un progrès décisif, j'ai pu mettre la botte ordinaire, pour aller dîner aux Iles, chez la petite Lise Troub<etskoy>[1] où le hasard m'a fait rencontrer le rédacteur de la *Весть*[2].

C'est, je crois, un déplaisant personnage, bien qu'il ne m'ait pas absolument déplu. Il s'est fait une espèce de conviction qui a fini par être sincère à force d'avoir été exaspérée par la polémique.

Il m'est arrivé avec Тимашев ce qui est arrivé à ton mari avec le Métropolitain de Moscou. Le lendemain du jour, où je suis inutilement allé le voir, il est parti pour Varsovie. Mais j'ai été dans le cas de m'expliquer avec *Похвиснев* au sujet de la démarche de ton mari, pour en préciser le véritable caractère. On n'y a vu que la continuation de l'ancien malentendu, qui tient trop au fond même de la situation pour pouvoir être levé par des explications quelconques.

Il serait difficile, dans le moment de vide actuel, d'apprécier au juste l'effet, produit par la brochure de *Самарин*[3]. L'autre jour le P<rinc>e Souvoroff m'a envoyé demander un exemplaire de ladite publication[4], mais je l'ai inhumainement renvoyé au Comité de la censure intérieure qui, à son tour, va se trouver fort empêché dans son action, après les extraits et citations, copieusement reproduits dans les articles de la *G<azette> de Moscou*[5]. Il est certainement très honorable pour *Катков* d'avoir pris une aussi énergique initiative.

C'est le 17 que l'Empereur arrive à Varsovie et c'est le 22 qu'on persiste à l'attendre ici. — La coïncidence de ces deux présences Impériales, l'une à Varsovie, l'autre à Cracovie[6], — si rapprochées par la distance et si contraires d'intention, — ne saurait manquer de provoquer des manifestations qui ne peuvent qu'aggraver l'irritation réciproque. — Qu'il en soit, comme de tout le reste, ce que Dieu voudra.

Перевод:

Петербург. 9 сентября

Считается, что *царство теней*, в котором пребывают умершие, находится за пределами здешней жизни, и все же еще при жизни мы неизбежно вступаем в это царство всякий раз, когда разлука вынуждает нас браться за перо, чтобы побеседовать с теми, кто находится вдали от нас. Ибо что может быть более бесцветным, неполным и призрачным, чем письмо? А между тем добрая часть нашей жизни проходит в этом призрачном ее подобии...

Из твоего письма, моя милая дочь, я понял, что квартирные хлопоты у вас, как и у меня, не кончились. Ноги мои еще не совсем в порядке, однако улучшение бесспорно, а вчера я почувствовал, что мне решительно лучше: я смог надеть обычные сапоги, отправляясь обедать на Острова к маленькой Лизе Трубецкой[1], где я случайно встретил редактора «Вести»[2].

Это, по-моему, неприятный субъект, хотя не скажу, что он так уж совсем мне не понравился. Он выработал себе своего

рода убеждение, которое в ходе полемики настолько окрепло, что стало даже искренним.

С Тимашевым у меня получилось то же, что у твоего мужа с митрополитом Московским. На следующий день после того, как я понапрасну ходил к нему, он уехал в Варшаву. Но мне удалось поговорить с *Похвисневым* по поводу шага, предпринятого твоим мужем, и объяснить ему истинный его смысл. Ведь в нем увидели всего лишь продолжение старого недоразумения, которое тесно связано с самой сутью существующего положения и потому не может быть устранено какими-либо объяснениями.

При нынешнем безлюдье трудно правильно оценить впечатление, которое произвела брошюра *Самарина*[3]. На днях князь Суворов прислал ко мне за экземпляром этого издания[4], но я самым бессовестным образом отослал его в Комитет внутренней цензуры, а там, в свою очередь, окажутся сейчас в большом затруднении, поскольку отрывки и цитаты из брошюры в изобилии приводились в статьях «Московских ведомостей»[5]. Столь решительная инициатива *Каткова*, безусловно, делает ему большую честь.

Государь приезжает в Варшаву 17-го, а здесь его по-прежнему ждут 22-го. — Совпадение визитов двух императоров, одного в Варшаву, другого в Краков[6], — в такие близкие города и со столь различными намерениями, — неизбежно вызовет толки и слухи, которые только усилят взаимное раздражение. — Да будет на то, как и на все остальное, воля Божья.

179. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

14/26 сентября 1868 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 14/26 sept<embre>

Ma fille chérie, ce n'est que par contrebande que j'ai eu l'autre jour de vos nouvelles. Car ayant entre les mains ta lettre, adressée à maman, je n'ai pu résister à la tentation de l'ouvrir... C'est d'ailleurs, comme tu le sais, un usage assez généralement reçu dans le pays d'où je t'écris.



C'est à Genève que je vous adresse ces quelques lignes qui iront vous trouver au milieu de vos exercices de piété qu'elles ne sauraient troubler, en vous rappelant un vieux père malade et éclopé, très mortifié, dans tous les cas, par la plus inévitable des mortifications, celle de l'âge...

A travers toute cette magnifique saison, qui vient de s'achever pour nous, je n'ai cessé de me sentir en rapport direct et intime avec toi, m'associant de mon mieux, par l'imagination et le souvenir, aux impressions que tu recevais de cette incomparable nature qui t'entourait — et dont moi, dans mon humilité forcée, je ne me sens plus digne. — Toute cette magnificence n'est plus de mon âge, c'est trop bruyant, trop éclatant, et les sites que j'avais sous les yeux, humbles et modestes comme ils sont, m'allaient mieux.

C'est surtout à Moscou, pendant le second séjour que j'y ai fait à mon retour de la campagne et avant que je ne fusse tombé malade, j'ai compté quelques très belles journées...[1] Mais même ce temps de réclusion forcée, imposé par la maladie, grâce aux soins dont j'ai été entouré, grâce surtout à la chère présence de Kitty, m'a laissé un très agréable souvenir.

Demain il y aura quinze jours que je suis rentré ici[2], et tout ce temps je me suis trouvé tant bien que mal, mais depuis hier, comme par un fait exprès, me voilà recloué à ma chaise longue et cherchant à me distraire, comme vous voyez, de cette inaction forcée, en vous écrivant, fille chérie.

Ta lettre, tout en faisant grand plaisir, dans le moment n'a pas manqué de me laisser un arrière-goût mélancolique à ton endroit, et je me suis involontairement rappelé ces vers si connus, adressés à la pauvre feuille voyageuse, qui de sa tige détachée s'en va où le vent la mène...[3] Et quand et comment nous la ramènera-t-il?

Et cependant en ce moment tu es dans un endroit qui m'a été bien cher et que mes souvenirs du revenant visitent souvent. Salue de ma part tout ce que tu as sous les yeux, et le Lac, et la cime du M<on>tblanc, et les lignes du Rhône, et Mr et Mad<ame> Pétroff que j'aurais revus avec grand plaisir, lui surtout... Mais avant tout, fille chérie, tâche, s'il est possible, de t'embrasser toi-même, et le plus tendrement du monde, de ma part.

Перевод:

Петербург. 14/26 сентября

Милая моя дочь, лишь недозволенным способом удалось мне давеча получить известия о тебе. Ибо, держа в руках твое письмо к мамá, я не смог устоять перед искушением его вскрыть... Впрочем, как тебе известно, это дело довольно обычное в той стране, откуда я тебе пишу.

Я адресую в Женеву эти несколько строк, которые застанут тебя в момент твоего приобщения к божественной благодати, коему они не должны помешать напоминанием о старике отце, немощном, хромом и, в любом случае, очень тяжело переживающем самое неизбежное из унижений — дряхлость...

На протяжении всей этой лучезарной поры, недавно для нас закончившейся, я не переставал ощущать тесную и непосредственную связь с тобой, разделяя, насколько позволяли мне воображение и память, впечатления, которые ты получала от окружающей тебя несравненной природы — и которых я, в своем вынужденном смирении, более не чувствую себя достойным. — Все это великолепие уже не для моих лет, оно слишком кричаще, слишком ослепительно, и виды, представшие передо мною здесь, пусть простые и неброские, были мне ближе.

Особливо в Москве, в пору моего второго там пребывания на возвратном пути из деревни, еще до того, как я слег, мне перепало несколько чудеснейших дней...[1] Но даже время навязанного мне недугом затворничества, благодаря заботам, которыми я был окружен, и, прежде всего, благодаря милому обществу Китти, оставило по себе самую приятную память.

Завтра минет две недели с моего сюда возвращения[2], и все эти полмесяца я чувствовал себя более или менее сносно, но со вчерашнего дня я, на несчастье, снова прикован к своей кушетке и пытаюсь, как видишь, развлечься в своем вынужденном безделье тем, что пишу тебе, моя милая дочь.

Твое письмо, хоть и прочитанное мною с огромным удовольствием, все же навело меня на печальные раздумья о те-



бе, и я невольно вспомнил столь известные стихи о бедном странствующем листке, сорванном с ветки и носимом ветром по свету...[3] Когда же и как ветер вернет его нам?

А между тем ты сейчас находишься в краю, некогда мною очень любимом и часто навещаемом моими выплывающими из небытия воспоминаниями. Кланяйся от меня всему, что видишь: и Женевскому озеру, и вершине Монблана, и берегам Роны, и господину Петрову с супругой, с коими я бы с величайшей радостью повстречался, особливо с ним... Но прежде всего, милая дочь, постарайся, если это осуществимо, обнять себя за меня, и как можно нежнее.

180. И. С. АКСАКОВУ

22 сентября 1868 г. Петербург

Петербург. 22 сентября

Пишу к вам, только чтобы предупредить вас, что писать буду. Мы накануне разных решений. Сегодня ждут приезда государева[1]. Как только что́ узнаю, не премину вам сообщить. — В письме моем к Kitty я высказал мои опасения. Я боюсь общей меры вследствие последних заявлений печати, предвижу *кризис*. Не думаю, не надеюсь, чтобы *власть имеющие* согласились добровольно предоставить печати ту долю простора, какую она себе отмежевала[2].

Ваши последние статьи чрезвычайно удачны, статьи об Австрии превосходны[3], желательно было бы, чтобы они попали в «Nord». Пора самым решительным образом предъявить Западной Европе, что есть Восточная и что имя ей — все та же проклятая Россия, с давних пор столь подозрительно ненавистная всему цивилизованному миру!..

Здоровье мое все еще плохо. Ревматизм гуляет во мне и потому мне гулять мешает, что для меня равносильно болезни.

Анну обнимаю, давно не имею от нее известий.

P. S. Вчера я послал к вам в редакцию несколько вирш по случаю кончины Егора Ковалевского[4], но стихов мало. Хорошо было бы, если бы вы посвятили ему целую передовую ста-

тью. Он этого стоил. Много любопытно-поучительного можно было бы рассказать о той поистине трагической роли, навязанной ему в последнюю Восточную войну нашей беспутно-бестолковою политикою... А что до стихов, то если вы им дадите место, то напечатайте их так.

Памяти Е. П. Ковалевского

И вот в рядах отечественной рати
Опять не стало смелого бойца —
Опять вздохнут о горестной утрате
Все честные, все русские сердца.

Душа живая, он необоримо
Всегда себе был верен и везде —
Живое пламя, часто не без дыма
Горевшее в удушливой среде...

Но в правду верил он, и не смущался,
И с пошлостью боролся весь свой век,
Боролся — и ни разу не поддался...
Он на Руси был редкий человек.

И не Руси одной по нем сгрустнется —
Он дорог был и там, в земле чужой, —
И там, где кровь так безотрадно льется,
Почтут его признательной слезой.

Ф. Т.

181. И. С. АКСАКОВУ

29 сентября 1868 г. Петербург

Петерб<ург>. 29 сентября

Вот на чем остановились пока относительно самаринских изданий. Сборник не будет допущен в продажу, но разрешено выдавать его, не стесняясь, желающим[1]. — Полумера — но знаменательная. Мне сдается, что впечатление было сильное, нечто вроде откровения, и что оно отзовется на деле. Но надо дать время лекарству подействовать на организм, и, по-моему, хорошо было бы приостановить, на время, полемику по этому вопросу[2].

О какой-либо законодательной мере противу печати до сих пор ничего не слышно. Личных полицейских преследований также не предвидится. Канцлер отзывается о самаринском издании с большою похвалою и сознается, что он узнал из него много нового, ему вовсе неожиданного, уверяет даже, что он дал знать влиятельным лицам Остзейского края, что если они самым положительным образом не выскажутся в смысле полнейшей органической солидарности с Россиею, то чтобы они не рассчитывали на его сочувствие... Но все это, разумеется, одни слова.

Автор баденской брошюрки теперь известен. Это наш поверенный в делах в Веймаре[3]. — Канцлер знал это, но не дочитал брошюрки до конца, и когда я указал ему на этот глупо-гнусный намек на последней странице, он вознегодовал.

Теперь перейдем к чему-либо более серьезному. — Из беседы с канцлер<ом> я заметил какое-то вновь возникающее поползновение к сближению с римским двором. Странно, невероятно, немыслимо, но оно так. Теперь перечитайте всю нашу дипломатическую переписку по случаю разрыва с папою, наши обвинения, наши улики в неискренности, в злонамеренности, в явной лжи и проч.[4] — и вопреки всему этому... По прочтении книги Попова[5], так наглядно выставившей все положение дела, высказано ему было также полнейшее сочувствие — и все-таки...

Тут, мне кажется, был бы повод для нашей печати, хоть бы для редакции «Москвы», серьезно и вполне чистосердечно заняться разрешением психологической задачи: *отчего в наших правительственных людях, даже лучших из них, такая шаткость, такая податливость, такая неимоверная, страшная несостоятельность?* Дело, мне кажется, объясняется удовлетворительно следующим анекдотом, рассказанным мне графом Киселевым[6]. Раз, беседуя с ним о каком-то политическом вопросе, покойный государь сказал ему: «Я бы мог подкрепить мои доводы примерами из истории, но в том-то и беда, что истории-то меня учили на медные гроши». — Слово это и теперь применимо ко всем почти правительствующим,

13 Зак. 7509

и потому следовало бы, чтобы печать, без желчи, без иронии, в самых ласковых и мягких выражениях сказала бы им: «Вы все люди прекрасные, благонамеренные, даже хорошие патриоты, но всех вас плохо, очень плохо учили истории». — И потому нет ни одного вопроса, который бы они постигали в его *историческом* значении, с его исторически-непреложным характером. — И затем следовало бы сделать перечень, короткий, но осязательный, указывая на их глубокие, глубоко скрытые в исторической почве корни.

Касательно, напр<имер>, наших отношений к католичеству, их что́ смущает! Почему, при всей нашей терпимости, мы осуждаем себя на нескончаемую борьбу с западною церковью. Итак, придется, в сотый раз, им выяснить дело, что в среде католичества есть два начала, из которых, в данную минуту, одно задушило другое: христианское и папское. Что христианск<ому> началу в католичестве, если ему удастся ожить, Россия и весь православный мир не только не враждебны, но вполне сочувственны, между тем как с папством раз навсегда, основываясь и на тысячелетнем и на трехсотлетнем опыте, нет никакой возможности ни для сделки, ни для мира, ни даже для перемирия. Что папа — и в этом заключается его raison d'être* — в отношении к России всегда будет *поляком,* в отношении к православным христианам на Востоке всегда будет *туркою.*

И тут кстати было бы привести известную поговорку между восточными христианами, доказывающую, как инстинкт народных масс выше умозрений образованного люда. Поговорка гласит: *Все Господь Бог хорошо сотворил, все, кроме султана турецкого и Римского папы,* — и потому, чтобы исправить свою ошибку, он поспешил создать *царя Московского.*

Засим можно бы было заявить впервые — от лица всего православного мира — о роковом значении предстоящего в Риме мнимо-вселенского собора[7], о возлагаемой на нас, Россию, в совокупности со всем православным Востоком, неизбежной, настоятельной обязанности протеста и противудей-

---

* смысл существования (*фр.*).

ствия, и засим — трезво и умеренно предъявить о вероятной необходимости созвания в Киеве, в отпор Риму, православного Вселенского собора[8].

Не следует смущаться, на первых порах, тупоумным равнодушием окружающей нас среды... Они, пожалуй, не захотят даже понять нашего слова. Но скоро, очень скоро обстоятельства заставят их понять. Главное, чтобы слово, сознательное слово было сказано: Рим, в своей борьбе с неверием, явится с *подложною доверенностию* от имени Вселенской церкви. Наше право, наша обязанность — протестовать противу *подлога* и т. д.

182. А. Ф. АКСАКОВОЙ

3 октября 1868 г. Петербург

Pétersbourg. Ce jeudi. 3 octobre

Ma fille chérie, voilà bien un peu longtemps que je me sens privé de vos nouvelles, et je ne vous écris que pour provoquer un signe de vie de votre part, mais je vous préviens qu'un signe de vie ne me suffira pas et que je prétends qu'il soit en même temps un certificat de santé. J'avoue qu'il me serait difficile de vous en donner l'exemple et de vous produire, pour ce qui me concerne, un certificat de ce genre qui soit le moins du monde acceptable. Je commence à craindre que ce rhumatisme, qui s'est logé, n'ait pris définitivement ses quartiers d'hiver — il est devenu, il est vrai, plus traitable et ne m'empêche pas de circuler tant bien que mal, mais il est toujours là et me fait continuellement sentir sa présence.

La brochure de Samarine est encore à l'ordre du jour[1]. On prétend que l'Emp<ereu>r, après en avoir pris connaissance par les extraits des journaux, aurait dit qu'il ne s'expliquait, pourquoi Samarine avait cru devoir publier à l'étranger plutôt qu'en Russie un livre qui rentrait tout à fait dans les vues du gouv<ernemen>t. Pas moins il a été blessé des dernières lignes de la brochure, reproduites dans la *Москва*, qui établissent l'antagonisme qui tendrait à se déclarer entre le gouvernement et le pays au sujet de la question baltique[2]. — Et en effet c'est le passage le plus scabreux du livre.

Et puisque nous sommes sur ce chapitre-là, je continue: ici on a beaucoup remarqué le premier avertissement, donné enfin à la gazette allemande, dont on signale les tendances antinationales[3]. C'est un signe du temps d'autant plus expressif qu'il est juste de reconnaître, à l'honneur du G<énér>al Тимашев, qu'il n'est pas prodigue d'avertissem<ent>s et qu'il en a refusé plus d'un aux sollicitations du Главное управление. Je sais de science certaine que dans le courant de l'été dernier il en a écarté un qu'on voulait infliger à la *Москва* et qui aurait été le troisième. Il serait bon qu'Аксаков eût connaissance de ce fait... Je lui ai écrit dernièrement, sans lui dissimuler, que je trouvais qu'après tout ce *forte* de la polémique de ces derniers temps il serait tout à fait dans l'intérêt de l'exécution musicale de faire succéder un peu de piano — et de plus, il me paraîtrait aussi habile qu'équitable de témoigner une confiance un peu plus marquée dans le système personnel de l'Empereur.

Eh bien, et qu'a-t-on dit à Moscou du mariage du 2[d] des Leuchtenberg avec Mlle Опочинин?[4] Mais ceci nous conduirait trop loin et je suis au bout de mon papier.

Bonjour, ma fille chérie, mes tendresses à tout le monde.

Перевод:

Петербург. Четверг. 3 октября

Моя милая дочь, уже довольно давно тщетно жду от тебя известий и пишу тебе только для того, чтобы ты подала хоть какой-то признак жизни, однако предупреждаю, этого мне будет недостаточно, нужно, чтобы это было также и свидетельство о здоровье. Правда, мне было бы трудно подать тебе пример и прислать хоть сколько-нибудь приемлемое свидетельство о моем здоровье. Я начинаю побаиваться, как бы засевший во мне ревматизм не расположился на зимние квартиры — правда, сейчас он ведет себя сносно и дает мне возможность хоть как-то передвигаться, но он никуда не делся и постоянно напоминает о себе.

Брошюра Самарина все еще является злобой дня[1]. Говорят, будто государь, познакомившись с ней по отрывкам, на-



печатанным в газетах, сказал, что не может понять, почему Самарин счел необходимым опубликовать за границей, а не в России книгу, положения которой полностью совпадают с видами правительства. Тем не менее его задели последние строки брошюры, приведенные в «Москве», где говорится о возможности возникновения противоречия между правительством и русским обществом по балтийскому вопросу[2]. — И действительно, это самое сомнительное место в книге.

А раз уж мы этого коснулись, хочу добавить: всеобщее внимание здесь привлекло наконец-то объявленное немецкой газете первое предостережение, в котором отмечаются ее антирусские настроения[3]. Это знамение времени тем более примечательное, что генерал Тимашев, надо отдать ему должное, не очень щедр на предостережения и не раз отклонял представления Главного управления. Мне известно из верного источника, что минувшим летом он отвел предостережение, грозившее «Москве», а оно было бы третьим. Хорошо бы сказать об этом Аксакову... Давеча я без обиняков написал ему, что после того *forte*, которое в последнее время преобладало в его полемике, ему следовало бы, в интересах музыкального исполнения, хоть ненадолго перейти к piano, — и сверх того, мне думается, было бы столь же уместно, сколь и справедливо определеннее выразить доверие лично государю.

Ну а что говорят в Москве о союзе 2-го Лейхтенберга с мадемуазель Опочининой?[4] Но это завело бы нас слишком далеко, а у меня кончается бумага.

Прощай, милая моя дочь, нежно всех обнимаю.

183. И. С. АКСАКОВУ

15 октября 1868 г. Петербург

Петербург. 15-ое октября

Поздравляю вас, Иван Сергеич, с легкою победою и крупным успехом[1]. Завоеванный принцип имеет многостороннее значение.

Теперь вам предстоит другой подвиг. — Все ощутительнее становится неотлагательная потребность отповеди на римский

вызов. Меня уверяли, что здесь получена папская аллокуция, обращенная к восточным церквам[2] и которая своею большею сдержанностию существенно разнится от его обращения к протестантам. На днях прусский посланник сказывал мне, что у них во всех протестантских церквах читано было, во всеуслышание всей паствы, обращенное к ней папское послание.

Неужели же и мы, в нашу очередь, не откликнемся на вызов? — По-моему, эта отповедь должна быть не чем другим, как последним заключительным словом ваших предыдущих статей о свободе совести[3]. Вот где ключ всей позиции. — Следует доказать, что именно в этом-то отрицании свободы, возведенном в принцип и сознательно догматически высказанном в последнее время Римскою куриею, и состоит *вся суть* латынской ереси. Этим-то отрицанием определилась вся многовековая практика западной церкви, все более и более отделявшая ее от православия, с одной стороны, а с другой — поставившая ее в такое безысходно враждебное положение ко всему современному образованию... Тут следовало бы, кажется, еще раз возвратиться к пресловутому *силлабусу* и *энциклике* и, разобравши их с точки православного учения, показать, что заключающиеся в них все самые оскорбительные для современной человеческой совести предложения не менее оскорбительны и для христианского сознания. — На эту-то почву необходимо, мне кажется, поставить мировой вопрос этой борьбы Рима с православием помимо и выше всех богословских словопрений. — Такою постановкою вопроса и *мы* бы сознательнее отделились ото всех латынских приемов, которым, клеймя их в других, мы слишком часто потворствуем в самих себе.

Но мало того, что подобными приемами, логически вытекающими из основного ее принципа отрицания свободы совести, западная церковь оттолкнула от себя все современное образование, она развила в нем целое антихристианство — и тут представить бы яркую, полную картину западного католического мира, во Франции, Италии и на днях Испании[4], обреченного на нескончаемую безысходную борьбу этого ложного, искаженного христианства с более и более сознательным и непримиримо враждебным отрица-

нием самого христианского начала. — И тут, кстати, прочтите помещенную в «Revue des Deux Mondes» от 15 октября статью «Crise religieuse au 19ième siècle»[5] — и проч. и пр. и пр.

184. О. Н. ПУТЯТА

2 ноября 1868 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 2 n<ovem>bre 1868

Je suis tout honteux, mon aimable et chère Ольга Николаевна, de m'être laissé prévenir par vous. Car c'était assurément à moi à prendre l'initiative de notre correspondance, ne fût-ce que pour vous remercier de l'affection que vous avez vouée à Jean et de la confiance que vous avez placée en lui. Puisse-t-il, ce cher garçon, les justifier l'une et l'autre. C'est là mon vœu le plus cher. Ai-je besoin de vous assurer qu'en vous parlant ainsi, c'est au nom de toute la famille et que votre bonheur désormais est inséparable du nôtre.

Veuillez, de grâce, être mon interprète auprès de vos chers parents[1] que j'ai la longue habitude de chérir et d'estimer. Rien ne pouvait m'être plus doux que de confirmer et de consacrer cette vieille amitié de plus de vingt ans par les rapports nouveaux qui vont s'établir entre nous.

En appelant sur vous, chère enfant, toutes les bénédictions du Ciel, laissez-moi vous embrasser avec une tendresse d'affection qui ne demande qu'à se constater.

Ф. Тютчев

Перевод:

Петербург. 2 ноября 1868

Мне очень совестно, любезная и милая Ольга Николаевна, что вы меня опередили. Ибо, конечно же, я должен был взять на себя почин в нашей переписке, хотя бы затем, чтобы поблагодарить вас за вашу любовь к Ивану и за то доверие, какое вы ему оказали. Пусть милый мальчик оправдает и то и другое. Вот чего я вам от души желаю. Нужно ли мне уверять вас в том, что, говоря это, я говорю от лица всей семьи и что ваше счастье отныне неразрывно связано с нашим.

Соблаговолите, прошу вас, донести смысл моих слов до ваших дражайших родителей[1], которых я с давних пор привык любить и уважать. Ничто не могло быть для меня более отрадным, чем укрепить и освятить эту старую, более нежели двадцатилетнюю дружбу новыми отношениями, которые теперь установятся между нами.

Призываю на вас, милое дитя, благословение Неба, позвольте мне обнять вас с искренной нежностью, которая только того и ждет, чтобы выказаться на деле.

Ф. Тютчев

185. Д. А. ТОЛСТОМУ

7 ноября 1868 г. Петербург

Ce 7 novembre

Monsieur le Comte,

Je ne crois pas commettre d'indiscrétion, en vous signalant un fait, qui mérite, ce me semble, d'être pris en très sérieuse considération. C'est l'interdit, jeté par notre censure ecclésiastique sur le second volume des écrits de Хомяков... Eh bien, je n'hésite pas à dire qu'une pareille décision est un vrai scandale. — Comment, voilà un livre, qui contient la plus intelligente glorification de l'église orthodoxe, de la doctrine orthodoxe, un livre qui a fait une impression profonde et tout à l'avantage de l'orthodoxie sur les premiers théologiens de l'Europe dissidente, et ce livre est mis à l'index — non pas à *Rome*, mais en pleine Russie, et un pareil fait de brutale ineptie pourrait avoir lieu sous les auspices d'une intelligence, telle que la vôtre?!![1]

Mais alors quel sens attacher à toutes nos diatribes contre les doctrines de l'église romaine et ses grands théologiens, qui condamnent, rien que par esprit de routine, les écrits tels que ceux de Хомяков, que font-ils autre chose, si ce n'est de parodier misérablement le catholicisme ultramontain?

Mille respects.

Тютчев

Dixi et animam salvavi.

Перевод:

7 ноября

Милостивый государь,
граф Дмитрий Андреевич,
Смею верить, что не совершаю бестактности, привлекая ваше внимание к факту, который, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы отнестись к нему со всею серьезностью. Это запрет, наложенный нашей духовной цензурой на второй том сочинений Хомякова... Не побоюсь сказать, что такое решение воистину позорно. — В кои-то веки появилась у нас книга, содержащая в высшей степени разумную похвалу православной церкви, православной доктрине, книга, которая произвела глубокое и самое выгодное для православия впечатление на крупнейших богословов диссидентской Европы, и эта-то книга изымается из обращения — не в *Риме*, а в самой России; неужели подобному проявлению чудовищной косности не воспротивится ум, равный вашему?!![1]

Но как же тогда расценивать все наши нападки на римскую католическую церковь и ее знаменитых богословов, клеймящих сочинения вроде Хомяковских исключительно из духа консерватизма; что же это, как не скверная пародия на ультрамонтанство?

С глубочайшим почтением.

Тютчев

Dixi et animam salvavi*.

186. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

8 ноября 1868 г. Петербург

P<étersbourg>. Ce vendredi. 8 n<ovem>bre

Ma fille chérie. Ma lettre d'aujourd'hui n'est qu'un billet d'accompagnement, destiné à acheminer une lettre que j'ai reçue hier de ma femme et qu'elle me recommande de te faire tenir. Elle ne t'apprendra rien de nouveau, si ce n'est sa résolu-

* Сказал и спас душу (*лат.*).

tion de plus en plus arrêtée d'éviter Moscou, et les Путята, comme tu penses bien, sont pour beaucoup dans cette détermination. L'appréhension d'une scène de famille au passage la rend tout à fait féroce[1], comme tu le verras par sa lettre.

Mille amitiés à Anna à laquelle j'écrirai prochainement. Certes, personne n'est plus pénétré que moi de la vérité de tout ce qu'elle me dit au sujet de son mari. C'est bien ainsi que je l'ai toujours compris et considéré. C'est une de ces natures à tel point saine et entière qu'elle fait l'effet d'une anomalie par le temps qui court. — Les Anciens avaient une image ingénieuse pour caractériser ces natures fortes et douces, en les comparant à un chêne, à l'intérieur duquel les abeilles seraient venues déposer leurs rayons de miel[2].

J'espère toujours qu'Aksakoff donnera suite, et sans trop tarder, à cette série d'articles qu'il se proposait d'écrire sur la question du Concile[3], à laquelle se laisserait si bien rattacher tout un monde des questions, toutes palpitantes d'actualité. Mais il faudrait maintenir, autant que faire se pourra, à ce qu'il écrira à ce sujet, les allures et le ton de la polémique quotidiennes.

Hier, ayant appris que la censure ecclésiastique avait frappé d'interdiction le 2 vol. de Хомяков, j'ai aussitôt écrit au Comte Tolstoy[4] pour protester contre *un pareil scandale*, et il m'a aussitôt répondu qu'il avait ignoré une pareille décision et qu'il s'emploierait à la faire révoquer. Dieu le veuille.

Le livre de Samarine est toujours encore à l'ordre du jour. Il ne se passe presque pas de jour que je ne signe une centaine de permis[5].

Bonjour, ma fille chérie, à une autre fois.

T. T.

Перевод:

Петербург. Пятница. 8 ноября

Моя милая дочь. Сегодняшнее мое письмо — всего лишь сопроводительная записка к письму, которое я вчера получил от жены и которое она поручает мне переправить тебе. Из него ты не узнаешь ничего нового, разве только о ее все более и более укрепляющемся намерении миновать Москву, и как ты понимаешь, к этому решению она склоняется главным обра-



зом из-за Путят. Мысль о предстоящей там сцене семейного согласия приводит ее в совершенную ярость[1], как ты это увидишь из ее письма.

Передай мои сердечные приветствия Анне, в ближайшее время я напишу ей. Конечно, вряд ли кто-нибудь убежден более, чем я, в справедливости всего, что она говорит о своем муже. Именно таким я его всегда и считал. Это натура до такой степени здоровая и цельная, что в наше время она кажется отклонением от нормы. — У древних был очень меткий образ для характеристики таких сильных и добрых натур — они сравнивали их с дубом, в дупле которого угнездились медоносные пчелы[2].

Я все еще надеюсь, что Аксаков продолжит, и не слишком откладывая, серию статей, которую он намеревался писать о Соборе[3], — с этим вопросом можно было бы очень естественно связать множество других самых животрепещущих вопросов. Однако следовало бы, насколько это возможно, сохранить во всем, что он будет писать на эту тему, тон и манеру повседневной полемики.

Вчера, узнав, что духовная цензура запретила 2-й том Хомякова, я тотчас написал графу Толстому[4], выражая свое возмущение этим *позорным решением*, и он мне сразу же ответил, что ничего о нем не знает и примет меры к его отмене. Да будет на то воля Божья.

Книга Самарина по-прежнему занимает все умы. Не проходит дня, чтобы я не подписывал около сотни разрешений[5].

Прости, милая дочь моя, до другого раза.

Ф. Т.

187. И. С. АКСАКОВУ

18 ноября 1868 г. Петербург

Петербург. Понедельник. 18 н<оя>бря

Друг мой Иван Сергеич, если вам не суждено сказать с Вергилием: «Deus mihi haec otia fecit»*[1], то вы можете уте-

---

* Бог предоставил мне эти досуги (*лат.*).

шить себя мыслию, что то́, что присудило вас на этот невольный досуг, сильнее всяких богов. — По свидетельству другого великого поэта, Шиллера, кажется: «gegen *die Dummheit* kämpfen die Götter vergebens...»*[2] Да, *Dummheit* — вот она, роковая сила, которая в данную минуту заведывает нашими судьбами, но не одно *личное* скудоумие, а воспитанное, т<ак> с<казать>, и завершающее собою целое вековое ложное направление. — Мы верим и надеемся, однако, мы все, ваши здешние друзья и почитатели, что и невольные досуги ваши останутся не бесплодны. — Знаете ли, какое здесь общее желание? Это чтобы вы собрали все те передовые статьи «Дня» и «Москвы», которые заключают в себе положительный пребывающий интерес, — а эдаких статей наберется очень много, — и издали бы их особою книгою, во главе же этой книги, в виде предисловия, вы могли бы поместить вашу *отповедь* на все те постыдно-бестолковые преследования, которые заставили вас прекратить вашу публицистическую деятельность. И достаточно будет одного спокойного изложения вашего учения об основных началах русского общества, чтобы выставить во всем его осязательном безобразии все это немыслимое *тупоумие*, подвизавшееся противу него во имя *консерватизма*... Тут есть возможность высказать много *поучительного* и тем возможнее, что так как в книге будет более *десяти* листов, то ее нельзя остановить иначе, как судебным преследованием. — За этим изданием последовало бы то, что вы сбирались поместить в «Москве» по поводу Римского собора и что так органически и последовательно вязалось с вашими статьями о свободе совести, потому что решительнее и сознательнее, нежели когда-либо, мы должны во всех наших препирательствах с римским католицизмом усвоить себе нашим *лозунгом* этот им отрицаемый принцип. — Любопытно очень будет прочесть уже вышедшую брошюру орлеанского епископа *Dupanloup*[3] о предстоящем соборе и другую, еще до своего появления обруганную ультрамонтанами, брошюру некоего

---

* против глупости борются боги напрасно (*нем.*).



мне лично знакомого епископа *Maret*[4]. Пока посылаю вам, буде у вас ее нет, книгу Ник<олая> Тургенева[5], которую, по-моему, нельзя читать без сердечного умиления.

Простите. Обнимите Анну.

Вам душевно преданный

Ф. Тчв

188. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

23 ноября 1868 г. Петербург

Samedi. Ce 23 novembre 1868

Vous voyez, ma fille chérie, à peine né, je mets la plume à la main, pour vous écrire en vue de votre fête de demain[1], — on ne saurait, convenez-en, marquer plus d'empressement. — A ces vœux, que je fais pour toi à l'occasion de la fête de demain, vient se rattacher le souvenir de la fête, tant de fois célébrée de la pauvre, chère grand-maman, et de toutes les lettres, forcément enfantines, que moi, sur mes vieux jours, je continuais à lui écrire, et de tout ce passé qui a sombré derrière nous, comme va le faire le moment où je t'écris... En ce moment même entre ma femme, s'en allant de son pied léger à travers une débâcle épouvantable à l'église catholique, et me remet la lettre que voici pour toi, laquelle, je suppose, rend la mienne à peu près inutile.

Je me bornerai donc, ma fille, à vous charger d'une commission pour Jean qui m'a écrit en dernier lieu une lettre dont je le remercie. Il ne tardera pas à s'apercevoir qu'il avait pris trop à cœur les rudesses dont il se plaint, et qui n'étaient que l'effet de cette surexcitation de la pensée que produit la solitude de la vie à la campagne au mois de novembre[2]. Bientôt il s'en convaincra par la lettre que sa mère se propose d'écrire à sa fiancée. Qu'il sache trouver son bonheur, un bonheur sérieux et suivi dans le mariage projeté, et personne, assurément, ne s'avisera de lui demander rien de plus... Je joins à ces assurances très positives mes compliments les plus affectueux pour sa future...

Ici le bruit avait couru par rapport à Aksakoff que l'administration, non contente de sa déclaration spontanée, voulait faire prononcer par le Sénat la suppression définitive de la *Москва*,

bien que des gens mieux avisés et plus prudents fussent d'avis qu'il valait mieux ne pas rouvrir le débat[3]. — Je ne sais pas où en est l'affaire en ce moment... Quant aux affaires en général, je les estime engagées dans une fâcheuse voie et qui ne tardera pas à aboutir. Si la diagnostique était la même pour les états comme pour les individus — on pourrait craindre à la vue de certains symptômes que la maladie qui nous travaille ne fût un commencement de ramollissement de cerveau.

Bonjour encore une fois, ma fille chérie. Mes tendresses à tout le monde et particulièrement à mon frère.

Que Dieu vous garde.

Перевод:

Суббота. 23 ноября 1868

Ты видишь, моя милая дочь, что я, едва успев родиться, хватаюсь за перо, чтобы написать тебе по случаю завтрашних твоих именин[1], — согласись, что невозможно выказать большей расторопности. — Поздравляя тебя с днем ангела, я невольно вспоминаю о столько раз справлявшихся в этот день именинах бедной милой бабушки и о тех детских письмах, которые я и на старости лет вынужден был ей писать, а равно и обо всем том прошлом, что кануло в разверстую позади нас бездну, точно так же, как канет туда и нынешняя минута... Именно в это мгновение в комнату входит моя жена, которую ее легкие ноги несут по ужасной ростепели в католическую церковь, и вручает мне для тебя прилагаемое письмо, благодаря коему мое, я полагаю, становится почти ненужным.

Посему, дочь моя, я ограничусь тем, что дам тебе поручение к Ивану, который написал мне недавно, за что я его и благодарю. Он скоро поймет, что резкий тон, так его расстроивший и задевший, — лишь следствие чрезмерной раздражительности, вызванной одинокой жизнью в деревне в ноябре месяце[2]. Доказательством послужит ему письмо, которое его мать собирается написать его нареченной. Пусть он найдет в этом браке свое счастье, счастье серьезное и постоянное, и никто, конечно, не станет требовать от него большего... К этим самым искрен-



ним заверениям я присоединяю сердечнейшие приветствия его невесте...

Здесь по поводу Аксакова пронесся слух, будто администрация, не удовлетворенная его добровольным объяснением, хотела настаивать на том, чтобы Сенат принял постановление об окончательном закрытии «Москвы», хотя лица более разумные и осторожные полагали, что лучше было бы не возобновлять прений по этому вопросу[3]. — Не знаю, каково положение дела в настоящую минуту... Что же до дел в целом, то я считаю, что они идут ложным путем и скоро зайдут в тупик. И если бы государствам ставились диагнозы, как отдельным людям, то некоторые симптомы изнуряющей нас болезни могли бы навести на опасение, что это начало размягчения мозга.

Еще раз всего доброго, моя милая дочь. Мой сердечный привет всем, в особенности моему брату.

Да хранит вас Бог.

189. П. И. БАРТЕНЕВУ

3 декабря 1868 г. Петербург

Петербург. 3 декабря 1868

Вследствие письма вашего, многоуважаемый Петр Иваныч, я немедленно отнесся к господину Ведрову, приглашая его не стесняться впредь выдачею вам, под расписку, запрещенных книг на иностранных языках, предназначаемых для Чертковской библиотеки[1]. Что же касается до заграничных изданий на русском языке, — то воспоследовавшим в последнее время распоряжением высшее начальство предоставило себе исключительное право разрешать по собственному усмотрению выдачу книг, относящихся к этой категории.

С живым интересом и полною признательностию за доставление — читал я последние нумера вашего «Архива». Помоему, ни одна из наших современных газет не способствует столько уразумению и правильной оценке настоящего, сколько ваше издание, по преимуществу посвященное прошедшему.

Вам усердно преданный

Ф. Тютчев

190. И. С. АКСАКОВУ

2 января 1869 г. Петербург

Петербург. 2-ое января 1869

Избегая всякой торжественности, убедительно прошу вас, любезнейший Иван Сергеич, придать этим строкам самое серьезное значение. — Речь идет не о малом...

Вы, вероятно, уже известились, что Тимашев, после долгих колебаний, решился наконец внести дело «Москвы» в 1-ый департамент Сената[1]. Эта выходка поразила здесь всех или своею крайнею нелепостью, или своею крайнею наглостью. В самом деле, предложить Сенату объявить преступным направление такого издания, которое постоянно и энергичнее всякого другого защищало все основные начала русского общества, те начала, гласное отрицание которых равнялось бы *государственной измене*, — это нечто близкое к безумию. Но что бы то ни было, сознательно или бессознательно, в вашем лице — и вы вполне достойны этой чести — брошен самый наглый вызов всему русскому общественному чувству и убеждению тою шайкой людей, которая так безнаказанно тяготеет над Россиею и позорит государя, и вы, конечно, не усумнитесь поднять брошенной перчатки — *насколько это от вас зависит.* — Мы все, друзья ваши, все люди, разделяющие ваш образ мыслей, мы все — убеждены, что в этом деле, которое становится государственным вопросом первой важности, счастливый исход дела много и очень много зависит от вашего здесь присутствия, и потому просим вас — приехать сюда *безотлагательно.*

Я знаю достоверным образом, что члены первого департамента страшно озадачены тем положением, в которое они поставлены. — Они очень хорошо понимают, чего от них требуют[2]. Но давление сверху сильно, и очень сомнительно, чтобы под этим натиском все они усидели на своих курульских креслах[3], — но и одного протеста достаточно, чтобы дело перенесено было в общее собрание, и вот на этот случай — присутствие ваше в Петербурге оказывается необходимым[4]. — Князь Оболенский вам тоже пишет и, конечно, обстоятельнее и убедительнее моего.

Есть для каждого ложного направления роковая необходимость довести себя до самоубийственного абсурда, не только словом, но и на деле — *наша же* обязанность этим *воспользоваться.*

191. Ю. Ф. САМАРИНУ

5 февраля 1869 г. Петербург

Петербург. 5-го февраля

Permettez-moi, cher Юрий Федорович, de recommander à votre bienveillant accueil Mr Георгиевский, frère de celui qui est à Pétersbourg, lequel par son passage par Moscou comptait avoir l'honneur de se présenter chez vous...

Ce Mr Георгиевский a servi longtemps sous le G<énér>al Besak qui à son grand regret s'est vu obligé dans un moment donné de le sacrifier comme une victime expiatoire à des exigences impérieuses... Il pourra vous raconter des choses curieuses sur ce qui s'est passé dans les pays d'où il vient[1].

Moi aussi j'en aurai plus d'une à vous communiquer. — Mais il en est de la poste, qui veut bien se charger de vous porter ces lignes, comme de la parole (au dire du P<rinc>e de Talleyrand) laquelle n'aurait été donnée à l'homme que pour déguiser sa pensée...

Mille amitiés.

Ф. Тютчев

Перевод:

Петербург. 5-го февраля

Позвольте, любезный Юрий Федорович, рекомендовать вашему благосклонному вниманию г-на Георгиевского, брата Георгиевского из Петербурга, который, будучи проездом в Москве, желал бы иметь честь засвидетельствовать вам свое почтение...

Г-н Георгиевский долгое время находился на службе при генерале Безаке, но тот, к своему великому сожалению, оказался вынужденным в определенный момент, уступая насто-

ятельным требованиям, сделать из него искупительную жертву... Он может рассказать вам любопытные вещи о краях, из коих прибыл[1].

Я также смогу немало вам сообщить. – Но с почтой, берущей на себя труд доставить вам эти строки, дело обстоит так же, как с языком, который (как сказал князь Талейран) дан человеку только для того, чтобы скрывать свои мысли.

Сердечно кланяюсь.

Ф. Тютчев

192. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

23 июня 1869 г. Петербург

Pétersbourg. Ce lundi. 23 juin

Ma fille chérie, j'ai reçu hier votre lettre, datée d'Iliînskoïé[1], et je ne vous dissimule pas qu'elle m'a fait grand plaisir. J'aime les faveurs et les grandeurs pour les miens et j'en jouis par ricochet plus, assurément, que je ne l'eusse fait par voie directe... Mais ce qui m'a fait tout particulièrement plaisir, c'est ce que tu me dis au sujet de Daria. Voilà, au moins, une rentrée convenable.

J'ai trouvé hier ta lettre à mon retour de Péterhoff où j'étais allé voir les Wiasemsky qui par un excès de discrétion sont allés s'y établir de préférence à Tsarskoïé. A ma connaissance, le Prince compte se rendre à Iliînskoïé le 1er ou le deux juillet, et il ne demanderait pas mieux, je pense, que de continuer le voyage. – En voilà un qui aime et recherche les honneurs autrement que par procuration... Pauvre cher homme.

Moi aussi, je vais m'en aller d'ici dans quelques jours. Ma femme me presse d'arriver... Elle prétend avoir besoin de ma présence, pour *édulcorer* la réception qui sera faite à la nouvelle belle-fille[2]. Il est certain que je ne comprends guères ce manque absolu de facilité dans les rapports de la vie et que cela me choque toujours.

Il paraît que l'état de Birileff a beaucoup empiré en dernier lieu et qu'il y a lieu de prévoir une catastrophe prochaine[3]. Je supprime les réflexions... Mais je ne puis m'empêcher d'en faire une à part moi. C'est que ce triste événement, si en effet il était si

prochain, compromettrait nécessairement la course, que je me propose de faire à Kieff, ou m'obligerait de la faire à moi tout seul[4], ce qui pourrait bien m'y faire renoncer... Si l'arrivée de Daria en Crimée n'était pas ajournée au mois de sept<embre>, j'aurais certainement poussé jusque-là, pour aller l'embrasser... Et certes ma joie paternelle, en la revoyant en Tauride, n'aurait pas cédé à celle d'Oreste, retrouvant sa sœur Iphigénie...[5]

Et les Aksakoff, que font-ils? et quand reviennent-ils?[6] Il est vraiment difficile d'avoir une famille plus dispersée que la mienne.

Bonjour, ma fille, j'aimerais bien dire: au revoir, à bientôt, mais ce ne sera guères qu'à mon repassage par Moscou. Mille tendresses à mon frère et mes compliments de condoléance à ta tante qui va te perdre...[7]

D'ici à mon départ je vais passer quelques jours à Tsarskoïé, attendu que tout ce que j'ai de connaissances est en grande partie réunie là... Je vais y retrouver aussi votre double souvenir, comme je l'ai retrouvé hier à Péterhoff. — Au fond ce Pétersbourg, si honni en été, n'en est pas moins, avec ses ailes, largement déployées dans cette saison, quand saison il y a, est un des plus charmants séjours qui se puisse imaginer... Cela va faire crier, mais je maintiens mon paradoxe.

Перевод:

Петербург. Понедельник. 23 июня

Милая дочь, получил вчера твое письмо, отправленное из Ильинского[1], и, нечего скрывать, прочитал его с великим удовольствием. Я ищу высочайших милостей и почестей ради моих близких, и для меня, конечно же, куда ценнее внимание, оказываемое мне через них, чем проявляемое непосредственно к моей персоне... Но особенно меня порадовало то, что ты пишешь о Дарье. Вернулась она, по крайней мере, в неплохом состоянии.

Твое письмо я нашел вчера по возвращении из Петергофа, куда ездил навестить Вяземских, которые из чрезмерной скромности предпочли его Царскому. Насколько мне извест-

но, 1-го или второго князь собирается отбыть в Ильинское и, по-моему, горит желанием продолжить путешествие. — Вот кто ищет и домогается почестей отнюдь не через посредников... Бедняга.

Я сам уезжаю отсюда через несколько дней. Жена настойчиво зовет меня к себе... Она утверждает, что я ей нужен для того, чтобы *подсластить* ожидающийся визит нашей новой невестки[2]. Мне, разумеется, никогда не понять этого полного отсутствия простоты в житейских отношениях, и меня каждый раз от него коробит.

Состояние Бирилева в последние дни, похоже, сильно ухудшилось, и есть основания полагать, что дело идет к развязке[3]. Я отметаю все возникающие в связи с этим мысли... Однако от одной никак не могу отрешиться, и вот от какой. Это печальное событие, буде оно и впрямь не замедлит произойти, неизбежно расстроит мою поездку в Киев или поставит меня перед необходимостью ехать в одиночестве[4], так что мне самому, вероятно, придется ее отменить... Если бы прибытие Дарьи в Крым не было отложено до сентября, я бы непременно добрался туда, чтобы ее обнять... И моя отцовская радость при встрече с ней в Тавриде, разумеется, не уступала бы радости Ореста, вновь обретшего свою сестру Ифигению...[5]

А что там поделывают Аксаковы? когда они возвращаются?[6] Поистине трудно найти более рассеянную по свету семью, чем моя.

Прощай, дочь моя, я хотел бы сказать: до скорого свидания, но мы не свидимся раньше, чем я поеду назад через Москву. Передай самый сердечный привет моему брату и мои соболезнования твоей тетушке, которую ждет разлука с тобой...[7]

Несколько дней до своего отъезда я проведу в Царском, где собрались почти все мои знакомые... Буду и там вспоминать вас обеих, как вспоминал вчера в Петергофе. — В сущности, Петербург, столь проклинаемый летом, с его крыльями-флигелями, вольно раскинутыми в эту погожую — когда она таковой выпадает — пору, все-таки является одним из самых



прелестных мест проживания, какие только можно себе вообразить... Это вызовет вопли негодования, но я настаиваю на своем парадоксе.

193. М. Н. ПОХВИСНЕВУ

12 августа 1869 г. Овстуг

Село Овстуг

Милостивый государь Михаил Николаевич,

Полагая ваше превосходительство уже возвратившимся в Петербург, чувствую потребность заявить перед вами и о моем существовании... Я только что воротился из Киева, который удалось мне видеть во всем его блеске, при встрече им императорской фамилии...[1] Но я не могу конкурировать с «Московскими ведомостями», в которых вы, конечно, прочли очень удовлетворительное описание вечера 30 июля, который не скоро забудется всеми теми, кто тут присутствовал... Теперь же я решительно на возвратном пути — и не позднее 25-го числа этого месяца предполагаю водвориться в недро Комитета ин<остранной> цензуры. — Но позвольте этому возвращению предпослать мою усерднейшую и настоятельную просьбу к вашему превосходительству, заключающуюся в том, чтобы по случаю 30 августа[2] Министерство благоволило вспомнить о моем уже несколько устаревшем представлении касательно наград и повышений, испрашиваемых мною для чиновников Комитета, *вполне* их заслуживших, как это хорошо известно и вам, почтеннейший Михаил Николаевич... Древние утверждали, что Кара, хотя и хромая, но все-таки, наконец, настигает преступного. Пускай же и Награда возьмет пример с этой неторопливой, но верной возмездницы... В особенности смею обратить ваше благосклонное внимание на З.М. Добровольского, кассира нашего Комитета, самого честного и усердного сподвижника нашего и труд которого далеко не соразмерно оплачивается его скудным жалованием...

Извините, прошу вас, многоуважаемый Михаил Николаевич, что еще до моего появления я уже начинаю докучать

вам... Но мне было бы крайне прискорбно, если бы пользы людей, мне близких, могли пострадать от моего случайного отсутствия из Петерб<урга>.

Примите уверение в моем истинном уважении и преданности.

Ф. Тютчев

194. А. Н. МАЙКОВУ

12 августа 1869 г. Овстуг

Село Овстуг. 12 августа

Сейчас, дорогой мой Аполлон Николаевич, писал к Похвисневу, чтобы напомнить ему о представлении по случаю тридцатого августа[1] и навязать на его совесть более усердное ходатайство по этому делу.

Не знаю ли, друг мой, заинтересованы ли в этом представлении? Кажется, нет — но при случае сообщите тем, кому ведать надлежит, и в особенности нашему добрейшему Захару Михайловичу[2], о письме моем к Похвисневу, — и да будет оно, с Божиею помощию, действительнее моих *изустных* представлений.

Милое письмо ваше я получил еще в Киеве, и оно было вполне созвучно тем хорошим впечатлениям, которые я вывез из этой местности. Да, я Киевом остался совершенно доволен. Он оказался принадлежащим к той редкой категории впечатлений, оправдывающих чаемое... Да, замечательная местность, закрепленная великим прошедшим и очевидно предназначенная для еще более великого будущего. — Тут бьет ключом один из самых богатых родников истории.

Мне удалось видеть Киев в очень счастливую живописную минуту при встрече им государя вечером 30-го июля, при освещении всех этих достославных Киевских — с их золотоглавой святыней — и отражении в Днепре. Картина была поистине волшебная и которую, конечно, никто из присутствовавших долго не забудет. — Я в самую минуту этого ночного великолепия от души вспомнил об вас и о Полонском и от души пожалел, что вас тут не было. — Но и вся моя



поездка меня весьма удовлетворила. Какой-то новый мир, какая-то новая, своеобразная Европа вдруг раскрылась и расходилась по этим широким русским пространствам — на всех трех линиях движение неимоверное, а это только слабое начало... Остальное доскажу.

Простите — пока, до близкого свидания...

Вам душою преданный

Ф. Тютчев

195. А. Ф. и И. С. АКСАКОВЫМ

4 сентября 1869 г. Петербург

Pétersbourg. 4 sept<em>bre

Je vous écris, ma fille chérie, pour avoir de vos nouvelles. Il me tarde d'apprendre, comment vous vous trouvez dans votre nouveau domicile, ce port de refuge, après toutes les traverses et tribulations que vous avez eu à subir dans le courant de cet été? Et où en est l'ensemble de la situation?..

Ici, calme complet... Et dans ce silence des affaires, de beaux soleils d'automne, se refroidissant par degrés, et de magnifiques clairs de lune... En ville presque pas de société dont les membres épars sont encore dispersés dans les environs. Ton frère, dont la santé s'est considérablement améliorée[1], se proposait de t'écrire et m'a demandé l'adresse de ton nouveau logement... que je te demande à mon tour, en te priant bien de ne pas oublier de me l'envoyer... Le Prince Wiasemsky, que je n'ai pas revu encore, se refuse à aller à Livadia[2] — le pourquoi? je l'ignore. Il y a, probablement, là-dessous quelque bouderie d'amour-propre froissé... J'ai revu à ma rentrée en ville le Ministre G<énér>al Timascheff qui m'a fait l'accueil le plus gracieux. Il est vrai que nous avons soigneusement évité de parler affaires... ce qui est, je crois, la seule manière de s'entendre, etc. etc. etc. Maintenant je passe à ton mari.

Прочтите, Иван Сергеевич, книгу «La Religion progressive», p<ar> J.E. Alaux[3], спросите ее у Ведрова, который вам ее доставит. — Любопытная вещь, одно из знаменьев века. Книга эта писана католиком, убедившимся в окончательной

несостоятельности современного католицизма ввиду предстоящего Собора. Она, так сказать, писана на паперти православной церкви, но человеком, сидящим спиною к ней... Сто́ит прочтения...

Куда бы хорошо было, если бы еще до открытия Собора[4] вы издали хоть в виде сборника несколько отдельных статей по этому вопросу. Этому — все прочие вопросы вмещающему в себе вопросу. Подумайте, до какой степени это настоятельно нужно и что *вы одни* можете удачно этим заняться. — Главное, чтобы это как можно менее походило на книгу, а на живое слово.

Здесь получен немецкий перевод «Окраин», составленный известным Экартом[5], с его примечаниями — я перешлю вам это. — Какой-то добрый человек хотел было издать на немецком статьи Погодина в ответ Ширрену[6] — не разрешили, чтобы-де не навлечь на правительство подозрения в *тенденциозности*. Что, каково?.. Это что-то вроде Гегелевой безразличности... Простите.

А что ваш процесс?..

Перевод:

Петербург. 4 сентября

Пишу тебе, моя милая дочь, затем, чтобы ты откликнулась. Мне не терпится знать, как вы чувствуете себя в вашей новой квартире, этой тихой гавани, после всех трудностей и треволнений, пережитых вами летом? И каково общее положение дел?..

Здесь совершенное затишье... И при этом отсутствии деятельности, яркое осеннее солнце, пригревающее день ото дня меньше и меньше, и восхитительные лунные ночи... Город почти пуст, разрозненные представители общества все еще рассеяны по окрестностям. Твой брат, чье здоровье значительно улучшилось[1], собирался тебе написать и спрашивал у меня твой новый адрес... который я, в свою очередь, спрашиваю у тебя, заклиная не забыть мне его прислать... Князь Вяземский, с коим я пока не виделся, отказывается ехать в Ливадию[2] — по-



чему? не знаю. Возможно, за этим капризом кроется ненароком задетое самолюбие... По возвращении в город я посетил генеральствующего министра Тимашева, оказавшего мне самый любезный прием. Правда, мы старательно избегали говорить о делах... что только и позволяет нам, по-моему, ладить друг с другом, и т. д. и т. д. и т. д. Теперь обращаюсь к твоему мужу.

<Продолжение письма, написанное по-русски, см.: с. 375–376>

196. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

22 сентября 1869 г. Петербург

Pétersbourg. Lundi. 22 septembre <18>69

Tu me demandes dans ta dernière lettre plus de détails sur ce qui me concerne. En voici. Hier soir, en rentrant chez moi, j'apprends qu'un grand scandale venait de s'y passer par le fait du malheureux *Job*. Rentré ivre d'une prétendue course au cimetière du couvent des Femmes, il s'est pris de querelle avec *l'isvoschik* qui l'avait amené, et, au lieu de le payer en monnaie, il l'a gratifié de deux énormes soufflets. Puis — chose douloureuse à dire — il s'est attaqué au pauvre Brochet qui, lui aussi, a eu à subir le même traitement que l'isvoschik. Sur ce on est allé quérir la police, et on a emmené l'énergumène Иов au violon. — L'indignation de la cour de l'église Arménienne, témoin involontaire de toutes ces violences, est générale, et on me demande à grands cris le renvoi immédiat de ce perturbateur du repos public, ce que je suis assurément très disposé à accorder. — Pour le moment il est au violon où il sera gardé, à ma demande, pendant deux fois vingt-quatre heures. Je suis allé mettre Dima au fait de ce qui s'est passé et l'ai engagé à me prêter le concours de sa présence, quand il s'agira de la remise des clefs, attendu que j'ignore absolument la qualité des objets confiés par vous à la garde de ce drôle et que le timoré Brochet, pour mettre sa responsabilité à couvert, aimerait pouvoir s'appuyer du témoignage de Dima. Voilà, assurément, une sotte histoire, et avec le caractère méchant et sournois de l'individu on ne peut jamais être sûr qu'elle n'ait quelque mauvaise queue à sa suite[1]. C'est du moins là l'appréhension du Brochet...

Avant hier, samedi, je suis allé dîner chez les Wiasemsky. Mais comme ce jour-là c'était la fête de la jeune Comtesse Chérémetieff, leur petite-fille, je me suis à leur demande joint à eux pour aller fêter de compagnie les *vingt ans* révolus de la jeune femme. Elle est très gentille et son mari aussi, et cela fait un très joli couple... Il y a donc d'heureux mariages... En rentrant le lendemain en ville, j'y ai trouvé une dépêche télégraphique, arrivée en mon absence, de la part d'Aksakoff, m'annonçant qu'il ne passerait pas par Pétersbourg et qu'il comptait faire prendre à sa mère et à son funèbre cortège le chemin de fer d'Orel[2]. Ainsi il aura passé à votre porte...

Rien de certain jusqu'à présent au sujet de l'Impératrice. On croit généralement ici qu'elle ne retournera pas pour l'hiver à Pétersb<ourg>, mais on n'a pas des conjectures sur tout le reste. Quant à l'Empereur, il est toujours attendu pour le 10 octobre à Tsarskoïé. — Une lettre de Daria à son frère Ch<arles> Péterson lui apprend que le 14/26 de ce mois elle avait reçu les ordres de l'Impératrice et qu'elle allait se mettre en route[3].

Voici mon bulletin. Il me semble qu'il est suffisamment riche de faits et de renseignements. Je n'ai plus rien à y ajouter. Le temps, grâce aux gelées du matin, est clair et beau dans le genre froid. Ma santé n'est pas mauvaise. J'embrasse Marie.

T. T.

Перевод:

Петербург. Понедельник. 22 сентября <18>69

В своем последнем письме ты просишь сообщать тебе больше подробностей, касающихся моего существования. Изволь. Приезжаю вчера вечером домой и узнаю о грандиозном скандале, учиненном злосчастным *Иовом*. Возвратившись пьяным якобы с кладбища Новодевичьего монастыря, он поругался с привезшим его *извозчиком* и вместо того, чтобы расплатиться с ним деньгами, вознаградил его двумя увесистыми затрещинами. Потом — страшно сказать — он набросился на бедного Щуку и отделал его так же, как извозчика. Тут привели полицию и разбуянившегося Иова забрали в участок. — Двор Армянской церкви, ставший невольным свидетелем всех этих



бесчинств, единодушно негодует, и меня настоятельно просят немедленно отказать от места этому возмутителю общественного спокойствия, что я, разумеется, сам расположен сделать. — Сейчас он в участке, где его по моей просьбе продержат двое суток. Я заглянул к Диме, чтобы доложить ему о случившемся и взять с него обещание, что он поддержит меня своим присутствием, когда дело дойдет до сдачи ключей, ведь я понятия не имею, какие вещи ты передала на хранение этому негодяю, да и опасливый Щука, дабы не брать на себя ответственности, хотел бы иметь возможность спрятаться за Димину спину. Вот уж поистине глупая история, а при гадком и лживом характере этого субъекта нет ни малейшей уверенности, что у нее не будет какого-нибудь скверного продолжения[1]. Во всяком случае, Щука этого боится...

Позавчера, в субботу, я поехал обедать к Вяземским. Но поскольку то был день рождения их внучки, юной графини Шереметевой, я по их приглашению отправился вместе с ними праздновать *двадцатилетие* молодой особы. Она необычайно мила, муж ее тоже, а вместе они — очаровательная пара... Есть же счастливые браки... Вернувшись на другой день в город, я нашел там принесенную в мое отсутствие телеграмму от Аксакова, которой он извещает меня, что не заедет в Петербург и рассчитывает перевезти свою мать вместе с погребальным кортежем по орловской железной дороге[2]. Таким образом, он проедет мимо вас...

Об императрице до сих пор ничего толком не известно... Здесь склоняются к тому, что она не вернется на зиму в Петербург, но относительно всего прочего догадок не строят. Что до государя, то его по-прежнему ждут к 10 октября в Царском. — Дарья в письме к своему брату Карлу Петерсону сообщает, что 14/26 сего месяца получила распоряжение императрицы и собирается в дорогу[3].

Вот мой отчет. Мне кажется, он достаточно уснащен фактами и всяческими сведениями. Мне больше нечего добавить. Погода, благодаря утренним заморозкам, стоит студено ясная и погожая. Чувствую я себя сносно. Обнимаю Мари.

Ф. Т.

197. М. Н. ПОХВИСНЕВУ

25 декабря 1869 г. Петербург

Прежде всего позвольте мне, почтеннейший Михайло Николаевич, поздравить вас с нынешним великим праздником и потом от души поблагодарить вас за ваше милое, доброе участие в моих немощах и страданиях. Очень сожалею, что в самом начале моей болезни я не мог воспользоваться посещением вашим. Надеюсь, что дней через несколько в состоянии буду сам явиться к вам с моею благодарностью.

Много утешили вы меня надеждою, что на этот раз чиновники Комитета ин<остранной> ценз<уры> будут, как говорится, взысканы монаршею милостию. Это для меня более чем личное одолжение, и мне особенно приятно к вам отнести, почтеннейший Михайло Николаевич, первое заявление моей признательности по этому случаю.

Не удостоится ли если не милостей, так помилованья и русская печать, которая, в сложности, не худо, право, служит русскому делу? Не следует упускать из виду, что настают такие времена, что Россия со дня на день может быть призвана к необычайным усилиям — невозможным без подъема всех ее нравственных сил, — а что гнет над печатью (хотя, благодаря вам, менее ощутительный с некоторых пор) нимало не содействует этому нравственному подъему.

Примите, прошу вас, милостивый государь Михайло Николаевич, сочувственное заявление моего искреннего и глубокого к вам уважения и совершенной преданности.

Ф. Тютчев

198. А. Ф. АКСАКОВОЙ

3 апреля 1870 г. Петербург

St-P<étersbourg>. Ce 3 avril 1870

Et moi aussi, ma fille chérie, si j'ai gardé le silence si longtemps, c'est que je n'avais rien d'intéressant à dire, rien même d'aussi piquant que ton rêve qui même dans un récit m'a



frappé par son relief. — Quelle chose mystérieuse que le rêve, comparée à la platitude obligée de la réalité, quelqu'elle soit... Et voilà pourquoi il me semble que nulle part on ne vit plus en plein dans la réalité que précisément ici... Si c'est par hasard de l'histoire, ce que nous faisons là, c'est bien certainement à notre insu.

Et cependant, c'est de l'histoire, seulement le procédé est le même qu'aux gobelins où l'ouvrier ne voit que l'envers du tissu, sur lequel il travaille.

Avant hier nous avons eu au théâtre les tableaux slaves[1], devant un public fort nombreux et faisant preuve de plus de bonne volonté encore que d'intelligence... Tous les Grands-Ducs y étaient — etc. etc. Il est incontestable, qu'en se reportant à quinze ans en arrière, on ne se trouve amené à conclure que l'idée a marché... *E pur si muove*[2], bien qu'à de certains moments ce mouvement ne soit guères plus sensible que celui de la Terre...

Ici, dernièrement, à propos de la nomination du P<rinc>e Obolensky[3], un autre nom a été prononcé, et on n'en a pas été trop effarouché. Par contre, l'irritation, si non l'alarme, a été très vive dans une certaine clique...

L'autre jour, dans une discussion quasi officielle, que j'ai eu à soutenir au sujet de la presse, on est venu, et cela de la part d'un représentant de l'autorité, reproduire cette assertion qui a la valeur d'une axiome pour certaines gens — à savoir qu'une presse libre est impossible avec l'autocratie, à quoi j'ai répondu que rien n'est moins irréconciliable là, où l'autocratie n'appartient qu'au souverain, mais qu'en effet la presse, pas plus qu'autre chose, n'est possible là, où chaque *чиновник* se sent autocrate. Toute la question est là... Mais pour reconnaître qu'il en est ainsi, il faudrait que l'autocrate à son tour ne se sente pas *чиновник*.

Mais pardon, ma fille, toute cette logomachie doit vous paraître nauséabonde, comme elle l'est en effet, je vais donc, pour varier, vous parler de quelque chose d'autre, de moi par ex<emple>, c'est-à-d<ire> de ma santé, vieille et misérable loque qu'il s'agirait de rafistoler, mais c'est là, précisément, où toute conviction me fait défaut, et voilà pourquoi je flotte jusqu'à présent dans l'irrésolution la plus grande sur ce que je ferai l'été prochain. Je n'ai, pour le moment, d'arrêté que l'intention de

venir le mois prochain vous voir à Moscou. Tous ces programmes, qui se renouvellent chaque année pour les vivants, font un si singulier effet, quand on vient à les retrouver dans la correspondance de ceux qui ne sont plus... et c'est ainsi que je considère, tout naturellement, mes programmes à moi. Dieu v<ou>s garde.

Перевод:

С.-Петербург. 3 апреля 1870

Я тоже, моя милая дочь, так долго отмалчивался лишь потому, что не мог сообщить ничего интересного, даже ничего настолько же любопытного, как твой сон, который и в пересказе поразил меня своей красочностью. — Что за волшебная вещь сон в сравнении с неизбежной блеклостью реальности, какова бы она ни была... И вот почему мне кажется, что никто не погряз в реальности больше, чем мы здесь... Если мы случайно делаем что-нибудь для истории, то уж, конечно, бессознательно.

Однако история все-таки творится, только творится она тем же способом, каким ткутся гобелены, когда мастер видит лишь изнанку ткани, над которой работает.

Третьего дня в театре представлялись славянские живые картины[1], собравшие множество зрителей, выказавших больше сочувствия, нежели понимания. Присутствовали все великие князья — и проч. и проч. Переносясь воспоминаниями на пятнадцать лет назад, приходишь к неоспоримому выводу, что в сознании совершается поворот... *E pur si muove*[*][2], хотя в иные минуты это вращение ощутимо не более, чем вращение Земли...

Недавно здесь в связи с назначением князя Оболенского[3] всплыло другое имя, и его не слишком испугались. Зато известная клика сильно озлилась, если не всполошилась...

Намедни в почти официальном споре, который мне пришлось выдержать по поводу печати, было повторено, и не кем-либо, а представителем власти, утверждение, принимае-

[*] А все-таки она вертится (*ит.*).



мое некоторыми за аксиому, — а именно, что свободная печать невозможна при самодержавии, с чем я не согласился, заявив, что нет вещей менее несовместных там, где самодержавная власть является прерогативой государя, но что печать, как и все остальное, действительно невозможна там, где каждый *чиновник* чувствует себя самодержцем. Вот в чем штука... Впрочем, чтобы это было признано, и самодержец, в свою очередь, не должен чувствовать себя *чиновником.*

Прости, дочь моя, это словоблудие должно казаться тебе тошнотворным, каковым оно и впрямь является, так что для разнообразия поговорю о другом, о себе, например, то есть о своем здоровье, ветхом и жалком отрепье, латанием коего меня уговаривают заняться, а как раз в этом мне сильно недостает убежденности, и вот почему я до сих пор пребываю в совершенной нерешительности относительно того, что мне предпринять будущим летом. В данную минуту у меня окончательно созрело лишь одно намерение съездить к вам в Москву в следующем месяце. Все эти планы, ежегодно возникающие у живых, производят ужасно странное впечатление, когда их встречаешь в переписке тех, кого уже нет... и именно так я вполне естественно воспринимаю свои собственные планы. Господь с вами.

199. А. Н. МАЙКОВУ

20 апреля 1870 г. Петербург

Понедельник. 20 апреля

Что с вами, любезнейший Аполлон Николаевич? Отчего вас так давно не видать? Здоровы ли вы?.. Если можно, приходите завтра обедать с нами, так как меня уверяют, что завтра мои именины.

Вам душевно преданный

Ф. Тютчев

В случае, если стихи будут помещены в «Заре», препровождаю к вам окончательную редакцию последнего четверостишия[1].

200. А. В. ПЛЕТНЕВОЙ

7/19 июля 1870 г. Берлин

Berlin. Ce 7/19 juillet 1870

Où êtes-vous, et si vous êtes encore à *Ems*, qu'allait vous devenir au milieu de cette épouvantable bagarre qui commence? Si je vous savais positivement à Ems, je n'aurais pu résister à la tentation d'aller vous y chercher. Mais depuis votre départ, je n'ai pas eu, comme je devais m'y attendre, le moindre signe de vie de vous... Mais si par hasard ces lignes avaient la chance de parvenir jusqu'à vous, donnez-moi ce signe de vie, en me l'adressant à Carlsbad où je vais demain[1]. — Encore quelques jours, et nous serons en plein cataclysme[2].

Dieu vous garde tout spécialement.

Ф. Тютчев

Перевод:

Берлин. 7/19 июля 1870

Где вы, и если вы еще в *Эмсе*, каково вам будет в гуще этой чудовищной каши, которая сейчас заваривается? Если бы я знал точно, что вы в Эмсе, я не устоял бы перед искушением помчаться к вам туда. Но с момента вашего отъезда я, как и следовало ожидать, не получил от вас ни строчки... Но если по счастливой случайности мое письмецо найдет вас, черкните мне эту строчку, адресовав ее в Карлсбад, куда я еду завтра[1]. — Еще несколько дней, и мы ввергнемся в настоящий катаклизм[2].

Да хранит вас Господь более, чем когда-либо.

Ф. Тютчев

201. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

30 июля/11 августа 1870 г. Тёплиц

Toeplitz. Ce 30 juillet/11 août

Ma chatte chérie, voilà treize jours que je suis sans nouvelles, car le dernier signe de vie, que j'aie eu de vous, est du 17 de ce mois, jour de votre départ de Péters<bourg>. Je vous suppose

Автографы писем Тютчева И.С. Аксакову от 8 дскабря 1865 г., А.Ф. Аксаковой от 25 февраля 1866 г., Д.Ф. Тютчевой от 8/20 сентября 1864 г.



Анна Федоровна Тютчева – дочь поэта. 1862.
Фотография И. Робийяра



**Дарья Федоровна Тютчева — дочь поэта. Петербург.
1872–1873. *Фотография Г. Деньера***



Екатерина Федоровна Тютчева — дочь поэта. 1863.
Фотография А. Бергнера



Мария Федоровна Бирилева – дочь поэта. Петербург. Середина 1860-х гг. *Фотография С. Левицкого*



Елена Александровна Денисьева с дочерью Еленой.
1862–1863. ***Фотография***



Эрнестина Федоровна Тютчева,
Мария Федоровна и Николай Алексеевич Бирилевы.
<1868>. *Фотография Г. Деньера*



Федор Иванович Тютчев. Петербург. 1867.
Фотография С. Левицкого



arrivées dès le 20. Reste donc *dix jours*, pour recevoir une lettre d'Ovstoug, ce qui me paraît plus que suffisant, en supposant que la lettre ait été écrite.

Me voilà depuis quatre jours arrivé et établi à Toeplitz, et cependant le médecin ne m'a pas permis jusqu'à présent de commencer les bains, tant il a trouvé tout mon organisme remué et surexcité par les dix jours de cure que j'ai fait à Carlsbad. Car non seulement cela m'a valu une recrudescence d'affections névralgiques dans les pieds, mais des maux de tête continuels, également de provenance névralgique.

Aujourd'hui cependant je compte prendre le premier bain, avec toutes les précautions imaginables, et en ne restant pas plus de dix minutes au bain. — Je te donne tous ces fastidieux détails rien que pour l'acquit de ma conscience, car il me paraît souverainement ridicule de se préoccuper de la guenille dans un pareil moment. Ce qui se passe a l'air d'un rêve. — Les Français ne résistant pas mieux que les Autrichiens à l'ascendant irrésistible de la fortune de la Prusse[1]. Le sort de la France remis aux chances d'une seule bataille qui se livre peut-être en ce moment. Le vieux *Barberousse*[2], les yeux déjà tout grands ouverts, prêt à sortir de sa caverne, l'Empire napoléonien prêt à y rentrer pour faire place à l'Empire germanique, — et tout cela a moitié accompli dans l'espace de moins d'une semaine. — On se frotte les yeux et on se demande, si on rêve ou si on est éveillé?..

Ci-jointe une lettre de ton frère qui, comme tu penses bien, m'est allée au cœur et que tu aimeras à lire. Je serai bien contrarié, si je rentrais en Russie sans l'avoir revu... Et voici quelques lignes de Daria qui m'ont moins satisfaites, tant j'ai la nausée de *ce tourisme* à tout prix, poursuivant ses évolutions à travers tout[3], et même sur les ruines du monde, s'il le fallait, sans autre préoccupation que celle de son petit bien-être, le plus sordidement personnel possible. Il y a là quelque chose de tout bonnement méprisable, du vieux garçon célibataire en crinoline... Et cependant moi-même, à quoi suis-je occupé ici, sinon à rafistoler une vieille loque toute usée? Mais tu me dois le témoignage que je le fais bien malgré moi. — *Toeplitz* d'ailleurs est un charmant séjour. Je loge porte-à-porte avec P<aul> Melnikoff[4], et très confor-

15 Зак. 7509

tablement. La société ne manque pas. Les deux frères Муханов[5], qui me soignent de toutes les manières, le couple *Potapoff*, que je vois beaucoup, la C<om>tesse *Fersen*, les Шувалов, qui arrivent ce soir de Carlsbad, où ils ont manqué être noyés par une inondation, etc. etc. Il ne me manque, pour que ce fût du bien-être, que d'être rassuré sur ce qui te concerne. Car depuis le fatal 11 juillet[6] je n'ai, sauf le télégraphe, pas recueilli un mot de toi, pas un indice de l'état où tu es... C'est là ce qui est dur. — J'embrasse Marie et vous confie toutes deux à la garde de Dieu.

Перевод:

Тёплиц. 30 июля/11 августа

Милая кисанька, вот уже тринадцать дней я не имею от вас известий, ибо в последний раз вы дали мне о себе знать 17-го сего месяца, в день вашего отъезда из Петербурга. Полагаю, добрались вы не позже 20-го. Значит, остается *десять дней* на то, чтобы сюда дошло письмо из Овстуга, срок, мне кажется, более чем достаточный, при условии, что это письмо было написано.

Вот уже четыре дня, как я водворился в Тёплице, однако доктор до сих пор не допускал меня до ванн, найдя, что мой организм чересчур растревожен и перевозбужден десятидневным лечением в Карлсбаде. Ибо оно обернулось для меня не только обострением невралгических болей в ногах, но и усилением постоянных головных болей, тоже невралгического происхождения.

Однако сегодня я собираюсь принять первую ванну, со всеми вообразимыми предосторожностями и пробыв в ней не более десяти минут. — Я сообщаю тебе все эти скучные подробности только для очистки совести, ибо, на мой взгляд, суета вокруг убогой ветоши выглядит в такой момент крайне смехотворно. То, что сейчас творится, похоже на сон. — Французы не лучше австрийцев сопротивляются неуклонному восхождению прусской звезды[1]. Судьба Франции поставлена в зависимость от исхода единственного сражения, которое, может быть, разворачивается в настоящий момент. Древний

Барбаросса[2], уже отверзший вежды, готов выйти из своей пещеры, а империя Наполеона III готова ретироваться туда, дабы освободить место Германской империи, — и почти все это сделалось меньше, чем за неделю. — Протираешь глаза и спрашиваешь себя: сплю я или бодрствую?..

Посылаю тебе письмо твоего брата, которое, как ты понимаешь, глубоко меня тронуло и которое ты с удовольствием прочтешь. Я буду очень огорчен, если вернусь в Россию, не свидевшись с ним... А вот Дарьино письмецо, тоже мною прилагаемое, меня мало обрадовало, до того мне опротивело *это кружение по свету* любою ценой, это упорное прокладывание маршрутов вопреки всему[3], и даже, если понадобится, по руинам мира, с единственной заботой о своем маленьком удовольствии самого что ни на есть мелко эгоистического свойства. В этом есть что-то откровенно жалкое, что-то от старого девственника в кринолине... Однако, чем же занимаюсь я сам, как не починкой ветхого рубища? Но ты должна засвидетельствовать, что я взялся за нее отнюдь не по своей воле. — Впрочем, *Тёплиц* — очаровательное место. Я устроился по соседству с Павлом Мельниковым[4], очень уютно. В обществе недостатка нет. Здесь братья Мухановы[5], всячески меня обхаживающие, чета *Потаповых*, с которыми я часто вижусь, графиня *Ферзен*, Шуваловы, приезжающие сегодня вечером из Карлсбада, где их едва не смыло наводнением, и проч. и проч. Мне, для моего маленького удовольствия, недостает лишь спокойствия за тебя. Ибо после рокового 11 июля[6] я не получил от тебя ни одного слова, кроме как по телеграфу, никакого свидетельства о твоем состоянии... Вот что гнетет. — Обнимаю Мари, и да хранит вас обеих Господь.

202. А. Ф. АКСАКОВОЙ

31 июля/12 августа 1870 г. Тёплиц

Toeplitz. Ce 31 juillet/12 août

Ce qui se passe sous nos yeux n'est plus de la réalité. C'est comme la représentation scénique d'un grand drame, conçu et arrangé dans toutes les conditions de l'art. Tout est si clair, si bien

motivé, si conséquent. On croit lire sur l'affiche quelque titre connu: *Le Fourbe puni*, ou quelque chose dans ce genre... D'autre part, la portée des événements échappe à toutes les appréciations humaines.

Il y a juste *huit* jours que la guerre est commencée, et voilà déjà le sort de la France réduit aux chances d'une seule bataille qui se livre, peut-être, en ce moment. Et il ne s'agit pas moins que de la chute, de la chute flagrante et évidente d'un pays, d'une société, d'un monde entier, tel que la France[1]. On croit rêver.

Voilà d'abord l'armée française, qui a toujours été considérée comme quelque chose de hors ligne et de supérieur, qui ne resiste pas mieux que des Autrichiens[2] à l'ascendant des armées <prussiennes>*. Voilà l'invasion retournée, le sol de la France envahi, la capitale, Paris, déclaré en état de siège, la patrie déclarée en danger et l'Impératrice Eugénie s'offrant, comme une seconde Jeanne d'Arc, en crinoline, à prendre en mains le salut de la France[3]. C'est ce mélange du grotesque, se mêlant aux événements les plus tragiques, qui a toujours été l'indice des grandes choses, des destinées qui s'achèvent.

Grâce à je ne sais quelle reproduction plagiaire de ce Second Empire napoléonien relativement au Premier, on peut préciser, par une sorte de formule historique, la phase où celui-ci vient d'entrer, ce sont les Cent Jours de Napoléon III[4]. Or qui a présent à l'esprit l'ignoble détail de cette époque lit comme dans un *libretto* tout ce qui va se passer à présent: la lutte des partis à outrance et les lâchetés de l'intérêt sordidement personnel... Puissé-je me tromper dans mes prévisions. Car la chute de la France, toute méritée qu'elle puisse être par cette profonde et intime corruption du sens moral, serait néanmoins un immence désastre à tous les points de vue et surtout au point de vue de notre avenir à nous... Car autant l'antagonisme des forces, qui constituent l'Europe occidentale, est une condition essentielle de cet avenir, autant la prépondérance définitive de l'une d'elles sur l'autre serait une terrible pierre d'achoppement sur la route ouverte devant nous, et plus que toute chose au monde — l'accomplissement, devenu

* В автографе описка: autrichiennes; восстанавливается по смыслу.



imminent, de l'unité allemande, de ce réveil du légendaire Frédéric Barberousse que nous allons voir, en chair et en os, sortir[5]. – Ce serait là un grand et beau spectacle, je dois en convenir, mais je serais déséspéré d'en être le spectateur...[6] Et quand on pense que c'est cet histrion, qui s'appelle N<apoléon> III, qui aura aidé à la mise en scène de ce grand spectacle. C'est ainsi qu'il aura été le *restaurateur d'un Empire*, pas du sien précisément, mais d'un Empire ennemi. Et ce mois ne s'achevera pas sans que toutes ces questions ne soient décidées. Encore une fois, c'est un rêve...

En attendant j'ai commencé les bains, et cette cure, à ce qu'il me paraît, me fera du bien... Mille tendres amitiés à Aksakoff. Ah que n'est-il ici...

Au revoir, à bientôt, ma fille chérie. Je suis vraiment quelque peu honteux pour toi de tout ce radotage de ton père. Dieu v<ou>s garde.

Перевод:

Тёплиц. 31 июля/12 августа

То, что творится перед нашими глазами, уже не действительность. Это как бы сценическое представление грандиозной драмы, задуманной и поставленной по всем правилам искусства. Все так ясно, так хорошо обосновано, так последовательно. Кажется, будто читаешь на афише какое-нибудь знакомое название: «Наказанный плут» или нечто в этом роде... С другой стороны, никакому человеческому уму не охватить всей перспективы совершающихся событий.

Война началась ровно *восемь* дней назад, и вот уже судьба Франции поставлена в зависимость от исхода одного сражения, которое, быть может, разыгрывается в настоящую минуту. И дело идет не о чем ином, как о падении, явном и очевидном падении страны, общества, целого мира, каковым является Франция[1]. Это похоже на сон.

Прежде всего, французская армия, всегда почитавшаяся чем-то из ряда вон выходящим и совершенным, не лучше австрийцев[2] сопротивляется превосходству <прусских> армий. Происходит нашествие наоборот, французская земля

заполонена врагами, столица, Париж, на осадном положении, объявлено, что отчизна в опасности, и императрица Евгения, подобно второй Жанне д'Арк в кринолине, берет на себя спасение Франции[3]. Эта примесь смешного к самому что ни на есть трагическому всегда была приметой великих поворотов и рушащихся судеб.

Благодаря тому, что Вторая наполеоновская империя представляет собой как бы подделку под Первую, можно точной исторической формулой определить фазис, в какой она вступила: это Сто дней Наполеона III[4]. Поэтому каждый, у кого в памяти сохранились гнусные подробности той эпохи, читает как бы по *либретто* все, что должно произойти теперь: борьба партий не на живот, а на смерть и подлое предпочтение низких выгод... Хорошо, если б я ошибался в своих предвидениях. Ведь падение Франции, сколь ни заслужено оно глубоким внутренним разложением нравственного чувства, было бы тем не менее огромным бедствием со всех точек зрения, особливо же с точки зрения нашей собственной будущности... Ибо насколько соперничество сил, образующих Западную Европу, составляет главнейшее условие этой будущности, настолько же окончательный перевес одной из них над другой явится страшным камнем преткновения на открывшемся перед нами пути, и пуще всего на свете — неминуемое объединение Германии, это пробуждение легендарного Фридриха Барбароссы, которого мы увидим живьем выходящим из его пещеры[5]. — Сцена величественная и прекрасная, должен с этим согласиться, но я был бы в отчаянии, если бы мне пришлось стать ее зрителем...[6] И подумать только, что постановке этого великолепного спектакля способствовал скоморох, именующийся Наполеоном III. В результате он окажется *восстановителем империи*, но только не своей, а империи вражеской. Не пройдет и месяца, как все эти вопросы будут решены. Повторяю, это сон...

Пока что я начал брать ванны, и это лечение, по-видимому, принесет пользу. Сердечный привет Аксакову. Ах, если бы он был здесь...

До скорого свидания, моя милая дочь. Право, мне немного совестно, что у тебя такой болтливый отец. Да хранит вас Бог.



203. А. Ф. АКСАКОВОЙ

19 октября 1870 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 19 octobre

N'est-ce pas aujourd'hui la fête de ton mari, comme c'était celle de mon père, et comme c'est celle de Jean. Si en effet il avait le bonheur d'avoir pour patron *Jean de Rilsk — Иоанна Рыльского*[1] (localité qui m'est inconnue), je te charge, ma fille, de lui faire mes compliments.

Hier j'ai reçu ta lettre et j'approuve entièrement les arrangements qui ont été faits. Je suis bien aise que tu trouves l'enfant sympathique[2]. Maintenant que Dieu daigne accorder sa bénédiction à ce qui a été fait et je m'en irai de ce monde avec une épine de moins dans la conscience. Ce qui m'a particulièrement fait plaisir, c'est ton procédé vis-à-vis de ma femme. Ceci est franc, loyal et tout à fait dans ton caractère. Quant à la lettre par laquelle elle t'a répondu, je la lis d'ici.

J'ai eu hier de ses nouvelles. — Elle m'annonce que c'est demain qu'elles quittent Ovstoug[3]. Elle m'annonce aussi la bonne fortune, arrivée à une des sœurs du pauvre Birileff, qui se trouve avoir, au dernier tirage, gagné le gros lot des deux cents mille roubles. Elle est mère de quatre enfants...

Je t'ai parlé, je crois, dans mes précédentes lettres du nouveau président du grand Comité de l'Administration de la Presse?[4] Eh bien il se trouve qu'il n'est pas du tout l'homme qu'on a dit, — qu'il est même très porté en faveur de la presse nationale. Ceci m'a fait venir l'idée qu'il pourrait bien se montrer disposé plutôt à favoriser qu'à contrarier le rétablissement de la *Москва*. Il ne s'agirait que de s'assurer d'une influence amie en tout haut lieu, pour travailler dans le même sens. J'ai songé au Chancelier qui est encore à Tsarskoïé, mais qui ne tardera pas à rentrer en ville, l'Empereur devant, à ce qu'on dit, partir jeudi prochain pour Moscou. Il y aurait bien encore une autre voie — que je t'indiquerai plus tard. Jamais la réapparition de la *Москва*[5] n'aurait été plus opportune que dans ce moment-ci, en vue de ce qui commence et de ce qui finit[6]. Le terrible avertissement de la France, succombant si honteusement dans

la plénitude apparente de ses forces, — cet avertissement, faute d'un commentaire suffisamment énergique, n'est pas assez compris, hélas. — Il y a chez nous une contradiction qui mérite d'être relevée. Toutes les sympathies dans un certain milieu sont pour la Prusse[7] — et cependant dans cette même sphère c'est *le régime napoléonien* qui était le grand objet d'émulation, l'idéal de nos grands hommes d'état...[8]

Mille tendresses à mon frère et qu'il me fasse donner de ses nouvelles.

T. T.

Перевод:

Петербург. 19 октября

Не сегодня ли именины твоего мужа, поскольку в этот день был именинником мой отец, а теперь именинник Ваня? Если в самом деле он имеет счастье считать своим покровителем *Иоанна Рыльского*[1] (местность мне незнакомая), поручаю тебе, дочь моя, передать ему мои поздравления.

Вчера я получил от тебя письмо и полностью одобряю все, что было предпринято. Я очень доволен тем, что ребенок пришелся тебе по душе[2]. Да благословит ныне Господь это дело, и я покину сей мир с чуть-чуть более легким сердцем. Особенно порадовало меня то, как ты повела себя по отношению к моей жене. Это честно, тактично и совершенно в твоем характере. Что касается ее ответного письма, я словно бы читаю его своими глазами.

Вчера я получил от нее письмо. — Она сообщает мне, что завтра они покидают Овстуг[3]. Она пишет мне также о неожиданном счастье, выпавшем на долю одной из сестер бедняги Бирилева, которой в последнем розыгрыше лотереи достался главный выигрыш в двести тысяч рублей. Она — мать четверых детей...

Я, думается, писал тебе в моих предыдущих письмах о новом председателе Совета Главного управления по делам печати?[4] Так вот, оказывается, он совсем не таков, как о нем говорили, — он даже очень расположен к патриотической печати. Это навело

меня на мысль, что, быть может, он скорее будет настроен способствовать восстановлению «Москвы», нежели препятствовать ему. Следует только заручиться поддержкой дружественных сил в высших сферах и действовать в одном направлении. Я подумал о канцлере, он пока еще в Царском, но не замедлит вернуться в город, поскольку государь, как говорят, едет в Москву в будущий четверг. Есть, по-видимому, еще и другой путь — я укажу тебе его позже. Вероятно, никогда возобновление «Москвы»[5] не было так своевременно, как сейчас, принимая во внимание то, что начинается, а также то, что идет к концу[6]. Ужасное предостережение в лице Франции, потерпевшей столь постыдное поражение, несмотря на видимое ее могущество, — это предостережение, за отсутствием достаточно убедительного разъяснения, увы, не вполне понято. — Нам присуще одно противоречие, которое стоит отметить. В известном кругу все симпатии находятся на стороне Пруссии[7], и, однако, в этой же самой сфере главным предметом подражания был *наполеоновский режим*, идеал наших великих государственных мужей...[8]

Самый сердечный привет моему брату, и пусть он даст мне о себе знать.

Ф. Т.

204. А. М. ГОРЧАКОВУ

3 ноября 1870 г. Петербург

St-P<étersbourg>. Mardi. 3 nov<em>bre

Mon Prince,

Je ne veux pas être des derniers à joindre ma voix à la grande voix du pays qui vous acclame en ce moment[1]. Je le fais sans réserve, comme sans appréhension, rassuré, comme je le suis, sur le coup d'audace, qui vient d'être frappé, par la main même qui l'a dirigé[2].

Ici, on est dans la joie, comme vous pouvez bien le penser. Et déjà ce matin il était question à la *Douma* d'une adresse d'actions de grâce qui devait être présentée à l'Empereur...[3]

Mille respects.

Ф. Тютчев

Перевод:

С.-Петербург. Вторник. 3 ноября

Дорогой князь,

Я не хочу последним присоединить свой голос к великому голосу страны, которая приветствует вас в эту минуту[1]. Делаю это без оговорок и без опасений, успокоенный сознанием того, чьей рукой направлен только что нанесенный смелый удар[2].

Здесь, как вы можете себе представить, все ликуют. И уже сегодня утром в *Думе* шла речь о благодарственном адресе, который должен быть поднесен государю...[3]

С глубочайшим почтением.

Ф. Тютчев

205. А. Д. БЛУДОВОЙ

13 ноября 1870 г. Петербург

Ce vendredi

Laissez-moi vous signaler, chère Comtesse, l'article de la *Gazette de Moscou*, en date du 11 novembre, № 243.

Eh bien, il y a dans cet article un alinéa qui pourrait être dûment qualifié de véritable *infamie*, en égard à l'autorité qui s'attache au journal de Katkoff.

Cet alinéa est à l'adresse des Slaves de la *Cisleithanie*[1] et dit crûment sur la foi de je ne sais quelle autorité que leur sacrifice est une chose à peu près décidée, en dépit de toutes les sympathies qu'ils nous témoignent[2]. Encore une fois, dans les circonstances données[3] et venant de la part de Katkoff, une pareille insinuation est une *infamie*, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier un procédé semblable. A quel excès pourtant peuvent arriver certaines natures sous le coup de fouet d'un amour-propre sottement irritable et qui se sent blessé.

Parlez-en au Prince Gortchakoff à votre retour à Tsarskoïé.

Au plaisir de vous revoir très probablement dimanche prochain.

T. T.



Перевод:

Пятница

Позвольте, дорогая графиня, обратить ваше внимание на статью в «Московских ведомостях» от 11 ноября, № 243.

Так вот, в этой статье есть абзац, который поистине нельзя рассматривать иначе как настоящую *низость*, принимая в расчет тот авторитет, коим пользуется газета Каткова.

В этом абзаце, касающемся славян *Цислейтании*[1], прямо говорится, на основании не знаю каких данных, что принесение их в жертву — дело более или менее решенное, несмотря на все симпатии, которые они нам выказывают[2]. Повторяю, при настоящих обстоятельствах[3] подобная инсинуация, да еще исходящая от Каткова, является *низостью*, и нет другого слова, чтобы определить такой поступок. До чего, однако, могут доходить некоторые натуры, подхлестываемые глупо раздражительным и якобы уязвленным самолюбием.

Поговорите об этом с князем Горчаковым по вашем возвращении в Царское.

Надеюсь свидеться с вами в будущее воскресенье.

Ф. Т.

206. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

31 декабря 1870 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 31 déc<embre> 1870

Je ne veux pas laisser s'achever cette terrible année sans t'écrire, ma chère Kitty, sans répondre à ta lettre qui répond si bien à toutes mes pensées... Il en est des blessures morales comme des blessures physiques, ce n'est pas dans le moment, où on les reçoit, qu'on s'en ressent le plus — c'est plus tard, c'est après coup. Il faut que la vie ait repris son assiette, pour que le vide reparaisse.

Pour moi, chaque fois que ma pensée se transporte, il faut que je la heurte aux dernières impressions que j'y ai reçues, pour l'empêcher d'aller le chercher là où je le rencontrai et où jamais je ne le rencontrerai plus. Mais ce mot *jamais* n'a plus de sens pour moi. Ce n'est plus un avenir. C'est un délai de quelques

jours, de peu de jours, après tout. Et voilà pourquoi, je pense, je trouve brisé dans mon être ce sentiment de révolte contre la mort que l'homme n'éprouve bien qu'une fois dans sa vie. — Dans toutes les pertes qui suivent celle-là, quelques rudes qu'elles puissent être, il n'y a plus rien d'imprévu, rien d'absolument inconnu.

Il n'y a qu'une image qui, chaque fois qu'elle me revient, m'est de plus en plus odieuse et horrible. C'est quand je le revois tombé dans ce local du Club qui m'est si bien connu, lui, si débile et si craintif, lui qui a toujours eu l'appréhension de cette chute, gisant à terre, meurtri, frappé à mort, et demandant qu'on le relève...[1]

Voilà bien trois à quatre jours que je garde la chambre, grâce à un accès de douleurs névralgiques ou rhumatismales aux pieds, et qui cette fois est venu plus tôt que d'habitude. Les souffrances ne sont pas bien fortes, surtout comparativement à ce que toi, tu as souffert, en dernier lieu, mais cela dérange toutes mes habitudes, et par là aussi toutes les conditions de mon existence physique, déjà suffisamment détériorée. Mais ce sont là les inconvénients naturels de l'âge, et il serait ridicule de s'en plaindre. — Adieu, ma fille chérie, embrasse ta tante, et que Dieu te la conserve le plus longtemps possible. A toi de cœur.

Ton père

P. S. Voici, ma fille, quelques rimes que je n'ai communiquées à personne et qui ne sont que pour toi. Elles me sont venues dans cet état de demi-sommeil, la nuit de mon retour de Moscou.

Брат, столько лет сопутствовавший мне,
И ты ушел — куда мы все идем, —
И я теперь, на голой вышине,
Стою один, — и пусто все кругом —

И долго ли стоять тут одному?
День, год-другой — и пусто будет там,
Где я теперь, — смотря в ночную тьму
И — что́ со мной, не сознавая сам...



Бесследно все – и так легко не быть!
При мне иль без меня – что нужды в том?
Все будет то ж – и вьюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.

Дни сочтены – утрат не перечесть, –
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет – и я, как есть,
На роковой стою очереди.

Ф. Т.

Перевод:

Петербург. 31 декабря 1870

Я не хочу дать завершиться этому ужасному году, не написав тебе, моя милая Китти, не ответив на твое письмо, которое так хорошо отвечает всем моим мыслям... Раны душевные, как и раны физические, не так остро чувствуются в первый момент, – это наступает позже, некоторое время спустя. Жизнь должна войти в обычное свое русло, и тогда потеря станет ощутимой.

Что касается меня, то всякий раз, что моя мысль уносится в прошлое, я должен возвращать ее к последним впечатлениям, дабы она не искала его там, где я встречал его и где никогда больше не встречу. Но слово *никогда* для меня уже не имеет значения. Речь уже не о будущем. Это отсрочка нескольких дней, немногих дней, в конце концов. И вот почему, сдается мне, в моем существе сокрушено чувство бунта против смерти, которое человек испытывает вполне лишь один раз в жизни. – Во всех последующих утратах, как бы тяжелы они ни были, нет уж ничего непредвиденного, ничего неведомого...

Но одна картина, возникающая в моем воображении, с каждым разом становится для меня все более и более нестерпимой и ужасной. Это когда я представляю себе, как он упал в столь хорошо знакомом мне помещении клуба, он, такой немощный и боязливый, он, всегда страшившийся этого падения, – когда представляю его распростертым на полу, раз-

бившимся, пораженным насмерть, умоляющим, чтобы его подняли...[1]

Вот уже три или четыре дня, что я не выхожу вследствие приступа невралгических или ревматических болей в ногах, которые на этот раз наступили ранее обыкновенного. Страдания не очень сильные, особенно в сравнении с тем, что ты перенесла недавно, но это нарушает все мои привычки, а вместе с тем и все условия моего физического существования и без того достаточно расстроенного. Но это естественные спутники старости, и смешно было бы на них сетовать. — Прощай, милая дочь, обними свою тетушку, и да сохранит ее Бог для тебя сколь возможно дольше. Остаюсь неизменно любящим.

Твой отец

P. S. Вот, дочь моя, несколько строк, которые я никому не показывал; они — для тебя одной. Они сложились у меня в состоянии полусна, ночью, на возвратном пути из Москвы.

<Стихотворение «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» см.: с. 396 >

207. И. С. АКСАКОВУ

7 мая 1871 г. Петербург

Петербург. Сего 7 мая <18>71

Касательно молодого Демидова[1] спешу вас уведомить, любезнейший Иван Сергеич, что он здесь и пробудет здесь еще недели две, так как свадьба состоится не прежде 21 числа с<его> м<есяца>. — Живет он в своем доме, что на Большой Морской, куда вы и адресуйте письмо ваше, а не то пришлите письмо ко мне, и я с полною готовностию буду служить вам посредником по этому делу, в успехе которого я нимало не сомневаюсь, так как Демидов, сколько мне известно, весьма расположен не зарывать своих талантов, а — как следует верному рабу, поставленному над многими, — употреблять их на пользу общую[2]. К тому же он очень дорожит своим званием киевского головы.

И я не раз сбирался писать к вам о том Страшном суде, что заживо и при сохранении естественного чина так просто и так последовательно над человеческим обществом совершается. Но как одолеть словом и даже мыслию подобные события? Одно только выскажу при этом случае. Я теперь только понял это библейское выражение: Господь ожесточает сердца строптивых, — этому я каждый день свидетелем. — Казалось, что к событиям таковым, как в Париже, всякий мыслящий человек не может отнестись двояко и что эта страшная поверка на деле известных учений не может не убедить кого бы то ни было. — Оказывается далеко не то: я встречаю здесь людей серьезных — ученых — и даже нравственных, которые нисколько не скрывают своего горячего сочувствия к Парижской Коммуне и видят в ее действиях занимающуюся зарю всемирного возрождения...[3] Вот над чем можно крепко призадуматься. Не доказывает ли это, что корень нашего мышления не в умозрительной способности человека, а в настроении его сердца. В современном настроении преобладающим аккордом — это принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства. — Вот чем мы *все* заряжены, все без исключения, — и вот откуда идет это повсеместное отрицание *Власти*, в каком бы то виде ни было. Для личного произвола нет другого зла, кроме Власти, воплощающей какой-либо принцип, стесняющий его, и вот почему блаженны нигилисты, тии бо наследят землю до поры до времени[4] — и пр. и пр.

208. А. Ф. АКСАКОВОЙ

17 июля 1871 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 17 juillet

Non, ma fille, je ne saurai entièrement m'associer à la singulière oraison funèbre que vous avez consacrée à la mémoire du pauvre Сушков, et sa disparition me rend tout triste[1]. Il touche par tant de souvenirs à une si longue période de ma vie, et qui est la dernière, — depuis le temps où il impatientait ta mère, jusqu'aux dernières irritations de mon pauvre frère contre lui, —

que je ne saurai être insensible au vide qu'il me laisse... Je ne lui ai jamais su mauvais gré de sa pétulance de vieil enfant, et maintenant qu'elle est plus que tempérée par l'accident de sa mort, elle ne fait qu'aviver dans mon souvenir tout ce long passé de ma vie, auquel il se rattache. — Paix à sa mémoire et à tout ce passé.

Le moment présent, par contre, m'angoisse bien péniblement. Les lettres que ma femme m'écrit de Lipezk[2], son découragement, son désespoir à propos de la santé de Marie, qui — à ce qu'elle dit — s'étiole de plus en plus, tes propres impressions à toi au sujet de ce pauvre Jean, dont la mine t'a consternée, — tout cela, assurément, est bien fait, pour me remplir l'âme de tristesse et d'inquiétude... Hier j'ai écrit à ma femme, pour la supplier de persévérer dans la cure du кумыс, de la faire aussi complète que possible, et puis — une fois rentrées à Ovstoug où je compte aller les rejoindre le mois prochain — nous déciderions, en vue du résultat obtenu, ce qu'il y aurait à faire pour cet hiver... Mais je prévois, que s'il s'agissait d'aller le passer hors du pays, l'opiniâtre résistance qu'y ferait Marie, à moins qu'elle ne se reconnaisse, elle-même, assez malade, pour que le sentiment de sa conservation ne finît par prendre le dessus. Quant à Jean, il se déciderait plus volontiers, je suppose, à une expatriation de quelques mois, et je voudrais bien lui demander — si je savais où lui adresser mes lettres — s'il n'aimerait pas que je fisse dès à présent quelques démarches, en vue de lui obtenir un congé pour cet hiver.

Hélas, ce qu'il y a de plus difficile au monde, pour certaines natures surtout, c'est de prendre des résolutions en temps utile — c'est de rompre, dans le moment donné, résolument, le cercle magique des indécisions d'esprit et des défaillances de volonté.

La première partie du procès vient de finir[3], et pour qui en a suivi les détails — comme moi, par ex<emple>, qui ai assisté à toutes les séances — la sentence rendue doit paraître équitable. — J'ai été vraiment émerveillé du talent de quelques-uns des avocats dont j'étais loin de me douter, tels, p<a>r ex<emple>, que le P<rinc>e Ouroussoff et Spassovitch. C'est étonnant, vraiment, combien ces nouvelles institutions judiciaires se sont vite acclimatées chez nous[4]. Là est le germe puissant d'une Russie nouvelle, et la meilleure garantie de son avenir. — Quant au fond du

procès, il remue un monde de pensées et de sentiments pénibles. Le mal est présent, mais où est le remède? Que peut contre ces convictions fourvoyées, mais ardentes, un pouvoir sans conviction aucune? En un mot, contre ce matérialisme révolutionnaire tout ce plat matérialisme gouvernemental?.. that is the question[5], etc. etc.

Перевод:

Петербург. 17 июля

Нет, дочь моя, я не могу вполне присоединиться к необычному надгробному слову, которое ты посвятила памяти бедного Сушкова, и его уход очень меня печалит[1]. Он связан столькими воспоминаниями с таким долгим периодом моей жизни, уже минувшим, — начиная с того времени, когда он выводил из терпения твою мать, и до последних вспышек раздражения против него моего бедного брата, — что я не могу не чувствовать пустоты, которую он мне после себя оставляет... Я никогда не сердился на его запальчивость старого ребенка, и теперь, когда эта запальчивость более чем обуздана смертью, она только воскрешает в моей памяти все мое долгое прошлое, которому он принадлежит. — Мир его памяти и всему этому прошлому.

Зато настоящее мучительно меня беспокоит. Письма, которые моя жена пишет мне из Липецка[2], ее уныние и отчаяние по поводу здоровья Мари, чахнущей — по ее словам — все более и более, твои собственные впечатления в связи с поразившим тебя видом бедного Вани — всего этого, конечно, более чем достаточно, чтобы переполнить мою душу грустью и тревогой... Вчера я написал жене, умоляя ее непременно продолжать лечение кумысом и по возможности довести его до конца, а затем — по их возвращении в Овстуг, где я рассчитываю с ними свидеться в будущем месяце, — мы решим, в зависимости от достигнутого результата, что предпринять зимой... Но если явится надобность уехать за границу, я предвижу упорное сопротивление со стороны Мари, разве только она сама признает себя достаточно больной, чтобы

чувство самосохранения одержало верх. Что касается Вани, то предполагаю, что он более охотно согласится на несколько месяцев расстаться с родиной, и я теперь же спросил бы его, — если бы знал, куда ему писать, — не хочет ли он, чтобы я, не мешкая, предпринял кое-какие шаги, дабы выхлопотать для него отпуск на зиму.

Увы, самое трудное, особенно для некоторых натур, это вовремя принять решение — смело разорвать в нужный момент магический круг колебаний рассудка и слабости воли.

Первая часть процесса только что кончилась[3], и тому, кто внимательно следил за его ходом, — как я, например, посещавший все заседания, — вынесенный приговор должен казаться справедливым. — Я был поистине восхищен талантом некоторых адвокатов, о которых раньше слыхом не слыхивал, например, князя Урусова и Спасовича. Право, поразительно, как быстро прижились у нас эти новые судебные институты[4]. Вот где могучий зародыш новой России и лучшее ручательство ее будущности. — Что касается самой сути процесса, то она пробуждает целый рой тяжелых мыслей и чувств. Болезнь налицо, но где же лекарство? Что может противопоставить этим ошибочным, но пылким убеждениям власть, лишенная всякого убеждения? Одним словом, что может противопоставить революционному материализму весь этот пошлый правительственный материализм?.. that is the question*[5], и т. д. и т. д.

209. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

7 сентября 1871 г. Петербург

Pétersbourg. Ce mardi. 7 sep<tem>bre

Non, ma fille, vous avez tort de m'accuser d'un manque de bonne volonté épistolaire, car j'étais bien décidé à vous écrire aujourd'hui, — même avant d'avoir reçu votre dernière lettre qui m'est parvenue hier... Je t'en remercie, ainsi que de la note, qui l'accompagne, que je vais utiliser de ce pas, si bien que tu ne

* вот в чем вопрос (*англ.*).



tarderas pas à recevoir une grosse lettre, chargée à ton adresse, qui contiendra et la procuration pour Miloutine[1], et les valeurs que j'envoie à Anna. Comme ces valeurs dépassent de *cinq cents* roubles la somme qu'Anna m'avait demandée, c'est sur cet argent que je prierai Anna de te rembourser les *cinquante* roubles que tu m'avais prêtés.

Je plains bien cette pauvre Anna d'être obligée de prolonger outre mesure sa villégiature de Спасское[2] et pense avec une satisfaction sympathique au confort dont vous êtes entourées dans la maison Miloutine, et qui vous est si nécessaire à toutes les deux, ta tante et toi. En Russie les choses, qui ont rapport au climat, sont arrangées de telle sorte que *l'hiver* apparaît toujours comme un port qui accueille, pour les abriter, tous les naufragés de l'été... Aussi, quand on y est, ce n'est pas sans une appréhension pénible que l'on pense à tout ceux qui sont encore en *mer*, et qu'on voudrait déjà voir rentrés...

En me parlant de Jean, tu ne me dis pas, s'il a été mis en possession de la lettre que je lui avais adressée par ton intermédiaire, et dont le contenu n'était pas sans quelque importance. Aussi suis-je étonné qu'il n'ait pas répondu jusqu'à présent à cette lettre...

Ici, comme chez vous, je suppose, le temps est encore assez beau. La belle saison s'éloigne à reculons et comme n'osant pas nous tourner décidément le dos — comme cela se pratiquait à de certaines Cours autrefois, comme à la Cour de Sardaigne, p<ar> ex<emple>, où je me vois encore me retirant à reculons devant la Reine d'alors, jusqu'à ce que, parvenu jusqu'à la moitié de la salle qui était très spacieuse, j'eusse perdu toute conviction, et que pour la ressaisir je me fusse décidé à tourner bravement le dos à la Reine[3].

La ville est encore assez déserte. — Il y a du monde à Tsarskoïé où j'ai été l'autre jour. La pauvre Mad<ame> Karamzine s'y mourait. Elle doit être morte à l'heure qu'il est...[4] Ce n'aura pas été sans peine...

J'ai été tout ce temps-ci occupé conjointement avec le Brochet à nettoyer ce que maman appelle, avec quelque exagération, les écuries d'Augias...[5] En ce moment c'est presqu'aussi

propre que la rue où il faudrait se résigner à loger, si on désertait la susdite écurie.

Bonjour, ma fille chérie. Embrasse ta tante, et que Dieu v<ou>s garde toutes les deux...

Перевод:

Петербург. Вторник. 7 сентября

Нет, дочь моя, ты несправедливо упрекаешь меня в эпистолярной лености, ибо я твердо решил написать тебе сегодня, — даже не получив еще твоего последнего письма, прибывшего вчера... Благодарю тебя за него, а также за приложенную к нему записку, которую я не замедлю использовать, так что скоро ты получишь на свой адрес ценный пакет с доверенностью для Милютина[1] и с облигациями для Анны. Поскольку эти облигации на *пятьсот* рублей перекрывают собою сумму, которую попросила у меня Анна, я поручу ей вернуть тебе из этих денег *пятьдесят* рублей, что ты мне ссудила.

Мне очень жаль бедную Анну, чье дачное существование в Спасском[2] в силу обстоятельств чересчур затягивается, и я с душевным удовлетворением думаю о комфорте, которым вы окружены в доме Милютина и который столь необходим вам обеим, тебе и твоей тетушке. В России вся сторона быта, связанная с климатом, устроена таким образом, что *зима* всегда предстает некой гаванью, которая принимает и укрывает всех, кого измотало лето... Поэтому-то, находясь уже в гавани, с мучительной тревогой думаешь о тех, кто еще в *море*, и ждешь не дождешься, чтобы они вернулись...

Говоря о Ване, ты ничего не сообщаешь о том, получил ли он письмо, которое я послал ему на твой адрес и в котором содержалось кое-что важное. Меня удивляет, почему он до сих пор на него не ответил...

Здесь, как наверное и у вас, еще держится довольно хорошая погода. Красное лето удаляется раком, словно не осмеливаясь решительно повернуться к нам спиной, — как это было заведено прежде при некоторых дворах, например, при дворе Сардинии, где я, помнится, пятился задом от тогдаш-



ней королевы до тех пор, пока, допятившись до середины громадной залы, до такой степени не спутался, что, дабы определиться в пространстве, дерзнул повернуться к королеве спиной[3].

В городе еще довольно безлюдно. — В Царском, где я давеча побывал, кое-кто есть. Бедная госпожа Карамзина была в агонии. Сейчас она, должно быть, уже отошла...[4] Отмучилась...

Все это время мы вместе с Щукой занимались чисткой того, что мамá, с некоторой долей преувеличения, называет Авгиевыми конюшнями...[5] Теперь здесь почти так же просторно, как на улице, где нам пришлось бы обретаться, если бы мы съехали с вышеназванной конюшни.

Прощай, моя милая дочь. Обними за меня тетушку, и да хранит вас обеих Господь...

210. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

22 сентября 1871 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 22 sept<em>bre

Par suite de la communication qui t'aura été faite par Anna de ma dernière lettre, je t'envoie maintenant, ma bonne et chère Kitty, celle que je viens de recevoir de Jean à propos des bruits qui m'étaient parvenus au sujet de Mamajeff et de sa gestion[1]. La lettre de Jean, comme tu verras, est des plus rassurantes. Or, comme je ne demande qu'à être rassuré et que, d'ailleurs, j'ai une grande sympathie pour le dit personnage, j'accepte de confiance tous les témoignages en sa faveur et désire qu'il ne soit plus question de toute cette affaire, ni de près, ni de loin.

Encore un détail d'affaire, et j'ai fini. Anna t'a-t-elle remis la procuration que j'ai envoyée à l'adresse de Miloutine, et cela suffit-il pour se faire délivrer le document réclamé? Dès qu'il sera obtenu, je vous prierai, ma fille chérie, de l'envoyer sans retard à Ovstoug.

Hier, ma fille, j'ai beaucoup et tendrement parlé de vous avec Победоносцев[2] qui te porte dans son cœur et qui se plaint de ton silence. Il se proposait de t'écrire. Je le vois assez souvent, ainsi

que sa femme qui est très gentille et intelligente. — Ici, d'ailleurs, la société ne bat que d'une aile et la saison fait de même. C'est un interrègne dans tous les sens. Il est incroyable, combien la Russie, quand le Souverain est en voyage, ressemble à une antichambre de domestiques dont le maître s'en est allé... Dans le vide, que laisse cette Auguste absence, il n'y a d'ordinaire que beaucoup de pluie et quelques commérages.

En fait de politique étrang<ère>, dont si peu de personnes se préoccupent ici, le fait le plus saillant est en ce moment le mouvement catholique en Allemagne[3] qui agite et passionne beaucoup, mais qui n'aboutira pas ou qui n'aboutira qu'à augmenter le désaccord et la confusion. Il y a ainsi dans le monde deux ou trois questions qui finiront par avorter, faute du concours obligé que nous aurions pu et dû leur prêter et que nous leur retirons, par suite de notre inertie morale et intellectuelle, de notre torpeur vraiment méprisable. Or il serait curieux de savoir, quel sera le compte qui, dans un avenir peut-être assez prochain, nous sera demandé de toutes ces défaillances, de tous ces avortements occasionnés par nous? — Certes, la parabole de l'esclave infidèle, allant enfouir son denier, semble avoir été faite tout exprès pour nous[4].

Bonjour, ma fille chérie. Quelles nouvelles de Daria, et où est-elle? Dieu v<ou>s garde.

Перевод:

Петербург. 22 сентября

В продолжение моего последнего письма, которое дойдет до тебя через Анну, посылаю тебе теперь, моя славная и милая Китти, письмо, только что полученное мною от Вани и касающееся докатившихся до меня толков о Мамаеве и его управлении[1]. Оно, как ты увидишь, самое успокоительное. А поскольку я только и жду, чтобы меня успокоили, и к тому же весьма расположен к вышеназванной личности, то принимаю на веру все свидетельства в его пользу и не хочу больше ничего об этом слышать, категорически.

Еще один деловой момент, и довольно. Передала ли тебе Анна доверенность, адресованную мною Милютину, и доста-



точно ли ее, чтобы вызволить требуемый документ? Как только он будет получен, прошу тебя, моя милая дочь, немедля послать его в Овстуг.

Вчера, дочь моя, я имел долгий и теплый разговор о тебе с Победоносцевым[2], который тебя любит и жалуется на твое молчание. Он обещался тебе написать. Я довольно часто с ним вижусь, так же как с его чрезвычайно милой и умной женой. — Впрочем, здешнее общество в оцепенении, и природа тоже. Это междуцарствие во всех смыслах. Невероятно, до чего Россия, когда ее государь в отъезде, напоминает лакейскую дома, покинутого хозяином... В пустоте, образованной высочайшим отсутствием, обычно нет ничего, кроме затяжных дождей и ничтожных сплетен.

В иностранной же политике, почти никого здесь не занимающей, наиболее заметное сейчас явление — католическое движение в Германии[3], которое сильно будоражит и волнует, но если к чему и приведет, то лишь к еще большему раздору и беспорядку. Так есть в мире еще два или три начинания, обреченные на провал из-за отсутствия необходимой поддержки, которую мы могли бы и должны были бы им оказать и которой мы их лишаем по причине нашей нравственной и умственной инертности, нашего поистине омерзительного окостенения. А любопытно было бы знать, какого отчета от нас потребуют, и может быть очень скоро, за все эти неудачи, за все эти провалы, в коих мы повинны? — Да, притча о нерадивом рабе, зарывшем свой талант, словно бы для нас писана[4].

Прощай, моя милая дочь. Есть ли новости от Дарьи, и где она? Господь с вами.

211. И. С. АКСАКОВУ

16 октября 1871 г. Петербург

Петербург. 16 октября <18>71

Друг мой, Иван Сергеевич. Мне трудно было бы вам выразить, с каким нетерпением все мы здесь ждем вашей статьи[1]. Все чувствовали здесь, что первое русское слово по этому вопросу по праву принадлежало вам, и все радуются

теперь, что слово это будет сказано... Но из чего вы взяли, что мое воззрение на происходящее движение расходится с вашим? Мне кажется, изо всего мною писанного в последнее время, и к вам и к Анне, вы должны были бы прийти к совершенно противуположному заключению. — Нет, никто, смело скажу, сознательнее не убежден, чем я, что весь смысл современного движения исключительно определится его отношением к Вселенскому православию. — Поймут ли эти протестующие против папской власти, что только именем Вселенской православной церкви они законно и авторитетно могут протестовать против нее, что иначе их протест не что иное, как *личное* мнение, т. е. новый вид уже раз не удавшегося протестантизма, и что на этом уже подорванном основании все движение должно непременно оказаться несостоятельным, т. е. разрешиться или возвращением к Римской курии, или присоединением к одному из толков протестантского учения, и что этот последний исход не будет меньшим торжеством для Рима, чем первый. — Все это неоспоримо — и с *нашей* стороны должно быть высказано самым положительным образом.

О пошлом раболепстве перед Западом не может быть и речи — где бы то ни было, в Москве ли, в Петербурге ли, это совершенно безразлично. — Но есть чувство человеческой справедливости, не говоря уже о еще высшем чувстве христианской любви. Вот в силу-то этих побуждений нельзя не признать, что в совершающемся кризисе усилие и жертва, требуемые от участвующих в оном, суть самые громадные, которые когда-либо возлагались на человеческую природу, что факт отречения от тысячелетней истории, если оный состоится, будет фактом *беспримерным* — и что вследствие уже одной этой громадности факта можно, пожалуй, отчаиваться в возможности его осуществления. — Вот это-то сознание, кажется мне, должно определить и *наше* отношение к делу. — Не к *нам* они возвратятся, а к православию, к Вселенскому православию, а между *им* и нами куда какой огромный промежуток, так что не худо было бы нашею предварительною исповедью в наших собственных грехах — страшных грехах



опущения — вызвать и их на исповедь их прошедшей греховности. Всего старательнее должны мы избегать — для успеха дела — всё, что имело бы вид, что мы — сознательно или бессознательно — отождествляем православие с нашею историческою личностию, и для того мне хотелось бы, чтобы при данном случае мы чистосердечно высказали бы, во всеуслышание, все наши раны и все наши немочи, — но, конечно, оглашение подобной исповеди едва ли бы могло состояться в правительственной русской области...

Теперь два слова о способе издания вашей статьи. Я говорил об этом с Осининым[2], и вот к какому мы пришли заключению. Немецкий текст можно бы было прямо отправить в *редакцию «Рейнского Меркурия»*, и хотя Осинин нимало не сомневается в его готовности к содействию, но он говорил, что он знает наверное, что редакция вышесказ<анной> газеты завалена материалом и поэтому появление вашей статьи может быть от этого замедлено или, во всяком случае, будет печататься *по частям*, что повредило бы совокупному впечатлению. По-моему, целесообразнее было бы напечатать немецкий текст в Берлине, у Бока, и разослать несколько экземпляров ко всем первенствующим личностям движения, на которые Осинин нам укажет, а в числе их и в некоторые редакции сочувственных газет, что всего вернее и всего ближе поведет к ознакомлению немецкой публики с предлагаемой ей брошюрою. — Но все это должно быть сделано скоро и безотлагательно.

Здесь, еще раз, мы с крайним нетерпением ждем вашей посылки, — будут чтения, и не в одном, а в разных кружках — первое, я полагаю, у кн. Оболенского, которому я вчера передал письмо ваше... Ревностное содействие Анны я вполне понимаю и разделяю. Что ее перевод будет очень хорош, в том не сомневаюсь, вот что значит родиться немкою...[3] Следовало бы поспешить и чешским переводом — там ваше семя упадет, конечно, не на камень и никакие птицы небесные не расклюют его, хотя, по-видимому, на бедных чехов скоро налетят целые стаи разных птиц и снова примутся клевать их. — Что выйдет из этого нового поворота дела — и до какого бешен-

ства должна еще дойти эта племенная враждебность? О, христианство, сколько предстоит тебе трудов и подвигов — и как отрезвить и умиротворить все это одуревшее человечество?

212. А. В. ПЛЕТНЕВОЙ

10 февраля 1872 г. Петербург

Ce jeudi

Merci de votre sollicitude, — non, certes, votre présence ne me fatigue pas, pas plus que l'air extérieur ne m'aurait fatigué, si j'eusse été en état d'aller le chercher. Mais lorsque vous vous donnez la peine de monter mon escalier, je veux au moins avoir tout le bénéfice de ce généreux effort, et jouir en plein sans diversion et tiraillement de votre chère présence. Ce qui est si difficile à réaliser pour un pauvre diable de malade qui, à moins d'être entièrement reclus, se trouve forcément livré à la charité de tous ceux qui viennent le visiter. Il est un peu dans la position des détenus le jour où le public est admis à visiter les prisons...

Depuis hier, il y a un mieux sensible. Mais la débilité dans les pieds est encore telle que je ne puis encore appuyer le pied à terre, les muscles ont perdu tout leur jeu. Ma pauvre Marie n'est pas mieux, hier elle a même eu plus de fièvre. C'est là le point noir, grossissant sur mon horizon...

Les Aksakoff nous quittent aujourd'hui. Ils dînent chez nous et partiront ce soir.

N'est-ce pas hier qu'<on> a dû avoir le bal des étudiants. J'aime à croire que tout s'est bien passé. Eh bien, encore cette fois, à l'occasion de ce bal, la tenue de votre fils m'a beaucoup plu[1]. J'aime en lui cette première inspiration, toute spontanée, toute de science, de sens droit et d'équité... C'est là ce qui pare le mieux la jeunesse et témoigne le plus en sa faveur, surtout de nos jours. — Et à titre d'échantillon du contraire je n'ai pas manqué de raconter à quelques personnes les procédés de votre fameux Петя[2] qui vous somme de continuer à lui rendre service, tout en vous déclarant qu'il s'affranchit de la reconnaissance, comme étant contraire à ses principes. Quel parfait idiot.

Et l'enfant malade, comment va-t-il?

Et le flot de la vie coule toujours, emportant pêle-mêle tout ce qui nous occupe, nous inquiète ou nous rassure, nos espérances et nos terreurs, le deuil d'aujourd'hui et la fête de demain, — l'incident de la semaine et une histoire de plusieurs siècles. Ce serait à en avoir le vertige, si l'on n'était pas emporté aussi avec tout le reste. — Dieu vous garde.

Перевод:

Четверг

Благодарю за вашу заботу, — нет, ваше присутствие меня ничуть не утомляет, как не утомил бы меня вольный воздух, будь я в состоянии по нему прогуляться. Но раз уж вы не почитаете за труд взбираться по моей лестнице, мне хотелось бы, по крайней мере, извлечь всю выгоду из этого благодетельного усилия и вволю насладиться вашим милым присутствием без того, чтобы меня то и дело отвлекали и дергали. А это так трудно осуществить несчастному больному, который, не будучи затворником, поневоле зависит от милости тех, кто заходит его навестить. Его положение сродни положению узников в тот день, когда к ним допускают посетителей...

Со вчерашнего дня мне заметно лучше. Однако в ногах еще такая слабость, что я не могу ступить на пол, мышцы совсем перестали действовать. Моей бедной Мари не легчает, вчера ее даже еще сильнее лихорадило. Вот черная точка, разрастающаяся на моем горизонте...

Аксаковы сегодня нас покидают. Они обедают у нас и вечером отбудут.

Вчера, мне помнится, должен был состояться студенческий бал. Надеюсь, все прошло хорошо. В связи с этим балом хочу, кстати, повторить, что мне очень понравилось, как держится ваш сын[1]. Мне импонирует в нем это юное воодушевление, столь непосредственное, все дышащее знанием, прямотой и справедливостью... Это то, что прежде всего украшает молодежь и свидетельствует в ее пользу, особливо в наше время. — А для иллюстрации обратного я не преминул рассказать кое-кому о вашем пресловутом Пете[2], который

требует от вас бесконечных услуг и при этом заявляет, что освобождает себя от благодарности, ибо она противна его принципам. Сущий идиот.

Как там больное дитя, поправляется ли?

А поток жизни мчится и мчится, унося с собой без разбора все, что нас занимает, беспокоит или успокаивает, наши надежды и наши страхи, сегодняшнее горе и завтрашний праздник, — происшествие недели и историю многих веков. От этого голова могла бы пойти кругом, если бы и мы не неслись вместе со всем сущим. — Да хранит вас Господь.

213. А. Ф. АКСАКОВОЙ

11 июля 1872 г. Петербург

Pétersbourg. Ce 11 juillet

C'est aujourd'hui, comme tu le sais, le 40ième jour depuis la mort de Marie et le 2d anniversaire de la mort de Dmitry[1]. C'est beaucoup de besogne que la Destinée a faite en peu de temps. Sans compter les autres morts qui se sont succédées dans l'espace de ces deux dernières années... Dans toute existence vient ainsi le moment de la grande liquidation, et quand elle a commencé, on ne sait jamais où elle s'arrêtera.

Je viens de passer quelques jours à Tsarskoïé, où, grâce à la sollicitude vraiment admirable de Daria, maman a été aussi bien qu'on pouvait le désirer, ce qui ne l'empêche pas, hélas, de s'y sentir malaisée — là comme ailleurs, et peut-être plus qu'ailleurs, grâce à cette maladive disposition de son esprit qui lui fait toujours appréhender d'être trop en vue, de s'imposer trop aux autres, etc. etc., grâce à cet excès de discrétion qui finit par dégénérer dans son contraire. Hélas, elle ne se doute pas, combien cette manière d'être, inhérente à sa nature, cette *Menschenscheu* a exercé d'influence sur la destinée de la pauvre Marie. C'est cette insociabilité invincible de sa mère qui lui a rendu, à un certain moment, son existence dans la maison paternelle si parfaitement insipide — malgré toute l'affection dont elle y était entourée, — que pour y échapper elle a sauté à pieds joints dans le plus absurde des mariages. Mais c'est ce que ma pauvre

femme n'a jamais pu comprendre et ne comprendra jamais, tant il est vrai que l'homme, même le meilleur, le plus sincère pour lui-même, n'est pas fait pour se voir lui-même, pas plus que sans l'aide d'une glace il ne saurait voir sa propre figure.

Nous voilà pour le moment rentrés en ville qui est impossible. Aussi je me flatte qu'elle ne tardera pas à retourner à Tsarskoïé. Daria, encore une fois, met toute la bonne grâce imaginable à l'entourer de soins, et cependant j'aspire à la voir recouvrer au plus tôt la liberté de ses mouvements et l'entière disposition de sa personne... Ah oui, la position n'est pas facile, et je n'ai eu que trop raison de dire, que tout malheur est en même temps un désastre...

J'ai été <satisfait>* d'apprendre par ta dernière lettre que le 15 de ce mois Mr Федя allait être réintégré au Lycée[2] – il en était temps et pour lui, et pour toi, car je ne comprends que trop bien, combien dans ton état de santé sa turbulente présence devait peser sur tes nerfs, en même temps que cette prolongation de dissipation et d'indiscipline lui était préjudiciable à lui-même... Ce qui me satisfait moins, c'est ton voyage à Samara, avec ses fatigues et ses privations de tout genre. Je ne comprends même pas que, les ayant une fois expérimentées, tu commettes l'imprudence de t'y exposer derechef dans ton état actuel de santé. Et que deviennent donc toutes ces idées de rafraîchissement et de repos qui se rattachaient pour toi à celle de la possession de Tourovo[3]. Je te supplie de te ménager... et après ce qu'il vient de m'arriver, tu me dois bien cela. – Mille amitiés à ton mari.

Перевод:

Петербург. 11 июля

Сегодня, как ты знаешь, 40-ой день со смерти Мари и 2-ая годовщина смерти Дмитрия[1]. Судьба за короткий срок собрала богатую жатву. Не считая прочих смертей, следовавших одна за другой в эти два истекших года... Так в любом существовании наступает пора великого опустошения, и если уж это началось, одному Богу известно, где конец.

* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.

Я провел несколько дней в Царском, где, благодаря поистине чудесной заботливости Дарьи, бедной мама́ было настолько хорошо, насколько это возможно, что не мешает ей, увы, чувствовать себя там неловко — как и везде, а может быть, более, чем где-либо, в чем виновато ее болезненное состояние духа, заключающееся в постоянной боязни выставиться, навязать другим свое общество и т. д. и т. п., ее чрезмерная скромность, переходящая, в конце концов, в свою противоположность. Увы, она и не догадывается, до какой степени эта присущая ее натуре обособленность, эта *Menschenscheu** повлияла на судьбу несчастной Мари. Ведь именно из-за непоколебимой замкнутости матери жизнь в родительском доме сделалась для нее в определенный момент настолько бесцветно унылой, — несмотря на всю любовь, какой она была в нем окружена, — что, дабы вырваться на волю, она очертя голову бросилась в нелепейшее из замужеств. Но этого моя бедная жена никогда не могла понять и никогда не поймет, ведь верно, что человек, даже самый лучший, самый беспристрастный к себе самому, не наделен способностью наблюдать за собой со стороны, как не наделен он способностью видеть без зеркала собственное лицо.

В настоящий момент мы в городе, где просто невыносимо. Поэтому я льщу себя надеждой, что она не замедлит вернуться в Царское. Дарья, замечу еще раз, со всей вообразимой готовностью окружает ее заботами, однако я жду не дождусь, чтобы она как можно скорее вновь обрела свободу движений и полную самостоятельность... Да, положение непростое, и я был более чем прав, когда сказал, что всякое несчастье — это одновременно и стихийное бедствие...

Я с удовлетворением узнал из твоего письма, что 15-го числа Федя будет вновь водворен в Лицей[2] — время приспело, и для него, и для тебя, ведь я прекрасно представляю, каково тебе было, при твоем нездоровье, переносить его неуемную резвость, да и ему самому вредно столь продолжительное безделье и отсутствие дисциплины... А вот что меня

---

* нелюдимость (*нем.*).



устраивает куда меньше, так это твоя поездка в Самару с ее тяготами и всевозможными неудобствами. Просто не понимаю, как ты, единожды их испытав, не остерегаешься вновь проходить через все это в твоем теперешнем состоянии. И что сталось со всеми твоими надеждами отдохнуть душою и телом, которые ты связывала с приобретением Турова[3]. Умоляю, береги себя... после того, что выпало на мою долю, ты просто обязана делать это для меня... — Самый сердечный привет твоему мужу.

214. А. Ф. АКСАКОВОЙ

7 февраля 1873 г. Петербург

Ce 7 février

Je fais un effort suprême pour t'écrire de ma main et te léguer ainsi un dernier autographe. — Ce matin il y a eu un progrès constaté. J'ai pu me lever et aller me laver dans mon cabinet, mais c'est déjà beaucoup. Mais enfin cela me permet d'espérer de réaliser mon désir qui est, si je dois finir, d'aller mourir sur ta terrasse à Tourovo, en vu d'un immense horizon, et de là aller directement donner de tes nouvelles à qui de droit, — non sans regretter beaucoup ce que j'aurai quitté ici. Ecris-moi.

T. T.

Перевод:

7 февраля

С невероятным усилием пишу собственной рукой, чтобы оставить тебе свой последний автограф. — Нынче утром произошло очевидное улучшение. Я смог подняться и пойти умыться к себе в кабинет, а это уже немало. Как бы там ни было, это позволяет мне надеяться на исполнение моего желания: отправиться умирать, если уж жизнь моя на исходе, на твою террасу в Турове, глядящую на необъятные просторы, и прямо оттуда перенести весть о тебе кому следует, — не без глубокого сожаления о том, что я здесь покину. Напиши мне.

Ф. Т.

215. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

1 апреля 1873 г. Петербург

Hier j'ai eu un moment d'émotion poignante par suite de mon entrevue avec la Comtesse d'Adlerberg, ma bonne Amélie Krüdener[1] qui a voulu me revoir une dernière fois dans ce monde et qui est venue prendre congé de moi. C'est le Passé de mes meilleures années qui dans sa personne est venu me donner le baiser d'adieu.

Перевод:

Вчера я пережил минуту жгучего волнения при встрече с графиней Адлерберг, моей чудесной Амалией Крюденер[1], пожелавшей в последний раз повидать меня на этом свете и приезжавшей проститься со мной. В ее лице то Былое, что связано с самой светлой порой моей жизни, явилось подарить мне прощальный поцелуй.

Комментарии



16 Зак. 7509

«...В любом существовании наступает пора великого опустошения, — писал Ф.И. Тютчев, — и если уж оно началось, одному Богу известно, где конец». У Тютчева эта пора упала на 1860-е — начало 1870-х гг. За смертью Е.А. Денисьевой последовала целая вереница смертей дорогих поэту людей: двух его детей — Елены и Федора, матери, затем еще двух детей — Дмитрия и Мари, брата. После кончины Денисьевой Тютчева уже не оставляло ощущение гнетущей тревоги, предчувствие очередной страшной утраты. Неудивительно, что тютчевские письма этого последнего периода его жизни исполнены невероятного нервного напряжения, изливающегося то слезами, то желчью. Глубоко волновала Тютчева не только судьба его близких, но и судьба России. Поэтому даже в минуты самых тяжелых душевных переживаний поэт вновь и вновь возвращался к обсуждению проблем политики. Но это не делало его письма однообразными. В них отразилась жизнь во всех своих проявлениях — простых и величественных, смешных и драматических, будничных и поэтических. Сообщения о событиях дня перерастали у Тютчева в философские размышления, воспоминания, юмористические, иронические и даже саркастические обобщения.

Тютчевская эпистолярная проза этих лет не только основной и незаменимый источник сведений для его биографии, не только ценный материал для истории политической и общественной жизни России и Запада, но и замечательный памятник художественного слова. Еще в молодости показав себя выдающимся мастером эпистолярного стиля, в преклонные годы Тютчев довел свое мастерство до совершенства.

И по содержанию, и по приемам художественной изобразительности тютчевские письма 60-х годов все более и более перекликаются с его стихами, отличаясь такой же смелостью образов и отточенной афористичностью словесной формы. Неожиданные и смелые сравнения — один из излюбленных Тютчевым приемов — характерны не только для лирики, но и для эпистолярного языка Тютчева.

Многие строки тютчевских писем, соотносясь с его стихотворными строками (например, письма к Георгиевскому и так называемый «денисьевский» цикл), становятся их самым проникновенным комментарием.

Большинство писем Тютчева написано на французском — классическом языке эпистолярной прозы XVIII–XIX вв. Однако в 60-е гг. поэт все чаще и чаще обращается к родному языку. Письма к Аксакову, Анненкову, Георгиевскому, Ламанскому, Майкову, Полонскому, Погодину написаны по-русски. Письмо к М.А. Георгиевской от 16 августа 1865 г. даже начинается шутливым упреком: «Благодарю вас, милая Marie, за письмо ваше, хотя и французское, но зачем же французское».

Круг адресатов Тютчева в 1860-е — начале 1870-х гг. свидетельствует о том, что хоть он порой и проводил целые недели на кушетке, страдая от «самого неизбежного из унижений — дряхлости...», но в отшельника отнюдь не превратился. Среди его корреспондентов — поэты (А.Н. Майков, Я.П. Полонский), публицисты (И.С. Аксаков, М.Н. Катков), общественные деятели (Ю.Ф. Самарин, В.А. Черкасский), ученые (В.И. Ламанский, М.П. Погодин), издатели (П.И. Бартенев, А.А. Краевский), государственные деятели (А.М. Горчаков), светские знакомые (А.Д. Блудова, Е.Э. Трубецкая), близкие родственники. И для каждого из них Тютчев находит особую интонацию. С Аксаковым он самозабвенно обсуждает политические проблемы, с Трубецкой ведет серьезную, но салонную беседу, с женой и дочерьми говорит искренно и непринужденно.

Завершающая том предсмертная записка к дочери Дарье как бы подводит черту под жизнью гениального поэта рассказом о прощальном свидании с женщиной, которая была его первой и неизбывной любовью и послания к которой, писанные не прозой, а стихами, выделяются среди шедевров мировой любовной лирики.

Все французские письма печатаются на языке оригинала и в русском переводе: *К.В. Пигарева* (№ 3, 7, 9, 11, 13, 26, 28, 29, 31, 37, 38, 46, 63, 67, 130, 136, 163, 165, 166, 169, 184, 202–206, 208), *М.К. Тюнькиной* (№ 10, 12, 15, 20, 25, 30, 39, 47, 72, 85, 87–89, 92, 100, 101, 104, 106–109, 111, 114, 118–120, 131–135, 138–142, 145–150, 155, 161, 167, 171–175, 177, 179, 185, 188, 192, 195, 196, 198, 200, 201, 209, 210, 212–215), *Н.И. Филипович* (№ 5, 17, 18, 21, 24, 32, 70, 93, 94, 110, 178, 182, 186, 191). Переводы М.К. Тюнькиной выполнены для настоящего издания. Ранее публиковавшиеся переводы К.В. Пигарева и Н.И. Филипович заново сверены с французскими оригиналами и уточнены М.К. Тюнькиной.

1. Е.П. КОВАЛЕВСКОМУ

Е.П. Ковалевский — государственный и общественный деятель, прозаик, путешественник. Деятельность Ковалевского, — писал М.Е. Щедрин, — «как литературная так и служебная, была слишком разнообразна и поучительна». Он принимал «немаловажное участие в сношениях России с Востоком и славянскими племенами» (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1970. Т. 9. С. 455). Ковалевскому принадлежит ряд трудов по истории России и ее взаимоотношений с другими странами: «Четыре месяца в Черногории» (1841), «Странствователь по суше и морям» (1843–1849), «Граф Блудов и его время» (1866), «Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853–1854 гг.» (1868), «Восточные дела в двадцатых годах» (1868). В этих трудах отразилось мировоззрение их автора, близкое к воззрениям Тютчева и прежде всего — к его представлениям о роли России в славянском вопросе. Памяти Ковалевского Тютчев посвятил стихотворение:

> И вот в рядах отечественной рати
> Опять не стало смелого бойца –
> Опять вздохнут о горестной утрате
> Все честные, все русские сердца. <...>

Печатается по автографу — РНБ. Ф. 356. Ед. хр. 348. Л. 1–2.
Первая публикация — *ИзвОЛЯ*. 1991. № 4. С. 364–365.

[1] Парижский трактат 1856 г., заключенный после падения Севастополя в Крымской войне, был верхом торжества Наполеона III, ставшего арбитром в решении всех международных вопросов. Заключив союз с Сардинией, Наполеон III в 1859 г. помог ей одержать победу над Австрией, но сепаратно от Сардинского королевства заключил с Австрией Виллафранкское перемирие, по которому только Ломбардия передавалась Сардинии; Венеция оставалась под австрийским господством. Савойя и Ницца были присоединены к Франции.

В 1860 г. Наполеон III добился преобладающего влияния на дела Турции, предприняв специальную военную экспедицию в Сирию,

входившую в состав Турецкой империи. Этому событию предшествовали следующие обстоятельства. В июне 1860 г. христианское население Сирии подверглось погрому со стороны местных мусульман. В Париже была созвана международная конференция, которая должна была подготовить и подписать протоколы конвенции о вмешательстве в сирийские дела. 22 июля/3 августа 1860 г. протоколы были подписаны, и суть их сводилась к следующему. Двенадцатитысячное войско направлялось в Сирию, его половину составляли французские войска, которые могли отплыть незамедлительно. Но в протоколе было отмечено, что это обстоятельство не могло служить основанием для вмешательства в дела Турции в будущем (*МВ*. 1860. № 163, 26 июля — известия из Парижа и Лондона).

Как сообщалось в английской печати 12/24 июля, правительство Англии недоверчиво относилось к намерениям Франции, более того, было высказано предположение, что сирийская экспедиция придумана Францией для того, чтобы отвлечь внимание Европы от итальянских дел. Реакция французского правительства последовала незамедлительно. В «Morning Post» 18/30 июля было объявлено, что из Франции получена официальная депеша, в которой французское правительство предлагало Англии придерживаться общей политики и в Сирии, и в Италии, приняв за основание этой политики целость Турецкой империи и невмешательство в итальянские дела. В разделе «Иностранные известия» «Московские ведомости» опубликовали сообщение о том, что и английское правительство, и газета «Morning Post» были удовлетворены этими предложениями (см.: *МВ*. 1860. № 161 и 162, 22 и 24 июля). У английского правительства отпали опасения относительно того, что сирийская экспедиция Франции усилит ее влияние на Сирию и Египет в ущерб Англии. Поддержка Англией и Францией целости Турецкой империи давала возможность избежать ее распада, который усилил бы ее соседей. Интересам России протоколы конвенции не отвечали потому, что они не давали оснований для пересмотра Парижского трактата 1856 г., ограничивавшего ее права на Черном море.

2. Е.Л. ТЮТЧЕВОЙ

Е.Л. Тютчева была «женщиной замечательного ума», «нервного сложения», «с фантазией, развитою до болезненности», — так писал о матери поэта И.С. Аксаков (*Биогр.* С. 9).

Обращенные к ней строки Тютчева проникнуты особенной теплотой и нежностью, как и слова о ней в письмах его к родным: к Эрн. Ф. Тютчевой от 12 января 1866 г (письмо 63), Е.Ф. Тютчевой от 23 ноября 1868 г. (письмо 188) и др.

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 72. Л. 94–95 об.

Первая публикация – *Изд. 1984*. С. 266–267.

[1] Письмо Тютчева к матери, Екатерине Львовне, жившей в Москве в Пименовском переулке неподалеку от церкви Старого Пимена, было написано поэтом на листе бумаги с изображением вида Женевы. Этот вид Женевы (*ландшафт*) Тютчев и сравнивал с видом на Старого Пимена.

[2] *Эти три дня* — 12 октября, день рождения И.Н. Тютчева, 16 октября, день рождения Е.Л. Тютчевой, 19 октября, день именин И.Н. Тютчева.

3. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

А.Ф. Тютчева (в замужестве Аксакова) — старшая дочь поэта. Воспитывалась в Королевском институте в Мюнхене. В 1853 г. стала фрейлиной цесаревны (затем императрицы) Марии Александровны, а в 1858 г. была назначена воспитательницей ее дочери вел. кнж. Марии. Анна Федоровна пользовалась известным влиянием при дворе, однако придворная жизнь тяготила ее – об этом свидетельствуют оставленные ею записки, рисующие весьма далекую от идеализации картину этой жизни (Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. Вып. I–II. М., 1928–1929). В обращенном к ней стихотворном послании «При посылке Нового Завета» под «нелегким жребием» поэт подразумевал не только ее раннее сиротство, но и придворную службу.

Встреча с И.С. Аксаковым, женой которого она стала 12 января 1866 г., была для Анны Федоровны счастливой встречей с человеком, близким по духу, убеждениям, взглядам на жизнь. «Я не могу отделить мою духовную жизнь от твоей, – признавалась она мужу. – На этом мы сошлись, на этом мы и должны держаться и вместе бодрствовать, чтобы сделаться лучшими». Когда была закрыта издававшаяся Аксаковым «Москва», Анна Федорова убежденно писала ему: «...думала о том, что тебе предстоит еще добрый труд, что мы оба с тобою

напрасно так малодушествуем. Надобно держать сердце *горé,* тогда и ум даст свой свет, и дело сделается». В письме к жене от 18 октября 1871 г. Аксаков называет ее «недреманным сердцем», оговариваясь при этом: «...есть ведь образ: недреманное око, т. е. не дремлющее» (*ЛН-1.* С. 260–261). Поэтому понятно, почему начиная с 1866 г. письма Тютчева к дочери так тесно связаны с его письмами к Аксакову.

Печатается впервые на языке оригинала по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 44–45 об.

Первая публикация в русском переводе – *Изд. М., 1957.* С. 443–444.

[1] Намек на комедию Мольера «Le médecin malgré lui» («Лекарь поневоле»).

4. И. С. АКСАКОВУ

В эпистолярном наследии Тютчева письма к И.С. Аксакову занимают особое место. Определяется оно тем, что в этих письмах сформулированы многие наблюдения и выводы поэта, относящиеся к политической современности. Иные из вопросов, поднятых в них, получали затем публицистическую разработку на страницах аксаковских «Дня», «Москвы» и «Москвича». Хотя Тютчев, по определению Аксакова, стоял «вне партий и определенных направлений как поэт», из всей периодики 1860-х гг. наиболее близки ему были именно газеты Аксакова. Тютчева привлекали в них не только злободневность критики и страстность полемики, не только искренность убеждений издателя и его увлеченность в отстаивании идей, но и сами эти убеждения, идеи.

Воззрения Аксакова были сильны не своими положительными утопическими построениями, а своим критицизмом, не раз навлекавшим цензурные гонения на издававшиеся им в 1860-е гг. газеты.

Тютчев был в курсе всех трудностей литературно-издательской деятельности Аксакова, сочувствовал ему, призывал к решительности и выдержке. В статьях Аксакова о свободе слова Тютчев находил отражение своих собственных взглядов на положение печати. Особенно близки были ему высказывания Аксакова по славянскому вопросу. Несмотря на то что историко-философские воззрения Тютчева не совпадали со славянофильской историко-философской доктриной Аксакова, поэт совершенно искренне писал дочери, Анне Федоровне Аксаковой: «...твой муж всегда принадлежал к числу моих лучших убеждений» (письмо 67).

Автограф неизвестен. Печатается по весьма несовершенной копии А.Ф. Аксаковой – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 1–3 об.

Первая публикация – «Московский понедельник». 1922. № 13, 11 сент. С. 3.

[1] В передовых статьях первых двух номеров «Дня» (1861, 15 и 21 окт.) Аксаков излагал основные положения славянофильства и формулировал «существеннейшие условия» дальнейшего развития России, которые видел в восстановлении разрушенной петровскими реформами «цельности общественного организма»; предпосылкой к осуществлению этой задачи, с его точки зрения, являются, с одной стороны, «выработанное сознание наших народных начал, пребывающее, однако, еще в области отвлеченной, отрешенной от жизни», и с другой – «пробуждение самой жизни народной, вызванное великим делом 19-го февраля» (№ 1, 15 окт. С. 2). В статье, открывавшей славянский отдел газеты, Аксаков утверждал «историческое призвание» России – «освободить из-под материального и духовного гнета народы славянские» (там же. С. 15).

[2] В античной поэзии тени усопших, населяющие царство мертвых, лишены голоса и говорят шепотом (Вергилий. Энеида. Кн. VI. Ст. 493; Овидий. Фасты. Кн. V. Ст. 457–458).

[3] Определяя программу своей газеты, Аксаков писал, что «День» принимает «знамя “Русской беседы”, знамя русской народности, понятой и определенной Киреевскими, Хомяковым, Аксаковым Константином и всей так называемой славянофильскою школой» (День. 1861. № 1, 15 окт. С. 2).

[4] Образ *призрачной России* нарисовал Аксаков: «И сколько накопили мы лжи в течение нашего полуторастолетнего разрыва с народом! <...> Только после разрыва заводится у нас *ложь*: жизнь теряет цельность, ее органическая сила убегает внутрь, в глубокий подземный слой народа, и вся поверхность земли населяется призраками и живет призрачною жизнию!» (там же. С. 1).

5. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Е.Ф. Тютчева – младшая дочь поэта от первого брака. После выхода из Смольного института, в котором она обучалась с 1845 по 1851 г., Екатерина Федоровна провела около года в семье отца, а с 1853 г. жила в Москве у своей тетки Д.И. Сушковой, жены писателя Н.В. Сушкова.

В доме Сушковых часто собирались литераторы и ученые. Здесь бывал и молодой Л.Н. Толстой. Через многие годы Е.Ф. Тютчева пронесла восхищение талантом Толстого, его «таинственною прозорливостью», его даром писать «так же несознательно пророчески, как сама жизнь творится» — этой мыслью она делилась с И.С. Аксаковым 18 июля 1877 г. А 21 августа 1874 г. она сообщала ему: «По вечерам мы с тетушкой перечитываем "Войну и мир", и я любуюсь Толстым и наслаждаюсь его гениальным романом вдвое более, чем при первом чтении. Какая прелесть! Ни на каком языке не читала я ничего подобного в этом роде» (*ЛН-1*. С. 457).

П.А. Бартенев вспоминал об Е.Ф. Тютчевой: «Основательное, многостороннее образование, при полном отсутствии педантизма, живая прелесть ума, крепкого и цельного, но в то же время изящно-женского, сообщали необыкновенную привлекательность ее беседе. Лучшие произведения всех веков и образованных народов были ей близко знакомы, и предметы политики, словесности, истории, богословия занимали ее постоянно» (*РА*. 1882. № 2. С. 560). Эти суждения находят многочисленные подтверждения в письмах Е.Ф. Тютчевой к родным — о Толстом, Тургеневе, Герцене, о заседаниях «Общества любителей российской словесности» и т. д.

Е.Ф. Тютчева интересовалась также вопросами народного образования и переписывалась с известным педагогом С.А. Рачинским. Она издала несколько книжек для детей с переложением истории Ветхого и Нового Завета, а в 1873 г., купив во Владимирской губ. имение Варварино, начала там постройку школы и амбулатории (были закончены после ее смерти).

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 31–31 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 458–459.

Датируется по содержанию, соответствующему записи в дневнике М.Ф. Тютчевой. 10 апреля 1862 г. (третий день Пасхи и день рождения вел. кн. Владимира Александровича) М.Ф. Тютчева с сестрами была на танцевальном вечере у императрицы; в этот же день Тютчев обедал у Горчакова (*Мураново*. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 179).

[1] По-видимому, это письмо было припиской к письму Тютчева, адресованному его матери.

[2] Б.Н. Чичерин, профессор государственного права в Московском университете (1861–1867), сторонник конституционной монархии, был основоположником «государственной школы» в русской историографии.

6. А. В. ГОЛОВНИНУ

А.В. Головнин – государственный деятель; в 1861–1866 гг. министр народного просвещения, руководитель цензурных реформ 1860-х гг.

Печатается впервые по автографу – РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 4818. Л. 39.

На письме резолюция А.В. Головнина, помеченная тем же числом: «Разрешаю выдать за май и июнь».

[1] Откомандированный за границу 20 мая 1862 г., Тютчев выехал из Петербурга 25 мая (*Летопись*. С. 146, 147).

7. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Д.Ф. Тютчева – вторая дочь поэта от первого брака. Детство ее прошло в Мюнхене. В 1845–1851 гг. она воспитывалась в Смольном институте, затем жила в семье отца. В 1858 г. Д.Ф. Тютчева стала фрейлиной императрицы Марии Александровны.

Комментарием к этим скупым фактам биографии Д.Ф. Тютчевой могут служить письма к ней сестры Екатерины Федоровны. «В последнее время, – писала Е.Ф. Тютчева 29 мая 1862 г., – я много думала о вашей жизни, жизни фрейлин, и пришла к выводу, что она полна трудностей. Жизнь среди роскоши, среди надуманных и неутолимых потребностей; свобода в ограниченном и тлетворном кругу. Одиночество сердца и ума посреди постоянного общения с себе подобными, которые обращены к вам только мелочной стороной своей натуры, отсутствие серьезных и живительных обязанностей в сочетании с неукоснительными обязательствами, которые налагаются самыми ничтожными в жизни пустяками; этого вполне достаточно, чтобы раздражать даже очень умеющего держать себя в руках человека» (*ЛН-1*. С. 439. Перевод с *фр.*).

«Одиночество сердца и ума», внутреннюю неустроенность Дарьи Федоровны ощущал и Тютчев, поэтому нередко его письма к ней, «столь любящей и столь одинокой» (письмо 37), отличаются особенной задушевностью, как и посвященные ей стихи: «Не все душе болезненное снится...», «Когда на то нет Божьего согласья...», «De ces frimas, de ces déserts...».

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 34–37 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 445–449.

Место и время написания определяются содержанием: 25 мая 1862 г. Тютчев выехал из Петербурга за границу; 25 июля, совершив описанное в этом письме путешествие по Швейцарии, прибыл в Женеву; возвратился в Россию 15 августа (*Летопись*. С. 147–148).

[1] Речь идет о гр. Е.В. Путятине, адмирале, генерал-адъютанте, члене Государственного совета.

[2] Л. Кошут — главный организатор борьбы венгерского народа за независимость во время революции 1848–1849 гг.

[3] Имеется в виду вдова короля Обеих Сицилий (столица Неаполь) Фердинанда II Терезия.

8. М.П. ПОГОДИНУ

Историк и писатель М.П. Погодин был знаком с Тютчевым со студенческих лет, о чем свидетельствуют записи в дневнике Погодина, начатом в 1820 г., и письма к нему Тютчева того же времени (см. т. 4 наст. изд.). Погодину же принадлежат и воспоминания о поздних годах жизни поэта (*МВ*. 1873. № 190, 29 июля; см. также: *ЛН-2*. С. 7–27).

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 231. Пог/II.33.102. Л. 3.

Первая публикация (с неверной датой — «7 декабря») — *Барсуков*. С. 486–487.

[1] 6 декабря в Благородном собрании состоялся бал, который московское дворянство давало в честь именин наследника престола. Здесь и произошел тот курьезный инцидент с обменом шуб, о котором писал Тютчев. В дневнике Погодина 8 декабря 1862 г. есть запись: «Тютчев обменял шубу» (*ЛН-2*. С.16). Шутливое сравнение с *Гомеровыми витязями* подсказано эпизодом из «Илиады»: Патрокл облачается в доспехи своего друга Ахилла (песнь шестнадцатая).

9. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

В 1860-е — начале 1870-х гг. на долю Эрн. Ф. Тютчевой, второй жены поэта, выпали тяжелые испытания. Она пережила смерть сына Дмитрия и дочери Марии. Сложной оставалась и семейная

жизнь. Еще с 1850 г., когда Тютчев встретил Е.А. Денисьеву, в его отношения с женой вошло много противоречивого. Новая любовь не вытеснила прежней привязанности к Эрнестине Федоровне, сумевшей сохранить благородное достоинство, сдержанность и постоянство. Но судя по письмам поэта к ней, тягостный разлад семейной жизни не мог не ощущаться ими. После смерти Е.А. Денисьевой в августе 1864 г. многое становилось еще сложнее. Тютчев чувствовал всю привязанность к нему жены и был глубоко ей благодарен. Но порой его «душила» невозможность делиться с нею воспоминаниями о Елене Александровне, его Лёле. Письма к Георгиевскому, Полонскому, дочери Дарье поэт хотел и мог писать «слезами, а не чернилами» (письмо 37), — но не Эрнестине Федоровне: ее самолюбие неизбежно должно было «страдать при виде этого отчаяния» (*ЛН-2*. С. 354, 356, 358).

Однако переписка с Эрнестиной Федоровной, которая часто подолгу жила в Овстуге, была для Тютчева жизненной необходимостью. Неотступные думы о судьбах России, забота о детях, встречи с самыми разными людьми — обо всем этом он не просто писал жене, а беседовал с ней в письмах. Разделявшее их расстояние как будто исчезало, и он мысленно оказывался в Овстуге, в аллее, так хорошо знакомой с детства, на балконе, где Мари разливала чай... и наслаждался «удивлением» тех, кто видел его там (см. письмо 12).

Полна какой-то особенной трогательности история, связанная со стихотворением, посвященным Тютчевым жене, с обращенными к ней словами: «Ты, ты, мое земное провиденье!» («Не знаю я, коснется ль благодать...»). Это стихотворение пролежало в альбоме-гербарии Эрнестины Федоровны до 1875 г. Как писал И.С. Аксаков, она «об этих русских стихах не имела никакого понятия». В 1851 г., когда они были написаны, «она еще не настолько знала по-русски, чтобы понимать русские стихи, да и не умела еще разбирать русского писанья Ф<едора> И<вановича>». Каковы же были «ее радость и скорбь при чтении этого привета d'outre tombe <замогильного — *фр.*>, *такого* привета, такого признания ее подвига жены, ее дела любви!» (*Лирика I*. С. 395).

Печатается впервые по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 19–20 об.

В 1898–1899 гг. письма Тютчева к Эрнестине Федоровне печатались на страницах «Русского архива», в 1914–1917 гг. — в историческом сборнике «Старина и новизна» (кн. 18–22). Но это не было публикацией в точном смысле этого слова. Письма печатались не по

автографам Тютчева, а по копиям, снятым с них вдовою поэта. При этом они подверглись не только существенному сокращению (часто из большого письма приводилось лишь несколько строк), но и большой стилистической обработке.

[1] Содержание письма связано с тревожным настроением поэта, вызванным обострением отношений между Россией и западноевропейскими державами на почве польского вопроса (см. письмо 10, примеч. 1). «Тютчев чуть ли не с первых слухов о затеваемой коалиции жил в беспрестанных тревогах, в постоянном ожидании войны» (*ЛН. Т. 19–21*. С. 202).

[2] Эрнестина Федоровна была в это время в Овстуге. Она приехала туда 6 мая вместе с дочерью Мари и сыном Дмитрием. Затем к ним присоединился и сын Иван.

10. А. М. ГОРЧАКОВУ

Князь А.М. Горчаков – министр иностранных дел с 1856 г.; государственный канцлер с 1867 г. В 1871 г. добился отмены ограничительных статей Парижского мирного договора 1856 г.

Печатается впервые на языке оригинала по автографу – ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 726. Л. 29–30 об.

Первая публикация – в русском переводе: *ЛН. Т. 19–21*. С. 223.

[1] Польское восстание 1863 г. вызвало целую дипломатическую кампанию западных держав против России. В июне 1863 г. Англия, Франция и Австрия выступили с требованием передать польский вопрос на суд восьми держав, подписавших Венский трактат 1815 г. Первого июля 1863 г. Горчаков довел до сведения французского, английского и австрийского правительств, что обязательным условием для открытия переговоров относительно Польши является восстановление порядка в стране и что Россия согласна вести переговоры лишь с двумя державами, участвовавшими в разделе Польши в 1772 г., т. е. с Австрией и Пруссией. Что же касается мысли о конференции восьми держав, то она могла бы быть либо бесполезной, либо повести к прямому вмешательству иностранных держав во внутренние дела России, чего не может допустить ни одна великая держава. Депеши Горчакова русским дипломатическим представителям в Париже, Вене

и Лондоне были обнародованы 10/22 июля 1863 г. в «Московских ведомостях» (№ 150).

11. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу – РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 25–26 об.

[1] Мари была у своей приятельницы в Тульской губернии. 20 июля она вернулась в Овстуг.

[2] См. письмо 10, примеч. 1.

[3] Тютчев имел в виду свой предельно неразборчивый почерк.

12. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу – РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 27–28 об.

[1] Брат поэта, Н.И. Тютчев.

[2] Прозвище одной из собак Эрн. Ф. Тютчевой.

[3] Бар. А.Г. Жомини был старшим советником Министерства иностранных дел.

[4] 14 июля 1863 г. Д.И. Сушкова писала своей племяннице Е.Ф. Тютчевой о том, что папа́ «занят успехами Каткова и князя Горчакова; вчера он с торжеством объявил мне, что городская дума собирается дать обед на 2000 человек в честь князя Горчакова и что по этому случаю послали просить Тучкова исходатайствовать разрешение на это в высших кругах. Тучков, по всей вероятности, отклонил эту просьбу. Он против манифестаций. Это был бы митинг» (*ЛН. Т. 19–21.* С. 204). Банкет не был разрешен.

[5] Речь идет о письме к А.Ф. Тютчевой, которая была в то время воспитательницей дочери Александра II вел. кнж. Марии Александровны.

[6] См. письмо 10, примеч. 1.

13. А. М. ГОРЧАКОВУ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу – ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 726. Л. 27–28 об.

Первая публикация – в русском переводе: *ЛН. Т. 19–21.* С. 224.

[1] Депеша Горчакова А.Ф. Будбергу, русскому послу в Париже, была напечатана в «Московских ведомостях» 27 июля 1863 г. (№ 164). В этой депеше Горчаков настаивал на тех основах урегулирования польского вопроса, которые были сформулированы ранее в депеше от 1 июля 1863 г. (см. письмо 10, примеч. 1).

[2] Эдуард Друэн де Люис, французский государственный деятель, в 1862–1866 гг. занимал пост министра иностранных дел.

[3] Маркиз А. Велёпольский, польский политический деятель, с 1862 г. начальник гражданской части и вице-председатель Государственного совета Царства Польского, пытавшийся добиться автономии Польши путем соглашения с Россией, в октябре 1863 г. был отстранен от занимаемых им должностей.

[4] Вел. кн. Константин Николаевич, наместник Царства Польского в 1862–1863 гг., вызвал резкую оппозицию своей политикой в Царстве (см. письмо 48, примеч. 4).

14. И.С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 627. Л. 1–1 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 264.

[1] Стихотворение, о котором говорит Тютчев, было написано в связи с совместным дипломатическим выступлением Англии, Франции и Австрии, вызванным польским восстанием. Напечатано в «Дне» 10 августа 1863 г. (№ 32).

[2] Тютчев присутствовал на торжественном выходе из Кремлевского дворца Александра II, прибывшего в Москву из Нижнего Новгорода (см. письмо 15).

15. М.Ф. ТЮТЧЕВОЙ

М.Ф. Тютчева (в замужестве Бирилева) — дочь поэта от второго брака. Раннее детство ее прошло в Мюнхене, однако бóльшую часть жизни она провела в России. Мария Федоровна подолгу жила вместе с матерью в Овстуге и в 1871 г. открыла там сельскую школу. Это была первая сельская школа в Брянском уезде. Годом раньше — в 1870 г. — Мария Федоровна стала сестрой милосердия в Георгиевской общине. Этот факт ее биографии нашел отражение в четверостишии Тютчева

«Ah, quelle méprise...». Ей посвящены также трогательные шутливые строки: «Когда *осьмнадцать* лет твои...», «Когда-то я была майором...» и «La vieille Hécube...». 16 апреля 1872 г. Тютчев послал умирающей от чахотки дочери последнее стихотворение, ей посвященное, — «День православного Востока...».

Печатается впервые по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 5–6 об.

[1] Престольный праздник в Овстуге — Успение Богородицы.

[2] А.Ф. Домейко — виленский губернский предводитель дворянства в 1861–1877 гг.; в 1863 г. на него было совершено покушение.

[3] Французская депеша по польскому вопросу была послана 30 июля/11 августа 1863 г., английская и австрийская — 31 июля/12 августа. Все депеши вновь настаивали на передаче решения польского вопроса на суд восьми держав, подписавших Венский трактат 1815 г.; были переданы Горчакову 5/17 августа (см. письмо 10, примеч. 1).

[4] «Московские ведомости» от 6 августа 1863 г. (№ 171) приводили сообщения английской прессы, из которых следовало, что в Англии нет партии сторонников войны, несмотря на суровый тон английских дипломатических нот, что действия Наполеона III, четырнадцать лет находившегося у власти, ни у кого не вызывают доверия, ибо они направлены на «подкапывание независимости» других стран. Поэтому невозможно верить в то, что император французов желает затеять войну с Россией с рыцарской целью доставить независимость Польше.

[5] Получение Тютчевым письма от дочери Анны из Владимира объясняется следующими обстоятельствами. Александр II вместе с императрицей Марией Александровной выехал 2 августа из Петербурга в Нижний Новгород по железной дороге. Мимо Москвы их поезд проследовал «по особым рельсам» на нижегородскую дорогу. Во Владимире была остановка на ночлег. Затем поезд отправился в Нижний Новгород. Оттуда императрица выехала в Крым (*МВ*. 1863. № 173, 9 авг.). В числе лиц, сопровождавших императрицу в этой поездке из Петербурга через Владимир и Нижний Новгород в Крым, была А.Ф. Тютчева.

16. И.С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 627. Л. 2.
Первая публикация — *ЛН-1*. С. 264.
Датируется по связи с письмом 14.

17. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 16–17 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 459–461.

[1] Летом 1863 г. Тютчев провел в Москве около двух месяцев (с середины июня до начала августа). В это время Е.Ф. Тютчева находилась в имении своей тетки Д.И. Сушковой (с. Новое Юрьев-Польского у. Владимирской губ.), откуда вернулась в конце августа.

[2] О депешах Горчакова см.: письмо 10, примеч. 1.

[3] Тютчев подразумевает свое письмо к Горчакову от 11 июля 1863 г.

[4] В 1862 г. вел. кн. Константин Николаевич был назначен наместником Царства Польского. Политика, которую он пытался проводить в Царстве, привела к устранению его с занимаемого поста (см. письмо 48, примеч. 4).

[5] По возвращении Тютчева из Москвы Горчаков познакомил его с возражениями правительств Англии, Франции и Австрии на депеши Министерства иностранных дел России (см. письмо 10, примеч. 1; письмо 15, примеч. 3) и с предполагаемым ответом на эти возражения: он будет «учтив и, не вдаваясь в полемику — отныне как бы исчерпанную, будет ссылаться на данные ранее объяснения» (*ЛН. Т. 19–21.* С. 204. Перевод с *фр.*). Этот ответ, датированный 26 августа, был опубликован позже (*СПб. вед.* 1863. № 201, 10 сент.).

[6] Открытие Финляндского сейма, на котором Александр II выступил с тронной речью, состоялось не 3, а 6 сентября (*СПб. вед.* 1863. № 200, 8 сент.).

[7] Аврора Карамзина — вдова Андр. Н. Карамзина, сына историографа.

[8] Болезненное состояние Д.Ф. Тютчевой вынудило ее в мае 1863 г. уехать для лечения за границу.

18. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 45–46 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 449–451.

Год написания устанавливается по содержанию.

[1] А.К. Петров — священник православной церкви в Женеве, где лечилась на водах Д.Ф. Тютчева (см. письмо 17, примеч. 8).



[2] Гр. Г.А. Строганов, шталмейстер, состоял в морганатическом браке с вел. кн. Марией Николаевной, дочерью Николая I.

[3] М.Ф. Тютчева писала 9 сентября 1863 г. из Овстуга о болезни Эрнестины Федоровны и своих переживаниях, связанных с этим, а также о крайних материальных затруднениях и невозможности из-за отсутствия денег обеспечить работу сахарного завода (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 80).

[4] В Ливадии в это время жила императрица Мария Александровна. А.Ф. Тютчева находилась в ее свите.

[5] Кого имеет в виду Тютчев, не установлено.

19. М. Н. КАТКОВУ

М.Н. Катков — издатель, публицист, до середины 1840-х гг. примыкавший к кружку Белинского и в конце 1850-х гг. проводивший умеренно-либеральную программу в издаваемом им журнале «Русский вестник». В 1863 г. перешел на консервативные позиции, влиятельной трибуной которых стали редактируемые им «Московские ведомости».

Разные правительственные силы и группировки стремились использовать «Московские ведомости» в своих интересах. В поддержке Каткова нуждался и министр внутренних дел П.А. Валуев, и министр народного просвещения Д.А. Толстой. Министр иностранных дел А.М. Горчаков пытался воздействовать на Каткова через Тютчева.

Отношение Тютчева к Каткову не было однозначным. В 1863 г. Тютчев сам определил свою позицию «посредника между печатью и Министерством иностранных дел» как позицию «между Катковым и Аксаковым» (*ЛН. Т. 19–21.* С. 204–205. Перевод с *фр.*). Различие во взглядах Каткова и И.С. Аксакова он видел отчетливо, о чем свидетельствует, например, его письмо к А.Ф. Тютчевой от 25 июня 1863 г. «Вчера я провел два часа у нашего друга Аксакова и нашел у него вполне разумный взгляд на дело и более действительное понимание вопроса, чем у кого бы то ни было», — писал он по поводу отношения Аксакова к возникшей в это время перспективе военного столкновения между Россией и коалицией западноевропейских государств. И далее продолжал: «Виделся я также с Катковым и его присными; и хотя его газета пользуется вполне моими симпатиями и я признаю огромные услуги, оказываемые им в настоящее время стране, — Катков, с которым я всесторонне обсудил данное положение, понимает его не так ясно, как наш друг <Аксаков>» (там же. С. 222. Перевод с *фр.*).

Попытки Тютчева воздействовать на Каткова и его газету успеха не имели (исключение составляют лишь отдельные эпизоды — см. письмо 43, примеч. 4; письмо 84, примеч. 4). Вместе с тем Тютчева все более отталкивали убежденность Каткова в собственной непогрешимости, его «непомерное высокомерие» (*Никитенко*. Т. 2. С. 536).

В марте 1865 г. во время полемики по вопросу о земстве, развернувшейся между «Московскими ведомостями» и аксаковским «Днем», симпатии Тютчева уже вполне определенно склонялись на сторону Аксакова с его требованиями уступок общественному мнению (там же. С. 506). Напротив, со все большей настороженностью относился он к прямолинейности, с которой Катков проводил свои взгляды в передовицах «Московских ведомостей». 1 октября 1865 г. Никитенко записал суждение Тютчева о Каткове: «Страшно нетерпим к мнениям других» (там же. С. 536). В апреле 1866 г., поддерживая Каткова в его конфликте с Валуевым (см. письмо 69), Тютчев вместе с тем открыто высказывал недовольство агрессивностью позиции издателя (*Никитенко*. Т. 3. С. 24).

Постепенно нараставшее несогласие Тютчева с Катковым привело к окончательному охлаждению отношений в 1867 г., когда Аксаков возобновил свою издательскую деятельность. Не в «Московских ведомостях», а в аксаковской «Москве» нашли отражение взгляды поэта на внешнюю и внутреннюю политику России.

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 120. К. 11. Ед. хр. 23. Л. 3–4 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 413–414.

[1] Летом 1863 г. Тютчев провел в Москве почти два месяца (с середины июня до начала августа). Все это время он постоянно общался с Катковым.

[2] По-видимому, предметом этих разговоров были действия А.В. Головнина по отношению к цензуре и их последствия. В конце 1861 г., вступив в управление Министерством народного просвещения, в ведении которого находилась цензура, Головнин поставил вопрос о пересмотре цензурного законодательства. При этом он руководствовался следующими соображениями: «Министерство народного просвещения имеет обязанностью покровительствовать литературе, заботиться о развитии, о преуспеянии оной; посему, находясь к литературе в отношениях более близких, чем всякое другое ведомство, оно не может быть ее строгим судьею. Сверх того, Мини-

стерство народного просвещения обязано содействовать движению вперед науки, и для этого необходима свобода анализа; посему цензура, находясь в ведении сего Министерства, принимает направление более снисходительное, стремящееся к тому, чтобы медленно и осторожно отодвигать границы, поставленные свободе рассуждений» (Государственный совет. 1801–1901. СПб., 1901. С. 116–117). Мнение Министерства народного просвещения было рассмотрено в январе 1863 г. Комитетом министров, и цензура была передана в ведение Министерства внутренних дел — ведомства «менее снисходительного».

[3] Весной 1863 г. Наполеон III, под предлогом защиты интересов Польши, предпринял попытку создать антирусский союз Англии, Франции и Австрии. В начале октября газеты все еще сообщали о переговорах трех держав по поводу принятия «решительных мер» против России. Однако к этому времени Англия уже отказалась от участия в коалиции. Ожидалось, что окончательная позиция выяснится 24 октября/5 ноября на открытии сессии Законодательного корпуса Франции, где Наполеон III должен был выступить с традиционной речью, определяющей внутреннюю и внешнюю политику страны (*СПб. вед.* 1863. № 222, 6/18 окт.).

20. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 21–22 об.

[1] В декабре 1863 г. в «Русском вестнике» (№ 12. С. 588– 590) было опубликовано стихотворение П. А. Вяземского «Фотография Венеции (Федору Ивановичу Тютчеву)».

21. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 23–24 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 461–463.

[1] 27 октября/8 ноября — день рождения Е.Ф. Тютчевой. В 1863 г. ей исполнилось 28 лет.

[2] О визите М.Н. Каткова в Петербург см.: письмо 22, примеч. 1.

[3] 26 октября петербургские газеты напечатали телеграфное сообщение русского посла в Париже барона А.Ф. Будберга о предложении Наполеона III созвать европейский конгресс для пересмотра Венских трактатов 1815 г. Оно было высказано в тронной речи 24 октября/5 ноября (см. письмо 22, примеч. 2 и 4).

22. М. Н. КАТКОВУ

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 120. К. 11. Ед. хр. 23. Л. 5–6 об. Первая публикация — *ЛН-1.* С. 414–416.

[1] В конце октября 1863 г. Катков приезжал в Петербург и был принят Горчаковым (см. письмо 21). Еще раньше, 25 июля 1863 г. Горчаков писал Тютчеву, что видит в Каткове «влиятельного и красноречивого помощника», однако считает бестактным агрессивный тон, усвоенный его газетой в обсуждении проблем внешней политики России (РГБ. Ф. 120. К. 2. Ед. хр. 33. Л. 1–2). По-видимому, в этом же духе говорил он с Катковым в Петербурге. Однако Катков уехал, не сделав никаких выводов из того, что видел и слышал, и по возвращении написал Горчакову письмо, в котором полемизировал с ним по вопросу о задачах русской дипломатии в отношении к Франции (письмо неизвестно; основные его положения Катков изложил Тютчеву в неотправленном письме от 4 ноября 1863 г. — *ЛН-1.* С. 416). О других его разногласиях с Горчаковым см.: *Валуев I.* С. 251 и 252.

[2] Лишившись поддержки Англии и Австрии в попытке создания военной коалиции против России (см. письмо 19, примеч. 3), Наполеон III вынужден был круто изменить внешнеполитический курс и в тронной речи 5 ноября (см. там же) предложил созвать европейский конгресс для выработки новых международных конвенций взамен устаревших трактатов 1815 г. Идея созыва конгресса провалилась, так как ни одна из держав, кроме Франции, не была заинтересована в нем. Однако, в силу последнего обстоятельства, вокруг предложения Наполеона развернулась острая дипломатическая борьба, в предвидении которой Горчаков считал необходимым, чтобы «Московские ведомости» соблюдали корректный тон при обсуждении проблем, связанных с предполагаемым конгрессом.

[3] После возвращения Каткова из Петербурга «Московские ведомости» посвятили предложению Наполеона III три передовых ста-

тьи (№ 233–235 от 27, 29 и 30 окт.), оценивая его как провокацию, несущую в себе угрозу войны: «Нет ни одного важного европейского вопроса, по которому конгресс не увеличил бы существующих затруднений. Поэтому те державы, которым дорог мир <...> не могут и согласиться на конгресс» (№ 234, 29 окт.). Переданное Тютчевым требование Горчакова избегать подобной «непримиримости» возымело действие: передовая статья в № 239 (3 нояб.), посвященная той же проблеме, носила вполне лояльный характер и получила его одобрение (см. письмо 23).

[4] Ответ Александра II на приглашение участвовать в конгрессе был подписан 6/18 ноября. Текст ответа см.: *МВ*. 1863. № 259, 28 ноября/10 декабря.

23. М. Н. КАТКОВУ

Печатается по автографу – РГБ. Ф. 120. К. 11. Ед. хр. 23. Л. 13–14 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 416– 417.

Год написания устанавливается по содержанию.

[1] Об этой статье в № 239 от 3 ноября см.: письмо 22, примеч. 3.

[2] Приглашение на конгресс (см. письмо 22, примеч. 2 и 4) не содержало указания на вопросы, подлежащие обсуждению. Почти все великие державы использовали это как предлог для уклонения от прямого ответа. Англия и Россия предложили сначала определить программу конгресса (дать «предварительные пояснения»); Франция заявила, что «удобнее» сделать это на самом конгрессе, поскольку такой порядок будто бы обеспечит беспристрастие его участников (*СПб. вед*. 1863. № 248–252, 7/19–12/24 нояб.).

[3] *Lord J. Russel* – лорд Дж. Рассел, в 1859–1865 гг. министр иностранных дел; в 1865–1866 гг. премьер-министр Великобритании.

[4] Под заглавием «Заметки» Вяземский печатал в «Русском вестнике» небольшие циклы стихов на злободневные темы (напр., 1863. № 9). Какие его стихи были посланы при публикуемом письме, неизвестно, так как ни в конце 1863 г., ни в начале 1864 г. «Заметки» его в этом журнале не появлялись, за исключением посланного ранее стихотворения (см. письмо 20, примеч. 1).

[5] Подразумеваются М.Н. Муравьев, резиденция которого находилась в Вильне, и Катков (именины Михаила приходились на 8 ноября по ст. стилю).

24. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 25–26 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 463–464.

[1] Тютчев датировал письмо (*10. 9^{bre}*) в соответствии с древнеримским календарем, по которому ноябрь — девятый месяц года; novem — девять (*лат.*).

[2] Историк и публицист П.К. Щебальский был близким знакомым Сушковых и Тютчевых.

[3] Все дочери Тютчева обладали слабым здоровьем, что немало его тревожило.

[4] В середине ноября 1863 г. А.Ф. Тютчева возвратилась через Москву в Петербург из поездки на юг России.

[5] 24 октября/5 ноября 1863 г. Наполеон III предложил созвать конгресс европейских держав (см. письмо 21, примеч. 3).

[6] Об ответе России на приглашение участвовать в предполагаемом конгрессе см.: письмо 22 и примеч. 4 к нему.

[7] Французский политический деятель герцог Ш. Морни был известен своими симпатиями к России, сложившимися в бытность его послом в Петербурге (1856–1857). В русской печати отмечалось, что при напряженности франко-русских отношений, возникшей в 1863 г., газета «Nation», орган герцога Морни, «более других расположена к России» (*СПб. вед.* 1863. № 207, 18/30 сент.).

[8] На традиционный рождественский праздник в замке Компьен (загородная резиденция Наполеона III) обычно приглашались иностранные послы. Слух о том, что русский посол А.Ф. Будберг на этот раз не получил приглашения, приобретал особое значение ввиду напряженности в отношениях между Францией и Россией; слух этот не оправдался (*СПб. вед.* 1863. № 259 и № 263, 20 нояб./2 дек. и 26 нояб./8 дек.).

25. Эрн. Ф. и М. Ф. ТЮТЧЕВЫМ

Печатается впервые по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 68–69 об.

[1] Василий Стрелков был управляющим брянскими имениями Тютчевых.

[2] Речь идет о возвращении императрицы из Ливадии (см. письмо 15, примеч. 5).

[3] Имеется в виду бар. К. Пфеффель, публицист, камергер баварского двора.

[4] С поэтом А.П. Мальтицем Тютчев сдружился в «мюнхенский» период своей жизни. С 1839 г. их связывали и родственные отношения — Мальтиц женился на сестре первой жены Тютчева.

[5] Речь идет о стихотворении Тютчева «Его светлости князю А.А. Суворову» (1863).

26. О. А. НОВИКОВОЙ

О.А. Новикова (урожд. Киреева) выросла в семье, близкой по своим традициям и взглядам семейству Аксаковых, что в значительной мере определило ее славянофильские воззрения. В молодости Новикова была хорошо знакома с семьей Тютчевых и нередко бывала в их доме, где высоко ценили ее незаурядный ум и образованность.

В 1870–1880-е гг. Новикова стала известной публицисткой по вопросам русско-английских отношений. Проживши долгие годы в Лондоне и сблизившись с английскими литературными и политическими кругами, она стала выступать в английской печати со статьями и книгами о русской внешней политике. Ее статьи, в духе умеренного славянофильства, появлялись и в русских периодических изданиях, главным образом в «Московских ведомостях» и «Русском обозрении».

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 126. К. 8478. Ед. хр. 1. Л. 7–7 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 535.

Год написания устанавливается по содержанию: первый понедельник после упомянутых в письме фактов (см. примеч. 1 и 2) приходился на 18 ноября 1863 г.

[1] Речь идет о стихотворной отповеди «Его светлости князю А.А. Суворову», написанной 12 ноября 1863 г. в связи с отказом петербургского военного генерал-губернатора кн. А.А. Суворова подписать приветственный адрес генерал-губернатору Северо-Западного края М.Н. Муравьеву.

[2] В двух номерах «Русского инвалида» от 16 и 17 ноября 1863 г. (№ 254 и 255) была напечатана статья А.Ф. Гильфердинга «Положе-

ние и задача России в Царстве Польском». Автор видит в польской шляхте «организм разложившийся и уже неспособный к новому развитию». Элементы этого развития Гильфердинг находит в польском крестьянстве. Призвание России — «поднять крестьянство, дать ему независимость материальную наделением землею не только хозяев, но всех без исключения земледельцев (батраков и т. д.), и открыть крестьянству самостоятельное участие в общественной жизни страны посредством крепкой организации крестьянских общин». От разрешения крестьянского вопроса зависит, по мнению Гильфердинга, обновление жизни в Польше.

27. М. И. ЖИХАРЕВУ

М.И. Жихарев — двоюродный племянник П.Я. Чаадаева. Интересно воспоминание Жихарева о взаимоотношениях между Тютчевым и Чаадаевым: «Очень замечательно, что наиболее несогласные были с ним <Чаадаевым> и наиболее дружными. Решительный его противник Ф.И. Т<ютчев> часто говаривал: "L'homme, que je contredis le plus est aussi celui que j'aime le mieux" <"Человек, с которым я согласен менее, чем с кем бы то ни было, и которого, однако, люблю больше всех" — *фр.*>. Их споры между собою доходили до невероятных крайностей» (*ВЕ*. 1871. № 9. С. 40–41). И.С. Аксаков попытался объяснить характер отношений этих двух необыкновенных людей: «Чаадаев не мог не ценить ума и дарований Тютчева, не мог не любить его, не мог не признавать в Тютчеве человека вполне европейского, более европейского, чем он сам, Чаадаев». Но если Чаадаев признавал «западноевропейскую цивилизацию единственным идеалом для России и прогресс этой цивилизации — высшею целью высших стремлений человеческого ума», то «Тютчев обличал в этой цивилизации оскудение духовного начала» (*Биогр*. С. 70–71).

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 103. К. 1033а. Ед. хр. 43. Л. 1–1 об.

Первая публикация — *ЛН. Т. 19–21*. С. 584.

[1] Фотографический снимок с картины художника К. Бодри, изображающей кабинет Чаадаева в Москве. В настоящее время этот снимок хранится в музее-усадьбе «Мураново» им. Ф.И. Тютчева.

[2] Упоминаемая фраза принадлежит В.А. Жуковскому (см.: *ВЕ*. 1871. № 9. С. 21).



28. А. М. ГОРЧАКОВУ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 726. Л. 5–6.

Первая публикация — в русском переводе: *ЛН. Т. 19–21*. С. 226–227.

Год и месяц написания определяются по содержанию (см. примеч. 1). Понедельник в декабре 1863 г. приходился на 9 число.

[1] Речь идет об обеде, данном 7 декабря 1863 г. Английским клубом в Петербурге по случаю избрания кн. А.М. Горчакова почетным его членом (см.: *МВ*. № 273, 15 дек. — Обед в Петербургском Английском клубе в честь князя А.М. Горчакова).

Слова Горчакова, о которых упомянул Тютчев, были ответом на спич, произнесенный старшиной Н. М. Толстым на вышеназванном обеде. Горчаков сказал, что сочувствие, проявленное к его деятельности членами клуба, имеет «более обширное значение»: вся Россия «подкрепила своим голосом» ответы на ноты иностранных держав, ответы, «имевшие целью опровергнуть неправильные притязания и оградить наше достоинство» (там же).

29. Д. Н. БЛУДОВУ

Граф Д.Н. Блудов — близкий знакомый Тютчева; один из основателей литературного кружка «Арзамас». В его доме бывали Карамзин, Жуковский, Пушкин, Батюшков. Известный государственный деятель, он в последние годы жизни занимался собиранием воедино своих заметок по самым различным вопросам, сопровождая, подкрепляя и перемежая их высказываниями философов, писателей и общественных деятелей разных стран. Этот труд не был завершен. Частично замысел Блудова нашел воплощение в книге, подготовленной его дочерью, — «Мысли и замечания графа Дмитрия Николаевича Блудова» (СПб. 1866). Получив от нее эту книгу, Тютчев ответил на подарок стихами: «Как этого посмертного альбома...». Памяти Блудова он посвятил еще одно стихотворение — «19-ое февраля 1864».

В начале 1860-х гг. Блудов обратился к Тютчеву с просьбой перевести для него стихотворный афоризм немецкого философа конца XVI — начала XVII в. Якоба Бёме. По-видимому, этот перевод был нужен ему для упомянутого незавершенного труда, в котором афоризм Бёме о времени и вечности мог занять свое место наряду с изречениями других философов.

Ответ Тютчева свидетельствует об основательности его знакомства с идеями Бёме. Указывая на то, что в учении Бёме пересеклись противостоящие друг другу доктрины — пантеизм и христианство, Тютчев отмечает главное своеобразие этого учения.

Язык Бёме напомнил Тютчеву язык «наших сектантов». В конце 1850-х — начале 1860-х гг. в русском обществе сильно возрос интерес к расколу, старообрядчеству и к памятникам их письменности и фольклора. В печати постоянно появлялись исследования и сообщения с публикацией старообрядческих стихов, песен и т. д. Большое внимание привлекла к себе осуществленная в 1861 г. академиком Н.С. Тихонравовым публикация самого яркого памятника старообрядческой литературы — «Жития протопопа Аввакума» (на обложке — 1862 г.).

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. Р. I. Оп. 27. Ед. хр. 146. Л. 1–2.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 500–501.

Датируется по времени работы Д.Н. Блудова над «Мыслями и замечаниями».

[1] Тютчев был большим мастером малых стихотворных форм. Поэтому не случайно обращение к нему Блудова с просьбой о переводе четверостишия Бёме:

Wem Zeit ist wie Ewigkeit
Und Ewigkeit wie Zeit,
Der ist befreit
Von allem Streit.

Так обычно цитируется это четверостишие в исследованиях, посвященных Я. Бёме. На обороте 2-го листа письма Тютчева оно написано с иной четвертой строкой: «Von allem Leid» (*ИРЛИ*. Р. I. Оп. 27. Ед. хр. 146. Л. 2 об.).

В стихотворном афоризме Бёме о времени и вечности воплотилось характерное для него стремление к познанию бытия Вселенной в единстве и согласии противоречий. Идея этого афоризма проходит через многие сочинения Бёме, поэтому возникло даже такое представление об этом философе: «Почти с детства для него “время стало как вечность, и вечность как время”, — по его любимому присловью» (цитата из предисловия переводчика в кн.: Бёме Я. Aurora, или Утренняя заря в восхождении / Перевод А. Петровского. М., 1914. С. IX). Это была пантеистическая иллюзия, идиллическое представление о возможности гармонии «времени» и «вечности»,

т. е. времени бытия отдельной личности и космического времени мироздания.

В своих оценках системы Бёме Тютчев сближался со многими мыслителями своего времени. Натурфилософские идеи Бёме привлекали Баадера и Шеллинга; его стремление соединить в высшем единстве абсолютные противоположности ценил Гегель; Герцен и Чернышевский видели в нем одного из самых интересных философов XVII в. Близкое знакомство Тютчева с Шеллингом, высоко ценившим Бёме и часто обращавшимся к его наследию, могло, несомненно, оказать влияние на поэта в период его пребывания в Мюнхене. Однако следует учесть и то обстоятельство, что уже в конце XVIII в. сочинения Бёме стали широко известны в России. Не исключено поэтому, что со взглядами Бёме Тютчев мог познакомиться еще до отъезда в Германию.

30. П. А. ВАЛУЕВУ

Граф П.А. Валуев — министр внутренних дел в 1861–1868 гг.

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. Ф. 93. Оп. 3. Ед. хр. 1297. Л. 1–2.

Первая публикация — *ЛН-2*. С. 488.

[1] Письмо Тютчева Валуеву было вызвано следующими обстоятельствами. В 1862 г. поэт А.Н. Майков напечатал в «Библиотеке для чтения» (№ 1) стихотворное послание «Другу Илье Ильичу», в котором дал сатирический образ деятеля, обуреваемого идеями всеобщего преобразования. В переработанном виде оно вошло в сборник «Новых стихотворений (1858–1863)» Майкова, вышедший в качестве приложения к № 1 «Русского вестника» за 1864 г. В великосветских кругах увидели в стихотворении конкретные политические намеки. 14 февраля 1864 г. М.Ф. Тютчева записала в дневнике: «Папа́ получил записку от Валуева, который требует объяснения стихотворения Майкова "Илье Ильичу", в котором просвещенная публика видит государя описанного» (*ЛН-2*. С. 486). Майков, служивший цензором под начальством Тютчева, председателя Комитета цензуры иностранной, написал пространное объяснение возникшего «недоразумения». Тютчев переслал это объяснение Валуеву с сопроводительным письмом от 16 февраля. Благодаря помощи Тютчева все завершилось благополучно. 17 февраля М.Ф. Тютчева отметила в дневнике, что история Май-

кова «кончилась благополучно. Ни государь, ни государыня не поверили толкам безграмотных» (там же. С. 490).

31. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 54–54 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 451–453.

Приписка к письму Эрн. Ф. Тютчевой от 29 февраля 1864 г.

[1] В январе 1864 г. Д. Ф. Тютчева серьезно заболела (Дневник М.Ф. Тютчевой. Записи от 28–31 янв. 1864 г. – *Мураново*. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 181). Оправившись от болезни, она уехала в Москву.

[2] Имеется в виду смерть гр. Д.Н. Блудова, последовавшая 19 февраля 1864 г.

[3] Эти строки перекликаются с двустишием, которое Тютчев послал дочери ко дню ее рождения 12 апреля 1864 г.:

> Не все душе болезненное снится:
> Пришла весна — и небо прояснится.

32. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 34–35 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 465–466.

[1] Тютчев приехал в Москву в середине июня 1864 г. и 5 июля возвратился в Петербург (*Летопись*. С. 159–160).

[2] Младший сын Тютчева Иван в это время учился в Петербургском училище правоведения.

[3] Киссинген – курорт в Баварии. Летом 1864 г. там находились жена Тютчева и его младшая дочь Мария. В Женеве в это время находилась Д.Ф. Тютчева.

[4] Е.Ф. Тютчева и ее тетка Д.И. Сушкова намеревались ехать в Швейцарию.

[5] Тютчев имеет в виду И.Д. Делянова, попечителя Петербургского учебного округа в 1861–1865 гг., и его жену Анну Христофоровну, только что потерявших сына.

[6] См. письмо 15.

33. М. Н. КАТКОВУ

Печатается по автографу – РГБ. Ф. 120. К. 11. Ед. хр. 23. Л. 15–16 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 417–418.

Датируется по содержанию (см. примеч. 1 и 2).

Края автографа обгорели; утраченные слова восстанавливаются по смыслу.

[1] Июнь 1864 г. Александр II провел на водах в Киссингене. По пути, в Берлине, он имел неофициальную встречу с прусским королем, а в Киссингене — с австрийским императором. А.М. Горчаков присутствовал на этих встречах и, кроме того, имел конфиденциальные беседы с прусским и австрийским министрами иностранных дел (см.: *СПб. вед.* 1864. № 119, 121, 124 и 134, 30 мая/11 июня, 2/14, 5/17 и 18/30 июня). Сведения о содержании этих бесед в печать почти не проникали, что привело к различным кривотолкам. 10/22 июля Александр II и Горчаков вернулись в Россию.

[2] Тютчев в это время был крайне подавлен болезнью Е.А. Денисьевой.

[3] Софья Петровна — жена М.Н. Каткова.

34. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

А.И. Георгиевский и его жена Мария Александровна (урожд. Денисьева) занимали особое место в жизни Тютчева. М.А. Георгиевская была сводной сестрой Е.А. Денисьевой; она и ее муж принадлежали к числу тех очень немногих людей, которые признавали ее неофициальную семью. При жизни Денисьевой они бывали в ее доме, и, в свою очередь, дом Георгиевских был всегда открыт для нее и для Тютчева. После смерти Денисьевой Георгиевские были едва ли не единственными людьми, которые полностью разделяли горе Тютчева.

Первые письма Тютчева к Георгиевскому относятся к тому времени, когда он, тяжело переживая смерть Денисьевой, испытывал неодолимую потребность говорить о ней с близкими людьми. Эти письма перекликаются с лирикой Тютчева, с такими его стихотворениями, как «Нет дня, чтобы душа не ныла...», «Есть и в моем страдальческом застое...», и другими стихами «денисьевского» цикла. Строки письма,

написанного 6/18 октября 1864 г. из Женевы («...только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя...»), воспринимаются как прозаический вариант стихотворных строк:

И я один, с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу...

Однако Георгиевский был для Тютчева не только человеком, тесно связанным с Е.А. Денисьевой и памятью о ней. Более трех лет (1863–1866) он — сотрудник редакции «Московских ведомостей», издания, стремившегося оказывать влияние и на отдельных представителей власти, и на всю политику России в целом. Обсуждая с Георгиевским самые различные проблемы внешней и внутренней политики России, Тютчев стремился через него воздействовать на направление этого издания — советовал сменить Forte на Piano редактору газеты, отличавшемуся крайней непримиримостью в отстаивании охранительной позиции (см. письмо 52).

Если сам Катков не был склонен прислушиваться к чужому мнению, то Георгиевский иногда использовал в своих статьях о внешней политике России суждения и формулировки Тютчева (см. письмо 43, примеч. 4; письмо 68, примеч. 4). Однако эти случаи носили частный характер и вряд ли могли оказать влияние на общее направление «Московских ведомостей».

Георгиевский оставил воспоминания, в которых многие страницы посвящены Тютчеву (*ЛН-2.* С. 104–163).

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 2–2 об.

Первая публикация — *Тютч. сб.* С. 20.

35. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 3–3 об.

Первая публикация — *Тютч. сб.* С. 21.

[1] Георгиевский откликнулся на просьбу Тютчева и 16 августа приехал в Петербург. В воспоминаниях он описал то «невыносимо-жгучее» горе, которое предстало перед ним при встрече с поэтом (*ЛН-2.* С. 124–125).

36. Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Я.П. Полонский с 1860 г. служил в Комитете цензуры иностранной под начальством Тютчева и находился в дружеских отношениях с самим поэтом и его семьей. На стихотворение Полонского «Ф.И. Тютчеву» («Ночной костер зимой у перелеска...»), напечатанное в № 4 «Современника» за 1865 г., Тютчев ответил четверостишием «Другу моему Я.П. Полонскому» («Нет боле искр живых на голос твой приветный...») 30 мая 1865 г.

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 5083. Л. 199.

Первая публикация – *ЛН. Т. 19–21*. С. 585.

[1] Я.П. Полонский не смог сопровождать Тютчева, который во второй половине августа 1864 г. выехал за границу один.

37. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 56–57 об.

Первая публикация – в русском переводе: *Изд. М., 1957*. С. 446–447.

[1] Тютчев вспоминает о Е.А. Денисьевой.

38. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 58–59 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 453–454.

[1] Тютчев имеет в виду свое письмо от 8/20 сентября 1864 г., но цитирует его не совсем точно: в этом письме он говорил не о том, что Дарье свойственно *безрассудство* (*déraison*), а о том, что она «столь мало рассудительна» («si peu raisonnable»).

39. А. И. и М. А. ГЕОРГИЕВСКИМ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 4–5 об.

Первая публикация – отрывок: *Тютч. сб.* С. 22; полностью: *ЛН-1*. С. 381–384.

17 Зак. 7509

[1] После смерти Е.А. Денисьевой (4 августа 1864 г.) Георгиевский приезжал в Петербург, чтобы поддержать Тютчева в его горе (см. письмо 35, примеч. 1).

[2] Священник при русской миссии в Женеве А.К. Петров и его жена хорошо знали Е.А. Денисьеву, которая не раз бывала в Женеве.

[3] Во второй половине августа 1864 г. Тютчев выехал за границу. Три дня он пробыл у дочери Анны в Югенхейме и 5/17 сентября приехал в Женеву, где встретился с женой и дочерью Марией. Около двух недель они провели в окрестностях Лозанны, на курорте Уши, где в связи с пребыванием там вел. кн. Елены Павловны было много светских знакомых Тютчева. По возвращении в Женеву Тютчев встретился там с дочерьми Дарьей и Екатериной, которые приехали специально для того, чтобы повидаться с ним.

[4] Гр. П.Д. Киселев был послом в Париже в 1856–1862 гг., с 1862 г. находился в отставке.

[5] Имеется в виду вел. кн. Екатерина Михайловна, племянница Николая I, в замужестве — герцогиня Мекленбург-Стрелицкая.

[6] В 1864 г. в «верхах» усилилась возглавляемая вел. кн. Константином Николаевичем группировка, склонявшаяся к ограниченной автономии Царства Польского (см. письмо 48, примеч. 4). К этой группировке принадлежали министр внутренних дел П.А. Валуев и министр народного просвещения А.В. Головнин. Летом 1864 г. в Брюсселе вышла написанная по заказу Головнина брошюра бар. Ф.И. Фиркса, выступившего под псевдонимом Шедо-Ферроти (*Schedo-Ferroti*), «Que fera-t-on de la Pologne?» («Что будет с Польшей?» — *фр.*). Автор брошюры поддерживал позицию вел. кн. Константина Николаевича и выступал против «Московских ведомостей», не соглашавшихся с этой позицией. Катков ответил рядом передовых статей, в которых расценивал нападки на свою газету как нападки на действия правительства (*МВ*. 1864. № 195, 196, 212 и 216 от 5, 6, 29 сент. и 4 окт.).

[7] Головнин приобрел 1000 экз. брошюры Шедо-Ферроти и разослал ее по учебным заведениям. Совет Московского университета отказался принять в свою библиотеку этот памфлет и вернул его в Министерство народного просвещения (*МВ*. 1864. № 212, 29 сент.; *Никитенко*. Т. 2. С. 463–464, 637).

[8] 6/18 октября 1864 г. из Дармштадта в Ниццу выехала русская императорская семья. 12/24 октября туда же выехали из Женевы Тютчевы.

[9] 16/28 октября 1864 г. в Ницце состоялась встреча Александра II с Наполеоном III, в которой А.М. Горчаков не участвовал.

[10] Наполеон III рассчитывал воспользоваться предстоящей встречей, чтобы добиться от Александра II согласия на созыв европейской конференции для обсуждения польского вопроса (Kölnische Zeitung. 1864. 12 окт.; *МВ*. № 218, 7/19 окт.). Однако Горчаков предупредил его, что Александр II не намерен касаться этого вопроса (Indépendance Belge. 1864. 27 окт.; *МВ*. 1864. № 231, 22 окт./3 нояб.).

[11] По условиям франко-итальянской конвенции от 15 сентября 1864 г. итальянское правительство обязывалось не посягать на светскую власть папы, а Франция соглашалась вывести из Папской области свои войска, находившиеся там для защиты интересов Римской курии. Европейская печать расценивала конвенцию как «тяжелый удар», нанесенный светской власти папы (*СПб. вед.* 1864. № 211, 24 сент./6 окт.). Эти прогнозы оправдались в 1870 г., когда присоединением Папской области завершилось объединение Италии.

[12] Старшая дочь Тютчева и Е.А. Денисьевой Елена Тютчева в это время воспитывалась в петербургском пансионе г-жи Трубá.

40. Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Печатается по автографу – *ИРЛИ*. 12540/LXX 6. 6. Л. 3–4 об.

Первая публикация – «Московский понедельник». 1922. № 2, 26 июня. С. 3.

[1] В 1860 г. умерла первая жена Полонского – Е.В. Полонская.

[2] Комитета цензуры иностранной.

[3] Гр. Е.Е. Комаровский был старшим цензором Комитета.

41. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 6–7 об.

Первая публикация – отрывок: *Тютч. сб.* С. 24; полностью: *ЛН-1*. С. 384–386.

[1] Это недомогание было началом смертельной болезни вел. кн. Николая Александровича. Предполагавшаяся поездка его в Копенгаген для встречи с невестой, датской принцессой Дагмарой, не состоялась.

[2] *Элементы*, с которыми велась борьба путем реформ, проводимых в Польше, — шляхта и католическое духовенство. Крестьянская реформа 19 февраля 1864 г. отдавала в собственность крестьянам землю, находившуюся в их практическом пользовании, отменяла повинности в пользу помещиков. Другая реформа касалась католических монастырей, часть которых была закрыта за соучастие в восстании 1863 г.

[3] Бар. Ш.А. Талейран-Перигор — французский посол в Петербурге. Был очень расположен к России и прилагал большие усилия для того, чтобы положить конец охлаждению в отношениях между обеими странами.

[4] Дети Тютчева и Е.А. Денисьевой: Елена (Лёля — см. о ней: письмо 39, примеч. 12); Федор (впоследствии беллетрист, полковник пограничной службы); Николай. Оба мальчика находились в это время у А.Д. Денисьевой, тетки их матери.

42. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 8–9 об.

Первая публикация — *Тютч. сб.* С. 24–26.

[1] Тютчев послал Георгиевскому три стихотворения, отражавшие его душевное состояние после смерти Е.А. Денисьевой («Утихла биза... Легче дышит...», «О, этот юг, о, эта Ницца...», «Весь день она лежала в забытьи...»), с тем чтобы они были напечатаны в «Русском вестнике».

В своих воспоминаниях Георгиевский неточно цитирует последнюю фразу письма (*ЛН-2*. С. 128, 161).

43. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 10–13 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 387–389.

[1] Статья М.Н. Каткова против брошюры Шедо-Ферроти (см. письмо 39, примеч. 6) вызвала ряд цензурных преследований и штрафов (*МВ*. 1864. № 267, 5 дек.). В декабре 1864 г. Совет Главного управления по делам печати готовился подвергнуть «Московские ведомости» новым взысканиям, в связи с чем Катков заявил, что в

случае дальнейших репрессий по отношению к его газете он откажется от ее издания. В этих обстоятельствах Георгиевский, с согласия Каткова, обратился за помощью к Тютчеву в надежде, что он сможет добиться благоприятного вмешательства в дело «Московских ведомостей» со стороны императрицы Марии Александровны, которая жила в это время в Ницце. «Я, естественно, спешил воспользоваться тем счастливым созвездием, которое образовалось в Ницце, — вспоминал Георгиевский, — и прежде всего обратился к Ф.И. Тютчеву с воплями о помощи свыше, подробно описав ему все те истязания и пытки, которым мы подвергались. А вечером 30 декабря я отправил к нему депешу, извещая, что Катков заготовил уже передовую прощальную статью с публикой, и прося его поспешить помощью» (*ЛН-2.* С. 133). 1/13 января 1865 г. Тютчев отвечал телеграммой: «Продолжайте ваши труды» (*ЛН-1.* С. 386. Перевод с *фр.*). За газету Каткова вступился также Московский университет, обратившийся с соответствующим ходатайством в Комитет министров, который вынес решение «предоставить министру внутренних дел оказать редакции возможные облегчения в применении к ним цензурных правил» (там же. С. 389). Этим указанием было предопределено и решение Совета Главного управления по делам печати от 14 января: Совет отказался от каких бы то ни было взысканий в адрес «Московских ведомостей».

[2] Проект нового устава, или закона, о печати был представлен на рассмотрение в Государственный совет 7 января 1865 г. Утвержден 6 апреля 1865 г. (см. письмо 54).

[3] Выражение принадлежит Ювеналу (Сатиры. I. 168).

[4] В передовой статье «Московских ведомостей» от 13 января 1865 г. (№ 9), посвященной «вопросу о политических партиях, о взаимной борьбе между ними», воспроизведены мысли, высказанные в письме Тютчева, и повторены некоторые из своеобразных выражений его письма, как, например, «безнародность русской верховной власти», «медиатизация русской народности», т. е. низведение ее на степень не господствующей, а подчиненной в России силы. Автором этой статьи был Георгиевский.

[5] В контексте настоящего письма дважды повторенное местоимение «его» относится к представителю верховной власти, т. е. императору.

[6] Тютчев имеет в виду проведение крестьянской реформы 1864 г. в Северо-Западном крае и в Царстве Польском.

[7] Мф. 10, 22.

[8] Речь идет о назначении вел. кн. Константина Николаевича председателем Государственного совета. Официальное назначение

состоялось 1 января 1865 г., но решение об этом было принято значительно раньше (*Никитенко*. Т. 2. С. 486).

[9] В 1861–1864 гг. лифляндским, эстляндским и курляндским генерал-губернатором был бар. В.К. Ливен; в 1864 г. его сменил на этой должности начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением гр. П.А. Шувалов.

[10] Имеется в виду гр. А.П. Шувалов, обер-гофмаршал императорского двора; обычно сопровождал императрицу в ее путешествиях, поэтому зимой 1864–1865 гг. находился в Ницце.

[11] Крестьянское движение, развернувшееся в 1840-х гг. в Прибалтике, сопровождалось переходом значительной части крестьян из лютеранства в православие. Однако преследования со стороны остзейских баронов, у которых эти крестьяне находились в феодальной зависимости, повлекли за собой обратный процесс. С начала 1860-х гг. в высшие административные сферы поступило множество заявлений о желании латышей и эстов вернуться к лютеранскому вероисповеданию (*РА*. 1898. № 12. С. 583–586). В 1864 г. для выяснения сложившейся ситуации в Остзейский (Прибалтийский) край был послан гр. В.А. Бобринский. В написанном Бобринским рапорте говорилось о необходимости предоставить прибалтийскому населению право исповедовать религию по влечению совести и о безуспешности попыток удержать принудительными мерами уклоняющихся от православия (там же. С. 586–588). Донесение гр. Бобринского не имело результата. Законы, сдерживавшие обратный переход из православия в лютеранство, не были отменены. Кн. А.А. Суворов, петербургский генерал-губернатор, сохранил интерес к происходившему в крае, поскольку до 1861 г. возглавлял Прибалтийские губернии.

[12] В одной из передовых статей (*МВ*. 1864. № 266, 4 дек.) Катков писал, что принятые во Франции и Германии законы о печати не могут служить образцом для русского законодательства.

[13] О папской *энциклике* 8 декабря 1864 г. и отношении к ней Тютчева см.: письмо 170, примеч. 3.

44. В РЕДАКЦИЮ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 2. Ед. хр. 10. Л. 1–1 об. Первая публикация — *Тютч. сб.* С. 26.

[1] В аксаковском «Дне» было опубликовано, по неточному списку Д.Ф. Тютчевой, стихотворение, названное в письме *пьесой*, —

«Как хорошо ты, о море ночное...» (1865. № 4). В исправленной редакции оно было напечатано в «Русском вестнике» (1865. № 2) вместе с тремя посланными ранее стихотворениями (см. письмо 42), но помещено не на третьем, а на четвертом месте.

45. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 14–15 об.

Первая публикация – отрывок: *Тютч. сб.* С. 26; полностью: *ЛН-1.* С. 390–391.

[1] Царский рескрипт на имя министра внутренних дел (Северная почта. 1865. № 24, 30 янв.) был ответом на адрес московского дворянства, обратившегося к царю с ходатайством о созыве «общего собрания выборных людей земли русской для обсуждения нужд, общих всему государству», т. е. парламента (Весть. 1865. № 4, 14 янв.). Эта попытка дворянского конституционализма вызвала резкую отповедь со стороны Александра II, указавшего в рескрипте, что московское дворянство «вошло в обсуждение предметов, прямому ведению его не подлежащих», поскольку все преобразования в государстве находятся исключительно в ведении самодержавной власти. Последовали и репрессии: Московское дворянское собрание было временно закрыто, газета «Весть», в которой были напечатаны «адрес» и речи при его обсуждении, приостановлена на 8 месяцев, а ее редактор предан суду.

[2] Наиболее отчетливо устремления московского дворянства выразились в речи известного англомана гр. В.П. Орлова-Давыдова, выступившего с предложением создать две представительные палаты по образцу английского парламента: верхнюю — чисто дворянскую, по выбору дворянских собраний, и нижнюю — всесословную, по выбору земских собраний (Весть. 1865. № 4, 14 янв.).

[3] Свое отношение к адресу московского дворянства Тютчев выразил в эпиграмме «Себя, друзья, морочите вы грубо...» («Ответ на адрес»).

[4] Говоря о *поклонниках*, Тютчев имеет в виду Московское дворянское собрание, заявившее 5 января 1865 г. о своем сочувствии Каткову (*МВ*. 1865. № 12, 16 янв.).

[5] См. письмо 44, примеч. 1.

[6] Это желание Тютчева было выполнено.

46. А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 66–67 об.

Первая публикация — в русском переводе, отрывок: *Изд. 1945*. С. 289; полностью: *Изд. 1984*. С. 275–277.

[1] Речь идет о смерти Эл. Ф. Тютчевой и Е.А. Денисьевой.

[2] Имеется в виду семья гр. Пьера Таше де ля Пажери, двоюродного брата жены Наполеона I Жозефины (урожд. Таше де ля Пажери). После падения Первой наполеоновской империи семья Таше жила в Мюнхене, при резиденции принца Евгения (сына Жозефины). Придя к власти, Наполеон III (племянник Наполеона I и внук Жозефины) вернул мюнхенских Таше во Францию и назначил Пьера Таше сенатором, а его сына Шарля Таше камергером двора.

47. А. М. ГОРЧАКОВУ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 726. Л. 13–14 об.

Первая публикация — в русском переводе: *ЛН. Т. 19–21*. С. 227.

[1] При этом письме было послано стихотворение, посвященное памяти М.В. Ломоносова, — «Он, умирая, сомневался...».

[2] Имеется в виду стихотворение А.Н. Майкова «Ломоносов» («В печали невская столица...»). Так же как и упомянутое выше стихотворение Тютчева, было написано по случаю отмечавшейся 4 апреля 1865 г. столетней годовщины со дня смерти М.В. Ломоносова.

48. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 25–25 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 392–393.

[1] Письму предшествуют строки, обращенные к М.А. Георгиевской: Тютчев высказывает опасения по поводу ее здоровья и советует ей начать серьезное лечение.



[2] *Compelle intrare* (Заставь войти — *лат.*) — Лк. 14, 23. Выражение стало употребляться для обозначения вынужденного согласия.

[3] Смерть двух детей Тютчева и Е.А. Денисьевой — Елены и Николая, скончавшихся в один день, 2 мая 1865 г.

[4] Тютчев предполагал возможность нового столкновения между сторонниками ограниченной автономии Царства Польского и ее противниками (см. письмо 39, примеч. 6). В этом столкновении нашли отражение различные точки зрения на средства борьбы с национально-освободительным движением в Польше. Вел. кн. Константин Николаевич и его сторонники считали нужным предоставить Польше определенные политические права, в результате чего правительство смогло бы приобрести опору среди привилегированных классов. Н.А. Милютин, несогласный с такой «примирительной» политикой, полагал необходимым привлечь на свою сторону польское крестьянство путем проведения ряда аграрных реформ.

[5] К.П. Кауфман — генерал-адъютант, в конце апреля 1865 г. был назначен генерал-губернатором Северо-Западного края, сменив на этом посту М.Н. Муравьева.

[6] Точное название этой книги: «Situation de la Pologne au 1[er] janvier 1865. Par Alexandre Moller». P., 1865.

[7] 13 мая «С.-Петербургские ведомости» (№ 118) перепечатали выдержки из речи, с которой выступил в Аяччо, на открытии памятника фамилии Бонапартов, принц Наполеон Бонапарт, двоюродный брат Наполеона III. Высказанная им политическая программа резко противоречила принципам внешней политики императора Франции. Наполеон III ответил посланием, в котором указывал принцу на недопустимость занятой им позиции и предупреждал: «Чтобы одолеть умственную анархию <...> император <Наполеон I> ввел в своем семействе, в своем правительстве ту строгую дисциплину, которая допускала только одну волю, один образ действий. В будущем я намерен действовать по таким же правилам» (*СПб. вед.* 1865. № 121, 16 мая).

[8] По-видимому, Тютчев имел в виду сообщения газет о формировании в США отрядов волонтеров для вторжения в Мексику, где в это время Наполеон III пытался создать Мексиканскую империю во главе со своим ставленником, австрийским эрцгерцогом Максимилианом. «Все это движение, — передавали «Московские ведомости» сообщение нью-йоркского корреспондента «Allgemeine Zeitung», — направлено против императора Наполеона, образ действий которого в пору междоусобий возбудил против него сильнейшее недоброжелательство в Соединенных Штатах» (*МВ.* 1865. № 108, 20 мая).

49. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 16–16 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 393–394.

[1] М.А. Георгиевская ездила в Петербург на похороны детей Тютчева — Елены и Николая (см. письмо 48, примеч. 3).

[2] Неуверенный в прочном положении редакции «Московских ведомостей» Георгиевский начал подыскивать *казенную службу*. Совершались эти поиски при участии и содействии Ф.И. Тютчева.

[3] Тютчев неоднократно вел переговоры о Георгиевском с И.Д. Деляновым, попечителем Петербургского учебного округа (1858–1866), затем товарищем министра народного просвещения (1866–1874).

[4] См. письмо 48, примеч. 4.

[5] Похороны наследника, цесаревича Николая Александровича, состоялись 28 мая 1865 г. в Петербурге. На следующий день Александр II принял представителей Царства Польского, прибывших на похороны, и обратился к ним с речью, напечатанной в «Северной почте» (1865. № 120, 5 июня). По воспоминаниям Георгиевского, «весь смысл и вся сила» этой речи заключались в том, что император давал понять, что не допустит автономии Польши (*ЛН-2*. С. 136).

[6] Георгиевские согласились на просьбу Тютчева, чтобы сын его и Денисьевой Федя провел лето в их семье, однако этот план не был осуществлен.

50. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

М.А. Георгиевская (урожд. Денисьева) — жена А.И. Георгиевского, сводная сестра Е.А. Денисьевой.

Печатается впервые полностью по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 6–7 об.

Первая публикация – отрывок: *ЛН-2*. С. 141.

В журнале «Дружба народов» (1999. № 4. С. 205–221) были напечатаны письма Тютчева к М.А. Георгиевской по неточным копиям, сделанным сыном Георгиевских Л.А. Георгиевским.

[1] 15 июля — день именин сына Георгиевских Владимира.



51. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается впервые полностью по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 8–9 об.

Первая публикация — отрывок: *ЛН-2*. С. 141.

[1] См. письмо 52, примеч. 1.

[2] «Нашему Володе, — вспоминал А.И. Георгиевский, — было в то время лет шесть, и понятно, как он должен был радоваться, когда в наших прогулках в коляске с Федором Ивановичем по Москве, в Петровский парк или в Сокольники мы сажали его на козлы рядом с кучером, и кучер время от времени в наиболее безопасных местах передавал ему свои вожжи» (*ЛН-2*. С. 141).

52. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается впервые полностью по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 10–11 об.

Первая публикация — отрывок: *ЛН-2*. С. 142.

[1] Сыновья М.А. и А.И. Георгиевских — Владимир Александрович (1859–1909) и Лев Александрович (1860–?).

[2] Об О.А. Новиковой (урожд. Киреевой) Л.А. Георгиевский писал: «Отец мой был в очень хороших и простых отношениях со всей семьей и Киреевых, и Новиковых, так что приглашение его О.А. Новиковой в утренние часы — 7 часов утра, конечно, преувеличение — послушать ее пение ничего необыкновенного не представляло» (*ЛН-2*. С. 142).

[3] Речь идет о кн. Н.С. Назарове. А.И. Георгиевский вспоминал: «В <сентябре> 1865 г., узнав, что Мари собирается на пикник “на тройках” <...> Федор Иванович тотчас же предложил себя в кавалеры Мари <...> и был, конечно, одним из лучших украшений пикника. Общество собралось большое, в том числе и многие из членов нашей редакции, как то: князь Назаров с молодою очень красивою и привлекательною женой, Щебальский, Александр Павлович Ефремов, большой приятель Каткова, и многие другие <...> Вечер прошел очень весело и оживленно, как и следовало ожидать при таких отличных и остроумных собеседниках, как Щебальский, Ефремов, не говоря уже о самом Тютчеве. Князь Назаров, не помню, в чем-то преступил даже границу общего веселья и

оживления, и когда Мари заметила своему соседу вполголоса, что князь, должно быть, лишнее выпил, Тютчев отвечал ей: "Нет, кажется, он и родился пьян". По-видимому, князь Назаров на этом вечере произвел довольно сильное впечатление на Тютчева: по крайней мере, в своих письмах он не раз еще добродушно о нем поминает» (*ЛН-2*. С. 142).

53. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается впервые полностью по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 12–13 об.

Первая публикация — отрывки (с неверной датой): *ЛН-2*. С. 141, 154.

[1] Речь идет о государственном деятеле Н.А. Милютине, который в 1864 г. руководил проведением крестьянской реформы в Польше, и его брате Д.А. Милютине, военном министре в 1861–1881 гг. В своих воспоминаниях, приведя эти строки из письма Тютчева, Георгиевский писал: «Для меня, конечно, было очень лестно, что Н.А. Милютин, как, без сомнения, и брат его, Дмитрий Алексеевич, желали возобновить порванную связь со мною и вновь залучить меня в редакцию "Русского инвалида": из этого очевидно было, что я не оставил у них дурных о себе воспоминаний; но само собою разумеется, что я, нисколько не колеблясь, предпочел остаться при "Московских ведомостях"» (*ЛН-2*. С. 154).

[2] Н.И. Соц — с 1865 г. начальница Первой женской гимназии в Москве. Была назначена на эту должность при содействии Тютчева. Об Н.С. Назарове см.: письмо 52, примеч. 3.

[3] 3 октября 1865 г. в № 215 «Московских ведомостей» была помещена статья («Москва 2-го октября»), направленная против газеты «Весть», которая обрушивалась «во имя принципа собственности и интересов крупного землевладения» на администрацию Западного края и Царства Польского. В таком «желчном» порицании местной администрации автор «Московских ведомостей» видел помеху в деле окончательного умиротворения края.

[4] Раида — горничная Георгиевских.

[5] Софья Петровна Каткова.

[6] Имеются в виду А.М. Мещерская (во втором браке Ларме), подруга Е.А. Денисьевой, и ее дочь (см.: Дружба народов. 1999. № 4. С. 211).

54. М. Н. КАТКОВУ

Печатается по автографу – РГБ. Ф. 120. К. 11. Ед. хр. 23. Л. 1–2 об. Первая публикация – *ЛН-1*. С. 418–419.

[1] 1 сентября 1865 г. вступил в действие новый закон о печати, утвержденный 6 апреля. Тогда же начал действовать новый Совет Главного управления по делам печати, в состав которого входил Тютчев. Очень скоро иллюзии его в отношении возможности воздействовать на Совет развеялись (см. примеч. 3).

[2] Закон 6 апреля предусматривал для периодических изданий отмену предварительной цензуры с заменой ее последующей цензурой карательной: министр внутренних дел получал право объявлять предостережение тем изданиям, в которых Совет Главного управления по делам печати усматривал «вредное направление»; третье предостережение служило основанием для приостановки издания на срок до шести месяцев или для ходатайства перед Сенатом о его прекращении. Эта система была заимствована из французского законодательства о печати, введенного в 1852 г.

[3] Вскоре Тютчев убедился, что применение закона 6 апреля приобрело именно *полицейско-враждебный к свободе мысли и слова* характер: в течение первых трех месяцев его действия было объявлено пять предостережений изданиям самых разных направлений. Уже в декабре Тютчев доказывал П.А. Валуеву, что «репрессивная система, принятая им, ни к чему хорошему не приведет», и «с негодованием рассказывал <...> о Совете, от участия в делах которого он решительно отказался» (*Никитенко*. Т. 2. С. 554–555). Об отношении его к закону 6 апреля см. также в письме 60.

[4] Намерение Совета Главного управления по делам печати поместить в «Северной почте» статью, разъясняющую смысл системы предостережений, не было реализовано.

[5] «Современник» выступил с резкой критикой закона 6 апреля и, ссылаясь на опыт французской администрации, предупреждал о «подводных камнях», которыми грозит установленный этим законом режим «нетерпимости и крайнего произвола» (Антонович М.А. Надежды и опасения // Современник. 1865. № 8. С. 188).

[6] Две редакционные статьи «Голоса» (1865. № 269 и 279, 29 сент. и 9 окт.) были посвящены изменениям во французских законах о печати (в 1865 г. система предостережений во Франции была практически упразднена, хотя и не отменена формально). «Голос» утверждал, что предоставленное администрации «право жизни и

смерти над журналом», право бесконтрольное, ничем не ограниченное, ведет к «деморализации» журналистики и общественного мнения, а вместе с тем деморализует и самих представителей власти, осуществляющих этот произвол. «Страннее, аморальнее этого положения трудно придумать!» — писал «Голос», отмечая, что «то самое правительство, которому принадлежит изобретение административного суда над печатью» (т. е. правительство Франции), пришло к убеждению о несостоятельности своего «изобретения».

[7] Из письма В.П. Безобразова М.Н. Каткову становится известно, что Тютчев вместе с Д.А. Оболенским были инициаторами предполагавшейся декларации Совета Главного управления по делам печати: «Члены Совета расходятся между собой и с министром внутренних дел. Было решено и составлено большинством опубликование profession de foi правительства относительно прессы — дабы отклонить всякую солидарность русской системы с французской. На этом настаивают Оболенский и Тютчев, но министр внутренних дел не решается» (*ЛН-2*. С. 379).

[8] *Сеид* — господин, глава племени (*араб.*).

[9] Намек на субсидию, которую «Голос» получил от Министерства народного просвещения.

55. Н. Ф. ЩЕРБИНЕ

Н.Ф. Щербина — поэт, автор антологических и сатирических стихотворений. Ф.И. Тютчев посвятил ему стихотворение, опубликованное в журнале «Русский вестник» с датой «Петербург. 4 февраля 1857» — «Н.Ф. Щербине» («Вполне понятно мне значенье...»).

Печатается впервые по автографу — *ИРЛИ*. Ф. 274. Оп. 3. Ед. хр. 220. Л. 1.

Год написания устанавливается на следующем основании. В письме речь идет о подготовленном Н.Ф. Щербиной в 1865 г. сборнике «для народного чтения» «Пчела», который Тютчев и назвал «настольною книгою русского простолюдина». Кроме того, воскресенье выпадало на 17 октября в 1865 г.

56. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 18–19 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 394–396.



[1] См. письмо 54, примеч. 1–7.

[2] Имеются в виду наставления, которые Полоний дает своему сыну Лаэрту (Шекспир. Гамлет. Акт I. Сц. 3).

[3] Речь идет о сыне сенатора Г.А. Катакази К.Г. Катакази, чиновнике особых поручений при вице-канцлере.

[4] Имеется в виду национально-освободительное движение славянских народов Австрийской империи.

[5] Эту роль во Львове играли издания Я.Ф. Головацкого.

[6] Речь идет о приезде в Москву на свадьбу дочери Анны и И.С. Аксакова, которая должна была состояться 12 января 1866 г.

57. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается впервые полностью по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 14–15 об.

Первая публикация — отрывок: *ЛН-2*. С. 154.

[1] См. письмо 56, примеч. 6.

[2] Имеется в виду магистерская диссертация А.И. Георгиевского, опубликованная в 1865 г., «Галлы в эпоху Кайя Юлия Цезаря» (М., 1865).

[3] Речь идет об Анне Дмитриевне Денисьевой.

58. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 16–17 об.

Первая публикация — отрывок: «Литературная газета». 1936. № 3, 15 янв.; полностью: *Изд. 1984*. С. 277–278.

[1] 23 ноября/5 декабря — день рождения Ф.И. Тютчева.

59. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 20–21 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 396–397.

[1] Вероятно, Георгиевский подарил Тютчеву (а также Делянову) свою книгу «Галлы в эпоху Кайя Юлия Цезаря» (М., 1865). Это была его магистерская диссертация, о защите которой идет речь ниже.

[2] После защиты диссертации Георгиевский получил место приват-доцента по кафедре всеобщей истории историко-филологического факультета Московского университета.

[3] Немецкое юнкерство и буржуазия Остзейского края были озабочены сохранением привилегий остзейских баронов и господствующего положения немецких магистратов в городах. Консервативная немецкая печать Остзейского края активно выступала в защиту этих привилегий, что вызвало ряд полемических выступлений со стороны «Московских ведомостей» и других газет, возражавших против «сепаратизма» прибалтийской печати. Эта полемика, особенно обострившаяся в 1865 г., была сочтена в «верхах» неуместной, что повлекло за собой соответствующий циркуляр Главного управления по делам печати (см. письмо 61, примеч. 3).

60. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 4–5 об.

Первая публикация – *Мурановский сб.* С. 11–14.

[1] В передовой статье «Дня» от 4 декабря 1865 г. (№ 49) Аксаков заявил, что готов начать полемику в защиту принципов славянофильства с М.А. Антоновичем, автором статьи «Суемудрие “Дня”» (Современник. 1865. № 10). При этом он сделал оговорку, что будет вынужден воздержаться от полемики в том случае, если за статью Антоновича «Современнику» будет объявлено предостережение (о том, что оно готовится, Аксаков узнал от Тютчева). Предостережение было дано, и в ближайшем номере «Дня» Аксаков напечатал следующее заявление: «5 декабря в “Северной почте” напечатано предостережение “Современнику” именно по поводу статьи г. Антоновича. Этим способом, к величайшему нашему сожалению и к вящему успеху и торжеству враждебных нам мнений по вопросам веры, церкви и т. д., прекращается для нас возможность бороться с нашими противниками вполне равным оружием, и мы вынуждаемся приостановить с ними всякую полемику» (№ 50–51, <11 дек.> – Смесь).

[2] Так называемая система предостережений (т. е. карательная цензура) по отношению к периодическим изданиям, введенная законом 6 апреля 1865 г., была заимствована из французского законодательства о печати. Оценку этого «плагиата» см. в письме 107. О содержании системы предостережений и об отношении к ней Тютчева см.: письмо 54, примеч. 1–3.

[3] Тютчев протестовал против введения французской системы предостережений еще в сентябре 1858 г., когда эта идея была высказана впервые (*Никитенко.* Т. 2. С. 37).

[4] С января 1866 г. Аксаков прекратил издание «Дня». К этому вынудило его сокращение числа подписчиков, которое повлекло за собой серьезные материальные затруднения. Тютчеву были хорошо известны эти обстоятельства — он знал о них от самого Аксакова (*Никитенко.* Т. 2. С. 540).

61. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 22–23 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 397.

[1] См. письмо 48, примеч. 6.

[2] Тютчев приехал в Москву на свадьбу дочери Анны (см. письмо 56, примеч. 6).

[3] 15 декабря 1865 г. в «Северной почте» (№ 273) был опубликован циркуляр начальника Главного управления по делам печати «отдельным цензорам по внутренней цензуре в Прибалтийском крае». В нем указывалось, что полемика между русской и прибалтийской печатью (см. о ней: письмо 59, примеч. 3) не дала положительных результатов и еще более затемнила проблемы, которых она касалась; вместе с тем обращалось внимание московских и петербургских газет на односторонность их суждений о прибалтийских делах. Катков ответил на циркуляр двумя передовыми статьями (*МВ.* 1865. № 277 и 281, 17 и 22 дек.), в которых заявил, что этот циркуляр не может заставить его газету отказаться от обсуждения дел Прибалтийского края и от полемики с прибалтийскими газетами. О *наставлениях* Полония см.: письмо 56, примеч. 2.

[4] Об этом разговоре см: письмо 54, примеч. 3.

[5] Эти обещания не были выполнены.

62. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 18–19 об.

Первая публикация — *Изд. 1984.* С. 280.

18 Зак. 7509

[1] П.К. Щебальский, историк и публицист, был хорошо знаком с Тютчевым.
[2] *Mlle Soz* — Н.И. Соц. См. о ней: письмо 53, примеч. 2.
[3] Александра Дмитриевна Денисьева.
[4] 2 мая 1865 г. умерли дети Тютчева и Е.А. Денисьевой — Елена и Николай.

63. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 2–3 об.

[1] Свадьба Анны Федоровны состоялась, как и предполагалось, 12 января 1866 г.
[2] 5 февраля 1865 г. младшая дочь поэта М.Ф. Тютчева вышла замуж. Ее мужем стал Н.А. Бирилев, флигель-адъютант, капитан 1-го ранга, герой обороны Севастополя. Свадьба состоялась в Ницце.
[3] Речь идет об О.С. Аксаковой, вдове писателя С.Т. Аксакова.

64. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается впервые полностью по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 21–22 об.
Первая публикация — отрывки: *ЛН-2*. С. 144, 154–155.

[1] 30 января 1866 г. родилась внучка Тютчева Мария Бирилева.
[2] Речь идет об Анне Алексеевне Благово, родной сестре Н.А. Бирилева. «Она воспитывалась в Смольном, — вспоминал А.И. Георгиевский, — вместе с моею женою, и они снова сошлись и были в большой дружбе между собою в Москве» (*ЛН-2*. С. 144).
[3] Какие слухи имеются в виду, неизвестно.
[4] «Московские ведомости» 15 и 20 января 1866 г. (№ 11 и 15) сообщали о том, что возник конфликт между одесским начальством и министром финансов, оспаривавшим «права Одессы на свободу от воинских постоев». На заседании Одесской городской думы было предложено избрать «двух-трех лиц, которые бы рассмотрели дело во всей подробности и начали в Сенате процесс против министра финансов». В результате одесскому городскому голове кн. Воронцову было объявлено «высочайшее неудовольствие» (*Валуев II*. С. 459).



65. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 28–31 об.

Первая публикация – *ЛН-1.* С. 398–399.

[1] А.И. Георгиевский вспоминал об одной из встреч с Ф.И. Тютчевым в Москве: «...мы много толковали о различных планах относительно перехода моего на службу в Петербург в Министерство народного просвещения, и Тютчев тем более рассчитывал на успешность наших планов, что тем временем И.Д. Делянов был назначен товарищем министра народного просвещения» (*ЛН-2.* С. 155).

[2] Дунайские княжества (Молдавия и Валахия) – один из объектов соперничества Турции, Австрии и России в борьбе за влияние на Балканах; находились под властью Турции и вместе с тем под протекторатом держав, подписавших Парижский мирный договор 1856 г.; при этом оба княжества должны были сохранять полную автономию по отношению друг к другу. Однако в 1859 г. и Молдавия, и Валахия избрали на пост господаря одно лицо – полковника Александра Кузу, который провел их фактическое объединение в сфере административной и военной. Державы-покровительницы, а за ними и Турция были вынуждены признать это объединение, но лишь на время правления Кузы. Тем не менее в декабре 1861 г. Куза официально провозгласил объединение княжеств. 11/23 февраля 1866 г. Куза был свергнут с престола в результате заговора коалиции сил, недовольных проведенными им внутренними реформами. После свержения Кузы коалиция, совершившая этот переворот, спешила узаконить его в глазах европейских государств, сохранив при этом, путем уступок интересам этих государств, фактическое объединение Молдавии и Валахии, достигнутое Кузой. Одной из уступок было решение об избрании на престол «Соединенных Дунайских княжеств» иностранного кандидата (такой кандидат был нужен европейским державам, чтобы контролировать положение в княжествах). Господарем был провозглашен гр. Филипп Фландрский, второй сын бельгийского короля, однако он отверг предложенный ему трон, после чего господарем был избран Карл Людвиг Гогенцоллерн.

[3] Хотя объединение двух Дунайских княжеств было признано Турцией в 1861 г., они продолжали оставаться под ее сюзеренитетом и платили ей дань.

[4] 14 февраля 1866 г. Совет Главного управления по делам печати объявил, в соответствии с законом от 6 апреля 1865 г., третье предо-

стережение демократическому журналу «Русское слово», а 16 февраля журнал был приостановлен на пять месяцев и на этом фактически прекратил свое существование (*Материалы о цензуре и печати*. Ч. II. С. 124–125).

66. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 26–27 об.

Первая публикация — *ЛН-2*. С. 144–145.

[1] Имеется в виду П.М. Леонтьев, соредактор М.Н. Каткова.

67. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 70–71 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 282–284; на языке оригинала и в русском переводе: *ЛН-1*. С. 266–267.

[1] Первые месяцы после свадьбы (12 янв. 1866 г.) Анна Федоровна и ее муж провели в Абрамцеве, подмосковном имении Аксаковых. При жизни С.Т. и К.С. Аксаковых там бывали Гоголь, Загоскин, Хомяков, Тургенев и многие другие деятели литературы. 1 мая 1866 г. Тютчев посетил молодых Аксаковых в Абрамцеве (*Летопись*. С. 178).

[2] См. письмо 60, примеч. 4.

[3] Западноевропейская печать утверждала, что переворот в «Соединенных Дунайских княжествах» (см. письмо 65, примеч. 2) был спровоцирован Австрией, ищущей повода для оккупации княжеств и уже стянувшей войска к их границам. В день, когда Тютчев писал свое письмо, русская официальная печать заявила, что Россия не может «позволить другим державам хозяйничать в тех делах, в которых непосредственно заинтересована», а потому не может «отнестись равнодушно к занятию Дунайских княжеств австрийцами» (*СПб. вед.* 1866. № 55, 25 февр./9 марта). Для обсуждения создавшегося положения в Париже была спешно созвана конференция держав-покровительниц. 26 февраля для участия в ней выехал из Петербурга русский посол во Франции А.Ф. Будберг (*СПб. вед.* 1866.



№ 58, 28 февр./12 марта). Об отношении Тютчева к этим событиям см.: письмо 68.

[4] Дочь Тютчева Дарья Федоровна страдала нервным расстройством. В связи с ее состоянием Тютчев вспоминает слова французского писателя Бернара де Фонтенеля (1657–1757), который прожил сто лет и лишь перед самой смертью посетовал на *«обременительность бытия»*.

[5] 11 декабря 1865 г. в «Дне» (№ 50–51) был напечатан «Некролог» декабриста С.Г. Волконского. Автором его был Аксаков, к которому 2 декабря обратился с просьбой сын покойного М.С. Волконский: «Зная, как искренно отец уважал вас и все ваше семейство и как тесно привязывало его к вам общее вам чувство беспредельной любви к родине, которым он жил всю свою жизнь, я желал бы, чтоб именно ваш журнал известил друзей отца моего, разбросанных от Сибири до Западной Европы, о его кончине» (*ИРЛИ*. Ф. 57. Оп. 3. Ед. хр. 20).

68. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 32–35 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 400–401.

[1] Тютчев писал о возможности возникновения войны между Пруссией и Австрией. Это предвидение оправдалось: война началась в июне 1866 г. и закончилась полтора месяца спустя победой Пруссии.

[2] 28 марта/9 апреля 1866 г. Пруссия выступила с предложением созвать общегерманский парламент.

[3] Напоминанием о Тридцатилетней войне (1618–1648), причиной которой было стремление империи Габсбургов уничтожить автономию германских княжеств, Тютчев подчеркивал, что для раздробленной Германии неизбежны междоусобные войны, порожденные столкновением двух тенденций – к сохранению автономии княжеств, с одной стороны, и к объединению их в единое государство, с другой. Мысль о том, что установившийся после Венского конгресса (1814–1815) союз германских государств с Россией обеспечивал политическое равновесие в Германии, Тютчев высказал впервые в 1844 г. в статье «Россия и Германия» (т. 3 наст. изд.).

[4] Основные идеи письма Тютчева нашли отражение в статье А.И. Георгиевского (*МВ*. 1866. № 67, 1 апр.).

[5] Парижская конференция по вопросу о Дунайских княжествах начала работу в марте 1866 г. (см. письмо 67, примеч. 3).

[6] *Mors Caroli — vita Conradini, mors Conradini — vita Caroli* (Смерть Карла — жизнь Конрадина, смерть Конрадина — жизнь Карла — *лат.*) — поговорка, возникшая в Италии в эпоху борьбы гвельфов и гибеллинов (в 1268 г. последний Гогенштауфен Конрадин Швабский, призванный гибеллинами, был взят в плен главой гвельфов Карлом Анжуйским и казнен по его приказу).

[7] О нотах А.М. Горчакова по польскому вопросу см.: письмо 10, примеч. 1.

[8] 26 марта 1866 г. было принято решение объявить предостережение «Московским ведомостям» за передовую статью в № 61 от 20 марта, предъявлявшую «правительственным сферам» обвинение в стремлениях, присущих «врагам России». Предостережение было мотивировано тем, что «нельзя допускать», чтобы издатели газеты «обвиняли в государственной измене всех тех, которые не разделяют вполне их воззрений. <...> Дальнейшее снисхождение имело бы вид поставления этой газеты как бы вне общего закона» (*Материалы о цензуре и печати.* Ч. II. С. 127). 31 марта 1866 г. в «Северной почте» предостережение было опубликовано (№ 66).

[9] 29/<17> марта 1866 г. газета «Le Nord» (№ 88) напечатала под заглавием «Политическая ситуация в России» адресованное в редакцию письмо анонимного петербургского корреспондента от 10/22 марта. Автор его, представленный как «лицо уполномоченное» и «беспристрастное», квалифицировал деятельность «Московских ведомостей» как «вредную» и «опасную». В одной из ближайших передовых статей (*МВ.* 1866. № 65, 25 марта) Катков выступил против этого письма.

69. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 36–37 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 402.

[1] Речь идет о телеграмме от 3 апреля 1866 г. следующего содержания: «Убедительно просим вас немедленно выполнить требуемое законом» (*ЛН-1.* С. 402). Содержание телеграммы объяснялось позицией, занятой М.Н. Катковым в связи с объявленным ему предостережением (см. письмо 68, примеч. 8). По закону 6 апреля 1865 г.



редактор, получивший предостережение, был обязан напечатать его в ближайшем номере своего издания. Если это не исполнялось, на каждый номер в течение трех месяцев накладывался штраф, а по истечении этого срока издание прекращалось. Катков отказался напечатать предостережение и заявил, что будет платить штрафы, а через три месяца откажется от издания газеты.

[2] Позицию противников Каткова в правительственной среде сформулировал А.В. Никитенко: «Каково бы ни было правительство <...> рядом с ним не может быть терпима сила, стремящаяся заодно с ним управлять государством. "Московские ведомости", поощренные успехом, последнее время именно приняли такой характер» (*Никитенко*. Т. 3. С. 21).

[3] Катков не последовал этим советам и настаивал на своем праве не принимать необоснованное, с его точки зрения, предостережение (*МВ*. 1866. № 69, 3 апр.). Эта позиция была чревата закрытием газеты. Через месяц последовали еще два предостережения и как их следствие — решение о приостановке газеты. О дальнейшем ходе дела Каткова см.: письмо 76, примеч. 3; письмо 79, примеч. 4; письмо 81, примеч. 1.

70. А.Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 72–73 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 268–270.

[1] Следственная комиссия начала работать 5 апреля 1866 г. — на следующий день после покушения Д.В. Каракозова на Александра II. Ввиду того что она «действовала слабо» (*Никитенко*. Т. 3. С. 25) и за три дня ничего не раскрыла, 8 апреля председателем ее был назначен М.Н. Муравьев.

[2] 26 марта 1866 г. по инициативе П.А. Валуева было объявлено предостережение «Московским ведомостям» за передовую статью в № 61 от 20 марта (см. примеч. 6).

[3] В.П. Полисадов, настоятель Петропавловского собора, по распоряжению властей обращался к Каракозову со «священническими увещаниями».

[4] Было распространено мнение, что Каракозов — «орудие нашего нигилизма в связи с заграничным революционным движением» (*Никитенко*. Т. 3. С. 25).

[5] Это прозвище выражает ироническое отношение к ораторским склонностям Валуева: крупнейший из афинских государственных деятелей Перикл (ок. 495–429 до н. э.) обладал великолепным ораторским даром.

[6] Валуев мотивировал предостережение (см. примеч. 2) тем, что «нельзя допускать», чтобы издатели газеты «обвиняли в государственной измене всех тех, которые не разделяют вполне их воззрений» (см. письмо 68, примеч. 8).

[7] В передовой статье «Московских ведомостей» от 3 апреля 1866 г. (№ 69) М.Н. Катков заявил о своем отказе принять объявленное ему предостережение (см. письмо 69, примеч. 1 и 3).

[8] Осенью 1865 г. Аксаков думал о превращении своей газеты в журнал (*Цимбаев*. С. 122; см. также объявление об этом издании в последнем номере «Дня» — 1865. № 52, 18 дек.). Вероятно, весной 1866 г. он вновь возвращался к мысли об издании журнала.

71. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается впервые полностью по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 25–26 об.

Первая публикация — отрывки: *ЛН-2*. С. 147–148.

[1] 12 апреля — день рождения Д.Ф. Тютчевой.

[2] 12 апреля 1865 г. в Ницце умер старший сын Александра II вел. кн. Николай Александрович.

[3] О назначении М.Н. Муравьева см.: письмо 70, примеч. 1.

[4] После выстрела Каракозова кн. В.А. Долгоруков просил Александра II уволить его от должности жандармского шефа как «человека неспособного, не умевшего принять мер к охранению особы государя» (*Никитенко*. Т. 3. С. 26).

72. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 40–40 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 466–467.

Датируется по содержанию (см. примеч. 1–4).

[1] Речь идет о покушении Д.В. Каракозова на Александра II (4 апр. 1866 г.).



[2] О назначении генерал-губернатора Северо-Западного края М.Н. Муравьева председателем Верховной комиссии по делу Каракозова см.: письмо 70, примеч. 1.

[3] 14 апреля 1866 г. гр. Д.А. Толстой был назначен министром народного просвещения. Об отношении Тютчева к этому назначению см.: письмо 74.

[4] Эти предположения не оправдались — Ю.Ф. Самарин не был привлечен к работе в Министерстве народного просвещения.

[5] Отказ М.Н. Каткова напечатать объявленное его газете предостережение мог повлечь за собой ее запрещение (см. письмо 69, примеч. 1).

[6] То есть пожертвовать интересами дела.

73. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 38–39 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 403.

[1] О ходе дискуссий относительно Дунайских княжеств на Парижской конференции 1866 г. (см. письмо 65, примеч. 2; письмо 67, примеч. 3; письмо 68, примеч. 5) газеты почти не сообщали, поскольку «совершенная тайна о прениях конференции была одним из главных условий, поставленных уполномоченными» (*МВ.* 1866. № 79, 15 апр. — со ссылкой на «Journal de St-Pétersbourg» от 13/25 апр.). Однако сообщение о «трудах» и «результатах» конференции появилось в зарубежной печати. 12/24 апреля франкфуртская газета «L'Europe» сообщила о том, что на заседаниях конференции обсуждался вопрос об избрании «господаря в Княжества». «Франция выразила желание, чтобы господарем в Княжества избран был иностранный принц, чем были бы устранены волнения и соперничества, всегда опасные, к которым непременно повело бы избрание туземного господаря. Относительно этого вопроса голоса разделились определенно и даже резко». Францию поддержали Италия и Пруссия. Против выступили Россия, Англия, Австрия и Турция. В статье газеты «L'Europe» говорилось также о том, что представитель Франции выступал за сохранение «молдаво-валахского союза», тогда как представитель России бар. Будберг придерживался противоположной точки зрения. 13/25 апреля 1866 г. газета «Journal de St-Pétersbourg», официоз Министерства ино-

странных дел, выступила с опровержением этого сообщения: «...русское правительство никогда не противилось союзу Княжеств. Но оно никогда не переставало требовать решения, которое согласовало бы *действительные* желания населений с существующими трактатами. Эта двоякая цель может быть достигнута только при устранении всякой кандидатуры, противной условиям трактатов, кои требуют для получения господарского сана туземного происхождения и некоторых ясно определенных условий возраста, имущества и местожительства; а затем требуется согласие населений относительно избрания одного или двух туземных господарей» (см.: *МВ*. 1866. № 78, 79 и 81 от 14, 15 и 17 апр.). Избрание Карла Людвига Гогенцоллерна на престол «Соединенных Дунайских княжеств» какое-то время стало представляться «положительной невозможностью». Оно состоялось позднее — 13 мая 1866 г. (22 мая он вступил на престол).

[2] Назначение Ф.Ф. Трепова петербургским обер-полицеймейстером вместо «либерального» И.В. Анненкова было одним из многочисленных перемещений, последовавших за выстрелом Каракозова (см. письмо 74, примеч. 8).

[3] См. письмо 74, примеч. 12 и 13.

[4] 8 апреля 1866 г. М.Н. Муравьев был назначен председателем Следственной комиссии по делу Д.В. Каракозова.

[5] Увольнение А.В. Головнина, так же как и смещение И.В. Анненкова, последовало за покушением Каракозова на Александра II.

74. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 6–7 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 272–273.

[1] Идея учреждения дворянского парламента была высказана 11 января 1865 г. в адресе московского дворянства Александру II. Тютчев тогда же отнесся к ней в высшей степени критически (см. письмо 45, примеч. 1–3).

[2] 14 апреля 1866 г. министр народного просвещения А.В. Головнин был уволен в отставку. Накануне Александр II лично сообщил ему об этом решении, мотивируя его тем, что «теперешнее время требует другой системы управления Министерством, других начал и большей энергии» (*Никитенко*. Т. 3. С. 27).

[3] Тютчев информировал Аксакова о следствии по делу Каракозова и его «соучастников», которое велось строго секретно; официальный отчет был опубликован только в начале августа 1866 г.

[4] Уволенного в отставку «либерала» Головнина сменил на посту министра народного просвещения реакционер Д.А. Толстой. При новом назначении за ним был сохранен пост обер-прокурора Синода.

[5] Шекспир. Гамлет. Акт III. Сц. 1. Вскоре Тютчев смог прочесть ответ на свой вопрос в рескрипте Александра II председателю Комитета министров кн. П.П. Гагарину от 13 мая 1866 г.: новому министру народного просвещения предписывалось позаботиться, «чтобы в учебных заведениях всех ведомств не было допускаемо ни явное, ни тайное проповедание тех разрушительных понятий, которые одинаково враждебны всем условиям нравственного и материального благосостояния народа» (Северная почта. 1866. № 102, 14 мая).

[6] Подразумевается евангельский текст: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям» (Мф. 5, 13). На церковнославянском языке: «потеряет силу» — «обуяет».

[7] См. письмо 70, примеч. 1.

[8] Выстрел Д.В. Каракозова вызвал ряд увольнений и перемещений крупных государственных чиновников (В.А. Долгорукова, А.В. Головнина и др.) и породил много слухов о других возможных увольнениях.

[9] Вероятно, подразумевается передовая статья М.Н. Каткова (*МВ*. 1866. № 69, 3 апр.). Продолжая критику той части «влиятельных сфер», которая склонялась к автономии Царства Польского и Великого княжества Финляндского, Катков напоминал лицам, «облеченным правительственною властию», что они не «мальчики в школе, фантазирующие над географическою картой своего отечества».

[10] 10 апреля 1866 г. П.А. Валуев выступил с речью на обеде в петербургском Дворянском собрании. «“C'est un Prince de la Parole” <“Это Князь Слова” — *фр.*>, — следует сказать про него; и таков был общий отзыв», — писала по этому поводу «Весть» (1866. № 28, 13 апр.).

[11] Тютчев имеет в виду нерешительность, которую Валуев проявил в своей борьбе с Катковым, воздержавшись от объявления ему второго предостережения за его передовую статью в № 69 от 3 апреля (см. письмо 70, примеч. 7)

[12] После выстрела Каракозова шеф жандармов кн. В.А. Долгоруков просил Александра II уволить его от должности (см. письмо 71, примеч. 4). 9 апреля на его место был назначен гр. П.А. Шувалов.

[13] Суворов и князь Италийский — одно лицо, петербургский генерал-губернатор кн. А.А. Суворов-Италийский. Тютчев иронизировал над двойственностью позиции Суворова, который осуждал нерешительность Долгорукова, не сумевшего предотвратить покушение на царя, и вместе с тем открыто высказывал несогласие с тем, что следственную комиссию по делу Каракозова возглавил «решительный» Муравьев. Эту двойственность Тютчев высмеял в эпиграмме на Суворова, написанной в апреле 1866 г. («Два разнородные стремленья // В себе соединяешь ты...»).

75. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается впервые полностью по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 27–28 об.

Первая публикация — отрывок: *ЛН-2*. С. 141.

[1] Пояснением к этим и следующим строкам письма Тютчева могут служить воспоминания А.И. Георгиевского. Катков отказался напечатать предостережение, объявленное его газете 26 марта (см. письмо 70, примеч. 2 и 6), и заявил, что будет платить штрафы, а через три месяца откажется от ее издания. «Я терял уже всякую почву под ногами, — вспоминал Георгиевский, — и мне не оставалось ничего более как искать себе какой-либо службы или деятельности в Петербурге. А там с заменой А.В. Головнина графом Дмитрием Андреевичем Толстым открывалась для меня весьма благоприятная и широкая перспектива» (*ЛН-2*. С. 155).

76. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 40–41 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 404.

Год устанавливается по содержанию (см. примеч. 1–3).

[1] 8 мая 1866 г. в «Journal de St-Pétersbourg» (№ 102) было опубликовано официальное опровержение распространяемых иностранной печатью слухов о том, что Александр II будто бы советовал австрийскому императору отказаться от Венеции ради сохранения мира, а также о том, что в случае войны между Пруссией и Австрией Россия



предполагает оказать последней материальную помощь. В газете сообщалось, что русское правительство не намерено «ни вмешиваться во взаимные распри между государствами, ни указывать им путь, по которому они должны следовать», ибо «единственная мысль» его «состоит в твердом сохранении своих собственных национальных интересов».

[2] Идея превратить Парижскую конференцию 1866 г. (см. письмо 67, примеч. 3) в общеевропейский конгресс для решения ряда назревших в Европе проблем возникла в самом начале работы конференции. Идея эта не была проведена в жизнь.

[3] Тютчев имеет в виду ряд написанных М.Н. Катковым передовых статей, в которых тот продолжал настаивать на своем праве не принимать объявленного его газете предостережения (см. письмо 69, примеч. 1). Когда Тютчев писал это письмо, он еще не знал, что накануне, 6 мая, за одну из этих статей «Московским ведомостям» было объявлено второе предостережение, а на другой день, 7 мая, — третье, с приостановкой газеты на два месяца (Северная почта. 1866. № 98 и 99, 8 и 11 мая).

[4] *Остракизм* (*греч.* ostrakismos — суд черепков) — голосование против граждан, чье политическое влияние считали необходимым ограничить, отправив их в изгнание; проводилось посредством подсчета голосов на черепках (ostraka); было введено в Афинах в конце VI в. до н. э. и упразднено около столетия спустя.

77. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 42–43 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 405–406.

[1] См. письмо 76, примеч. 3.

[2] Как видно из дальнейших слов Тютчева, министр народного просвещения Д.А. Толстой и товарищ министра И.Д. Делянов, а также генерал-губернатор Северо-Западного края К.П. Кауфман и киевский генерал-губернатор А.П. Безак сочувствовали Каткову в его борьбе с Валуевым.

[3] Тютчев имеет в виду первый конфликт М.Н. Каткова с П.А. Валуевым, завершившийся победой Каткова (см. письмо 43, примеч. 1).

[4] 23 мая 1866 г. было вынесено решение о закрытии журналов «Современник» и «Русское слово» (см. письмо 79, примеч. 2).

78. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 44–45 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 406–407.

[1] Эта телеграмма не сохранилась. Она была связана с беседой, которую в конце мая 1866 г. имел с Катковым гр. А.В. Адлерберг, принадлежавший к числу лиц, наиболее близких Александру II (в это время Александр II жил в подмосковном имении Ильинское, и Адлерберг, находившийся при нем, по его поручению говорил с Катковым). Тютчев был тогда в Москве и узнал о содержании этой беседы от Георгиевского. Катков не хотел, чтобы подробности ее, касавшиеся «дальнейших его предположений по делу о "Московских ведомостях"», были преданы гласности, и потому «решился телеграфировать Ф.И. Тютчеву, чтобы он никому не сообщал» о том, что рассказал ему об этой беседе Георгиевский (*ЛН-2*. С. 150, 151).

[2] Об этих хлопотах Тютчева см.: письмо 79, примеч. 1.

79. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 46–47 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 407–408.

Год устанавливается по содержанию (см. примеч. 1–4).

[1] С конца 1864 г. Тютчев был занят поисками постоянной службы для Георгиевского и неоднократно обращался по этому поводу к И.Д. Делянову (см. письмо 49, примеч. 2; письмо 65, примеч. 1). С этим вопросом было связано и его рекомендательное письмо министру народного просвещения Д.А. Толстому. Угроза прекращения издания «Московских ведомостей» (см. примеч. 1 к письму 75) не оставляла Георгиевскому иного пути как искать «службы или деятельности в Петербурге». В результате хлопот Тютчева в августе 1866 г. Георгиевский получил место редактора «Журнала Министерства народного просвещения» и 5 сентября переехал в Петербург.

[2] Решение о закрытии «Современника» и «Русского слова» было вынесено 23 мая 1866 г. «особой комиссией», образованной после выстрела Каракозова, и утверждено «высочайшим повелением». Тот факт, что этим нарушался закон 6 апреля, по которому вопрос о

прекращении издания мог решать только Сенат, мотивировался отсутствием времени «для исполнения сего обряда», поскольку требовалось «высказать немедленно прямое и положительное осуждение тех органов печати, которые постоянно и сознательно проводили в обществе понятия, противные коренным основам веры, нравственности и общего благоустройства» (Журнал заседания Особой комиссии под председательством князя Гагарина от 23 мая 1866 г. — Цит. по кн.: Евгеньев-Максимов В., Тизенгаузен Г. Последние годы «Современника», 1863–1866. Л., 1939. С. 174).

[3] Проект дополнений к закону 6 апреля был представлен Валуевым в Государственный совет только в октябре 1866 г. (*Материалы о цензуре и печати*. Ч. 1. С. 587–625). Решение Государственного совета по этому проекту от 12 декабря 1866 г. предусматривало новые ограничения прав повременных изданий (там же. С. 640–642).

[4] 14 мая 1866 г., через неделю после решения о приостановке «Московских ведомостей» на два месяца (см. письмо 76, примеч. 3), Московский университет, которому принадлежала газета, получил разрешение на продолжение ее издания «впредь до окончательной передачи этой газеты другим арендаторам» (Северная почта. 1866. № 105, 19 мая). Редактором газеты на этот срок был назначен профессор Московского университета Н.А. Любимов. Во время его редакторства в одном из номеров газеты была помещена корреспонденция «об успехах полонизма в Юго-Западном крае». Номер был задержан цензурой; Совет Главного управления по делам печати возбудил вопрос о судебном преследовании редактора, однако дело было прекращено по решению Министерства народного просвещения.

[5] Реминисценция из Евангелия (Ин. 11, 11).

80. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается впервые полностью по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 29–30 об.

Первая публикация — отрывок: *ЛН-2*. С. 156.

[1] См. письмо 75, примеч. 1.

81. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 48–51 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 408–410.

[1] 25 июня 1866 г. с № 132 возобновилось издание «Московских ведомостей» под редакцией М.Н. Каткова и П.М. Леонтьева. Это был результат встречи Каткова с Александром II. Император не только дал свое разрешение на возобновление газеты, но и обещал Каткову свое особое покровительство (*Валуев II.* С. 133–134). Тютчев намекает на то, что, став в *личное отношение* к императору, Катков обеспечил своей газете независимое положение (*«ставропигиальный»* — термин, относившийся к русским монастырям. подведомственным непосредственно Синоду и не подчинявшимся местным церковным властям).

Сын Пелея (имеется в виду Катков) — Ахиллес.

[2] Подразумевается евангельское изречение: «Блаженны миротворцы» (Мф. 5, 9).

[3] Поражение при Садове, которое Пруссия нанесла Австрии 21 июня/3 июля 1866 г., решило исход войны, спровоцированной Бисмарком (см. письмо 68, примеч. 1). Не будучи в состоянии продолжать войну, Австрия обратилась за посредничеством к Наполеону III.

[4] Австро-прусская война завершилась Пражским миром (11/23 августа), по которому Пруссия получала право создания нового Германского союза под своим главенством. С этого момента Австрийская империя потеряла прежнее значение и оказалась на грани распада.

82. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 52–53 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 411.

Год устанавливается по содержанию (см. примеч. 1–2).

[1] Пользуясь кризисной ситуацией, которая создалась в Европе вследствие австро-прусской войны (см. письмо 81, примеч. 3 и 4), Наполеон III пытался установить свою диктатуру над государствами, втянутыми в конфликт. Однако до вооруженного столкновения, которое предсказывал Тютчев, на этот раз дело не дошло.

[2] После смерти Пальмерстона (18 октября 1865 г.) премьер-министром Великобритании стал лорд Джон Рассел, до этого — министр иностранных дел.

83. М.Н. КАТКОВУ

Печатается по автографу – РГБ. Ф. 120. К. 11. Ед. хр. 23. Л. 7–8 об.
Первая публикация – «Русский вестник». 1897. № 8. С. 180–181.

[1] Воспоминания А.И. Георгиевского поясняют содержание письма Тютчева Каткову. Следствие по делу Каракозова (см. письмо 70, примеч. 1) «не переставало сильно занимать и тревожить нашу редакцию. М.Н. Катков не очень-то был доволен ходом этого следствия, о чем и телеграфировал самому графу М.Н. Муравьеву». «Недовольство М.Н. Каткова в значительной мере относилось к тому, что следственное дело велось с чрезвычайною таинственностью и что не только не оглашались во всеобщее сведение, но никому не сообщались и те несомненные результаты, которые уже твердо установлены. Редко кто в такой мере был убежден в пользе гласности в делах общественного интереса и во вреде политики негласности, как именно Михаил Никифорович» (*ЛН-2*. С. 152).

84. М.А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается впервые полностью по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 31–34 об.
Первая публикация – отрывки: *ЛН-2*. С. 151, 152, 156.

[1] Приводя эти строки из письма Тютчева в своих воспоминаниях, А.И. Георгиевский писал о том, что в них содержалось предсказание, «за четыре года вперед», дальнейших последствий тогдашней политики Наполеона III (*ЛН-2*. С. 152).

[2] См. письмо 78, примеч. 1.

[3] Тютчев имел в виду статью по поводу царского рескрипта председателю Комитета министров кн. П.П. Гагарину от 13 мая 1866 г. (*МВ*. 1866. № 138, 2 июля). Рескрипт намечал программу новой внутренней политики, определившейся после покушения Каракозова.

[4] Цитируя эти строки тютчевского письма, Георгиевский писал в воспоминаниях: «Ф.И. Тютчев, несомненно, взял бы назад эти свои слова о наших передовых статьях по иностранной политике, если бы до отправления своего письма от 13 июля он прочитал статью от 12 июля, в № 146, которая разминовалась с его письмом на своем пути в Петербург. В этой статье он нашел бы об Австрии, об авст-

рийских славянах и об отношении к ним России немало мнений, которые он и сам не раз высказывал и которыми он чрезвычайно дорожил» (*ЛН-2.* С. 151).

[5] Неточная цитата из стихотворения Е.А. Боратынского «Разуверение». У Боратынского: «...предаться вновь // Раз изменившим сновиденьям...»

[6] Имеются в виду Анна Дмитриевна и Варвара Дмитриевна Денисьевы.

85. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 24–26 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 451–453.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1–2). Кроме того, 21 июля приходилось на четверг в 1866 г.

[1] Австро-прусская война, спровоцированная Бисмарком, с тем чтобы добиться от Австрии выхода ее из Германского союза и согласия на образование нового Северо-Германского союза под главенством Пруссии, началась 16 июня (н. ст.) 1866 г. и прекратилась после разгрома австрийской армии при Садове (3 июля 1866 г.). Тютчев с большой проницательностью рассматривал австро-прусскую войну как *прелюдию* будущего столкновения между Пруссией и Францией.

[2] Имеется в виду А.М. Горчаков.

[3] Речь идет о дочери М.Ф. и Н.А. Бирилевых.

86. М. А. ГЕОРГИЕВСКОЙ

Печатается впервые полностью по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 35–36 об.

Первая публикация — отрывок: *ЛН-2.* С. 157.

[1] 22 июля — именины Марии Александровны. Остальные семейные праздники, по свидетельству Л.А. Георгиевского, падали на 27 и 31 июля (Дружба народов. 1999. № 4. С. 209).

[2] Об этих же событиях, подчас в близких выражениях, Тютчев писал в письмах 85 и 87.

[3] «Письмо это, по свидетельству моего отца, — вспоминал Л.А. Георгиевский, — было, сколько ему помнилось, писано Каткову от имени кн. Горчакова Е.М. Феоктистовым» (там же. С. 219).

87. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 27–28 об.

[1] Тютчев вернулся в Петербург из Царского Села.

[2] *Пилад* — герой древнегреческих мифов, преданный друг Ореста. Тютчев шутливо называет Пиладом друга своего сына Дмитрия — В. Желеховского.

[3] Е.Ф. Тютчева приезжала из Москвы в Царское Село к больной сестре Дарье.

[4] При известии о начале мирных переговоров между Пруссией и Австрией царское правительство выступило с предложением созвать конгресс для рассмотрения вопросов, возникших в связи с австро-прусской войной. Не желая ставить в зависимость от конгресса плоды своих военных побед, Пруссия потребовала, чтобы предварительно были определены основы будущих переговоров, обеспечивающие закрепление за ней ее успехов. Англия и Франция не поддержали предложения России, а 11/23 августа 1866 г. в Праге был подписал мирный договор между Австрий и Пруссией. Вопрос о конгрессе отпал сам собою.

[5] А.М. Горчаков.

[6] Намек на родственные связи русского двора с дворами гессен-дармштадтским, вюртембергским, саксен-альтенбургским, ольденбургским, баденским и мекленбург-стрелицким. Усиление Пруссии вследствие ее победы в австро-прусской войне угрожало независимости этих государств.

88. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 29–32 об.

[1] По словам современников, кн. Олимпиада Барятинская являла собою «пример, впрочем, не единственный в Петербурге, смеси глу-

пости с хитростию самою пронырливою» (Долгоруков П.В. Петербургские очерки. М., 1934. С. 224).

[2] Летом 1866 г. делегация Северо-Американских Соединенных Штатов приезжала поздравить Александра II со счастливым исходом покушения Каракозова.

[3] *Монитор* – башенный бронированный мелкосидящий военный корабль с сильной артиллерией.

[4] См. письмо 87 и примеч. 4–6 к нему.

[5] Бар. Э.К. Мантейфель, флигель-адъютант прусского короля, приезжал в Петербург, чтобы убедить Александра II отказаться от мысли о конгрессе по вопросу о будущем устройстве Германии.

89. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 74–76 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 274–276.

[1] Намерение Аксаковых приехать в Петербург осенью 1866 г. не осуществилось.

[2] О болезни Д.Ф. Тютчевой см.: письмо 67, примеч. 4.

[3] В начале 1866 г. в среде московского купечества возникла идея создания печатного органа, выражающего «торговые и промышленные интересы России». В конце апреля пост редактора предполагаемой газеты был предложен Аксакову, в мае с ним велись переговоры, однако летом они были приостановлены, и до начала сентября Аксаков не знал о газете ничего определенного (*Цимбаев*. С. 128–133).

[4] Во время переговоров об издании газеты (см. примеч. 3) Аксаков упорно настаивал на возобновлении «Дня»; предложение это было отклонено, поскольку инициаторы будущего издания стремились придать ему деловой характер, отнюдь не свойственный «Дню» (там же. С. 131–133).

90. А. И. ГЕОРГИЕВСКОМУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 54–55 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 411–412.

[1] См. письмо 79, примеч. 1.

[2] Тютчев послал Георгиевскому стихотворный ответ на сатирические стихи П.А.Вяземского («Воспоминания из Буало» и «Хлестаков»), направленные против М.Н. Каткова. Это стихотворение Тютчева («Когда дряхлеющие силы...») было включено в сборник его стихов (СПб., 1868), однако по требованию автора, не желавшего портить отношения с Вяземским, было вырезано.

91. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 8–9 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 276–277.

[1] Аксаков сообщил Тютчеву о том, что вопрос об издании московской купеческой газеты под его руководством (см. письмо 89, примеч. 3 и 4) решился положительно. 9 октября он писал Ю.Ф. Самарину: «Я, наконец, получил формальным образом и принял предложение быть редактором *ежедневной* газеты <...> Газета будет называться "Москва" <...> Она появляется теперь как нельзя более кстати, и я надеюсь, что по части восточного и славянского вопроса она будет иметь значение <...> Если газета будет иметь успех, то я поставлю под свое знамя силу довольно значительную, представляемую купечеством» (цит. по кн.: *Цимбаев*. С. 134).

92. Е. К. БОГДАНОВОЙ

Е.К. Богданова — подруга Е.А. Денисьевой.

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. 15781/XCVII б. 3. Л. 22–23 об.

Первая публикация — *Письма к Богдановой и Фролову*. С. 18, 41.

[1] Эта записка была послана Тютчевым вместе с бутылкой сливок и фунтом масла его светской знакомой Е.К. Богдановой, жившей тогда в доме Бутурлина на Сергиевской улице.

93. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 78–79 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 277–278.

[1] Известие о том, что А.Ф. Аксакова ждет ребенка.

[2] Речь идет о подписке на «Москву», которая стала выходить с января 1867 г. под руководством И.С. Аксакова (см. письмо 91, примеч. 1).

94. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 41–42 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 467–469.

[1] 24 ноября — день именин Е.Ф. Тютчевой.

[2] Эта мысль неоднократно встречается в произведениях Жуковского (см., например, «Теон и Эсхин»).

[3] Н.А. Милютин, видный государственный деятель эпохи реформ, с 1863 г. статс-секретарь по делам Царства Польского, возглавивший проведение там крестьянской реформы (1864), 21 ноября 1866 г. перенес удар, повлекший за собой выход его в отставку.

[4] Согласно древнегреческому мифу, Сизиф был осужден в загробной жизни вечно вкатывать на гору громадный камень, который срывался вниз, едва Сизиф приближался с ним к вершине (Одиссея. XI. 593–600).

[5] Кн. В.А. Черкасский — управляющий Комиссией внутренних и духовных дел в Царстве Польском, один из ближайших сотрудников Н.А. Милютина в проведении крестьянской реформы в Польше. Предполагалось, что Черкасский заменит заболевшего Милютина, поэтому его незамедлительно вызвали из Варшавы в Петербург, однако Черкасский предпочел выйти в отставку (*Никитенко.* Т. 3. С. 58).

95. А. Н. МАЙКОВУ

А.Н. Майков, поэт, был сослуживцем Тютчева по Комитету цензуры иностранной (с 1852 г. занимал должность цензора). О дружбе с Тютчевым Майков вспоминал с большой теплотой и благодарностью: «Знакомство с Ф.И. Тютчевым и его расположение ко мне, все скрепленное пятнадцатилетнею службою вместе и частыми беседами и свиданиями, окончательно поставило меня на ноги, дало высокие точки зрения на жизнь и мир, Россию и ее судьбы в прошлом, настоящем и будущем» (Златковский М.Л. Аполлон Николаевич Майков. Биографический очерк. СПб., 1898. С. 46–47).

Печатается по автографу – РГБ. Ф. 18. К. 7. Ед. хр. 10. Л. 9–10.

Первая публикация – ж. «Новый путь». 1903. № 11. С. 14.

Датируется по содержанию. В письме речь идет о драматической поэме А.Н. Майкова «Странник», посвященной Тютчеву. «Любопытно, – писал Майков сыну в 1894 г., – что этого “Странника” очень любил Ф.И. Тютчев, слышал его в разных местах и раз пять просил прочесть у него в доме разным лицам. Помню, что многое я переделывал и исправлял по его указаниям и замечаниям. Пойди ведь, кажется, европеец был, а как чуял русский дух и владел до тонкости русским языком» (*ЛН-2.* С. 484). 16 ноября 1866 г. Ф.М. Достоевский писал Н.А. Любимову: «А.Н. Майков написал драматическую сцену, в стихах, листа на полтора печатных (не менее, может и более). Это произведение можно назвать, безо всякого колебания, chef d'œuvr'ом *из всего того*, что он написал. Оно называется “Странник”. Три лица. Все трое раскольники – бегуны. Еще в первый раз в нашей поэзии берется тема из раскольничьего быта. Как это ново и как это эффектно! И какая сила поэзии» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 2. С. 170–171). 3 декабря 1866 г. поэма была прочитана Майковым на вечере памяти Н.М. Карамзина в Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым (опубликована в № 1 «Русского вестника» за 1867 г.). Можно предположить, что письмо Тютчева было написано не позднее 27 ноября 1866 г., приходившегося на воскресенье, – с просьбой (одной из тех пяти, о которых упоминал Майков) прочитать в его доме «исправленного Раскольника», то есть «Странника» (возможно, исправленного по «указаниям» и «замечаниям» Тютчева), и «возвеличенного Карамзина», т. е. стихотворение Майкова «Карамзин» (опубликовано в № 2 «Русского вестника» за 1867 г.).

96. П. В. АННЕНКОВУ

П.В. Анненков – критик, мемуарист.

Печатается по подлиннику (записка написана рукой М.Ф. Бирилевой, только подпись – автограф) – *ИРЛИ*. Ф. 7. Ед. хр. 107. Л. 1–2.

Первая публикация – *ЛН. Т. 19–21.* С. 586.

Дата устанавливается более или менее точно. К записке был приложен список стихотворения Тютчева «Великий день Карамзина...» – в первоначальной редакции без четвертой и пятой строф

традиционного текста, с пометой «30 ноября». Очевидно, 30 ноября или на следующий день записка с «беглыми, незатейливыми виршами», как назвал их сам поэт, была отправлена Анненкову.

[1] Вечер в ознаменование столетия со дня рождения Н.М. Карамзина состоялся 3 декабря 1866 г. в Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым.

97. П. В. АННЕНКОВУ

Печатается по автографу — *ИРЛИ.* Ф. 7. Ед. хр. 107. Л. 4.

Первая публикация — *ЛН. Т. 19–21.* С. 586.

Датируется предположительно. Стихотворение Тютчева, посвященное юбилею Н.М. Карамзина (см. письмо 96 и *коммент.* к нему), было впервые напечатано в декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1866 г. — без четвертой и пятой строф, отсутствовавших в копии, посланной Анненкову, и с предложенным поэтом изменением последней строки. В такой редакции оно было, вероятно, прочитано на карамзинском вечере 3 декабря издателем «Вестника Европы» М.М. Стасюлевичем. На этом основании комментируемая записка предположительно датируется 2–3 декабря, а следующая — 3 декабря, приходившимся на субботу (*ЛН. Т. 19–21.* С. 586–587).

98. П. В. АННЕНКОВУ

Печатается по автографу — *ИРЛИ.* Ф. 7. Ед. хр. 107. Л. 6–7 об.

Первая публикация — *ЛН. Т. 19–21.* С. 586.

Датируется предположительно 3 декабря 1866 г., приходившимся на субботу (см. письмо 97 и *коммент.* к нему).

99. А. Н. МАЙКОВУ

Печатается до автографу — РГБ. Ф. 18. К. 7. Ед. хр. 10. Л. 3–3 об.

Первая публикация — лит. альманах «Северные цветы на 1901 год». М., 1901. С. 142.

[1] См. письмо 95 и *коммент.* к нему.



100. А.Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 80–83 об.

Первая публикация – *ЛН-1.* С. 278–280.

[1] С января 1867 г. начала выходить аксаковская «Москва» (см. о ней: письмо 89, примеч. 3; письмо 91, примеч. 1).

[2] 10 ноября 1866 г. Аксаков писал В.П. Перцову, одному из будущих сотрудников «Москвы», что некоторые государственные чиновники согласились сообщать для этой газеты «все важнейшее» о деятельности своих ведомств, в частности чиновник Министерства финансов А.К. Корсак «взялся сообщать и писать корреспонденции по всем проектам и предположениям Министерства»; письмо было вскрыто III Отделением, и Корсак был уволен со службы за передачу сведений «Москве» (*Цимбаев.* С. 140).

[3] В начале декабря 1866 г. П.А. Валуев представил в Комитет министров записку о всех противоправительственных статьях, в разное время напечатанных в «Московских ведомостях», в том числе и о статьях, направленных против него лично, в частности против его распоряжений по делам печати. Этот шаг не имел последствий, и в дальнейшем в открытую борьбу с М.Н. Катковым Валуев больше не вступал. О предыдущих его конфликтах с Катковым см.: письмо 70, примеч. 6–7; письмо 74, примеч. 11; письмо 76, примеч. 3; письмо 81, примеч. 1.

[4] *Катилинарии* – речи Цицерона против Катилины. Слово стало нарицательным для обозначения страстных обличительных высказываний.

[5] Тютчев имеет в виду, с одной стороны, борьбу за объединение Италии и процесс объединения Германии под гегемонией Пруссии, а с другой – перспективу распада двух империй, Австрийской и Оттоманской.

[6] В 1866 г. христианское население о. Крит (иначе – Кандии, отсюда – кандиоты, т. е. жители Крита) подняло восстание против турецкого ига, провозгласив нерасторжимый союз Крита с «его матерью Грецией». Осенью 1868 г. восстание было жестоко подавлено.

101. А.М. ГОРЧАКОВУ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу – ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 726. Л. 15–16.

Первая публикация – в русском переводе: *ЛН. Т. 19–21.* С. 231–232.

Датируется предположительно на основании следующих данных. Документ, о котором, по-видимому, идет речь в этом письме, появился в печати 10 января 1867 г. В письме к И.С. Аксакову, написанном в четверг 5 января 1867 г., Тютчев предупреждает своего корреспондента о предстоящем опубликовании этого документа в «Journal de St-Pétersbourg». Между тем в комментируемом письме высказано только пожелание, чтобы он был обнародован. Следовательно, письмо Горчакову написано до 5 января, и предположительно может быть датировано 29 декабря 1866 г., также приходившимся на четверг.

[1] Очевидно, намек на приглашение ко двору.

[2] Тютчев имеет в виду внучатую племянницу Горчакова Н.С. Акинфиеву, жившую в доме своего дяди.

[3] Вероятно, Тютчев говорит здесь о приложении к циркулярной депеше Горчакова русским дипломатическим представителям за границей от 7 января 1867 г. Приложение это заключало в себе исторический обзор действий Римской курии, приведших к разрыву отношений между папским престолом и императорским кабинетом и к отмене конкордата 1847 г. См. письмо 102, примеч. 5.

102. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 10–11 об.

Первая публикация – отрывки: *Мурановский сб.* С. 15; полностью: *ЛН-1.* С. 281.

В семейном архиве Аксаковых это письмо было контаминировано с окончанием письма от 8 января 1867 г.; ошибка повторена в публикации *Мурановского сб.* (С. 15–17). Конец письма, очевидно, утерян.

[1] Надежды Тютчева не оправдались. За 22 месяца своего существования (1 янв. 1867 г. – 21 окт. 1868 г.) «Москва» получила 9 предостережений, была трижды приостановлена (на 3, 4 и 6 месяцев), а после третьей приостановки ее издание было прекращено решением Сената.

[2] Скоро Тютчев будет совершенно иначе оценивать деятельность М.Н. Похвиснева на посту начальника Главного управления по делам печати.

[3] Австрийский министр иностранных дел гр. Фридрих Фердинанд фон Бейст направил русскому правительству проект созыва ев-

ропейской конференции для обсуждения положения на Востоке. Чтобы заручиться поддержкой России в делах Востока, он предложил содействие Австрии в вопросе о пересмотре в пользу России некоторых статей Парижского мирного договора 1856 г. Австрийскому послу во Франции было поручено вступить в соответствующие переговоры с французским правительством. Наполеон III отверг эти предложения. Не встретили они сочувствия и со стороны России.

[4] В статье «Восточный вопрос» (Москва. 1867. № 1, 1 янв.) С.М. Соловьев писал, что у России сложилась на Востоке «своя историческая национальная политика», которая определяется ее нравственным долгом перед «единоверными и единоплеменными братиями»: Россия не стремилась к территориальным захватам, но выступала за создание на территории распадающейся Турецкой империи новых независимых христианских государств. Соловьев подошел к рассмотрению восточного вопроса как историк, совершая экскурс и во времена Древней Греции, и в те времена, когда Россия, «торжествуя на востоке, обращается на запад для собрания своей Земли».

[5] В ноябре 1866 г. разрывом дипломатических отношений и конкордата завершился длительный конфликт между Россией и Ватиканом по вопросу о правах католического духовенства в Царстве Польском. Вслед за тем в Ватикане был издан сборник документов, подбор и редакция которых имели целью возложить на русское правительство ответственность за происшедший разрыв. 7 января 1867 г. Горчаков разослал всем русским посольствам и миссиям «Исторический обзор действий римского двора, разрешившихся прекращением дипломатических сношений между папским престолом и императорским кабинетом <...>» с предписанием предать его широкой огласке. Цель этого документа — доказать предвзятость обвинений Ватикана. 10/22 января «Обзор» был напечатан в газете «Journal de St-Pétersbourg», органе Министерства иностранных дел. Затем его перепечатали почти все русские газеты, в том числе и «Москва» (№ 9, 12 янв.).

[6] В программной передовой статье первого номера «Москвы» (1867, 1 янв.) Аксаков писал: «Пора наконец понять, что во многих отношениях сила не в правительстве, а в нас <...> в успехах общественной самодеятельности, в правильном развитии тех земских сил, которыми зиждется само государство <...> важно то, чтоб правильно судило само общество; чтобы в нем-то самом выработалось верное понятие об истинных интересах народности». С подобной «переменой точки зрения на правительство и общество, — разъясняет свою позицию Аксаков, — многое представится в ином свете. Многое, мало известное доселе, привлечет на себя по справедливости наше внимание, и между прочим —

проявление таких новых общественных сил, которых рост почти и не замечается у нас дома <...> Эти силы — возникшее сознание гражданской полноправности в 20 миллионах крестьян; это развивающийся в обществе юридический разум; это, наконец, голос русской печати, к которому внимательно прислушивается западный мир...»

103. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 12–15 об.

Первая публикация — отрывки: *Мурановский сб.* С. 16–17; полностью: *ЛН-1*. С. 282–283.

В семейном архиве Аксаковых окончание этого письма было контаминировано с письмом от 5 января 1867 г. Эта ошибка повторена в публикации *Мурановского сб.*

[1] Это выражение восходит ко временам Второй пунической войны, когда в 211 г. до н. э. войска Ганнибала внезапно появились под стенами Рима. В переносном смысле, как предупреждение о грозящей опасности, его впервые употребил Цицерон в «Филиппиках» («Первая речь против Антония»).

Тютчев и раньше считал вполне реальной опасность возникновения антирусской военной коалиции европейских держав (см. письмо 68).

[2] Подразумевается обострение восточного вопроса в связи с восстанием кандиотов (см. письмо 100, примеч. 6).

[3] Указание на № 6 — ошибка: Тютчев имеет в виду передовую статью «Москвы» от 6 января (№ 5). Развивая в этой статье положения, высказанные С. М. Соловьевым (см. письмо 102, примеч. 4), Аксаков утверждает, что позиция Франции, представительницы католического («латинского») мира, враждебна интересам православного Востока, и в итоге приходит к выводу, что «восточный вопрос есть в то же время вопрос об отношениях <...> латинского мира к православному».

104. А. М. ГОРЧАКОВУ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 726. Л. 21–22.

Первая публикация — в русском переводе: *ЛН. Т. 19–21*. С. 232.

Год написания устанавливается на основании следующих данных: 10 января приходилось на вторник в 1867 г.; 10 января 1867 г. в «Journal de St-Pétersbourg» была напечатана циркулярная депеша Горчакова русским посольствам и миссиям от 7 января 1867 г. (см. письмо 102, примеч. 5).

[1] Эпаминонд (ок. 418–362 до н. э.) — фиванский полководец, победитель спартанцев при Левктрах и Мантинее.

105. А. Н. МАЙКОВУ

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 18. К. 7. Ед. хр. 10. Л. 7–7 об.

Первая публикация — лит. альманах «Северные цветы на 1901 год». М., 1901. С. 143; перепечатано с уточненной датой — *Изд. 1980*. С. 207.

Датируется по содержанию (см. примеч. 1).

[1] Трагедия А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного», о которой идет речь в письме, была впервые поставлена 12 января (четверг) 1867 г. М.Ф. Бирилева писала А.Ф. Аксаковой 3 февраля 1867 г.: «Вам, вероятно, много говорили об успехе пьесы Толстого "Иоанн Грозный". Мы ее тоже посмотрели, и я твердо решила больше на нее не ходить. <...> Это слишком тяжко, и что бы там ни говорили, я не понимаю, зачем нужен этот талант, это великолепие, эта точность в подробностях, если все это расточается единственно затем, чтобы как можно более выразительно показать столь мрачную страницу в истории своей страны. <...> Папа́ очень высмеивал и меня, и мою точку зрения» (*ЛН-2*. С. 386).

106. Е. Э. ТРУБЕЦКОЙ

Княгиня Е.Э. Трубецкая — знакомая Тютчева, хозяйка великосветского салона, где часто бывали русские и иностранные дипломаты и государственные деятели. Трубецкая вела переписку с Пальмерстоном, Тьером, Горчаковым. Судя по письмам к ней Тютчева, он с изысканно-шутливой вежливостью относился к ее попыткам играть политическую роль.

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. 35. 2. 7. Л. 32–33.

Первая публикация — *РА*. 1911. Кн. II. № 6. С. 274.

Поэтическая миниатюра «В Риме» была вписана Тютчевым в альбом Трубецкой 13 января 1867 г. Из предшествующих ей строк явствует, что она написана раньше. На другом сохранившемся автографе этого стихотворения стоит дата (рукой М.Ф. Бирилевой): «Дек<абрь> 1866 г.». Впервые было напечатано в *Изд. 1868* под заглавием «В альбом княгини Т.».

107. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 84–87 об.

Первая публикация — в русском переводе, отрывок: «Литературная газета». 1936. № 3, 15 янв. С. 6; на языке оригинала и в переводе, полностью: *ЛН-1*. С. 283–285.

[1] Намек на перлюстрацию писем.

[2] 17 января 1867 г. было объявлено первое предостережение «Москве» за передовую статью в № 8 от 11 января. В статье сообщалось, что в одном из московских монастырей была отслужена панихида по жертвам расправы турецкого правительства с восставшими кандиотами (христианами Крита); сообщалось также, что московское духовенство вынуждено было просить разрешения на панихиду у правительства. Последнее обстоятельство Аксаков использовал для обсуждения вопроса о «пределах», в которых «призвано действовать» правительство по отношению к общественному мнению. Совет Главного управления по делам печати решил, что хотя автор статьи позволил себе «резкие суждения» об «отношениях между правительством и обществом», тем не менее, «ввиду настроения общества по поводу происходящих на Востоке событий», объявлять за эту статью предостережение «было бы в настоящее время неудобным»; однако по указанию министра внутренних дел П.А. Валуева предостережение было объявлено (*Материалы о цензуре и печати*. Ч. II. С. 133, 134).

[3] Существующее в России соотношение «прав и обязанностей общества и правительства» ведет к тому, утверждал Аксаков, что общество, «усваивая себе точку зрения правительственную, нередко принимает на себя исполнение вовсе ему не свойственных обязанностей, а подчас и обязанностей III Отделения» (Москва. 1867. № 8, 11 янв.).

[4] О системе предостережений, введенной законом о печати от 6 апреля 1865 г., и об отношении Тютчева к ней см.: письмо 54, примеч. 1–5; письмо 60, примеч. 3.

[5] 20 января 1867 г. в «Москве» (№ 16) было напечатано объявленное ей предостережение, а 21 января (№ 17) помещено (под рубрикой «Из Парижа») «Письмо к редактору» об отмене системы предостережений во Франции. Автором «письма» был Аксаков (оно подписано его псевдонимом: «Касьянов»).

[6] Здесь и далее речь идет о последовавшем 16 января 1867 г. «высочайшем повелении» распустить Петербургское губернское земское собрание и закрыть все земские учреждения в Петербургской губернии (*СПб. вед.* 1867. № 17, 17 янв.). Причиной было решение Собрания не применять на 1867 г. закон о системе земского обложения, изданный 21 ноября 1866 г., значительно сокращавший финансовые средства земств и тем самым ограничивавший их деятельность. Решение было обосновано тем, что все сметы и раскладки обложений были составлены до издания закона. Обсуждение вопроса носило резко оппозиционный в отношении правительства характер.

[7] Подразумевается Александр II, оказавшийся в деле с роспуском Петербургского губернского земского собрания орудием в руках его инициаторов, главным среди которых был П.А. Валуев.

[8] Петербургский губернатор гр. Н.В. Левашов был одним из наиболее активных участников истории с закрытием Петербургского губернского земского собрания. После того, как Собрание пренебрегло его требованием руководствоваться законом 21 ноября и приняло решение обратиться к правительству с ходатайством о пересмотре закона (*СПб. вед.* 1867. № 12 и 13, 12 и 13 янв.), Левашов настоял на роспуске Собрания и вечером 16 января сам объявил его членам высочайшее повеление. По свидетельству современника, «скандал» с земством возник «при содействии» шефа жандармов и начальника III Отделения гр. П.А. Шувалова, «терроризирующего постоянно царя фантомами каких-то революций» (письмо Б.М. Маркевича М.Н. Каткову 1 февраля 1867 г. – *ЛН-1.* С. 286).

[9] Тютчев иронизирует, сравнивая роспуск Петербургского губернского земского собрания с действиями Луи Наполеона Бонапарта во время переворота 2 декабря 1851 г. Стремясь захватить всю полноту власти, Бонапарт начал с того, что распустил Национальное собрание и ввел военное положение.

[10] Клятва в Жё-де-Пом – один из эпизодов, предшествовавших началу Великой французской революции: 20 июня 1789 г. Людовик XVI распустил провозглашенное третьим сословием Нацио-

нальное собрание и приказал закрыть зал его заседаний; однако депутаты собрались в зале для игры в мяч (Jeu de Paume) и поклялись собираться повсюду, где представится возможность, пока Франция не получит прочного государственного устройства.

Великая хартия вольностей (Magna Charta Libertatum) — договор, который английский король Иоанн Безземельный был вынужден заключить с восставшими против него феодалами (1215 г.); Великая хартия ограничивала королевскую власть и стала символом борьбы с абсолютизмом.

[11] Роспуск Собрания мотивировался тем, что оно «обнаруживает стремление неточным изъяснением дела и неправильным толкованием закона возбуждать чувства недоверия и неуважения к правительству» (*СПб. вед.* 1867. № 17, 17 янв.).

[12] Гр. А.А. Бобринский, шталмейстер, член Совета министра финансов, по инициативе начальника III Отделения П.А. Шувалова был привлечен к участию в совещаниях по вопросу о земстве, проводившихся П.А. Валуевым после роспуска Петербургского губернского земского собрания. На первом же совещании (18 января) Бобринский представил проект изменения закона 21 ноября (*Валуев II.* С. 184).

[13] После роспуска Петербургского губернского земского собрания были подвергнуты административной каре три его члена, наиболее активно протестовавшие против закона 21 ноября: председателю Петербургской губернской земской управы Н.Ф. Крузе было объявлено, что он высылается в Оренбург; А.П. Шувалову был предоставлен выбор — ехать туда же или за границу; сенатору М.Н. Любощинскому предложили подать в отставку. Однако последнее предложение было тут же отменено, а для Крузе Оренбург заменен ссылкой в имение без права выезда.

108. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 92–93 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 286–287.

[1] См. письмо 93, примеч. 1.

[2] 2/14 февраля 1867 г. Наполеон III заявил на открытии сессии Законодательного корпуса, что Россия «готова не отделять своей политики на Востоке от политики Франции» (*СПб. вед.* 1867. № 38, 7/19 февр.). Министерство иностранных дел России опровергло в передовой статье своего официоза эту попытку Наполеона припи-



сать себе инициативу мирного разрешения кризиса, возникшего на Востоке в связи с восстанием на острове Крит; указывалось, что на самом деле жестокая расправа с восставшими производилась турецким правительством при попустительстве Франции (Journal de St-Pétersbourg. 1867. № 31, 6–7 февр.). В соответствии с пожеланием Тютчева Аксаков поддержал эту акцию Министерства иностранных дел в передовой статье «Москвы» от 11 февраля 1867 г. (№ 34).

[3] См. письмо 12, примеч. 3.

[4] Вероятно, К.Г. Катакази, чиновник Министерства иностранных дел.

[5] Эта записка неизвестна. Возможно, Аксаков воспользовался ею при составлении своей статьи (см. примеч. 2).

[6] Коснувшись в своей речи вопроса объединения Германии, Наполеон III заявил о необходимости создания «конфедерации латинских наций» и в этой связи напомнил слова Наполеона I: «Одной из самых заветных моих мыслей было сосредоточение и сплочение однородных географических национальностей, которые были разделены революциями и различными политическими соображениями. Это сплочение произойдет рано или поздно» (*СПб. вед.* 1867. № 38, 7/19 февр.). Аксаков последовал совету Тютчева и воспользовался этими словами как аргументом в пользу права славянских народов на объединение. При этом он заявил: «Не чрез поглощение славян Россией, но чрез объединение славян силою объединяющего начала, представляемого Россиею, и только Россиею, возможно возрождение славянского мира» (Москва. 1867. № 38, 16 февр.).

109. А.Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 94–95 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 288–289.

[1] Намек на перлюстрацию писем.

[2] Встреча Аксакова с П.А. Юркевичем-Литвиновым, издателем консервативной газеты «Народный голос» (СПб., 1867), вероятно, была связана с перепечаткой в этой газете (№ 20, 25 янв.) передовой статьи «Москвы» (№ 18, 22 янв.) по поводу полученного ею предостережения; Аксаков критиковал в этой статье систему административных расправ с печатью.

[3] «Народный голос» издавался на средства, выделяемые правительством, и отводил много места прославлению «великого пре-

образователя» — Александра II. Издатель газеты распространял слух, что его поддерживает сам император: «Он прямо, без всяких околичностей, выдает себя за агента его императорского величества» (*Никитенко*. Т. 3. С. 71. См. также запись в дневнике В.Ф. Одоевского от 1 янв. 1867 г. — *ЛН*. Т. 22–24. М., 1935. С. 226–227).

[4] *Милорд* — любимая собака Александра II.

[5] Об этой статье см.: письмо 108, примеч. 2.

110. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 96–97 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 290–291; на языке оригинала и в русском переводе: *ЛН-1*. С. 290–291.

[1] 20 февраля 1867 г. «Москва» получила второе предостережение за передовую статью в № 35 от 12 февраля (*Материалы о цензуре и печати*. Ч. II. С. 136). «Наши государственные шалуны, — писал по этому поводу А.В. Никитенко, — выдумали забавную новую проказу: ссылать во внутренние губернии содержателей гостиниц в Москве <...> если они не заявят в полицию и не пропишут вид кого-либо из остановившихся у них хоть на несколько часов <...> Газета “Москва” напечатала умную и энергическую статью по этому поводу: за это ей и сделано второе предостережение. Последнее, по обыкновению, так формулировано, что, прочитав и его и статью, на которую оно падает, никто не поймет, за что дано предостережение» (*Никитенко*. Т. 3. С. 75).

[2] Вопреки советам Тютчева Аксаков ответил на объявленное ему предостережение в передовой статье «Москвы» от 24 февраля (№ 45). «Презрительнее отзываться о цензурной администрации нельзя», — отметил А.В. Никитенко (там же. С. 76).

111. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 98–99 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 291–292.

[1] 11 и 12 марта 1867 г. в «Москве» (№ 56 и 57) были напечатаны две передовые статьи по так называемому остзейскому вопросу. В них го-

ворилось о религиозных конфликтах в Остзейском крае (Прибалтийских губерниях), о непомерной тяжести действовавшего там «выкупного права» и резко критиковалась политика русского правительства, поддерживавшего немецких помещиков в Прибалтике, что способствовало онемечиванию этого края. Автором статей был Ю.Ф. Самарин (первая из них написана в соавторстве с В.П. Перцовым — см.: Самарин Ю.Ф. Сочинения. М., 1898. Т. IX. С. 441).

[2] Возможно, Тютчев намекает на вмешательство императрицы Марии Александровны (аналогичный случай имел место в 1865 г. в связи с делом М.Н. Каткова и издаваемой им газеты — см. письмо 43, примеч. 1). Предостережение, объявленное «Москве» 20 февраля 1867 г., вызвало ее неудовольствие, которое она выразила министру внутренних дел (*Валуев II.* С. 190). О ее симпатиях к этой газете см.: письма 109, 110, 154.

[3] Аксаков не последовал совету Тютчева и продолжал обсуждение остзейского вопроса в ряде передовых статей «Москвы» (№ 62–64 от 18, 19 и 21 марта 1867 г.; автором их был Самарин). 26 марта за эти статьи, а также за передовую в № 57 от 12 марта (см. примеч. 1) «Москве» было объявлено третье предостережение с приостановкой ее на три месяца (*Материалы о цензуре и печати.* Ч. II. С. 138).

[4] В ноябре 1866 г. Россия начала конфиденциальные переговоры с правительством Франции о совместных действиях с целью добиться от Турции передачи восставшего Крита Греции и выведения турецких войск из сербских крепостей; 20 марта/1 апреля 1867 г. русскому послу во Франции было поручено заявить Наполеону III, что уклончивая позиция, занятая им в этом вопросе, будет трактоваться как «проявление дурной воли» (*Шнеерсон.* С. 27–34).

[5] 5 марта 1867 г. умерла дочь О.С. Аксаковой — Любовь Сергеевна. В предыдущие годы один за другим умерли трое ее детей — сын Константин (1860 г.), дочь Ольга (1861 г.) и дочь Вера (1864 г.).

112. В. И. ЛАМАНСКОМУ

В.И. Ламанский, публицист, критик, ученый-славист, был заметной фигурой в общественной жизни России второй половины XIX в. Дружественные отношения связывали его с Ф.М. Достоевским, Ф.И. Тютчевым, Н.Н. Страховым, И.С. Аксаковым. В 1860-е гг. он участвовал в учреждении Петербургского отделения Славянского комитета, в 1867 г. — в организации Всероссийской этнографической выставки и Славянского съезда, был членом Комитета «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», основанного в 1859 г.

Печатается по подлиннику (написано рукой Эрн. Ф. Тютчевой, только дата и подпись — автограф) — *ИРЛИ*. 2384. VII. М. 168. Л. 2–2 об.

Первая публикация — ж. «Русская мысль». 1915. № 11. С. 129.

Датируется на следующем основании: 7 апреля приходилось на пятницу в 1867 г.; в апреле этого года Тютчев страдал подагрой.

[1] Речь идет о заседании Комитета «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» и его председателе Е.П. Ковалевском. Об участии Тютчева в деятельности этого «Общества» см.: *ИзвОЛЯ*. 1991. № 4. С. 362.

113. В. И. ЛАМАНСКОМУ

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. 2384. VII. М. 168. Л. 7–8.

Первая публикация — ж. «Русская мысль». 1915. № 11. С. 130.

Датируется предположительно по содержанию письма, см. примеч. 1 и 2.

[1] В начале 1867 г. Ламанский издал в собственном переводе трактат словацкого деятеля первой половины XIX в. Л. Штура «Славянство и мир будущего. Послание к славянам с берегов Дуная Людевита Штура. Перевод немецкой рукописи с предисловием и примечаниями В. Л.» (*ЛН. Т. 19–21*. С. 596). В этом сочинении Штура утверждалась необходимость союза славян с Россией.

[2] Об отношении Тютчева к взглядам и творчеству И.С. Тургенева этого времени можно судить на основании следующих данных. В мартовской книжке «Русского вестника» за 1867 г. был напечатан роман Тургенева «Дым». 23 апреля 1867 г. Боткин сообщал Тургеневу: «Вчера я был у Ф.И. Тютчева, — он только что прочел и очень недоволен. Признавая все мастерство, с каким нарисована главная фигура, он горько жалуется на нравственное настроение, проникающее повесть, и на всякое отсутствие национального чувства» (В.П. Боткин и И.С. Тургенев. Неизданная переписка. М.; Л., 1930. С. 264). Тютчев отозвался на появление романа Тургенева стихотворением «Дым», в котором противопоставил этому роману творчество писателя периода создания им «Записок охотника».

[3] Тютчев упоминает о предстоящем Славянском съезде в России (см. письмо 116, примеч. 6).

114. Е.К. БОГДАНОВОЙ

Печатается по автографу – *ИРЛИ*. 15781/XCVII б. 3. Л. 5–6.

Первая публикация – *Письма к Богдановой и Фролову*. С. 19–20, 41–42.

Год написания устанавливается по содержанию: В.А. Черкасский возвращался из Варшавы и останавливался проездом в Петербурге в апреле 1867 г. Кроме того, в верхней части первого листа есть надпись карандашом: «среда 1867». 12 апреля приходилось на среду в 1867 г.

[1] Речь идет о В.П. Боткине, брате известного врача С.П. Боткина.

[2] Иван Богданов, сын Е.К. Богдановой.

115. Я.П. ПОЛОНСКОМУ

Печатается по автографу – *ИРЛИ*. 12540/LXX б. 6. Л. 1–2.

Первая публикация – *Урания*. С. 79–80.

Датируется предположительно. Здесь Тютчев говорит о том, что болен «вот уже более недели». С 7 апреля 1867 г. Тютчев страдал подагрой. О стихах Полонского он упомянет также в следующем письме Полонскому (117).

116. И.С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 20–21 об.

Первая публикация – отрывки: *Мурановский сб*. С. 19, 20; полностью: *Изд. 1980*. С. 211–213.

[1] 16 апреля – Пасха, 21 апреля – день рождения А.Ф. Аксаковой.

[2] 26 марта 1867 г. «Москва» была приостановлена на три месяца (*Материалы о цензуре и печати*. Ч. II. С. 138).

[3] Реминисценция из Евангелия (Ин. 11, 11). См. также письмо 79.

[4] В апреле 1867 г. Наполеон III пригласил Александра II посетить открывшуюся в Париже Всемирную выставку, рассчитывая в ходе неофициальных переговоров заручиться поддержкой России в назревавшем конфликте с Пруссией. В свою очередь, Александр II намеревался добиться согласия Франции на участие в демарше по отношению к Турции (см. письмо 111, примеч. 4). С этой целью он предполагал выступить в роли посредника между Францией и Пруссией и, добившись их примирения, повлиять таким образом на пози-

цию Англии, поддерживавшей Турцию; предполагалось также, что самый факт демонстрации русско-прусского сотрудничества поможет добиться от Франции твердой политики в восточном вопросе. По этим причинам условием поездки русского царя в Париж был поставлен одновременный визит прусского короля Вильгельма I, на что Наполеон III вынужден был согласиться (*Шнеерсон.* С. 39, 41–42). 16/28 мая Александр II выехал в Париж, куда прибыл 20 мая/1 июня. В Париж приехал и Вильгельм I в сопровождении Бисмарка.

[5] По-видимому, речь идет о сомнениях относительно того, кто отправится с Александром II в Париж — Н.П. Игнатьев, русский посол в Турции, или А.М. Горчаков. В конце концов выбор пал на Горчакова. Об отношении к этому Тютчева см.: письмо 119.

[6] 23 апреля 1867 г. в Москве открылась Всероссийская этнографическая выставка. В ее состав входил обширный отдел, представлявший славянские страны Европы. В мае ожидалось прибытие на выставку многочисленной славянской депутации. Славянофильские круги, в том числе и Тютчев, возлагали большие надежды на этот Славянский съезд в расчете, что он станет важным фактором в развитии идеи единения славянских народов. Однако все ограничилось празднествами в честь прибывших славян: 8–15 мая в Петербурге и 16–26 мая в Москве (описание их см. в кн.: *Всероссийская этнографич. выставка*).

117. Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Печатается по автографу — *ИРЛИ.* 12540/LXX б. 6. Л. 7–8.
Первая публикация — *Урания.* С. 80.
Датируется предположительно по соотношению с письмом 115.

[1] Кн. В.А. Черкасский был в Петербурге проездом в апреле 1867 г.
[2] Речь идет о Ж.А. Рюльман, второй жене Я.П. Полонского.

118. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 100–101 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984.* С. 295–297; на языке оригинала и в переводе: *ЛН-1.* С. 294–296.

[1] В апреле–мае 1867 г. Тютчев страдал от приступа подагры.
[2] Евгений Онегин. Гл. VII. Строфа XLII.

[3] Болезнь помешала Тютчеву приехать в Москву вместе с участниками Славянского съезда.

[4] Тютчев имеет в виду предстоящее открытие Всероссийской этнографической выставки в Москве (см. о ней: письмо 116, примеч. 6). Открытие, на которое прибыл Александр II вместе с членами императорской фамилии, сопровождалось пышными торжествами.

[5] Речь идет о предстоящем визите Александра II в Париж.

[6] См. письмо 116, примеч. 4.

[7] Фридрих Вильгельм — наследный принц Пруссии, в 1888 г. — германский император Фридрих III; двоюродный брат Александра II.

[8] Тютчев видел в Бисмарке, проводившем политику объединения Германии, «самого энергичного, самого убежденного выразителя национальной идеи» (см. письмо 120), что, по его мнению, не было свойственно Александру II.

119. А. М. ГОРЧАКОВУ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 726. Л. 7–7 об.

Первая публикация — в русском переводе: *ЛН. Т. 19–21.* С. 235.

[1] О поездке Александра II в Париж см.: письмо 116, примеч. 4.

[2] Н.С. Акинфиева — внучатая племянница Горчакова.

[3] Роман И.С. Тургенева «Дым». Об отношении к нему Тютчева см.: письмо 113, примеч. 2.

120. Е. Э. ТРУБЕЦКОЙ

Печатается по автографу — *ИРЛИ.* 35. 1. 14. Л. 127–128 об.

Первая публикация — *Урания.* С. 115–116.

[1] У М.Ф. Бирилевой умерла годовалая дочь.

[2] Имеются в виду славянские народы, страдавшие под властью Турции и Австрии.

121. В. И. ЛАМАНСКОМУ

Печатается по автографу — *ИРЛИ.* 2384. VII. М. 168. Л. 14.

Первая публикация (без даты) — ж. «Русская мысль». 1915. № 11. С. 129.

Датируется 6 мая 1867 г., приходившимся на субботу. В письме речь идет о намеченном на 11 мая 1867 г. банкете в петербургском Дворянском собрании в честь славянских гостей.

122. В. И. ЛАМАНСКОМУ

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. 2384. VII. M. 168. Л. 15–16 об.

Первая публикация (без даты) — ж. «Русская мысль». 1915. № 11. С. 130.

Датируется 7 мая 1867 г., приходившимся на воскресенье, — по соотношению с письмом 121.

[1] Речь идет о приглашении министра народного просвещения гр. Д.А. Толстого на банкет в честь славянских гостей, который должен был состояться 11 мая в петербургском Дворянском собрании.

[2] На банкете 11 мая читалось стихотворение Тютчева «Славянам» («Привет вам задушевный, братья...»).

123. М. Н. КАТКОВУ

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 120. К. 11. Ед. хр. 23. Л. 9–10 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 420–421.

Края автографа обгорели. Утраченные слова восстанавливаются по смыслу.

124. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25 Л. 22–23 об.

Первая публикация — отрывок: *Пигарев*. С. 157; полностью: *ЛН-1*. С. 296–297.

[1] 8–15 мая 1867 г. в Петербурге проходили празднества в честь участников Славянского съезда (см. письмо 116, примеч. 6).

[2] Тютчев противопоставляет антинаучной, политически тенденциозной теории польского этнографа Ф. Духинского о «туранском» (наряду с монголами) происхождении великороссов ту демонстра-



цию славянского единства, которая имела место на «первом празднике Всеславянства» (так он назвал Славянский съезд).

[3] Ф.Ф. Трепов был в это время обер-полицеймейстером Петербурга.

[4] 11 мая в петербургском Дворянском собрании был дан банкет в честь славянских гостей. Тютчев присутствовал на этом банкете. В качестве приветствия гостям было прочитано его поэтическое послание «Славянам» («Привет вам задушевный, братья...»).

[5] Министр народного просвещения гр. Д.А. Толстой дал два обеда в честь славянских гостей — 12 и 13 мая. На обеде 12 мая присутствовал Тютчев.

[6] Славянская депутация представлялась Александру II 14 мая.

[7] Автограф посланных стихов среди писем Тютчева к Аксакову отсутствует. По-видимому, это была новая редакция стихотворения, посвященного чешскому писателю и ученому, ревностному стороннику сближения Чехии с Россией — Вацлаву Ганке («К Ганке»). В дни Славянского съезда Тютчев внес в это стихотворение ряд изменений и дополнил его тремя новыми строфами, в которых связывал съезд с памятью Ганки. Этим стихотворением открывался сборник «Братьям-славянам» (М., май 1867), изданный по случаю приезда славянской делегации в Москву.

125. Я. Ф. ГОЛОВАЦКОМУ

Я.Ф. Головацкий — поэт, этнограф и фольклорист; уроженец Галиции, с конца XVIII в. входившей в состав Австрийской империи. В 1848–1866 гг. Головацкий — профессор русского языка и литературы в Львовском университете; был издателем ряда газет и журналов, выходивших в Галиции на русском языке.

В лекциях, исследованиях, в газетно-журнальной деятельности Головацкий настойчиво отстаивал идею русско-галицкого единства, поэтому деятельность его вызывала с самого начала нападки австрийских властей. Гонения закончились обыском и отставкой профессора. Ему была запрещена преподавательская деятельность, запрещена была и его «Грамматика русского языка».

Потеряв возможность работать на родине, Головацкий в 1867 г. переселился в Россию и занял место председателя Виленской комиссии по изданию древних актов. В «Чтениях Московского общества истории и древностей Российских» печатался основной труд его жизни — «Народные песни Галицкой и Угорской Руси».

В 1866 г. Головацкий активно содействовал созданию Славянского отдела Всероссийской этнографической выставки, подготовив для нее коллекцию по Галиции, и был участником так называемого Славянского съезда, который состоялся в мае 1867 г. в связи с открытием этой выставки (см. письмо 116, примеч. 6).

Автограф — Львовская научная б-ка. Отдел рукописей. Ф. 36. 362/17.

Печатается по первой публикации — *ЛН-1.* С. 517–518.

[1] 11 мая 1867 г. в петербургском Дворянском собрании, на торжественном обеде в честь участников съезда, Головацкий произнес речь: «Моя родная страна <...>, — сказал он, — есть исконная русская земля», галичане и русские составили «один великий русский народ», и хотя этот «исконный союз» был «расторгнут насильно на долгие времена», народ Галиции «по сю пору называет себя русским, живет русским духом, говорит по-русски, сохраняет невредимо предания отцов своих и веру в соплеменность нашу с вами. Миллионы сердец преданы вам и чают душевного сближения и единения с вами» (*Всероссийская этнографич. выставка.* С. 211–213).

[2] Мф. 24, 13.

[3] 12 мая 1867 г. министр народного просвещения гр. Д.А. Толстой дал обед в честь славянских гостей, участников Славянского съезда.

126. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — *Собр. Пигарева.*

Первая публикация — отрывок: *Изд. 1933–1934.* Т. 2. С. 426; полностью: *ЛН-1.* С. 298.

[1] Слова австрийского министра иностранных дел гр. фон Бейста, проводившего политику подавления славянских народов Австро-Венгрии.

[2] 12 мая, на обеде у гр. Д.А. Толстого в честь славянских гостей, Тютчев передал Ю.Ф. Самарину это стихотворение, написанное накануне. 15 мая он обратился к нему с просьбой внести незначительные коррективы в последнюю строфу (*Изд. 1984.* С. 299–300, 406), а на следующий день послал Аксакову новую редакцию с еще раз исправленной концовкой. В этой редакции стихотворение было дважды прочитано 21 мая на банкете в честь славянской делегации —



сначала С.М. Сухотиным, а потом, «по требованию публики», И.С. Аксаковым (*МВ*. 1867. № 113, 24 мая).

[3] Сын Тютчева Иван весной 1867 г. окончил курс училища правоведения в Петербурге и с осени того же года служил в Москве, в так называемом «старом» Сенате.

127. И. С. АКСАКОВУ

Печатается впервые по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 24–25 об.

[1] Львовская «Gazeta Narodova» напечатала манифест польской эмиграции в Париже с протестом против всякой солидарности с московско-славянским съездом (*СПб. вед.* 1867. № 135, 18 мая).

128. А. А. КРАЕВСКОМУ

А.А. Краевский — журналист, с 1839 г. издатель журнала «Отечественные записки», с 1863 г. — общественно-политической газеты «Голос».

Печатается по автографу — РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 775. Л. 1.
Первая публикация — ж. «Звезда». 1929. № 9. С. 202–203.
Датируется по содержанию (см. примеч. 1).

[1] В свойственной Тютчеву манере несколько иронически отзываться о собственных стихах поэт благодарит Краевского за публикацию в майской книжке «Отечественных записок» за 1867 г. своего стихотворения, написанного под впечатлением от чтения романа И.С. Тургенева «Дым» и построенного на противопоставлении более раннего творчества Тургенева («могучий и прекрасный... волшебный лес») его новому роману («Дым — безотрадный, бесконечный дым!»). В словах ***«клуб дыма»*** заключен шутливый намек на заголовок этого стихотворного отклика — «Дым».

129. Н. И. ТЮТЧЕВУ

Н.Н. Тютчев — старший брат поэта. В 1816 г. окончил Училище колонновожатых и поступил на службу в Генеральный штаб. В 1842 г. вышел в отставку в чине полковника Генерального штаба и поселился в Москве.

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 8–9 об.

Первая публикация — отрывок: *Урания*. С. 175; полностью: *Изд. 1984*. С. 301–302.

[1] День рождения Н.И. Тютчева.

[2] Эрн. Ф. Тютчева была больна дифтеритом.

[3] См. письмо 130, примеч. 1.

[4] Т. е. до смерти Е.А. Денисьевой.

130. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 41–42 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 302–303.

Датируется по содержанию (см. примеч. 2). Кроме того, 13 июня приходилось на вторник в 1867 г.

[1] Старший сын поэта Дмитрий страдал тяжелым пороком сердца.

[2] 13 июня 1867 г. в Петербурге чествовалось пятидесятилетие государственной деятельности кн. А.М. Горчакова. См. стихотворение Тютчева, написанное по этому случаю: т. 2 наст. изд. С. 182.

[3] Горчаков сопровождал Александра II в Париж (см. письмо 116, примеч. 5).

[4] Слух об отставке военного министра Д.А. Милютина и министра государственных имуществ А.А. Зеленого оказался ложным.

[5] Речь идет о гр. Н.П. Игнатьеве.

131. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 43–44 об.

[1] Речь идет о семье советника придворной конюшенной конторы А.П. Мельникова, на дочери которого Ольге Александровне в 1868 г. женился сын Тютчева Дмитрий.

[2] См. письмо 130, примеч. 2.

[3] Новости, которые *нуждаются в проверке*, — это сообщение Тютчева в предыдущем письме от 13 июня об отставке военного министра Д.А. Милютина и министра государственных имуществ А.А. Зеленого (см. письмо 130, примеч. 4).



132. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 102–105 об.

Первая публикация – *ЛН-1.* С. 299–301.

[1] На летних чаепитиях в саду у М.П. Погодина на Девичьем поле собирались известные литераторы и ученые. Ныне дом и сад Погодина не существуют; сохранилась лишь так называемая Погодинская изба, которую Погодин построил для своего «Древлехранилища» (Погодинская ул., 12).

[2] Как председатель Комитета цензуры иностранной Тютчев подчинялся министру внутренних дел П.А. Валуеву. В Москву он смог выехать около 20 июля (*Летопись.* С. 188).

[3] Речь идет о семье советника придворной конюшенной конторы А.П. Мельникова (см. письмо 131, примеч. 1).

[4] Во время визита Александра II в Париж (см. письмо 116, примеч. 4 и 5) А.М. Горчаков вел с Наполеоном III и французским министром иностранных дел Ф. Мустье переговоры по поводу передачи Крита Греции и облегчения положения христианских народов Оттоманской империи. Как и предполагал Тютчев (см. письмо 116), визит не дал желаемых результатов (*Шнеерсон.* С. 45–46).

[5] Под *происшествиями* подразумевается покушение А.И. Березовского на Александра II, совершенное в Париже 25 мая/6 июня 1867 г.

[6] Имеется в виду пребывание в Париже прусского короля Вильгельма I (см. письмо 116, примеч. 4).

[7] В июне 1867 г. турецкий султан Абдул-Азиз посетил по приглашению Наполеона III парижскую Всемирную выставку; затем он отправился в Лондон и Вену. Правительства Франции, Англии и Австрии принимали его как почетного гостя, заверяя в своей готовности поддерживать Турцию. Подобная политика развязывала турецкому правительству руки в деле подавления восстания на Крите.

[8] Тютчев имеет в виду движение фениев — членов тайного «Ирландского революционного братства», основанного в 1858 г. и действовавшего в Ирландии и Великобритании. Восстание, поднятое фениями в 1867 г., было подавлено.

[9] 1 июля 1867 г. Аксаков возобновил издание «Москвы» после трехмесячного перерыва (см. письмо 116, примеч. 2). Он сразу же откликнулся на события, о которых писал ему Тютчев: «Покуда султан утешается изысканным гостеприимством Наполеона III, ко-

ролевы Виктории и Франца-Иосифа, — несчастные герои Крита успеют задохнуться от усилий в неравной борьбе с кровожадными полчищами Омер-паши» (Москва. 1867. № 74, 4 июля).

[10] Подразумевается Славянский съезд (см. письмо 116, примеч. 6).

[11] См. письмо 130, примеч. 4; письмо 131, примеч. 3.

133. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 67–68 об.

[1] Речь идет об ожидавшихся родах Анны (см. письмо 93, примеч. 1; письмо 135, примеч. 1).

[2] Кн. Ю.Н. Голицын стал известен в Москве в 1842 г. выступлениями своего хора, составленного из крепостных людей его тамбовского имения. После отмены крепостного права собирал хор из любителей. Хором дирижировал сам, с успехом давал концерты в Москве, Петербурге, Париже, Лондоне и других городах.

[3] Леди Бьюкенен — жена сэра Эндрю Бьюкенена, английского посла в Петербурге с 1864 по 1871 г.

[4] Текст стихотворения уточнен по автографу.

Четверостишие было написано в связи с тем, что английская королева Виктория с большими почестями приняла в Лондоне турецкого султана Абдул-Азиза и наградила его орденом Подвязки, высшим орденом Великобритании, в то время как турецкие войска расправлялись с восставшими кандиотами (см. письмо 100, примеч. 6; письмо 132, примеч. 7). Тютчев обыгрывает здесь девиз этого ордена, учрежденного королем Эдуардом III в 1348 г. По преданию, Эдуард III поднял подвязку, оброненную придворной дамой на балу, надел ее под колено и произнес при этом фразу, ставшую девизом ордена: «Honni soit qui mal y pense» («Позор тому, кто плохо об этом думает» — *фр.*).

134. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 74–77 об.

[1] Речь идет об О.С. Аксаковой, матери И.С. Аксакова.

[2] 5 августа 1867 г. в Троице-Сергиевой лавре справлялся пятидесятилетний юбилей архиерейского служения митрополита Московского Филарета.

[3] И.В. Рождественский был протоиереем Малой церкви Зимнего дворца.

135. А.Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 106–107 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 457–458.

[1] Слегка переиначенная цитата из сказки Шарля Перро «La barbe bleue» («Синяя борода»): «Ma *sœur* Anna, ne vois-tu rien venir?» В письме Тютчева этот вопрос вызван затянувшейся беременностью дочери Анны.

[2] 1 июля 1867 г. И.С. Аксаков возобновил издание «Москвы» после трехмесячного перерыва (см. письмо 116, примеч. 2). Сообщая об этом жене в письме от 2 июля, Тютчев писал о статье Аксакова в первом по возобновлении издания номере: «...Я не буду удивлен, если уже этот первый нумер вызовет предостережение вследствие нескольких предварительных слов благодарности своим подписчикам за то, что они остались ему верны, — слов, выражающих самое нескрываемое презрение к поразившей его власти» (Старина и новизна. Кн. 21. Пг., 1916. С. 236. Перевод с *фр.*). Тютчев не ошибся: 4 июля «Москве» было объявлено предостережение именно за эту статью.

13 августа 1867 г., вскоре после возвращения из Москвы, Тютчев писал жене: «Вчера я навестил князя Лобанова, управляющего Министерством, которого я нашел очень дурно расположенным к газете Аксакова; ей угрожает второе предостережение <...> что меня побудило высказать несколько горьких истин об управлении печатью, не обладающем ни умом, ни честностью» (там же. С. 239. Перевод с *фр.*). Угроза предостережения была отведена благодаря вмешательству Тютчева.

[3] Имеется в виду статья в № 103 «Москвы» от 9 августа 1867 г. В цензурных материалах отмечено, что эта статья, «говоря о новом законе касательно порядка печатания постановлений земских и других сословных собраний, дозволяет себе резкие против него выходки, называя его репрессивным и мертвящим жизнь наших провинций» (*Материалы о цензуре и печати.* Ч. II. С. 9).

[4] Перефразировка известной французской поговорки: «Noblesse oblige» («Благородное происхождение обязывает»).

136. М. Ф. БИРИЛЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 9–10 об.

Первая публикация — в русском переводе, отрывки: *ЛН. Т. 19–21.* С. 216, 239; полностью: *Изд. М., 1957.* С. 458–459.

Датируется второй половиной августа 1867 г., так как написано в ответ на письмо М.Ф. Бирилевой от 9 августа; помещено до письма Тютчева к И.С. Аксакову от 23 августа 1867 г., поскольку в последнем письме Тютчев гораздо спокойнее отзывается о приезде Фуад-паши в Ливадию, чем в письме к М.Ф. Бирилевой, по-видимому, отражающем первые впечатления поэта.

[1] На письме М.Ф. Бирилевой к Ф.И. Тютчеву имеется следующая приписка поэта на французском языке, обращенная к А.Ф. Аксаковой: «Посылаю тебе письмо Мари, содержание коего, в части местных подробностей, могло бы заинтересовать твоего мужа. *Ф. Т.*».

[2] М.Ф. Бирилева сообщала отцу из Овстуга: «Деморализация увеличивается с каждым годом. Здесь нет больше ни одного священника, который не проводил бы три четверти своего времени в пьянстве, наш (увы!) в том числе. <...> Никогда еще народ и духовенство не представали передо мной в таком безобразном свете; спрашиваешь себя, как и чем это кончится? Суждено ли им, подобно Навуходоносору, стать животными в полном смысле слова, или же произойдет благоприятный кризис, ибо предоставленные самим себе пастыри и овцы с каждым годом становятся все более отталкивающими. Впрочем, может быть, это — особенность, присущая Брянскому уезду, и к тому же "в Россию можно только верить"». Далее М.Ф. Бирилева писала о том, что каждый день на сельском кладбище хоронят «детей, гибнущих из-за недостатка ухода» (*Изд. 1984.* С. 409. Перевод с *фр.*).

[3] Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» (Акт I. Сц. 4). Тютчев ошибается, приписывая эти слова Гамлету: их произносит Марцелл.

[4] О приезде турецкого министра Фуад-паши в Ливадию см.: письмо 137, примеч. 4.

137. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 26–27 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 302–303.

[1] В это время в Главном управлении по делам печати дебатировался вопрос о втором предостережении «Москве».

[2] См. письмо 135, примеч. 2.

[3] Кн. П.П. Гагарин с 1864 по 1872 г. занимал пост председателя Комитета министров.

[4] В августе 1867 г. Александр II принял в Ливадии чрезвычайное посольство Турции во главе с министром иностранных дел Мухаммедом Фуад-пашой. Была сделана попытка склонить Турцию к передаче Крита Греции (переговоры вел русский посол в Константинополе гр. Н.П. Игнатьев). Фуад-паша ответил решительным отказом и ограничился весьма неопределенным обещанием временно приостановить военные действия против повстанцев (Записки гр. Н.П. Игнатьева, 1864–1874 // Известия Министерства иностранных дел. 1914. Кн. II. С. 92). Тем не менее, по окончании переговоров он был награжден орденом Св. Александра Невского.

138. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу – РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 90–91 об.

[1] Управляющий брянскими имениями Тютчевых.

[2] Романтическая опера немецкого композитора Ф. Флотова «Alessandro Stradella, oder Macht des Gesanges» («Алессандро Страделла, или Сила песнопения») была впервые поставлена на сцене Русской оперы в 1851 г. В основу ее либретто положены события жизни итальянского композитора XVII в. А. Страделлы. В музыке оперы использованы принадлежавшие ему темы.

139. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу – РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 92–95 об.

[1] В «Revue des Deux Mondes» от 1 сентября 1867 г. была помещена статья под названием «Le Congrès de Moscou et la Propagande

panslaviste» (подпись «Julian Klaczko»). Автор статьи, не скрывая своего негативного отношения к Славянскому съезду, довольно подробно описывал все происходившее на нем. Имя Тютчева упоминалось среди присутствовавших на съезде и в связи с чтением, в качестве приветствия прибывшим гостям, его поэтического послания «Славянам». Была приведена французская острота Тютчева «Le Narcisse de l'écritoire» («Нарцисс чернильницы»). Так, по свидетельству современников, он называл А.М. Горчакова.

[2] Имеется в виду З.М. Добровольский, казначей Комитета цензуры иностранной.

140. А.Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 110–111 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 303–305.

[1] 6 сентября 1867 г. газета «Биржевые ведомости» получила первое предостережение за ряд статей, осуждавших деятельность министра финансов М.Х. Рейтерна (*Материалы о цензуре и печати.* Ч. II. С. 141). Тютчев имеет в виду одну из них (№ 225, 23 авг.) – в ней приводились такого рода извлечения из документов иностранных дипломатов и финансистов: «Большое число займов, заключенных г. Рейтерном для внутренних потребностей и удвоивших в течение семи лет государственный долг России, весьма неблагоприятно отразились на русском кредите»; «Новый заем грозит разорением сельскохозяйственным банкам»; «Торговля и промышленность необходимо должны впасть в застой» и др.

[2] Биарриц – французский курорт на берегу Бискайского залива. В сентябре 1867 г. там жила Е.Ф. Тютчева со своей теткой Д.И. Сушковой.

[3] Д.Ф. Тютчева находилась в это время в Германии.

141. А.Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 112–113 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 305–307.

[1] Тютчев послал Аксакову отрывок из письма Ф.М. Достоевского А.Н. Майкову (Женева, 16/28 авг. 1867 г.) с рассказом о впечатлении

от встречи с Тургеневым в Баден-Бадене. «...Его книга “Дым” меня раздражила, — писал Достоевский. — Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: “Если б провалилась Россия, то *не было бы* никакого ни убытка, ни волнения в человечестве”» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 2. С. 210). В этом суждении Тютчев увидел подтверждение собственной оценки «Дыма». См. письмо 113, примеч. 2.

[2] О переговорах в Ливадии см.: письмо 137, примеч. 4.

[3] Одно время в дипломатических кругах ходили слухи о предполагаемой отставке А.М. Горчакова и замене его Н.П. Игнатьевым.

[4] Аксаков выполнил это пожелание Тютчева (см. письмо 142, примеч. 3).

142. А.Ф. и И.С. АКСАКОВЫМ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 28–29 об.

Первая публикация — в русском переводе: *ЛН. Т. 19–21.* С. 238–239; на языке оригинала и в русском переводе: *ЛН-1.* С. 307–308.

[1] Ввиду несогласия Турции передать Крит Греции (см. письмо 137, примеч. 4) Россия предложила Франции, Италии и Пруссии подписать декларацию о том, что они снимают с себя ответственность за возможные последствия этого несогласия, что Турция будет лишена в случае необходимости моральной и материальной помощи держав, вставших на позицию невмешательства. Это означало отказ гарантировать целостность Оттоманской империи в случае восстания ее христианского населения. Франция, Италия и Пруссия присоединились к декларации.

[2] О переговорах в Ливадии см.: письмо 137, примеч. 4.

[3] По намеченной Тютчевым программе Аксаков построил передовую статью «Москвы» от 30 сентября 1867 г. (№ 141); в конце ее он отметил, что русское общественное мнение не изменилось «в своем доверии к главе наших дипломатов». Сам Тютчев свое отношение к деятельности Горчакова в области восточной политики России выразил несколько позже — в стихотворении, написанном 5 декабря 1867 г., «По прочтении депеш Императорского Кабинета, напечатанных в “Journal de St-Pétersbourg”» (в этот день была опубликована

дипломатическая переписка русского правительства по восточному вопросу, в том числе и декларация, о которой идет речь в данном письме).

143. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 30–31 об.

Первая публикация — *ЛН. Т. 19–21.* С. 239–240.

[1] Об этой статье см.: письмо 142, примеч. 3.

[2] Об этой декларации см.: письмо 142, примеч. 1.

[3] Тютчев имеет в виду события в Италии (см. письмо 145, примеч. 1).

[4] Латинское выражение *Deus ex machina* (букв.: бог из машины) обозначает неожиданную развязку, наступившую вследствие непредвиденного обстоятельства (в античной трагедии божество внезапно появлялось на сцене при помощи механического приспособления).

[5] В это время сын Тютчева Иван жил в Москве (см. письмо 126, примеч. 3).

144. В. И. ЛАМАНСКОМУ

Печатается по автографу — *ИРЛИ.* 2384. VII. М. 168. Л. 3.

Первая публикация — ж. «Русская мысль». 1915. № 11. С. 131.

Год установлен на следующем основании. 6 октября приходилось на пятницу в 1867 г. В этом же году вернулся из эмиграции упомянутый в письме Тютчева В.И. Кельсиев.

[1] В.И. Кельсиев — сотрудник Вольной русской типографии в Лондоне. В 1867 г. заявил о своем «раскаянии» и получил разрешение вернуться в Россию. 8 октября 1867 г. Б.М. Маркевич писал М.Н. Каткову: «Третьего дня провел я вечер у Тютчева в обществе весьма симпатичных интеллигенций, в числе которых был <...> и Вас. Ив. Кельсиев, которого я видел тут в первый раз. Он мне очень понравился: серые страдальческие и привлекательные глаза и что-то нервное, быстро воспринимающее впечатления во всем организме» (*ЛН-2.* С. 391).

145. А. Ф. и И. С. АКСАКОВЫМ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 114–115 об.

Первая публикация – *ЛН-1.* С. 309–311.

[1] В 1867 г. для полного объединения Италии недоставало только Рима, который находился под светской властью папы. Гарибальди призывал идти на Рим, однако правительство Виктора Эммануила не решилось выступить против папы, опасаясь вмешательства Франции, и выполнило требование Наполеона III, арестовав Гарибальди и выслав его на Капреру. Тем не менее гарибальдийские отряды не были распущены и в сентябре вторглись в Папскую область, а в октябре Гарибальди бежал с Капреры и снова возглавил свои войска. Тогда правительство Франции приняло решение об интервенции для оказания помощи папе. В предвидении этой возможности флорентийский кабинет (в 1865–1870 гг. столицей Италии была Флоренция) обратился к русскому правительству в надежде на его поддержку против Франции.

[2] Аксаков откликнулся на эти советы в передовой статье «Москвы» от 12 октября 1867 г. (№ 151). «Быть единой Италии – не быть светской власти папы; быть светской власти папы – не быть единой Италии», – писал Аксаков. И далее: «Нужно ли говорить, что сочувствие России может быть только на стороне Италии? <...> Как русские, как славяне мы не можем не сочувствовать идее народности и стремлению Италии к национальной свободе, независимости и объединению».

[3] В процессе переговоров по восточному вопросу на предложения русского кабинета французский министр иностранных дел Ф. Мустье выдвигал свои контрпроекты. На заявление Горчакова о необходимости потребовать от Османской империи освобождения Крита и присоединения его к Греции Мустье выразил намерение, обходя вопрос о положении славянского населения в Турции, добиваться для Греции, кроме Крита, лучших границ в Эпире и Фессалии. Но затем высказал опасение, что немедленная передача Крита Греции может вызвать с ее стороны другие территориальные претензии. В ответ на предложение Горчакова путем реформ обеспечить автономию и местное самоуправление христианским областям Османской империи Мустье настаивал на общих административных реформах, направленных на укрепление Османской империи. На предложение России придерживаться принципа не-

вмешательства (см. письмо 142, примеч. 1) французская сторона пыталась дать свою интерпретацию этого принципа. Но несмотря на эти расхождения в процессе переговоров, предложенная Россией декларация о невмешательстве (см. там же) была поддержана Францией, а также Италией и Пруссией. В конце октября четыре экземпляра этой декларации были вручены в Стамбуле султанскому правительству. Однако выступление держав не дало никаких реальных результатов.

[4] О позиции турецкого министра иностранных дел Фуад-паши во время переговоров в Ливадии см.: письмо 137, примеч. 4.

146. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 114–115 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 461–462.

[1] Первоначально назначенная на 11 октября 1867 г. свадьба греческого короля Георга I с вел. кнж. Ольгой Константиновной состоялась в Петербурге 15 октября 1867 г.

[2] См. письмо 145, примеч. 1.

[3] А.М. Горчаков был влюблен в свою внучатую племянницу Н.С. Акинфиеву, развод которой с мужем В.Н. Акинфиевым в течение нескольких лет являлся пищей для светских пересудов. Поговаривали о предстоящем браке Горчакова с Акинфиевой. Однако Надежда Сергеевна вышла замуж за Николая Максимилиановича, герцога Лейхтенбергского, старшего сына вел. кн. Марии Николаевны. Как морганатическая супруга она получила титул гр. Богарне.

147. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 116–117 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 312–313.

[1] Георг I.

[2] Подразумевается статья Аксакова в «Москве» от 12 октября (см. письмо 145, примеч. 2).



148. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу – РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 121–122 об.

[1] Речь идет о той позиции, которую занял Наполеон III в итальянском вопросе (см. письмо 145, примеч. 1; письмо 151, примеч. 3).

[2] Государственный министр Франции Эжен Руэ в то время, к которому относится письмо Тютчева, определял программу французского кабинета.

[3] См. письмо 146, примеч. 3.

149. Е. К. БОГДАНОВОЙ

Печатается по автографу – *ИРЛИ*. 9930/XIV с. 9. Л. 1–2 об.

Первая публикация – *Письма к Богдановой и Фролову*. С. 21–22, 43.

Год написания устанавливается по содержанию.

[1] См. письмо 148.

[2] Софья Зыбина, автор романсов на слова Тютчева: «Вечер мглистый и ненастный...», «Так здесь-то суждено нам было...», «Еще томлюсь тоской желаний...»; изданы в 1856 г. (*Лирика II*. С. 482).

[3] Речь идет о Е.К. Зыбиной, поэтессе. На тетради стихов Зыбиной Тютчев написал четверостишие: «Тут целый мир, живой, разнообразный...»

150. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу – РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 123–124 об.

Год написания устанавливается по содержанию.

151. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 32–33 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 313–314.

[1] 21 октября 1867 г. А.Ф. Аксакова родила мертвого ребенка. В это время здоровье ее еще не поправилось.

[2] 9 ноября 1867 г. в «Северной почте» (№ 246) было высказано мнение, что затянувшаяся полемика по так называемому остзейскому вопросу (см. письмо 111, примеч. 1) может быть прекращена путем применения системы предостережений, принятой законом о печати 6 апреля 1865 г. Аксаков возразил официозу Министерства внутренних дел, утверждая, что полемика прекратится лишь с устранением в Остзейском крае «тех жизненных условий, которые производят эти прискорбные столкновения неприязни племенной и сословной» (Москва. 1867. № 179, 14 нояб.).

[3] Французские войска, выступившие на помощь папе (см. письмо 145, примеч. 1), одержали победу над гарибальдийцами при Ментоне. Сознавая, что эта победа не решает римского вопроса, Наполеон III предложил рассмотреть сложившееся положение на европейской конференции. Однако явное сочувствие Англии, России и Пруссии стремлениям Италии к окончательному объединению заставило его отказаться от этой идеи. Аксаков посвятил две статьи предполагаемой конференции (Москва. 1867. № 171 и 181, 4 и 17 нояб.). Тютчев имеет в виду вторую из этих статей, в которой вопрос о светской власти папы рассматривался как вопрос о судьбах католической церкви и всего «латинского» мира.

[4] В 774 г. Карл Великий, поддерживая папу Адриана I, победил короля лангобардов Дезидерия, занял его столицу, а его самого заточил в монастырь.

[5] На следующий день в русской печати появились известия из Константинополя: «Положение, принятое в восточном вопросе французским правительством и его дипломатическими агентами, ободряет Порту действовать против декларации держав и вводить новую администрацию на острове Кандии <Крите>» (*СПб. вед.* 1867. № 321, 20 нояб.).

152. В. И. ЛАМАНСКОМУ

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. 2384. VII. М. 168. Л. 5–5 об.
Первая публикация — ж. «Русская мысль». 1915. № 11. С. 131.

[1] 23 ноября — день рождения Ф.И. Тютчева.

153. Ю. Ф. САМАРИНУ

Ю.Ф. Самарин — общественный деятель и публицист, один из идеологов славянофильства, участник подготовки крестьянской реформы в России и Царстве Польском. Тютчев познакомился с

Самариным в середине 1840-х гг., вскоре после своего возвращения в Россию, но особенно сблизился с ним во второй половине 1860-х гг.

Печатается по автографу – РГБ. Ф. 265. К. 202. Ед. хр. 38. Л. 1–2 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 426.

[1] По-видимому, речь идет об изданиях, подготовкой которых был в это время занят находившийся в Праге Самарин (см. письмо 175, примеч. 1 и 2). Продажу их в России должен был санкционировать Комитет цензуры иностранной, председателем которого был Тютчев, и Самарин мог просить разрешения переслать их непосредственно на его имя с целью ускорить эту процедуру.

[2] Тютчев подразумевает сторонников теории так называемого австрославизма, основанной на идее преобразования многонациональной Австрийской империи (с 1867 г. – Австро-Венгрии) в федеративное государство под властью Габсбургов. Теория австрославизма родилась в среде чешской либерально-буржуазной интеллигенции (ее выдвинул историк Фр. Палацкий – см. письмо 175, примеч. 4). Теория эта вызывала активный протест со стороны Тютчева.

[3] Тютчев не раз высказывал мысль о том, что «инстинкт народных масс выше умозрений образованного люда» (см. письмо 181).

[4] Эту мысль Тютчева развивает Аксаков в биографии поэта: «Славянин-латинянин – это извращение славянской духовной природы. Сомнительна возможность политической самостоятельности при утрате самостоятельности нравственной, при утрате *духовной народной личности*. Нельзя ожидать возрождения для народов, прикованных к римскому духовному *отжившему* идеалу <...>» (*Биогр.* С. 146).

[5] В декабре 1867 г. завершился процесс преобразования Австрийской империи в Австро-Венгрию – дуалистическое государство, в котором Венгрия получила автономию по отношению к Австрии. Этот процесс, длившийся около года, побудил славянские народы вступить в борьбу за равные права в создававшейся федерации. К осени 1867 г. это движение охватило широкие народные массы и продолжало набирать силу.

[6] В 1866–1867 гг. Самарин готовил к изданию второй том Сочинений А.С. Хомякова. Этот том составляли Сочинения богословские, заключающие в себе критику католицизма и протестан-

тизма и утверждающие идею православия как «истинного христианства». Предвидя препятствия к изданию этой книги со стороны духовной цензуры, Самарин выпустил ее за границей в Праге. Написанное им предисловие имеет в книге дату: «Прага, апрель 1868». Однако, по свидетельству В.Ф. Одоевского, Самарин читал его петербургским друзьям еще в январе 1867 г. (*ЛН*. Т. 22–24. М., 1935. С. 228); тогда же мог познакомиться с этим предисловием и Тютчев.

[7] Смерть митрополита Московского Филарета (19 нояб. 1867 г.), сильно влиявшего на политику духовной цензуры, ничего не изменила в судьбе книги Хомякова. Она была допущена в продажу только в 1879 г. (см. письмо 185, примеч. 1).

154. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 34–36 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 314–315.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1).

[1] 22 ноября 1867 г. «Москва» получила второе предостережение за передовую статью в № 183 от 19 ноября (автор — И.К. Бабст), в которой критиковалась политика русского правительства в области таможенного тарифа (*Материалы о цензуре и печати*. Ч. II. С. 143–144). Предостережение, объявленное в разгар подписки на новый год, могло катастрофически сказаться на числе подписчиков. Это заставило Аксакова задуматься о целесообразности продолжения издания.

[2] Кн. Д.А. Оболенский, директор департамента таможенных сборов Министерства финансов в 1863–1870 гг., был другом Аксакова и неоднократно оказывал ему содействие.

[3] М.Х. Рейтерн в 1862–1878 гг. занимал пост министра финансов.

[4] Аксаков не последовал совету Тютчева и в передовой статье, начинавшейся словами «Дающая предостережения рука не оскудевает...» (Москва. 1867. № 189, 28 нояб.), протестовал против предъявленных ему обвинений в «систематическом охуждении действий правительства» и в искажении фактов, якобы «направленном к возбуждению страстей и общественного неудовольствия». 29 ноября газета получила за эту отповедь третье предостережение и с 3 декабря была приостановлена на четыре месяца (*Материалы о цензуре и печати*. Ч. II. С. 144–145).



[5] Поэт Я.П. Полонский служил в это время в Комитете цензуры иностранной под началом Тютчева и был близок с ним и с его семьей. Сохранился ответ Аксакова на письмо Тютчева, датированный 28 ноября 1867 г. В нем он между прочим сообщал: «Полонский утром завез мне ваше письмо. Благодарю вас. Статью, которой содержание вы очерчиваете, я постараюсь написать, но она не будет иметь никакого практического результата. От кого его ждать? От В<алуева>? Но мало ли уж ему объясняли и доказывали, — он не способен убедиться. От высших? Но они даже не прочтут» (*ЛН. Т. 19–21.* С. 598).

155. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 153–154 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 463–464; на языке оригинала и в русском переводе: *ЛН-1.* С. 315–317.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1–3).

[1] Подразумевается ответ И.С. Аксакова на второе предостережение «Москве» (см. письмо 154, примеч. 4).

[2] Тютчев имеет в виду *диктатуру мнения* министра внутренних дел П.А. Валуева, которому подчинялась печать.

[3] Слухи о предстоящих изменениях в законодательстве о печати не оправдались. 21 декабря 1867 г. в «Северной почте» (№ 279) по распоряжению Валуева была напечатана статья, в которой утверждалась целесообразность системы предостережений, предусмотренной законом о печати от 6 апреля 1865 г. Из этой статьи следовало, что никаких изменений в области цензуры в ближайшее время не ожидается.

156. Д. А. ОБОЛЕНСКОМУ

Князь Д.А. Оболенский — в 1863–1864 гг. председатель Комиссии по выработке нового законодательства о печати; в 1863–1870 гг. директор департамента таможенных сборов Министерства финансов.

Печатается впервые по автографу — *ИРЛИ.* Ф. 3. Оп. 20. Ед. хр. 101. Л. 1–2.

Датируется предположительно: Тютчев пересылает Оболенскому в понедельник (4 декабря 1867 г.) только что полученное им из Москвы письмо Аксакова от 28 ноября 1867 г., в котором сообщалось, что второе предостережение, данное «Москве» 22 ноября, «в самый момент подписки, убивает материально газету» (*ЛН. Т. 19–21*. С. 597).

[1] См. письмо 154, примеч. 1 и 4.

[2] С начала XIX в. словом «райя» (букв. «стадо» — *араб.*) презрительно называли в султанской Турции немусульманское население. В каком смысле оно употреблено Тютчевым, поясняют строки из его предыдущего письма: «Существует *инерция* сознания, в силу которой сама печать воспринимается как *болезнь*, и с каким бы рвением и убежденностью ни служила она власти, <...> в представлении этой власти все ее услуги всегда будут ничем в сравнении с величайшим благом — отсутствием печати».

157. В. П. БОТКИНУ

В.П. Боткин — критик, очеркист, переводчик, автор статей о музыке, живописи и поэзии, публиковавшихся в журналах «Телескоп», «Московский наблюдатель», «Отечественные записки», «Современник».

Печатается впервые по автографу — Гос. музей Л.Н. Толстого. Арх. В.П. Боткина. Ф. 9. № 60977. Л. 1–2.

Датируется на следующем основании. 5 декабря 1867 г. (во вторник) были обнародованы переписка по восточному вопросу и декларация русского правительства, в которой оно отказывалось гарантировать в дальнейшем целостность Турецкой империи. Тютчев надеялся, что это заявление вызовет всеобщее восстание восточных славян против турецкого владычества, о чем свидетельствует его стихотворный отклик на это событие: «По прочтении депеш Императорского Кабинета, напечатанных в “Journal de St-Pétersbourg”».

[1] См. письмо 158, примеч. 2.

158. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 38–39 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 317–318.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1 и 3).

[1] Подразумевается ответ Аксакова на второе предостережение, полученное «Москвой» (см. письмо 154, примеч. 4).

[2] А.М. Горчаков был влюблен в свою внучатую племянницу Н.С. Акинфиеву, что дало пищу для светских пересудов.

[3] В передовой статье «Москвы» от 2 декабря 1867 г. (№ 193) Аксаков писал: «Франция вступила в тесный, неразрывный союз с папством. Наполеониды и папы, цезаризм и папизм подали, повинуясь непреложному ходу истории, друг другу руку на жизнь и смерть».

[4] Вероятно, имелась в виду речь государственного министра Франции Эжена Руэ, заявившего в Законодательном собрании: «Италия *никогда* не будет обладать Римом», «Франция всегда будет охранять светскую власть папы, обеспечит за ним Рим и Церковную область» (Аксаков цитировал эти слова в указ. статье — см. примеч. 3).

[5] Сразу же после приостановки «Москвы» один из ее сотрудников, П.Н. Андреев, получил разрешение на издание новой газеты — «Москвича»; первый номер вышел 23 декабря 1867 г. «Москвич» явился продолжением «Москвы»; номинально редактором его значился Андреев, фактически же им оставался Аксаков. Об обстоятельствах возникновения этой газеты и о ее дальнейшей судьбе см.: письмо 164, примеч. 2; письмо 167, примеч. 2–4.

159. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 40–41 об.

Первая публикация — отрывки: *Мурановский сб.* С. 25; *ЛН. Т. 19–21.* С. 207–208; полностью: *ЛН-1.* С. 318–319.

[1] Этот документ, в котором излагался разговор неизвестного лица с французским министром иностранных дел Ф. Мустье, среди писем Тютчева к Аксакову не сохранился. Копия его, сделанная рукой Эрн. Ф. Тютчевой, находится среди ее бумаг (*Собр. Пигарева*).

[2] Подразумевается бар. А.Ф. Будберг, русский посол во Франции.

[3] Тютчев имеет в виду следующие строки упомянутой записки: «...г-н Мустье сказал мне, что греческий элемент не представляет никакой опасности для Турции, что можно присоединить к Греции Крит и даже Фессалию без того, чтобы существование Оттоманской

империи было подвергнуто опасности; напротив, славянский элемент для нее страшен». Далее автор записки отмечает, что, стремясь сохранить в целости Оттоманскую империю, Мустье в еще большей степени заинтересован в сохранении Австрийской империи, — иначе говоря, он отказывается признать за австрийскими славянами право на самостоятельность. Знакомство Аксакова с присланным ему документом отразилось в передовых статьях газеты «Москвич» от 10 и 12 января 1868 г. (№ 9 и 11).

[4] О попытке Александра II выступить в роли посредника между Францией и Пруссией см.: письмо 116, примеч. 4.

[5] См. письмо 68, примеч. 6.

[6] В двух передовых статьях «Москвича» (1867. № 3 и 5, 29 и 31 дек.) Аксаков доказывал нецелесообразность системы предостережений, полемизируя со статьей «Северной почты» от 21 декабря 1867 г. (см. письмо 155, примеч. 3).

160. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 42–43 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 322–323.

[1] Передовые статьи газеты «Москвич» от 26 и 28 января 1868 г. были направлены против нападок западноевропейских газет, осуждавших политику России в восточном вопросе. Объектом нападок было сочувствие России славянским народам Австро-Венгрии, а также помощь, которую Россия оказывала населению восставшего Крита.

[2] См. письмо 153, примеч. 5.

[3] Высказанные в этом письме соображения Тютчева нашли отражение в передовых статьях «Москвича» от 7 и 14 февраля 1868 г. (№ 34 и 38). Позднее Аксаков неоднократно возвращался к вопросу о судьбе австрийских славян.

161. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 126–127 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984*. С. 315–316; на языке оригинала и в русском переводе: *ЛН-1*. С. 323–324.



[1] Оттон Петерсон — пасынок Тютчева, сын его первой жены; морской офицер. В 1868 г. женился на девице Чайковской (имя и отчество неизвестны), с которой вскоре развелся.

[2] Имеется в виду желание А.Ф. Аксаковой иметь ребенка.

[3] Зимой 1867–1868 гг. в северных и центральных губерниях России разразился голод. В связи с этим устраивались многочисленные благотворительные балы и концерты. Аксаков посвятил вопросу о борьбе с голодом две передовые статьи (Москвич. 1868. № 36 и 37, 9 и 13 февр.).

[4] Подразумевается предполагавшееся назначение Н.П. Игнатьева министром иностранных дел вместо А.М. Горчакова. Назначение это не состоялось.

162. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 44–45 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 325.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 2–3).

[1] Феофил Толстой — литератор, музыкальный критик, в 1865–1870 гг. член Совета Главного управления по делам печати; передал в «Москвич» статью (см. письмо 165), которую Аксаков напечатать не успел.

[2] Передовая статья Аксакова в «Москвиче» от 1 февраля 1868 г. (№ 30) была посвящена отчету обер-прокурора Святейшего Синода гр. Д.А. Толстого о его деятельности за 1866 г. (Толстой занял эту должность в 1865 г.).

[3] В передовой статье «Москвича» от 7 февраля 1868 г. (№ 34) Аксаков оценивал возможные последствия попытки Австрии захватить Сербское княжество, которое входило в состав Оттоманской империи и в котором, так же как и в Хорватии, принадлежавшей Австрии, начиналось движение за объединение двух княжеств в самостоятельное государство: «Если австрийское правительство дозволит себе какое-либо нарушение Парижского трактата в ущерб славянской независимости», России «нельзя будет отнестись равнодушно» к этому.

[4] Э.Г. Штакельберг был русским послом в Вене с 1864 по 1868 г.

163. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 128–129 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984.* С. 316–317; на языке оригинала и в русском переводе: *ЛН-1.* С. 325–327.

[1] В 1762 г. тулузский торговец Жан Калас был приговорен к смертной казни по ложному обвинению в сыноубийстве. Вольтер добился пересмотра дела, и в 1765 г. Калас был посмертно оправдан.

[2] Этот исторический анекдот Тютчев мог почерпнуть из книги Жозефа де Местра «Санкт-петербургские вечера» (Joseph de Maistre. «Les soirées de Saint-Pétersbourg»).

[3] Тютчев подразумевает принятое 13 февраля 1868 г. решение Комитета министров о прекращении газеты «Москвич» и намекает на то, что решение это определялось позицией Александра II, заранее санкционировавшего запрещение газеты: 11 февраля Валуев «послал государю записку, в которой испрашивал разрешения представить Комитету министров о прекращении этой газеты. Разрешение получил» (*Валуев II*. С. 246).

[4] Лк. 23, 34.

[5] В передовой статье «Москвича» от 8 февраля 1868 г. (№ 35) Аксаков сообщил о процессе крестьян с. Хрущевки (Данковский у. Рязанской губ.), привлеченных полицией к уголовной ответственности за мнимый «бунт» (отказ от выполнения повинностей бывшему помещику) и оправданных судом присяжных. В статье вскрывались противоречия между пореформенной системой судопроизводства и традиционной практикой полиции; в ней содержались также резкие выпады против местной администрации и Министерства внутренних дел. Эта «невозможная» статья (*Валуев II*. С. 246) вызвала упомянутое ходатайство министра о запрещении «Москвича».

[6] Шекспир. Гамлет. Акт III. Сц. 1.

164. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 46–47 об.

Первая публикация — *Изд. 1984*. С. 317–318.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1 и 2).

[1] Подразумеваются запрещение «Москвича» и его причина. Далее Тютчев объясняется намеками: *ловкий маневр* — обращение П.А. Валуева к Александру II, *положительное сочувствие* которого определило соответствующее решение Комитета министров (см. письмо 163, примеч. 3).

[2] В «Записке» о прекращении «Москвича», представленной Александру II, а затем Комитету министров, Валуев указывал, что эта газета, разрешенная как издание «экономического содержания», на деле «приняла направление и тон» приостановленной «Москвы», при этом, не ограничиваясь «внутренним тождеством», она «придала себе и совершенно одинаковый с "Москвою" внешний вид» с целью доказать, «что правительственная кара, постигшая "Москву", в сущности бессильна и что эта газета, назло правительству, не перестает издаваться» (*Материалы о цензуре и печати.* Ч. II. С. 3). В предписании Министерства внутренних дел, с которым Аксакова ознакомили в московской полиции, разъяснялось, что «Москвич» запрещен как «замаскированное продолжение» приостановленной правительственным распоряжением «Москвы» (там же. С. 5).

[3] Мф. 24, 13.

165. А.Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 130–131 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984.* С. 319–320; на языке оригинала и в русском переводе: *ЛН-1.* С. 329–330.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1, 3 и 4).

[1] Намерение Аксаковых ехать за границу, возникшее после запрещения «Москвича», не было осуществлено.

[2] И.К. Бабст — профессор политической экономии Московского университета (1857–1874), один из инициаторов издания «Москвы»; вместе с Ф.В. Чижовым вел экономический отдел в этой газете, а также в «Москвиче».

[3] Намек на позицию Александра II в деле о запрещении «Москвича» (см. письмо 163, примеч. 3; письмо 164, примеч. 1). Солидарность императора с П.А. Валуевым, а в его лице со всей правительственной *кликой*, стоящей у власти, компрометировала, по мнению Тютчева, самый принцип самодержавия, в его представлении незыблемый.

[4] Эту статью Ф.М. Толстой передал И.С. Аксакову через Тютчева (см. письмо 162).

20 Зак. 7509

166. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 55–56 об.

Первая публикация — в русском переводе, отрывок: *Мурановский сб.* С. 57; полностью: *Изд. М., 1957.* С. 464–465.

[1] Мф. 10, 36.

[2] Речь идет о втором отдельном издании стихотворений Тютчева, выпущенном в 1868 г. в Москве сыном поэта И.Ф. Тютчевым и зятем И.С. Аксаковым.

[3] Имеется в виду стихотворный ответ на сатирические выпады П.А. Вяземского против М.Н. Каткова — «Когда дряхлеющие силы...». По требованию Тютчева это стихотворение было вырезано из сборника вместе с тремя другими: «Есть много мелких, безымянных...», «Как верно здравый смысл народа...», «Два разнородные стремленья...»; оглавление было перепечатано.

[4] С 3 апреля 1868 г., после четырехмесячного перерыва, Аксаков возобновил издание «Москвы».

[5] «Записки о жизни и времени святителя Филарета, митрополита Московского, составлены Н.В. Сушковым». М., 1868.

167. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 132–133 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1984.* С. 323–324; на языке оригинала и в русском переводе: *ЛН-1.* С. 330–331.

[1] 3 апреля 1868 г. И.С. Аксаков возобновил издание «Москвы» после четырехмесячного перерыва (см. письмо 154, примеч. 4).

[2] В передовой статье первого номера возобновленной «Москвы» (1868, 3 апр.) Аксаков излагал обстоятельства, связанные с получением разрешения на издание «Москвича», и опровергал обвинение в попытке «замаскировать» истинное направление его: «Не только не был он замаскированным изданием, но, напротив, со стороны редакции были употреблены всевозможные усилия и меры», «чтобы ни в правительстве, ни в публике не осталось нижé призрака сомнения в том, что “Москвич” решительно и положительно одно и то же издание, что “Москва”».

[3] Издание «Москвича» было предпринято по инициативе московского купечества, стремившегося сохранить свой орган, которым была приостановленная «Москва» (*Цимбаев.* С. 152). Сотрудник «Москвы», профессор Института инженеров путей сообщения П.Н. Андреев подал прошение на издание газеты, призванной быть «органом торговых интересов»; такое направление ее было подтверждено «в письменных ходатайствах некоторыми почетными жителями Москвы» (*Материалы о цензуре и печати.* Ч. II. С. 3). Одним из них был С.П. Шипов, генерал-адъютант, сенатор, близкий знакомый Сушковых.

[4] Личные объяснения П.Н. Андреева с П.А. Валуевым значительно ускорили разрешение на издание «Москвича» (*Цимбаев.* С. 152).

[5] На этом заседании было объявлено предостережение «Москве» за упомянутую передовую в номере первом (*Материалы о цензуре и печати.* Ч. II. С. 146–148).

168. Н. И. ТЮТЧЕВУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 10–11 об.

Первая публикация – *Урания.* С. 172–174.

[1] 14 июня 1868 г. старший сын поэта Д.Ф. Тютчев женился на О.А. Мельниковой, бывшей на одиннадцать лет старше его.

[2] Имеется в виду Николай Афанасьевич Хлопов, дядька Тютчева.

[3] См. письмо 167, примеч. 2 и 5.

[4] См. письмо 169, примеч. 2.

169. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 134–136 об.

Первая публикация – *ЛН-1.* С. 332–334.

[1] День рождения А.Ф. Аксаковой – 21 апреля.

[2] А.Е. Тимашев – министр внутренних дел в 1868–1878 гг. (назначен 9 марта 1868 г.); ранее – начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением (1856–1861). В связи с его назначением современники задавались вопросом: «Восторжествуют

ли в нем полицейские инстинкты или призвания государственного человека» (*Никитенко*. Т. 3. С. 117).

[3] *Покойный Валуев* — ирония по поводу отставки П.А. Валуева от должности министра внутренних дел. Отставка мотивировалась болезнью, в действительности же причиной было общественное возмущение политикой Валуева в отношении земства и печати, а также бездействие перед лицом голода, на который Валуев упорно закрывал глаза.

[4] А.Л. Потапов — генерал-адъютант, в 1864–1868 гг. — помощник генерал-губернатора Северо-Западного края, в 1868–1871 гг. — генерал-губернатор (назначен в апреле 1868 г.). Резкую критику Тютчева вызвал его план действий в Северо-Западном крае, основанный на позиции *грубой силы*. Далее Тютчев сравнивает политические воззрения Тимашева, Потапова и шефа жандармов Шувалова с программой дворянско-крепостнической газеты «Весть». Размышлениям Тютчева близки суждения Аксакова в передовых статьях «Москвы» от 7, 10 и 14 апреля 1868 г. (№ 5, 7 и 11). Позднее аналогичные мысли были высказаны Аксаковым в передовой статье «Москвы» от 10 сентября 1868 г. (№ 127), написанной по поводу книги Ю.Ф. Самарина «Окраины России» (Прага, 1868): Аксаков обрушивался на «антирусское отношение» к Северо-Западному краю со стороны «властительных и общественных петербургских сфер, которого отголоском служит газета "Весть" и К°».

[5] А. Моллер — автор книги «Situation de la Pologne au 1er janvier 1865» (P., 1865).

[6] Из мадригала И.И. Дмитриева «По чести, от тебя не можно глаз отвесть...» (1795).

170. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 48–51 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 334–336.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1 и 2).

[1] Речь идет о двух передовых статьях Аксакова, посвященных проблеме взаимоотношений церкви и государственной власти (Москва. 1868. № 12 и 14, 16 и 19 апр.). Аксаков утверждал, что до тех пор, пока государственная власть — с помощью жандармов и квартальных надзирателей — стоит на страже православия, готовая покарать малейшее отступление, о свободе совести не может быть и речи. Тютчев считал эти статьи весьма своевременными, поскольку



утверждение принципа свободы совести приобретало в его глазах особое значение именно в это время — в период, когда обострились противоречия в *политической англиканской церкви*, находившейся в зависимости от государственной власти (см. примеч. 4), и когда римская католическая церковь намеревалась возвести в догмат отрицание свободы совести (см. примеч. 3).

[2] О втором томе Сочинений А.С. Хомякова (Хомяков А.С. Сочинения. Т. II. Сочинения богословские. Прага, 1868) см.: письмо 153, примеч. 6 и 7. Аксаков посвятил этой книге статью, в которой нашли отражение мысли Тютчева, высказанные в этом письме (Москва. 1868. № 160, 22 окт.).

[3] Церковная политика папы Пия IX ставила целью восстановление поколебленного авторитета папства. В ряде пастырских посланий папа неоднократно осуждал теории, враждебные церкви. 8 декабря 1864 г. он обратился ко всем католическим епископам с энцикликой (посланием), к которой был приложен силлабус — сводка положений, отвергаемых католической церковью. В этих документах осуждались различные течения современной политической и философской мысли; среди прочих «заблуждений века» осуждалась и свобода совести. Тютчев тогда же откликнулся на это стихотворением «Encyclica» (День. 1865. № 2, 9 янв.). Энциклика и силлабус вызвали ожесточенную полемику, охватившую католические страны и длившуюся несколько лет.

[4] Вероятно, Тютчев имеет в виду «эссеистское» (essayist) движение, возникшее в Англии в 1866 г., когда группа оксфордских ученых издала сборник «Essays and Reviews» («Опыты и обзоры»), в котором выступила за широкое толкование церковных догматов. Из «эссеистской школы» возникла так называемая широкая церковь, резко критиковавшая учение господствующей в Англии англиканской церкви.

[5] Цитата из стихотворения А.Ф. Воейкова «Описание русских садов» (Вестник Европы. 1813. Ч. LXVIII) с небольшим изменением в последней строке. У Воейкова: «...и нет Москвы конца».

171. А.Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 138–139 об.

[1] 24 апреля 1868 г. в «Москве» была напечатана крайне резкая статья Аксакова против смертной казни.

[2] Об этих статьях см.: письмо 170, примеч. 1.

[3] 28 апреля 1868 г. «Москве» было объявлено предостережение за статью против смертной казни, напечатанную 24 апреля (*Материалы о цензуре и печати.* Ч. II. С. 149–150). Это было второе предостережение, полученное газетой за 25 дней, прошедших со дня ее возобновления (3 апреля) после четырех месяцев вынужденного перерыва (см. письмо 154, примеч. 4).

172. С. П. ФРОЛОВУ

С.П. Фролов — старший сын Е.К. Богдановой от первого брака.

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. 9928/XIV с. 8. Л. 5–6 об.

Первая публикация — *Письма к Богдановой и Фролову.* С. 36–37, 52.

[1] В июне 1868 г. Тютчев провел отпуск в Старой Руссе — уездном городе Новгородской губернии, известном в ту пору как курорт с минеральными источниками. В Старой Руссе Тютчев встретился с Е.К. Богдановой, находившейся там с младшим сыном и дочерью.

173. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 143–144 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 337–339.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 3).

[1] В 1862 г. в Новгороде проходили празднества в честь тысячелетия России. Тютчев принял в них участие.

[2] Летом 1868 г. Д.Ф. Тютчева находилась в Швейцарии.

[3] После объявления «Москве» второго предостережения (см. письмо 171, примеч. 3) над ней нависла угроза запрещения в случае продолжения критических выступлений Аксакова. Аксаков отстранился от работы в газете, оставаясь формально ее редактором, и уехал на лето в Кунцево. Однако, как видно из комментируемого письма, в июне он решил вернуться к руководству газетой.

174. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 57–57 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 469–470.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 3–4).

[1] Конец июня 1868 г. Тютчев провел в Старой Руссе по рекомендации врачей. О впечатлениях от этой поездки см.: письмо 172.

[2] Лк. 16, 24 (притча о богаче и нищем Лазаре).

[3] См. поэтическую зарисовку Тютчева «Пожары».

[4] 19 июля 1868 г. Тютчев писал жене, что рассчитывает на содействие министра путей сообщения П.П. Мельникова, который даст ему возможность проехать от Орла до Брянска по только что открытой железной дороге.

175. Ю. Ф. САМАРИНУ

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 265. К. 202. Ед. хр. 38. Л. 3–4 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 427–429.

[1] Вероятно, Самарин послал для распространения в России свое только что вышедшее в свет издание — «Русский администратор новейшей школы» (Берлин, 1868). Разрешение на продажу ее в России должен был дать Тютчев как председатель Комитета цензуры иностранной.

[2] Подразумеваются два издания, выпущенные Самариным в Праге (1868), — второй том Сочинений А.С. Хомякова (см. письмо 153, примеч. 6) и «Окраины России. Серия первая: Русское Балтийское поморие» (см. письмо 178, примеч. 3; письмо 182, примеч. 1). Цензурные репрессии, которым подверглась в марте 1867 г. «Москва» за публикацию статей Самарина о положении в Прибалтийском крае (см. письмо 111, примеч. 1 и 3), побудили его предпринять поездку за границу для издания там своей книги.

[3] 6 июля 1868 г. «С.-Петербургские ведомости» (№ 182) сообщали о том, что «борьба немецко-австрийского правительства против чешской национальности» становится все более и более ожесточенною. Далее говорилось о «системе терроризма» в Чехии, о «стеснении права собраний», об «ограничении местного самоуправления»

и других мерах, предпринятых для подавления национально-освободительного движения чешского народа. Все эти меры Тютчев называл *потугами умирающего*, так как считал распад Австро-Венгрии вопросом самого ближайшего будущего.

[4] Фр. Палацкий — чешский историк и деятель чешского национального движения, создатель теории австрославизма (см. письмо 153, примеч. 2), впервые сформулированной им в «Письме во Франкфурт» (11 апр. 1848 г.).

176. М. П. ПОГОДИНУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Ед. хр. 344. Л. 2–3.

Первая публикация — отрывок: *Лирика II.* С. 395; полностью: *ЛН-1.* С. 424–425.

На автографе надпись неизвестной рукой: «Август 1868». Датируется по этой надписи и по содержанию (см. примеч. 1–2).

[1] Тютчев посылает вторую редакцию стихотворного посвящения «Михаилу Петровичу Погодину»; первоначальная редакция была написана им на шмуцтитуле книги «Стихотворения Ф. Тютчева» (М., 1868). Получение письма и стихов Погодин отметил в дневнике 30–31 августа 1868 г. Впоследствии он включил это стихотворение (в его первой редакции) в свое «Воспоминание о Ф.И. Тютчеве» (*ЛН-2.* С. 27).

[2] 31 августа 1868 г. Тютчев выехал из Москвы в Петербург (*Летопись.* С. 196).

[3] После преобразования Австрийской империи в Австро-Венгрию (1867) начался подъем национального освободительного движения славянских народов, населявших это дуалистическое государство. Тютчев надеялся, что подъем этот завершится *возрождением Восточной Европы*, т. е. освобождением славянских народов (об этих событиях и отношении Тютчева к ним см.: письма 153 и 175).

177. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 27–28 об.

[1] См. письмо 179, примеч. 1 и 2.

[2] Даже описание самых будничных фактов (в настоящем письме и далее в письме 196 — сообщение о смене слуги) превращается у Тютчева в забавные новеллы.

[3] Оттон Петерсон, сын Эл. Ф. Тютчевой, первой жены поэта, страдал психическим заболеванием.

[4] *Маленькая Лиза* — кн. Е.Э. Трубецкая, о которой говорили: «крошечная ростом, но исполин честолюбием» (Долгоруков П.Д. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. М., 1934. С. 279).

[5] См. примеч. 6 к письму 178.

178. А.Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 147–148 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 339–340.

[1] См. письмо 177, примеч. 4.

[2] Имеется в виду В.Д. Скарятин, публицист, редактор-издатель консервативно-дворянской газеты «Весть» (1863–1870), позицию которой Тютчев неизменно оценивал отрицательно.

[3] «Окраины России. Серия первая: Русское Балтийское поморие». Изд. Ю. Самарина. Прага, 1868. В этой книге ставился вопрос о тяжелом положении прибалтийских народов, угнетаемых немецким юнкерством. Книга имела широкий резонанс (см. письмо 181, примеч. 1; письмо 182, примеч. 1 и 2).

[4] Кн. А.А. Суворов был в 1848–1861 гг. генерал-губернатором Остзейского края. Возможно, этим объясняется его интерес к книге Самарина.

[5] Обширные выдержки из книги Самарина были приведены в передовых статьях «Московских ведомостей» (1868. № 191, 193 и 194 от 5, 7 и 8 сент.).

[6] 15/27–16/28 сентября Александр II провел в Потсдаме, где встретился с прусским королем Вильгельмом I; 17/29 сентября он прибыл в Варшаву, провел здесь пять дней и 23 сентября/5 октября вернулся в Царское Село (*СПб. вед.* 1868. № 253–259 и 262 от 16–22 и 25 сент.). Русский кабинет искал поддержки Пруссии в решении восточных проблем, связанных с восстанием на Крите. В свою очередь, прусское правительство в преддверии конфликта с Францией стремилось заручиться поддержкой России. Поездка

австрийского императора Франца Иосифа в Краков была отложена.

179. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые полностью по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 43–44 об.

Первая публикация (без последнего абзаца) – *ЛН-1*. С. 454–455.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1 и 2).

[1] 17 июля 1868 г. Тютчев приехал в Москву, 20 июля выехал в Овстуг, откуда вернулся 11 августа; по возвращении он провел в Москве, в доме Сушковых, большую часть августа, страдая от затянувшегося приступа подагры (*ЛН-2*. С. 397–399).

[2] 31 августа 1868 г. Тютчев выехал из Москвы в Петербург (там же. С. 399).

[3] Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Листок»: «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...»

180. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу – *Собр. Пигарева*.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 341–342.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 3 и 4).

[1] См. письмо 178, примеч. 6.

[2] Опасения Тютчева вскоре оправдались: 15 апреля 1869 г. министр внутренних дел А.Е. Тимашев представил в Государственный совет проект «дополнения закона 6 апреля 1865 г.» с целью еще более ограничить «свободу» печати (*Материалы о цензуре и печати*. Ч. I. С. 648–705).

[3] В передовых статьях «Москвы» от 17 и 19 сентября 1868 г. (№ 132 и 134) Аксаков писал о подъеме национальной жизни в различных частях Австро-Венгрии и призывал русскую дипломатию поверить в перспективы славянского движения в этом двуедином государстве.

[4] Стихотворное посвящение «Памяти Е.П. Ковалевского» написано 21 сентября 1868 г. (первая его редакция не сохранилась); напечатано в «Москве» 25 сентября (№ 139).



181. И.С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 52–55 об.

Первая публикация – *ЛН-1.* С. 342–344.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 2–4).

[1] Речь идет о решении Совета Главного управления по делам печати относительно изданной в Праге книги Ю.Ф. Самарина «Окраины России» (см. письмо 178, примеч. 3). Как председатель Комитета цензуры иностранной Тютчев подписывал разрешения на выдачу книги.

[2] Книга Самарина послужила для Аксакова поводом возобновить обсуждение остзейского вопроса, прерванное в марте 1867 г. (см. письмо 111, примеч. 1 и 3). Опираясь на факты, изложенные Самариным, Аксаков резко критиковал деятельность властей прибалтийских губерний, а вместе с тем и деятельность царской администрации в целом (Москва. 1868. № 127, 128, 130, 136, 138, 139 и 141 от 10, 11, 13, 21, 24, 25 и 28 сент.). Совету Тютчева Аксаков не последовал. Он неоднократно возвращался к остзейским проблемам и к книге Самарина (Москва. 1868. № 148 и 154 от 8 и 15 окт.), что повлекло за собой приостановку «Москвы» на 6 месяцев, а затем и окончательное ее прекращение.

[3] Автор анонимной брошюры «Lettre à Mr Samarine sur ses brochures "Окраины России"» (Baden-Baden, 1868) – русский поверенный в Веймаре бар. Ф.К. Мейендорф. Он расценивал книгу Самарина как призыв к мятежу. Аксаков полемизировал с ним на страницах «Москвы» (1868. № 136, 21 сент.). Позднее отвечал ему и Самарин: «Réponse de G. Samarine à une lettre anonyme de Baden-Baden sur ses brochures "Окраины России"» (B., 1869).

[4] В ноябре 1866 г. были прерваны дипломатические отношения между Россией и Ватиканом. О дипломатической переписке по этому поводу см.: письмо 102, примеч. 5.

[5] А.Н. Попов. Последняя судьба папской политики в России. 1845–1867. СПб., 1868.

[6] Имеется в виду гр. П.Д. Киселев, бывший посол во Франции.

[7] 29 июня 1868 г. папа Пий IX объявил о созыве в Ватикане Вселенского собора, который должен был провозгласить (и провозгласил) догмат о непогрешимости папы. Тютчев называл будущий Собор «мнимо-вселенским», поскольку в нем не приняли участия ни

православная, ни протестантская церкви, также приглашенные для участия в нем.

[8] По-видимому, Аксаков намеревался последовать этой программе: 22 октября в «Москве» (№ 160) была напечатана его статья о предстоящем Соборе, которая должна была открыть соответствующий цикл статей. Однако приостановка газеты (см. примеч. 2) помешала осуществлению этого замысла.

182. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 151–152 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 344–345.

[1] В сентябре 1868 г. книга Самарина «Окраины России» широко обсуждалась в печати — в «Москве» (см. письмо 181, примеч. 2), «Московских ведомостях» (см. письмо 178, примеч. 5), «Голосе» (№ 264, 265 и 268 от 24, 25 и 28 сент.) и других газетах.

[2] В передовой статье «Москвы» от 25 сентября 1868 г. (№ 139) Аксаков процитировал заключительные строки первого выпуска «Окраин России», где говорилось о том, что «нравственный авторитет правительства» пострадает в глазах общественного мнения в результате той политики, которую оно проводит в Прибалтийском крае.

[3] 3 октября 1868 г. «St-Petersburger Zeitung» получила предостережение за статьи, «выходящие из всех пределов политического приличия», и за общее «направление, несовместимое с изданием, выходящим в России» (*Материалы о цензуре и печати.* Ч. II. С. 153).

[4] Второй сын вел. кн. Марии Николаевны Евгений Максимилианович, герцог Лейхтенбергский, вступил в морганатический брак с фрейлиной своей матери Д.К. Опочининой, получившей титул гр. Богарне. Свадьба состоялась во Флоренции 8/20 января 1869 г.

183. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 56–57 об.

Первая публикация (с неверной датой) — *ЛН-1.* С. 346.

Год написания устанавливается по содержанию.

[1] 10 октября 1868 г. в Московской судебной палате разбиралось дело по обвинению Аксакова одним частным лицом, обиженным отказом напечатать его опровержение на статью, опубликованную в «Москве». Аксаков выиграл это дело (*Материалы о цензуре и печати.* Ч. III. С. 1089–1100). Об этом процессе он писал в «Москве» (1868. № 151 от 11 окт.).

[2] Приглашение принять участие в Ватиканском соборе, разосланное некатолическим церквам в сентябре 1868 г. (см. письмо 181, примеч. 7).

[3] Тютчев настаивает на полемике с основным положением папской энциклики — отрицанием свободы совести (см. письмо 170, примеч. 3).

[4] Речь идет о революционных событиях в Испании, начавшихся в сентябре 1868 г. и охвативших деревню и крупнейшие города страны. Королева Изабелла II бежала во Францию. 6/18 октября было образовано временное правительство, тотчас же упразднившее иезуитский орден, ограничившее число монастырей и т. д. Политическая власть оказалась в руках сторонников конституционной монархии.

[5] Имеется в виду статья Этьена Вашро, в 1839 г. сменившего Кузена на кафедре философии в Сорбонне. Философские доктрины Вашро навлекли на него гонение со стороны духовенства. А когда в 1852 г. он отказался присягнуть наполеоновской конституции, ему пришлось оставить службу.

184. О. Н. ПУТЯТА

О.Н. Путята 27 апреля 1869 г. вышла замуж за И.Ф. Тютчева, младшего сына поэта от второго брака.

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — *Собр. Пигарева.*

Первая публикация — в русском переводе, с пропуском: сб. «Подмосковные». М., 1946. С. 42; полностью: Пигарев К. Мураново. М., 1948. С. 49.

[1] Имеются в виду Н.В. Путята и его жена С.Л. Путята, урожд. Энгельгардт, владелица подмосковного имения Мураново, где в настоящее время находится музей имени Ф.И. Тютчева.

185. Д. А. ТОЛСТОМУ

Граф Д.А. Толстой – русский государственный деятель, в 1865–1880 гг. обер-прокурор Синода, с 1866 по 1880 г. – министр народного просвещения.

Печатается по автографу – РГИА. Ф. 797. Оп. 38. Д. 243. I отд. Л. 1–2.

Первая публикация – Российский архив. М., 1999. Вып. IX. С. 208–209.

[1] Письмо Тютчева к обер-прокурору Синода Толстому было вызвано решением Санкт-Петербургского комитета для цензуры духовных книг: 18 октября 1868 г. не был одобрен к продаже в России второй том Сочинений А.С. Хомякова (Сочинения богословские), изданный Ю.Ф. Самариным в Праге. В резолюции на полученном от Тютчева письме Толстой потребовал объяснений от Духовно-цензурного комитета. 15 ноября 1868 г. Санкт-Петербургский комитет для цензуры духовных книг в отношении своем за № 256 указал ряд мест, «которые делают затруднительным» выпуск этой книги (ГИМ ОПИ. Ф. 178. Ед. хр. 21. Л. 1). 17 ноября Д.А. Толстой предложил рассмотреть этот вопрос на заседании Святейшего Синода. Но Синод «не признал возможным разрешить выпуск в свет означенной книги в настоящем ее виде» (Российский архив. М., 1999. Вып. IX. С. 209). Разрешение на продажу книги было получено только в 1879 г.

186. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 68–69.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 470–471.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1 и 5).

[1] В письме от 30 сентября 1868 г. И.Ф. Тютчев просил у родителей благословения на брак с О.Н. Путята, дочерью литератора Н.В. Путяты (*ЛН-1*. С. 471). Предполагаемая женитьба сына вызвала крайнее недовольство Эрн. Ф. Тютчевой, поэтому она намеревалась по возвращении из Овстуга в Петербург миновать Москву, чтобы избежать встречи с невестой сына и ее родителями. Свадьба

состоялась 27 апреля 1869 г. Впоследствии между Эрн. Ф. Тютчевой и семьей Ольги Николаевны установились родственные отношения.

[2] Возможно, Тютчев использовал образ, встречающийся у Горация — сочащиеся из дупла дуба капли меда (Оды. Кн. II. 19).

[3] О предстоявшем открытии Ватиканского собора и предполагаемом цикле статей И.С. Аксакова по этому поводу см.: письмо 181, примеч. 7 и 8.

[4] См. письмо 185, примеч. 1.

[5] Речь идет об издании Ю.Ф. Самарина «Окраины России. Серия первая: Русское Балтийское поморие». Прага. 1868 (см. о нем: письмо 175, примеч. 2; письмо 178, примеч. 3; письмо 181, примеч. 2; письмо 182, примеч. 1). В качестве председателя Комитета цензуры иностранной Тютчев выдавал разрешения на приобретение этого издания.

187. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 58–59 об.

Первая публикация — *Изд. 1984*. С. 327–328.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1).

[1] Неточная цитата из «Эклог» Вергилия (I. 6).

Досуг, о котором пишет Тютчев, был вызван следующими обстоятельствами. 21 октября 1868 г. «Москве» было объявлено третье предостережение с приостановкой ее на 6 месяцев за следование «прежнему резкому и крайне неумеренному направлению» (*Материалы о цензуре и печати*. Ч. II. С. 153–154). Непосредственным поводом для этого послужила передовая статья от 15 октября (№ 154), в которой Аксаков, опираясь на факты, изложенные в книге Самарина (см. письмо 181, примеч. 2), полемизировал с «Вестью», поддерживавшей официальную политику в отношении населения Остзейского края. Статья вызвала крайнее недовольство Александра II, который «прислал этот номер Тимашеву с приказанием поступить с редактором по законам», то есть приостановить газету (Сухотин С.М. Из памятных тетрадей // *РА*. 1894. № 4. С. 605).

[2] Неточная цитата из «Орлеанской девы» Шиллера (Действ. III. Явл. 6).

[3] «La Convention du 15 septembre et l'Encyclique du 8 décembre» (P., 1865) — брошюра, написанная епископом Орлеанским Феликсом Дюпанлу (Dupanloup), противником принципа непогрешимости папы.

[4] «Du Concile général et de la paix religieuse» (P., 1869) — брошюра французского прелата Маре (Maret), противника церковной политики папы Пия IX и догмата о непогрешимости; была написана по поводу предстоящего Ватиканского собора (см. письмо 181, примеч. 7).

[5] Тютчев имеет в виду книгу декабриста-эмигранта Н.И. Тургенева «Чего желать для России?», вышедшую в 1868 г.

188. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 70–71 об.

[1] 23 ноября — день рождения Ф.И. Тютчева. 24 ноября — именины Екатерины. В письме речь идет об именинах дочери Екатерины, которые пробуждают в Тютчеве воспоминания о матери — Екатерине Львовне.

[2] Об отношении Эрн. Ф. Тютчевой к предстоящей женитьбе сына Ивана см.: письмо 186, примеч. 1.

[3] О судьбе издаваемой Аксаковым «Москвы» см.: письмо 190.

189. П. И. БАРТЕНЕВУ

П.И. Бартенев — историк, археограф, библиограф, собиратель и публикатор материалов по истории России XVIII–XIX вв., издатель и составитель журнала «Русский архив». В 1874 г. в этом журнале была опубликована биография Ф.И. Тютчева, написанная И.С. Аксаковым.

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Ед. хр. 462. Л. 1–1 об.

Первая публикация — Встречи с прошлым. Сборник материалов Центрального государственного архива литературы и искусства СССР. Вып. 3. М., 1978. С. 51–52.

[1] В 1859–1873 гг. Бартенев был заведующим *Чертковской библиотекой* в Москве, названной по имени ее собирателя, историка, археолога и нумизмата А.Д. Черткова.

190. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 60–61 об.

Первая публикация (с включением отрывка из другого письма Тютчева Аксакову) — *Мурановский сб.* С. 25–27; перепечатано с исправлением ошибки — *Изд. 1984.* С. 329–330.

[1] Министр внутренних дел А.Е. Тимашев вошел в 1-й департамент Сената с представлением о запрещении «Москвы» как газеты, имеющей «вредное направление».

[2] Обвиняя Аксакова в противозаконном направлении «Москвы», Тимашев ставил 1-й департамент Сената перед дилеммой: «формально осудить редактора, запретив ему всякое издание на пять лет, или выразить мысль, что такого направления в газете он не видит» (*Никитенко.* Т. 3. С. 142).

[3] *Курульными креслами* назывались в Древнем Риме кресла консулов и преторов.

[4] Аксаков откликнулся на этот призыв, приехал в Петербург и 23 января подал в Сенат свой протест. Он доказывал в нем, что министр внутренних дел неправомерно смешал «вредное направление» с «резкостью тона», и уверял, что неуклонно следовал верноподданническим началам (*Цимбаев.* С. 153).

191. Ю. Ф. САМАРИНУ

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 265. К. 202. Ед. хр. 38. Л. 5–5 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 429–430.

Год написания устанавливается предположительно (см.: *ЛН-1.* С. 430).

[1] Рассказы Д.И. Георгиевского, служившего при генерал-губернаторе Юго-Западного края А.П. Безаке, должны были заинтересовать Самарина, поскольку в предисловии к первой серии

«Окраин России» он сообщил, что намерен посвятить Юго-Западному краю одну из следующих серий этого издания.

192. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 79–80 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 472–473.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1).

[1] Летом 1869 г. императрица Мария Александрова жила в своем подмосковном имении Ильинское. Е.Ф. Тютчева была приглашена туда и провела там вторую половину июня.

[2] Об отношении Эрн. Ф. Тютчевой к женитьбе сына см.: письмо 186, примеч. 1.

[3] Н.А. Бирилев — муж Марии Федоровны, младшей дочери поэта, — был контужен во время Крымской войны. Следствием контузии явилась тяжелая форма падучей болезни, приступы которой приводили его в состояние полной прострации. В начале лета 1869 г. состояние его резко ухудшилось, и врачи не ручались за его жизнь. Со временем болезнь перешла в неизлечимое сумасшествие.

[4] Летом 1869 г. Тютчев задумал совершить вместе с женой «паломничество» в Киев, однако из-за болезни зятя вынужден был ехать один. Свои впечатления от этой поездки он описал в письмах А.Н. Майкову и М.Н. Похвисневу от 12 августа 1869 г. (193, 194).

[5] Герои трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде».

[6] И.С. и А.Ф. Аксаковы находились в это время в своем симбирском имении.

[7] Июль и август 1869 г. Е.Ф. Тютчева провела в имении Д.И. Сушковой Новое.

193. М. Н. ПОХВИСНЕВУ

М.Н. Похвиснев — начальник Главного управления по делам печати в 1866–1870 гг. Ему был подчинен возглавляемый Тютчевым Комитет цензуры иностранной.

Печатается по автографу — ГИМ ОПИ. Ф. 381. Ед. хр. 6. Л. 184–185 об.



Первая публикация — *Изд. М., 1957.* С. 472–473.

Год написания устанавливается по содержанию; число и месяц — по упоминанию в письме А.Н. Майкову от 12 августа: «Сейчас, дорогой мой Аполлон Николаевич, писал к Похвисневу...» (см. письмо 194).

[1] 30 июля проездом в Ливадию в Киеве был Александр II.

[2] 30 августа — именины Александра II. К этому дню приурочивались правительственные награды и повышения.

194. А. Н. МАЙКОВУ

Печатается по автографу — *ИРЛИ.* 16959/CVIII б. 4. Л. 1–2 об.

Первая публикация — *Урания.* С. 219–221.

Год написания устанавливается по содержанию: Тютчев передает свои впечатления от поездки в Киев; в Киеве он был в конце июля — начале августа 1869 г.; 6 августа выехал в свое родовое имение Овстуг, откуда и написал Майкову.

[1] См. письмо 193, примеч. 2.

[2] Захар Михайлович Добровольский, казначей Комитета цензуры иностранной.

195. А. Ф. и И. С. АКСАКОВЫМ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 165–166 об.

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 358–359.

[1] Д.Ф. Тютчев страдал неизлечимой болезнью сердца.

[2] В Ливадии в это время находился двор императрицы Марии Александровны.

[3] Сочинение французского философа Ж.Э. Ало (Jules Emile Alaux), вышедшее в свет в 1869 г.

[4] О предстоящем Ватиканской соборе см.: письмо 181, примеч. 7.

[5] Юлиус Эккарт — немецкий писатель и публицист; выпустил комментированный перевод книги Ю. Ф. Самарина «Окраины России» (Juri Samarins Anklage gegen die Ostseeprovinzen Russlands.

Übersetzung aus dem russischen von Eingel und kommentiert von Julius Eckardt. Leipzig, 1869).

[6] Историк и публицист К.Х. Ширрен, профессор Дерптского университета, поборник немецких интересов в Остзейском крае, в 1869 г. выпустил брошюру «Livländischer Antwort», в которой полемизировал с «Окраинами России» Ю.Ф. Самарина (см. письма 178, 181, 182). Возражая на брошюру Ширрена, Погодин высказал мысль о необходимости перенести вопрос о судьбах Остзейского края «из области общих мест» в «область истории, простого здравого смысла, государственного и естественного права» (Остзейский вопрос. Письмо М.П. Погодина к проф. Ширрену. М., 1869. С. 2).

196. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 93–94 об.

[1] В письме к Эрн. Ф. Тютчевой от 5 октября 1869 г. Тютчев описал финал истории с Иовом: «Сегодня злосчастный Иов окончательно покидает дом, который три года давал ему приют. Мы расстались очень тепло, я даже проявил такую неосторожность, что на благо ему сильно покривил душой в аттестате, который ему давал» (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 99 об. Перевод с *фр.*).

[2] 12 сентября 1869 г. умерла сестра И.С. Аксакова Н.С. Аксакова.

[3] Д.Ф. Тютчева должна была выехать в Ливадию.

197. М. Н. ПОХВИСНЕВУ

Печатается по автографу — РНБ. Ф. 124. № 4409. Л. 1–2.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 536.

Датируется по содержанию. Год написания устанавливается по связи с двумя другими письмами Тютчева. 12 августа 1869 г. поэт обратился к Похвисневу с просьбой о наградах и повышениях для своих подчиненных по Комитету цензуры иностранной; в комментируемом письме он благодарит за обещание выполнить его просьбу, а 2 января 1870 г. выражает признательность за выполненное обещание (РНБ. Ф. 797. Ед. хр. 4. Л. 1). Поздравление

с «нынешним великим праздником» указывает на то, что письмо написано в день Рождества, т. е. 25 декабря 1869 г.

198. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 182–183 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 473–475.

[1] 1 апреля 1870 г. в Петербурге состоялся вечер с живыми картинами, данный в пользу Славянского благотворительного комитета. На этом вечере читалось стихотворение, написанное Тютчевым в качестве текста к живой картине, «Гус на костре».

[2] Фраза, приписываемая Галилею.

[3] Речь идет о кн. Д.А. Оболенском, товарище министра государственных имуществ с 1870 г.

199. А. Н. МАЙКОВУ

Печатается по автографу — РГБ. Ф. 18. К. 7. Ед. хр. 10. Л. 15.

Первая публикация — лит. альманах «Северные цветы на 1901 год». М., 1901. С. 143; перепечатано с уточненной датой — *Изд. 1980.* С. 244.

Год написания устанавливается по содержанию. Кроме того, 20 апреля приходилось на понедельник в 1870 г.

[1] Поэтическая картина «Гус на костре» (см. письмо 198, примеч. 1) была опубликована в майском номере «Зари» за 1870 г.

200. А. В. ПЛЕТНЕВОЙ

А.В. Плетнева — жена П.А. Плетнева, поэта и критика, друга А.С. Пушкина. Между нею и семьей Тютчева завязались близкие дружеские отношения, о чем свидетельствуют и помещенные в настоящем томе письма, и стихотворное посвящение Плетневой «Чему бы жизнь нас ни учила...».

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — *ИРЛИ.* Ф. 234. Оп. 4. Ед. хр. 185. Л. 1.

Первая публикация — в русском переводе: *ЛН. Т. 19–21.* С. 587.

[1] 6/18 июля 1870 г. Тютчев из Варшавы выехал в Берлин, с тем чтобы направиться на лечение в Карлсбад.

[2] В июле 1870 г. началась франко-прусская война.

201. Эрн. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 11–12 об.

[1] Тютчев намекает на разгром австрийских войск во время австро-прусской войны 1866 г.

[2] *Древний Барбаросса* — см. письмо 202, примеч. 5.

[3] Раздражение и беспокойство Тютчева были вызваны обстоятельствами, связанными с войной. Возвращение Д.Ф. Тютчевой из Германии было осложнено введением ограничений пассажирского движения по железным дорогам Пруссии. Как писала А.Ф. Аксакова Е.Ф. Тютчевой 7/19 июля 1870 г., «путешественники не смогут более следовать через Пруссию, где все железные дороги конфискованы для нужд армии и больше не принимают пассажиров» (*ЛН-2.* С. 408).

[4] По-видимому, речь идет о Павле Петровиче Мельникове.

[5] Братья Мухановы — Н.А. Муханов, с 1861 по 1866 г. товарищ министра иностранных дел, и его брат В.А. Муханов.

[6] 11 июля 1870 г. умер сын Ф.И. Тютчева Дмитрий.

202. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 190–191 об.

Первая публикация — в русском переводе: *ЛН.* Т. 31–32. М., 1937. С. 755–756.

[1] Тютчевская оценка катастрофического положения Второй наполеоновской империи в первые же дни франко-прусской войны оправдана дальнейшим ходом событий. 21 августа/2 сентября у Седана основная масса французской армии была разбита и взята в плен вместе с императором Наполеоном. В результате народного

восстания в Париже была свергнута наполеоновская империя и во Франции провозглашена республика.

[2] Тютчев намекает на разгром австрийских войск во время австро-прусской войны 1866 г.

[3] В 1870 г., в связи с отъездом Наполеона III в армию, его жена стала регентшей государства.

[4] Тютчев предвидит конец империи Наполеона III и сравнивает ее закат с кратковременным периодом (Сто дней) царствования Наполеона I после его возвращения с острова Эльба и до изгнания на остров Св. Елены.

[5] Согласно легенде, Фридрих Барбаросса, германский король и император так называемой «Священной Римской империи», не умер, а спит в тюрингском замке и выйдет из него в минуту опасности для спасения Германии.

[6] В объединении Германии под гегемонией милитаристской Пруссии Тютчев усматривал серьезную угрозу для России и других славянских стран (ср. стих. «Два единства»).

203. А.Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 196–197 об.

Первая публикация – *ЛН-1*. С. 362–364.

[1] Иоанн Рыльский (Рильский) – один из святых православной церкви, считавшийся патриархом болгарского народа; его мощи находятся в Рильском монастыре, расположенном в районе горного хребта Рила (Болгария). День его памяти отмечался 19 октября.

[2] Речь идет о десятилетнем сыне Тютчева и Е.А. Денисьевой – Федоре. А.Ф. Тютчева, с согласия Эрн. Ф. Тютчевой, взяла на себя надзор за его воспитанием.

[3] Эрн. Ф. Тютчева находилась в Овстуге вместе с дочерью Марией и больным зятем, Н.А. Бирилевым.

[4] М.Р. Шидловский – генерал-майор, в 1865–1870 гг. тульский гражданский губернатор. В 1870 г. был назначен начальником Главного управления по делам печати «на место Похвиснева, сменяемого за либерализм», и с указанием Александра II «подтянуть печать» (*Никитенко*. Т. 3. С. 181). О солдафонстве нового начальника Управления по делам печати в Петербурге ходили анекдоты (см.

там же. С. 182–183). Шидловский послужил Салтыкову-Щедрину прототипом гротескного образа градоначальника-органчика в «Истории одного города».

[5] Надежды на возобновление «Москвы» не оправдались.

[6] Подразумевается, с одной стороны, падение империи Наполеона III в результате поражения Франции во франко-прусской войне, с другой — открывавшиеся перед Россией новые возможности в связи с освобождением от обязательств, налагавшихся на нее условиями Парижского мира 1856 г. и ущемлявших ее права на Черном море (декларация об отказе выполнять эти обязательства подписана 19 октября 1870 г.).

[7] Симпатии к Пруссии Александра II, родственника прусского короля Вильгельма I, которые разделяла и поддерживала придворная верхушка, противоречили настроениям широких общественных кругов. В ходе франко-прусской войны это противоречие особенно обострилось: «Никогда еще наше правительство не находилось в таком разъединении с общественным мнением, как во время разгрома Франции немецкими полчищами» (Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы. Л., 1929. С. 111–112; см. также: Сухотин С.М. Из памятных тетрадей // *РА*. 1894. № 6. С. 245).

[8] Это ироническое замечание относится к закону о печати от 6 апреля 1865 г., заимствованному из наполеоновского законодательства.

204. А. М. ГОРЧАКОВУ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Ед. хр. 726. Л. 8.

Первая публикация — в русском переводе: *ЛН. Т. 19–21*. С. 240–241.

Год написания устанавливается по содержанию.

[1] 3 ноября 1870 г. была обнародована декларация А.М. Горчакова о расторжении 14-й статьи Парижского трактата 1856 г., ограничивавшей права России на Черном море. Тютчев откликнулся на это событие стихотворным обращением к Горчакову «Да, вы сдержали ваше слово...».

[2] Пояснением к этим словам могут служить строки из письма Тютчева к Анне Федоровне от 22 ноября 1870 г.: «Что же касается твердости, с коей будет поддерживаться принятое решение, то на та-

ковую, думается, вполне можно рассчитывать, и в этом отношении — как меня уверяют — государь еще более непоколебим, чем его канцлер» (*Изд. 1984*. С. 347–348. Перевод с *фр.*).

[3] Адрес, поданный Московской городской думой Александру II, приветствуя декларацию, содержал пожелание, чтобы правительство довершило свои «благие начинания», даровав «простор мнению и печатному слову», «свободу церковную» и свободу совести. Составленный И.С. Аксаковым адрес был подписан ста десятью гласными Московской городской думы и 18 ноября отправлен в Петербург, но не был принят, так как в нем были усмотрены «стремления конституционные и революционные» (см.: Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. Вып. II. М., 1929. С. 207–219).

205. А.Д. БЛУДОВОЙ

Печатается по автографу — *Собр. Пигарева.*

Первая публикация — *ЛН-1.* С. 498.

Датируется по содержанию: упоминаемая статья Каткова была напечатана 11 ноября 1870 г.; письмо написано в ближайшую после ее появления пятницу, которая приходилась на 13 ноября.

[1] Цислейтания — неофициальное название части территории Австро-Венгрии (1867–1918); включала Чехию, Моравию, Силезию, Галицию, Буковину, Далмацию и ряд других областей.

[2] 3 ноября 1870 г. была обнародована декларация Горчакова о расторжении 14-й статьи Парижского трактата 1856 г., ограничивавшей права России на Черном море. В передовой статье «Московских ведомостей» от 11 ноября (№ 243) приводились отклики европейской прессы на это событие. Декларация вызвала недовольство многих европейских государств. В этой связи одна из газет писала, что «война с Россией будет в Австро-Венгрии популярнейшею из войн». Катков перепечатал это высказывание, а также ответное заявление «австрийских славян», появившееся в пражской газете «Politik»: «Война Австрии против России не согласна ни с интересами, ни сочувствиями славянских народов, и да подумают это те, кого это касается, прежде чем замышлять о такой войне...» Это заявление сопровождалось репликой Каткова: «Бедные славяне Цислейтании! Кто знает, быть может, судьбы их уже совершаются, причем о их сочувствиях спрашивать не будут...»

[3] В условиях военного разгрома Франции при Седане и начавшегося создания Германской империи под эгидой Пруссии ее все возрастающему влиянию русская дипломатия стремилась противопоставить укрепление позиций Австрии, что затрудняло выражение симпатий к находящимся под ее властью славянским народам.

206. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается по автографу — *Собр. Пигарева.*
Первая публикация — *ЛН-1.* С. 478–479.
Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1).

[1] 8 декабря 1870 г. скоропостижно скончался в Москве, в помещении Английского клуба, брат поэта Н.И. Тютчев.

207. И. С. АКСАКОВУ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 74–75 об.

Первая публикация — отрывок: *ЛН.* Т. 31–32. М., 1937. С. 763; полностью: *ЛН-1.* С. 366.

[1] Имеется в виду П.П. Демидов, киевский городской голова в 1871–1876 гг.

[2] Тютчев использует образ известной евангельской притчи (Мф. 25, 14–30).

[3] Ср. дневниковую запись С.М. Сухотина от 29 апреля 1871 г.: «Вечером у Аксакова был любопытный разговор о будущих судьбах Франции. Ю.Ф. Самарин утверждал, что Франция вымерла и, совершив свое историческое великое призвание, покатится под гору. Другие выражали надежду на ее возрождение и полагали, что из Парижской Коммуны, невзирая на ее безобразия, должно возродиться что-нибудь новое, полезное для Франции, особенно в смысле победы над централизацией. Конечно, теперь это есть общая тема разговоров; коммуна кажется зародышем правильной муниципальной жизни» (Из памятных тетрадей С.М. Сухотина // *РА.* 1894. № 7. С. 446).

[4] Тютчев перефразирует евангельский текст (Мф. 5. 3 и 5).

208. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 244–245 об.

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. М., 1957.* С. 482–484.

Год написания устанавливается по содержанию.

[1] 7 июля 1871 г. умер Н.В. Сушков.

[2] Эрн. Ф. Тютчева сопровождала в Липецк свою дочь М.Ф. Бирилеву, которой врачи предписали лечение кумысом.

[3] Тютчев имеет в виду начавшийся 1 июля 1871 г. суд над участниками студенческих волнений 1868–1869 гг. и членами общества «Народная расправа», основанного в 1869 г. С.Г. Нечаевым. Из семидесяти семи обвиняемых четверо были приговорены к каторжной работе, двадцать восемь — к тюремному заключению, двое — к ссылке на поселение. Остальные оправданы.

[4] Подразумеваются судебные уставы 1864 г., изменившие прежний порядок судопроизводства в России. Введены были суд присяжных, несменяемость судей, гласность суда; обвиняемые получили право иметь защитников.

[5] Шекспир. Гамлет. Акт III. Сц. 1.

209. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые полностью по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 101–102 об.

Первая публикация — в русском переводе, отрывок: *Пигарев.* С. 371; на языке оригинала и в русском переводе, отрывок (ошибочно в составе письма к Е.Ф. Тютчевой от 22 сентября 1871 г.): *ЛН-1.* С. 478–479.

Год написания устанавливается по содержанию: см. примеч. 2 и 4.

[1] Милютин, владелец дома в Пименовском переулке в Москве, где жили Сушковы и Е.Ф. Тютчева, нередко исполнял, по их доверенности, разные деловые поручения.

[2] А.Ф. Аксакова жила на даче в Спасском (дачная местность под Москвой) летом 1871 г.

[3] Воспоминание Тютчева относится к тому времени, когда он (с конца 1837 по 1839 г.) состоял старшим секретарем и поверенным в делах русской миссии при дворе сардинского короля Карла Альберта и его жены королевы Марии Терезы.

[4] А.И. Карамзина, жена тайного советника и сенатора В.Н. Карамзина, умерла 9 сентября 1871 г.

[5] Согласно древнегреческому мифу, очистка скотного двора царя Авгия была одним из подвигов Геракла. Авгиевы конюшни, не чистившиеся много лет, Геракл очистил за один день, перегородив плотиной реку Алфей и направив ее воды на скотный двор.

210. Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые полностью по автографу – РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр.74. Л. 103–104 об.

Первая публикация (без последнего абзаца, ошибочно замененного отрывком из письма Тютчева к Е.Ф. Тютчевой от 7 сентября 1871 г.) – *ЛН-1.* С. 478–479.

[1] Речь идет о переписке Ф.И. Тютчева с сыном Иваном Федоровичем по поводу чьих-то доносов на управляющего их брянскими имениями Н.А. Мамаева.

[2] К.П. Победоносцев, государственный деятель, с 1860 г. профессор гражданского права Московского университета, с 1868 г. сенатор, с 1872 г. член Государственного совета. Был знаком с Е.Ф. Тютчевой и переписывался с ней.

[3] 6/18 июля 1870 г. решением Ватиканского собора был провозглашен догмат о непогрешимости папы. В сентябре 1871 г. в Мюнхене собрался конгресс представителей католической оппозиции, на котором был заявлен протест против этого догмата и была образована независимая от Ватикана церковная организация. Таким образом совершилось отделение «старокатоликов» от римско-католической церкви.

[4] Мф. 25, 14–30.

211. И. С. АКСАКОВУ

Печатается впервые по автографу – РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 83–86 об.

Год написания устанавливается по содержанию (см. примеч. 1).

[1] Тютчев настаивал на том, чтобы Аксаков посвятил специальный труд расколу в католической церкви по вопросу о свободе совести и непогрешимости папы, а также проблеме взаимоотношения

православной и католической церквей. Отчасти Аксаков сделал это в статье, написанной в форме послания к Дёллингеру («Письмо к доктору богословия и профессору Дёллингеру по поводу программы, рассмотренной и утвержденной конгрессом старокатоликов в Мюнхене 9/21 сентября 1871 г., одного из православных мирян»). Статья была напечатана с цензурными искажениями (Православное обозрение. 1871. Т. II); в полном виде вышла отдельным изданием на немецком языке в переводе А.Ф. Аксаковой «Brief an Döllinger von einem Laien der russischen orthodoxen Kirche aus Moskau». Berlin, 1872 (см. *ЛН-2*. С. 640).

[2] И.Т. Осинин — профессор Петербургской духовной академии. В сентябре 1871 г. присутствовал на проходившем в Мюнхене конгрессе представителей католической оппозиции папе римскому, где был принят как делегат православной церкви, хотя официально таковым не являлся.

[3] См. примеч. 1.

212. А. В. ПЛЕТНЕВОЙ

Печатается по автографу — *ИРЛИ*. Ф. 234. Оп. 3. Ед. хр. 669. Л. 5–6 об.

Первая публикация (с рядом неточных прочтений) — *ЛН-1*. С. 560–561.

Датируется по содержанию. В письме упоминается обед, на котором присутствуют Аксаковы, и их отъезд вслед за тем. Этот факт соотносится с записью в дневнике М.Ф. Бирилевой в четверг 10 февраля 1872 г.: «Аксаковы уехали, отобедав у нас» (*ЛН-1*. С. 561). Сообщение о серьезном ухудшении здоровья Мари, которое произошло в начале 1872 г., также подтверждает принятую датировку письма.

[1] А.П. Плетнев — сын А.В. и П.А. Плетневых. Воспитывался в литературной и университетской атмосфере.

[2] Имеется в виду муж падчерицы Плетневой П. Лавриер (*ЛН-1*. С. 561).

213. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 299–300 об.

Первая публикация — *ЛН-1*. С. 375–376.

[1] 11 июля 1870 г. скончался сын Тютчева Дмитрий, 2 июня 1872 г. умерла дочь Мария.

[2] Сын Тютчева Федор в это время воспитывался в лицее М.Н. Каткова.

[3] Турово — имение Аксаковых на Оке (Серпуховской у.).

214. А. Ф. АКСАКОВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — *Собр. Пигарева.*

Первая публикация — в русском переводе: *Изд. 1980.* С. 258–259.

215. Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 96.

Первая публикация — в русском переводе: Пигарев К. Мураново. М., 1957. С. 138–139.

Датируется по содержанию. Это одна из последних собственноручных записок Тютчева.

[1] Гр. А.М. Адлерберг (в первом браке бар. Крюденер) посетила смертельно больного поэта 31 марта 1873 г. Это ей посвящено одно из лучших стихотворений поэта — «Я помню время золотое...».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

21 Зак. 7509





УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Барсуков — Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1888–1910. Кн. 1–22. СПб., 1905. Кн. 19.

Биогр. — Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886.

Валуев I–II — Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Ч. I–II. М., 1961.

ВЕ — ж. «Вестник Европы». М., 1866–1918 гг. В 1866–1908 гг. изд. М.М. Стасюлевичем.

Всероссийская этнографич. выставка — Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 г. М., 1867.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Москва.

ГИМ ОПИ — Государственный Исторический музей. Отдел письменных источников. Москва.

ИзвОЛЯ — Известия АН. Отделение литературы и языка.

Изд. 1933–1934 — Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений. Т. 1–2 / Ред. и коммент. Георгия Чулкова. М., 1933–1934.

Изд. 1945 — Тютчев Ф.И. Стихотворения / Ред., вступ. статья и коммент. К.В. Пигарева. М., 1945.

Изд. М., 1957 — Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. К.В. Пигарева. М., 1957.

Изд. 1980 — Тютчев Ф.И. Сочинения: В 2 т. / Составление и подгот. текста Л.Н. Кузиной. Общая редакция К.В. Пигарева. М., 1980. Т. 2.

Изд. 1984 — Тютчев Ф.И. Сочинения: В 2 т. / Составление, подгот. текста Л.Н. Кузиной. Коммент. Л.Н. Кузиной и К.В. Пигарева. М., 1984. Т. 2.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. Санкт-Петербург.

Летопись — Чулков Георгий. Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. М.; Л., 1933.

Лирика I–II — Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. / Подгот. К.В. Пигарев. М., 1965 (Лит. памятники).

ЛН — Литературное наследство.

ЛН-1, ЛН-2 — Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. I. М., 1988; Кн. II. М., 1989.

ЛН. Т. 19–21 — Литературное наследство. Т. 19–21. М., 1935.

Материалы о цензуре и печати — Материалы, собранные особою комиссиею, высочайше учрежденною 2 ноября 1869 года для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати. Ч. I–III. СПб., 1870.

МВ — газ. «Московские ведомости».

Мураново — Государственный музей-усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева.

Мурановский сб. — Мурановский сборник. Вып. I. Мураново, 1928.

Никитенко — Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. М., 1955–1956.

Пигарев — Пигарев К. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962.

Письма к Богдановой и Фролову — Федор Иванович Тютчев в письмах к Е.К. Богдановой и С.П. Фролову. Л., 1926.

РА — ж. «Русский архив». М., 1863–1917. В 1873–1912 гг. изд. П.И. Бартеневым.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства. Москва.

РГБ — Российская государственная библиотека. Москва.

РГИА — Российский государственный исторический архив. Санкт-Петербург.

РНБ — Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург.

Собр. Пигарева — Собрание К.В. Пигарева. Москва.

СПб. вед. — газ. «Санкт-Петербургские ведомости».

Тютч. сб. — Тютчевский сборник. 1873–1923. Пг., 1923.

Урания — «Урания. Тютчевский альманах. 1803–1928» / Ред. Е.П. Казанович. Вступ. статья Л.В. Пумпянского. Л., 1928.

Цимбаев — Цимбаев Н.И. И.С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978.

Шнеерсон — Шнеерсон Л.М. Франко-прусская война и Россия. Из истории русско-прусских и русско-французских отношений 1867–1871 гг. Минск, 1976.



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ ПО АДРЕСАТАМ



СОДЕРЖАНИЕ

Т 98 **Тютчев Ф.И.** Полное собрание сочинений. Письма. В 6-ти томах. Т. 6 / Сост. Л.Н. Кузина. — М.: Издательский Центр «Классика», 2004. — 592 с.: 16 с. ил.

В шестой том Полного собрания сочинений Ф.И. Тютчева включены письма последнего периода жизни и творчества поэта (1860–1873 гг.) на русском и французском языке (последние в оригинале и в переводе), а также комментарии к ним. Ответственный редактор тома Л.Д. Громова-Опульская.

Международный Пушкинский Фонд «Классика» благодарит ОАО Нефтяная Компания «ЛУКОЙЛ», ее президента Вагита Юсуфовича Алекперова за активную поддержку классического искусства и литературы

Выражаем признательность Компании «Ренова» за участие в издательском проекте

Федор Иванович
ТЮТЧЕВ

Полное собрание сочинений
Том 6

Редакторы *Е.Ю. Жолудь, С.В. Чумаков*
Художник *В.А. Белкин*
Корректоры *Л.А. Галайко, Е.А. Самолетова*
Корректор французского текста *Р.Т. Кабина*
Компьютерная верстка *О.Н. Блажкова, Т.Ю. Удачина*



Издательский Центр «Классика»,
109004, Москва, ул. Б. Коммунистическая, д. 30, стр. 1.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 15.06.04.
Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Петербург».
Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 31. Уч.-изд. л. 32,7.

Тираж 9000. Заказ 7509.

Отпечатано в ФГУИПП «Янтарный сказ».
236000, Калининград, ул. К. Маркса, 18.

